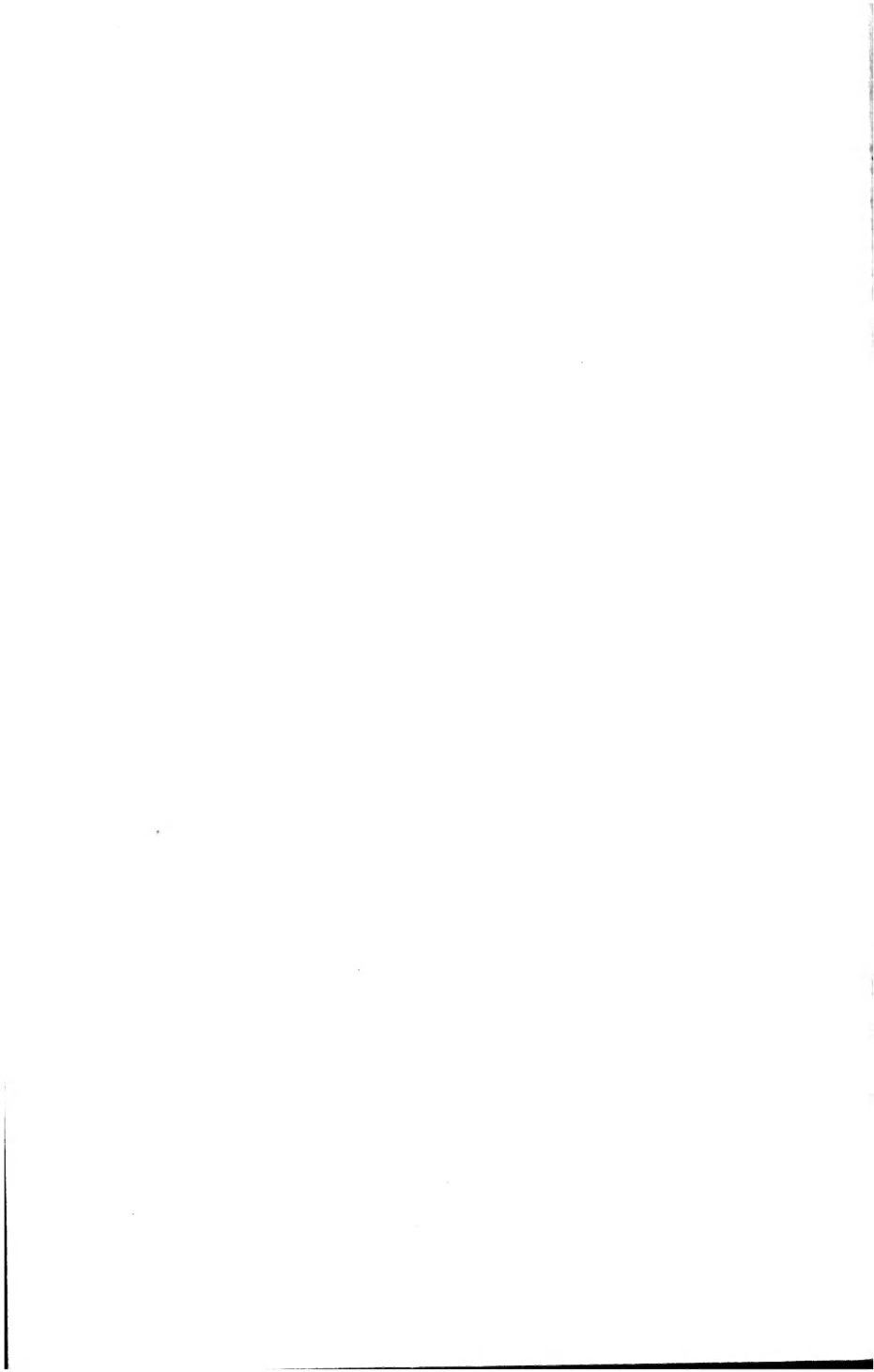


ВАЦЛАВ
РЖЕЗАЧ









ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

И. БЕРНШТЕЙН
О. МАЛЕВИЧ
А. СЕВАСТЬЯНОВА



Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987

ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ПОСЕВ ВЕТРА

ТУПИК

СВЕТ ТЬМЫ

РОМАНЫ

Перевод с чешского



Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1987

Составление

И. ИВАНОВОЙ, В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ

Рецензенты:

доктор филологических наук

И. А. БЕРНШТЕЙН

доктор филологических наук

Р. Р. КУЗНЕЦОВА

Примечания

О. МАЛЕВИЧА

Оформление художника

В. ХАРЛАМОВА

ПОСЕВ ВЕТРА

РОМАН

VĚTRNÁ SETBA, PRAHA, 1958

Перевод
В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ

Симфония завершилась звоном литавр и мощным фор-тиссимо всего оркестра. Дозвучал последний аккорд, и наступившую тишину разорвал шквал рукоплесканий.

Петр очнулся, вновь спустившись на землю юным и грустным, словно обзрев всю свою будущую жизнь, тысячи жизней, которые, наверное, никогда не будут прожиты. В теле чувствовалась вялость, двигаться не хотелось. Он оглянулся на Каму. В ее глазах еще светился отблеск пережитого умиления. Вит уже поднялся и потянулся, сцепив за спиной руки.

— Пойдемте.

На улице их обдало холодом, они съжились, втянули головы в поднятые воротники. Публика стремительным потоком растекалась по пустынным улицам. Темные полосы пролегали между редкими огнями, и дуговые лампы, большей частью потухшие, раскачивались и дребезжали на столбах.

Друзья шли молча, каждый наедине с музыкой, все еще звучащей в душе. И только когда шаги их проскрипели по деревянному тротуару подворотни, ведущему в старинное кафе, Кама громко рассмеялась:

— Вот так всегда. Словно и пойти больше некуда.

И в самом деле, в это кафе они ходили изо дня в день — либо намеренно, либо по пути из театра или с концерта. По обыкновению поколебавшись, Петр взглянул на Вита. Тот чуть заметно кивнул. Вот и этот расход придется включить в число мелких долгов, для чего у Петра заведена особая книжечка. Но когда-нибудь он вернет все сполна, до последнего геллера. Себе, по крайней мере, Петр дал в этом клятву.

В полупустом кафе лампы горели лишь над занятыми столиками. Из-за перегородок, разделявших столики, слышны были приглушенные голоса, звучавшие с подчеркнутой значительностью, но тотчас умолкавшие при приближении Камы и ее спутников. Вновь пришедшие остановили свой выбор на кабинке, где уже сидела какая-то пара. Молоденький вольноопределяющийся встретил их

мрачным молчанием, а девушка тотчас отвернулась к окну, чтобы скрыть слезы. Неприветливый официант зажег над их столиком лампу и принес черный кофе. Кама вынула пудреницу, а ее кавалеры закурили сигареты.

Пока таблетки сахараина таяли в темно-коричневой жидкости, молодые люди смотрели в окно, на пустынную улицу, подавляя желание любоваться девушкой. Вит попробовал напеть одну из мелодий.

— Вот это место, — напомнил он. — Или вот это.

— Оставьте, Вит, — отозвалась Кама. — Это было слишком прекрасно. Перед тем как уснуть, я надеюсь услышать ее снова, всю целиком.

— Хотелось бы ее проиграть. Но на фортепьяно не выйдет.

— И почему вы не скажете отцу, чтоб он один занимался своей лесопильней, почему не посвятите себя музыке, ведь вы так ее любите?

— Я посвящу свою жизнь службе в армии.

— Не сердитесь, я постоянно об этом забываю. Но ведь вам удастся избежать ее, не правда ли?

В голосе Камы была такая неподдельная тоска, что Петр сжал под столом кулаки.

— Не бойтесь, — опередил он ответ Вита. — Папаша о нем порадеет.

— Верно, отец делает все, что в его силах, — невозмутимо подтвердил Вит. — Куда и к кому только он ни обращается, но все может сорваться в последнюю минуту.

— Ах, нет-нет, нельзя, чтоб сорвалось, — взмолилась Кама, словно решение Витовой судьбы зависело только от него самого.

— Да вы ведь знаете, что не сорвется, — снова вмешался Петр. — Он же так только, пугает. На худой конец, они подмажут и наместника.

Вот уже месяц, как они были знакомы с этой девушкой, но ни разу еще ни одному из них не доводилось остаться с ней наедине. Познакомились они в театре, на галерке, где все трое оказались рядом. Оба восхищались ею, Петр — восторженно, Вит — со снисходительным превосходством человека, который на целый год старше их обоих. Кама приходила одна, никого не замечая вокруг. Когда давали оперу, хорошо ей знакомую, она опускалась на ступеньки и слушала, спрятав лицо в ладони. Позже, когда они познакомились поближе, она рассказывала им о своем отце, провинциальном аптекаре, страстном меломане, в доме которого постоянно устраивают концерты, потому что му-

зыка для них — единственное спасение от тоскливых будней маленького городишки и единственный смысл жизни. Эта страсть передалась и ей.

Меж собой Петр и Вит называли ее «крапчатой», потому что неизменно видели ее в черном платье с белыми крапинками. Она представлялась им недоступной и печальной. Они много думали и говорили о ней, скрывая свой интерес за шуткой или веселой насмешкой. Они виделись часто и привыкли вместо приветствия улыбаться друг другу, так что подружились раньше, чем успели произнести какие-либо слова. Кама, почти ровесница Петра, строгая, обычно погруженная в свои мысли, не была такой уж угрюмой, какой казалась поначалу. К ним обоим она с чисто женской проницательностью относилась ровно, по-приятельски. Конечно, случались и такие минуты, как сегодня, когда Петр заподозрил в ней более глубокий интерес к Виту. Тут, как и во всем остальном, жизнь была к Виту щедрее.

Петр молчал. Глядел в окно, представляя себе, как он, подняв воротник, одиноко бредет по улице, пронизываемой ледяным ветром. Кстати, и пальто, изрядно поношенное, тоже досталось ему от Вита. Разумеется, он мог бы обойтись и без пальто, завернувшись лишь в свою гордость, в упрямство отщепенца, которому начхать на сочувствие и плевать на протянутую руку помощи. Он чуть ли не умилялся, мысленно разглядывая свое убогое одеяние. Да, вот он, облик человека, отрекшегося от единственной радости в жизни, чтобы осчастливить друга. А эти двое, занятые мыслями о том, как Виту избежать призыва на военную службу, словно забыли о нем. И лишь выйдя на улицу, заметили, что Петр молчит.

— Петр, ты чего надулся?

— Что с вами?

— Ничего, — ответил Петр. — Не понимаю, почему вдруг вы переполошились.

Вит подставил локоть, и Кама взяла его под руку. Твердя про себя, что хорошо бы уже сегодня распрощаться с ними и исчезнуть, Петр тоже предложил Каме руку. Так они провожали ее всегда. Но и на улице Петр не смог избавиться от своего дурного настроения. Шагал не в ногу и молчал.

А ведь пока на их горизонте не появилась Кама, более искренних и верных друзей трудно было найти. Переменчивый и легко загорающийся Петр подчинялся и позволял себя вести более уравновешенному Виту. Как в любви, так

и в дружбе верховодил тот, кто меньше этим дорожил. Вит соединял в себе все качества, которых Петру не доставало. Он происходил из старинной родовитой семьи, дитя, выросшее в обстановке согласия и достатка. Будущее его было обеспечено. Путь, который ему предстоял, был проторен его дедом и укатан отцом. Оставалось в один прекрасный день взять дело в свои руки и заведенным порядком двигать его дальше. Привязанность Петра к Виту возникла на почве зависти и буйно разрослась, питаясь горечью сравнений.

Вит снимал комнатенку у старой вдовы-полковницы; комната была квадратная, два ее окна выходили на небольшую площадь, где возвышался памятник одному из будителей; за памятником виднелся широкий проспект, всегда оживленный и полный людей; там дребезжали, позванивая на ходу, красные трамваи, и время от времени маршировали в молчаливом строю солдаты, направляясь в сторону вокзала. Кроме прекрасного вида из окна, комната обладала еще одним неоцененным достоинством: в углу стояло старенькое фортепьяно, которое Вит содержал в идеальном порядке, каждый год настраивая за собственный счет. Наскоро пообедав, Петр бежал к Виту и оставался у него допоздна, иногда до глубокой ночи, поскольку с тех пор, как отца забрали на фронт, он мог возвращаться домой когда хотел. Мать ему доверяла, она знала Вита и гордилась тем, что ее сын дружит с мальчиком из такой состоятельной семьи. Быстро прочитав урок, они спрашивали друг друга по тексту и вместе готовили письменные задания. Потом курили и разговаривали, пока не опускались сумерки или желудки не напоминали, что пора ужинать. У Вита — его отец был бургомистром в своем городке — еда не переводилась. Ее запасы пополнялись посылками, которые регулярно доставляли сынку из дома; житного хлеба, а также топленого сала, жареной свинины и паштета из гусиной печенки в консервных банках тут всегда было больше, чем Вит успевал бы съесть один. После ужина отправлялись бродить по городу либо оставались дома и, закулив, вели нескончаемые разговоры до тех пор, пока в комнате становилось нечем дышать. Благодаря Виту они поддерживали ровные приятельские отношения. Не ссорились и не сердились друг на друга. Оба любили искусство во всех его формах, только Вит больше увлекался музыкой, а Петр — литературой. Это не мешало им восхищаться тем, что они вместе слышали и читали. Иногда Вит, собравший целую библиотеку оперных и симфонических партитур,

а также клавиров, проигрывал на фортепьяно особо полюбившиеся ему отрывки и переводил в хроматический звукоряд аккорды, которые вызывали у него особый восторг и восхищение. Он втайне изучал науку композиции и гармонии, поэтому мог судить о произведениях вполне профессионально, а Петр поддакивал ему, ревностно учась, изумляясь его познаниям, хотя и несколько насилуя себя, потому что музыка тотчас захватывала его, увлекая в поток мечтаний.

Любили они и современных поэтов, читали стихи, стараясь вслушаться в отзвуки восторга, пробудившегося в душе. Любовь к искусству возносила их на вершины, откуда все прочее казалось ничтожным и мелким. Они презирали своих однокашников да, собственно, и всех, кто не творил красоты или не был способен восхищаться ею. Петра она неизменно приводила в трепет, рождая неясные мучительные желанья, и, словно ураганным ветром, уносила неведомо куда; Вит воспринимал красоту спокойнее, чувствуя, что из всех чудес мира он выбрал самое прекрасное. Один, надо полагать, пробовал сочинять музыку, а другой — писать стихи, но никто ни разу в этом не признавался, точно так же, как вместе они никогда не мечтали вслух о будущем. Постоянно вращаясь в атмосфере напряженных эмоций, рожденных поэзией и музыкой, они привыкли щадить свои чувства и таить их даже от самих себя, чтоб не показаться смешными. Говоря о себе, они предпочитали прибегать к иронии или насмешке. Так продолжалось до тех пор, пока не появилась Кама.

Проводив девушку, домой возвращались молча. Оба понимали, что любое произнесенное слово повлечет за собой объяснение, которого следовало избегать. Лишь вначале Вит попытался было притвориться, что ничего особенного не происходит и все остается по-прежнему. Только чуть откровеннее и грубее подтрунивал над Петром и его задумчивостью. Они прощались всегда одинаково — коротко и небрежно; на этот раз была разыграна обычная сцена прощания, как будто ничего не грозило их дружбе. Утренняя дорога в гимназию тоже была точным слепком всех предыдущих. Они хохотали и сыпали остротами в адрес ненавистного физика Бахуса, чей урок оказался сегодня первым. Вроде бы ничего не изменилось, по-прежнему они будут видаться с Камой, предоставив разрешение проблемы времени и случаю.

Но эту ночь Петр провел почти без сна да и на уроках продолжал размышлять о посторонних вещах, забыв, чем

опасны рассеянность и невнимание. Явь не перестанет быть явью, даже если закрыть глаза. Если Кама и Вит еще не успели договориться (не представилось возможности), они наверняка придумают, как бы поделикатнее от него избавиться. Просто не хотят его обижать. Ему припомнилось, как вела себя Кама, он видел каждый ее взгляд, позу, движения, слышал каждое ее слово. Сомнений не оставалось. Что бы она ни делала, что бы ни говорила — все было адресовано Виту. К нему, Петру, она обращалась из чистой вежливости. Он убеждал себя, что так было с самого первого дня их знакомства. Эти двое созданы друг для друга. У них так много общего, куда больше, чем между ним и Камой. Чего уж тут ждать ему, нищему, который, возможно, лишь притворялся, будто его интересует искусство, — просто, чтобы поддерживать дружеские отношения с Витом. Но самым унижительным было то, что его присутствие среди них оплачено Витом, который предпочел бы послать своего приятеля ко всем чертям, но не отваживается сказать это прямо. Да и вообще — когда и с какой стати оказалась среди них эта девушка? Им так хорошо было вдвоем! Но, разумеется, дольше он не станет разыгрывать роль человека, которого терпят из милости.

Даже после занятий в гимназии, когда они вместе с Витом готовили уроки, он, думая о принятом решении, опасался, что не достанет силы осуществить его. В душе боролись горечь унижения с романтическим желанием благородно уступить дорогу другу и одержать победу над самим собой. Начиная со вчерашнего вечера он снова и снова представлял себя в этой роли. Порой теплилась слабая надежда: а может, он неверно истолковал поведение Камы? Вдруг она поймет, из-за чего он отсутствует, расстроится, и назавтра Вит расскажет ему, как это ее огорчило.

Дойдя до дома, Петр протянул Виту руку:

— Ну, всего.

— Ты что, спятил?

— Сегодня не могу. Нужно помочь матери по дому.

Однако стоило ему остаться наедине с собой, как совершенный поступок тотчас утратил в его глазах ореол благородства. Вит не стал его отговаривать, приняв извинение даже с некоторой поспешностью. Можно ли сомневаться, что оно доставило ему радость?

Петр возвращался домой, едва сдерживая слезы. К чему эта его безумная гордость? Нынче те двое обо всем договорятся и будут счастливы, что избавились от него, не обременив совести сознанием измены. Кама, наверное,

подумает: «Ну что же, он сам отступился от меня, сдался без боя». А Вит скажет себе: «Петр — славный паренек», — и сочтет это уплатой процентов за бесчисленные займы, угощения и подарки. Петр досадовал на свою оплошность. Надо было набраться терпения. Впрочем, не все ведь потерян из-за одного опрометчивого поступка?

Едва дождавшись утра, он поспешил в гимназию. Ну, и куда они ходили вчера? Сегодня он тоже с ними пойдет. На лице Вита отразилось замешательство, ответ прозвучал невразумительно. Горечь утраты сжала сердце Петра, и какое-то время они тщетно пытались вновь найти тему для разговора, чтобы выбраться из чащобы молчания.

И все-таки, несмотря на тяжелую рану, их дружба не умерла, не могла умереть. Они держались вместе и встречались после уроков. Только разговоры, которые прежде захватывали их целиком, теперь все чаще прерывались томительными паузами. Вит мучился тем, что, наверное, все-таки предал Петра, а Петр терялся в путаных размышлениях, целью которых было убедить себя, что нет у него ненависти к Виту — ни за то, что тот отбил у него Каму, ни за то, что когда-либо от него получал, ни за то, наконец, что некогда очень любил его. Теперь он уходил от Вита, не дожидаясь ужина, чтобы не принимать новых подачек. И, спрятавшись за ворота соседнего дома, подстерегал, когда тот выйдет. Он следил за Витом и Камой, куда бы они ни направлялись, выстаивал бесконечными часами перед театром и перед кафе; он крался за ними, как тень, когда они возвращались домой, видел, как они шли, тесно прижавшись друг к дружке, не замечая ничего вокруг, и — это было самое страшное — оказывался свидетелем их расставаний и поцелуев, которые едва не сводили его с ума. И все же, захлебываясь своей подлостью, унижением и ненавистью, он изо дня в день заходил к Виту и не оставлял слежки. Ведь в конце концов Вита отправят на фронт, и тогда Петр дождетсЯ своего часа.

А время, даже в смене свинцовых дней мрачной зимы, неслоь стремительно, и вот уже февраль, некогда месяц веселых праздников убоя свињи и хороводов ряженных, остался позади, столь же голодный и тощий теперь, сколь тучным и пьяным был прежде. В сети призыва попалоь много восемнадцатилетних парней, среди них и Вит, потому что все предпринятые меры оказались тщетными и вместо врача, принявшего взятку, прислали другого, который заглатывал ребят, словно сказочный дракон.

Когда Вит сообщил Петру эту печальную новость, тот

усилием воли постарался скрыть свою радость, изобразил на лице сострадание и произнес слова участия. Теперь она останется одна. В последние дни пребывания Вита дома Петр целиком посвятил себя его делам. Помогал готовиться к экзаменам, которые тот должен был сдать экстерном, и внушал себе, что тем самым возвращает долги, освобождаясь от всяких обязательств. Они занимались после обеда и вечерами, но ни разу не обмолвились о Каме, с которой Вит, перестав посещать уроки, встречался днем.

Класс устроил прощальную вечеринку в честь Вита и еще троих призванных одноклассников. Папаша одного из них содержал трактир и, вспомнив день, когда его самого провожали в армию, признал, что добрая выпивка — единственное утешение для тех, кого за порогом дома караулит смерть. Он велел привести в порядок пыльный зал трактира, из-за войны лишившегося клиентов, и достал из погреба последние бутылки вина и водки. Вит, хотя и внес больше половины всех денег, собранных классом, условился с Петром уйти пораньше, пока буйство не достигнет апогея. Они и прежде с пренебрежением относились к разным сборищам, нудным экскурсиям или тайным групповым кутежам. На пирушку Вит пришел на удивление угрюмый и сторонился Петра. Ребята захмелели раньше, чем была откупорена первая бутылка, — уже от одного желания выпить, от сознания мужской вольности и прав, от того, что они всей ватагой собрались здесь — вне стен гимназии и бдительного ока учителей. Четверо призывников были в центре внимания, все клялись им в вечной дружбе и братстве, обещались никогда не забывать. Притворное опьянение очень скоро сменилось взаправдашним. Они уже выкрикивали мятежные лозунги и советовали новичкам увильнуть от службы и сдаваться в плен. Трактирщик, наблюдая за происходящей попойкой и трясаясь от страха, то и дело выскакивал на улицу под окна — успокоить себя тем, что снаружи едва ли можно разобрать, о чем там галдят.

Петру очень хотелось включиться в общее веселье. Он вел себя как все, но чем больше пил, тем явственнее ощущал в себе мертвенную пустоту. Необычайно отчетливо осознавал он течение мыслей и, задерживая его, вникал в их смысл. Мысли были бессодержательные, но, мучительно осознавая и свою принадлежность к этой реальности, он вдруг сам себе начал казаться нематериальным. Ребята пели чешские песни, которые стали символом национального непокорства и отчаянной надежды с той самой поры, когда впервые вырвались из глоток бунтарских полков,

отправляемых на фронт. Петр тоже пел и орал вместе со всеми. Обхвативши соседей за шею, плясал с ними, двигаясь то вправо, то влево в такт музыке, и гулом отдавалась у него в голове эта шальная шутовская пляска.

Но запас буйных песен вскоре иссяк, и кто-то из парней затянул протяжную словацкую песню о рекрутчине. Мелодию подхватили, и настроение разом переменялось. От грустных напевов юношеские лица посерьезнели, в них появилась осмысленность и глубина; собачья тоска молодости исторгала из сердец песню за песней, как будто не четверо, а все, сидевшие здесь, отправлялись навстречу смерти. Недостижимость того, к чему они стремились, оскорбленная гордость мужания, неизъяснимая жалость ко всему на свете и ни к чему в особенности, лавина чувств и чувственного волнения единым мутным потоком хлынули из этих песен, протяжных и бесконечных. Певуны уже не обнимали друг дружку за шею в тесном кругу, но каждый сам по себе либо стоял, опираясь на что-нибудь, либо сидел, уронив руки на колени, уйдя в себя, уставившись невидящим взглядом куда-то вдаль.

Умиление, охватившее Петра, рвалось из своей особенностью, стремясь слиться со всеми. Однако неистребимая рассудочность не выпускала его, держала мертвой хваткой. Лица одноклассников, багровые от возлияний и натужного пенья, подернулись унынием и зияли черными провалами широко разинутых ртов. У Петра закружилась голова, как бывает при многократном возвращении одной и той же картины. Отыскав взглядом Вита, он увидел, что губы у него тоже сомкнуты, а на лбу залегла глубокая морщина озабоченности. Он попытался было поймать взгляд Вита, но тот блуждал где-то поверх присутствующих, избегая всех и особенно его, Петра. Вит стоял, опершись о косяк двери и держась за ручку. И вдруг исчез. Те, кто пел, вслушиваясь в мощное звучание своих голосов и в хмельную тоску, ничего не заметили.

В распивочной Вита не было. На вопросительный взгляд Петра трактирщик мотнул медной головой в сторону двери. Схватив пальто и шляпу, Петр, одеваясь на ходу, выскочил на улицу. Внизу, там, где горбатая мостовая шла под уклон, в свете фонаря он увидел, как Вит сворачивает за угол. И ринулся за ним.

— Вит!

Тот не обернулся. Поколебавшись, Петр, подавив гнев, заставил себя бежать дальше.

— Ты чего, спятил? — крикнул он, настигнув приятеля. И хлопнул его по плечу, проявляя былую сердечность, несмотря на хаос обуревавших его неприязненных чувств.

— Оставь. Я хочу побыть один.

Вжав голову в плечи, Вит двинулся дальше.

Свежевыпавший снег припорошил пустынную ночную улицу. С тех пор как прекратился снегопад, по ней никто не проходил. Одинокая цепочка Витовых следов тянулась все дальше и дальше. Петр сделал несколько шагов, невольно ступая по отпечаткам, оставленным Витом, и в ярости растапывая их. Было тихо, безветренно, чувствовалась бодрящая свежесть крепчавшего морозца, когда белый пар, вырываясь изо рта, веселит душу и все тело напрягается от жгучего ощущения жизни, от страстной жажды жить. Но Петра трясло как в лихорадке. Беги куда хочешь, Вит, все равно всему конец. О, если бы ты не возвратился больше! Ради былой дружбы, подожди, Вит! Или нет — уходи. Ведь если ты обидел Каму — я убью тебя. Вот на этот белый снег прольется кровь. Он сошел с цепочки следов. Сейчас пойдет и напьется до бесчувствия.

Но тут Вит обернулся и крикнул:

— Петр!

Петр не тронулся с места, нагнетая в себе дух противоречия. Теперь сам иди сюда, милоч. Я тебе не собака, чтобы бежать на оклик.

— Сердишься? — спросил Вит, подходя.

— Не вижу, с чего бы.

Они не поднимали друг на друга глаз.

— Я больше не могу, Петр. Я даже рад, что уезжаю, и при первой возможности получу пулю в лоб.

Петр ощутил горячую волну радости. Кама. Она отвергла его. Отвергла. Но отчего? И отчего именно теперь, когда Вит уезжает?

— Ты спятил! Что с тобой?

Он попытался по лицу Вита прочесть ответ раньше, чем его услышит.

— Мне на все наплевать, — проговорил Вит. — В моем положении — все глупо. Конечно, глупо. Завтра я уеду и, может, больше не вернусь. А ведь мне нет и девятнадцати. Вот и захотелось что-то урвать от жизни, хоть что-то от нее взять, прежде чем лишиться всего. Честь, приличия, порядочность, если угодно, любовь — что они значат для человека, которого отправляют на верную смерть? А я, наверное, погибну.

— Что ты ей сделал? — воскликнул Петр.

Вит, нехорошо кривясь, ненатурально рассмеялся.

— Ничего, абсолютно ничего. И теперь даже не могу понять, что мучит меня больше — то, что не сделал, или то, каким был жестоким и грубым. Но я считал, что на все имею право. Теперь это уже не важно.

— Говори! Признавайся, черт тебя подери! — прохрипел Петр, надвигаясь на Вита. Тот не заметил этого движения. Его терзали невыносимые муки, ему необходимо было исповедаться, иначе воспоминания могли испепелить душу.

— Чего бы я теперь не дал, да прежнего не воротить. Но, когда я подумал, что оставляю ее здесь и, может, никогда больше не увижу, в меня словно бес вселился. И я сказал себе — если уж мне суждено ее потерять, то, по крайней мере, самое прекрасное я увезу с собой. Я пригласил ее к себе, она пришла, не имея понятия, зачем. Я просил ее, умолял — все напрасно. Она говорила много для меня лестного и приятного. Но я не желал ничего слышать. Я хотел лишь владеть ею. Она убежала, дружище, убежала с непокрытой головой, захватив впопыхах одно лишь пальто. Это конец, да? Как по-твоему? — закончил он по-детски просительно и беспомощно.

Петр набросился на Вита, и они оба рухнули в снег. Петр, сжав Виту горло, бормотал:

— Я убью тебя, убью.

Но уже в следующий миг он опомнился. И только от иступленного стыда продолжал сжимать пальцами горло друга. Но тут жесткий воротничок выскользнул из них. Вит коленкой ударил его в живот. И, почти теряя сознание, Петр упал навзничь, успев отметить, как низко плывут свинцовые облака, и почувствовать, что вялость охватила тело. Волосы намокли от подтаявшего снега, который обжигающими ледяными касаниями проникал под кожу. Он услышал над собою голос Вита. Поднялся, отряхнул шляпу и так, не надевая ее, пошел прочь. Боялся взглянуть на приятеля, что-то говорившего ему вслед, боялся стряхнуть с пальто снег, боялся сделать лишнее движение — он мог только шагать вперед.

В семь утра Вит уезжал домой — попрощаться с родителями, а вечером должен был проследовать к своему полку.

Петр, спрятавшись за колонну в зале вокзала, наблюдал за ним. Невозможно, чтобы их дружба — казалось, столь нерушимая — закончилась вот так... Чтоб он бросил друга, идущего навстречу смерти, не объяснившись с ним, не

пожав на прощанье руки. Девушка не может встать меж ними. Это он и пришел ему сказать.

Беспокойно расхаживая взад и вперед у входа, Вит оглядывался на двери. Грусть и тоска светились во взгляде его заспанных глаз. Но вот он стремительно шагнул — шагнул широко, словно прыгнул. Назад, Петр! И сгинь. Она простила ему все.

Петр бродил у вокзала. Снег таял на лету и тяжелыми мокрыми хлопьями падал с деревьев сада. Воздух был сырой и промозглый. Солдаты в рваных шинелях, от которых разило карболкой, толпились перед входом. Безучастно глядя по сторонам, стреляли у прохожих сигареты. Если Вита превратят в нечто подобное, станет ли она по-прежнему любить его? Обтерханного и вонючего? Если судить по тому, как пишут в книгах, — то да, наверное. Он вздрогнул, присел, прячась за ранцем широкоплечего вояки.

Заплаканная Кама, выбежав из зала, остановилась в замешательстве, будто намереваясь возвратиться обратно. Потом решительно шагнула вперед и пошла быстро-быстро, так что Петр едва за ней поспевал.

Потом долго ждал перед ее домом. Не замечая, что повалил снег, который тут же таял, и его ботинки промокли. Она еще выйдет, выйдет, должна выйти. Его упорство росло вместе с усталостью. Но вот и она, наконец-то! За ней горничная с чемоданом.

— Кама...

Она взглянула на него красными от слез глазами.

— Неужели вы уезжаете?

— Да.

— Но отчего? Когда вернетесь?

— Я не вернусь, Петр. Мне больше нечего здесь делать.

Она пристально посмотрела на него.

— Почему вы не пришли проводить Вита?

— Мы распрощались вчера, Кама, — выпалил он. — Но как же вы могли извинить его?

В ее глазах метнулся испуг.

— Вы все знаете?

— Он рассказал мне.

«Я чуть было не задушил его», — хотелось ему добавить, но он постеснялся.

— Какое бесстыдство! — воскликнула она.

— Кама... — Петр попытался ее удержать.

Она оттолкнула его.

— Уходите, я не желаю ничего больше слышать. Не желаю, не желаю!

— Извиняйте, сударь, — проговорила служанка и пихнула его чемоданом. Он сошел с тротуара. Хотел было устремиться следом за ними. Но слабость одолела его. Пусть ее уходит, пусть проваливает отсюда. Какое ему дело до нее или до Вита? Его бил озноб. Он шел и пытался унять дрожь, до крови кусая губы. Боль была чересчур сильна. Хотелось плакать, но глаза оставались сухими.

2

Согласно всем заверениям, время — лучший целитель. Однако и времени не удалось залечить рану Петра, которую он бередил без конца. На улицах волнуяще благоухал апрель, и напряжение, рождаемое одиночеством, становилось все нестерпимее. Кратковременные дожди сменялись солнечной погодой, становилось все теплее, и люди не казались столь усталыми и одряхлевшими, как прежде. Один Петр не поддавался чарам весны.

Он сидел дома, слепой и глухой ко всему, что происходило вокруг, и тешил свою тоску. И пугался, если мысль, устав кружить вокруг одного предмета, отклонялась в сторону. Как же так, неужели он мало ее любил? Но теперь, когда она для него потеряна, он должен сохранить ей верность. Он составлял длинные речи, обращался к Каме с бесконечными монологами, в которых убеждал ее, располагал к себе. Пытался пробиться сквозь ее равнодушие, используя к своей выгоде ее обиду на Вита. Или, стремясь обмануть ее бдительность и любовь к Виту, предлагал вспоминать о нем вместе. Он погружался в грезы, которые были ярче, чем действительность. Да, так лучше всего. Они будут гулять и вспоминать Вита. И однажды вечером (таким же благоуханным, как сегодняшний, в этом одетом сумраком парке) Вит будет забыт и — это произойдет словно само собой, — они поцелуются. «Я не хотела этого», — скажет Кама. И, оттолкнув его, заплачет. А потом бросится на шею: «Забудьте об этом, Петр! Я всегда любила только вас».

Он не знал ее адреса и все-таки ежедневно писал ей длинные послания. Знал, что никогда не отошлет их, а поэтому поверял бумаге все — каждый поворот своих мыслей и переливы трепетных чувств, живописал безграничность своей любви и зигзаги заблуждений, по которым она его

водила, от благородных помыслов до подлых намерений. Закончив писать, аккуратно складывал листки. Не разорвал и не сжег ни одного. Ведь когда-нибудь они попадут в руки той, кому предназначены, и станут свидетельством более красноречивым, нежели клятва. Весь май одиночество нависало над ним, словно глыба, грозившая сокрушить его сердце. Ему не хватало Вита, чье отсутствие стало для него ощутимее, чем утрата Камы. За стеной, которую они когда-то возвели вместе, ограждая себя от излишней близости с прочими одноклассниками, Петр остался один. А презрительное отношение, которое так хорошо удавалось поддерживать вдвоем, одному было не под силу. Он так и не смог сойтись ни с кем из своих соучеников. Второго Вита среди них не нашлось. Их интересы и строй мыслей шли иными путями, не теми, которыми привык ходить Петр. И он не сумел переделать себя. Гнет одиночества делался все невыносимее, усугубляясь от сознания отверженности. Он стал и узником, и тюремщиком одновременно. Хотел бежать сам от себя, но не знал, как.

На короткое время от воспоминаний о Каме его отвлек страх — а ну как вернется отец?

Мать редко бывала дома. Целыми днями пропадала у хозяев: им, чтоб содержать в порядке нажитое добро, двух служанок не хватало. Петр видел мать только во время обеда да вечером, перед тем как лечь спать. Их разговоры исчерпывались краткими вопросами и ответами. Но иногда мать вдруг делалась словоохотливой и начинала рассказывать о странностях своих господ, об их богатстве, о благородных манерах старой госпожи и о том, как трудно ей приходится с бесстыжими и дерзкими служанками (мать всегда держала сторону хозяйки, превознося ее щедрость и великодушие); о разладе в семействе ее дочери и распутстве сынков, о персидских коврах, мягких и упругих, словно лужайка весной, о роскоши салонов, где на потолках ручная роспись, о комнате, отведенной под кладовку и до отказа набитой провiantом, которого хватит, если даже война протянется еще несколько лет. Петр терпеливо ее слушал. Он ненавидел хозяев так же страстно, как мать их боготворила. Он знал сокровенное ее желание, единственную мечту, которой она скрашивала свое существование, главную цель, ради которой она изнуряла себя каторжной работой, сносила обиды от отца, пока тот был еще дома: в один прекрасный день сын ее станет таким же барином, как и те, кому она пока прислуживает. Время от времени она выражала эту свою грезу вслух, и Петр не отваживался

отрезвить ее заявлением, что не разделяет таких представлений о счастье. Он еще не решил, кем станет, но никогда и ни за что не будет он таким снисходительным, грузным толстяком и скрягой, как старый домовладелец, не станет он поигрывать тростью с золотым набалдашником или насвистывать модный мотивчик, сложив бантиком губы на истасканном лице, как это делают хозяйские сыновья. Он пронесился сквозь свое будущее, словно отважный всадник на вспененном необъезженном скакуне. Это будущее представало перед ним в разных образах и обликах, но ни одно из них не пришлось бы по душе его матери. Смущенная его молчанием и выражением глаз, в которых она не читала ни согласия, ни изъявлений восторга, мать тоже умолкала и молча чинила совсем уже ветхое белье. Сидя за штопкой, она тяжело вздыхала, по лицу ее иногда катились слезы. Петр знал, что вызваны они воспоминаниями об отце. Он хмурился. Но сострадание к матери брало верх. Придвинувшись поближе, он гладил ее волосы и щеки.

— Не плачь, мама, я не могу этого видеть.

А если она вдруг начинала причитать в голос: «Господи, вот уж месяц, как ни одной весточки. Что же с ним такое стряслось?» — Петр стоял рядом, не в силах произнести ни слова утешения.

Как-то раз, возвратившись из гимназии, он нашел мать прямо-таки убитую горем. Уронив голову на стол, она плакала навзрыд.

— Что случилось, мама? — с тревогой спросил он.

В ответ она судорожно всхлипнула. Он попробовал приподнять ей голову, утешить и дознаться наконец, из-за чего слезы. На столе, под ее ладонью, лежала розовая открытка полевой почты. Петр с трудом вытянул ее, будто вместе с нею повалил на себя и весь стол.

Он различил почерк отца, и напряжение отпустило его, вызвав чувство, близкое к разочарованию. Спокойно пробежал глазами несколько строчек, написанных неверной дрожащей рукой. Уж месяц, как отец находился в госпитале, в словенском городе, по причине дизентерии. Название хвори слилось в сознании Петра с представлением о зеленых бумажных деньгах, носивших сходное прозвище. Болезнь была нехорошая, но какая-то смешная. Да и не всегда от нее помирали. Образ отца, его могучей фигуры, на миг обрел плоть. Нет, хвори его не одолеть.

— Да ведь нельзя же из-за этого так плакать.

Причитания затихли, мать подняла голову.

— А ну как помрет?

— От этого не всегда помирают.

— Петр, да неужто тебе его не жалко? Не боязно за него?

Он не нашелся что возразить. Звук ее голоса был ему неприятен. Тревоги матери были ему чужды, и сама она в эту минуту была для него чужой и далекой.

— Он ведь отец тебе, Петр. Вот бог тебя покарает.

— А за что?

Он и впрямь не понимал, за что господу богу наказывать его. Его чувства к отцу, как он их помнил, не оставляли никаких сомнений. Каждая минутка, когда отец пребывал в благодушном настроении, в сознании мальчика растягивалась на целые годы, и, принимая упреки матери, он содрогался — неужели он так гадок? Однако то была лишь игра, где Петр пробовал сам себя перехитрить. В глубине души затаился страх, что отец скоро вернется.

Собственно, ничего не изменилось, он по-прежнему оставался наедине с самим собой, и все-таки словно какой-то вихрь закрутил его и погнал, подобно сорванному с ветки листу. Вокруг разливались весенние ароматы, пахло молодой листвой, воздух звенел птичьими голосами, и Петру хотелось думать только о Каме, пребывать в отчаянии от понесенной утраты и надеяться на встречу. Сознание его распадалось, подвергаясь испытаниям более жестоким, чем доселе.

Уход Вита в армию и отъезд Камы позволили ему обнаружить то, что до сих пор было от него скрыто. Со все большей остротой начинал он понимать, что идет война, и чем дальше, тем отчетливее отмечал ее следы на происходившем вокруг. До сих пор война для него означала лишь одно — избавление от отцовского тиранства. За это он даже чуть ли не благословлял войну. Но теперь к чему она, эта его свобода? Он словно бы только сейчас открыл для себя жалких людей, которые, подобно теньям, ползали по улицам в рваных и мятых мундирах, бедолаг с искалеченными руками под белыми повязками, безногих калек, прыгавших на костылях, и других несчастных, двигавшихся словно в оцепенении, бережно неся замотанные бинтами головы. Вот таким же, коли не убьют, вернется когда-нибудь и Вит. А может, и отец, нерешительно предполагал он.

Пустячный случай, произошедший на другой день после получения отцовского письма, окончательно прояснил для Петра ту реальность, в которой он жил.

После обеда он сидел дома один, тщетно пытаясь

сосредоточиться на решении математической задачи, как вдруг в дверь постучали — это был мадьярский солдат, просивший милостыню. Свои невразумительные просьбы он произносил силным, еле слышным шепотом. Капли пота проступили у него на лбу, у корней редких волос. Страшно изможденный, худой и пожелтевший, с огромными глазами, полыхавшими лихорадочным огнем, он напоминал скорее призрак или труп, нежели человека, — труп, пришедший просить, чтоб его похоронили. Для пущей убедительности солдат распахнул мундир и обнажил грудь, где справа у плеча виднелась огромная рана с едва затянувшимися краями, видневшимися из-под белой марли и розового крест-накрест наложенного пластыря. Сияясь объяснить, он зашелся кашлем и поднес ко рту руку извечным жестом, означающим просьбу о хлебе. Когда Петр наконец превозмог смущение и дрожь в ногах, он пригласил солдата войти и подал ему большой ломоть хлеба, густо намазав салом из горшка, который мать берегла пуще глаза. Человеческая развалина мигом превратилась в прожорливое животное, чьи челюсти в три приема расправились с толстенной краюхой. Потом со второй, после чего из солдатских уст, искривившихся в страшной ухмылке, вырвался сияющий поток благодарностей.

На столе лежала скрипка, в последнее время Петр частенько наигрывал на ней мелодии собственного сочинения, пытаясь хоть как-нибудь выразить то невыразимое, что с ним творилось. Солдат взял скрипку. Смычок, которым водила его ослабевшая рука, судорожно подскакивал на струнах, а на грифе оставались следы потных пальцев. Исполненное должно было означать чардаш. От такого выражения благодарности и слух и сердце страдали одинаково невыносимо.

Мадьяр ушел, а Петр долго еще сидел в тупом бездействии. Мысли мелькали в невообразимом хаосе. Солдат стал для него олицетворением войны, всего того, что было в ней животного, бессмысленного, непостижимого: кровь, раны, боль, грязь, нечистоты, смерть, голод, болезни, нечеловеческая мука отчаяния и мука унижения. Он вспомнил отца. Может, тот тоже обивает где-то чужие пороги, прося милостыню, оборванный, чуть живой, едва не падая от изнеможения. Волна жалости залила его. Ведь это же его отец! Каким гордым и благополучным был он раньше! А теперь, глядишь, вернется присмирившим, жаждущим ласки, покоя, любви. Но все-таки представить отца таким ему никак не удавалось.

Несколько дней Петр жил под впечатлением происшествия. В сравнении с войной любое личное переживание, муки сердца и тому подобные глупости были неуместными пустяками. До сих пор Витов поступок вызывал в нем страшное негодование. Но теперь он начинал его понимать. Как бы он поступил на его месте? Ведь на самом деле все, казалось, теряло смысл и значение, если человеку, едва вступившему в жизнь, предстояло с нею расстаться. Не о Каме, не о своих любовных страданиях следовало размышлять, а о Вите, отце и всех прочих, кому одинаково грозила смертельная опасность. Только сейчас он понял, что такое война, и чувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своим смятением. Однако в разговорах, которые велись на переменах, он не находил отзвука своим волнениям. Соученики не желали видеть мир в мрачном свете. Какой бы страшной ни была эта война, они и в ней находили светлые стороны, нюхом чуяли их и были не прочь ими попользоваться.

С тех пор как ушел Вит, Петр иногда возвращался из гимназии с Бертиком, сыном сапожника из соседнего дома. Как-то раз он попытался рассказать ему о мадьяре, которого накормил хлебом. Начал как можно сдержаннее, но увлекся. Из его слов Бертик уразумел только, что Петр дал мадьярскому солдату поесть и что ему было его жалко.

— Слушай, ты меня удивляешь. Ну какое тебе дело до того мадьяра? Пнул бы его хорошенько, мерзавца. Слышал небось, что говорят о них наши солдаты. Изверги, каких поискать.

— Да не в том дело, — досадливо протянул Петр, растеряв весь свой пыл. — Это абсолютно не важно. Важно, во что превратили людей. А кто они там — мадьяры либо чехи — это не имеет значения.

Бертик, поддев носком башмака комок смятой бумаги, погнал его перед собой. Рассуждения Петра наводили на него скуку.

— Война, она война и есть. Больно уж близко ты все к сердцу принимаешь. Что тут поделаешь? Вот наступит твой черед, и ты тоже пойдешь, как все прочие.

— А ты тоже пойдешь?

— Как не пойти, — удивился Бертик. — Станешь противиться — кокнут, и все дела. Нет, пойти я бы пошел, а там, глядишь, дал деру. Погляди, сколько наших смоталось. А случай всегда подвернется.

Петр промолчал. Да, перед ним — стена. И ее не прошибить. Бертикам на свете легче всего. Съежятся и про-

шмыгнуть. Разговоры в классе вели не только такие, как Бертик, — эти хаяли все, на все плевали; были и другие; те, собравшись в кружок и пригнув головы, шептались о том, что империи скоро каюк. Если каюк — то что это значит для всех и что даст ему?

— У нас в доме появилась такая девчонка... — оставив бумажонку, заговорил вдруг Бертик, и глаза у него заблестели.

— Девчонка? — равнодушно переспросил Петр. Какое ему дело до этой девчонки? Какое ему дело до всех девчонок на свете, кроме одной Кама? Перед его мысленным взором с поразительной ясностью явилось ее лицо, серьезный, отрешенный взгляд — так она слушала музыку. Петр искося взглянул на бледные Бертиковы щеки, они быстро порозовели. «Вот еще! — сопротивлялся Петр. — К чему мне это слушать? Пусть себе болтает!» Однако слова Бертика поражали слух и бередили воображение. Петр уже старался не пропустить подробностей грубого смакования прелестей незнакомой женщины и откровенно хамских замыслов Бертика.

— Эта, брат, прошла огонь и воду. Но спорим, от меня ей не уйти. Зовут Зичка, она тут стряпухой у родственников.

Бертик принялся строить разные хитрые планы и чем дальше, тем больше восхищался своей храбростью и хитроумием.

— А у тебя уже было что-нибудь с девками? Ты вообще-то знаешь, что это такое?

И Бертик начал рассказывать Петру о своей связи со служанкой, работавшей в их доме. Петр слушал с недоверием. И все-таки — с интересом, рассказ Бертика разбудил его фантазию. Бертиковы признания распалили в нем жгучий стыд и желание. Кама покоилась под могильным камнем трех месяцев, минувших со дня ее отъезда. К чему было хранить верность и убеждать себя, что любишь, если ей это безразлично? Бертиковы откровения все глубже захватывали Петра.

— Если у тебя еще не было девчонки, надо какую-нибудь подцепить. Раз никого нету, чего же тут думать? — безо всякого стеснения посоветовал Бертик.

У Петра стало мерзко на душе, но оконфузиться не хотелось.

— Прислуга — это не для меня. Так-то всякий сможет, — с раздражением парировал он.

Вот у них в доме, на втором этаже, живет пани Газова,

стройная, изящная блондинка. Ее мужа еще в начале войны убили, теперь от ухажеров отбою нет.

— ...Как-то раз она сама пригласила меня зайти. Я не сразу понял, чего ей нужно. Сперва угощала, а потом...

Теперь уже настал Бертиков черед таращить глаза, краснеть, бледнеть и не верить своим ушам.

Что, какое у нее белье? Тебе такого небось в жизни видеть не приходилось, не то что в руках держать. Это тебе не какие-нибудь шашни со служанкой в подъезде, где все с оглядкой — только и смотри, не идет ли кто. А постель у нее... ну прямо снежный сугроб. И богата она, знаешь? Квартирка отличная.

Бертик не верил. Петр побожился, дал честное слово. Однако сам обман, на который он пошел из мальчишеского желания похвастаться и перещеголять противника, крепко засел в его мозгу, требуя реального подтверждения. В том доме, где мать служила дворничихой, и на самом деле жила пани Газова. Блондинка, чью привлекательность особенно подчеркивали розовые щеки, ослепительно белая кожа и большие, сияющие голубые глаза. Пока Петр дружил с Витом и увлекался Камой, он едва замечал эту даму. Слушал вполуха, когда мать ополчалась на нее, ругала, величая не иначе как «курвой со второго этажа». Но теперь, когда нечаянная ложь уже сорвалась с языка, Петр не упускал случая повстречаться с пани Газовой. Подчеркнуто с ней здоровался и по-своему истолковывал ее взгляды. Вспоминал все, что о ней знал, испытывая легкие уколы ревности, но тем больше надеясь на успех и достижение своих целей.

Проводив мужа в армию, пани Газова в тот же день возвратилась домой в сопровождении какого-то юнца. На голове у него красовалась зеленая шляпа, а в руках — тросточка; поднимаясь по лестнице, он легко и ловко поигрывал ею, как бы насистывал победительный мотивчик. Юнец зачастил было к пани Газовой, но спустя некоторое время его сменил блестящий офицер. У того все сверкало: нафабранные усы, кокарда на фуражке, звездочки на петлицах и ордена на украшенном шнуровкой мундире. Преемником офицера стал краснолицый мужлан лет сорока, могучего телосложения и такой грузной поступи, что, когда он проходил подворотней, плиты мостовой гудели. Пани Газова в полную меру пользовалась своей свободой, беззаботно отмахиваясь от сплетен, которые взвивались ей вслед, как пыль, поднятая вызывающим шелестом ее атласных юбок. Она не утихомирилась, даже когда

пришло извещение о смерти пана Газы, напорозшегося в ночном дозоре на русский штык. Даже траура не надела.

Ложь, которую Петр придумал, чтобы скрыть от Бертика свою неискушенность, страшным образом взбудоражила его воображение. Удивительно, как это ему самому до сих пор не захотелось испытать подобное наслаждение. Он легко бы достиг желанной цели, если бы не тоска о Каме и не идиотская застенчивость. Наверное, он последний из всего класса, кто не прошел через это. Во всяком случае, его сотоварищи часто обсуждали свои любовные похождения. То были хвастливые гимны во славу собственного молодечества и геройского распутства. Слушая их, Петр начинал чувствовать себя каким-то неполноценным и обездоленным.

Теперь, встречая пани Газову, он буквально сверлил ее взглядом, убеждая себя, что по глазам она должна прочесть, какая страсть снедает его сердце. Он внушал себе, что она это отметила, как-то странно, очень странно посмотрела на него, хотя та даже едва ли подозревала о его существовании. Так, мешая ложь с действительностью, увиденной через призму этой лжи, он решился на отчаянный шаг. И поджидал только подходящего момента.

Иногда случалось так, что мать задерживалась у хозяев до десяти и позже. И тогда Петру приходилось запирать дом и открывать опоздавшим. Отпирал он и пани Газовой, когда та забывала взять ключ. Она возвращалась оживленная и проходила мимо Петра танцующей походкой, распространяя вокруг волны благоухания, которое долго еще держалось в воздухе.

В тот вечер, когда Петр решился действовать (убеждая себя в который раз, и всякий раз заново), он нарочно уронил монетку, которую пани Газова протянула ему в качестве вознаграждения за услуги, схватил ее руку и стал осыпать поцелуями.

— Один поцелуй, единственный поцелуй, сударыня, — произнес он, заикаясь от страха. И поднял к ней лицо, на котором глаза пылали безумием, как у человека, решившегося на убийство.

Она на мгновение оцепенела от испуга. Но потом вырвалась, воскликнув:

— Господи, этот мальчишка сошел с ума!

Громада накопившегося в его душе напряжения рухнула. Петр отпрянул, прижавшись к створке распахнутой двери. Пани Газова тотчас заметила, что Петр сильно побледнел, приблизилась к нему и погладила по волосам:

— Ну, не бойся, я ничего не скажу твоей маменьке. Но больше ты никогда, никогда этого не делай.

Уже на лестнице она рассмеялась. Он слышал этот заливистый смех, когда она поднималась наверх; смех не смолкал, даже когда она отпирала квартиру; смех звенел и звенел у него в ушах, хотя она давно уже закрыла за собой двери; безумный хохот преследовал его, когда он возвращался к себе, ноги у него дрожали, а в душе до бесконечности разрастался ужас пережитой минуты. Упав ничком на постель, Петр зарылся в подушки. Он был убит, сокрушен непереносимым позором. Спрятав голову под подушку, мечтал задохнуться, потерять сознание, не чувствовать, не быть. Но как только сердце и легкие сжало от духоты, он выбрался из-под укрытия и, хватая ртом воздух, заметался в тоске, обуянный звериным желанием скрыться, исчезнуть навеки, сбежать куда-нибудь, где не было бы никого и ничего.

3

Где-то в середине июня возле гимназии появился Вит. В военной форме, с нашивками вольноопределяющегося на рукавах и унтер-офицерскими звездочками на петлицах. Правая рука висела на черной повязке. Петр остановился позади ребят, которые сгрудились вокруг. Разглядел лицо приятеля в просветах меж голов и размахивающих рук. Лицо загорелое, а когда Вит смеется — какое-то непривычное, посуровевшее. Над левой бровью розовел небольшой шрам от затянувшейся раны. Можно ли возродить былые связи, казалось разорванные навеки? Видимо, для обоих лучше избежать встречи. Впрочем, Вит был полностью поглощен разговором. Его просто забросали вопросами, они так и сыпались со всех сторон. Он отвечал всем сразу. Рука — пустяки, заживет. Пуля прошла навывлет. Кость не задета, только мышцы. Рана на лбу тоже ерунда, царапина. Сознание потерял, разумеется. А теперь он — в местном госпитале, ночует дома и вместе с отцом хлопочет, чтобы не возвращаться обратно. Страшно? Конечно, еще как. Любому страшно, всем. Солдаты постарше — и те в штаны делали, когда перед ними в первый раз взрывалась мина или гаубичный снаряд.

— Что за сборище? — раздался вдруг строгий окрик директора.

— А, это вы, — коротко бросил он, заметив Вита. — Вы

останьтесь, а остальным разойтись. Собираться перед зданием гимназии запрещено. Прощайтесь с паном унтером и — по домам.

Ребята, подавляя смех, нестройно загалдели:

— Пока, унтер! — и осведомились, увидятся ли еще. Да, скорее всего — через неделю. Петр уходил последним. Они даже не подали друг другу руки. Вит вдруг обратился к нему:

— Петр, погоди.

Остановившись на противоположной стороне тротуара, Петр ждал. Вит стоял навывтяжку перед директором, пятки вместе, носки врозь, так, как его вышколили в армии. А директор — этот искусственный, внушающий страх хищник, — пощипывал бородку, лучился благосклонностью и, превознося доблести Вита, призывал его быть патриотом империи.

Потом Вит щелкнул каблуками и, неловко отдавая честь левой рукой, простился с директором.

— Ну, пошли, — позвал он Петра, и они начали спуск вниз той самой улочкой, по которой каждый день возвращались после уроков, словно и не было никогда ни Камы, ни драки, ни длительной разлуки, когда они ничего не знали друг о друге. Они просто разговаривали, счастливо избегая личных тем. Смеялись над назиданиями, которые директор вылил на Витову голову, и вели себя как обычные школяры, пародируя его жесты, интонации и манеру речи, а потом пустились вспоминать былые гимназические истории. Для Вита гимназия уже стала лишь источником насмешек и мишенью острот, которыми он сыпал с высокомерием человека, выросшего из детских пеленок, с заносчивостью мужа, повидавшего свет и встречавшегося со смертью.

— Впрочем, все это байки для детей, — подытожил Вит и начал рассказывать о том, что ему пришлось пережить, как их несколько месяцев готовили, как везли на фронт, о гарнизонах и этапах, о траншеях и ужасах окопной жизни, об атаке, когда его ранили, о пулеметах и их смертоносном буйстве, о канонадах, шрапнели, снарядах, минах и огнеметах, об отравляющих газах и их действии, о полевом лазарете и госпитале в родном городе, о новых товарищах, об офицерах — сволочных и добрых, — о лекарях и сестрах милосердия, о всевозможных опасностях, о сумасбродстве и безрассудности военных приказов, — все это ему пришлось испытать на себе.

Они шагали по набережной, под деревьями, такими

родными и близкими, над самой рекой, которая тихо и плавно несла свои воды; в ней купались отражения облаков, деревьев, мостовые быки и близстоящие дома, и сама она переливалась всеми оттенками и красками подступавших сумерек. И эта древняя панорама, неизменно величественная, словно изобличала ложь Витова повествования, начисто отвергая ее. Петр на какую-то долю секунды поддался этому очарованию, Вит тоже остановился и смолк, замороженный картиной уснувшей реки и видом противоположного берега. Наверное, это взволновало его — он вдруг ухмыльнулся, передернул плечами и возвратился к своим воспоминаниям.

Они перешли мост и стали кружить по старинным улочкам, где время словно остановило свой бег, где словно и не слышали о войне. Порой Петру чудилось, что между ними установились былые доверительные отношения и согласие, когда они угадывали мысли друг друга раньше, чем успевали высказать. Он настороженно ловил каждое Витово слово, каждое движение, тон голоса и шевеленье губ. Нет, тот Вит, который сейчас вернулся, не был похож на прежнего, нет. Он медлил с этим признанием — и вдруг, прервав речь Вита на середине, выпалил его. Вит рассмеялся.

— Я тоже это чувствую, дружище, — согласился он. — И здесь больше, чем где бы то ни было. Какая старина, как тут красиво и грустно! Сколько мы здесь исходили, сколько наболтали ерунды! Бог знает отчего именно эта древняя кулиса так нас манила, что именно ей мы исповедались в своих поступках и мечтах о будущем. Разумеется, я переменялся. И ты изменился бы, если бы увидел и пережил то же, что и я. Я еще не разобрался, в чем именно перемена. Вот сброшу мундир, тогда пойму и начну жить по-прежнему. Конечно, изменился не я один. Изменяются тысячи тех, кто уцелеет, и, может быть, из-за этого переменится и весь мир. Ты бы послушал, что говорят солдаты на фронте. Представь себе окопы, голод, грязь и страх изо дня в день! Поймешь, что твое тело — это все, что у тебя есть, это грозный повелитель, за жизнь которого нельзя не дрожать и которому сладко служить, потому как без него вообще ничего нет. Пораскинешь вот так мозгами и плюнешь на всякие чувства. Мгновение — это вечность. Вот ты сейчас есть, но один миг — и, возможно, уже нет тебя. За неделю марша сам себя не узнаешь. Тебе бы посмотреть, что там творится, узнал бы, почем фунт лиха.

— Не понимаю, — вяло отозвался Петр. — Значит, музыку ты уже разлюбил?

— Выходит, ты и впрямь меня не понимаешь. Ну с какой бы стати я перестал любить музыку? Возможно, теперь я слышал бы в ней иное, не то, что раньше, но, между прочим, где теперь музыка и где я? Главное — как можно дольше продержаться в госпитале, это во-первых, во-вторых — выбраться вчистую, а в-третьих — расположить к себе ту дамочку, которая каждый день попадаете мне на пути. Она смотрит на меня с такой жалостью, чуть ли не плачет, а я давлюсь от смеха. Так вот убивать день за днем — это, брат, жаль.

Петр ничего не сказал в ответ. Речи Вита напомнили ему Бертика. Неужели Вит и впрямь говорит, что думает, или только прикидывается опытным и искушенным, чтобы его ошеломить? А может, Вит и всегда был таким? Только прежде он его не понимал. Чувство дружбы билось в душе Петра, словно раненая птица. Никогда уже не взлететь ему на крыльях доверия и восторга. Вит по-своему истолковал мрачный вид Петра.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — заговорил он. — Только это нужно выкинуть из головы, что я и сделал. Сегодня я так бы уже не поступил, потому что теперь точно знаю, где стоит пытаться, а где нельзя. А если бы решил, то повел бы себя иначе. Мне до сих пор совестно за то, каким я был тогда идиотом.

— Отчего же ты говоришь с такой злостью?

— Потому что злюсь. Этакая мальчишеская сентиментальность. Может, ты до сих пор влюблен в нее по уши, а у меня все перегорело. В Тренто мне целую неделю оказывала гостеприимство одна офицерская женушка, у которой муж был на фронте. А скольких она принимала до меня и после?! Это случилось шесть недель спустя после моего отъезда отсюда. Кама тогда пришла на вокзал. Она все мне простила и все обещала, только откладывала на будущее. А потом не прислала ни строчки, хоть я целых полтора месяца писал ей каждый день. Я думал, что сойду с ума или выкину какую-нибудь глупость. Но трентская дамочка за одну неделю выбила из меня эту дурь. Сегодня мне смешно, потому что я уже знаю, отчего Кама не писала и чего так сопротивлялась. Замуж выходит.

— Замуж? — тупо повторил Петр.

Он впервые столкнулся с обстоятельством, которое никогда не принимал в расчет. Кроме него и Вита, оказывается, был еще некто третий. Молча шагал он бок о бок

с приятелем, слушал его голос, собственно — только отзвук слов, смысл которых до него не доходил. Новость была подобна письму, содержащему отказ любимой женщины, и Петр мысленно, словно в припадке злобы, разорвал его в клочья. Он шел, не чувствуя под собою ног. В душе его, не найдя исхода в слезах, замирал плач; бестолково металось сожаление, пропадая и возвращаясь вновь, будто в сумерках летучая мышь. И тут, словно наглый прохожий, на него налетел гнев. От месяцев, канувших в лету, не осталось ничего; умерло захватившее его чувство к Каме, умерла ненависть, которой он на самом деле никогда не испытывал к Виту, хотя и предполагал обратное. В свете такого известия весь этот бред заслуживал разве что осмеяния да краски жгучего стыда. Злые слова носились у него в мозгу, словно камнями побивая тень Камы. Голос Вита звучал не прерываясь, не беспокоя и не навязываясь. Скорее всего, Вит произносил вслух то, о чем Петр думал про себя.

Вдруг он ощутил рядом пустоту и не успел еще поднять головы, как услышал смех Вита.

— Ишь как тебя забрало, брат. Ты хоть имеешь представление, о чем я тебе твердил всю дорогу?

Вит стоял перед входом в старинный винный погребок, куда они заглядывали когда-то вместе с его двоюродным братом. Брат был старше их, и они воображали, что кутят, насмешничали над ученическими порядками, но тотчас прятались за столом, если в погребок входил очередной клиент — из опасения, как бы это не оказался кто-нибудь из учителей.

В зале со сводчатым потолком резко пахло застоявшимся табачным дымом и прокисшим вином. Засветили лампу; стали видны пустые ненакрытые столы, поджидавшие гостей. Кельнерша, тусклая, как те рассветы, когда после бессонных ночей она покидала погребок, принесла им крошившийся хлеб, колбасу с подозрительным запашком, бутылку вина. И снова исчезла. Неаппетитная еда комом застревала в горле. Они пили вино — просто так, лишь бы пить. Вино было терпкое, и во рту становилось горько, такой же горькой вдруг показалась им вся жизнь. Они бранили хлеб, колбасу и вино, удивляясь заброшенности этого погребка, стены которого когда-то сотрясались от смеха, громких возгласов и песен.

Закурив сигареты и вытянув под столом ноги, они долго, молча наблюдали за тем, как табачный дым вьется вокруг одной-единственной электрической лампочки, откуда как бы низвергалась вся запущенность и ветхость залы.

От утомления мысли их расползались. Родник доверия иссяк. Они с трудом подыскивали слова, а ведь прежде достаточно было молчания. На грязной стене над спинкой одной скамейки алело большое красное пятно. Должно быть, какой-то пьяница, в приступе бешенства либо куражась, хрястнул об нее стаканом вина. Петру припомнилась одна ночь четыре месяца тому назад, когда он мечтал увидеть, как кровь Вита окрасит свежавывапавший снег. Сгорая от стыда, он, чтобы закрыть пятно, поднял ноги, положив их на спинку скамейки. Вита он не убил, но дружба все равно умерла.

— Брось думать об этом, Петр. Тут мы проиграли оба. Она — наша ровесница. Для нее мы — мальчишки. Забудь, как это сделал я. Все заживет.

— А я и не болел.

Вит рассмеялся.

— Ну, как знаешь.

Все, что бы они ни говорили друг другу, воспринималось обоими с каким-то вялым равнодушием.

— И пусть себе замуж выходит, только поскорее! — развивал свою мысль Вит. — Такие, как она, в конце концов станут пережитком. Вот посмотришь, эта война все переменит.

— Тебя она уже переменила.

— И не меня одного. Таким глупым ягням, какими мы были, война показала, что кроме смерти и страха есть еще и жизнь, которой надо успеть воспользоваться. Именно так, как нынче шутят: «Налетайте, покупайте, потом будет поздно».

Петр молчал. К чему возражать? Он курил его сигареты, пил и ел за его счет. Дружба уже умерла, а эта грязь пережила ее. В какое же время он родился, в какое мерзкое время! А впрочем, разве было бы ему лучше, не случись войны? Этого он не знал. В душе его ощущения и давние привычные думы поминутно сменяли друг друга, наплывая и перекатываясь, как волны тумана. А Вит продолжал свой монолог, исповедуясь в своей новой вере, носившей отпечаток совсем еще свежих впечатлений.

— Сегодня, когда я ехал в поезде, произошел такой случай: один солдат, усатый и уже пожилой, наверняка многодетный папаша, вез откуда-то из деревни два каравая хлеба. Напротив сидела дамочка. Хорошенькая, молодая. Пока солдата не было, мы заигрывали друг с дружкой. Я уже думал, что мое дело в шляпе. Но как только запахло караваями, она, подняв кверху носик, сказала: «Господи,

какой хлеб. За такой хлеб я готова что угодно отдать». Усач покраснел и буркнул: «В самом деле?» И она тут же заулыбалась, принялась разговаривать с ним. Из вагона они вышли вместе, и она повела его на трамвай. И ведь не какая-нибудь шлюха, вовсе нет. Теперь это в заводе. Нужда, голод и страх — как в средневековье, когда боялись прихода конца света. Взгляд на жизнь упростился. Что хочу и могу, то и хватаю без всяких там фиглей-миглей.

Кельнерша принесла им еще одну бутылку вина. Вит отпустил какую-то шуточку, у апатичной девицы она возымела успех. Спустя четверть часа она уже помогала им расправиться с бутылкой — едва ли не успешнее, чем они сами, и позволяла Виту вольности, которые выражались больше жестами, чем словами. Она отбивалась от них ровно настолько, чтобы побудить его к новым.

— Сегодня сюда все равно уже никто не придет, — объяснила она.

Потом они принялись подсмеиваться над Петром. Ах этот Петр, он такой добрый, такой младенец, ей следовало бы им заняться. Девица глянула на юношу с особым интересом. Подсела к нему, положила руку на плечо и потерлась об него щекой, на которую упала выбившаяся прядь волос.

— Отчего ты такой невеселый, дружок? Можешь меня поцеловать.

Леденящая волна, пробежавшая по телу от прикосновения женских волос, наткнулась на юношеский бунт и смущение. Но у Петра не хватило решимости оттолкнуть эту девушку, от которой разило вином и табачным дымом. Он сидел, свесив руки между колен, и чувствовал, как поlexают его щеки, и в строптивой бесчувственности весь сжимался в комок. Смех Вита прозвучал мерзко и пронзительно.

— Да ему неловко, ему просто неловко.

Кельнерша тоже хохотала. Обстановка винного погребка, дым, синеватой пеленой — то более густой, то более редкой — круживший вокруг единственной лампочки, — все напоминало сцену, где он один был и зрителем и актером. Странно, но ведь и вся жизнь, а быть может, и вся человеческая история состоит, вероятно, из таких вот ничтожных случайностей. Как узнать, какое происшествие существенно, а какое — нет? Ведь все переживаешь одинаково. Взять, к примеру, Вита, солдата, который получил увольнительную и теперь желает развлечься; хочет доказать и себе и другим, что он возмужал и может отныне

смеяться над такими глупостями, как чувства. Сейчас он сидит здесь, а через несколько дней снова окажется там, где воюют и где творится история. И для него эта история снова окажется лишь цепью случайностей, мелких происшествий, которые существенны лишь своим количеством и своими последствиями. Может статься, что и для него самого, и для Вита сегодняшнему дню суждено оказаться куда более важным, чем самое главное сражение. Как тут разберешься. Голова его была целиком занята этими мыслями, но ему казалось, что он успевает отвечать на слова, которые бросают ему Вит и кельнерша, что он смеется, когда смеются они, что вообще он держится как-то пассивно и уступчиво в этом мимолетном действе. Вот он слышит, как Вит поет: «Густа, толстая Густа» — и как, взвизгивая, хохочет кельнерша. Видит и воспринимает все. Закопченные и прокуренные стены, дым, что вьется вокруг лампы, большую и маленькую стрелки, которые сближаются, как ножницы, состригая с ленты времени одиннадцать часов, забавы Вита и Густы. Пробудившаяся чувственность ломала тело, как иступленные узники — тонкие стены своей камеры. И все-таки какого-то порога переступить было нельзя, даже в ознобе сладострастья Петр ощущал отвращение к тому, что разыгрывалось у него на глазах.

В распахнутых дверях показалась голова седовласого хозяина.

— Полицейский час, — хрипло произнес он и исчез.

На стенных часах большая стрелка перекрыла маленькую, показывая двенадцать.

Они молча стояли в узкой улочке; над черными фронтонами домов горели крупные звезды. В дверях винного погребка заскрежетал ключ, замыкая первую часть ночи, которая неслышным движением обратилась лицом к рассвету. Вит закурил сигарету и усмехнулся, выпятив грудь и чересчур резким движением отбросив спичку.

— Красотка, а? Но если хочешь, я прямо сейчас уступлю ее тебе.

Хотел ли этого Петр? Возможно, ничего иного он и не желал. Но все-таки ответ остался невыговоренным, а Вит его не домогался.

На противоположном тротуаре, привалившись к столбу потухшего фонаря, стоял солдат в полевой униформе. Но сам он был какой-то помятый, словно бесхребетный; казалось, будто сам столб вздулся у основания. Там, где была голова, пламенел огонек сигареты. Грохот опускаемой железной шторы, глухие, эхом отдававшиеся покашливания

солдата, еще какой-то едва различимый звук — наверное, так скрипела земля, поворачиваясь в безмолвных просторах вселенной, — все это словно легкими перстами касалось Петра, увлекая в нереальность.

Подойдя сзади, Густа хлопнула их обоих по плечам и громко расхохоталась.

— Пошли.

Подхватив обоих под руки, она втиснулась между ними. Очевидно, дальнейшие решения ожидались по дороге, но Петр вдруг словно прирос к месту, где он стоял. Солдат на противоположной стороне тротуара шевельнулся (показалось даже, будто внезапно ожил и покачнулся фонарный столб) и закашлялся снова. По мостовой грохнули кованые сапоги — это солдат сделал несколько шагов вперед.

— Густа...

Оцепенев от неожиданности, девица судорожно вцепилась в своих кавалеров.

— Господи Иисусе, Карел...

Она попыталась было броситься солдату на шею, но наткнулась на выставленную ладонь. И Петр и Вит это видели.

— Как прикажешь понимать? — взревел солдат. — Отвечай, что все это значит? Такими-то делами ты тут развлекалась?

Солдат взмахнул рукой, Густа упала, и тут Вит опомнился. Подхватил Петра и потащил за собой. Вслед им неслись вопли и визг избиваемой женщины.

— Быстрее, а то и нам достанется.

— Нехорошо бросать ее одну. Он ведь и убить может.

— Нет, романтизм доведет-таки тебя до ручки. Нам-то какое дело? Откуда нам было знать, что она замужняя?

Виту представился новый повод поговорить на тему о том, что нынче «все они такие». Разница только — в способах. Мир явно походил на тот, каким Вит его изображал, изыскивая все новые и новые доказательства своей правоты. Петр почувствовал, как приятно и легко приспособиться к этому изменившемуся миру. Но он уже не узнавал в нем ни себя, ни Вита.

Мать чистила металлические накладки на дверях дома, Петр ей помогал. Дверная латунь почернела от прикосновений, насланявавшихся изо дня в день в течение недели. С тех пор как Петр себя помнил, раствор, которым мать оттирала

ручку, казался ему волшебным. Стоило потом потереть ручку сухой ветошью, как от его движений проблескивал оживший металл. Приблизив к блестящей поверхности лицо, Петр видел в этом зеркале свое причудливо вытянутое отражение; от теплого дыхания оно быстро запотевало. Повторяя эту игру, он представлялся себе малым ребенком, которого такая игра развлекает, и одновременно юношей, погруженным в мучительные размышления.

В шуршании шелков, словно опустившаяся на землю ослепительная райская птица, перед ним возникла пани Газова. С презрительной и высокомерной миной ждала, пока ей освободят проход. Петр отступил в тень, которую отбрасывали двери, чтобы не было видно, как он покраснел. Мать смиренно поздоровалась. В двух шагах позади пани Газовой стояла ее новая служанка.

Петра парализовал страх. Ну как пани Газова расскажет матери о его ночном нападении?

Но пани Газова, хоть и весьма раздосадованная тем, что ее задержали, вдруг одарила мать благосклонной улыбкой и произнесла:

— А у вас хороший помощник.

Мать расплылась в счастливой улыбке и, зардевшись, будто молодая, ответила:

— Помощник хороший и мальчик хороший. Не стесняется мне помогать, хотя уже большой и учится в реальной гимназии.

— Так всегда, — заметила пани Газова. — Пока за де-вушками не ухаживает, все еще маленький. А может, и ухаживает? — Она улыбнулась Петру и подняла руку, словно желая ему пригрозить.

— Какое там, — торопливо возразила мать и даже поперхнулась от охватившего ее волнения. — Вам не стоило бы при нем и упоминать об этом, сударыня. Как можно, он ведь у меня такой скромный. Целыми днями только книжками и занимается.

В глазах пани снова блеснула благосклонная кокетливая улыбка.

— Ну-ну. Я бы не очень доверяла такому молодцу. Но, конечно, вам виднее. И хорошо он учится?

— О, он у нас такой головастый! — расхвасталась мать. — Из первых учеников.

— Вот ведь какая радость, — заметила пани Газова. — Выучится, на богатой женится.

Переливчатый смех, затихая, слился с шелестом шелков, и пани Газова выплыла из ворот. Служанка двинулась

вразвалку следом, не сводя с Петра больших, широко расставленных глаз на прелестном неподвижном розовом личике. Густой аромат духов медленно растворялся в воздухе.

— Ах ты, шлюха! — выдохнула мать, едва двери хлопнулись. — По ее выходит, все такие же, как она. Ах, господи, бедному человеку от любой девки всякие грубости терпеть приходится. Теперь ты и сам небось видишь, Петр. Учись, учись, сынок, чтоб когда-нибудь...

И мать оседлала своего любимого конька. Принялась рисовать будущее Петра, как оно представлялось ей из той грязной ямы, какой была ее собственная жизнь. Поэтому неожиданный яростный протест Петра был выше ее понимания.

— Замолчи, мама, замолчи, умоляю, не изводи меня больше.

Запоздалое сожаление о вырвавшихся словах не могло уже остановить потока материнских упреков. Петр поднял тряпку, которую от злости швырнул было наземь, и принялся с ожесточением чистить ручку, делая вид, что не слышит обидных слов, градом сыпавшихся на его голову. В эту недобрую минуту на него излилась вся горечь, копившаяся в душе матери изо дня в день в течение однообразной нескончаемой череды безрадостных лет. Что она, собственно, видела в жизни? Гнула спину на господ, сносила незаслуженные попреки и укоры. Никто никогда не интересовался, чего ей хочется, здорова она, больна ли, все едино, знай бегай с одной каторги на другую; и так с четырнадцати лет, одна, вдали от отчего дома, безропотно маялась и все работала, работала. А зачем, чего ради? Чего ради одна без отдыха тянула лямку, словно лошадь в упряжке, в то время как другие бабы сидели сложа руки да пузо себе отращивали? Не ради себя, где там, ей это было ни к чему. И вот — на тебе, дождалась — за все, за все, что она для него сделала, любезный сыночек ей еще и грубит.

Все это было правдой. Но ничего не могло быть для Петра страшнее, чем слышать ее из материнских уст. Ведь столько он об этом думал, столько раз казался себе виновником несчастной материнской доли, столько мечтал, как в один прекрасный день все исправит! Но услышав эти же обвинения от нее самой, взбунтовался, отказываясь их признать. Жалостливый тон ее укоров и причитаний только ожесточил его.

С преувеличенным старанием продолжал он чистить

металл. А когда мать под конец заявила, что все бросит и ни о чем не будет больше заботиться, Петр не выдержал и, крикнув:

— Ну и бросай, бросай, я же ничего у тебя не прошу! — выскочил на улицу.

Чем дальше он удалялся от дома, тем больше росло его отчаяние. Бредовое желание бежать и никогда сюда не возвращаться гнало его вперед, так что скоро он был весь в поту. Он не видел над собой чистого июньского неба, которое наступающий вечер тронул нежной позолотой. Он ощущал в душе только ненависть и всесокрушающую злобу. «Разве это любовь, — вопрошал он сам себя, — если она упрекает тебя за то, что сама отдает?» Ему хотелось сбежать куда-нибудь, где можно бы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. И он тут же совсем по-ребячьи принимался подсчитывать свои будущие доходы. Любые суммы казались ему пустячными. И вот, разбогатеv, в один прекрасный день он позабыл бы о прежних раздорах, вернулся бы домой и окружил мать достатком и благополучием. Он представил ее седой и изможденной. Она отдавала ему все, что могла, работала до упаду ради него одного. А он, злой и неблагодарный оболтус, всем этим пользовался и ни разу не спросил, есть ли у нее хотя бы самое необходимое. Теперь ему трудно было разобраться в хаосе нахлынувших чувств, он не знал, к чему склониться, в чем искать причину непомерных своих терзаний и трудностей. А летний день, напоенный теплом, влагой и благоуханием, только усугублял этот хаос. Домой он возвращался полный желания помириться с матерью, погладить ее по руке, поговорить, снова войти в ее мир и в мир своего преданного ей детства, безвозвратно канувшего в прошлое.

Но когда он переступил порог, мать ответила на его приветствие холодным молчанием, и вся нежность, которую он копил в душе по дороге к дому, разбилась вдребезги. Красные от слез глаза и упорно избегающий его взгляд пробудили в нем новый приступ протеста. Они поужинали в полном безмолвии, и, когда мать принялась мыть посуду, он взял учебник истории и уселся с ним во дворе под окном. Однако мысль его блуждала вовсе не там, где свершались события давно минувших дней, летосчислений, поворотных пунктов истории, мимо которых время пронеслось стрелой в безудержном стремлении к современности. И не была ли сама современность той же историей? Весь мир полыхал в огне. Каждый день на войне погибали тысячи людей. Столько смертей, столько скорби, столько несчастий и ни-

щеты вокруг. А в далеком-далеком будущем какой-нибудь мальчик, как он сам, усевшись с книгой, вроде той, что у него в руках, станет зубрить про начало войны и ее конец, про то, кто ее вел, кто вышел победителем и что приобрел, будет запоминать имена императоров и государственных деятелей, водить пальцем по изменившейся карте Европы, равнодушно воспринимая цифры и имена, думая о чем-то своем, для него куда более важном, чем это уже преданное забвению кровопролитие. Петр осознал всю грандиозность эпохи, когда малое и великое — все исчезало и вымирало одинаково бесследно. Но от сознания этого ему не становилось легче.

Над серой зацементированной поверхностью двора расцветилось золотом голубое небо, жгучее золото лучей вырвалось за края белых облаков. Со своего места Петр видел верхушки деревьев монастырского сада, вымахавших выше ограды, а над ними — длинную, круто взмывающую вверх крышу самой обители. Лишь изредка проникало сюда позвякивание трамвая, вечно слыла здесь дремотная тишина, словно на дне глубокого колодца. Единственным звуком, нарушавшим эту тишину, были крики стрижей, хватавших на лету невидимых мошек. Порой в погоне за ними они залетали почти на середину двора и взмывали вверх совсем близко от Петра, чуть не касаясь его лица и взвихривая воздух своими стремительными крылами. И в эти мгновенья волны нежности и тепла окатывали юношеское сердце. Высоко-высоко, в почти недосыгаемой для взгляда высоте, кружили какие-то другие птицы, которых Петр заметил, лишь когда лучи солнца вспыхнули на нижней стороне их неподвижных, широко раскинутых крыл.

Как только солнце закатилось, из сада потянулись голубоватые тени, и островерхая крыша монастыря медленно погружалась в них, будто обломки тонущего корабля.

«Покой, вечный покой», — тихо твердил Петр, не понимая, откуда взялось это расслабляющее спокойствие, когда весь мир качается, словно сосна в бурю, и его самого швыряет, будто листок бумаги, что без цели несется по равнодушной улице. Волнение его улеглось, а тяжелые думы куда-то исчезли.

Он мысленно обратился к Каме.

«Я знал, — сказал он ей, — я знал, что это неправда и вы вернетесь. Он обманул меня, чтоб отнять вас».

Вдвоем они смотрели сверху на город, тонувший в синей глубине, которая была ночью. От живых ароматов, доно-

сившихся из-за стены монастырского сада, наполнились благоуханием и грезы Петра.

«Чувствуете? Это жасмин и, наверное, где-то совсем неподалеку».

Испытывая легкое головокружение, он в грезах своих — да и на самом деле — опустил голову, словно склонившись на плечо Кама.

«А что до Вита, — произнесла Кама, и Петр, вздрогнув, поднял голову, — наверное, он на самом деле любил меня. Только был очень груб».

«Вит никогда не любил вас, — пылко возразил он. — Вы были нужны ему только для забавы. Я знаю это точно. А иначе — к чему бы эта барынька в Штирии? А кельнерша Густа? Ах, сколько я мог бы порассказать вам о вашем Вите».

«Но ведь вы были друзьями», — напомнила Кама и тотчас исчезла из виду.

Петр расхаживает по площади городка, как две капли похожего на тот, где он в позапрошлом году проводил каникулы. А вот и она, в окружении девушек, идет под руку с каким-то высоким стройным офицером. Петру никак не удавалось представить себе его лицо. Наконец ему припомнился коренастый капитан, с надменным видом вышагивавший впереди потрепанной маршевой роты. Да, это он.

«Мой жених», — представила Кама офицера.

И Петр лихорадочно ищет, что бы такое сказать, чтобы посрамить их обоих. Сцена никак не удастся. Он пытается вообразить какую-нибудь героическую концовку, но даже в фантазии ему недостает для этого отваги. Наконец он решается. Устремляет взгляд на ноги офицера.

«Да ведь у него плоскостопие, — бросает он. — И вовсе он не капитан, а унтер — из бывших пекарей».

По ходу сюжета в этом месте следует мрачно расхохотаться. Из горла у него вырывается странный каркающий звук, от которого по коже бегут мурашки. Петр в испуге очнулся. Сумрак сгущался, на улице еще можно было что-то разглядеть, но небо стало темно-синим, и предметы утратили свои очертания и краски. Он вспомнил, что сидит под распахнутым окном. А там, наверное, мать, и ей слышно, как он смеется. Встав ногами на стул, он заглянул в комнату. И не увидел ее.

— Мама! — крикнул Петр, но никто не отозвался.

Тишина. Наверное, ушла из дому или поднялась наверх, к хозяевам. Он огляделся по сторонам, чувствуя себя бесконечно одиноким.

Торопливо зазвучал колокол и, всхлипнув, затих, потом заблаговестил снова, снова стих, и наконец протяжный звон раздался в последний раз. Три крестных знамения, начертанных со стыдливой поспешностью, три линии запи-
нающихся звуков, три горсти камешков, просыпанных в омут сумерек. Под чьими-то легкими шагами дрогнул над головою Петра пол галереи. Это она, догадался он. И сегодняшние события всплыли в памяти, снова блеснула притупленная коварная усмешка. Она прошла над ним и не смогла бы его увидеть, даже если бы перегнулась через перила. Он быстро взглянул на противоположное крыло дома. Окна закрыты, а галереи — пусты. Дом был старый, но населяли его зажиточные люди, а они не расслаиваются под окнами или на порожке.

— Сука,— проговорил он и услышал, как шаги замерли.

В наступившей тишине сердце Петра заколотилось дикой, мстительной, хамской радостью. Перила дрогнули, когда пани Газова, подойдя, коснулась их туфель.

— Сука,— хрипло, но отчетливо повторил Петр.

В ответ послышался сиплый вздох, и шаги заторопились дальше.

Распахнутые двери подъезда позволили Петру отступить без помех, и, когда высокие каблучки туфель застучали по лестнице, он по стесанным ступенькам неслышно проскользнул в подвал.

Подвал, сумрачный, как тюремное подземелье, тянулся вдоль всего дома, самого большого на их улице. Одну половину подвала занимал склад ящиков, а другая перегородка-ми из необструганных реек была разделена на множество клетушек, где квартиросъемщики хранили запасы угля и дров или сваливали груды вышедшей из употребления рухляди, обреченной на уничтожение. От незамощенной утрамбованной земли веяло сыростью; от сырых дров и хлама шел затхлый запах. Когда затихал пронзительный скрип дверей, эхо доносило какой-то неясный шум и шорох. Это разбегались по своим щелям крысы. Подвал был тем местом, где от удушающей тоски у Петра всегда перехватывало горло.

Проскользнув в дверь, он рассчитывал очутиться в полнейшей тьме. Но когда заметил меж клетушками колеблющееся пламя свечки, и без того гулко колотившееся сердце чуть не выпрыгнуло у него из груди. Деревянные решетки мешали разглядеть, кто там находится. На потолочном своде он различил лишь колеблющуюся тень женской

фигуры, перечеркнутую полосами перегородки. Держась рукой за стену, он на цыпочках прокрался к сложенным в подвале ящикам, скорчился и укрылся за самым высоким штабелем. Теперь, когда тело было в безопасности, он почувствовал, как комом застряло в горле сердце, и ком этот невозможно проглотить. Он слышал размеренный стук топора, слышал, как падают расколотые поленья. Во влажной атмосфере подвала запахло приключением, и на какое-то мимолетное мгновение он снова перенесся в те времена, когда играл в индейцев, устраивал тайники и засады.

Заржавевшие петли подвальных дверей предостерегающе закрипели. Петр скрючился в три погибели.

Пани Газова крикнула от самых дверей:

— Фрида, эй, Фрида, вы здесь?

— Здесь, сударыня, — прозвучал из глубины подвала грудной, чуть резковатый женский альт.

— Тебе не встречался дворничихин мальчонка?

Петр стиснул кулаки.

— Нет, сударыня, — ответил несколько изумленный голос. — Здесь никого не было. Я бы уж как-нибудь услышала.

— Наверное, вы правы. Скорее всего, удрал на улицу. Вы уже накололи дров, Фрида?

— Сей момент, кончаю, сударыня.

— Поспешите. Мне пора идти.

Петли дверей взвизгнули, и эхо повторило их скрежет. В наступившей тишине послышался девичий смех и какие-то слова, но смысла их Петр не разобрал. Рассмеявшись, девушка снова ткнула по полену топором. Петр медленно распрямился.

Что теперь? Подняться наверх он не мог. Пани Газова, наверное, все еще там и высматривает, куда он подевался. Он уже не раскаивался в своей грубости. Пусть только девушка уйдет, он тотчас выскользнет за ней следом. Значит, ее зовут Фрида! Он припомнил, что видел ее в полутьме подворотни. Вроде хорошенькая. А как на самом деле? Он попытался разглядеть ее через загородки клетушек. Но частые рейки, сливаясь в неярких отблесках колеблющегося пламени, казались непроницаемы, как стена. Он видел лишь тень на своде потолка, которая раскачивалась, вытягивалась и уменьшалась, потому что девушка, коловшая поленья, то наклонялась, то выпрямлялась снова. А что, если подползти к ней тихо, как хищник, повалить на землю и все сделать?.. Ему вспомнилась газетная хроника. Хотя он знал, что тем самым совершил бы ужасное преступление

(в таких уж понятиях он был воспитан), в душе своей он никогда не ощущал отвращения к преступникам подобного рода. Хотя газеты клеймили их как «развратников», он пробовал вжиться в их ощущения и в мотивы поступков. Несмотря на трепет, охватывавший его перед такими людьми, выдумывать эти преступления доставляло ему неизъяснимое наслаждение.

Ноги Петра ныли от неудобства, тревоги и напряжения. Как долго это продлится? Ящик за его спиной оказался перевернут, так что можно было присесть. Он осторожно ощупал его — не торчит ли какой гвоздок. Потом попробовал опуститься. И тут хлипкие доски ящика оглушительно скрипнули. Петр замер, оцепенев от страха.

Услыхала она или нет? Девушка прекратила работу. Тень ее на потолке вытянулась — значит, она выпрямилась и теперь прислушивается. Он старался не шевелиться. Но дощечки, еще не осевшие под его тяжестью, скрипнули снова. Тень подтвердила, что девушка, испугавшись, вздрогнула. Подождала чуть-чуть и потом спросила неестественно громко:

— Есть тут кто?

Гулкое пространство подвала еще не успело поглотить отзвука ее вопроса, как доски ящика скрипнули опять.

— Есть тут кто? — воскликнула она, и в голосе ее послышалось отчаяние.

Петр соскочил с ящика.

— Не пугайтесь, — произнес он. — Это я.

Он услышал, как она с облегчением перевела дух. Направляясь к ней, он попытался выдумать какую-нибудь спасительную ложь, чтобы объяснить, как он здесь оказался. Но очутился рядом с ней раньше, чем что-либо пришло ему на ум.

— Господи, как же вы меня напугали, — проговорила она.

— Что так?

— Да тут такая жуть, а я в первый раз. Так, стало быть, вы все-таки сидели здесь?

— Можете ей донести.

— Вот так и побежала, — ответила она. — А с чего это она вас тут разыскивала?

— Она, наверное, сама вам похвастается.

Девушка промолчала, уставясь на него немигающим взглядом. Она была вполне хорошенькая. Краснощекая. А теперь, когда они смотрели друг на друга, просто пунцовая.

— Ну, я кончила, — сказала она и принялась собирать поленья. Петр наклонился, чтобы ей помочь. Оба молча складывали дрова. Справившись с этим делом, Фрида подняла ведро, а Петр взял свечку. Выйдя из клетушки, поставил свечку на выступ стены.

Фрида заперла и хотела пройти, Петру пришлось прижаться к рейкам соседней клетушки. Проход был такой узкий, что девушка еле протиснулась. Сам не зная, как он отважился, Петр схватил ее за плечи и удержал. Она притихла и в упор посмотрела на него. Взгляд ее был на удивление невыразителен. Этот взгляд не будоражил, но и не пугал. Петр привлек ее к себе и поцеловал в губы.

Она не ответила, словно одеревенела. Даже ведро не выпустила из рук. Петр поцеловал ее еще раз, потом еще, продолжая держать за плечи.

— Мне пора, — проговорила она и вырвалась из его рук.

Он двинулся следом. На губах остался противный соленый привкус, а в голове — путаница. Наиболее отчетливой была мысль: «Теперь, по крайности, не проболтается».

5

Фрида спускалась вниз по лестнице, Петр, сидевший у дверей с книгой в руках, слышал, как призывно позвякивает совок в ведре для угля. Это был знак, приглашавший на свидание в подвале. Приподняв занавеску, закрывавшую стекло левой половины двери, и убедившись, что это на самом деле Фрида, Петр снова опустил ее. Мать ничего не замечала. Она возилась у плиты, целиком погрузясь в свое занятие и печальные мысли. Утром они получили еще одну розовую открытку полевой почты. Убористые строчки во многих местах пестрели васильковой синью — следами цензорского карандаша. Из уцелевшей части письма можно было понять, что отец уже вне опасности, но после дизентерии так ослаб, что теперь просит прислать немножко вина — бутылочку малаги, которая вернет ему прежние силы. Письмецо лежало на столе, мать то и дело наклонялась над ним, перечитывала снова и снова, утирая слезы.

— Ведь сколько вытерпел, бедняжка! — приговаривала она. — Сколько всего вытерпел! Ну, а эти-то бандиты, даже письмо и то исчеркают. — И тут же заводила снова: — Бедняжка, как-то он теперь! И где же все-таки раздобыть эту малагу?

Материнские причитания задевали Петра за живое. А ее «бедняжка» прямо жалило его. Даже теперь, после столь долгой разлуки, он не тосковал по отцу. Хорошо, что он там, а они с матерью — здесь; сын не желал отцу ничего худого, но боялся и думать о его возвращении. Предпочитал не вспоминать об этом вообще.

— Я дам тебе денег, а ты разыщи где-нибудь вино, — предложила мать.

— Ладно, — рассеянно ответил Петр. — А теперь я схожу за дровами.

С тех пор когда он так неожиданно для самого себя поцеловал Фриду, они ежедневно встречались в подвале. Он поджидал, когда загрохочет ведро, а потом пробирался за Фридой следом. В тесном проходе между клетушками можно было не бояться, что их нечаянно застукнут. Скрипучие двери надежно охраняли их и позволяли вовремя отскочить друг от дружки, если кто спускался в подвал. Стоило Петру появиться в дверях, как Фрида бросала свою работу и спешила ему навстречу. Они даже редко здоровались друг с другом. Время свидания пролетало в полном безмолвии. Они обнимались, прижимаясь друг к другу, и целовались всласть. Ширококостная, статная Фрида и высокий, по-юношески тонкий Петр. Он пробовал было высвободиться из ее объятий и решительно продвигнуться вперед в этом любовном приключении, так много сулившем вначале, но из-за непреклонности Фриды все оставалось по-прежнему, как и в первый день. Чтобы казаться искушенным и испорченным, он маскировал свою страсть, а еще того более — смущение и стыд — нарочитой грубостью. Ибо всякий раз, когда он стоял рядом с ней, впиваясь в ее губы, не доставлявшие ему ожидаемого наслаждения, или когда тискал ее сильное, крепко сбитое тело и грубо щипал за то, что она не желала отдаться, когда видел ее глаза, исполненные собачьей преданности и покорности, молящие простить ее за неуступчивость и не гневаться, перед его мысленным взором неизменно вставляли образы двух женщин: Камы и пани Газовой. Он переживал двойное унижение. Как низко он пал! Вот бы теперь посмеялась пани Газова! «Ишь, дерзкий мальчонка! — усмехнулась бы она. — Это называется — получил свое. Замахивался на меня, а удовольствовался моей служанкой». Когда ее образ проносился у него в голове, он готов был раздавить бессловесную покорную Фриду. И сжимал ее так, что она хрипло вскрикивала и просила:

— Не так сильно, пожалуйста, не так больно. Зачем вы так?

И ему тут же вспоминалась Кама. В сравнении с тупо-невыразительной смазливой мордашкой Фриды образ ее, который прежде он тщетно старался вызвать в памяти, теперь возникал с необыкновенной отчетливостью. Так ясно, что хотелось завывать. Любовь к ней, благоухавшая ароматом той красоты, в которой ему было отказано, превращалась в поток ненависти. Он считал Каму виновницей своего унижения. Если бы она ответила ему любовью, он никогда бы не очутился здесь, с этим безмозглым и упрямым созданием. В эти минуты, чтобы как можно сильнее уязвить Каму, он хватал Фриду за плечи и говорил:

— Какие у вас глаза, Фрида, какая вы хорошенькая. — Но не мог заставить себя выговорить: «Я вас люблю», а поэтому спрашивал: — Вы меня любите?

И пока она дрожала, ошеломленная столь неожиданным излиянием нежности, и гладила его щеки своими шершавыми руками, и шептала «люблю», все его существо содрогалось от отвращения.

После каждого очередного свидания он уходил с твердой решимостью никогда больше сюда не возвращаться. Грязный, сырой подвал со сталактитами пыльной паутины приводил его в ужас и укреплял в убеждении, что так вести себя не следует. Собачья привязанность Фриды еще более способствовала этому настроению. В своей преданности Фрида заходила так далеко, что колола за него дрова, которые он обещал принести матери. А он возвышался над ней, засунув руки в карманы, когда она билась, отрывая доски ящиков, служивших для них единственным топливом, и посвистывал, подавляя в себе желание схватить ее сзади, пока она стоит склонившись над колодой, и повалить наземь. Однако, хотя жестокая эта мысль дурманила его сознание, привести ее в исполнение он не решался.

Позже, сидя во дворе при ясном свете дня, глядя на голубое небо, он вспоминал все пережитые ощущения и не в силах был в них разобраться. Нет, это не он, то был явно не он. Если бы Кама вернулась, все бы переменилось и стало таким же чистым, как прежде.

В тот день, когда они получили письмо отца с просьбой прислать вино, мать, выпросив у хозяйки чуток белой муки и масла, замесила тесто для сдобной булки, чтобы послать ее отцу. Вместе с тестом, которое быстро подошло, пришел конец и ее терпенью, потому что Петр слишком долго не возвращался. Она спустилась в подвал. Скрежет дверей

возвестил об ее приходе. Петр и Фрида отскочили друг от дружки, но мать остановилась в дверях и крикнула оттуда:

— Ты чего так долго, Петр?

И тут Петр, которого осенило, что их могут выдать предательские тени, сбил ногой свечку с чурбака и только потом ответил:

— Я сейчас, мама, у меня погасла свечка. Иду, иду.

— погоди, я помогу.

— Да нет, мама, не нужно.

Схватив ведро с дровами, он устремился к дверям так резво, что стукнулся лбом о столб, подпиравший потолочный свод. Наверх поднялся белее мела.

— Что с тобой, Петр? — мать уставилась на него устранным взглядом.

— Да ничего, пустяки. Налетел на что-то.

— Какой-то ты шальной, милоч, так и убиться недолго.

Обнаружив у него на лбу ссадину, которая быстро превращалась в синяк, она привлекла его к себе и плоскостью ножа стала разминать растущую шишку. От ее забот он почувствовал себя ребенком. Ему захотелось, как в детстве, обняв мать за шею, признаться ей во всем. Родник жалости к самому себе забил в нем и едва не пролился из глаз потоками слез. Но на сей раз Петр был настолько истерзан сознанием своей вины, что не отважился даже на грубость, чем иногда помогал себе выбраться из запутанных положений. Легонько забрав нож из рук матери, он попросил:

— Покажи-ка мне, как это делается, мама. Я сам разомну шишку.

В душе своей он, словно неисправимый алкоголик, давал клятву, что сегодня это уже в последний раз, в самый последний. Он стал воплощением покорности и предупредительности; взяв деньги, отправился искать вино. Но ему не повезло. Знакомый аптекарь пообещал найти две бутылки только через несколько дней, а мать уже испекла сдобную булку и хотела послать посылку, не откладывая.

Возвращаясь домой, он медленно завернул за угол и тут носом к носу опять столкнулся с Фридой, которая несла корзинку с чистым бельем. Он хотел было пройти молча, потому что встретиться сейчас с Фридой ему хотелось бы меньше всего. Но когда он, насупившись, проходил мимо, она тихо спросила:

— Вы на меня сердитесь?

— Нет, — грубо ответил Петр и двинулся было дальше.

Но Фрида, животом прижав корзину к стене дома, схватила его за руку.

— Зачем вы лжете? Ведь вижу, что сердитесь. Ваша матушка видела вас?

Этот вопрос переполнил чашу его терпения. Он резко дернулся, и Фрида, крепко вцепившаяся в него, отшатнулась от стены, так что корзина, лишившись опоры, упала наземь и опрокинулась. Часть белья вывалилась на дорогу.

— Ах ты, боже мой! — воскликнула Фрида. — Вот уж барыня раскричится!

Испуганный Петр устыдился. Подскочив к Фриде, стал помогать ей собирать белье.

— Я нечаянно, ей-богу. Вам попадет, да?

Но, пока он произносил свои извинения, новая волна гнева нахлынула на него. «Этого еще недоставало, — думал он, — нечего было цепляться, дура этакая».

Зато Фрида, утешенная тем, что он просит прощения и помогает собирать белье, бормотала:

— Ничего, это ничего. Суну пока что вниз, а там перестираю.

Собрав белье в корзину, Фрида с упорством деревенской девчонки снова вернулась к тому, на чем остановилась:

— Ну, а теперь признайтесь, отчего вы такой сердитый.

Чтобы побыстрее избавиться от нее и вознаградить за нанесенный ущерб, Петр рассказал об отцовской болезни. Ходил искать для него малагу, да ничего не вышло. Фрида даже раскраснелась от воодушевления.

— Погодите, я поищу у нас. Спуститесь вниз и ждите меня там.

Подхватив корзину, она скрылась из виду так неожиданно, что Петр не успел ей возразить. Немного помешкав, он пошел следом. Осторожно прошмыгнув мимо своей квартиры, спустился в подвал. Скорее всего, Фрида и впрямь раздобудет вино. Вполне возможно. Потому что, с тех пор как пани Газову навещает начальник военного госпиталя, не проходит и дня, чтобы в доме не появился солдат с корзиной продуктов. Петр на ощупь добрался до ящиков, за которыми скрывался незадолго перед тем.

Вот как низко он пал и теперь будет опускаться все ниже и ниже. Сейчас он ждет, когда служанка притащит ему вино, украденное у хозяйки. У той хозяйки, о которой он тщетно мечтал и которая надсмехалась над ним.

Услышав, что кто-то идет, он юркнул за ящик. Неяркое пламя свечи расплавало тьму, и над ним возникло лицо Фриды.

— Петр, — тихо позвала она. Она впервые обратилась к нему так, и Петр почувствовал себя едва ли не уязвленным.

— Петр, идите сюда.

Он поднялся из-за ящиков и нерешительно приблизился. Она приподняла смятую бумагу, лежавшую комом наверху ведерка. Под ней оказались три бутылки.

— Зачем три? — спросил он. — Двух вполне довольно. А ну как хозяйка хватится?

— Ах, это она-то хватится! — Фрида презрительно отмахнулась. — Да она и понятия не имеет, что у нее там есть. Впрочем, что же тут такого? Все равно ведь у солдат украдено.

Что правда, то правда, в этих словах содержалось некоторое оправдание, и Петр тотчас за него ухватился. Украденное у немощных солдат к немощному и вернется. В эту минуту он вспомнил отца даже с некоторой нежностью. Оставалось лишь решить, как пронести вино домой, как объяснить, почему тут три бутылки вместо двух и почему он принес их без упаковки. Он быстро обдумывал эти вопросы, забирая вино из ведерка.

— И вы даже не поцелуете меня, — с упреком произнесла Фрида.

— Ну конечно, разумеется. — Он поцеловал ее, держа бутылки в охапке, и тут же повернулся к выходу, не обращая внимания на ее укоризненный взгляд. По лестнице поднимался как можно тише и так же тихонько проскользнул в двери квартиры, выстроив бутылки у порога. Потом распахнул двери и вошел в комнату. Мать до сих пор сидела возле плиты впотьмах, не зажигая огня, обхватив голову ладонями. Но тут же поднялась и с напряжением спросила:

— Принес?

— Не-е, — ответил Петр, придерживаясь своего плана действий.

— Нужно бы зайти в аптеку, там, наверное, можно достать. Ну что же я пошлю теперь отцу?

Тут Петр, высунувшись за дверь, которую предусмотрительно оставил открытой, взял одну бутылку и поставил на стол.

— Вот тебе, — сказал он.

— Ах ты, разбойник, — рассмеялась мать.

— А вот и другая... И третья...

— Как это — третья? Откуда?

— Всучил — и все, — ответил Петр и начал рассказы-

вать матери байку о знакомом владельце винного погребка, где бывал отец. Он так обрадовался, когда услышал о нем, что весьма охотно исполнил его просьбу. Излагая эту историю, Петр прикидывал, что бы такое выдумать насчет денег, которые он мямл в кармане. Ведь теперь никто ничего не дает даром.

— А денег достало? — тут же спохватилась мать, едва он закончил.

— Третью бутылку он отдал мне в придачу и ничего за нее не пожелал взять. Он, дескать, из всех клиентов больше всего нашего отца уважал.

— Охотно верю, — согласилась мать. — Однако это тоже кое-чего стоит. Нужно бы папеньке написать, кто о нем так хорошо помнит.

— Лучше не надо, мама. А вернется, сам туда заглянет.

— И то правда, — промолвила мать, и на этом разговор закончился.

Теперь перед Петром встал вопрос, как быть с деньгами, которые достались ему нечестным путем. Как-никак деньги матери, а их у нее — не густо. Однако возвратить их он не мог. Свои сбережения мать держала на счету, все до последнего гроша; так что подложить сэкономленные кроны не представлялось возможным. Оставалось одно — надежно спрятать в подкладке пиджака. Наверняка со временем представится случай тем или иным образом вернуть их.

6

Лето набирает силы. Шаг его нетороплив и лучезарен. Солнце медленно совершает свой путь по небу, ночь стала короткой, словно маленькая черная дужка на золотом кольце его пути. Учебный год завершился успешно, но радости он не принес, только усталость. Война и нехватки замкнули зеленые врата каникул.

Кровопролитию не видно конца, а нужды все прибывает. Изю дня в день растут очереди перед магазинами, люди днями и ночами ждут хлеба, который крошится под ножом жесткими комками, откуда торчат опилки; ждут вонючего мяса, горстки муки, перемешанной с песком, из которой ничего нельзя приготовить. До сих пор Петр не знал, что такое нищета. Из богатых запасов хозяев ему и матери всегда кое-что перепадало, не говоря уж об объедках с их стола; порой они питались даже лучше, чем перед войной, потому что отец, весьма щедрый в пьяной компании,

скряжничал и торговался из-за каждого гроша, выдаваемого на ведение хозяйства. А кроме того, Петра подкармливала Фрида.

С того дня, когда он принял бутылки малаги, в ней проснулась извечная щедрость служанок к своим возлюбленным. Она приносила ему коробочки сардин, куски эментальского сыра и венгерской саями, печенье и засахаренные фрукты, стуженное молоко и баночки с вареньем — короче, все, чего начальник госпиталя лишал своих подопечных — раненых и недужных солдат, — расплачиваясь за благосклонность любовницы. Неутолимый юношеский голод и желание полакомиться подавили в Петре возмущение тем, что таким образом он позволял Фриде оплачивать их свидания. Подношения эти он прятал в тайнике между двойными дверями квартиры и только на следующий день, возвращаясь с занятий, вынимал их, делая вид, будто только сейчас откуда-то принес. Он изобрел версию насчет новой дружбы, которую завел с сыном торговца, и мать, благословляя столь щедрого приятеля, предлагала, чтобы Петр пригласил его в гости. Петр изобразил нового друга как юношу необычайно добросердечного, но очень робкого, которого он приглашал к ним прийти бесчисленное множество раз.

Его терзали угрызения совести, он клялся все переиначить, но никак не мог заставить себя прекратить свидания с Фридой. Заслышав гроыханье ведерка из-под угля, он тут же крался следом в иступленной надежде, что сегодня он заставит ее уступить.

Теперь они укрывались за ящиками в другом конце подвала.

Полнейшая темень, царившая там, скрывала мерзость окружающей обстановки и будила фантазию Петра.

Тиская Фриду, он представлял себе, что обнимает Каму. И становился нежным и впрямь вел себя как влюбленный. Великое множество удивительных слов рождалось в его душе. Ему нелегко было сдерживать себя, чтобы не нашептать их Фриде. Он гладил ее плечи и касался своими щеками ее лица. Удивительное ощущение пронизывало все его тело. Слово тысячи тонких пальчиков проникали под кожу, пощипывая струны напряженных нервов и воспаленных сосудов. Ноги его деревенели. Он испытывал такое головокружительно острое наслаждение, как будто все в нем преобразилось в небывало высокий, долго длящийся, нежнейший звук. И даже в крошечной тьме подвала он вынужден был прикрывать глаза. Тогда перед его внутрен-

ним взором, словно бледная луна на иссиня-черном ночном небосводе, возникало, расплывалось и снова обретало очертания лицо Камы. Самым живым его воспоминанием были ее волосы, мягкие, шелковистые, блестящие, чуть вьющиеся над висками. И он поднимал руки, потому что пальцы его все еще томило несбывшееся желание провести по этим прядям, но ладони ощупывали волосы Фриды, всегда жирные и стянутые на затылке крепким узлом. И грезы рассеивались, и грубая реальность заливалась хохотом, торжествуя свою победу таинственными призрачными шорохами и скрипами подвала, запахом плесени и сознанием низости падения.

Он чувствовал: где-то здесь проходит последняя грань, которую он уже не посмеет переступить. Однообразие этих встреч, так и не принесших пока облегчения, усиливало его отвращение к Фриде.

Он уходил из дома и бродил по улицам, которые среди летнего зноя оставляли гнетущее впечатление. Присаживался на скамейки в парке или на набережных, разглядывал женщин, надеясь привлечь их внимание. Они равнодушно проходили мимо, не замечая его, но если ему все-таки удавалось повстречаться с какой-нибудь прохожей взглядом, он вскакивал и шел за ней, однако вскоре убеждался, что это была случайность и что женщина не проявляет к нему ни малейшего интереса. И сердце его разрывалось от горя. Он воспринимал себя попеременно то молодцом, то страшным уродом, но большее и острее всего осознавал и чувствовал свое одиночество. В один из таких моментов, не зная, что ему делать, он вспомнил о Бертике, о том самом Бертике, которого презирал, но без которого было совсем уж пусто.

Бертик жил в соседнем доме, в квартире под низко нависшей галереей, из-за которой к ним в окна не проникало солнце. У одного из них тачал сапоги отец Бертика, мужичок низенького роста и вспыльчивого нрава. Губы его были скрыты жесткими усами, из-под бровей поблескивали маленькие колючие глазки. Казалось, что злоба его брала начало в неподатливой коже, которую он делал мягкой, расплющивая тяжелыми и точными ударами сапожного молоточка, меж тем как в мозгу его стучал другой молот, сокрушавший все: империю, нацию, политические партии, общественное устройство и все священные установления жизни. Он постоянно пребывал в раздражении, и двери, что вели из кухни в комнату, были испещрены глубокими щербинами, и бороздами, и вмятинами. Ибо в минуты

гнева, вспыхивавшего без видимого повода, он мог швырнуть в Бертика или в его мать колодкой, башмаком, а то и острым сапожным ножом. Мать Бертика была женщина могучая, тупая и упрямая. Она давно уже научилась уклоняться от ударов, посланных рукой мужа, и подогревала в нем гнев, насмехаясь над его зазнайством. Свой характер Бертик унаследовал от обоих: упрямый и вспыльчивый лентяй и ветрогон, легко приходивший в ярость и совершавший поступки под влиянием никому не ведомых порывов.

Напротив аркады, на противоположной стороне двора, рядом тянулись деревянные сараи. Обитатели дома которых война научила заниматься самообеспечением, держали там кроликов, гусей и кур.

— Позабавимся, — пообещал Бертик Петру. — Выпущу-ка я кролика во двор.

Могучий самец, схваченный за уши, трепыхался и сучил задними лапками, пытаясь нащупать опору в пустоте, отчего все его тело напрягалось. Когда Бертик опустил его на землю, он встрепенулся, словно торопясь стряхнуть с ушей прикосновение человеческой руки, и застыл, напряжившись: уши встали над квадратной мордой, отягощенной жирным подбородком. У этой кроличьей статуэтки, окаменевшей в позе внимания, с шерстью, серебрившейся в лучах солнца, беспокойно двигался только чуткий нос. Сделав первый прыжок, он как будто проверил, действительно ли ему дарована свобода, а потом устремился к дверцам сарайчика, где привольно разгуливали крольчиха. Остановился и поднялся на лапках, поскольку внизу дверцы были обиты картоном. Самочка отскочила в темный угол клетки. Кролик напрягся, потерся мордочкой о рейки дверцы.

— Теперь смотри, — сказал Бертик и топнул ногой.

Зверек в испуге прыгнул прочь от клетки, извергнув серебристую жидкость.

— Видал? — вскричал Бертик и захлебнулся безумным смехом.

Кролик возвратился, и игра возобновилась.

Петру было не до смеха. Сцена, повторявшаяся в ритме Бертикова злого умысла, вызвала в его памяти иные картины. Представились сумеречные потемки подвала, где с грязного потолка свисают нити паутины. Тени — его и Фриды, отбрасываемые беспокойным пламенем свечи, переползают со стены на потолок и колеблются у них над головами, исчерканные решетчатым узором реек. Против-

ный смех Бертика служил абсолютно точным шумовым оформлением этой сцены.

Кролик возвращался и снова отскакивал в сторону. Петр, которому становилось все больше не по себе, колебался и не видел пути и способа убежать. В мгновенном озарении ему представилось ожидавшее его будущее; наверное, у него так никогда и не достанет сил отринуть все то, что он совершал вместе с другими. Жизнь идет двумя путями, и тому, о чем он мечтал, не суждено пересечься с тем, что существует реально.

— Чем это вы тут развлекаетесь? — прозвучал у них за спиной мягкий женский голос.

Бертик заверещал еще пронзительнее.

— Вы поглядите, Зичка, что он вытворяет.

Зичка сохраняла серьезность, только шея у нее вздрагивала от приступа подавляемого смеха.

— Вот бы папаша вас увидел, — заметила она.

Но Бертик, решительно махнув рукой, перечеркнул всякую мысль об отце.

Волосы у Зички были русые, не блестящие, но вьющиеся, а около глаз веерком рассыпались смешливые морщинки. Ей было около тридцати, но, подтянутая и безукоризненно опрятная, она выглядела моложе. Прежде она прислуживала в деревенской корчме. Но питухов увела война и, чтоб легче выкачать кровь, продырявила их тела пулями, та самая война, в огне которой пересохли родники благосостояния и источники пива и пьяной славы. Зичка бросила оставшуюся без клиентов корчму на попечение родителей, а сама переселилась в город к престарелым родственникам. Полное имя ее было Алоисия, но обыденное это имя так не шло ее кокетливости, что она переменила его на более звучное и короткое.

Она выросла под пьяный говор, под алчные взгляды мужиков, угадавших ее прелести раньше, чем они дали о себе знать. Она научилась увертываться от их жадных лап, играть в дразнящую недоступность, возбуждать и отдаваться только тогда, когда ей самой этого хотелось. Мягкая и уступчивая на первый взгляд, словно полная желаний и нерешительности самочка, она овладела тайной поз и движений, которые лишали парней разума и воспаляли в их ладонях жар неодолимой страсти, жажду ласкать и губить. Остановившись теперь перед двумя подростками, она наслаждалась пунцовым румянцем, окрасившим их щеки.

Петр, в душе которого еще тлело ощущение, что его

застигли за каким-то мерзким занятием, избегал встречаться с ней взглядом и смотрел на Бертика, — у того на лице, побагровевшем от неожиданности, выкатились круглые бельма.

— Зичка, вы обещали мне загородную прогулку, — проговорил Бертик и подхватил девицу под обнаженный локоток.

Она легонько отстранила его и ответила:

— Оставьте, Бертик, здесь все на виду. А разве я сказала, что не пойду?

— Тогда поедemте завтра, завтра воскресенье.

— Завтра? Еще не знаю, у меня свиданье.

В Бертике взыграла вспыльчивость сапожника-отца.

— Так не ходите на свидание, — проговорил он срывающимся голосом. — Ведь вы уже обещали мне.

— Обещала, да не сказала когда.

— Это без разницы. Без разницы.

— Ладно, — соблаговолила согласиться Зичка и обратилась к Петру, стараясь привлечь к себе его упорно уклоняющийся взгляд. — Но только вы пойдете вместе.

— Н-не знаю, — заикаясь, выдавил Петр.

— Если у вас девчонка, возьмите и ее, — небрежно бросила Зичка.

— Нет у меня никакой девчонки, — буркнул Петр.

— Тем лучше, значит, у меня будет два кавалера.

Она коротко рассмеялась и ушла, покачивая бедрами вполне пристойно; походка ее, от которой ни один парень не мог отвести глаз, отозвалась в их сердцах волнением бури.

Она уже исчезла из виду, но еще какое-то время отражение ее сохранялось перед глазами. И тут Бертика прорвало.

— Ну чего ты не отказался? Вот теперь никто ничего не получит.

— Чихать я хотел на нее, да и на тебя тоже, — рассердился Петр.

Но в воскресенье после завтрака, завязывая галстук перед створкой распахнутого окна, он терзался горькими сомнениями — идти или не идти? Он представил себе одинокую прогулку, печальную тоску всеми оставленного человека, и у него тоскливо сжалось горло. В этот момент до слуха его донеслось позвякивание металла. Взглянув вверх, он увидел Фриду. Она стояла на галерее нарядно одетая и постукивала по перилам кончиком зонтика. На ней было легкое платье ярко-розового цвета, а плечи вздымались с борцовской угловатостью; все тело ее словно распа-

далось на тяжелые и несозвучные части. Кричаще-зеленая шляпка сидела на макушке, как попугай, с трудом удерживающий равновесие. Одним словом, на галерее стояла испуганная деваха, собравшаяся на деревенский престольный праздник; устремленный на Петра взгляд выражал восторг и полную покорность. От приступа овладевшей им ярости все его сомнения вдруг рассеялись, он отскочил от окна. Воскресное утро бродило по улицам, обрушивая бремя зноя на плечи одиноких прохожих. Когда Петр выходил из дома, Фрида стояла у ворот. Он стремглав проскочил мимо, даже не поздоровавшись. Сбежал по ступенькам вниз на улицу и почти носом к носу столкнулся с Бертиком и Зичкой, направлявшимися на набережную. Зичка приветствовала его улыбкой.

— Смотри-ка, — бросила она. — А я уж боялась, что он не придет. А где ваша девица?

— Я же сказал, у меня никого нет.

Он шагнул к ним и, случайно оглянувшись, увидел Фриду — она спустилась по лестнице и плелась за ними. Бертик нахмурился и пошел впереди. И тогда Петр подхватил Зичку под руку. Она ответила ему легким пожатием. Пройдя немного, Петр оглянулся снова. Фрида неотступно топала следом за ними, печально и тяжело, будто ломовая лошадь.

На пароходик они взбежали в последний момент. Фрида, так и не успев догнать их, осталась на берегу.

«Теперь, — с внезапной тоской подумалось Петру, — разбежится, сиганет в воду и...»

Но Фрида в своем пестром деревенском наряде неподвижно стояла и смотрела на отчаливающий пароходик, всем чужая, угловатая, непостижимая и печальная.

Перестав наблюдать за ней, Петр повернулся к Зичке — она сидела между ними на полукруглой скамейке кормы. Винт пароходика выбрасывал из воды бурлящую мешанину воздушных пузырьков. Клубы серебристой пены стремительно уносились прочь чередой нескончаемых бурунов.

Бертик, все еще негодуя, смотрел прямо перед собой и угрюмо молчал. Петр, чувствуя себя нежеланным чужаком, тщетно пытался разбудить в душе злорадство и тоже молчал. А Зичка, словно утратив к ним всякий интерес, принялась кокетничать с соседом напротив, смахивавшим на овдовевшего мелкого предпринимателя. Сосед надувал щеки, вертелся, переваливаясь с ягоды на ягоду, подкручивал ус и то и дело вынимал золотые часы-луковицу. Вахлак и бабник! Только что враждовавшие соперники

объединились и направили свою неприязнь на иной объект. Петр поднялся и встал перед Зичкой.

— Не могу я больше сидеть, — сказал он. — Вроде как за школьной партой.

Она рассмеялась.

— А так мне не видно окрестностей. Вы ведь не стеклянный.

— Так глядите на меня.

Зичка не обиделась, наоборот, игра развеселила ее, дразнящее удовольствие, доставляемое сознанием собственного могущества, окрасило ее щеки румянцем. Петр прижался коленями к ее ногам, Бертик гладил ее обнаженное плечо. Зичка сидела невозмутимо, напоминая ласковую кошку, и ничего не видящими глазами смотрела на водную рябь, волновавшую поверхность реки.

Сойдя на берег, они пошли кратчайшей дорогой в лес, которую уже успело прогреть утреннее солнышко. Петр нес Зичкин зонтик, а Бертик — шляпку. Подхватив обоих под руки, она шла посредине, попеременно касаясь то одного, то другого покачивающимися на ходу бедрами.

В лесу они отыскивали укромное местечко: небольшую лужайку, со всех сторон окруженную густым кустарником. Парни расстелили на земле свои пиджаки, и Зичка уселась на них, предусмотрительно расправив свои юбки движением целомудренной и бережливой провинциальной барышни. Вокруг на тон выше и отчетливее, чем шум леса, жужжали насекомые. В тиши этого уединения, говорившего само с собой, они предалися молчанию. Зичка уткнулась подбородком в ладони, сложенные на коленях, взгляд ее потускнел. Парни думали о ней и о себе. Бертик чувствовал себя обойденным и изыскивал способ избавиться от Петра, а Петр отмечал в уме все, что было в сложившейся ситуации для него невыносимым и унижительным. Он, конечно, втируша, но пусть и Бертик не обманывается: оба они здесь лишь для того, чтоб Зичка их осмеяла.

Тем временем Зичка уже исчерпала неглубокий колодец задумчивости и грусти беглой деревенской девицы, нечаянно-негаданно вновь столкнувшейся лицом к лицу с образом своих детских лет, когда она пасла гусей. Вздрыгнув, она изобразила пробуждение от сна, выпятила грудь и оперлась руками о землю у себя за спиной.

— Ай да кавалеры. Молчат, как зарезанные.

— Это от жары, — отозвался Петр и почувствовал, как ее ладонь коснулась его руки. И сам тоже совершил путешествие — его пальцы поползли вверх по ее руке, про-

хладной, будто лесная трава вокруг, гладкой, словно свежая листва; он чувствовал, как вместе с трепетом и дрожью росло и его возбуждение. Пододвинулся к Зичке поближе. Но Бертик, подстерегавший каждое его движение, обнял ее за талию. Она сидела прямо, устремив взгляд в бездонный простор, распростершийся над кронами дерев. Один за другим парни положили головы ей на плечи и целовали в шею — каждый со своей стороны.

Неподалеку от них насмешливо закуковала кукушка, а где-то в голубоватом лесном сумраке сойка издала на лету несколько всполошных вскриков. И снова тишина завела свою звучную песню под аккомпанемент жужжащих насекомых, как если бы ветер тронул серебристые струны.

Какое-то время они не шевелились. Хрустальная чистота дня, внезапно открывшаяся им, подействовала на Петра расслабляюще. Он снова ощутил себя любителем поспать, сбрасывающим сонную одурь. Он слышал, что сердце его стучит все спокойнее, как у бегуна, переходящего на ходьбу. Отпустив Зичку, он откинулся на траву. Ослепительная голубизна неба ударила ему в глаза, и он поспешил прикрыть веки. В розовой мгле под ними неотступно вертелась надоедливая и мучительная мысль. Нечто более мощное, чем его воля, руководило его действиями независимо от того, сопротивлялся он или поддавался. Он ненавидел это нечто, которое всегда вовлекало его в бездну стыда и унижения. Меж тем Бертик, которому почудилось, что он одержал верх, попытался было поцеловать Зичку. Оттолкнув его, она сердито бросила:

— Отстаньте, Бертик, ложитесь вон как Петр.

Опершись на локти, Бертик принялся колотить пяткой по земле, зарывая свое негодование. Петр видел, как проклинаят его в эту минуту Бертик, считая виновником своей неудачи. Убогий Бертик. До чего же глуп и как мучается.

Отливавшая металлическим блеском муха сидела на листке низкого бука, покачиваясь над Петром. Но вот на нее упал солнечный лучик, и она, расправив прозрачные крылья, сорвалась и унеслась прочь на тоненькой ниточке жужжания. И тут словно кто поманил Петра, он почувствовал, как волна высвобождения коснулась его поцелуем прохладного ветерка, повеявшего из леса. Все здесь стало для него безразличным. Он встал, потянулся, словно пытаясь достичь чего-то недостижимого, и проговорил, приоткрывая воротца притворства:

— Хотите, нарву вам букет?

— Может, лучше на обратном пути?

Поверх ее русой головы Петр увидел унылое лицо Бертика.

— Надоело мне лежать. Пойду пройдусь.

Когда он уходил, ежевичные плети выставили свои колючки, словно обозленные кошки — свои коготки, и хватали его за рукава и штаны. Но им не удалось его удержать. Добравшись до лесной опушки, Петр опустился на землю. Над ним простиралось небо, открывая путь на север; зеленые луга накренились, убегая к темному лесу; лиловые и точно облитые молоком цветы мерно, мягко покачивались в стремительном волнении трав. Ничего другого не было видно вокруг. Он притаился, ощутив счастье побега и беспредельность открывшейся перед ним перспективы.

«А что бы я увидел, если бы неожиданно вернулся?»

Он встал и пошел вперед, все дальше и дальше, но вдруг услышал, что его зовут. Слабый зов звучал издалека, и он подивился: как много он прошагал.

— Петр! — звал женский голос.

И Петр прибавил шагу.

Сойдя с пароходика, он опасливо огляделся — нет ли где Фриды. В тишине пустынных, залитых солнцем воскресных улиц дремала грусть одиночества.

Он был один, совершенно один, и все остальные были счастливее его; он еще не мог осознать, что все его вожделенный преждевременны, и чувствовал себя обобраным. Перегнувшись через перила над излучиной реки, огибавшей остров, некоторое время задумчиво следил за движением воды. Тени под ветвями прибрежных плакучих ив на острове, серебристый свет, проникавший в речную глубину, дрожащие отражения предметов на зеркальной водной глади, рыбак на недвижной лодке, оцепенело застывший с удочкой в руках, — все казалось ему исполненным безмятежного счастья, и это еще больше раздражало его. Оторвавшись от не принесшего успокоения зрелища, он побрел дальше. Девушки в воздушных платьях легкой походкой скользили мимо, не обращая на него ни малейшего внимания, и ни одна не заметила взгляда, каким он ее окинул. Нет, никогда, никогда не испытать ему... Мелькнула мысль, что он может умереть, так ничего и не познав. Нет, это следовало предотвратить во что бы то ни стало. И тут он вспомнил про деньги, полученные от матери на малягу.

«Они — ничьи, — убеждал он себя. — Мать свое получила, даже больше, чем ожидала. Деньги теперь мои».

Он двинулся по направлению к старым улочкам, твердо

решившись осуществить свое намерение и с тоской опасаясь, что никогда этого не сделает. Впрочем, в их классе не он первый и не он последний, кто предпринимает подобный шаг. Он уже много слышал об этом и помнил, куда нужно идти. Он хорошо знал эти дома — сколько раз кружил возле них, не имея в кармане ни гроша. Сегодня денег у него достаточно.

Небольшой двухэтажный дом в узком переулке, единственное окно на первом этаже у входа. Плющ, росший в четырех горшках, полз по веревочкам вверх, закрывая окно так, что занавесок не требовалось. Петр прошел мимо окна, сжимая в кармане деньги, а в груди — страх, грозивший разразиться лихорадочной дрожью. Когда он шел обратно, в окно постучали, и, бросив украдкой взгляд, он заметил женское лицо, грубое, но милое и раскрасневшееся, обрамленное черными, гладко причесанными волосами.

Остановившись на другом конце переулka, он то укреплялся в своей решимости, то снова терял ее. Теперь вся его воля сосредоточилась лишь на вопросе, как это осуществить, упреки в трусости уже не позволяли ему отступить, подавляя разногласицу разума и прочих чувств. Он разгуливал по улице взад и вперед, туда и обратно. Опасливо поглядывал на окна домов — не следит ли за ним кто? И перед каждым из редких прохожих подавлял в себе желание провалиться сквозь землю, словно умыслы его были начертаны у него на лбу. Всякий раз, когда он проходил мимо увитого плющом окна, оттуда снова закидывал удочку призывный стук. Казалось, ходить придется до изнеможения, пока его решимость не сникнет от непосильной усталости. Но тут — он возвращался уже в который раз — девушка, стучавшая в окно, встала у входа. Он узнал ее лицо и волосы. На ней было длинное ярко-голубое платье без рукавов, туго обтягивавшее полную грудь. Он перетрусил так, что готов был повернуться и ринуться прочь. Но не сделал этого и двинулся вперед, решив притвориться, словно ничего не видит. Однако тротуар был так узок, что, проходя мимо нее, он оказался на расстоянии чуть ли не полусага. И тут она, будто случайно подняв руку, дотронулась до его плеча и проговорила:

— Идем-идем, не бойся.

И улыбнулась ему профессиональной завлекательной улыбкой, растянув мясистые губы и обнажив ряд крепких белых зубов. Потом выгнулась, и груди ее обрисовались еще отчетливее.

— Нет, — ответил он хрипло, потому что в горле у него совсем пересохло.

Несколько отступив, она поманила его.

— Идем-идем.

Он попытался было улизнуть. Но ноги словно налились свинцом. Он огляделся: впереди и сзади — никого. Улица была пуста. И он прошел в узкую дверь, словно в тумане, который вдруг застал ему глаза.

Его уход был подобен бегству. И хотя он, как ему казалось, чуть не падал от слабости, он заставил себя умерить шаг, пока не очутился на набережной. Тут он припустил что есть духу, не позволяя себе ни думать, ни вспоминать. Что же это было? То ли, чего он так страстно добивался? Ему открылось лицо, его собственное лицо, такое, каким он увидел его в том косо висевшем зеркале, — багровое, ошеломленное и на удивление незнакомое. И вот на это ушли деньги, которые он поклялся как-нибудь вернуть матери! До самой смерти будет маячить у него перед глазами отставший от стены кусок грязных обоев красного цвета. Какая это мерзость — красный фонарь!

«Вы тут в первый раз, милоч, да?» — сказала она.

Бить, о! сметь истязать это пухлое апатичное тело!

Воскресный день таял в сумраке. Притихшие парочки и серьезные одиночки прогуливались по набережной или стояли, любуясь водой. Такое спокойствие, такой невыносимый покой!

7

В самый разгар лета наступил перелом, словно оно вдруг и впрямь переломилось, подобно чересчур туго натянутому луку. Под раскаты грома и лиловый блеск молний в город на неделю вторглось ненастье, пропитывая сыростью дома и безмерной тоской настроение людей. Так, по крайней мере, казалось Петру. Его знобило, было грустно, и он на все смотрел как бы через завесу бесконечных дождей.

Поскольку мать редко бывала дома, он много читал, запершись. За это время к нему трижды заходил Бертик, но он не открыл ему. Не хотелось знать, чем завершилась прогулка с Зичкой. Фриде пришлось оставить свой пост на галерее, где она сторожила его по вечерам, потому что ветер забрасывал туда струи дождя. Он слышал громохание ведерка, более настойчивое, чем обычно, но замыкал слух

перед этим устрашающим любвеобильным трезвоном и никуда не выходил.

Непогода держалась вторую неделю, мелкая морось сменялась стремительными ливнями. Однажды — Петр вернулся домой после короткой прогулки в перерыве между двумя дождями — он обнаружил у себя под дверью послание от Фриды. Жалкими каракулями ученицы младших классов, забывшей о линейках, на бумаге было выведено:

«Приходите вниз, а то уволюсь».

Ему хотелось рассмеяться над этими словами — смотри-ка, такая чурка с глазами, деревенская дурочка, мрачная козявка распалилась так, что дошла до угроз. Поначалу в порыве юношеского тщеславия он было надулся как индюк (гляди-ка, сама напрашивается), исполнившись высокомерного презрения (чихал я на нее!), но потом сник в младенческом испуге (а если бы письмо попало в руки матери?!), сменившемся взрывом ярости (я тебе покажу!).

«Проваливайте куда хотите!» — приписал он на листке и подкрался к квартире пани Газовой, как бывало в детстве, когда они проказили, затеяв игры. Сунув бумажку под дверь, он позвонил и бросился бежать, перескакивая сразу через три ступеньки, задыхаясь от спешки и волнения. Остановился только на улице, поражаясь и стыдясь, как он мог отважиться на такой поступок. Досада и раздражение мешали ему привести в порядок мысли, отчего нервная напряженность и страдание еще более усилились. В мечтах об избавлении он готов был испытать любую телесную боль, до крови искусать губы, вывихнуть себе пальцы.

Он стоял на набережной, опершись локтями о парапет, и следил двойной полет набрякших влагой тяжелых низких туч — они проносились у него над головой и отражались в коричневатом мутном зеркале реки. Зрелище не приносило утешения. Затем, словно с разбега налетев в потемках на стену, он натыкался на вопрос: а что теперь? Эта угрюмая молчаливица Фрида таила в себе целый мир, куда он и не пытался проникать. Что она думала там, на берегу, когда пароходик отчаливал от пристани, увозя его, Бертика и Зичку? Охваченный тоской, не находя сил сдвинуться с места, Петр наяву грезил о Фридиной смерти. Нескладеха, тонкие губы поджаты так, что на бледном лице и не заметишь; перегнувшись через перила четвертого этажа, она смотрела на цементный квадрат двора и вдруг, перерубив крестным знамением узы, связывающие ее с жизнью, падала в бездну; юбки ее надувались, а раскинутые руки

принимали в объятья смерть; он видел ее лицо, плывущее вместе с отражением облаков по водной глади; слышал шипенье газа в открытом кране, и в горле у него щекотало от сладкого привкуса мрачных видений.

Он бродил по улицам, забывая и вновь вспоминая, отчего ему так неохота возвращаться домой. Невидимое солнце прожигало тучи, и стойкое, насыщенное влагой, оранжерейное тепло повисло меж каменными зданиями. Ему встретился солдат с нервно дрожащими конечностями. Повиснув меж двух костылей, несчастный яростно вскидывал вверх ноги, как будто преодолевал невидимые преграды и перескакивал через смерть, которая носилась над ним, словно всесокрушающий вихрь в распахнутом настежь доме. Останавливаясь передохнуть, он трясся, как хлипкие двери под напором буйнопомешанного, и крутил головой, в ужасе от чего-то отрешиваясь. Петр отвернулся и обошел его стороной. Но сцена отпечаталась в глазах и проникла в глубь души; и в нем самом тоже что-то замечалось, совершая неуправляемые скачки.

От серного тумана, предвещавшего сумерки, улицы уже словно сузились, но в душе Петра продолжалась бесконечная работа. Он в нерешительности остановился у ворот своего дома. Увидел Бертика и Зичку. Они шли взявшись за руки и свернули за угол.

«Смотри-ка», — отметил Петр про себя и почувствовал, что исчезает тайная его надежда, о которой он, бог весть почему, забыл. Впрочем, Зичка и Бертик, Фрида и он сам, семья и гимназия, даже сама война — что это такое? Ах, если бы можно было уйти и больше никогда не возвращаться, отыскать нечто устойчивое в этом коловращении, не имевшем ни оси, ни центра тяжести. Вот хоть эта женщина или любая другая красotka — все равно.

Незнакомка — на ней не заметно было следов изнуряющего голода и нищеты — шла, выделяясь ярким пятном на фоне серой улицы; и он, не отрываясь, смотрел на ее оживленное лицо, пышные груди, колыхавшиеся при ходьбе. Почувствовав его взгляд, женщина с улыбкой обернулась! Надо идти за ней! Вот это приключение! Куда бы она его завела? Теперь так много возможностей. Женщины потеряли всякий стыд, и страсть их некому утлить.

Он приободрился и шагнул следом. Обернется или нет? Да, она обернулась еще раз, напоследок, с улыбкой входя в двери ближайшего кафе. Петр остановился, и вся тяжесть тоски снова обрушилась на него. Незаметно стемнело, и,

пока в череде поредевших фонарей загорелся тусклый и маломощный свет, прошло довольно много времени.

Петр расхаживал от ворот до угла дома, все еще не отваживаясь вернуться. Словно одна только улица понимала его. Улица. Как странно. Она пыталась казаться прежней. Но как-то сникла, стала менее оживленной и более грязной. Если обогнуть вот этот квартал, то можно пройти к маленькому костелу, шпиль которого переросли доходные жилые дома. За костелом — немощеная площадь и несколько деревьев, с которых листья облетают от весны до осени. Он не мог припомнить, были ли они когда-нибудь зелеными. Но на протяжении всей зимы на каждом из них трепыхались по одному или по два иссохших листочка, не поддававшихся порывам шального ветра. Каблуки мальчишек, игравших в лунки, испещрили землю бесчисленными ямками, — они не зарастали круглый год. А сколько их выдолбил он сам! Теперь оттуда доносится визг ребятишек, которые, наверное, еще за мамкин подол держались, когда он и его сверстники хозяйничали на этой площадке. Ему там уже не играть. Никогда больше не быть ни Момпрацемским Тигром, ни Виннету, не прятаться за углом и воротами домов, не ползти, с деревянным ножом в зубах, среди воображаемых экзотических кустов и трав к газовому фонарю, считавшемуся лагерным костром, отстреливаясь из пистонного пистолета. Кто же он теперь? Уже не мальчик, чтобы играть в эти игры, но и не мужчина, сам определяющий свои поступки. Он не изведал радости, которая могла бы сделать счастливыми эти годы. Так, держась за ручку двери, он мог простоять здесь до ночи; он не стремился домой, но и не мог придумать, куда себя девать. Все было равно безутешно, пусто и чуждо.

Сумерки преобразили неосвещенную подворотню в зал кинематографа, на другом его конце во всю ширину, словно натянутое полотно экрана, светлели широкие ворота, которые вели во двор. У ворот кто-то стоял, и черный силуэт отражался на них, как в китайском театре теней. Солдат. Просит милостыню, подумалось Петру. Солдат приблизился, и Петр увидел у его ног большой ранец, набитый до отказа.

— Петр, — проговорил солдат.

А Петр не мог отвести взгляда от незнакомого, желтого лица, разделенного надвое линией черных мажярских усов.

— Ты что, Петр, не узнал меня? А где мама?

По желтой щеке скатилась слеза.

— Папа, — еще не веря себе, выдавил Петр.

Они обнялись, и холод, неприятный как разочарование, разлился в груди Петра. От отцовского мундира исходил тяжелый запах, который всегда сопровождал солдатские маршевые роты. Петра затошнило.

— Я сбегаю приведу маму, — сказал он, выскользнул из отцовских объятий и помчался по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Мать, наверное, обрадуется, думалось ему. Задохнувшись, остановился на втором этаже и позвонил у дверей хозяев. Одновременно с тревожным всхлипом звонка до него донесся высокий дискант ссорящихся женских голосов. Внимание Петра мгновенно раздвоилось. Он ждал, когда выйдет мать, и губы его кривила судорога невысказанного известия: «Отец вернулся!» Но вместе с тем он напрягал слух, чтобы расслышать слова, которые сыпались непрерывным дуэтом, взаимно заглушая друг друга. Как грубо говорит пани Газова, эта воздушная голубоглазая блондинка, и как пронзительно визжит бессловесная Фрида! Дверь открыла мать. Петр выговорил свое известие, услышал, как она охнула и промчалась мимо него, оставив двери нараспашку. Петр не сдвинулся с места, стоял и слушал. Ему не терпелось узнать, неужели Фрида?.. Впрочем, какое ему дело, уволится она или нет. Он закрыл двери и стал не спеша спускаться по лестнице. Он не торопился. Ему хотелось вообще пройти мимо дверей их квартиры.

«А ведь там бывало и хорошо», — пронеслось в голове. Он чувствовал себя глубоко несчастным; прошлое нагоняло на него тоску. Нажал на дверную ручку. Пос оять еще немного, еще чуть-чуть.

— Чем бы тебя угостить, — говорила мать, бестолково суетясь на небольшом пространстве между плитой и столом. Хватала одно, другое и вновь откладывала, как будто то, что требовалось, постоянно убегало и пряталось от нее.

— Ничего-то у нас нет. Ах, какая здесь нищета.

— Вот возьми, приготовь на всех, — произнес отец.

Множество консервных банок, извлеченных из ранца, выстроилось на столе сверкающими металлическими рядами. Консервы. Груда консервов, и еще белье. Солдатское белье, грязное и чистое вперемешку. Тошнотворный запах пота и спекшейся пыли. Километры дорог, пройденных под палящим солнцем, серый, извивающийся змеей, солдатский строй, стертые до волдырей ноги, спины, ободранные в кровь ремнями снаряжения; люди, замертво валящиеся

от усталости на разметанные кучи щебня и в придорожные канавы.

— Прихватил, что мог, — объяснил отец и стал рассказывать о солдатах, которые волокли домой целые тюки барахла и провианта, и в голосе его сквозило возмущение человека, которого обокрали. Петр сидел на стуле около дверей, словно оглушенный. Минувшие дни возникали перед ним и уносились, словно птицы. Залитый солнцем двор, кривые линии, прочерченные в воздухе полетом стрижей, стаи голубей — только что ты их видел, а вот они уже пропали в блеске солнечных лучей, — дни, заполненные чтением и тишиной; кто сказал, что в эту пору ему худо жилось? Слова отца доносились до него через завесу всколыхнувшихся размышлений. Он чувствовал себя одиноким, позабытым целым светом, как некогда в детстве, когда, забившись в угол, плакал, утишая свои обиды и протест. От запаха разогреваемого гуляша проснулся голод, словно внутренности царапнул крот, вызывая обморочную слабость. Но вид матери, которая, не скрывая слез, гладила отца по волосам, снова ожесточил его. Громада презрения выросла у него под ногами; вот человек избежал смерти, и как он теперь счастлив и исполнен доброй воли!

— Обратно они меня не загонят, — говорил отец. — Чего-нибудь придумаю, чтоб отвертеться. И начнем жизнь сначала, а, мамочка? После долгой разлуки оценишь, что такое дом и семья, больше из дома — ни шагу.

«Ишь как расчувствовался. Еще разревется», — подумал Петр. Много ли дней пройдет, когда он опять заявится домой пьяный и будет разоряться, подозревая их в сговоре, выслеживать и отыскивать повод для ссоры? И время снова распадется на тоскливое ожидание его ухода и на позорный страх перед его возвращением. Тарелки и приборы позвякивали, словно колокольчики, возвещающие о причастии, а Петр все еще размышлял о своей зависимости от семейных связей. В голове звучал припев какой-то грустной песенки, слов которой он никак не мог вспомнить.

Мать ставила на стол еду, когда на лестнице раздались тяжелые шаги; спускавшийся о каждую ступеньку бухал своей ношей. Петр тут же поднялся и отошел к плите. Наступившую тишину нарушил стук. Не успела мать подняться, как отец сам отворил двери в коридор, а вместе с ними — и в то прошлое, которое только что клялся безвозвратно забыть, и грубо, в прежней своей манере, произнес:

— Чего надо?

В ответ на этот тон, который все годы детства распуги-

вал товарищей Петра, Фрида, заикаясь, спросила, дома ли хозяйка. И с тем же прежним страхом подскочила к двери всполошившаяся мать.

— Это вы? — спросила она. — Что вам угодно?

— Ухожу, — всхлипнула Фрида. — Вот, пришла проститься. Ух уж эта сука!

О, Петр знал, зачем она пришла. Но отец в выпцветшей военной форме стоял в дверях и сердито хмурился. И голос матери тоже звучал зло и нетерпеливо — из-за страха прогневить отца:

— А есть куда идти?

— Нет, некуда. Вернись домой.

Мучительная пауза. Что еще тут понадобилось этой девушке, ворвавшейся к ним со своей неожиданной бедой? Но Петр оставался спокоен. При виде суровой мужской фигуры у нее пропадет охота спрашивать о нем. Усевшись на ящик с углем, он не отрываясь смотрел в круглые огненные глаза дверцы, за которыми билось беспокойное пламя. Жар достигал его. Отчего они не захлопнут двери? Почему не вышвырнут ее вон, почему позволяют стоять и хныкать? Воспоминания вспыхивали, словно пламя; из отверстий в дверце плиты его обдавало жаром, который обжигал, как стыд. Он услышал вопрос отца, в нем полыхнула подозрительность:

— Кто это был?

И ответ матери, неудачно попытавшейся напустить на себя равнодушие. Она тоже поняла, что ничего в отце не изменилось, что ни дни пережитого ужаса, ни отчаяние, ни ночи, когда и звезды метали смерть, не смогли очистить эту душу от проклятия недоверчивости. Возвращаются прежние времена, слышишь, глупенькая?

— А с чего это она пришла к тебе прощаться?

— Я и сама не пойму, что ей взбрело. Служила всего два месяца, мы с ней и двух слов друг другу не сказали.

— Не терплю, когда ко мне чужие люди суются, — заключил отец и оглянулся вокруг, как будто во время его отсутствия квартиру испоганили чужие прикосновения.

Ночь растворялась в сумрачном рассвете. Шаги полицейского патруля отмеряли время, дробя его на секунды подковами казенных сапог. Газовый фонарь, свет которого готовился умереть вместе с темнотой, вылепил черное

пятно толпы; протяжные вздохи, беспокойное ее бормотанье и шарканье ног напоминали дремлющее стадо. Петр, уткнувшись в поднятый воротник пальто, стоял привалившись к стене, борясь со слабостью, от которой у него подкашивались ноги. Над головой красовалась вывеска мясной лавки: розоватая ветчина на белом поле, обрамленная по краям венчиком букв, — гримаса благополучия, давно минувшего и, быть может, уже невозвратимого. Люди, съежившись, будто опустившись на колени в униженной молитве, дремали на складных стульчиках, принесенных из дому. В ногах у Петра притулился старик, уронивший голову между колен. Он сипло храпел и дышал с такими долгими перерывами, что всякий раз казалось, будто это его последний вздох. А впереди тихо и монотонно молились, перебирая четки, две женщины. Все звуки, люди и окружающая обстановка были характерны, словно кулиса, которую сон заготовил до того, как начнется спектакль.

«Как еще долго», — сокрушался Петр, пытаясь удержаться под опущенными веками уже вспугнутую дремоту.

Он видел согнутые спины сидящих, стену, словно облепленную тенями, полицейского, расхаживавшего взад и вперед по одной и той же дорожке, напоминая диск невидимого маятника. Какая же сила собрала здесь столько голодных, когда земля так щедра, а люди жаждут работы; что погубило тех, кто так хотел жить? Нет ликов и нет очей, как нет и звезд на бледнеющем небосводе, по которым можно было бы прочесть ответ. И все же здесь Петр чувствовал себя лучше, чем дома.

Прошла неделя, и бодрое настроение отца иссякло. Ему надоело потчевать своими воспоминаниями одних и тех же слушателей — жену, не устававшую сокрушаться, и сына, который хотя и слушал, однако на неподвижном его лице не отражалось ничего. Покой семейной жизни наводил на отца скуку, и вновь пробуждалась былая тяга к собутыльникам. Он жаждал громогласного проявления их дружелюбия с хлопаньем по плечам в знак восхищения и признательности, ему хотелось вновь пережить ощущение пьяного братства, которое возвышает тебя в собственных глазах. Он стремился снова стать тем, кем был прежде, пока война не поставила его в зависимое положение и не приучила к необходимости тупо повиноваться начальникам, которые в мирной жизни могли быть его сотрапезниками и от которых теперь его отделяли серебряные звездочки и золото нашивок.

Стали забываться оцепененье перед смертью, которой

ему удалось избежать, и обеты, принесенные в минуты страха. Он все чаще сидел и молчал, угрюмо насупясь. Все, что он видел вокруг, раздражало его: безделье сына и работа жены, нехватки, которые снова ощутимо давали себя знать. Запасы консервов иссякли, а того, что перепадало со стола хозяев, на троих едоков не хватало. Впрочем, он отказывался прикасаться к подачкам, не желая унижаться до милостыни. Он копил в душе свою горечь и втайне вил из нее веревку, по которой сможет выбраться из заточения скуки. Ибо под мощной мускулатурой великана-литейщика таилась душа портняжки и ум святоши, которому для его подлостей нужна была видимость законности. Дикая жестокость войны, всевозможные мерзости, коим он был свидетелем, усугубили его равнодушие ко всему, что не касалось его лично. И его «я», сбросившее страх и рабское послушание, обретало свое привычное состояние. Он был подобен камню, подточенному временем и атмосферой — достаточно дуновения, чтобы раскатать его и сбросить в пропасть. Петр и мать чувствовали, что в нем происходит, и опасливо ходили вокруг, боясь произнести слово или сделать лишнее движение.

Взгляд его снова стал подозрительным и неотступно следил за их поступками и речами; он искал повода, чтобы взорваться гневом, после чего можно было хлопнуть дверью и пуститься в разгул. О чем бы ни думал Петр, ему приходилось считаться с присутствием отца и тоскливо ждать, что будет. Тщетно искал он сближения. При виде хмурого отцовского лица он забывал все, что собирался произнести. Ему казалось, что он разучился ходить прямо, и теперь мог двигаться только крадучись и ждать неизбежного удара, который должен неминуемо на него обрушиться, неизвестно только, когда это будет и из-за чего. Он с радостью отправлялся исполнять любые просьбы матери — в очередь за мукой, за хлебом или за мясом. Он мог проводить на улице целые дни, а иногда и большую часть ночи, после чего чувствовал страшную усталость и изнеможение. Но он ни за что не отказался бы от этих дел, поскольку благодаря им он был недосягаем для раздраженного отца, хотя и не располагал полной свободой.

Рассвет наступал быстро. Сумрак порозовел, а потом словно облился молоком, желтое пламя газового фонаря опало, превратясь в оранжевое сердечко; день вспыхнул стремительно, как долго сдерживаемый вскрик, и в его ослепительном сиянии неприкрыто проступила нищенская грязь домов и изможденные лица. Победоносный свет,

столь прекрасный, сколь и беспощадный! Чудилось, что даже полицейская шляпа, покачивавшая своим петушиным султаном, вот-вот закукарекает в знак приветствия. Шелест тихого шепота в очереди усилился, перешел в громкий говор. И оживление дня, словно музыкальная фраза, нарастало и усиливалось, подхваченное торопливыми шагами рабочих, спешивших на фабрики, расположенные далеко отсюда, буханьем дверей, грохотом проехавшей где-то за углом невидимой повозки, звоном колокола, возвещавшего об утренней мессе в ближнем монастыре.

Любители устроиться поудобнее сложили свои стульчики, люди потягивались, разминали одеревеневшие члены и спешили занять свои места в очереди: вот-вот откроют. Полицейский сдал дежурство сменщику. Плечистый детина, чей живот выпирал из-под ремня с кобурой револьвера и саблей, как символ жестокой власти, прошелся вдоль рядов ожидающих.

— Не толкаться и не нажимать, — произнес он, обращаясь ко всем сразу, дабы проявить свое всемогущество.

Плотной фигурой и громким голосом, недреманным и подозрительным взглядом он живо напомнил Петру отца.

Томительное ожидание теперь уже не было ему в тягость. Полицейский расхаживал, громко стучал сапогами, покручивал свои пышные усы. Петр наблюдал за каждым его движением, и — даже не осознавая, по какой причине и с какой целью — разжигал свою ненависть к нему. Придумывал обстоятельства, при которых все, кто тут оказался, набросились бы на этого зверя. Он высматривал уязвимые места, куда бы сам нанес удар, и выбрал усы, которые он тут же бы оторвал, и рожу, по которой бил, бил бы и бил кулаком.

Грохот железной шторы привел очередь в движение. Люди заволновались, задние начали напирать на передних. Очередь была очень длинной. Конец ее исчезал где-то за поворотом. Толстый мясник, багровый, с обвисшими плечами, в белом фартуке, появился на пороге лавки, окинул очередь оценивающим взглядом опытного перекупщика скота. Сказал что-то полицейскому. Хохлатый блюститель порядка занял его место и взревел:

— Без давки! Кто полезет без очереди — выкину!

Длинной рукой он перекрыл дверной проем, словно турникетом; торговля началась. Впускали по трое. Полицейский приподнимал руку, и люди, пригнувшись, проходили в лавку. Всякий раз, когда очередная партия скрывалась в полутьме лавки, толпа тоже нетерпеливо подвига-

лась, и те, кто оказывался впереди, давили на полицейского. Отталкивая их свободной рукой, он рычал:

— Осади назад!

Люди охали и стонали, отодвигались, очередь колебалась волнообразно и недовольно ворчала, как будто задела всех разом.

На улице быстро теплело, из дверей лавки несло тошнотворным запахом лежалого мяса. Сзади кто-то навалился на Петра всем телом. Он попытался высвободиться, чувствуя, что в любой момент может потерять сознание. Полуобернувшись, увидел на уровне плеча изможденное женское лицо, побелевшее, как от близкого обморока; на щеки женщины падали растрепавшиеся пряди седых волос. И он, сгибаясь под ее тяжестью, как ствол дерева, превозмог свою слабость и устоял. Надо выдержать. Впрочем, миг искупления был уже недалек: еще две партии — и его очередь. До него уже докатывались волны от тычков полицейского. А что, если раскрыть перочинный нож и вонзить по рукоятку, всадить его в эту воловью ляжку? Очередь помогла бы ему скрыться, все помогли бы.

Вдоль очереди проскользнула какая-то женщина в зеленом костюме и очутилась перед полицейским. Сбоку Петру было видно ее розовое лицо, свободно развевавшиеся золотисто-рыжие волосы, не прикрытые шляпкой. Она что-то произнесла вполголоса и засмеялась.

Ус полицейского встопорщила улыбка, рука, преграждавшая вход, поднялась к полям форменной шляпы, и женщина скрылась внутри. Толпа загудела. Из смутного рокота явственно прорезались отдельные выкрики, и вскоре слово «Ну и порядки!», сопровождаемое чертыханием, звучало уже отовсюду, брань сыпалась, словно град камней. Но полицейский, подняв плечи и набрав воздуха в легкие, могучие, будто мехи органа, взревел:

— Тихо, не то закрою лавку!

И тотчас на мгновенье воцарилась тишина, вызванная не только удивлением перед этим ревом, но и испугом перед угрозой. Но потом, где-то неподалеку от Петра, из безымянной толпы послышался чей-то визгливый крик:

— Руки коротки! А чего ты ее без очереди впустил?

— Мое дело! — рявкнул полицейский. — И вообще она хворающая, нельзя ей стоять.

— Хотела бы я быть такой хворой, как эта шлендра, — проговорила старуха, опиравшаяся о спину Петра.

Между тем женщина, вызвавшая недовольство, снова появилась на пороге с покупкой в руках. Теперь Петр

разглядел ее округлое лицо, правильные черты, линию лба, четко переходившую в прямой носик, яркие, полные губы, раскрытые в вызывающей улыбке. Полицейский выпятил грудь и, переступая с пятки на носок, покручивал ус. В толпе снова поднялся шум, снова полетели насмешки, как будто красота женщины разъярила этих несчастных пуще, чем несправедливость. Бабы визжали, выкрикивали непристойности, обзывали ее шлюхой. Петр искал у нее на лице выражение испуга и стыда, но она невозмутимо улыбалась. Поблагодарив полицейского, красотка удалилась совершенно спокойно, словно и не слышала ни криков, ни свиста, летевших ей вслед.

— Тихо! — взревел полицейский. — Тихо, а не то я вам!

В глазах Петра запечатлелся прелестный облик женщины, он все еще видел ее пружинящую походку, колеблющиеся на ходу бедра и, когда рука полицейского поднялась, пропуская его, стремглав ринулся в лавку. Покупал словно во сне, не обращая внимания на то, что мясник швырял на весы; ему казалось, что приказчик, ленивый и неповоротливый, копается чересчур долго. Заплатив, он вылетел из лавки и устремился на угол улицы. Однако тщетно Петр оглядывался по сторонам. Тогда он кинулся к перекрестку. Справа, в поперечном переулке, детишки плескались в луже у края тротуара, перед входом в магазин стоял подручный хозяина, нахвистывая какой-то мотивчик. Маленькая служаночка в белом чепце и фартуке остановилась перед ним, прервав песенку, и заставила вернуться в лавку. И это было все. Слева — две женщины в платочках, скрестив на вздутых животах руки, увлеклись разговором, какой-то старец в широченном, не по росту пальто, из которого он чуть не выпадал, как и из жизни, отстукивал ритм собственных шажков, да еще ломовой извозчик поил коня из бадьи, откуда во все стороны брызгала вода. И больше — никого. Петр в недоуменье вернулся обратно.

Очередь не убывала. Кроме тех, кто пришел еще ночью, подошли новые. На этом фронте тоже продолжалась борьба за жизнь, как и на тех, отдаленных, где рвались снаряды. Знакомая старушка, стоявшая в очереди после Петра, как раз вышла из лавки, прижимая к тощей груди покупку, завернутую в газету. На сутулой ее спине, словно крылья смерти, торчали худые лопатки, но желтое лицо было озарено в это мгновение счастливой улыбкой. Петр еще смотрел ей вслед, когда в дверях лавки показался мясник

и что-то шепнул полицейскому. Хохлатый кивнул и выпятил грудь.

— Мясо кончилось.

Ухватившись за ручку железной шторы, поднятой лишь наполовину, мясник с оглушительным грохотом опустил ее. Тишина изумления простерлась в очереди. Потом какой-то высокий тощий мужчина, стоявший одним из первых, выкрикнул:

— Не может быть. Я видел, там мясо еще есть.

От его крика словно разверзлись глотки у остальных, очередь задвигалась, распалась, сбилась в комок взбешенных людей, окруживших полицейского. Легкие великана нагнетали воздух, сотрясавший могучие голосовые связки:

— Осади назад!

Кулаки полицейского работали подобно молоту. Рослый мужчина, возмущившийся первым, получил ногой в живот, и от боли словно переломился пополам. Скорчившись, он хватал ртом воздух и выл:

— Вы — ха-ам!

И тут же чуть не взвился над толпой, выхваченный рукою полицейского.

— Что вы сказали? Пройдемте!

И тут Петра всколыхнул приступ яростного гнева. Он отчетливо помнил: в лавке и на самом деле мяса было еще достаточно. Там, внутри, очарованный видением рыжекудрой красавицы, он все видел словно в тумане, но теперь перед глазами возникла картина четверти говяжьей туши, висевшей на крюке. То, что теперь творилось, было подлостью. Протиснувшись через толпу к полицейскому, он крикнул:

— Отпустите его! Он прав. Там еще есть мясо. Это мошенничество.

Побагровев от ярости, полицейский повернулся к нему. Петр видел прямо перед собой его рожу, разъятую усищами на две половины, на одной — тарачились налившиеся кровью глаза, а на другой из ощеренного рта скалились огромные желтые зубы. И, прежде чем он успел испугаться, рука полицейского ухватила за плечо и его.

— Именем закона. Пойдете со мной оба!

Шум в толпе нарастал. Прохожие останавливались и, подхлестнутые возмущением, мгновенно вливались в толпу, бушевавшую вокруг полицейского и двух арестованных. Люди поднимали высоко над головой руки, грозя кулаками, а некоторые даже размахивали продуктовыми сумками и складными стульчиками. В железном замке

пронзительно заскрежетал ключ. Это мясник принимал меры предосторожности. Однако полицейский не выпускал своих жертв и, волоча обоих нарушителей, пробивался сквозь толпу. И как раз в тот момент, когда первый удар, нанесенный пустой сумкой, сбил шляпу ему на затылок, появились три новых петушиных султана и принялись разгонять собравшихся, рыча и раздавая могучие тычки направо и налево.

Огромная ручища полицейского волокла Петра за собой, определяя направление его шагов. Что теперь будет? Они шли по улице, где совсем недавно скрылась незнакомка. Полицейский вел их молча, как, наверное, предписывалось инструкцией, но гнев его все еще не остыл. Он дергал и толкал их без всякой нужды. Люди останавливались и глядели им вслед. И под их взглядами Петр опустил голову. Он понял, что означает это происшествие для него. Его посадят, отдадут под суд и исключат из гимназии. Явственно представив себе все это, он замер на месте. Но резкий рывок погнал его дальше. Охваченный гневом, он поднял голову. В профиль лицо полицейского еще больше напоминало отца. Подбородок, усы, нос, брови, неумолимо жестокие глаза.

«По этому тюрьма плачет», — эхом отдавались в ушах слова, которые отец повторял несчетное множество раз. Может, в этом сказывалось его затаенное желание. Вот теперь он меня туда и ведет. Ведет сам, нацепив полицейский султан. Болезненная усмешка искривила уголки губ Петра. Без боя он не сдастся. Если уж попадать в тюрьму, то хоть за дело.

В уме быстро созрел план действий. Он снова вспомнил про перочинный ножик. Медленно сунул руку в карман брюк, внимательно следя, не видит ли этого полицейский.

Удар — это будет и месть и высвобождение. Поглядывая искоса на полицейского, он представлял себе, что отомстит не столько за сегодняшнюю несправедливость, сколько за давние обиды и унижения. Ему удалось засунуть правую руку в карман и нащупать ножик. Возиться с лезвием на ходу было неловко, но все-таки, прижав ножик к бедру тремя пальцами, большим и указательным он попытался его раскрыть.

Они достигли поворота. И тут, когда они сходили с тротуара, чтобы пересечь улицу, длинный повернулся и пинком резко ударил полицейского по голени. Петр услышал дикий рев; пальцы, вцепившиеся ему в плечо, разомкнулись. Он успел увидеть, как замелькали ноги

верзилы. Тот удирал по улице вправо. Защитная реакция сработала у Петра мгновенно, и он рванулся в сторону раньше, чем пришел в себя от изумления. Кинулся налево. С детства он был отличным бегуном, а теперь неся во весь опор, потому что речь шла о жизни и смерти. Воздух свистел у него в ушах, бил в лицо. Очутившись возле тесной улочки, свернул в нее, вспомнив, что там есть дом и проходной двор, через который ему наверняка удастся улизнуть.

До его слуха донеслось пронзительное верещанье полицейского свистка. На бегу припомнилось все, что когда-либо говорилось об этих свистках, и он понесся еще быстрее. Но перед ним словно из-под земли вырос мужчина, раскинувший в стороны руки. Петр понял, что свисток относился к нему, и попробовал увернуться. Но был схвачен.

Он ощутил на лице грубую ткань мужского пальто. И отчаянно заметался в крепких клещах сжимавших его рук. Из груди, к которой было прижато его ухо, он услышал гулкие раскаты низкого баса:

— Но-но, не торопись, голубчик. Что мы украли?

— Пустите меня. Ничего я не украд! — кричал Петр, но рука по-прежнему крепко держала его. Пытаясь вырваться, он вдруг заметил на отвороте пальто сверкающий сокольский значок.

— Отпустите меня, пожалуйста, я кричал: «Позор императору!»

— Тогда беги! — разрешил мужчина.

И Петр, делая длинные скачки, припустил дальше, чтобы наверстать упущенное время. Он даже не успел ни удивиться, ни поблагодарить освободителя. У проходного двора обернулся. Полицейского не было видно, наверное, он побежал ловить того длинного. Только несколько человек смотрело ему вслед, и среди них — бородач, который его задержал. Проход был темный и тесный, туда вели две лестницы, и благодаря этому там в случае крайней необходимости можно было укрыться. Он одолел подворотню без каких-либо помех. На ослепительно ярком свету улицы его опять охватил страх, и, заметив вдали султана полицейского, направлявшегося в его сторону, он снова пустился бежать. Смешавшись с прохожими на противоположной стороне улицы, Петр пошел шагом, прятаясь между ними. Опасность давно миновала, но он был так напуган, что готов был топтать на другой конец города и вернуться домой отдаленными кварталами, пусть хоть к вечеру.

Распахнутые двери костела, зажатого жилыми домами, привлекли его своей огромностью и угадывавшейся внутри темнотой. Прохлада, веявшая из храма, доносила сюда запах ладана, склепа, забытой набожности. Он еще раз оглянулся на полицейского, одолел три широкие ступеньки, отделявшие вход в божий храм от булыжников мостовой. На цыпочках засеменил по большим каменным плитам, стараясь ступать как можно тише, потому что под сводами высокого нефа, которые замыкали пространство, все было исполнено величественной торжественности; чудилось, будто сама тишина, погруженная в себя, предается здесь размышлениям.

Он прошел в боковой неф, отделенный от главного рядом колонн. Мужчина, одиноко сжавшийся на скамье, напоминал скорее спящего, чем погруженного в молитву человека, а на скамеечке для коленопреклонения перед большим изображением какого-то святого недвижно застыла старушка. Необъятный простор храма возносился над этими людьми и казался беспредельнее, чем беспредельность голубого неба, из-под которого Петр шагнул сюда. Прислонившись к одной из колонн, он поглядывал на входные двери, прикидывая, где бы ему укрыться, если полицейский доберется даже сюда.

На голом камне стен светился золотом алтарь, а на картине, помещенной в его центре, на сероватом троне облака возносился Иисус Христос. Из-под пурпурного одеяния выступало лишь его левое плечо и бок, отмеченный кровоточащей раной. Под ним, удаляясь в глубину и от этого уменьшаясь, теснились люди всех сословий, простирая руки с выражением раскаяния и ужаса перед возмездием. Лик Христа показался Петру равнодушным, он глядел куда-то внутрь себя, словно прислушиваясь к тайному голосу, а отнюдь не к воплям молящихся. И толпа, жавшаяся у израненных ног Христа, напомнила Петру очередь в мясную лавку.

Он снова поглядел из-за колонны на входные двери. Никто не появлялся. Какой бесконечный покой царил тут по сравнению с хаосом и смятением, творившимися снаружи! Вне всякого сомнения, бог был заклан здесь, исторгнутый из мирового пространства, безразличный к нему и углубленный в созерцание себя самого, — как Христос на заалтарном образе, — в то время как снаружи стонала земля и люди умирали от голода, молили и проклинали. Значит, здесь-то и обитал бог — в прохладном помещении оставленного людьми храма, всеми забытый, ко всему

безучастный. Словно вырвались из его всемогущей десницы демонические силы, обрушившие на мир все те бури и грозы, что натворили столько неисчислимых бед в человеческом лесу. Демоны, завершая свой бунт, презрели небеса и овладели миром, оставив богу лишь храмы, величественные и пустые, как дворец стареющего аристократа.

Шум улицы проникал сюда приглушенно и отражался от сводов мягким отзвуком, словно шум крыл. Негасимая лампада горела перед алтарем, как затвердевшая кровавая слеза, которая никогда не прольется, слеза с пылающей сердцевиной, от которой в сердце Петра рождалось ощущение таинственной силы. Юноша стоял, сжимая сумку, как вор свою добычу, отыскивая в душе то восторженное чувство, которое переполняло его в детские годы, крепость тех молитв, которые он с такой доверчивостью повторял, веру, которая теперь оставила его сердце, и он уже не мог припомнить, когда и как, по какой причине это произошло. Наверное, слишком часто не исполнялось то, о чем он молился, а может, потому, что другие удивленно спрашивали: «Ты все еще веришь в бога?» — и смеялись над ним и остались безнаказанными, а возможно, и потому, что в эти огненные годы открытия себя и окружающего мира ум его, гордый от сознания своей силы, обнаруживал бреши, казавшиеся Петру безднами. Да, именно из-за всего этого и из-за многого другого, что привлекало его к себе больше, чем радость веры. В табернакуле, в золотом солнце дарохранительницы, маленькая, хрупкая облатка скрывала Того, кто некогда вочеловечился. Удивительное, непостижимое таинство. Суметь поддаться его очарованию с той наивностью, как в детстве, когда ее вкус на языке ощущался и всем телом, когда ты весь трепетал от сладкого ужаса, а потом накатывали волны бесконечного блаженства, которое неощутимо пребывало в тебе, пронизывало душу, столь близкое, исполненное ленивой истомы, словно летний день, и в то же время столь невысказанно далекое и строгое, как звезды в провалах ночи. Это были времена, когда Бог был его посохом, материнским нежным объятием, защитой и последним прибежищем. Здесь, на этом месте, Ему отведенном, религиозное чувство вновь пробуждалось в душе, рождая печаль и умиление. Но все прежние пути, которые проложили к Богу его служители, пути, которыми Петр тоже ходил когда-то, были теперь завалены горами разочарований, а других путей он не знал. Эта чередя молящихся, изображенная на картине, по-прежнему вызывала в его воображении толпы голодных

перед пустыми лавками. Безучастное лицо Христа ошеломляло своим символическим смыслом. Бог и мир. Безмолвный Бог, и мир, объятый смертью.

Петр занял очередь во втором часу ночи, и с тех пор, кроме ломтя кукурузного хлеба, у него не было во рту ни крошки. А ведь скоро обед. Усталость давила на плечи, болели ноги. В костеле остались лишь старуха да он. Петр сел на скамью, ближайшую к колонне. В голубоватом сумраке храма была разлита сонливость угасающего дня, тяжелели веки, мысли превращались в картины. И, когда омут дремоты уже смыкался над ним, он вдруг почувствовал, как что-то изнутри ударило по сердцу, и оно почти перестало биться. Что-то случилось. В испуге он открыл глаза и оглянулся на двери. Там, склонив голову и осеняя себя крестным знамением привычным движением руки от лба вниз и от плеча к плечу, стояла незнакомка в зеленом костюме, с непокрытой головой, так, как она выходила из мясной лавки. Перекрестившись, она неслышными шагами приблизилась к главному алтарю. Петр в волнении поднялся и спрятался за колонной, которая уже и раньше служила ему укрытием.

Незнакомка опустилась на ступеньку, опершись сцепленными руками о перила. Сюда не проникал ни единый солнечный лучик, который обыкновенно забредает в храм осветить золотоволосые головки девушек, однако яркая рыжина ее волос полыхала даже в голубоватом сумраке костела. Петр издали плохо видел ее, но в его глазах еще жил ее образ, когда она улыбалась, стоя у входа в лавку. Хотя теперь она преклоняла колени и прелестные изгибы ее фигуры скрадывались под складками просторной одежды, Петр помнил и представлял себе ее всю. Его умиляло, что он видит, как она поникла перед алтарем и сосредоточенно молится, позабыв про все на свете. В ушах звучали слова полицейского: «Хворая она». Да, хворая и молится о своем здоровье. Он гадал, какая же хворь подтачивает ее тело, которое казалось ему крепким, как свежий плод. Он забыл о своих страхах, опасение за себя словно развеяло ветром. Строгий простор храма, торжественное, праздничное великолепие алтаря, сумрак и запах тлена и тайны служили обрамлением ее красоты.

Он подкрался к первой колонне, почти у самого алтаря, чтобы быть к ней поближе. Теперь он мог различить черты ее лица, которые лишь наполовину скрывали сложенные домиком ладони. Он не сводил с нее глаз, ибо в смущении своем тешил себя мыслью, что силой своего взгляда заста-

вит ее оглянуться. Он глядел на нее упорно, неподвижно, пока от напряжения на глаза не выступили слезы и не затуманили взгляд. Им руководило упрямое детское желание обязательно поставить на своем. Чтобы каким-либо образом сблизиться с ней, он попробовал молиться. Но поймал себя на том, что повторяет одну и ту же фразу, и она потрясла его своей греховностью.

«Господи боже, сделай так, чтоб она стала моею, сделай так, чтоб стала моею».

«Да, сделай, чтобы стала моею, — повторял он с внезапной заносчивостью, в которую вместе с отчаянной надеждой проникло больше веры, чем он мог предположить. — Сделай так, и я снова стану твоим, как прежде».

Он твердил эту свою молитву так долго и с таким упрямством, что она стала представляться ему столь же естественной, как просьбы о здоровье для матери или об успехах в учебе, с чем он обращался к богу раньше. И эти настойчивые повторы раскачивали его сердце, как колокол, в ритме восторженного ликования: «Не может он отклонить эту мольбу, не может не услышать».

Однако незнакомка встала и ушла, даже не заметив его. Петр не посмел и шевельнуться. Подойдя к кропильнице, она смочила пальцы и перекрестилась еще раз. Если бы он стоял на прежнем своем месте, то подал бы ей святой воды, тоже омочив кончики пальцев, он где-то читал об этом.

Он проследил, как она вышла за двери, как, осторожно ступая, спускалась по ступенькам, словно не знала, куда поставить ногу. Когда она скрылась из виду, нерешительность Петра словно ветром сдуло. Он ринулся к дверям, не слыша громкого топота башмаков, который отражался возмущенным отзвуком в тишине храма. Но у самого порога Петр остановился. На противоположной стороне тротуара стоял полицейский, поглядывая по сторонам. Сомнений не было — он разыскивал Петра. Петр отступил внутрь храма, не спуская глаз с полицейского. И только от дикого страха, сжавшего ему горло, крик ужаса застрял у него в гортани, когда сзади кто-то положил руку ему на плечо.

— А ну марш отсюда! — просипел у него над ухом дребезжащий голос церковного сторожа. — Да побыстрее, не то позову вон того, с улицы!

Сторож разжал руку, и Петр медленно двинулся к дверям, тупо, как осужденный, не пытаясь уже искать путей к спасению. Только спустившись на одну ступеньку, немного задержался. И как раз в это мгновение полицейский

повернулся и спокойно, размеренным шагом двинулся в том же направлении, в каком шла незнакомка. Спрыгнув с лестницы, Петр помчался в противоположную сторону.

9

Оставшись в одиночестве, Петр часто грезил наяву; чтобы не думать о страданиях, которые переполняли его жизнь, он строил планы побега и, отвергая их один за другим, искал способ чем великопнее, тем неосуществимее. После того как вернулся отец, эта игра все чаще занимала его. В доме все стало опять по-прежнему. И впрямь, сколько утекло времени, а ничего ведь не переменилось. Опять он чувствовал себя тем же заброшенным, предоставленным самому себе мальчиком, просыпавшимся с рассветом, когда еще темно, когда шкафы представляются страшными великанами, а стол — крадущимся зверем; он зовет мать, захлебываясь плачем в пустой запертой квартире. Стучит в закрытые двери соседка, пытаясь его унять. Двери и теперь еще закрыты, стучится в них жизнь, многое обещая, но ничего не выполняя.

Бертик пропадал целую неделю, уехав с Зичкой, которая решила возвратиться домой, к родителям. Приехал осунувшийся, но сияющий. Исчезла Зичка, исчезла Фрида, уехала неизвестно куда и пани Газова (есть на свете такая хворь, которая обезображивает лицо, как бы она не коснулась и этой пани!), и никогда уж ему не увидать незнакомку с рыжими волосами, в зеленом костюме. Это было как мимолетное виденье, как мечта; город слишком велик, и случайно везет только тем, кто на случайность не полагается. Все-таки Кама не нужно было уезжать. От нее сохранилась лишь бесплотная тень, а тень — ненадежная опора для молодого человека. Все, что произошло, ложится на ваши плечи, Кама. Никогда ничего не случилось бы между ним и Фридой или Зичкой и даже пани Газовой, никогда бы не рискнул он посетить тот дом... Но, быть может, в один прекрасный день... (Он никогда не наступит, а вы будьте счастливы, Кама. Хотелось бы мне пожелать вам зла, да не могу.) Ночь подошла к одиннадцати, две единички напоминали двух парнишек, отощавших от забот и мучений. Две единички — две тени отчаяния. Мать до сих пор не вернулась от хозяев, отец — в трактире.

Когда отец впервые разорвал путы нерешительности и явился домой поздно ночью, дыша винным перегаром, он

принес кусок жареного карпа, завернутый в шелковистую бумагу, — с давних пор это было обычным для него откупом за разгулы; с тех пор опьянение и укоры совести определяли настроение в семье. Он шумел и рассказывал бесконечные истории о собутыльниках, которых встретил за столом, и о тех, кто пропал в омуте войны. При этом он шутил с матерью, щипал ее и шлепал так, что у той наворачивались на глаза слезы. Мать улыбалась, покорно снося подобные любезности, а Петр сидел в углу у окна, сжимая в коленях кулаки. Он заходилась от жалости к матери и терзал себя сознанием собственной бесхарактерности. Нет, это бессердечное животное не могло быть его отцом. Он не хотел с этим примириться. И, сравнивая свои силы с его мускулами и кулаками, убеждался в своей безнадежной слабости, которая жгла его сильнее, чем трусость. Господи, прости, что я не люблю его, и дай мне смелость, дай смелость, смелость убить его. Да, все откладывается в душе человека, ничто не исчезает и ничто не бывает забыто. Вспомни, Петр, свое детство и как отец выбросил твои игрушки, те, что ты выпросил у других ребят, и те, что купил себе на жалкие накопленные гроши, вспомни про обруч, который он растоптал, пистолетик, который он зашвырнул в канал, шарики, которые отбирал постоянно (он ни разу ничего тебе не купил, ни одного лакомства), вспомни, как он запирали тебя дома, когда другие дети играли, припомни все хорошенько, Петр, и беги. Напрасно пальцы его сжимаются в кулаки, ему не выжать смелости из сердца, которое дрожит мелкой дрожью, стыд и позор тебе, трусу, позор и матери, которая вместо того, чтобы взбунтоваться, только нацепляет на лицо скорбные улыбки.

До полуночи Петр ворочался на постели, вслушивался в продолжение того, что соединяло в его представлении мысли об убийстве и отвращение к отцу с разбуженным сладострастьем и недавними открытиями. Белая грудь, светящаяся в темноте, как луна на черни небосвода, два белых полнолуния. Он снова навестит этот дом, как только у него заведутся деньги. Если даже те деньги, на которые он туда ходил, и принадлежали матери, то, по крайней мере, теперь она за это наказана. В такие минуты даже любовь к матери оказывалась погребенной под лавиной образов, которые заполнили его воображение. Его нужно убить, его обязательно нужно убить! Яркие картины, смесь прочитанного с игрой воображения, свойственной робкому духу, который сам себя разжигает несбыточными мыслями о героизме. Руки Петра сжимались в кулаки, искали нож,

который маячил перед глазами, но в первую очередь пугал его самого. Тщетно пытался поразить он им свою жертву; нож поворачивался в кулаке и неотвратно приближался к его собственной груди, чтобы пронзить ее острой болью. Наверное, так вот, из тьмы подкралась смерть к пану Газе. И вот уже только отцовский храп пилой вгрызался в тишину, однако и на рубеже сна и бодрствования зачарованный мотылек сознания все еще кружил над мерцающими огнями навязчивых образов. То там, то сям пламя доставало их своим длинным огненным языком: пани Газова и Фрида, дом в узкой улочке и отец, муки, новые и давние, и те, и другие равно жестокие. Почему мир не рухнет или, по крайней мере, отчего Петр не уснет вечным сном?

И так повторялось изо дня в день — все они походили на сегодняшний, когда Петр сидел в тесной комнате с чересчур высоким потолком, и зияющая пустота над изголовьем обрушивалась на него все новыми и новыми тревогами. В тишине, которую то и дело разрывали звонки громахавшего по улице трамвая, время отбивало шаг звучным тиканьем будильника. Сколько раз, еще перед войной, Петр вот так же ожидал возвращения отца, трясаясь от страха. Теперь ему хотелось взбунтоваться. Ведь он уже не ребенок. Но все напрасно. Бесконечные скандалы подействовали так, что ему никогда уже не стать спокойным и рассудительным. В его душе навсегда останется ужас перед криком и ссорами, в нем навечно поселился страх перед хамством.

Господи! Вот кто-то повернул ручку и отпирает ворота дома. Гремит задвижка. Пружинная защелка издает вздох, ключ в трясущихся руках стучается о металлическую накладку, еще два щелчка — и шаги. Чьи? Вот они поднимаются по лестнице — и затихают. Облегчение длится, однако, недолго.

Отец уже вчера запретил матери ходить к хозяевам. Кичился, — ему-де не нужно, чтоб его жена на чужих спину гнула. Для чего же он тогда, собственно, вернулся, а? Ну, отвечай!

А впрочем, самому ему и в самом деле не было нужды в том, чтобы его жена гнула спину на чужих, ведь он давал ей ровно столько, сколько он сам и съедал. Спрашивается, а чем матери кормить сына и себя? Хотелось бы знать! Хотя утром, когда мать уходила на работу, отец промолчал, но сейчас он снова вернется к своим привычным разговорам. Стоит только ему очухаться от пьяных восхвалений, которыми в кабаке осыпают его собутыльники, величая «паном инженером», вернуться в эту берлогу на нижнем этаже

и вспомнить, что он — всего-навсего дворник, а супруга его еле волочит ноги в услужении у господ, как он тут же разъярится снова. Эх, если бы не подлая жизнь, как бы он мог преуспеть! Это он-то, при его способностях, с его фигурой, красивой походкой и манерами! Не зря ведь пьяницы с институтским образованием принимают его, как равного. Он не был и никогда не будет дворником, и коли жена все равно должна служить, то пусть служит ему.

Но где запропастилась мать? Впрочем, что переменялось бы, даже если бы она была здесь? Если отцу придет охота ругаться, причину он всегда найдет. Заведется из-за пустяка — из-за книги, забытой на столе; из-за неплотно прикрытых створок шкафа, из-за любой ерунды, не стоящей внимания. Душа у отца — как у дьявола: рождает зло; там вылупляются чудовищные подозрения, отзвуки мерзостей, пережитых или впитанных с молоком матери. Таков уж был весь их род, вся их семья, где ложились и вставали с бранью, где ненавидели друг друга, проклиная кусок, перепадавший брату, дочери или родственникам, и где лишь одного хватало на всех: вина.

Почему не возвращается мать? Почему хозяева держат ее там так долго, почему у нее самой не хватает мужества сказать: «Уже ночь на дворе, сударыня, мне пора домой». Нет, все стоит над корытом с грязным бельем, в облаках пара, который осаждается на холодных стеклах окон и ручейками стекает вниз, будто слезы. Кончики ее пальцев сморщились, словно стиральная доска, на которой она оттирает грязь с рубашек, кальсон и простыней своих хозяев. Как-никак кормильцы. Не забудь, Петр, поцелуй ручку сударыне, когда она будет спускаться вниз. Только Петр никогда не встречал сударыни, которая спускалась бы вниз.

Да, так-то вот оно. Другие ребята небось уже спят, окруженные родительской лаской, не ведая тревог и забот. А Петру приходится бодрствовать, опасаясь возвращения отца, и думать о материнской любви, которую он получает из ладоней, ободранных непосильным трудом. Он был почти уверен, что без сына ей жилось бы лучше. Собственно, потому ее и преследует и мучит отец, хотя прямо этого не скажет.

В замке загремел ключ, и одновременно послышалось хлопанье двери на втором этаже. Это спускалась по лестнице мать, Петр знал тихий, шаркающий звук ее туфель. Грохнули ворота, словно с маху ударившись вдруг о стену. Это отец. Пружинная задвижка просипела, как взрыв пара,

наверное, ее сорвали, и створки ворот снова трахнулись о стену. Хочет доказать, что ему все нипочем. Вытащив ноги из трясины засасывающего страха, Петр подошел к дверям и распахнул их, словно рассчитывая предотвратить неотвратимое. За дверьми стояла мать.

— Входи и молчи, мама, — выдохнул он.

Во тьме подворотни затопали отцовские шаги, и мать шмыгнула мимо Петра, притихшая и побледневшая.

— Добрый вечер, — покорно проговорил Петр, встречая отца и бросая приветствие ему под ноги, как пальмовую ветвь мира. От страха, навалившегося на плечи, он судорожно пытался найти в душе нежность и любовь и, стараясь задобрить отца, врал, как неверный возлюбленный, опасющийся кинжала своей любовницы.

Поднявшись на цыпочки, он протянул руку к голове отца.

— Ну-ка, давай повешу кепку. — И тут же пододвинул стул. — Садись, папочка.

Однако его нежность не возымела никакого действия. Отец попросту не замечал его. Стоял, широко расставив ноги, словно вросшие в пол, с упрямством пьяницы, который никогда не качается из стороны в сторону, страшный, как убийца, в своем потрепанном мундире; он не сводил с матери упорного взгляда.

— Может, съешь что-нибудь? — заикаясь, спросила она.

— Где ты была? Где была? Что я говорил тебе вчера? — взревел он.

— Отец, я прошу...

Схватив его тяжелую руку, Петр начал ее гладить. Рука вырвалась. Взившийся кулак неистово обрушился на стол. Но среди этого грохота лицо матери вдруг посуровело. Прикрытые завесой тоски и отчаяния, глаза ее вспыхнули дикой ненавистью. А Петр все твердил про себя: «Ты только молчи, ради бога, молчи. Поревет немного и утихнет».

— Не ори, — проговорила мать. — Уже полночь на дворе. Не стоило ради этого домой возвращаться, оставался бы там, где был.

Из всех этих слов пьяный мозг уловил только самый худший смысл, который мог быть в них вложен. Мать вовсе не имела в виду кабак, где он только что буйствовал, она вспомнила про фронт и госпитали, где он мучился еще совсем недавно, томимый страхом смерти и изнуренный болезнью.

— Это нам известно, тебе бы хотелось, чтоб я подох где-нибудь как собака.

Слова эти произнес уже не человек. В них было что-то от сверхчеловеческой силы и нечеловеческого бешенства. Все внутренности у Петра, сперва дрожавшие, вдруг оцепенели, в то время как тело была лихорадка. Мать не дрогнула. Наверное, будь это кто чужой, она испугалась бы. Но перед ней стоял ее муж. И, как уже множество раз, оскорбления его вызывали в ней яростную решимость действовать.

— Я не потерплю, чтоб на меня орали. Заберу парня и уйду из дома.

И, как прежде, все в Петре восстало против такого ухода. Зачем тогда было мечтать о бегстве, придумывать разные способы побега и новой жизни после обретения вольности? Но мать уже стояла рядом, схватив его за руку, как малого ребенка. Нет, она совершенно ничего не хотела брать с собой из вещей, просто вот так, как есть, в чем были, убежать в ночь — и все.

Нога отца, могучая, как столб, поднялась над порогом двери.

— Никуда ты не пойдешь. Коли мне суждено подышать в Мадьярии, то лучше уж подохнуть здесь. Но и вы подохнете со мною вместе.

Около двери, в нише окна, стоял низкий деревянный шкафчик, в который когда-то ставили таз. А в его ящике — это Петр хорошо знал, поскольку часто гляделся в его блестящие плоскости и подбрасывал на руке, дрожа от волнения и страха, — хранился небольшой никелированный револьвер.

Напрасно мать терзала и дергала ручку двери. Нога отца крепко заклинила ее, а рукой он шарил в кармане, ища ключи.

— Прощу тебя, папа, не надо! — кричал Петр.

Он все еще надеялся. Двери были не заперты, и в замке не торчало ключа. Так что оставалось только отпихнуть эту страшную ногу. Нагнувшись, он дергал, теребил и тянул ее, сильную, тяжелую, словно вросшую в доски пола. Отец опирался о стол, который был придвинут к стене.

Напрасны все твои усилия, Петр, не стронуть тебе этой ноги, твердой и крепкой, как стальная балка, по которой скользят твои слабые пальцы. То место, которое ты ненавидел и подсознательно любил, превратилось в западню, и теперь из нее — не спастись. А жизнь улетучивается с каждым вздохом легких, с каждым стуком сердца, разрываемого этими бешеными ударами на части. Что же оста-

ется живому существу, над которым занесена коса смерти, как не крик, отчаянный крик, призывающий на помощь всю силу жизни.

Мать неподвижно стояла у дверей, опираясь о косяк. Она уже не дергала ручку. Сдалась. Только ненавидящим взглядом в упор смотрела на отца, который искал в связке ключей тот, что подходил для этого замка. Когда Петр закричал, она повернулась к нему.

— Молчи. Пусть убивает. Все равно.

Но Петр не переставал кричать. Пусть даже она утратила интерес к своей жизни, но почему не хочет защитить его? Нет уж. Какое ему дело до их жутких раздоров? Ему хочется жить. И поэтому Петр кричал, кричал из последних сил, напрягая голосовые связки, пока не охрип.

Охрипнув, он на секунду перестал кричать, и в тишине, более ужасной, чем крик, раздалось несколько еле приметных звуков: звяканье ключей в руках пьяного отца, пробовавшего повернуть в отверстии замка очередной ключ, напряженное дыхание трех человек, и вдруг — слышишь? — как будто чьи-то легкие шаги сбегают по ступенькам и приближаются к дверям.

Постучали. Звякнула упавшая на пол связка ключей. Напор отцовской ноги ослабел, свет смертельной бледности покрыл его лицо, согнав со щек пьяный румянец. Не быстро, но и не медленно двери отворились.

Хозяйский сынок — разодетая узкогрудая кукла, слабая тростиночка с высокомерным взглядом — встал на пороге.

— Что это вы здесь безобразничаете?

Губы на гипсовой маске отцовского лица беззвучно шевельнулись.

— Он хотел нас застрелить! — выкрикнул Петр.

Молодой хозяин приподнял брови. Из отцовской глотки вырвался хриплый запинаящийся звук:

— Немного погорячился, сударь!

— Нет, он бы этого не сделал! — воскликнула мать.

— Давайте это сюда, — произнес молодой хозяин и протянул руку.

— Вот ключи. Револьвер в ящике.

Петр поднял связку, нашел нужный ключ и подал хозяину. Отец безучастно смотрел на происходящее. Вдруг лицо его побледнело еще больше, и под тяжестью его тела затрещал стол. Мать встала около отца и повторяла, сама не своя:

— Он бы не сделал этого, не сделал.

— Запомните, ночью в доме должно быть тихо,— сказал молодой хозяин и, как будто для того, чтоб обеспечить тишину, сунул револьвер в карман.

— Верну как-нибудь потом. А сейчас ступайте спать. Ступайте,— резко повторил он, видя, что отец не пошевелился.

И тогда отец поднялся и, нетвердым шагом подойдя к кровати, свалился на перину. И тут же уснул, словно потерял сознание.

10

С этой памятной ночи между отцом, матерью и Петром разверзлась бездна молчания. Скорый конец отпуска висел над ними, будто камень, который подтачивали капли секунд. Когда отец бывал дома, он мог целыми часами сидеть, спрятав голову в ладонях, и глубокая морщина, прорезавшая лоб и день ото дня становившаяся все резче и глубже, была внешним проявлением усиленных раздумий, от которых изнемогал мозг. О, этот мозг! Любая глупость, измышленная в состоянии опьянения, оставалась там записанной неизгладимо. Но теперь его мозг лихорадочно исторгал из себя разные замыслы насчет того, как уклониться от возвращения на поле брани. Ибо дни бежали, как минуты перед казнью, тени мрачных мыслей все удлинялись, и отъезд, подобно пеньковой удавке, маячил все неотвратимее; петля все туже стягивалась вокруг горла. Очевидно, выход был в конце концов найден, потому что отец постригся и подбрил усы, снял мундир и вышел из дома в обычном костюме. Что он задумал — не знали ни Петр, ни мать. Да и как они могли об этом узнать? Отец не отвечал даже на их «здравствуйте».

Теперь он отсутствовал чаще и дольше, но возвращался всегда трезвый. Однако возвращался когда попало и не интересовался ничем, что не касалось его лично. А в последние два дня до отъезда заявлялся домой лишь под утро.

«Наверное, прощались», — предположил про себя Петр.

Но миновал и предотъездный день, а отец все еще торчал в городе.

Петр, считавший дни с не меньшей, чем отец, тревогой, чувствовал, что нескончаемая их череда может завершиться бог знает чем. Ожидание затягивалось, и чем дальше, тем больше казалось, что они живут на заминированной территории. В путанице догадок невозможно было отыскать

объяснение столь неожиданной перемене. Лик отчаяния представлял в бесконечных вариантах, словно в комнате смеха. Отец еще не отбыл, слышишь, Петр, — не отбыл, и как знать, что у него на уме. Если бы завод, где он работал до войны, выхлопотал для него освобождение, он уже ходил бы на работу. Между тем отец шлялся бог знает где. Скорее всего, он дезертировал. А что значит побег в такое время! Петр не сомневался, что готовится нечто страшное. Отец все поставил на неведомую темную карту, и ничего хорошего от этой безумной игры в прятки ждать не приходилось.

А время торопилось вперед, хотя на ногах отца повисли гири неуверенности и крылья подрезал страх. Миновало еще два дня, но ничего не переменялось. Однако ночами Петра терзал страх куда более ужасный, чем до сих пор. Стоя в очередях, он засыпал даже днем, подперев плечом стену, ибо дома из ночи в ночь гнал от себя сон. Под валиком дивана он держал наготове кухонный нож и, лежа, время от времени касался пальцами его скользкой от жира ручки. Когда же сон своими тяжелыми пальцами смежал ему веки, он сопротивлялся изо всех сил, а если и засыпал, то подсознание извергало вдруг дикий смерч зловещих сновидений, который снова выбрасывал его на безрадостный брег бессонницы.

На третий день, после бессонной ночи (отец вернулся под утро и, позавтракав, сразу ушел), Петр стоял в очереди перед булочной. И на минуту задремал — дремота напала на него, стоило ему остановиться, — но тут же очнулся от ощущения надвигающейся опасности. Открыв глаза, он увидел, как от дальнего угла важным шагом движется уже знакомый ему полицейский. Надвинув шляпу глубоко на лоб, Петр выскользнул из очереди. До угла шел медленно, небрежно, разыгрывая нетерпеливого человека, которому уже надоело ждать. Но едва завернув за угол, отбросил всякое притворство и перевел дух лишь на набережной. Здесь было спокойно. Солнечное утро, сияющая и почти неподвижная гладь реки, несколько стариков, с трудом переставлявших ноги — все лениво двигалось к своей цели: к ближнему полудню, к далекому океану, к вечному успокоению и миру.

И все же истерическое состояние не прекращалось. Хотя Петр шел не торопясь, что-то внутри него несло вперед, подгоняемое бесами, которые олицетворяли все, чем он теперь жил. Зачем ему день, яркий, как факел в божественной длани? Ведь он все равно не в состоянии

разогнать темноту, в которой блуждал Петр. И все же, отсвечивая много слабее, чем факел, тусклый отблеск рыжих прядей над знакомым зеленым костюмом разом рассеял все страхи, а сердце забилося где-то в горле клоко-таньем закипевшей крови.

Она стояла на тротуаре перед театром и оглядывалась вокруг. Сегодня она была в черной шляпке, из-под которой пряди волос ниспадали золотистыми волнами. Наверное, в этих волнах отражалась ее душа, такая же рыжая и буйная — воплощенное волнение. Петр затылком ощутил обжигающую ледяную дрожь. В памяти всплыл образ детины-полицейского, его первое столкновение с этой женщиной, и, устанавливая взаимосвязи меж событиями и участниками, он убедил себя, что в этой игре случайностей виден перст судьбы. Опершись о парапет набережной, он тщетно разжигал в душе смелость, чувствуя, как она иссякает от недостатка подобающих случаю слов. И вообще, как бы он посмел к ней обратиться? Ведь до сих пор она его даже не замечала. Не подозревала о его существовании. Прежде всего следовало бы привлечь к себе ее внимание, заставить на себя взглянуть (а уж как взглянет, то первое, что ей бросится в глаза, так это его костюм — рукава, не доходившие даже до запястий, брюки, вздувшиеся на коленях и обтерханные внизу, башмаки на небольшом каблуке, которые перешли к нему от матери). Какая-то надежда, великая в своей неопределенности, перенесла его через эти рифы. Наверное, за него будут сражаться иные силы, нежели те, что обретаются в щегольской одежде. Вот сейчас он перейдет на ту сторону, остановится неподалеку и неотступно, как тень, будет следовать за нею, пока не узнает, где она живет. И каждый день будет выстаивать возле ее дома, пока она не обратит на него внимание, умилившись столь редкостным постоянством. А там уже все пойдет легко, и все станет возможным.

Ледяной холодок решимости и первый шаг, как взмах крыл. Взмах, пресеченный непредвиденным ударом.

Первый шаг завершился прыжком за широкий ствол акации, росшей неподалеку. В груди неистово заколотилось сердце. Прижавшись к стволу, Петр еще некоторое время соображал, не обманывают ли его чувства? Высунул голову, надеясь, что видение исчезло. Но отец по-прежнему стоял перед златовласой красавицей и раскланивался, сняв шляпу. За одной невероятностью последовала другая: улыбка, осветившая лицо незнакомки, — эта улыбка до сих пор не изгладилась из памяти Петра, — теперь адресова-

лась отцу, а рука ее, даже издали мягкая и податливая, поднялась и скользнула к нему под локоть.

Из-под всесокрушающего потрясения, обрушившегося на Петра, с трудом выбиралась перешибленная воля к действию. Идти за ними. Но еще более страшное соображение парализовало Петра. Мать. Мать, которая ничего не знает. Обманутая. Но сейчас это соображение лишь на мгновение мелькнуло в уме, лишь позднее он ухватился за него, чтобы непрестанно беречь им неисцелимую рану.

Покинув свое убежище, он перебежал улицу. До него донесся низкий звучный смех отца. Петр выслеживал их, скользя вдоль стен и витрин. Они сели в трамвай, и он тут же тронулся. Петр долго еще мчался следом за грохочущим вагоном, уже не думая, что его могут заметить. Но на середине моста выбился из сил.

Мать подобрала хозяйственную сумку, которую Петр швырнул на диван. Как она оказалась дома именно в эту минуту?

— Ты принес хлеба?

— Нет.

Повернувшись спиной к матери, сунув кулаки в карманы брюк, покачиваясь, переступая с пятки на носок, Петр засвистел какой-то мотивчик. Боже мой! Какое высокое, какое синее, какое лучезарное небо за окном!

— Ты что, не можешь ответить как полагается?

— А что тут отвечать? Не достал — и все.

— Нужно было пойти в другой магазин.

— В другом тоже не было.

— А что мне дать отцу, когда он вернется? Оденься и сбегай, может, еще достанешь где.

— Папенька тоже может лопать картофельные лепешки из очисток, как и мы. Впрочем, он и так о себе похлопочет, не бойся.

— Петр! — одернула его мать.

В этот момент она осознала то, что очень долго скрывала от себя самой. Мальчик ненавидел отца. И, чтобы отогнать мысль о том, что это только справедливо, она принялась браниться, кричать и плакать одновременно. Петр тупо слушал ее. Скорее всего, мать любила отца больше. От этого открытия горечью залило рот. Пронзительный звук ее голоса хлестал, как бич, по той неразберихе, что царила у него в голове. Если бы только она знала, если бы только знала! Он не мог ей этого сказать. Видел перед собой ее

лицо, покрасневшее от волнения, выпученные и заплаканные глаза, воздетые руки, которыми она потрясала, угрожая ему расправой. Отчаянная жалость залила его. Схватив сумку, которую она бросила на стол, он выбежал из дома.

Отец не вернулся ни в этот день, ни на следующий. Мать и Петр не разговаривали друг с другом. Если Петр оставался дома, он видел, как она бродит по комнате, утирая глаза, покрасневшие от слез, а ночью слышал, как она плачет, уткнувшись в подушку. Петр вслушивался в эти всхлипы, и его чувства к отцу, по которым колотили беспощадные молоты обиды, оскорбления, сочувствия к матери и самый мощный — открытие, что у тебя украли нечто тебе принадлежавшее, приобрели устойчивую, определенную форму ненависти. Две ночи подряд он, без преувеличения, не сомкнул глаз. Порой терял сознание, и тьма обрушивалась на него потоками страшных образов. Он сочинял бесконечные разговоры, которыми успокаивал мать, и незаметно подводил ее к тому положению вещей, которого она не предполагала. Прикрываясь правом сына, который обязан отплатить за оскорбление, нанесенное чести матери, он обдумывал, как бы отомстить отцу. Ему уже не нужно было считаться ни с чем, он мог поступиться сыновним чувством и со смехом отринуть угрызания совести. Если это и на самом деле его отец — тем хуже. Всплески фантазий, вскипавших вокруг этого центра, взметнулись новой волной. Никогда у отца не было такого множества причин, чтобы разделаться с ним и с матерью. Может, он сбежал и никогда не вернется, а если вернется, то чтоб убить их. Кухонный нож снова перекочевал под валик дивана. И не столько для обороны, но в первую очередь в целях возмездия и окончательной расплаты за все. Обернув лезвие ножа газетной бумагой, он теперь даже днем носил его в кармане пиджака, — в кармане была дыра, и нож можно было спрятать даже за подкладку. Он уже знал, как ведет себя мужчина с женщиной и что женщина позволяет мужчине. Представляя себе отца и эту женщину вместе, он содрогался и корчился, как тот несчастный, которого приговорили к пытке. Видение вопияло о кровавой мести, и он не видел способа разрешить конфликт полюбовно.

Ему было невыносимо видеть, как терзается мать. Она уверила себя, что отца забрал военный трибунал, и представляла его арестованным и приговоренным к смерти за дезертирство. Свои опасения она держала про себя и не делилась ими с Петром. В те краткие минуты, когда они

оставались вместе, Петр выдумывал тысячи способов выложить ей всю правду. И не мог выговорить ее.

Два дня подряд Петр бегал от лавки к лавке, внимательно разглядывая стоящих в очереди, потом перешел через мост и там тоже рыскал по улицам в надежде наткнуться на отцовские следы. А что бы он сделал, если бы отец вдруг возник перед ним? Сжимая в кармане рукоятку ножа, он понимал, что ни за что не отважится на такой поступок. Но хоть выследить бы, где они скрываются. А уж потом он нашел бы способ, как отплатить и за себя, и за мать.

Два солнечных июльских дня, вспыхнув, сгорели один за другим, а на третий день, после обеда, возвращаясь домой (Петр шел по краю тротуара и, перешагивая через щели, разделявшие широкие плиты, говорил себе: «Вот если наступлю на щель, значит, он дома, не наступлю — значит, нет»), неподалеку от своих ворот увидел незнакомку. Ничто не могло удивить его больше, чем эта встреча. Он уже привык к мысли, что они вдвоем исчезли из города, и именно в этом направлении изощрялась до беспредельности его фантазия. Прошло, наверное, много времени, прежде чем помраченное сознание Петра страшно путы оцепенения. Лихорадочно заработала мысль. Несколько безрассудных метаний — и он отпрыгнул от этой женщины к воротам. В конце концов пришло решение — надо вбежать в дом. И только там страх навалился на него всей своей тяжестью. Съежившись, он на цыпочках устремился вперед. Услышал голос отца. Отец говорил громко, но не кричал.

Сгорбившись, словно вор, Петр прокрался мимо дверей и выскользнул на двор, под окно. Оно было распахнуто настежь. Солнечную тишину двора нарушал разговор двух голосов: сдавленного — матери и сурового, нарочито приглушенного — отца. Хотя Петра трясло от страха, его вдруг охватило чувство отчужденности. Он словно бы слушал диалог двух невидимых актеров, которые проговаривали свои роли.

— Достань мне белье и другой костюм.

— Ты что хочешь делать?

— Вынь белье, говорю, и другой костюм.

— Не делай этого, Пепа, Христа ради, не делай. Ведь изловят тебя, а потом что?

— Не твоя забота, делай, что велю. И торопись, а не то вот — погляди, какие руки. Гляди хорошенько. Даже хлопущки не понадобится, чтоб от тебя избавиться. Ты чем тут занималась, пока меня не было, а? Чем занималась всякий

день до самой ночи там, наверху? А этот вертопрах как очутился у нас под дверью? Небось защищать пришел? Ну, нынче он тебе не защита.

Натужный голос отца, еле сдерживавшего ярость, был страшен. А за ним зазвучал пронзительный, непривычный крик матери.

— Ступай отсюда. И не приходи больше. А нет — расшибу голову.

Оцепенение Петра как рукой сняло. Он влез ногами на стул, на котором просидел все лето за книжкой. Цветочный горшок с широколистной пеларгонией, усыпанной гроздьями пурпурных, пряно пахнущих цветов, скрывал его лицо. В тени у печки белело бледное лицо матери, в ее напряженно поднятой руке блестел утюг. Он видел голову отца, странно втянутую в плечи, как будто от уже нанесенного удара, его согнутую спину и на краю стола — сжатый кулак. Слышал, как отец бормочет:

— Положи. Ты что, спятила? Положи, говорю.

Прыг — со стула и бегом! Быстрее, быстрее, пока ничего не произошло. Найдется ведь какая-нибудь помощь. Сам не зная почему, он промчался по подворотне на цыпочках. Где же эта девка? Но теперь нечего ее разыскивать. Посреди проезжей части, считая ворон в солнечный день, такой упоительно жаркий и располагающий к ленивой истоме, стоял полицейский.

— Пан полицейский, прошу вас, пойдемте скорее к нам.

Полицейский, чей покой потревожили, был явно раздосадован и не в духе.

— Зачем? Что случилось? — строго проговорил он.

— Он хочет ее убить.

Полицейский забеспокоился, хотя по-прежнему оставался осторожен и недоверчив.

— Кто кого хочет убить?

— Отец матушку.

Два солдата остановились рядом с ними и прислушались.

— А почему он хочет ее убить?

И Петр, не зная, как побыстрее все объяснить, выпалил:

— Пьяный. Да пойдемте побыстрее.

Один из солдат спросил:

— А может, нам пойти с вами? Мы из военной полиции.

Полицейский задумался. Потом, сохраняя достоинство и дальновидность блюстителя порядка, махнул рукой.

— Пойдемте. Ерунда все это.

В подворотне было тихо, нигде — ни малейшего крика. Шаги военных и полицейского прогремели под высокими сводами.

— Это здесь, — прошептал Петр, когда они оказались у двери.

Тишина была пронизана ужасом. Полицейский и вояки обменялись косыми взглядами внезапно охватившей их нерешительности. Изнутри слышалось какое-то бурление, вроде забулькала вода, и резко заскрипел стул. Полицейский, выпятив грудь, решительно постучал и вошел в комнату. Вояки ринулись за ним.

Петр задержался в дверях, пытаясь заглянуть внутрь комнаты через их плечи. Он увидел побледневшее лицо отца. Мать, стоявшая на коленях у плиты, тут же поднялась, издав последний застрявший в горле всхлип и спрятав лицо, мокрое от слез. Поборов смущение, вызванное отсутствием ожидаемой трагедии и тем, что он и впрямь позволил вывести себя из равновесия какому-то чумовому подростку, полицейский резко спросил:

— Так, собственно, что здесь происходит?

И тут все напряжение, в котором Петр пребывал с первого дня после возвращения отца, все бессонные ночи, проведенные в тоскливом ожидании новых кошмаров, жуткая игра воображения, трусливые компромиссы и тщетные попытки решиться на бунт, все отнятые минуты радости — с детства и по сей день, — все задавленные улыбки и утраченное доверие вырвались из сердца Петра на волю — ни дать ни взять, бесы, которых он не забывал подкармливать и науськивать.

— Он хотел ее убить, я знаю! — крикнул Петр. — Он уже неделю назад собирался убить нас обоих.

И точно так же, как в ту ночь, когда молодой хозяин спас их в последнюю минуту, мать и сегодня бросилась к полицейскому.

— Неправда это! Не верьте ему! Никогда бы он на такое не решился.

Полицейский недоуменно пожал плечами. Все было так, как он и предполагал. Гневное рычание вырвалось из его глотки, когда он оглянулся на Петра. Но, пока он поворачивался, взгляды отца и сына встретились — на единый миг. И безумие страха и ненависти яростнее, чем прежде, захлестнуло юношескую душу. Не могут они уйти, не могут оставить их тут одних вместе с ним. Ему чудилось, будто из этих иступленных водянистых глаз на него глядит смерть, карауля их с матерью так же, как там, за воротами, карау-

лила отца рыжая девка. Никогда позже он не мог ответить себе, из-за чего именно — от страха или при мысли, что эта женщина ждет отца, — вырвались из его уст последующие слова.

Резко подняв руку (так же как в мыслях своих он не раз заносил над ним нож, и теперь спрятанный под подкладкой), он, показывая на отца, снова закричал:

— Это дезертир! Его должны были призвать, а он собрался драпать.

Но едва затих его вопль, как Петру сделалось плохо, словно вместе с этим выкриком все силы вдруг оставили его; в голове гулко загрохотало; темень хлестко ударила по глазам, и что-то холодное и тяжелое сдавило затылок. Чтоб не упасть, ему пришлось опереться о косяк двери. Все, что произошло потом, представлялось далеким и не имеющим к нему никакого отношения, скорее сном, чем реальностью, чудовищным спектаклем, во что он не смел вмешаться; как будто его, находившегося в здравом уме и твердой памяти, хоронили и он не мог этому помешать. Секстет пронзительно свистящих вздохов сипел в тишине. Потом один из солдат собрался с духом и подошел к отцу.

— А вот это уже касается нас. Ваши документы.

Отец не пошевелился. Только испуганно заметался его взгляд, отыскивая что-то возле себя и ничего не находя. И наконец остановился на шляпе, лежавшей на столе.

— Ваши документы, — повторил военный, и голос его только теперь обрел уверенность и непреклонность.

— Не нужно, — ответил отец. — Я иду с вами.

Он шагнул к дверям, но, очутившись между полицейским и патрульным, раскинул руки, будто отталкивал их от себя, и прыгнул через порог. Сон переменялся. Из состояния покоя перешел в сумасшедшую круговерть, не сдвигаясь от этого реальнее. Карусель из трех мужчин, повисших на шее и на руках отца (потому что один кинулся сразу, а двое других подоспели на помощь), раскручивалась перед глазами Петра, прижатого к косяку двери. Казалось, вот сейчас отец рванется еще раз-другой, и все трое отлетят от него, как щенки, отброшенные машиной. Но один из патрульных неожиданно выпустил его, отскочил в сторону и потянулся к ремню.

— Ну, довольно! — крикнул он. — Или я стреляю!

И отец вдруг присмирел. Вскинутые локти упали, перестав сопротивляться цепким рукам, яростно и победно терзавшим материю его пиджака.

— Руки! — жестким грубым голосом приказал воен-

ный, собиравшийся стрелять. Что-то блеснуло, зазвенело металлическим звоном и, клацнув, щелкнуло.

— Идемте!

Они ушли. Отец шагал неуклюже и тяжело, похожий на огромную механическую куклу, где кончался завод.

— Пепа, Пепа! — запричитала мать и кинулась к нему, протягивая руки. — Отпустите его! Он же ничего не сделал.

Но полицейский, еще без форменной шляпы, которая во время драки упала наземь, преградил ей дорогу. И, преодолевая ее сопротивление, с силой, но без грубости, теснил обратно к двери.

— Не вмешивайтесь, сударыня, — уговаривал он. — Приведите себя в порядок и радуйтесь, что избавились.

Мать плакала навзрыд.

— Что же с ним теперь сделают?! Пустите меня к нему! Пепа!

Ее плач звучал воплем вдовы по покойнику, когда гроб уже стучается о дно могилы. На другом конце подворотни забрезжил свет. В распахнутых воротах отец, колебавшись, задержался на секунду. Но не повернул головы, услышав рыдания и зовы, несшиеся ему вслед. И когда ворота под напором пружины уже закрывались, в душе Петра сработал импульс более мощный, чем все то, что разыгралось перед этим, бросив его вслед за уходящим. Арестованный и патруль удалялись. Отец, повесив голову и опустив плечи, шагал широким шагом, так что двое солдат едва поспевали за ним. Прохожие останавливались и провожали группу взглядом. Некоторые качали головами, а когда поворачивались, чтобы продолжить свой путь дальше, то выглядели хмуро, и в глазах их стоял мрак бессильного гнева. Той женщины среди них не оказалось. Она не подбежала к отцу проститься и даже не кралась позади, сокрушенная горем. Наверное, сбежала, увидев, что происходит.

К Петру возвратилось сознание. Несколько минут назад нечто подобное взрыву в щепы разнесло весь его мир, вырвало из-под ног твердую почву, на которой он прежде стоял, повергло в смятение, из которого не было выхода. Он не мог крикнуть «отец» тому, кто уходил на верную гибель, потому что Петр сам обрек его; не знал он, с какими словами вернется теперь к матери. Даже того страшнейшего оправдания, которое он от нее утаил, не хватило бы, чтобы смыть позор с сына, выдавшего отца.

Он испуганно повернулся. Полицейский стоял сзади, поглаживая султан на шляпе. Потом тыльной стороной

ладони отер лоб и аккуратно надел ее. Прищурившись, поглядел на Петра, который боялся поднять взгляд от земли, и сказал:

— Ну что же, молодой человек? Операция удалась. — И резко закончил: — Отправляйтесь домой. Чтоб она над собой чего не умудрила.

В подъезде, собственно, ничего не изменилось. Через остекленные двери сюда из двора струился поток дневного света. Две белые полосы отраженных лучей застыли на плитках, касаясь тени, которая на них надвигалась. Пыль вилась над ними столбом, словно микроскопическая мошка, Петр стоял на рогожке и пяткой поправлял загнутый угол. Всхлипы доносились как будто не из-за дверей, а из непостижимых глубин собственного нутра. Однако никакого сожаления он не чувствовал. Лишь брезгливое ощущение мерзости. Порывы нерешительности раскачивали его вперед-назад. Ах, если бы можно было выскочить из себя самого, как из грязного платья! Погляди, какой чистый и ясный день, словно раннее утро, но для тебя в нем нет места. Нет, нет, нет! Я поступил так ради тебя, мама, чтоб защитить, чтоб отомстить. Я сделал это ради тебя, только ради тебя.

Рука его уже много раз касалась дверной ручки, поглаживая ее в беспомощной растерянности, но Петр никак не находил в себе силы нажать ее до конца. Слезы матери истощились, плач затихал, как плач ребенка. И вот все стихло, словно раздался голос смерти.

Ужас, сжавший сердце Петра, нажал на ручку двери. Мать как села у стола, так и сидела там до сих пор, уткнувшись головой в ладони, в понурой позе плача. Он остановился рядом и чувствовал, что в душе у него больше страха перед ее ответом на приветствие, чем сочувствия к ее горю. Ибо, наверное, как раз в тот момент, когда он открывал двери, чувство вины почти отпустило его и где-то глубоко-глубоко внутри разлилось успокоение, в чем он не хотел себе признаться, — успокоение от того, что отца нет и дома снова будет мир.

— Мама, — тихо произнес он, — не надо больше плакать, мама.

Она подняла опухшее лицо с кровавыми прожилками на белках и зрачками, расплывшимися от слез. Но когда она взглянула на него, в глазах вспыхнула злоба. Петр прижался к дверям, но она встала и подошла к нему.

— Ты, ты, что ты наделал, паршивец!

И со всего маху ударила его по лицу.

Начало учебного года надвигалось подобно вопросу, который мы боимся произнести вслух. Что задумала мать, отгородившаяся от него завесой молчания и колючей изгородью неприязненных взглядов? Петр был убежден, что никогда больше не пойдет учиться. К чему матери надрываться? Ради того, чтобы он окончил учебу? Отца отослали обратно на фронт. Она сообщила ему об этом, вернувшись из краевого военного управления.

— И коли с ним что случится, виноват будешь ты и станешь проклинать себя всю жизнь, сколько ни проживешь на свете.

Петра проняло ее заклятье. Он боялся, как бы оно не исполнилось. Несколько месяцев спустя он бы просто расхохотался над трагическим пафосом этих слов. Он еще не полностью избавился от своей детской доверчивости, и жизнь казалась ему тайной. Он убеждал себя, что в тот роковой миг слова вырвались из его уст помимо его воли, но это успокаивало его лишь ненадолго. Он был прав: да, он действительно предал отца, но потому, что отец предал его мать. Однако даже теперь он не находил подходящих слов, чтобы высказать ей всю правду и стать чистым в ее глазах. Да можно ли разговаривать с матерью о чем-либо подобном?

По молодости лет он был прямолинеен и нетерпелив. Не верил, что время примиряет и лечит. Не мог себе представить, что мать борется за свою любовь к нему, и эта любовь, хотя и подраненная, но однажды к нему возвратится. И когда несколько забывался, то не видел, в чем его вина. Нельзя принимать хлеб из рук того, кто меня ненавидит, говорил он себе и, обуреваемый безрассудной гордыней, искал выход из невыносимого положения. Чем была до сих пор его жизнь? Она представлялась ему сплошной чередой безрадостных дней. Он искал путь, который вывел бы его из этого круга. До сих пор он был всего-навсего мальчишкой, который, кроме школьных знаний (а что это, как не обломанные и вновь возродившиеся сучья без новых побегов и плодов?), умел лишь читать и мечтать. Побег он всегда представлял себе как переход через границу, как чужбину, где процветает авантюризм, а если и встречаются трудности, то только на пути к богатству. Но ныне страна со всех сторон была окружена войной. Выходит, он мечтал о смерти.

Он рисовал себе ее мрачные черно-красные картины:

картину смерти, которая настигнет его далеко отсюда и навсегда останется для всех тайной, и картину мстительной, угрожающей гибели здесь, дома, которая явится для матери наказанием за ее отношение к нему и поразит ее душу безумием; трагедия должна быть трагедией до конца, и потому вся семья должна быть вырвана с корнем. Как всегда, в своем воображении он упивался подобными картинами настолько, что забывал о самой причине, их породившей. Хотя он этого не сознавал, но фантазии его служили предохранительным клапаном, смягчавшим вспышки отчаяния. Если бы фантазия его прельстилась картинами виселицы и кружила бы только вокруг них, он и на самом деле повесился бы. Однако воображение его не знало границ. Тем самым, мысленно переживая свои бесчисленные смерти, он сохранил себе жизнь.

Смерть представлялась ему в самых разнообразных своих вариантах. Чудовищная смерть через повешение, петля, что переброшена через крюк под потолком и свободно раскачивается, словно маятник, отмеряющий его загубленную вечность, время, которое непрестанно убывает; наконец, шершавая и холодная петля соскальзывает ему на горло; скамеечка — последний островок жизни, который будет снесен ударом ноги, словно мощной волной, после которой останется лишь грохот тьмы, ничто, пустота. Позорная смерть от ненавистного ножа (орудия, отличающегося пронзительной болью, которая разверзает смерть, как огненные врата, затопленные потоками крови), смерть от пули (обжигающий удар в мозг, уничтожающий свет и жизнь как прозрачный хрупкий стеклянный бокал), смерть от срыва в бездну (пресекавшееся в легких дыхание, шум космоса и падение метеорита, разбивающегося о твердость тьмы), смерть от маленькой дозы цианистого калия (горьковатый аромат миндаля, напоминающий запах слив, подернутых туманным налетом, — о, сколь хрупка эта косточка жизни); смерть под колесами поезда, мчащего в ночи (волчьи глаза фар; комета искр, грохот торжествующего стального бега, акулья пасть металла, дробящего кости), и, наконец, — прыжок в темный омут, отражающий звезды, бесконечность вечного созидания и существования, и в нем — лишь перемена, но никак не смерть.

Лето распалось на пепельно-серенькие рассветы и сиянье длинных, безоблачных сумерек. Петр был одинок, бесконечно одинок. Он чуть ли не боялся вспоминать о Каме или о Вите, обо всем, что было прежде. И все-таки кое о ком вспоминал. О рыжей девке, из-за которой все про-

изошло. Единственное существо, на которое он мог свалить свою вину. Петр слонялся по улицам, и как-то у него мелькнула мысль, что делает он это только в надежде ее встретить. И тогда, чтоб отделаться от этой навязчивой идеи, он из множества встречавшихся женщин выбирал себе одну и провожал чуть ли не до конца ее пути, бредово веря, что колесо его судьбы повернется. Но даже когда некоторые из них оборачивались и улыбались ему, он не находил в себе смелости познакомиться. Он сражался со своей робостью и так долго откладывал решительное *«теперь»* до нового, еще более решительного *«теперь»*, что его девушка успевала скрыться за дверями дома.

Из водорослей подобных искушений сплетался день, но однажды утром Петр, тщательно вычистив свой обветшавший костюм, бросил матери:

— Я пошел на занятия.

Он ожидал в ответ чего угодно, но мать только молча кивнула. Он выбежал из дому и задохнулся от свежести сентябрьского утра. Воздух пряно благоухал, так что щеко-тало в носу. Петр, радостно возбужденный, думал о встрече с приятелями и, как всегда, когда ожидалось хоть малейшие перемены, предавался упоительным надеждам. Все опять уладится, все будет хорошо.

Не успел он сделать и нескольких шагов, как его окликнул Бертик. Петр попытался было сделать вид, что не слышит. Но Бертик не отставал. В конце концов Петр оглянулся — Бертик выглядел невероятным франтом.

— Каковы тряпочки, а? — задал вопрос Бертик, которому не терпелось услышать возгласы удивления. — Гешефт, братец, — с таинственным видом произнес он.

И Петра одолело любопытство. Но Бертик объяснялся лишь намеками. Он не может сейчас сказать всего. Это — не только его тайна. За лето он трижды побывал в Тироле. Его напарник работает под дедушку, это уже старая пере-чница, а Бертик — под внука. Они ездят туда-сюда, всякий раз вроде за раненым папашей в госпиталь. Никто и не думает их обыскивать. Доставляют это сюда из Швейцарии, и теперь, когда нет сахара, это находит хороший сбыт. Бертик хвастал и высоко задира л нос.

— А разве твой отец воюет? — удивился Петр.

— Нет.

— А что говорят дома?

— Папаша в кутузке, а мать молчит.

И Бертик принялся рассказывать о том, какие отноше-ния у них дома, время от времени сплевывая сквозь зубы.

Эти глупости очень ему наскучили, и пыл отца давно бы нужно остудить. Сумасбродный сапожник где-то в общественном месте поносил государство, армию и монархию. А Бертику что до того? Ходит себе фертом и лоснится от благополучия. Его рассказ, однако, нашел слишком живой отклик в душе Петра, наложив отпечаток на его собственный опыт. Пренебрежительный тон, безразличие к судьбе отца подсказывали Петру выход из состояния смятения и мучительных угрызений совести. И верно — чем лучше была его жизнь, чтоб сожалеть о том, что случилось? Им овладело желание перенять Бертикову манеру и в том же тоне поведать ему о происшествии в семье. Но он не мог взять приступом стену презрения, которую раз и навсегда возвел между Бертиком и собой.

Встреченный веселым буйством класса, Петр почувствовал себя здесь более чужим, чем когда-либо прежде. Радость испарилась, но он делал вид, что тоже радуется вместе с другими. Громко всех приветствовал, тряс руки и хлопал по плечам. Потом, переходя от группы к группе, вслушивался в разговоры. Ему нечего было рассказать, а то, чем он мог бы поделиться, резко отличалось от рассказов и хвастовства приятелей, старавшихся перещеголять друг дружку. Вот, например, Гомола, прилизанный юморист, с ровным пробором посредине головы. Говорит тихо, но всегда заставляет себя слушать. У них вилла в одном из красивейших дачных поселков, большой сад — от леса до самой реки. Он загорел на солнце и, насмешливо растягивая губы, рассказывал о своем романе с кузиной, муж которой на фронте.

— Я рад, что каникулы кончились. Это уже становилось несносно.

Или вот Кабеш, хваставший своими отношениями с женой призванного в армию врача из их дома. Но самый большой круг слушателей собрался вокруг Бертика и своры его прихвостней, которые надрывались от восторга и хохотали что было мочи. Да слыхано ли такое дело? Заведенье! Всем хотелось узнать, как он до этого додумался и кто бывает в этом заведении, кроме него самого. Глаза у них разгорелись, а жадность провела по щекам кисточкой с красной краской. Бертик великодушно уклонялся от слишком бурных изъявлений восторга. Когда-нибудь он пригласит к себе кое-кого, не всех, разумеется, но только тех, кто умеет держать язык за зубами. Всех переполняла молодость, взыгравшее животное начало, словно не было никакой войны и никого из них не коснулись ее ужасы.

Лишь кучка подхалимов, заботившихся о своей репутации, стояла поодаль, улыбаясь полуснисходительными улыбками наблюдателей. Маленький Самек, отца которого убили этим летом, задумчиво глядел в окно, равнодушный ко всем и ко всему.

Переходя от группы к группе, Петр смеялся, слушал, что рассказывают, а меж тем душу его пилила зависть. Он завидовал всем, но не мог принять участия ни в чем из того, что происходило вокруг, завидовал даже Самеку и его достойной печали.

Однако дни, до предела забитые уроками, понеслись поспешной чередой, вовлекая его в свой торопливый бег и рассеивая внимание, которое до сих пор замыкалось исключительно на нем самом. Часы занятий, смена предметов и учителей, разговоры, споры, проказы на переменах, интерес к окружающим, устные уроки и письменные задания — он впился во все это с усердием тем более ревностным, что стремился отвлечься от мыслей о себе. Он дружил со всеми, потому что по-настоящему не мог сблизиться ни с кем. С самого начала класс разделился на парочки и компании питухов, которые тянулись друг к другу, не меняясь в своем составе. Парочки, которые связывала более глубокая и прочная дружба, участвовали только в классных мероприятиях и общих молодеческих выходках, но во всех прочих случаях поворачивались к остальным спиной. Петр мог войти в одну из групп, но интересы, которыми жили ее члены, внушали ему отвращение. Компания Вондры посещала всем скопом уроки танцев, летала с бала на бал, а главное (и это было вершиной достижений Вондры) — не оставляла без внимания злачные места и завязывала там непродолжительные и ни к чему не обязывающие отношения с горничными и белошвейками. Во главе другой компании стоял Каш, жестокий оболтус, сын богатого мясника, даже внешним своим видом смахивавший на торгаша-приказчика, он попал в реальную гимназию, лишь потрафляя чванству отца, и переходил из класса в класс только благодаря богатым подношениям, состоявшим из сала и мяса, чем он снабжал некоторых учителей. Карманы его были набиты деньгами, и он держался как диктатор — в его шайку входили мальчишки даже из других классов. Он водил их по кабакам и публичным домам, они захватили самый большой в городе парк, где за спиной полиции, занятой наблюдением за порядком в очередях перед продовольственными магазинами, откалывали такие штучки, что выходили далеко за рамки молодеческой лихости. И нако-

нец, в классе возник таинственный кружок Бертика, о его делах было больше слухов, чем достоверных сведений. Желание оглушить себя и забыться и прежде всего — потребность дружить, иметь возможность поделиться с кем-нибудь и быть вместе в общей упряжке кидала Петра от одних к другим. Однако он был слишком занят самим собой и отмечен прочной привязанностью к Виту; он не умел приспособиться к взглядам большинства и к их миру, хотя во многом и притягательному.

И тем не менее он не мог полностью избежать его влияния. Теперь ему легче было переносить укоры совести, отголоски которых все еще давали себя знать, и невнимание матери.

Стоял октябрь, и на много дней седая пряжа дождей протянулась с небесных высот на землю. Когда она рвалась, небо проваливалось в головокружительную голубизну. Серебристо-золотой свет пробивался сквозь разрывы туч, и Петр, делавший уроки у высокого окна, прислушивался иногда к тем неопределенным отзвукам, которые рождало в его душе это зрелище. Мать занималась уборкой у него за спиной. Петр пытался забыть о ее присутствии. Даже легкий стук в дверь не заставил его подняться. Он не хотел, чтоб его вырвали из этого состояния недвижимого блаженства, в котором он пребывал, устав от уроков и восхищаясь красотой дня. Даже когда мать открыла двери, он все еще рассматривал седую, низко нависшую тучу, которая пядь за пядью отхватывала у неба кусочки лазури, и заткнул пальцами уши, чтобы не слышать надоевших вопросов и ответов. Но незнакомый женский голос, словно чудодейственная жидкость, проник даже через эти затычки, плотно вжатые в уши. Повернув голову к двери, он оцепенел от удивления. Его глазам открылось то, во что он никогда не мог бы поверить. Женщина задела его взглядом, но, судя по всему, не узнала его. Она была без шляпы, и в полумраке прихожей волосы ее ярко светились. Серое, английского покроя пальто сливалось с темнотой и скрывало ее фигуру. Объемистая сумка и зонтик довершали впечатление простоты. Петру она показалась переодетой княгиней. Мать, запнувшись, ответила. Она обратилась к матери по имени.

— Вы знаете, где ваш муж?

— Нет, он не писал мне больше четырех месяцев.

— Меня просили передать, что он на Итальянском фронте.

От волнения и растерянности мать растерялась, — она не могла сообразить, о чем спросить раньше.

— Он жив? Здоров? Кто вы, скажите? Пройдите, пожалуйста.

Незнакомка потушила едва приметную усмешку, а Петр с трудом подавил в себе желание выкрикнуть правду. Как мог он сидеть и молчать, когда эта баба смеялась матери в лицо, стоя на пороге ее дома?! Если она войдет, он не смолчит, он крикнет. Петр встал. Только теперь она в упор взглянула на него и, казалось, была поражена волнением, которое выражал взгляд молодого человека. Ресницы ее тревожно дрогнули, но потом, широко улыбнувшись, она вошла в комнату.

— Это ваш сын? — спросила она с сознанием собственного превосходства, удивившись, какой большой у его матери мальчик. Мать сдвинула брови.

— Да. Ты что, разучился здороваться?

Вот теперь он мог бы высказать все. Он провел языком по пересохшим губам.

— Мне нужно к Бертику, — хрипло произнес он. — Пока.

Остановившись около дома, он терзал свои карманы, впинаясь ногтями в ноги, кусал себе губы, щеки, язык, бегал по двору из конца в конец, на ходу больно стучая по щиколоткам. Вел себя как помешанный, но тотчас успокаивался, как только ему чудилось, что люди обращают на него внимание. Протекла целая вечность, когда она наконец вышла из дома. Ярость его мгновенно испарилась. Засунув руки в карманы, он ждал, когда она пройдет мимо. Ничего в ней нет особенного, выглядит она пошло, убеждал он себя, когда она с улыбкой подошла к нему. Остановилась.

— Отчего вы скрылись? Вашу маму это очень огорчило. Я не могу даже поверить в то, что она о вас говорит.

Он избегал ее взгляда. Воздух вдруг стал невыносимо душен. Она покачала головой, но улыбка не утратила вкрадчивости.

— Все-таки вы странный.

Он должен был заставить себя не закричать.

— Странный не я, а вы... Как вы могли отважиться прийти к нам? — выдавил он из себя.

Она притворилась удивленной. Гнев снова охватил Петра, и голос его зазвучал сильнее.

— Не притворяйтесь. Меня вам не провести. Вы думаете, я не знаю, кто вы?

Она в испуге оглянулась и приложила палец к губам.

— Зачем так громко кричать? Что это вам взбрело в голову?

— Ничего не взбрело, — глухо продолжал он. — Мне все известно. Вы даже не подумали, что в нашей семье вас мог знать еще кто-нибудь, кроме отца. Любопытно, что бы вы сделали, если бы я все сказал матери.

Какое-то время лицо ее хранило отсутствующее выражение.

— В таком случае я не могу вам открыть, с чем я к вам шла. Вы нервничаете и кричите. Пойдемте со мной, на-верное, мы договоримся.

Он сопротивлялся настойчивости, звучавшей в ее голосе.

— Не желаете? — голос прозвучал уже мягче.

Она стояла совсем близко, ее юбка касалась его колен. Ветер, вырвавшись из-за угла, бросил ему в лицо прядь ее волос. Мороз пробежал у него по коже.

— Тогда прощайте.

Петр двинулся за ней следом.

12

От коричневой мебели веяло устойчивым покоем; кресла были покрыты потертыми плюшевыми чехлами темно-вишневого цвета. В прихотливую резьбу массивного буфета, подобного закрытому алтарю костеликов, редко принимающих странников, набилась пыль. От вазы с муляжами фруктов пахло фальшью показного благополучия и вымышленного семейного счастья. Комната походила на банку законсервированных и забытых добродетелей — неудобоваримого кушанья, чреватого параличом и болезнью печени. Всюду царил порядок; жаркий воздух был пропитан запахом тканей, дерева, блестящих лакированных листьев искусственной пальмы, под раскидистыми веерами которой устраивались, наверное, роскошные восточные бал-маскарады для одалисок из предместья.

Через открытые двери свет проникал в спальню, отражаясь золотым блеском от латунных шаров кровати. Петр оцепенело сидел на стуле, который она ему предложила.

— Выпьете чашку чаю? — спросила она.

— Нет.

— Ну конечно, да.

И ушла, чтобы приготовить чай. Она уже обрела имя.

ИНЖ. АЛЕКСАНДР ГОХ

возвещала табличка на дверях квартиры. Значит, она замужем. Где же ее муж? По виду этой комнаты его можно представить. Вмятина посредине плюшевого кресла под пальмой — явный отпечаток его зада. Наверное, он может возвратиться в любую минуту. Петру послышалось, как хозяин рокошущим басом здоровается в прихожей, вот он, мешкотный, страдающий одышкой, входит в комнату. Петр беспокойно задвигался. Может, это был совсем еще молодой мужчина, полный силы и чувства собственного достоинства, а вот теперь, именно в эту минуту, он корчится в грязном окопчике, прячась от грохочущей и со свистом проносящейся смерти, или валяется на земле, извиваясь от боли. А может, в его остекленелых глазах уже отражается мерцание холодных звезд; или он собирается в отпуск, подавляя в себе растущее нетерпение и жар страсти. Петр поднялся и встал за спинку стула. Ему нельзя забывать, зачем он здесь. В кухне звякали посудой. Положение его становилось смешным; конечно, расхаживая по кухне и готовя чай, она посмеивается над ним. Что ей сказать? Не может ведь он убить ее, хотя это было бы проще простого. Он призвал на помощь воспоминание об отце. Тот тоже наверняка сидел тут. Может, и кресло продавил он. А там, рядом, проводил ночи, когда не ночевал дома.

Она вернулась к нему, как хозяйка, которая искренне рада гостю.

— Ах, боже мой, он все стоит и даже не присядет, — воскликнула она. — Отчего вы такой мрачный?

— Мне пора домой. Собственно, я даже не знаю, зачем я сюда пришел.

Она уже переоделась в легкий халатик с немыслимыми черными и оранжевыми цветами. На груди глубоким заливом сияла белоснежная кожа. Петру некуда было отвести глаза, и в мыслях не осталось места ни для чего другого. Она встала рядом, держа в руках поднос с чашками и чайником, из которого тоненькой струйкой поднимался горячий пар. Заговорив, она рассекла пар своим дыханием.

— Я не хочу вас задерживать, но нам, наверное, есть о чем поговорить.

Однако теперь он бы не ушел, даже если бы она его выгоняла. Она накрыла круглый столик под блестящими веерами искусственной пальмы. Слишком много тепловых источников воздействовало на Петра: очень жарко натопленная комната, горячий чай, да и сама она села рядом с ним. Он чувствовал, что на шее и на лбу у него выступает

пот, и смутился. Она настойчиво потчевала его маленькими пирожками с вареньем. Но у него перехватило горло, и он не мог проглотить ни крошки. Осторожно отодвинув столик, он поднялся.

— Мне пора.

Она тотчас поднялась следом.

— Что это вдруг?

Она заметила, как он покраснел и как лоб его покрыла испарина.

— Здесь жарко, да?

Она засыпала его словами и окружила заботой. Сама она мерзлячка, мерзнет как кошка, но дома любит ходить так, чтоб не чувствовать одежды. Она хотела, чтобы он снял пиджак, а когда Петр воспротивился, вспомнив о своей рваной рубашке (которую мать не успевала чинить и которая именно теперь была вся в дырах), своим кружевным платочком отерла его лоб.

— Снимите хотя бы этот воротничок. Какая у вас, у мужчин, неудобная мода.

Все происходило абсолютно не так, как он себе представлял. Воспоминание о девке из публичного дома мгновенно пронеслось у него в голове. Чем эта лучше? Завершающей волной его выбросило на песчаный берег отрезвления. Собираясь с мыслями, он смотрел на свет лампы, чтоб не видеть внутренней тьмы. И до самого последнего момента его новый опыт не обогатился ни одним свежим ощущением. Она звалась Мартой. Когда она успела ему это сказать? Она дышала так же ровно, как и он, в едином звуке и ритме. Казалось, они дышат одними устами. Чтобы разрушить эти чары, он насильственно старался задержать выдох. Боялся пошевелинуться, ибо это значило бы вернуться в реальную жизнь, где нужно будет говорить и совершать поступки.

Он уходил домой в полном отчаянии и смятении чувств. Никакого объяснения не вышло. Она вела себя с ним, как с любовником, которого давно ждала. Была по-матерински нежна и мягка, называла его «Петя» и приглашала завтра прийти опять. Разумеется, он не придет. Ему казалось, что его проступок означен у него на лбу. Как скрыть его от матери? Путь оправдания, на котором он мог снова вернуть ее любовь, был отныне закрыт.

Утро следующего дня принесло отпущение грехов. На уроках учителя торопились дать новые задания, не тревожа опросом учеников, одна половина которых слушала объяснения, а другая была увлечена собственными делами.

Эти спокойные часы Петр провел, проецируя на черную школьную доску облик Марты. Разговоры на переменах, бывшие, как всегда, из одного и того же источника, легкомысленные, циничные, хвастливые, совсем по-иному изображали то, что он пережил вчера. Это возвысило его в собственных глазах. Беспокоило только опасение, как бы это не обернулось обманом и Мартина причуда не оказалась однодневным случайным капризом.

Сразу после полудня он отправился к ней, не дожидаясь назначенного часа. По дороге пытался разобраться в путанице противоречий. Но ее невозможно было распутать. С одной стороны, ее добросердечие и нежность, а с другой — связь с отцом. Наверное, она обманывала его, будучи по сути такой же лицемерной, как и красивой. Но сегодня ей придется все ему объяснить.

Она встретила его улыбкой, зазвеневшей смехом сразу же, как только за ним захлопнулись двери. Он напустил на себя неприступную суровость. Она помогла ему снять пальто и держалась как влюбленная девчонка, захваченная только своей любовью и радостью.

— Какой вы холодный. А ну быстро — к печке, не хватало еще, чтоб вы у меня простудились.

Подхватив его под руку, она втолкнула его в комнату. Он сел и хмуро молчал, не отвечая на ее вопросы.

Однако вчерашний день все-таки прибавил ему смелости. И он страстно, словно опасаясь, что она опять исчезнет, излил на нее все свои обиды. Увидел, что лицо ее зло и строптиво подобралось. Но ответ прозвучал растерянно и нелюбезно:

— Давайте оставим это, Петр. Что было, то прошло.

Он не уступал, его раздражение возросло. Он забрасывал ее все новыми и новыми вопросами, а она отвечала, опустив взгляд долу, словно кающаяся грешница, голосом глухим и тихим, как будто трепетавшим от сожаления. Как она могла? Теперь этого Пете не понять, он еще слишком юн и слишком мало знает о жизни. И в самом деле, познания его были невелики, потому что ее исповедь напоминала признание женщины легкого поведения, которая пытается оправдаться в том, почему она так низко пала. Если здесь и существовало различие, то оно заключалось лишь в том, что она не выдумывала истории своей жизни, но лишь придавала ей те краски и ту тональность, которые более всего должны были растрогать этого слушателя, втайне желавшего, чтобы все было безупречно чисто, без тени стыда и позора.

Девочкой, рассказывала Марта, она была очень набожной и послушной. Молилась истово, как, наверное, никто на свете, и часто грезила о деве Марии. Родители ее — сама ласковость, сама кротость — не отпускали ее от себя ни на шаг. Сначала у нее была няня, потом гувернантка, и, наконец, ее отдали в пансион при монастыре. Ах да, Петр еще не знает, но отец ее был управляющим в большом имении. Ее выдали замуж сразу же после окончания пансиона. Она согласилась без колебаний, ожидая от замужества большей свободы. О, муж был на двадцать лет старше ее, и никому не передать, что за ад были эти четыре года. Он стерег ее и подозревал во всем, преследовал своей ревностью, хотя она не давала никакого повода. Контора его находилась в соседней квартире, так что она не смела выйти даже за покупками. И только война принесла ей освобождение. Его убили, и она часто молится за него, чтоб не проклинать по сей день; но она сожгла все его фотографии. Родители хотели, чтоб она вернулась к ним. Она отказалась. Она хочет быть свободной, независимой и не связывать больше свою жизнь ни с кем и никогда.

Петр был тронут. В ее истории было многое из того, что напоминало ему его собственное детство. Зависимость и желание свободы. Это было ему понятно, как будто он сам пережил то же самое. Однако о самом главном — ни намек, ни слова. Какое ему дело до ее мужа? Он готов был проклинать его вместе с ней, находя в этом оправдание для себя самого. Но все-таки, какие отношения связывали ее с его отцом? Как случилось, что она, состоятельная, чуткая, деликатная, уступила человеку, у которого разве что внешность, да и то лишь на короткое время, могла заслонить хамское нутро и мужицкую грубость? Он не заметил усмешки, которая птицей вспорхнула под ее опущенными веками.

— Не довольно ли на сегодня? Я утомилась.

Но ему хотелось узнать все сразу, чтобы все стало ясно раз и навсегда. Ах, значит, его отец привез ей вещи, оставшиеся после ее мужа. Потому что тот умер смертью, которую заслужил. Совсем не геройской: подхватил дизентерию, едва попав на фронт. И это все. Что еще хотелось бы Петру узнать? Его отец был чудесный человек, она осталась одна и хотела взять реванш за все потерянные годы.

Петр сидел, свесив руки между колен. Ему было тяжело слышать это признание. Отчего она скрывала это, почему сразу не сказала, что между ними ничего не было, кроме

отвергнутых и ничем не завершившихся попыток ухаживания? Это было отвратительно и непостижимо. Он упрямо твердил, что отец его был неотесанный хам и пьяница. Марта улыбалась. Нет, это не выглядело так уж скверно, как утверждает Петр, у нее, по крайней мере, он вел себя паинькой. Впрочем, любой мужчина немного ди-карь.

— Он хотел нас убить. И наверняка из-за того, чтобы избавиться от нас и уйти к вам.

Она в испуге поднялась. Нет, нет и нет. Она ничего не знала, даже не подозревала, что у него такой взрослый сын. Он всегда говорил только, как он несчастен, как ему недостает такой женщины, как она. Действительно, он хотел перебраться к ней, но она над ним только смеялась, ибо знала, что его опять заберут на войну, и потом, как уже сказано, она никогда и ни с кем не хотела больше связывать свою судьбу. Петр все еще упорствовал, опасаясь обмана. Возможно, в душе она смеется над ним и все до сих пор рассказанное было той самой цепью бесконечной лжи, которой она хотела отвести ему глаза.

— А почему вы ждали его в тот день, когда он пришел к нам за своими вещами и снова грозился убить мать?

Но она и понятия не имела, что он задумал. Просто он попросил ее подождать, ему зачем-то нужно зайти домой. Вероятно, хотел поставить ее перед свершившимся фактом. А потом, увидев, как его ведут в наручниках, она вскочила в трамвай — боялась, как бы он и ее во что-нибудь не впутал.

В сумерках все в комнате утратило материальность, смутными стали и очертания лиц. Она подсела поближе к Петру и стала гладить его руку. Ее грудь касалась его предплечья, а пряди волос щекотали висок. Правда и ложь сливались, рождая волнение, исполненное все большего очарования. Марта спрашивала, и он признался, что узнал ее много раньше, не тогда, когда встретил перед своим домом, где она дожидалась отца, а в очереди, которая возмущалась тем, что ее пропустили в лавку; рассказал, как его схватили и как он убежал, о том, как пути их пересеклись еще в тот же день в костеле и как он снова ее потерял, о том, что он пережил, когда впервые увидел их вместе с отцом, а потом тщетно выслеживал и разыскивал ее. Она все жарче сжимала его руку, а когда он закончил свою исповедь, стала убеждать, что никогда, никогда не сблизилась бы с его отцом и даже не обратила бы на него внимания, если бы знала о Петре. То, что последовало за этим признанием,

напоминало примирение любовников после первой размолвки.

И все-таки, обнимая ее, Петр постоянно искал в ее поцелуях следы отцовского первенства. Это представлялось ему столь же чудовищным, как кровосмесьительство. Но теперь, когда он в припадке ревности начинал терзать ее расспросами, она уже не была столь уступчивой, как прежде. Становилась нетерпеливой и злобной. Он приходил сюда каждый день и все еще не мог определить, что влечет его к ней. Любовь — это слово в устах его ровесников звучало насмешкой. Почему полюбить должен был именно он, когда его отношения с нею были куда менее чисты, чем у всех остальных? Он снова и снова тешил свою гордость тем, что у него есть любовница. Начал уже привыкать к наслаждению, которое она ему доставляла, и жаждал повторения. Состязаясь с тенью отца, вызывал в себе ненависть столь сильную, что чувствовал удовлетворение происходящим. И от этого связь с Мартой становилась все надежнее и прочнее. Чтобы объяснить матери свое отсутствие, которое каждый день затягивалось до позднего вечера, он рассказывал ей о новом приятеле. Они вместе учат уроки, как прежде с Витом, а кроме всего прочего, Петр там полдничает и ужинает.

— Ну что же, — сказала мать и пожала плечами. — По мне, делай что хочешь.

И теперь Петр радовался тому, что она все еще сердится. Теперь ему не приходилось испытывать из-за своей лжи никаких укоров совести.

Однако он и в самом деле не забывал учиться. Марта, которой впервые попался такой молоденький возлюбленный, была от этого в упоении, испытывая прелесть романтической любви — так, как она ее себе представляла. Она окружила Петра заботами и делала все, чтоб он больше не вспоминал о неблагоприятных обстоятельствах их знакомства. Ее набожность в значительной мере основывалась на страхе перед наказанием господним. И, опасаясь множить грехи, она тщательно следила за тем, чтобы Петр не стал хуже учиться или — не дай бог — совсем не забросил занятия.

Случались между ними даже размолвки, в которых она всегда одерживала верх. Возможно, в ней проснулось нечто вроде подавленного материнского чувства. Она заставляла его готовить уроки, писать письменные задания, словно ее и не было рядом, не позволяла ему даже целоваться, пока он не закончит своей работы. Сидя у него за спиной, она

читала или шила, притворяясь, что не слышит его воздыханий.

Однажды она поразила его удивительной просьбой: позволить снять с него мерку. И, не отвечая на его вопросы, принялась его измерять. Смысл этой игры Петр понял лишь неделю спустя, когда она ввела его в спальню, где висел новый костюм, и попросила его надеть. Остатки былой гордости взбунтовались в нем. Одеваться за счет любовницы — это было самое распоследнее дело; оно противоречило всем его представлениям о рыцарском достоинстве и истинной мужественности в любви. Она точно знала, из чего состоит мужской наряд. Тут были и (это больше всего его покорило) рубашки, и кальсоны, и носки, несколько воротничков и галстуков, башмаки и новая шляпа. Эти вещи он надеть отказался.

— Я не позволю содержать меня! Это позор.

— Фу,— возразила она.— Как некрасиво ты иногда говоришь.

Она ластилась к нему, обнимала и уговаривала. Если они принадлежат друг другу, то почему бы ему не могло принадлежать и то, чем располагает она?

— Нет, нет, нет. Это что-то совсем другое. Ты вроде как меня покупаешь.

Она рассмеялась.

— Смотрите-ка, покупаю. Как будто он один-единственный мужчина на свете, а я такая уродина, что должна платить за его драгоценное расположение.

Спектакль, где она так хорошо играла, продолжался, — там были и смешливые и обиженные маски. Отпор Петра был не столь уж стоек, как бы он того желал. Костюм был из английского материала, вытканного из коричневой и белой нити. Он завидовал хозяйскому сыну, который носил точно такой же. В нем он превзошел бы всех одноклассников.

— Ну, не важно,— сказала Марта,— раз ты не хочешь, я его верну. Но ты мог бы, по крайней мере, померить, чтоб я видела, идет ли он тебе.

Это другое дело. Можно померить и снять снова.

— Возьми белье, башмаки и галстук тоже. Ведь тут все подобрано.

Он переодевался в спальне. Марта оставалась в столовой, чтоб иметь возможность подивиться его преображению. Она нашла к нему подход, обнаружив его слабости быстрее, чем он сам себе в этом признался. Он еще подыскивал доводы, которые укрепили бы его отказ, после чего ему оставалось бы только снять новую одежду. Она одевала

его не из любви к нему, а потому, что не могла видеть его чиненое-перечиненое белье, а кое-где и расползшиеся от ветхости рубашки, его обтерханный костюм, из которого он давно вырос, — короче — чтобы ей самой не было стыдно за такого нищего возлюбленного. Отражение, которое он увидел в зеркале, поразило его. Никогда еще он не был так элегантен. Костюм был безупречен, делал его более стройным и взрослым. Петр понял, что уже не в силах будет с ним расстаться. Порозовев от радости, он прогнал остатки смущения и стыда присловьем, которое часто слышал дома: «Дают — бери, а бьют — беги».

Причесав волосы Мартиной гребенкой, он вышел из спальни.

Костюм ослепил одноклассников, а мать раскрыла рот, собираясь задать свои вопросы. Костюм не только придал красоты его внешнему виду, но и прибавил уверенности в себе. Он превзошел многих, кому до сих пор завидовал, и сравнился с самыми обеспеченными, а их в классе были единицы. Они не могли скрыть своего удивления и приставали к нему с расспросами. В Бертика словно вселился бес зависти, и он всю дорогу изводил Петра своим любопытством. Петр отвечал уклончиво, пожимал плечами, словно дал обет молчания. Такие преимущества перед соучениками заставили умолкнуть укоры его совести. Мир лучше всего брать таким, каким он сам шел в руки.

Объятия Марты теперь были для него всегда распахнуты, а полдники и ужины — всегда на столе. Она снабжала его и сигаретами. Подарила серебряный портсигар мужа, на котором заново выгравировала инициалы молодого возлюбленного. Как легко изгладить из памяти человека и любое воспоминание о нем! Петр привык через день находить в кармане своего пиджака еще и пятикрановую бумажку; не зная, как эти деньги употребить, он, приукрашивая роль любовника, покупал Марте гвоздики, розы или букетик фиалок. Когда он шел с ними по улице, то не знал, куда бы их сунуть, чтобы это не бросилось в глаза окружающим. Он был совершенно убежден, что прохожие не могут оторвать взглядов от шелковистой бумаги, в которую завернуты цветы, ему чудились их усмешки. Но Марта радовалась этим подношениям и принимала их без всякой иронии, как будто они и не были куплены на ее собственные деньги. Иногда, поставив цветы в вазу, она смотрела на них, забросив ногу на ногу, и, обхватив руками колени, предавалась меланхолии (у нее случались приступы меланхолии).

— Ты первый из мужчин, кто приносит мне цветы.
— А много было тех, кто их тебе не приносил? — с внезапной ревностью спрашивал Петр.

— Да, — смеялась она. — Все мужчины на свете.

Она уже оставила роль обманутой женщины, раскаивающейся в своих преступлениях. Когда же Петр начинал терзать ее своей ревностью, она либо насмеялась над ним, либо прикидывалась оскорбленной. Ему очень мало было известно о ее прошлом, но главное — он никак не мог забыть того, что она была любовницей его отца. Не верилось, чтобы женщина, никогда не имевшая любовников, упала в объятия первого встречного, да к тому же — солдата, который пришел с известием о смерти мужа. В противном случае — это было слишком постыдно и страшно.

— Если так будет продолжаться, — грозила она ему, — я брошу тебя и уйду. И завтра ты здесь меня уже не найдешь.

Находясь рядом с ней, он сознавал свою слабость. Хоть он и ревновал, но не мог встать и распрощаться навсегда. «Тюфяк», — ругал он себя. Наверное, таким и останется. Впрочем, тогда он лишился бы многих приятных вещей, к которым уже привык. Любил ли он ее? Думая о ней, он никогда не называл ее нежными именами, никогда не вспоминал, как она говорит или смеется, а если мысленно разговаривал с нею, то чаще всего осыпая упреками, а иногда — и бранью.

Однажды, придя к ней, он увидел, что перед ним по лестнице поднимается почтальон, который остановился у дверей ее квартиры. Он нагнал его прежде, чем тот позвонил, и, охваченный внезапным наитием (словно что-то подтолкнуло его), протянул к почтальону руку и сказал:

— Не стоит вам задерживаться. Я передам сестре письмо.

Почтальон поколебался, но, увидев, что он нажимает кнопку звонка, протянул ему розовую открытку полевой почты и пошел дальше. Петр быстро спрятал письмо в карман, чтобы Марта, отворявшая двери, его не увидела. Ему не удалось разглядеть даже почерк. И весь вечер, который он провел у нее, письмо прожигало карман, словно огнем.

— Наверное, у тебя много знакомых на фронте, — спросил он Марту.

— О, этого я даже не знаю, — равнодушно ответила она.

— Может, брат или деверь, — расспрашивал он, нащупывая способ погасить жар ревнивого любопытства.

— Разве я тебе не говорила, что у меня нет ни братьев, ни сестер.

Весь вечер она не оставляла его надолго, так что он не успел даже определить, чей это почерк. Никогда прежде их улыбки и объятия не были настолько отравлены злобой, как в этот раз.

— Да что это с тобой? Тебя как будто подменили.

Он отговорился головной болью и весь остаток вечера в бешенстве терпел ее заботы, которыми она его осыпала, и радовался, что добился хотя бы того, что не должен целовать ее. Ушел он раньше обычного и, прежде чем за ним захлопнулись ворота дома, вынул из кармана свою добычу и подбежал с ней к ближайшему фонарю. Он узнал этот почерк тут же, как только на открытку упал слабый свет газового фонаря. Что-то ребяческое в его душе дрогнуло от страха. «Дорогая Марта», — прочитал он и вынужден был поднять голову и перевести дух, чтобы побороть волнение. Возвращается, он наверняка возвращается. Петр скомкал открытку, сердясь на себя за свой страх. Потом разгладил ее на колене, чтобы можно было прочитать до конца.

...У нас изменился номер полевой почты. Наверное, поэтому я от Тебя так долго не получаю никаких известий. Или у Тебя уже есть кто-нибудь другой? Я не могу в это поверить. Потерпи немного, не может ведь это длиться вечно. В последний раз Ты сообщала, что была у наших. Я не хочу, чтоб Ты туда ходила. Когда все кончится, я вернусь к Тебе, а с ними уж как-нибудь улажу. Здесь сейчас спокойно, я чувствую себя хорошо. За посылку благодарю. Это было приятно, но не стоит тратиться.

Целую Тебя несчетно.

Пепа.

«Пепа» уместилось в углу открытки. «Целую тебя. Пепа», — повторял Петр. Так же заканчивались его письма, адресованные матери. Больше, чем все содержание письма, его задел за живое этот конец. «Целует», — твердил Петр. Отец целовал Марту, как теперь целует ее он. Все это время, пока он был с ней, она за его спиной переписывалась с отцом. Он повернулся к дому. Все в нем бурлило от желания излить свою злость, разрядиться, накричать, пригрозить, начать размахивать руками, а может, и бить. Если бы можно было взбежать наверх, накинуться на нее и бить кулаками, и душить, пока она не сказала бы всю правду, чистую правду. Но нужно было звонить дворничихе и выду-

мывать какую-нибудь убедительную ложь. Он не в состоянии был ни выдумать что-либо разумное, ни выговорить. Долго бродил он по улицам, пока его не погнало домой опасение, что он не сможет объяснить матери, почему задержался так поздно. Утром, проспав, долго боролся со сном, отыскивая в себе вертеровские муки, решил, что пропустит занятия и махнет прямо к Марте.

Его переговоры с Мартой прошли не так, как он предполагал. Он готовился к бурным сценам, угрозам, ссоре. Но Марта только рассмеялась. Она прелестно разыграла перед ним возмущение тем, что он застиг ее врасплох, не одетой, занятой уборкой квартиры. Однако Петр не позволил вывести себя из мрачного состояния.

— А это что? — сказал он, протягивая письмо отца.

Она сперва покраснела, но потом гневная морщинка прорезала ее лоб.

— Где ты это взял?

Он ответил ей упреками. Не важно, где он взял, главное, что она играла с ним, строила из него шута. Гнев ее рассеялся. Она казалась развлеченной его возмущением. Подошла к нему, ухватила за волосы и, качая его головой из стороны в сторону, проговорила:

— Вы только поглядите, какие мы сердитые. А что, по моему, я должна была делать? Не могу же я запретить ему писать письма. И перестань орать, ты не у себя дома.

Орать и впрямь не следовало, но тогда все, что он готовился ей сказать, теряло выразительность и путалось в голове.

— Вот только отвечать ты не была обязана, — настаивал он на своем. И приказал ей написать отцу последнее письмо, которое он сам продиктует; в нем она должна отказаться от него раз и навсегда и отместить все его надежды. Она было воспротивилась, но потом — по врожденному ехидству — нашла в его плане удовольствие. Письмо напишет она. Она сама себе хозяйка, а вовсе не секретарша Петра.

Милый друг,

Я должна Вас просить, чтобы Вы не писали мне больше. Причины не буду называть, наверное, Вы и так догадаетесь. Я уезжаю отсюда, и никому в доме не будет известен мой адрес. Желаю Вам поскорее вернуться живым и здоровым в свою семью.

Марта.

— Без последней фразы можно бы обойтись, — заметил Петр, — а в остальном прекрасно. Я бы его обругал. Но так лучше.

Он уносил с собой не только этот ответ, который сам желал отослать, но и все письма, которые вообще отец написал Марте. Их было три, и он заставил ее чуть ли не присягнуть, что больше у нее ничего нет. Она смеялась, безудержная ревность сына к отцу забавляла ее, и ей хотелось знать, что сделает Петр с этими письмами.

— Ничего. Я не хочу, чтобы ты их хранила, — вот и все.

Наконец-то он отыскал способ, как сообщить матери об измене отца. На ночь он сунул письма под подушку, чтобы утром, когда мать начнет чистить его одежду, она не обнаружила их в кармане.

Спал он беспокойно, его угнетали страшные сны, как после возвращения отца; сердце колотилось, он исходил потом, в испуге вскакивал. Это можно было приписать влиянию четырех открыток полевой почты, спрятанных под подушкой.

По дороге на занятия он снова задавал себе вопрос, правильно ли он поступает. Он тревожился за мать. Наверное, она придет в отчаяние, узнав страшную правду.

Однако от своих намерений не отступился, убеждая себя, что, может, еще в последний момент откажется довести дело до конца и сожжет письма. Во время урока закона божьего, пока законоучитель чертил на доске три концентрических круга, доказывая тем самым догмат о существовании святой троицы, Петр тщательно стер с конвертов адрес Марты. А на переменке подсел к Оттони, близорукому коротышке, который мечтал стать астрономом, но главное — у него был почти женский почерк. Положив перед ним чистый конверт, Петр попросил его написать адрес матери.

— Для чего тебе? — недоверчиво спросил Оттони, потому что в классе его часто делали мишенью всяческих шуток.

— Это матери к празднику. Я хочу, чтоб она подумала, будто это от двоюродной сестры, а ты пишешь прямо как женщина.

Оттони, обожавший свою мать, был умилен таким объяснением и написал адрес. До конца уроков Петр ощупывал конверт, спрятанный в нагрудном кармане. Его то трясло, как в лихорадке, то обдавало жаром. Он приписал это волнению. По дороге домой он останавливался у каждого почтового ящика, раздумывал и колебался.

«Это только такая игра, — убеждал он себя. — В конце концов я их сожгу. А если опущу, то придется сидеть дома и следить за матерью».

Дольше всего он простоял у почтового ящика, висевшего на соседнем доме. Его трясло. Несколько раз он то вынимал конверт из кармана, то засовывал его снова. Вставлял в щель ящика, испытывая силу искушения, и опять вытягивал обратно. Какая-то женщина остановилась в нескольких шагах от него, наблюдая за его действиями. Он испугался, бросил письмо в ящик и тут же принялся колотить кулаками по его стенке.

13

Переступив порог дома, Петр свалился в горячке. Опустился на стул у стола прямо в зимнем пальто, сняв только шляпу. Озноб пробирал его до костей. От кончиков пальцев, вдруг ставших горячими, дрожь перешла на руки и ноги и от затылка растекалась по спине. На лбу выступили капли пота, язык распух и затвердел от сухости, будто откуда-то подул жаркий ветер и забросал его горячим песком. Потом на него снизошла тишина и покой.

Меж тем время несло дальше. Он не знал, как долго пробыл в состоянии небытия. Вот кто-то постучал в двери. Он не ответил. Но двери все-таки отворились. В них появилась дама. Он не мог различить ее черты, но платье было бледно-сиреневым, как сумерки. Так что сделалось больно глазам. Он прикрыл веки и услышал слабый отдаленный голос:

— ...Пани Газова?

Губы Петра сами собой шевельнулись, язык задвигался, как поршень, — туда и обратно. С третьей попытки он, наверное, произнес:

— На втором этаже.

Потому что двери захлопнулись снова.

Пустота.

Очевидно, это был призрак.

Пани Газова? Что с ней случилось? Он забыл о ней, как забыл о Вите и Каме.

С необычайной ясностью предстало перед ним лицо Камы. Но обморочная тошнота опустила на нее тяжелые руки. На черной доске белели переплетения линий.

— Я не мог подготовиться сегодня, пан учитель. У нас была пани Газова.

Пани Газова. Газенбурк — это замок. Зубчики крепостной стены кусают небо, каземат — черная яма под землей. Петр лежит на соломе, с распятием из света у ног. Стены плачут ледяными слезами. Его опять начало трясти.

Он повернулся лицом к дивану и снял пальто. Улегшись, накрылся им, и море, раскачав волны, начало швырять пароходик, машины работали так, что дребезжала обшивка. Громады вод и бесконечность черного неба. Сколько на небе молний и как раскалывается голова от вращения огненных колес! Как все завертелось вокруг! Слишком большая скорость, но я держу вас за талию, Кама, не бойтесь. Очень большая скорость, даже трудно дышать. Петр приподнялся и открыл глаза. Комнату наполнял розовый туман. Предметы покинули свои места и летали по эклиптикам вокруг неизвестных центров, шкаф качался, как пьяный матрос, постель топталась на месте, переваливаясь по-медвежьи. Руки Петра упали, как падает подмытый водой берег. Он снова откинулся на подушки. Богатейшие уловы видений разрывали сетчатку прикрытых веками глаз.

— Петр! — откуда-то с высоты окликал его голос.

— Петр! — голос опускался, и перед ним, словно в кривом зеркале, возникала фигура матери. — Ты слышишь, Петр! Что это тебе пришло в голову улечься прямо в грязных башмаках. Вставай сейчас же! Нужно идти за доктором. Хозяину плохо. Наверное, помирает.

Ах, если умирает, так это очень хорошо. Как выглядит смерть? Петр не шевелился. Голос матери обращался к нему гневно, настойчиво и пронзительно. Письмо, Петр, письмо. Не только привести доктора, но перехватить на почте письмо. Потому что, если оно дойдет, кто знает, что случится.

Петр встал.

Шагнул к дверям по раскачивающемуся полу и провалился во тьму. Потом вынырнул, как утопающий, сделавший последнее усилие. Мать поддерживала его голову. Свет дня был ослепительно белым. Но вокруг все успокоилось, вихри улеглись — только тело было слабым.

Мать плакала. Он слушал ее всхлипы, захваченный их звучанием, рыдающей каденцией, то поднимавшейся высоко, то падавшей, но оставался абсолютно безучастным.

— Что с тобой, Петр! Опомнись, Петршичек! Боже, боже, что же делать?

— Дворничиха! — визгливо крикнули откуда-то с лестницы. — Дворничиха, вы где?

Мать вздрогнула и попыталась встать, поддерживая Петра руками.

Пораженный этим возгласом так же, как и мать, Петр поднялся и сам сел на стул.

— Дворничиха!

Мать остановилась, словно вкопанная, между дверьми и Петром.

— Тебе лучше, Петршичек? Лучше? Но пойти ты не сможешь, да?

— Дворничиха! — верещал голос, спускаясь ниже.

Тревога матери спала, растерянность отступила. Она открыла дверь.

— Я здесь, милостивая пани.

— Что с вами? Почему вы не отзываетесь? — кричала хозяйка. — Пошел ваш мальчишка?

— Нет, сударыня, худо ему. Обморок, пришлось отхаживать.

— Господи Иисусе. Она отхаживает сына, а хозяин тем временем может скончаться без помощи. Тогда бегите сами.

— Петр, Петршичек, — шептала мать. Она никак не могла попасть во второй рукав, и глаза ее бегали, как мыши, угодившие в мышеловку. — Разденешься сам, а? Я сию минуту, я мигом, только приведу им доктора.

Перина была холодная, как снежный сугроб. Зубы стучали, дробя кристаллы льда, а внутри все заливало кипящей лавой. В бесцветное пространство упало оранжевое солнце, будто воздушный шар, из которого вытекает газ. На берегах желтой реки алели красные чаши и роняли капли зеленого яда. Над ними порхали перламутровые бабочки. А когда на них попадала капля яда, превращались в серые облачка пара. К горлу Петра тянулись цепкие щупальца ветвей. Воды гудели, как пожар. Пламя растекалось рекой.

Лесу не было конца. Между стволами висела гигантская паутина. И из середины ее глядело лицо Марты. От паутины некуда было деться. Она была повсюду. Он падал на нее лицом, она липла, обвивая его, и он тщетно старался защититься, вытягивая руки, безуспешно сдирая ее со своих щек. От невыносимой дурноты желудок выворачивало наизнанку.

На минуту Петр пришел в себя. Комнату заливал серый сумрак, и где-то за стеной часы пробили пять печальных ударов. Снова всплыло воспоминание о письме. «Еще есть время», — мелькнуло у него в голове, и он попробовал встать. Но слабость опять свалила его.

По каменистой равнине бежал человек. Отец. Длинную бороду, которой у него никогда не было, ветром забрасывало на плечи, а когда он оглядывался, в глазах светился дикий ужас.

— Чего это он бежит? — вопрошал Петр, потому что на этой беспредельной равнине никого не было.

Отец бежал, спотыкался о камни, падал, в безумной спешке карабкался на четвереньках вверх, поднимался и бежал дальше.

— Держите его! — крикнул Петр и, схватив камень, припустил следом.

И вдруг земля разверзлась, подобно акульей пасти, и отец исчез.

— А все ты! — прозвучал голос, но опять никого нигде не было видно. Петр рухнул на колени.

— Я не виноват! — кричал и плакал он. — Это не я. Это он всегда колотил меня, он хотел меня убить.

— А все ты! — повторил невидимый. Петр поднялся и побежал. Завыл ветер. Тяжелые руки опустились ему на плечи, прижали к земле.

— Это испанка, — проговорило на его груди что-то тяжелое и мохнатое. В нос ударил прохладный воздух и запах лекарств.

С этой минуты болезнь, намеревавшаяся потрясти его, была скована компрессами, которыми ему обложили грудь, горло и лоб. Испанке подкладывали яды, словно крысе, опустошающей амбары. Схватили самую неуловимую ее сущность, и она отступала, растворяясь в каждой капельке пота. Еще два дня и две ночи вела она Петра песчаными пустынями, где свирепствовал самум лихорадки, где отражались в зеркалах фантастические фата-морганы, а оазисы короткого полусознания кишели тревожными воспоминаниями.

Он бежал, задыхаясь от страха, по бесконечной улице, где на каждом доме висел почтовый ящик, и напрасно пытался отыскать между ними тот, куда проскользнул конверт с письмами отца к Марте. Он слышал, как часы гулками, страшными ударами пробили пять, и понял, что поздно. Бросился к одному ящику, колотил по нему кулаками, срывал со стены. Ящик растаял и превратился в Марту, она смеялась, запрокинув голову, губы у нее раскрылись, и были отчетливо видны невероятно белые зубы. Он подскочил к ней с намерением убить. Она не бежала, она парила перед ним и была недосыгаема, как бы он ни напрягался. Головокружительно высоко поднималась и поднима-

лась лестница, пропадая в неоглядной выси. Она реяла над ним, но это была уже не Марта, это была мать. Он понял, что она хочет выпрыгнуть из окна. И напрасно стремился к ней, потому что расстояние между ними никак не уменьшалось. Он уже не мог дышать, оцепенев от ужаса. Потом лестница с оглушающим грохотом рухнула. Он стремглав полетел во тьму, в голове и ушах стоял ужасный гул.

Площадь городка, где он еще перед войной бывал у дяди на каникулах, заливало солнце. Воскресное утро наполнено оживленным говором и смехом прогуливающих людей. Черные костюмы на мужчинах, собравшихся в кружок и что-то обсуждающих, и пестрые, будто деревенский палисадник, платья на девушках и женщинах. Петр стоял в центре площади, и все были ему одинаково близки. Счастье, как солнце, заливало его блаженным теплом. Но вдруг говор и смех смолкли, все застыли и уставились в одну сторону. Он тоже повернулся и увидел, что по площади идет Кама под руку с его отцом. Мужчины приподняли в знак приветствия шляпы, а женщины, наклоняясь друг к дружке, начали о чем-то перешептываться. Пара важно, с достоинством прошла мимо Петра, даже не обратив на него внимания.

Он плакал навзрыд; но голова его лежала у Камы на коленях. Она гладила его волосы и успокаивала:

— Не плачьте, Петр, вы же все-таки не ребенок. Это вам только привиделось.

Он отвечал ей, но не мог превозмочь рыданий. Так, через них, изливались наружу все перенесенные им до сих пор муки.

— Я никогда не переставал любить вас. Отчего вы уехали? Если бы вы остались, ничего бы не случилось.

Она подняла его голову и поцеловала. Панцирь боли и удушья лопнул, стало легко дышать.

Он очнулся на третий день утром. Жар спал. За высоким окном отмывался грязный рассвет. Мать сидела в изножье кровати. Бледное лицо ее — она сидела, отвернувшись от окна, — уходило в тень и словно расплывалось. Она ждала, когда он проснется. Перед его пробуждением она наверняка осторожно касалась его лба, чтобы чуткими материнскими пальцами определить, насколько еще сильна болезнь. Теперь она сидела неподвижно, боясь нарушить его сон, который, как она верила, возвращает здоровье. Петр, видя ее такой, вспомнил детское свое чувство возвращения с улицы. Смотрел на мать сквозь прищур глаз, чтобы она не заметила, и думал. В глубокие следы, оставленные

в его мозгу лихорадочными снами, медленно вливалось ощущение реальности и воспоминания о том, что предшествовало болезни. Письмо. Как же долго он болел? Неподвижность мучила его, бодрствование возвращало его телу весомость. Но пошевелинуться он боялся. Мать, поднеся к глазам уголок фартука, вытерла слезы. Она плакала тихо, без всхлипов. И Петру вдруг стало ясно, что она все знает. Он глубоко вздохнул и вытянул руку на перине.

— Петршичек! — воскликнула мать и схватила его ладонь.

— Да, — тихо ответил он, наблюдая, с какой горячностью она проверяет у него температуру.

— Тебе уже лучше, да? Ты больше не будешь болеть? Не смей, не смей! Господи боже, как же я за тебя боялась! Ведь ты у меня один остался. — Она уткнулась мокрым от слез лицом в его ладонь и заплакала.

Он какое-то время молчал, собирая силы и мужество, чтоб задать вопрос, прозвучавший фальшиво.

— Что такое, мама? Уж не с отцом ли что?

— Нет, не знаю. Наверное, с ним ничего. Только к нам он больше не вернется. А я так на тебя серчала, сыночек.

Вынув из-под перины другую руку, он погладил мать по склоненной голове. Он не сочувствовал ее печали, в этом движении была лишь удовлетворенность тем, что все кончилось и ему нечего бояться, как бы она чего над собой не учинила. Он подумал, чем бы еще удостоиться материнской любви и благодарности, и сказал:

— Значит, он написал тебе правду?

Она задохнулась от удивления, но потом, набравшись отваги, спросила:

— Ты знал об этом?

— Я не хотел тебя огорчать.

— Ты видел их вместе? Это не та женщина, что приходила передать от него весточку?

— Нет-нет, — поспешно возразил Петр. — Та была высокая, черноволосая и много старше.

Сердце у него бешено заколотилось. Марта! Как долго он не был у нее! Что, если она наведается узнать, что с ним? Она способна на все. Мать закидала его вопросами. Он вяло отвечал. Нет, он не знает, где она живет. Он шел за ними, но они уехали на трамвае. Его позабавило, как правда напоминает ложь. Он видел через окно красное солнце, которое медленно всходило, разгоняя туман. Снова начался жар. Солнце выглядело так, как будто было порождено им. Сил у него снова поубавилось, но он был счастлив. Болезнь была

хорошая, добрая, прекрасная, она помогла ему, и теперь уже можно ничего не бояться. Только вот Марте нужно дать знать, что с ним. Мать причитала, жалея себя и его. Это становилось неприятно. Для чего столько слез, если все кончено? Он уже достаточно себя помучил. Ему хотелось побыть одному, подумать или поспать. Наконец мать поднялась. У нее было слишком много работы, чтобы долго предаваться скорби. Ей пора к хозяевам, ведь хозяин не умер, напрасно тревожились, все опять пошло своим чередом. Она положила Петру свежий компресс и пообещала заглядывать к нему почаще. Он попросил ее позвать Бертика, ему хочется узнать о новостях.

Бертик примчался, принес с собой ощущение благополучия, здоровья, бодрого настроения. Ничто не трогало его — ни болезни, ни голод. Он рожден для великих дел, и он их совершит. Приятель сыпал сплетнями и был преисполнен чувства собственной значимости.

— Что это с тобой? Хвораешь? Не везет тебе, друг. Хорошо еще, что ты меня застал. После обеда еду в Вену за новой партией. Классы на неделю закрыли, много больных.

Действительно, ранняя весна была очень страшной. После мягкой зимы началось время слякоти и дождей. Низкие тучи за ночь становились огненно-коричневыми; казалось, они напитаны огнем, кровью и грязью далеких фронтов. Дожди, напоминавшие бурю, вьюги, похожие на проливни, затопили город. Все гнило. Под утро начинало подмораживать, и люди ломали себе руки и ноги. Человеческим несчастьям не было конца.

Лишившись семейного гнезда, люди жили стадами. В далеких окопах и дома в длинных очередях перед опустошенными лавками. Хлеб и империя разваливались одинаково. Тупое безразличие и отчаянные надежды сменяли друг друга. В подавленном сознании людей и хлеб, полный мякины с опилками, и империя, до отказа набитая фальшью, сливались воедино. Истощенные люди, истощенная земля и непрекращавшиеся холода плодили болезни. Стоя в бесконечных очередях, люди заражались друг от друга. Возвращались домой с пустыми сумками, вялые, с лихорадочным жаром в глазах. Умирали массами, наверное, потому, что дух был сломлен, а может, потому, что не знали, к чему жить дальше. Кто знает, через ворота каких видений входили они в вечную тьму? Может быть, к ним являлись погибшие на фронтах и давно умершие с розовыми лицами и устами, звеневшими смехом, и подсаживались вместе к уставленному яствами столу, где в кружках пени-

лось золотое пиво, где рогалики, красуясь зернышками тмина, поблескивали бриллиантовыми кристалликами соли, а от копченостей коричневого цвета поднимался запах забытых радостей и благ.

Бертик так и сыпал новостями. Казалось, ему доставляет наслаждение перечислять, кто у них болен. Классы полупустые, учителей болезнь косит так же, как и учеников. Отдал концы Бахус, и его кончину будут славить в четвертых, шестом и двух седьмых. Потому что Бахус, по кличке «Дятел», был продажный пес, да осквернится его могила. Успехи его воспитанников зависели от того, сколько ему поставляли провианта, а для тех, кто ничего не мог сунуть, физика становилась мукой мученической. Так вот, классы закрыты на целую неделю — к превеликому удовольствию здоровых, и в пустых помещениях жгут формальдегид, чтобы умирить рассвирепевшего бога хворей.

Когда Петр дописал письмо, Бертик не смог сдержать своего удивления перед тем, какая миссия ему доверена.

— Ничего себе знакомая, друг! — брякнул он, перечитав адрес, и завистливо выкатил свои жабыи очи.

Еще недавно Петра обрадовало бы это изъявление зависти. А теперь было все безразлично. Он не верил даже данному Марте обещанию, что в скором времени навестит ее.

14

Петр не забыл ни одного из своих горячечных снов. Они прочно врезались в его память. Когда жар спал и Петр сидел дома один, он перебирал их, исследуя до мельчайших подробностей. И вновь содрогался от пережитого ужаса. Что означал сон об отце? Он до сих пор трепетал при мысли о голосе, обвинявшем его. Нет, это не могло быть ничем иным, кроме как взрывом тех укоров совести, которыми он и так сам себя истерзал. Он не виноват, письма, которые отец писал Марте, снимают с него всякую ответственность. К этому шло, и все, что случилось, должно было случиться. Он отгонял воспоминания и изо всех сил старался изгнать из своих мыслей все, что напоминало ему прошлое. К Марте он уже не возвратится.

Болезнь, после которой он очень ослаб, словно бы и очистила его, избавив от всяких желаний. Больше всего он любил разбирать сон о Каме. Как это вышло, что он до такой степени мог о ней забыть? В ней сочеталось все,

к чему он стремился и чего ему недоставало. Впрочем, если Вит сказал правду, то она замужем и потеряна для него навсегда. Наверное, Вита тоже нет в живых, потому что о нем давно не было никаких известий. Все, что оставалось доброго и прекрасного, — уже не существует; на свете одни Бертики и Марты, а война все продолжается, словно ее никогда и не думают кончать. Если бы можно было так вот лежать в постели, предаваясь мечтам, и не высовывать носа на улицу, пока не раздастся радостный крик, возвещающий, что безумию пришел конец и наступают времена покоя, разума и любви.

Мать, словно желая вознаградить Петра за те долгие месяцы, когда они проходили друг мимо друга в хмуром молчании, теперь была чуть ли не само смирение, ласковость и любезность. Они не разговаривали о том, что произошло, но любое ее слово и поглаживание, каждый положенный ею компресс, каждый лакомый кусочек, который она выпрашивала для него у хозяев, — все выглядело просьбой простить ей ту несправедливость, которую она допустила.

Неделя прошла, но гимназию не открывали. Испанка требовала все новых жертв. О том, что занятий нет, Петру пришел сказать маленький Оттони. Петру было неловко, по глазам товарища он видел — тот удивлен тем, как они живут. Бертик уехал, так и не принеся ему ответа от Марты. Петр был рад, что она молчит, и боялся только, как бы она не вздумала его проведать. Все, что он пережил за время их близости, как бы сливалось с горячечным бредом, и он желал только одного — не различать сна и действительности. Вот поправится, тогда начнет все заново и по-другому.

Но, едва он окреп и поднялся, свалилась мать. Спекшимися горячечными губами она давала ему советы, когда он прибирался или готовил еду. Роли их переменялись. Он смачивал в ледяной воде тряпки для компрессов — вытягивать жар из ее тела, и тоска сжимала его сердце.

Образ, которому он не позволял стать мыслью, хозяйничал в его голове, словно кукушонок. Нет, нет, нет. Мать и он — одно целое. И если она умрет, он умрет тоже. Порой его охватывало радостное чувство от сознания того, что он как бы возвращал долг и смывал со своей души нанесенные ей обиды. Когда она засыпала и дыхание ее становилось глубже и ровнее, он переставал думать о грозящей ей опасности, сидел возле нее в сгущающихся, переходящих в темноту сумерках, и какое-то чувство, неизъяснимо

мягкое, но полное особенной крепкой убежденности, кружило вокруг сердца. Словно он что-то упустил в своей жизни и теперь наверстывал упущенное. Был мальчиком, сидевшим возле матери. И детские годы были так близки, как будто он и не выходил из ребяческого возраста. Только высунулся, как высовываются из окна охваченные упоительным ощущением головокружения, когда так легко сорваться и погибнуть. О, если бы он снова мог жить в том незабываемом многоцветном мире дальних путешествий, краснокожих лиц, бешеных скачек, слеживаний и нападений, которые создавали иллюзию вольности! В том мире все было так просто! Там, в том мире без женщин, не запрещалось ошибаться ни в людях, ни в чувствах, а единственными грехами считались лишь убийство и разбой. Муки голода, страдания, доставляемые веревками, которые впииваются в кожу, опасности, подстерегающие тебя в сумраке непроходимых лесов и высоких травах саванн, были наслаждением по сравнению с тем, что он пережил. Он хотел забыть об этом, и ему казалось, что он забыл.

Мать поднялась на третий день, едва снизилась температура. Бездеятельность приближала ее к смерти больше, чем болезнь. Наверное, она ничего не знала о себе, помнила только о своем долге и не могла не отозваться на его зов.

Когда Петр первый раз после болезни вышел из дому, на улице дул сильный ветер, но на безоблачном небе сияло солнце, и воздух благоухал весной. Холм за мостом казался выше, и голые ветви деревьев словно бы утратили свою печальную суровость. Какая-то метаморфоза, которую взгляд скорее предчувствовал, чем видел, совершалась с ними. Весенний воздух обжигал легкие, голова кружилась от слабости и веселья. Петру снова пришло на ум, что, собственно, такая болезнь — это прекрасно. Он был вне всего: ни с кем не разговаривал, не читал газет, не знал ни о чем, что происходит в мире, а мир между тем бог весть как переменялся. Теперь все вернулось обратно: опять изможденные и плохо одетые люди шли ему навстречу, солдаты в рваных мундирах — все как прежде, только во взглядах забрезжила какая-то надежда. Возможно, потому, что приближалась весна, вечный источник иллюзий. Он воспринимал окружающее с такой остротой, как никогда прежде. Постепенное выздоровление все еще сопровождалось вялостью, но дышало ощущением чистоты. Наверное, эта весна, ее дыхание и предчувствие несет искупление, конец бедствиям, жалкому существованию и смятению чувств; наверное, на этом мосту, который словно весь соткан из

потоков белого света, он встретит нынче Каму с букетиком подснежников на отвороте пальто, побледневшую и серьезную Каму, которая будет вглядываться в него с любопытством, ту Каму, какой она была во времена их совместных прогулок с Витом, Каму, приснившуюся ему недавно, еще более красивую оттого, что не сбылась мечта, из-за долгой разлуки и горького опыта, который пролегал между ними. Петр шел, грезил с открытыми глазами и верил: нет, невозможно, чтобы сегодня он ее не встретил. Такой живой ощутил он ее в эту минуту, что сладко зацепало в горле, как ночью, когда ему приснилось, что она поцеловала его.

Он перешел мост, и от разочарования, что предстоит вернуться к реальности, вздрогнул. Он грезил о Каме, а шел к Марте. Ибо куда же еще вела эта дорога, выбранная им совершенно бездумно? Он не захотел себе в этом признаться и повернул было обратно, но мысли его, шедшие своим путем, помрачнели от обиды и разочарований. Ведь не мог же он превратить в реальность то, что было лишь грезой. Кама для него потеряна. А возвращение к Марте казалось ему намеренным, осознанным бунтом против всего, что только делало вид, будто оно лучше, а на самом деле предавало и обманывало его. К чему было отказываться от Марты теперь, когда он счастливо миновал все препятствия, когда ему снова удалось обрести доверие матери и изгнать отца отовсюду, где его присутствие ему угрожало? Да и вернется ли отец вообще? Война еще не окончилась, так что о возвращении нечего и говорить. Петр ощутил прилив уверенности, силы и безразличия ко всему, что не было им самим.

И остановился лишь на ступеньках лестницы дома Марты. На пустынной лестнице гулким шумом отдавался простор, убегающий ввысь. От ее тишины на Петра повеяло страшнейшими видениями его болезненных снов. Он поглаживал перила, это утишало его волнение. Он отказывался считать свое поведение дурным, боялся только доставить себе страдание. Он ни за что бы не хотел причинить страдания матери. Но она об этом ничего не узнает.

Ведь с Мартой он пережил и много прекрасных минут. В последнее время, когда она дремала, устав, прикрыв глаза, он, склонившись, с интересом рассматривал ее. В нем просыпалось никогда прежде не изведенное, более чистое наслаждение. Когда она молча лежала с закрытыми глазами, он любил ее тело, совершенные его формы, белое лицо, розовое от поцелуев, складки, нежные от голубоватых

теней, спокойствие живой плоти, взволнованной дыханием и источавшей слабый запах.

Быстро одолев несколько оставшихся ступенек, он позвонил. Тишина распалась и собралась снова. Никто не шел отворять. С различными интервалами он звонил в общей сложности около четверти часа. Наконец на лестницу вышла дворничиха.

— Не звоните,— хмуро бросила она.— Хозяйки нет дома.

— Спасибо,— поблагодарил пристыженный Петр.— Я подумал, что она уснула.

— Уехала к себе. Вернется что-нибудь через неделю.

Уехала и не написала ему ни слова. Могла, по крайней мере, оставить у той же дворничихи записочку. Он почувствовал себя оскорбленным, им овладело отчаяние. Потом он склонился к мысли, что это, возможно, перст судьбы. Столько чудесных мечтаний и планов родилось у него во время болезни, столько припомнилось из пережитого. Не следовало возвращаться сюда, тогда он уберется бы от такого унижения.

Петр бесцельно шатался по улицам, проклинал Марту, убеждая себя, что излечился раз и навсегда. И вдруг вспомнил про Бертика. Может, у него и хранится ее ответ, который забыли ему передать. Побежал к нему. Бертика дома не оказалось. Петру открыла его мать, глаза у нее были красные, будто она только что второпях вытерла слезы.

— Нету дома, Петршичек. Уехал и даже не сказал, куда. Ах, если бы вы только знали, какое мучение с этим мальчишкой. С тех пор как посадили отца, он творит, что ему вздумается. Все время куда-то ездит, связался с какими-то странными людьми. Вы всегда оказывали на него хорошее влияние, поговорите с ним.

Она разрыдалась. Петр пробормотал несколько утешительных слов и распрощался, весь во власти мучительных сомнений.

Все последующие дни он сидел дома, надеясь, что заставит себя забыть Марту. Начнет все сначала, как и задумал. Он отгонял воспоминания, учил уроки, а все остальное время читал. Когда же голова уставала, пытался думать о Каме. Представлял ее в мечтах такой, какой ей суждено быть только с ним, словно речь шла о том, что завтра она придет непременно и ему остается только ждать.

Вернувшись снова в гимназию, он глядел на своих однокашников с высоты пережитого. И ни с кем не мог этим

поделиться. Он смотрел на мир иными глазами. И относился к сверстникам с некоторым пренебрежением.

Его встретили шумными приветствиями.

— Привет! — орали школяры. — Значит, и на тебя тоже замахивалась зубастая?

И те, кто перенес болезнь, и те, кого она не коснулась, — все важничали одинаково. Температура у всех поднималась до предельной черты. Кое-кто спрашивал:

— Куришь? Нет? Вот видишь! В этом все дело. Ведь нет лучше лекарства, чем сигарета и глоток рома. Ишь до чего доводит испанка!

Первый урок у них вел классный руководитель. Он вышел бледный, держа у рта носовой платок.

— Дети, прошу вас сидеть тихо. Мне нужно многое объяснить, ведь мы отстали, а говорить громко я не могу.

Рассевшись по своим местам, они затихли. Он вел себя с ними как старый товарищ, сердечно и чуть иронически, возбуждая уважение, но не вымогая его. Они любили его и смирлялись перед ним свою строптивость. Рассказывая о Гавличке, он постепенно разошелся. Забыл о намерении говорить тихо, исхудавшие щеки его порозовели. А прошлое, ожившее в его пересказе, как две капли воды походило на сегодняшний день. Замолкая ненадолго, он отирал лоб, с любопытством вглядываясь из-под платка в их лица.

С девяти до десяти у них был немецкий. Классный, перелистав журнал, вызвал сначала Вондру, а потом Пешанека, двух учеников, абсолютно не способных к языку. Велел им прочитать наизусть австрийский гимн по-немецки. Положив голову на ладони, сосредоточенно и серьезно слушал, как они путаются и сбивчиво, заикаясь, соединяют несоединимые слова, потом замолкают и начинают снова. Когда осрамился Вондра, он вызвал Пешанека; когда запнулся Пешанек, он велел им говорить вдвоем, подсказывая текст друг другу.

И наконец отправил на место.

— Да разве это гимн! — кричал он. — Это же безобразие!

Он бегал меж столами, делая вид, будто страшно возмущен ответами, и бормотал вполголоса, но отчетливо:

— Это же идиотство! Такое идиотство!

И столь же внезапно успокоился, словно одернув сам себя, и поднялся на кафедру.

— Мы отстали и по чешскому языку, — заявил он. — Продолжим наши занятия.

И до самого звонка рассказывал о Гавличке.

— Мои объяснения недостаточны. Чтобы хорошо разобраться в материале, нужно читать его книги. В школе это невозможно. Прочтите дома сами.

На переменке ученики собрались в кружок, пригнув головы.

— Ну что, смекнули? — шептали друг дружке. — Он давал понять, где горячо. А сказать больше не мог.

— Да, ребята, пахнет жареным. Долго так не продлится.

Они разговаривали приглушенными голосами, как будто и у стен были уши. Восторг сообщников, разгораясь, объединял их. Спор шел только о том, когда и как это закончится и что будет потом. Говорили о республике и о монархии, как будто уже завтра решение этого вопроса должно было зависеть только от них. Они готовы были умереть тут же, не сходя с места, лишь бы не умирать через месяц на фронте. Из вражды молодости к рабству они ненавидели многое; ненавидеть империю, которая грозила им смертью, было легче всего. За их патриотизмом скрывалось немало эгоистических желаний. Они по-разному ощущали их, каждый в зависимости от своего характера. Их переполняло страстное стремление овладеть реальностью. «Свободная родина» — это звучало как-то расплывчато, но вольное «я» — понимали все, всяк в меру своего разума.

Все желали стать свидетелями падения великой империи, каждый считал, что рожден для славы. В их глазах это был не только великий исторический момент, но игра образов, героизм и действие. Нечто вроде бесконечной потехи и упоения, дружный топот шагающих ног, лес взметнувшихся ввысь рук и сердца, стучавшие где-то в горле.

Взволнованный этими разговорами, Петр возвращался домой. Эта общая, неведомая еще вольность вырастала как бы прямо из него самого и ради него самого. Там, за ее воротами, пока запертыми, скрывалось все, чего он так долго и тщетно ожидал. Жизнь напоминала ненадежный, грозящий рухнуть откос. И он уже не раз обрушивался на него камнями семейных раздоров, щебнем войны, удушливой пылью нищеты, грязью рано разбуженной чувственности. Весь в ранах и ссадинах, он задыхался, но не отказывался от надежд. Привыкал к цинизму и учился скрывать свои чувства, которым боялся верить. Когда он размышлял об освобождении родины, петушиный крик восторга рвался из его горла, свобода, беспредельная, без цвета и без формы, распаивалась перед ним безграничной равниной, где не

видно было прошлого, лишь мерцание путей, уводивших в беспредельную даль и не имевших определенной цели. И вместе с тем, помимо его воли, в душе поднималось нечто, что он не умел выразить словами, какая-то странная печаль, звучащая в музыке шагов и пропитанная ароматом, которым веяло от женщин. И тогда мысли о родине отступали на второй план.

Он не в силах был этого понять. Не понимал, что в юношеском горе и надеждах нет места ни для кого и ни для чего, кроме него самого. Все прочее было лишь мишурой, обманом чувств, очень правдоподобным, как вообще любой обман в восемнадцать лет: правдоподобный до крови. Во всех великих деяниях, о которых Петр мечтал, как и все остальные, он, сам того не подозревая, находил лишь одного себя, себя — на гребне победных баррикад или — в мгновения нахлынувшей меланхолии — мертвым на земле под ними. Да, в мыслях ему случалось сидеть над своим собственным трупом и говорить: «Какой храбрец был этот Петр», а затем отправляться на поиски новых приключений.

В гимназии объявился Бертик. Он был бледен и чем-то напуган, так что с трудом поддерживал престиж лорда и денди, признанный всем классом. Что-то настороженное проскальзывало в его лице, глаза бегали, словно кого-то выслеживая. Вокруг него всегда вились почитатели, от них-то все и пошло. Заведенье Бертика кто-то выдал и сообщил о нем полиции. Это заведение было вершиной того, чего достигли заводи́лы этого класса, гоняясь за призраком вольной жизни. Подавляя уныние, Бертик повествовал о происшествии, презрительно кривя белое лицо и глотая изумление окружающих, как ликер, который укреплял его и поддерживал. Он живописал картину вечера, который так удачно начался веселой попойкой и обжорством, с корзины вина и провианта, перекочевавшего к ним из военного госпиталя. Изобразил Бетynu, полковничью дочку, — она, когда напьется, непременно хочет либо танцевать голой, либо скакать из окна; капитана Гирша, который, опьянев, ревет зверем. Такой чудесный мог быть вечер, если б не полоумная Бетына, которая объявила себя найдой, выбежала на лестницу, в чем была, то есть в одной комбинации, и вопила, что отдастся тому, кто ее поймает. Но, прежде чем ее догнали и вернули в заведение, она попала на глаза старой деве с четвертого этажа — та выходила в коридор за водой. И эта особа, жертва безутешной добродетели, забыв про воду и бидон, быстро напаялила салон и, кудахча, будто

переполошенная курица, помчалась в полицию. Хохлатые грубияны в кованых сапогах прервали их развлечение, взяли всех и выпустили только сегодня утром. Лишь Бетине, виновнице происшествия, разрешили уйти в тот же вечер, а капитана Гирша оставили пьяного в самом заведении. Подняли с пола, уложили на диван и отдали ему честь.

Приход классного разогнал группу. На кафедре остался один Бертик, онемевший на полуслове; спесь с него вдруг как ветром сдуло. Восхищавшиеся им одноклассники в эту минуту не пожелали бы очутиться на его месте.

— Это вы, Бертик? — спросил классный, прищурившись, и во взгляде его засквозила брезгливость. — Вашу историю вы могли бы оставить при себе. Вы получите, что заслужили.

Бертик молчал, покорствуя власти, против которой оказалась бессильной даже его самоуверенность. На лице отразилась тоска обреченного, падающего в гибельную бездну. Классный взглянул на него открыто и понимающе.

— Ответственность — тяжкое дело, приятель, и противно есть ту кашу, которую вы заварили. Но ничего не попишешь. Забирайте свои вещи, Бертик, и ступайте в директорскую.

Бертик стоял, оторопев, словно ожидая, когда наступит отрезвление. Вот сейчас роковые слова пронесутся, словно пыльная буря, они протрут глаза, и все опять наладится, станет на свои места. Однако в строптивой душе его не было смирения. Бертик отошел от доски; ухмылки на его рыхлом лице то и дело сменяли друг друга, словно он незримыми руками впопыхах снимал и надевал разные гипсовые маски. Учитель сел, молча ждал, когда наступит тишина. И, не раскрывая классного журнала, отбивал на обложке ритмы все возрастающего нетерпения. Бертик одевался нарочито медленно, движениями аристократа, подчеркивая свое равнодушие к происходящему, и сдувал невидимые пылинки со своей шляпы. Взял книги из ящика стола, но потом, словно вдруг передумав, положил их перед Вондрой и громко сказал:

— Можешь забрать себе.

Сделав классу ручкой, он подчеркнуто плавным шагом двинулся к двери. Там, склонившись в глубоком поклоне, по-мушкетерски помахал шляпой.

— Мое почтение, пан учитель.

Классный, до сих пор терпеливо и молча наблюдавший за происходящим, вскочил и взревел:

— Вон, мерзавец!

Бертик вздрогнул и выскочил за дверь.

Петр зашел к нему после занятий. В кухне на сундучке у плиты сидела, утирая слезы фартуком, мать Бертика — скорбная Ниоба с опухшим носом, повязанная платочком. Завидев Петра, она, ломая руки, пошла ему навстречу.

— Да что же это, Петршичек, разве так можно — за полгода до выпуска, а, неужто возможно? Пойду и брошусь директору в ноги.

Дверь с вмятинами от ударов сапожных ножей и колодок распахнулась.

Бертик высунул напояженную голову.

— Иди сюда, Петр, пусть ее поплачет.

Она в гневе поднялась и, встав в позу библейской матери, выкликающей проклятья, воскликнула:

— Ах, пакостник! — Но слезы снова одолели ее. Упав на сундучок, она зарыдала, призывая на помощь отсутствующего мужа, над которым прежде всегда насмехалась. — Был бы дома отец, он бы...

Петр, опустив голову, медленно прошел в комнату. Бертик сидел у окна, свет падал на пробор, белевший в его черных, гладко прилизанных волосах.

Отвращение охватило Петра.

— Чем же ты теперь займешься? — спросил он, не в силах заставить себя глядеть Бертику в глаза.

— Дел немало, дружище. Тут мы с одним пареньком решили наладить производство суррогатов. Он будет производить, а я торговать. Я даже рад, что меня выперли.

Бертик был как резиновый мяч. Его ударят, а он отскочит и летит дальше. И нигде не остановится, потому что всегда найдется какой-нибудь встречный пинок. К чему быть хорошим учеником? В один прекрасный день деньги потекут к Бертику рекой.

Петру было грустно. Он поискал в душе, на что бы опереться, но все в нем клокотало.

Встал и распрощался.

Марта сообщила Петру о своем возвращении, прислав письмо в гимназию. Он получил его в тот день, когда пришла повестка. Его призывали в армию. И не только его. Смерть разослала свое приглашение больше чем половине их класса, и ее грубый унижительный вызов: «Явиться

чисто вымытым и трезвым» — звучал в устах гимназистов как уличный куплет. Они уже и думать забыли, что и до них дойдет очередь. Нынешняя весна, необыкновенная и прекрасная после страшной зимы и губительных предвесенних болезней, казалось, несла в себе весть об избавлении от бед. Воздух был напоен душистым ароматом, и у людей крепла надежда на искупление. В доверительных разговорах они шептались, что мощь империи подорвана, что она дышит на ладан, разваливается под ударами войск Антанты (и час этот недалек, в это верили все), о полках перебежчиков, что сдавались в плен, а потом объединялись в легионы (это могучее слово вызывало в памяти образ римских легионеров, бесстрашных воинов Жижки, над которыми реяло знамя с изображением красной чаши на черном поле и гремела песня: «Кто вы, божьи ратники?»), которые тоже весьма способствовали делу окончательной победы, о выдающемся руководителе, воплотившем в себе все, что было справедливого, героического и чистого в этой униженной стране, который может принести ей свободу. В свете грядущего возмездия переносить страдания было уже легче. Страна, дошедшая до крайнего изнеможения, подавленная и безучастная, словно начинала пробуждаться и сбрасывать с себя беспамятство и отчаяние. Изверившиеся горожане, мечтавшие только о том, как было бы хорошо закрыть утомленные и выплаканные глаза, забыться и заснуть навеки, теперь каждое утро просыпались с крепнувшей надеждой на лучшее и выходили на улицы, любопытствуя, а не случилось ли за ночь, в их отсутствие, какого-нибудь чуда.

И молодые люди больше, чем кто другой, глотали эти слухи и строили картины головокружительного будущего, упоенные величиим эпохи, в которую им предстояло жить. Они уже не верили, что империя еще способна удержаться. Перестали считаться с ней, как с живым и могучим организмом, в разговорах друг с другом кромсали ее на части и даже в костелах пели уничижительные, оскорбительные переделки ее гимна либо только разевали рот, дабы не воздавать ей невольной чести. Однако, вспоминая о ее былом могуществе, опасались, что возмездие не успеет прийти вовремя. Когда они оставались одни, сердца их тонули в волнах страха; и молодые люди до бесконечности спрашивали себя, возможно ли, чтобы через каких-нибудь два месяца они, такие живые и такие веселые, сгинули бог знает где. Когда же собирались вместе, то в запале всеобщей кичливости хвастали мнимым ухарством. Впрочем,

им нечего было стыдиться своего нежелания идти на войну. Избегать военной повинности стало делом национальной чести. И исполнить этот свой долг им повелевала их молодость и любовь к жизни.

Они клялись, что, если их призвут, они произнесут свою присягу так, чтоб это не звучало присягой (впрочем, присяга по принуждению не имеет силы), и при первой возможности перебегут через линию фронта и вступят в ряды легионеров. Но с еще большим удовольствием примут все меры для того, чтобы их не призвали. На переменах они обменивались рецептами, как ускользнуть из лап призывных комиссий. Чтoб избежать смерти, они с беспечным легкомыслием наносили вред своему здоровью, которое у многих и без того было подорвано долгими годами недоедания. Эти рецепты, полученные по знакомству, содержали редкостные отвары — от мела, размельченного в воде, и виргинской сигары, смоченной в вине или в уксусе, до сложнейших лекарств, которыми их снабжали знакомые медики, воруя в госпиталях. Молодые люди устраивали кутежи, проводили ночи у своих возлюбленных, если таковые имелись, или ходили в публичные дома, где пили и плясали до утра. На уроках сидели бледные, обессиленные, часто пьяные, засыпая за партами. Учителя молчали или с грустью усмехались, наблюдая демонстративное нарушение гимназических порядков и дисциплины. Никто не препятствовал этому безобразию и подрыву собственного здоровья. Матери обливались слезами и причитали, но варили сыновьям черный кофе и снабжали сигаретами, а отцы, если сами еще не попали на фронт, отворачивались, скрывая свое отчаяние, и ни о чем не расспрашивали, когда сыновья, заявляясь домой, требовали денег, денег и денег, а потом уходили и целыми ночами где-то пропадали. С их ведома они убивали время в публичных домах и глотали снадобья, которые ослабляли сердце, вызывали приступы боли и обмороки, сухой кашель и ужасающие хрипы в легких.

Петр не нашел в себе смелости признаться матери в том, что его ожидает. Для слез всегда найдется время. Он тщательно прятал от нее повестку и целые дни проводил у Марты. Призыв помог ему расправиться со всеми своими добрыми намерениями. Марта оказалась для него всего лишь средством избежать армии, и он находил большое удовольствие в том, что мог до такой степени низвести ее в своих глазах. Все-таки он никогда не любил ее, а только мстил ей, а теперь его месть достигла апогея.

Их первая встреча была свиданием любовников, встретившихся после долгой разлуки. Из припасов, привезенных от родных, Марта приготовила скромное пиршество. Она была весела и сердечна, разругалась и звонко, как девушка, смеялась, жадно его целуя, окружая вниманием и осыпая ласками, как никогда прежде. Петр принимал ее нежности как нечто само собой разумеющееся. Еще неделю назад он тосковал по ней, а сейчас она стала ему почти безразлична. Это конец, я мог бы оставить ее теперь же, сию минуту, если бы захотел. И если я все-таки остаюсь здесь или вернусь опять, значит, в этом есть свой смысл.

Он сказал ей о повестке, но она, вопреки его ожиданиям, не выразила никаких сожалений.

— Такое дитя, — рассмеялась она. — Не бойся, тебя не возьмут. Очень уж ты худой.

Он оскорбился и упрекнул ее в черствости. Ему вдруг показалось, что Марта охладела к нему. Он не смог бы определить, в чем это проявилось. Какой бы ни была она веселой и нежной, ее смех и поцелуи принадлежали кому-то другому. Иногда она умолкала и подолгу смотрела куда-то в пространство. Если он внезапно спрашивал ее о чем-то, она встряхивалась, будто очнувшись от сна, в первое мгновение хмурилась и только потом находила ответ и улыбалась. В нем вспыхнула ревность, но он не хотел ее обнаруживать. Попробовал прикинуться недовольным и рассеянно принимал ее нежности. На ее расспросы, что с ним, ссылался на свою озабоченность в связи с призывом. Она не переставала смеяться над ним, в конце концов они поссорились. И Петр поднялся, собираясь уйти. Она ему опостылела. Через день ему предстояло явиться на призывной пункт, а днем больше или меньше — в его судьбе это ничего не меняло. Марта сперва отнеслась к его уходу равнодушно, но, когда он в передней надевал пальто, выбежала следом, успокаивая и уговаривая побыть еще. Очевидно, их расставание она представляла себе иначе, у нее были свои планы, и ей казалось, что подходящий момент не наступил. Он отнекивался и вернулся, только когда она пообещала ему порошки, вызывающие сердечный приступ. Ему хотелось узнать, где она их достает. Она сказала что-то о дяшке-аптекаре.

Предпризывной день напоминал прощанье. Петр говорил себе, что он здесь в последний раз. Был растроган и вспоминал все, что они пережили вместе с Мартой. Ведь они уже давно близки! Он отвечал на ее нежности, и Марта, вероятно думая точно так же, как и он, сегодня была обво-

рожительнее, чем всегда. При расставании она сунула ему обещанные порошки и бумажку в сто крон.

— Бери, бери, — убеждала она Петра, отказывавшегося взять от нее деньги, раз уж он решил оставить ее.

— Вот увидишь, тебя не заберут, и ты захочешь отметить это событие с товарищами.

— С какими товарищами? Я хотел бы отметить это с тобой, — тут же выдумал он, тронутый ее сердечностью.

— Нет, это не получится. Я все думала про твою повестку и чуть не забыла про самое главное. Завтра ко мне придет отец и проживет здесь около недели. Тебе придется подождать, пока я не напишу.

— И мы даже не сможем увидеться? — спросил Петр, притворяясь огорченным.

— Пока не знаю. Я напишу тебе сразу, как все выяснится, а ты дай мне знать, как дела у тебя. Меня это очень заботит.

Петр уходил чуть ли не в приподнятом настроении. «Вот так уж сразу и напишу, — язвительно говорил он про себя. — Так и побегу на твой зов. Нет, голубушка, едва ли мы теперь когда-нибудь свидимся».

Он нащупал в кармане деньги. Пригодятся.

Утром, взяв книги, Петр попрощался с матерью, как всегда, отправляясь в гимназию. К чему оставлять ее в тоске и неизвестности? Впрочем, он и сам не верил, что его заберут. Он еще не оправился как следует после своей болезни, да и Марта здоровья ему не прибавила. Сердце больно колотилось в груди. К тому же он нарочно делал вид, что еле плетется, отчего и впрямь ослабел еще больше. Под пиджаком через рубашку прощупывались ребра. Он отощал до ужаса. Не зря Марта насмехалась над ним. А кроме того, у него есть порошки. Если принять их за полчаса до комиссии, он рухнет без сознания, как колода. Правда, он не был вполне уверен, что примет их. Боялся их действия. Вот он миновал костел, куда ходил на воскресную мессу, когда еще учился в начальной школе. Может, зайти помолиться? Он заглянул в распахнутые двери, но поток холодного воздуха отпугнул его. Пошел дальше, попытавшись молиться по дороге. Он был удручен, надежда сменялась тоскливой неуверенностью. Курил одну сигарету за другой, то и дело проверяя пульс.

Призывная комиссия заседала в длинном зале, где некогда, года четыре назад, устраивались свадебные обеды. В коридоре перед ним раздевались и одевались бледные испуганные пареньки. Превозмогая дрожь, они путались,

нужные движения удавались им не сразу. Лишь изредка звучали в тишине шутки, не находившие отклика. Любопытство рождали только те, кто уже вышел из зала судилища. Ну что, не призвали? Ах, как хотелось оказаться на их месте! Призвали? И все невольно отступали в суеверном страхе, как бы несчастье не перекинулось на них. Выстраивались по пять человек, накинув на себя одни рубашки; по большей части незнакомые друг с другом, но на какой-то миг связанные судьбою и вновь разделенные барьерами шкурного желания уберечь себя. Петр огляделся по сторонам. Ни одного мальчишки из их класса здесь не было, не с кем было вместе пережить страх.

В пятерке, вызванной перед ними, поднялась паника. Какой-то парень, прямо в дверях издав протяжный вопль, рухнул под ноги остальным, остоленевшим от неожиданности. На губах у него выступила пена, руки и ноги начали дергаться, и все тело извивалось в судорогах. Из дверей выбежали двое солдат, парня подняли и внесли внутрь. Он был длинный, белый и тяжелый.

Это происшествие развязало языки остальным, уже стоявшим в одних рубашках.

— Видал, а? Ну, его уж нипочем не возьмут.

— Здорово он это разыграл. Вот бы мне так научиться.

— Да ничего он не разыгрывал. Ерунду порешь. Он и впрямь больной. С моим младшим братцем такое тоже бывает. А со мной нет.

Солдат, устанавливавший парней в ряд, гаркнул:

— Тихо!

Они понизили голос, переговариваясь шепотом. Солдат был лишь на год старше их, на воротнике — всего по одной белой звездочке. Казалось, ничего не стоит съездить ему по зубам и разойтись. Но при этой мысли душа их изнывала от страха. Страх был одним из кнутов власти, которым их пригнали сюда и погонят дальше. Через какое-то время они станут неотделимой частицей той же силы, она овладеет ими и использует для того, чтобы овладевать другими. Это было так же непостижимо, как доказательство бытия божия.

Петр вспомнил про свои порошки, но то, что разыгрывалось у него на глазах, отбило всякую охоту глотать их. Сердце работало с перебоями, а когда он поднял руку, она затряслась так, что дрожь невозможно было унять. В зал, где заседала призывная комиссия, он вошел вместе с четырьмя парнями — поденщиками, подручными садовников и кучерами из предместья, на их икрах и плечах вздувались

узлы мускулов. Длинный зал был разделен надвое рядом столов, за которыми сидело несколько бородачей в военной форме. Под окнами под прямым углом стоял следующий ряд столов, и там тоже сидели бородачи в военном. Они равнодушно глядели на входящих и что-то отмечали в бумагах, разложенных на столах; один, нагнувшись, точил под столом карандаш, так что была видна лишь спина, а другой, с квадратной лысой головой и багровым лицом, разделенным пополам огромными усищами, что-то жевал, будто вол жвачку. На середине прямоугольника, образованного из стен, столов и застывших лиц, стоял, широко расставив ноги, черноусый и чернобородый военный врач, его черная офицерская фуражка сползла на затылок; он хмурым взглядом окинул вошедших парней. Сероватый свет пасмурного дня падал в зал через высокие окна, становясь совершенно серым среди грязных, давно не беленных стен. Это была неприятная, хмурая картина, лишенная какой бы то ни было жизненной полноты, словно привидевшаяся в тяжелом сне, оставив тягучую тоску. И словно во сне совершилось для Петра все призывное действо — начиная с солдата, подтолкнувшего его на стояк, где измеряли рост, и стукнувшего верхним брусом ему по голове так, что в мозгу отозвалось болью; затем последовали вопросы — имя, число, месяц и год рождения — и приказы: «Повернитесь! Встаньте прямо! Повернитесь! Поднимите левую ногу! Теперь правую!» И наконец последнее слово: «Untauglich»¹, подхваченное криком солдата: «Можете идти!», потому что Петр, ничего не понимая, все еще не двигался с места.

Его не взяли. Не взяли! Он суетливо совал трясущиеся руки в рукава, не попадая в них, отвечал на вопросы тех, кто еще только ждал решения своей судьбы, и смотрел на двери, откуда его выпихнули, в страхе, как бы они не распахнулись снова и его не пригласили на новый осмотр.

Выйдя из здания, он заметил, что все еще держит в руках листок, где его временно освобождали от военной службы. Он еще раз перечитал его и громко рассмеялся. Только теперь он с уверенностью понял, что свободен и с ним ничего не может случиться. Ему хотелось смеяться во все горло, и он шел дальше, вспоминая, что с ним произошло и свидетелем чему он оказался. Все четверо остались там, и только я один — не остался, не остался. Ему было немножко жаль тех четверых. Они вместе переступили

¹ Не годен (нем.).

порог этого помещения и оказались в руках судьбы, которой так боялись. Двоих он будет помнить до самой смерти. Первый трясся так, что не мог даже поднять ногу, как приказал врач. Роковое решение обрушилось на него ударом палицы. Весь побелев, он переступал с ноги на ногу и не мог сдвинуться с места.

— Tauglich! ¹ Слышите? — заорал врач. — Ступайте!

И призванный вдруг встряхнул головой, махнул и вышел из зала вразвалочку, как ходят парни из предместья. У другого на правом боку выступал длинный красный шрам.

— Откуда это у вас? Больно? — спросил врач.

Против ожидания, парень пронзительно, почти фистулой, выкрикнул:

— Не больно! Хочу быть призван в армию!

Врач посмотрел на него с удивлением, члены комиссии подняли головы. У Петра побежали по коже мурашки, отчего-то заныли десны. Врач ухмыльнулся и, наклонясь, ощупал шрам.

— Больно? — переспросил он.

— Нет.

— В таком случае tauglich.

Петру любопытно было, что заставило парня решиться на такой шаг. Но радость от сознания собственного выигрыша заполнила все. Хилым везло, в то время как сильным грозила гибель. Пока идет война, он ничего не предпримет, чтобы сделаться силачом, напротив. Он еще не так стар, чтобы не наверстать свое, когда война закончится, когда сила и здоровье не будут таить в себе смертельной опасности. Подняв голову и чуть не пританцовывая, он пошел дальше, решив без удержу радоваться своему избавлению.

Апрельское солнце, катившееся к полудню, было полетному теплым. Легкий ветерок благоухал всеми благами мира — ожиданиями, молодостью, надеждой. На островах светилась изумрудная зелень молодой травы и листы низеньких кустарников. По глади реки, как и по небу, стремительно неслись облака. Где-то на гребне островерхой крыши или на самой высокой веточке одной из голых пока акаций победно заливался черный дрозд. Его не было видно, но насвистывал он ту же мелодию, что звучала в душе Петра и во всем, что пробуждалось и радовалось солнцу. Такая же мелодия и веселье весны светились в глазах женщин, с которыми Петр встречался взглядом.

¹ Годен! (нем.)

Дразнящая прелесть этого дня отражалась в каждом их движении. Но они равнодушно следовали мимо, подобно облакам, которых он не мог удержать. Радостное настроение улетучивалось и расплывалось, а ему так хотелось ухватить его и испить до последнего глотка. Наверное, не прошло и часа с тех пор, как он выскочил из зала призывной комиссии, а впечатление было такое, будто это случилось чуть ли не неделю назад, а то и вовсе не случалось. Так стремительно проносится мимо все сущее, отживая свой век. Он возвращался к той жизни, где знал все и где все было ему отвратительно. Почему он не крикнул, как тот парень: «Хочу быть призван в армию!» — и не шагнул навстречу судьбе, где была война, приключения и даже смерть, хотя смерть все равно выбирает не всякого?

В зеркале реки проносилось его собственное отражение в образе солдата, который шествует от опасности к опасности и наконец, уже увенчанный славой герой-легионер, попадает в госпиталь с тяжелым (но успешно поддающимся лечению) ранением и находит там любовь редкостно прекрасной сестры милосердия — то ли графини, то ли еще кого почище. Лицом эта возлюбленная напоминала Каму или Марту. Он вел с ними спор, не зная, кого предпочесть, и призывал попеременно то одну, то другую. А потом выплюнул свою меланхолию в поток, стремительно пронесившийся мимо. Повернувшись лицом к улице, признался себе, почему, собственно, так долго торчит именно здесь. Если пойти прямо и свернуть направо, в переулок, то окажешься перед домом, где живет Марта. Разумеется, к ней он не пойдет, вчера он раз и навсегда решил, что никогда больше к ней не вернется. Теперь можно пойти куда угодно, даже домой. Но ничто не мешает ему направиться и к ней. Его решимость была непоколебимой, и теперь ему представлялась возможность испытать ее. А что, если она попадется навстречу? Естественно, он поделится с ней своей удачей. Вчера она была так ласкова, а сегодня наверняка сгорает от нетерпения узнать, чем все кончилось. Итак, шаг за шагом приближаясь к дому Марты, он все яснее отдавал себе отчет в том, что сейчас Марта ему ближе всего, что только она одна могла бы разделить с ним его ликование. И хотя он корил себя за малодушие (постоянно твердить: никогда, никогда больше — и всякий раз возвращаться снова и снова), но все-таки дошел почти до Мартино дома. Он не спешил. Все равно неясно, как потратить бесценный талант свободного времени. А может, она слу-

чайню сама выйдет на улицу. Может, отец не приехал или ушел прогуляться.

Мозаика счастливых случайностей, которую Петр складывал себе в утешение, тут же оказалась разбитой, стоило ему перейти на противоположный тротуар и взглянуть на окна Мартиной квартиры. Офицер, видневшийся в одном из них, никак не мог быть ее отцом. Прилизанные и блестящие, словно каска, волосы были разъяты широким, четким белым пробором, а черные усы воинственно вскинута чуть ли не до самых глаз двумя острыми пиками. На вороте мундира с каждой стороны поблескивали по три звездочки. Вот, значит, каков Мартин папаша! Извинялась, чтоб отделаться от него, так же как и он — от нее. Спокойно! Он ведь не любил Марту. Шлюха, она шлюха и есть, он ведь никогда не относился к ней иначе. Но этот тип, занявший его место, приводил в ярость. Он видел, как тот лениво, скучая разглядывает улицу, словно человек, который твердо знает, что должно последовать, а поэтому несколько не волнуется и не выражает нетерпения. Курит сигарету, делая глубокие затяжки и пуская дым в потолок, чтоб не мешал глядеть. Ох, он мог бы его убить, хотя бы за эту прилизанную голову и гнусные усы, за эту самоуверенность красавца и завоевателя. Петр раздумывал, что предпринять, и два настроения попеременно сменяли друг друга в его душе. Минутами ярость охватывала его с такой силой, что хотелось только крушить, колотить, разбивать и убивать, лишь бы только успокоиться. Потом вдруг наступало безразличие и становилось покойно, как будто он сам осмеивал свое волнение, наблюдая себя со стороны. Он ведь сам хотел от нее освободиться и теперь убедился, что она забавлялась им, как малым ребенком. Порошки, которые она ему дала, наверняка были получены от этого офицера. Свою последнюю услугу опостылевшему любовнику она оказала с помощью вновь появившегося.

Офицер отвернулся от окна, бросил окурки и исчез. Горячечные пальцы воображения впились Петру в мозг. Что же он стоит здесь, когда ему дали пинка, трус несчастный? Вот пойдет, позвонит, и будь что будет.

Только когда пронзительный визг звонка отзвучал и смятенная тишина взъелась на него, будто сторожевой пес, к нему вернулось благоразумие. Как поступить, если двери и впрямь откроют? Он хотел повернуться и убежать. Тихий, крадущийся шорох за дверьми удержал его. Петр тотчас выпрямился, всем своим видом изображая непреложную решимость. Шорох замер, но затем, проскользнув

в узкую щель тишины, изменил направление. Петр смотрел на глазок двери. Его крышечка очень медленно, почти неприметно отодвинулась, а затем тихие шаги удалились. Кровь шумела в ушах Петра, как плотина. Он не мог поверить. Вернется ли она еще? Нет. Оставила его стоять здесь, как нищего. Ярость лишила его рассудка. Он поднял ногу, чтоб ударить в дверь. Он будет колотить и стучать, пока не вышибет ее напроочь. Но на верхнем этаже кто-то вышел из квартиры и спустился вниз. Петр испуганно вздрогнул и оглянулся, не зная, что предпринять. Потом, вобрав голову в плечи, брезгливо плюнул на порог и сбежал с лестницы.

В грязном тумане табачного дыма, как и в винных парах, поднимавшихся из хмельных стаканов, плыли и растекались круглые луны светильников и лиц. В железное бречко оркестриона немислимым образом вплетались мелодии песен. Песни разлетались вдребезги, словно стекла, разбитые камнем, и их осколки ранили слух. Призванные, непризванные — все пили одинаково: от радости избавления или от страха перед будущим. Двенадцать из двадцати пяти учеников их класса попало в сети призывных комиссий.

В «заведении» их сидело одиннадцать: семь призывников и четверо ускользнувших. Тщетно пытались они предаться веселью в четырех пустых кабаках, где одинокие трактирщицы вели скорбные монологи с пауками и пустыми пивными бочками; и тогда публичный дом, набитый счетоводами-унтерами и их клеветами, показался им тем самым прибежищем, где можно повеселиться. Привел их сюда Бертик, которого мадам встретила наисладчайшими улыбками и любезностями. Она вылезла из своей конторки и сама провела его в зал. На пороге остановилась и снисходительно, как мать, извиняющая слабости своих ребятшек, взглянула на девушек, которые, побросав своих клиентов, со смехом и восторженными возгласами сгрудились вокруг Бертика.

— Привет, голубок, как жизнь? — окликали они его, — что за младенцев ты к нам привел?

Они ссорились за честь быть его подружками на эту ночь. Бертик был более чем желанным гостем в этом заведении, он был его торговым партнером. Кроме девиц, он

поставлял все, что в эти тяжкие времена почти немыслимо было раздобыть и без чего, однако, нельзя было удержать лучших клиентов, для которых, собственно, и было устроено заведение. Поэтому и набились сюда счетоводы. Благодаря их и Бертикову посредству госпитали и военное интендантство стали поистине завсегдатаями заведения мадам Башусовой.

Бертика в армию не взяли. На этого скользкого угря никакие беды и опасности не могли изготовить достаточно прочных и частых сетей. Мучнистая бледность его лица теперь обтекала его усы — рыжевато-каштановый пушок, которым он скрывал свое малолетство. Исключение из гимназии прибавило ему превосходства над бывшими соучениками. Пусть-ка вот теперь посмотрят на него — сами убедятся, что зубрежка и ученье ни к чему. Никогда он не будет наемным бумагомаракой, а ведь именно такая судьба поджидает многих, если не большинство из них; и в то время, как они продолжают забивать себе головы бесполезной премудростью, он будет восседать на мешках, набитых деньгами, и пользоваться самыми приятными из благ на свете.

Оркестрион, оглушительно дребезжа, вытряхивал из своего нутра вальсок, а на полу, где топорчился занозами рассохшийся и давно не натиравшийся паркет, кружились солдаты и гимназисты в обнимку с девицами в пестрых платьях, покроем напоминавших солдатскую форму. Не танцевали только Петр и малыш Оттони — не умели. Эта ночь, возносившаяся на волнах опьянения к недостижаемому зениту, напомнила Петру другую ночь, давно погребенную под напластованием событий, когда они прощались с первой четверкой призванных и когда пришел конец их дружбе с Витом. И еще одну ночь, когда Вит был отпущен из-за ранения, запомнившуюся пьянкой в заброшенном погребке и воплями избиваемой или убиваемой женщины. Если бы вместо малыша Оттони рядом с ним оказался Вит, что бы они сказали друг другу? Жизнь оказалась такой, как рисовал ее Вит, понюхавший передовой и прифронтового тыла. И, пожалуй, даже горше. Ты был прав, Вит, признался бы теперь Петр. И, отбросив превосходство опыта, ложно возвышающего одного над другим, они оба ощутили бы страшную тоску от сознания этой правды.

Малыш Оттони сидел возле Петра, пораженный до немоты. Это была первая гулянка в его жизни; наверное, Оттони больше удивлялся тому, что он здесь, а не тому, что разыгрывалось у него перед глазами. Сосредоточенный

и внимательный, в очках с толстыми стеклами, он сидел как на уроке математики, силясь, очевидно, понять, отчего это люди ведут себя столь невероятным образом. Вино он тоже пил впервые. Оно вызвало у него отвращение. И если оно и впрямь пьянит, а все окружающее не есть чистое притворство, то, быть может, ему удастся заглушить в душе это чувство — страх, ужас или безумие?

Оттони собирался стать астрономом. Он много знал о предмете, в его мозгу это знание выражалось бесконечным множеством чисел; по складу своему он был предназначен открывать закономерности там, где другие видели лишь тайну, возбуждавшую беспокойство и подсознательный страх. А здесь человеческие дела, от которых он хотел полностью отрешиться, цепко держали его в своих когтях. Отца его убили на фронте, а теперь и он должен последовать за ним. *Sub specie aeterni*¹, все было нарушено, обычные людские муки, до сих пор неведомые ему, затмили мирозданье, проблемы которого так глубоко занимали его. Можно ли найти забвение на дне стакана, наполненного жидкостью, искрящейся звездой светового лучика?

Петр следил за его рукой, подносящей стакан к губам. Рука была маленькая, худая, только пальцы — длинные, как у музыканта.

— Как же это случилось, Оттони, что тебя забрали? От тебя ведь никакого проку.

Оттони медленно повернул к нему голову. В его глазах трезвость уже вела борьбу с опьянением. Ему понадобилось время, чтобы ответить.

— Я не такой уж хилый, каким выгляжу. Вот, потрогай.

Он подал руку Петру, и тот, ощупывая ее своими пальцами, под материей пиджака обнаружил некрупные, но на удивление крепкие мускулы.

— Как же ты добился этого, дружище?

Оттони попытался улыбнуться, но улыбки не получилось, уголки губ его опустились, словно он уже не владел своим лицом.

— Каждый день упражняюсь, — выговорил он по слогам. — Очень хотелось стать сильным и выносливым.

— Господи! — воскликнул Петр. — И ты не сообразил, что тебя ждет?

Он представил себе, как этот малыш тренируется, чтобы стать крепким и выносливым, в то время как все вокруг

¹ С точки зрения вечности (лат.).

стараятся лишить себя даже видимости телесной силы, и это его развеселило. Но смех разбился о застывшее юношеское лицо и неподвижный взгляд. Голубенок в руке убийцы не мог выглядеть беззащитнее, чем Оттони перед тем, что на него валилось.

— Извини, — пробормотал Петр. Он заметил наконец черный галстук под пиджаком товарища, и этот черный цвет взаимосвязанности всего и вся окрасил и его душу. За тонкой, как бумажка, стенкой в его сознании, словно обруч, беспрестанно подгоняемый неведомой силой, проходило военным маршем все, что он пережил, расставшись с Витом. Воспоминания плевали ему в лицо и швыряли камнями провинностей и грехов. Офицер в расстегнутом мундире наклонился из окна, выставляя свою отвратительно прилизанную башку, и целился в его голову окурком сигареты. Распахивались двери подъезда, и в них возникали силуэты выскокой фигуры отца и трех караульных.

Петр стремительно наклонился к Оттони.

— Отто, — обратился он к нему, называя сокращенным именем, какое тому придумали в классе. — Скажи, ты очень любил отца?

Лицо Оттони сморщилось, став похожим на сильно смятый лист бумаги. Под напрягшейся кожей заходил кадык, и беззвучно зашевелились губы. Потом лицо снова разгладилось, отчетливее проступила форма головы, как если бы с нее сняли все мясо и она, оставшись в одной прозрачной коже, насмехалась над робким трепетом жизни круглыми очками, не подавшимися тлену. Напуганный такой переменной, Петр с трудом удержал крик.

— Отто, что с тобой? Не глухи, пожалуйста.

— У меня убили отца, — бесцветным глухим голосом произнес Оттони, как будто отец только что у него на глазах испустил последний вздох. Оркестрион дотарахтел свой вальсок, танцоры остановились. Опьянение, настигнутое ударом мгновенья тишины, зашаталось над пропастью отрезвления. Кто-то из солдат запел фальшивым голосом и высек несколько запинаящихся смешков, несколько пар рук, поднявшись вверх, разразились аплодисментами. Бертик подошел к оркестриону и бросил внутрь новую монету. Как только дозвучал извилистый звук ее падения, инструмент охнул, как животное, получившее пинок ногой, и из его утробы повалили дикие звуки марша, будто соломенная труха из молотилки. Изогнувшись в талии, девицы прижались животами к своим партнерам.

Но ни рев музыки, вырывавшейся из музыкального

ящика, ни шепот, ни сипение и крик не смогли заглушить тихий, едва слышный шепот Оттони, который то и дело повторял:

— У меня убили отца.

— Прекрати! — оборвал его Петр. — Ты уже почти полгода знаешь об этом.

Какое дело было ему до Оттони и его страданий? Ему хватало своих. Он пришел сюда, чтоб напиться и забыть об оскорблении, полученном после возвращения с призывного пункта. Он хотел отказаться от Марты и тем как бы искупить свою вину, из которой вот уже несколько месяцев извлекал пользу, подавляя сомнения и насмехаясь надо всем, что походило на укоры совести. Он все еще надеялся, что произойдет некое чудо и в один прекрасный день он избавится от самого себя, сбросит, как грязное белье, старую кожу и с мечтательным мерцанием в глазах выйдет навстречу тому неуловимому и прекрасному, что когда-то именовалось Кама, а до этого Вит и что не могло насовсем исчезнуть из его жизни. Однако, сунув руку в карман, он нащупал там сто крон, которые дала ему Марта. И слова, которые она при этом произнесла, выкупая свое освобождение, с пронзительной четкостью возникли в памяти. Он очутился как раз там, куда она по-матерински ласково отсылала его, но — увы! — не для того, чтобы отметить радостное избавление от армии, а для того, чтобы залить тот ад, в который превратила эту радость ее измена. Однако у него так и не достало сил смять и вышвырнуть эту грязную бумажку!

Он пил быстро, не ощущая вкуса, и вино тут же оборачивалось в нем черной злобой и желанием убивать. Сейчас он ясно понимал, что добровольно никогда бы от Марты не отказался. Он был повязан с ней общей провинностью, равной отцеубийству, и силой первой страсти, которая до того не знала иного объекта. Если бы рядом с ним не сидел Оттони, он, наверное, напился бы до беспамятства — или до безумия, которое еще в эту же ночь привело бы его опять к дому Марты, где он перебил бы все стекла в окнах. Ах, как этого мало и какое это ребячество! Он хотел убить ее просто потому, что совершенно растерялся и был не настолько смел, чтобы решиться на самоубийство. Однако присутствие Оттони, его неутолимая скорбь, вызванная гибелью отца, ужас перед смертоносной неразберихой, куда его швырнули, оторвав от звезд, пронизало воспоминания таким резким светом, укрыться от которого было невозможно.

— Пей, Отто, — сказал он. — Ты, по крайней мере,

любил своего отца, и он любил тебя. А что сказать мне? Хотел бы я быть на твоём месте. Хотел бы я быть на твоём месте, Отто. Пей!

Оттони машинально вслушивался в оглушительный шум веселья. Петр, которому хотелось одного — упиться, тоже прислушался, подражая Оттони, и — выпил до дна.

— С моей смертью прекратится наш род, — объявил Оттони, когда они поставили рюмки.

— Тоже мне заботы, — рассмеялся Петр, и вся печаль Оттони, как и мертвенно бледное, заострившееся лицо его, показались ему театрально дешевыми и смешными. Его охватила ярость человека, позволившего увлечь себя такими глупостями, на которые не стоило даже обращать внимания. Если бы он вот так же мог выложить Оттони все, что жгло его душу. И в нем поднялась ненависть к этому пареньку, выросшему в оранжерее семейной любви, он ненавидел его достойную печаль, его чистую любовь к науке и его страх перед земными делами — ненавидел все, что почувствовал в нем прямого и чистого. Он и сам, по крайней мере отчасти, хотел бы жить той жизнью, которая угадывалась за бледностью Оттониева лба. Однако не находил в себе ни смелости, ни слов, чтобы сокрушить эту безоружную простоту.

— Ты еще не на передовой, а может, и вообще не попадешь туда, — сказал он, против своей воли утешая Оттони.

Хрип оркестриона заглушил звуки марша. Гимназисты, солдаты и девицы, изнемогшие от дикого танца, схватили свои рюмки и, образовав кружок на середине залы, обнимались, лобызались и выкрикивали бессмысленные тосты. Бертик принес стул, взгромоздился на него и, светясь над вскинутыми головами бледным, искаженным от волнения лицом, стал держать речь.

— Братцы! — надрывался он. — Я привел вас сюда не только затем, чтобы осушить слезы на заплаканных глазах, я привел вас сюда прежде всего для того, чтобы спасти. Ни один из вас не пойдет на фронт, в этом я вам ручаюсь. Пейте, голубчики, ешьте и развлекайтесь, все объятия для вас распахнуты, и я вас туда завлеку. Я пригласил сюда панов унтеров, чтобы вы познакомились. Они обещали помочь вам. Выпейте за братство и возлюбите друг друга. Они — мудрецы, и все в их руках. Мы подумали и решили, что эту войну все равно не выиграть и лучше приберечь ваши молодые жизни для новых всходов. Прежде чем вы отправитесь размножаться, я спрашиваю: так ли уж важны

генералы? Империя держится на своих унтерах и разваливается тоже благодаря им. Не забывайте об этом и возгласите им славу!

На эту сцену Петр глядел как бы через завесу зависти. Со смехом и шумными воплями ученики обнимали усатых унтеров, которые годились им в отцы, от чересчур сердечного чоканья несколько рюмок разлетелось вдребезги, осколки закрипели под сапогами веселящихся групп, а вино растеклось по полу. Бертика подняли на плечи и понесли под звуки победного марша, которые чья-то любвеобильная рука исторгла из оркестриона, бросив туда новую монету. Девицами, что хлопали в ладоши, отбивая ритм марша, руководила сама мадам, возникшая в дверях зала. Какая-то черноволосая девушка, вынув из вазы на столе искусственную розу, воткнула ее себе в волосы и, изображая Кармен, крутила бедрами, щелкала пальцами и плясала впереди процессии.

Вот тебе и Бертик, да ведь у него на этом свете прочное место. Возможно, оно годится лишь для ничтожества, но его совесть спокойна, а сердце полно веселья. Нет в нем ни сомнений, ни растерянности, одно довольство самим собой. Отец его попал в тюрьму за чересчур пылкий темперамент, за то, что поносил империю и ее государя. Сапожнику, скорее всего, грозит смерть, а Бертику до его судьбы нет ровно никакого дела, он не позволит ей взволновать себя или отрывать от дел. Что ему семья? Она ничего ему не дала, и за все, что у него теперь есть, он благодарен только себе и своей изобретательности. Какое ему дело, к примеру, до любви? Не смешите. Женщины — это да. Но любовь? По сравнению с ним Петр — ничто, у него нет даже прежней опоры, которую давала ему дружба с Витом. Он, наверное, еще более жалкое ничтожество, чем Бертик, но боится открыто признаться в этом, сделать ничтожность законом жизни и встать на крепкие ноги презрения к окружающему миру.

Процессия распалась, ибо пьяное шутовство быстро меняет свои увлечения. Кармен вскочила на стол и продолжала свой танец уже на столе. Петр повернулся к Оттону — тот, по-прежнему бледный, смотрел на происходящее неподвижным взглядом из-за толстых стекол очков.

— Ну вот, Отто, — сказал ему Петр. — Ты слышал? Ни на какой фронт тебя не отправят. Бертик о вас позаботился.

Углубившись в свои мысли, от опьянения шаткие и смутные, Оттони довольно долго хранил молчание. Слова Петра трудно пробивались к его сознанию, не находя опоры

в том, чем была занята его голова. И только когда Петр, махнув рукой, уже поднялся, чтобы присоединиться к тем, кто толпился вокруг Бертика, Оттони проговорил:

— Никуда я не пойду.

— Так я как раз об этом тебе и толкую, — раздраженно ответил Петр.

— Я вообще никуда не пойду, — вяло повторил Оттони. — Не пойду на войну.

У Петра возникло подозрение, что весь этот трагический вид — не что иное, как притворство хитрого пройдохи. Да, по отцу горевал, это понятно, а для себя уже нашел лазейку.

— А ну выкладывай, — накинулся он на Оттони. — Как ты это устроишь?

— Не пойду, и все, — повторил Оттони, все с тем же выражением оцепенелой куклы. — Я не рожден подчиняться и совершать жестокости и убийства. Мой отец согласился на это лишь ради меня. Он надеялся, что все быстро кончится, что он вернется живым и здоровым и мы опять проживем как прежде. Ошибся. По его стопам я не пойду. Солдатом не стану.

— Любопытно, как ты это устроишь. У тебя, наверное, влиятельные покровители?

— Нету у меня никаких покровителей.

— Тогда тебя заберут, и даже господь бог тебе не поможет.

— Я выбрал свой путь, — тихо ответил Оттони.

В эту минуту их окружили соученики и девицы, которых привел Бертик. Чего это они сидят тут в одиночестве, почернели от тоски и бог знает что решают, когда остальные веселятся, оставив разум за дверью? И принялись их подзуживать, тормошить, упражняясь в остроумии и обещая с ними разделаться. Тихий Оттони ничуть не сопротивлялся и выдержал их приставания, вспыльчивый Петр чуть было не полез в драку.

— Отнесем Оттони наверх! — выкрикнул кто-то из гимназистов.

— Давай сюда девку и в номер вместе с ним!

Они были сильно пьяны, и этот выкрик родил в их возбужденных мозгах отзвук безумия и жестокости. Вот будет потеха, такой они и не видели: распахнув перед Оттони врата жизни, они сделают его мужчиной.

— Последняя милость приговоренному, — воскликнул Бертик. — Отто, ты сам выберешь или поручишь это нам?

Оттони встал, дробя слова стучащими зубами:

— Ничего мне не надо. Я расплачусь и пойду домой.

Громкий хохот был ему ответом. Даже унтера поднялись со своих мест и смотрели на зрелище, сулившее редкое удовольствие. Одна из девиц, очевидно новенькая, не приыкшая еще к здешним нравам, воскликнула:

— Оставьте его! Вы что, не видите, как его колотит?

Петр, до сих пор стоявший рядом с Оттони, смешался с остальными. Выкрик девушки укрепил в нем сочувствие к Оттони и желание ему помочь. В мозгу промелькнуло воспоминание, как Вит и толстая кельнерша в пустом винном погребе насмеялись над ним самим. Отраженный свет разбивался о стекла очков Оттони, размывая выражение его глаз. Однако лицо Оттони исказилось отчаянием, достигшим предела. И тут исступленная, мстительная ярость, которая бредила душу Петра с той самой минуты, когда в окне у Марты он увидел голову капитана, и до сих пор не находила ни формы для закрепления, ни действия, в котором могла бы себя исчерпать, — безо всякого перехода, не рассуждая, набросилась на представившуюся возможность. Ох, сломают сейчас твою гордость, Оттони. Твою гнусную порядочность, твою звездное высокомерие. Не хочешь смириться, заносишься, меж тем как все мы одинаково отмечены знаком греха и подлости, как стадо одного хозяина. Ты сейчас — вроде как чистый белый платок в руках босяков. Стало быть, остается лишь разорвать тебя в клочья и втоптать в грязь. И если сам я и не подкину поленца в этот костер — безумие собравшихся и без того полыхает жарким пламенем, — то, уж во всяком случае, и пальцем не пошевелю, чтобы помешать тому, что должно произойти. Но уже в этот самый момент Петр шепнул Бертику:

— Пусть его возьмет Кармен, — и тут же мысленно отвернулся от омерзительного ощущения низости, которое вдруг охватило его.

— Кармен! — тут же подхватил Бертик. — Иди-ка сюда. Преподашь клиенту первый урок.

— Ну что ж. Давай.

Роза, с которой она плясала, еще торчала у нее в волосах. Ей освободили проход, и Кармен, уперев руки в бока, танцующей походкой подошла к столу, за которым Оттони искал защиты.

— Так пошли. Или боишься?

— Прочь! — воскликнул Оттони.

Оторвавшись от стола, он ринулся к дверям. Один из унтеров преградил ему дорогу, а потом все набросились на

него гурьбой и подняли на плечи. Он метался, пытаясь высвободиться. Для своего маленького роста Оттони обнаружил невиданную силу. Его не удалось удержать на плечах, он снова стал на ноги. Но его опять схватили и поволокли прочь от дверей. Поняв, наверное, что сопротивление бесполезно, Оттони смирился.

— Оставьте меня. Я пойду сам.

— Ура, Отто! — заорали вокруг. — Ты наш. Мы знали, что ты образумишься.

Петр, слегка протрезвев и уже мучась гнусностью зрелища, вновь поддался мстительному желанию увидеть Оттони покоренным и сокрушенным.

— Не отпускайте его! Убежит! — крикнул он.

Оттони резко повернулся к нему, но блеск очков скрыл выражение его глаз. Тем не менее этот немой упрек задел Петра. Но он отмахнулся от укоров совести, выругавшись про себя: «Проваливай, подонок!» И когда последний из толпы, сопровождавшей Оттони, скрылся за дверью номера, Петр почувствовал неодолимую слабость. Он уселся прямо на стол, и рюмка несколько раз звякнула о его зубы, прежде чем ему удалось, прижав к губам, опрокинуть ее в рот. В голове мелькнуло: то, что они сейчас творят с Оттони, каким-то образом связано и с его собственной судьбой. Он весь напрягся и ждал, затаив дыхание. Наверное, в эту минуту где-то, словно яблоко, зрел и вот-вот должен был решиться приговор судьбы. Даже два сразу. Чем оказался для него сегодняшний день? Началом искупления или окончательной гибелью? Что-то в душе его падало на колени и искало молитвенных слов. Он хотел разбудить в себе надежду, но на темном фоне царившего в душе мрака все еще стояли распахнутыми те самые двери, где угрожающе маячила тень отца, которого уводили солдаты.

Из коридора доносились выкрики и смех. Что бы там ни было, что бы ни готовило ему будущее, одно он должен сделать немедленно: пойти и помочь Оттони. Отвращение, вызывавшееся на лице Оттони, не было обычным, это был крик отчаяния. Петр встал и только тут заметил, что у стола стоит Лиза, та девушка, что одна вступилась за Оттони. Он поглядел на нее. Красивая, только волосы встрепаны, словно порывом ветра. Он слез со стола, вновь ощутив страшную слабость, и испугался, не дрожат ли у него колени. Дни подготовки к призыву не остались без последствий. Однако девушка возбуждала в нем любопытство. Удивившись, откуда этот интерес, он понял, что лицо ее чем-то напоминает ему лицо Камы. Наверное, контрастом голубых

глаз и черных волос. С тревогой, сквозившей во взгляде и разрушавшей гармонию ее лица, Лиза мрачно произнесла:

— Почему вы стоите здесь, а не бежите ему помочь? Ведь все-таки он был вашим приятелем!

Петр, отрешившись от воспоминания, которое в эту минуту было для него важнее всего остального, равнодушно ответил:

— А зачем ему моя помощь? Ведь это просто шутка.

— Хорошо, коли так. Только как бы эта шутка не кончилась плохо.

Веселой маскарадной толпой ввалилась в залу Бертикова свора. Последним, будто пастух, подгоняющий стадо, в залу вошел Бертик. И, прерываемый веселым хохотом, изобразил весь ход развернувшихся событий. Кто-то держал пари на то, удастся ли Кармен достичь успеха, или верх возьмет Оттони. Бертик копировал Оттони: показывал, как тот вошел в двери, как сел на кушетку. И как раз когда зашел спор о том, что сейчас происходит в номере, который Бертик запер снаружи, чтобы отрезать Оттони путь к отступлению, истошный вопль разорвал веселье, словно нож, рассекий тьму. Не успели еще отзвучать эхо, разнесшее его, и последний всхлип смешка, как раздался выстрел. Все побледнели. В зале воцарились страх и тишина. На некоторое время все оцепенели. Наверное, ждали, что следом прогремит и второй выстрел. Однако удары, последовавшие за первым, были много слабее, хотя и сливались в непрерывный грохот: это кричала и колотила в двери женщина.

— Это он! — взвизгнула Лиза, и тут же несколько голосов воскликнуло:

— Оттони!

Подстегнутые бичом одной и той же мысли, все ринулись к дверям, где из полутьмы коридора, словно слабая лампа, вольно плывущая по его простору, возникло лицо мадам Башусовой. Рот ее был раскрыт, губы беззвучно шевелились. Вбегавшие по лестнице чуть не сбили ее с ног. Петр оказался первым. И первым нажал на ручку двери, дребезжавшей под ударами, будто надтреснутый деревянный колокол.

Поток розового света выхватил из проема распахнутых дверей женское тело, тоже розоватое и совершенно голое. Кармен с воздетыми руками, словно спасаясь из горящего дома, кинулась к ним с криком: «Господи Иисусе! Господи Иисусе!»

И прямоугольник двери словно перекрыла стеклянная преграда — никто не осмелился переступить порог. Сразу за ним — и это первое, на что наткнулся взгляд Петра, — словно лужа крови, растеклось красное платье Кармен. Впитывая этот цвет, все боялись перевести взгляд в глубь комнаты. Словно ребенок, который скатился во сне с кровати и продолжает спать на полу, возле дивана лежал Оттони. Красные обои, отставшие от стены, вызвали горькое воспоминание о других таких же красных обоях. Здесь все напиталось кровью, и только маленькая фигурка, покоившаяся на полу, выделялась бледным пятном лица, — оно было лишь чуть бледнее обычного. Очки ровно сидели на тонком носе, даже не сдвинувшись при падении, а под ними в широко раскрытых глазах застыл безмерный ужас. Словно этот мальчик, всю свою короткую жизнь мечтавший, как он вырвет у беспредельных просторов вселенной их тайну, заглянул за занавес и умер от ужаса, обнаружив, что беспредельность эта абсолютно пуста. Солдаты первыми нарушили молчание и тишину. Для них, как выздоравливающих, так и унтеров-счетоводов из военных госпиталей, смерть не была ни редким, ни новым, а привычным явлением. Они подняли Оттони и положили на кушетку. Один, склонившись над юношей и послушав сердце, заметил:

— Конец.

А другой, с лицом доброго папаши, заросшим густыми усами и бородой, хрипло сказал:

— Чертов парень, — небось сумасшедший.

Револьвер, выпавший из рук Оттони, лежал на маленьком столике между бутылкой с фиолетовым раствором и узкой вазочкой с двумя пыльными выцветшими бумажными цветками. Петр видел теперь только этот предмет, чье круглое брюхо начинено смертью, о, не смертью, покоем, который таким непостижимым образом снизошел на Оттони, избавив его от любых страхов и мук. Все ближе и ближе подступал Петр к столику и наконец, повинуясь неясному порыву, схватил оружие и опустил в карман. Меж тем мадам Башусова очнулась от потрясения и, воздев руки над головой, возопила:

— Господи, какое несчастье! Что делать, господи, что предпринять?

Новый приступ испуга охватил как раз тех гимназистов, кто избежал призыва. Это происшествие грозило прорвать плотины их жизни потоком необозримых последствий. Сбившись в кучу, страшно растерянные, они медленно

отступали к дверям. В Бертике проснулся командир. Собрав всех вокруг себя, он шепотом приказал:

— Выметайтесь отсюда, да побыстрее! Полиция не должна вас здесь застать.

Лестницу в коридор освещала единственная лампочка. В желтоватом сумраке, который цедили во тьму ее источившиеся волоконца, угадывалась стайка девиц, которых можно было различить лишь по белевшим в полутьме лицам да обнаженным рукам.

Девушки окружили Кармен, которая, придя в себя, что-то рассказывала, прерывая повествование всхлипами и плачем, напоминавшим завывание:

— Он выстрелил, как раз когда я раздевалась. Я думала, он и меня убьет. У-у-у... Да мне теперь все равно помирать.

Бертик напирал на одноклассников, уговаривая их поскорей спуститься вниз и разойтись.

— Уматывайте скорее, дурни. А я уж тут как-нибудь все улажу. Вы сюда никогда не ходили, и никто из вас ни о чем не знает.

Ночь приняла их, охватив покоем души. Она стояла над ними, высокая, звездная, тихая. Но улочки, по которым группка гимназистов удалялась от страшного дома, были узки и извилисты, напоминая лабиринт, сотканный из страхов и сновидений; в этом пространстве, протянувшемся до высоко стоявших звезд, равно как и в глубь их жизней, неизгладимо запечатлелось воспоминание о гибели Оттони. Они брели в полной тишине и молчании, брели, понурившись и опустив плечи, словно под тяжестью застывшего тела товарища, которого только что веселой ватагой отнесли на смерть. Объединенные тайным страхом и гнетущим чувством вины, они боялись расстаться, боялись заговорить, страшились взглянуть друг другу в глаза. И только на одном перекрестке, где улица разбегалась в трех направлениях, Петр, который плелся позади, остановился и незаметно отстал.

Прислушавшись к звукам удалявшихся шагов, гулко, как их ни приглушай, отдававшихся на пустынных ночных улицах, он повторял им в такт слова Оттони: «Я выбрал свой путь». И вдруг вся ночь вокруг него погрузилась в глубокую тишину, и только эти слова в его мозгу пульсировали в ритме затихавших шагов. Петр даже немного испугался, когда его собственные шаги разбудили эхо притихшей улицы.

Он остановился и поднял голову к небу; ноги подламы-

вались — так нестерпимо было желание упасть на колени, и просить, и молиться; он только не знал, о чем. Грозный голос раздавался в мозгу, не вырываясь, однако, наружу: «Оттони! Оттони!» Петр был потрясен до глубины души, когда воображение раздвигало границы разума, и ему чудилось, будто вся вселенная кричит вместе с ним. Словно призрачный корабль, бросивший якорь между лодчонками маленьких домишек, воздвигся перед ним древний кафедральный храм, устремляя ввысь шпили, породнившиеся со звездами. Словно глыба, свалившись с пустынного неба, упало на него сокрушающее сознание малости и ничтожности окружающего мира. Сколь мало значит, жив Оттони или мертв, почему и как он умер. Наверное, он сам понимал это лучше других. «Я выбрал свой путь», — сказал Оттони. Отчего бы и Петру не выбрать тот же путь? Какое-то мгновенье мертвый Оттони шагал рядом с ним в тихом, согласном молчании.

«Мы в расчете, Отто, мы помирились, — говорил ему Петр и усмехался, чувствуя, как револьвер, выстреливший в его соученика, на каждом шагу стучает о бедро. — Ты был зеркалом, в котором я видел свое отражение чересчур ясно. А теперь это зеркало разбито. Никогда и никого я не любил, как тебя», — признавался он мертвому.

На минуту трезвость коснулась его предостерегающим перстом. Он попытался осознать, что так пьянит его, вино ли, которое он пил весь вечер, или уверенность, что вскоре всему конец. Впрочем, это несущественно, лишь бы смерть была легкой, сказал он сам себе, снова начиная тихо бредить. Он сунул руку в карман, чтобы вытащить оружие, но тут его пальцы коснулись какой-то бумажки. Он вынул ее: это были сто крон, полученные от Марты. Петр остановился и стал рвать их на мелкие кусочки. А потом швырнул на-земь, чувствуя, как напрягается его лицо, улыбаясь неуправляемой улыбкой, и мороз, будто охваченный ужасом, бежит у него по спине. Страхнув последний клочок, прилипший к пальцам, он почувствовал, будто разорвал последние путы, привязывавшие его к земле. Не будет больше ни грязи, ни унижения. Смерть, которая уже не раз накаtywала на него широким потоком, теперь превратилась в узенький ручеек, который манил, вел его за собой и чуть ли не весело напевал, сопровождая в пути. Оставалось лишь выбрать место, где встретиться с нею. Место и время. Должно ли это произойти сегодня, этой же ночью, или же завтра? Здесь, в одном из темных закоулков, или на паперти костела, как насмешка над богом, который о нем

забыл; а может, подождать до утра и застрелиться на пороге дома Марты?

Слепо шагая, он выбрался на более просторную улицу и наткнулся на очередь, выстраивавшуюся перед булочной. Идя мимо, он улыбался, как человек, покидавший выгоревшую деревню, где он ничего не любил, и направлявшийся в край волшебных грез, где нет ни горя, ни страха. Все это он оставляет позади — голод, нищету, унижение, страх перед возвращением отца и укоры совести за измену Зичке, Фриде, Марте, неутолимую страсть, которая все глубже и глубже засасывает человека. Ах, он все яснее осознавал: возврата к этой жизни быть не может.

В своем опьянении он до сих пор не замечал, какой дорогой идет. Глубокие ущелья улиц, затопленные тьмой, куда лишь местами капал лимонный свет газовых фонарей, в чем-то соответствовали состоянию его души. Но вот эта улица прикоснулась к нему, словно рука, будящая уснувшего. Он узнал ее. И от внезапного приступа страха по телу разлилась неодолимая слабость. Он опустился на край тротуара, как смертельно раненный человек, которого силы оставили в двух шагах от спасительной двери. Как это происходит? Ты идешь без всякой цели, куда глаза глядят, а приходишь куда нужно. Такое ведь не может быть простой случайностью.

Здесь завершался круг. Отсюда его сумасшедший бег за недостижимым призраком начался, и здесь он должен закончиться. Петр сидел, не чувствуя холода, проникавшего в него от остывших за ночь плит тротуара. Пройдет еще несколько часов, и холод этих камней уже нельзя будет отличить от холода его тела. В двух шагах — дом, где когда-то жила Кама. Он до последнего миллиметра помнит место, где он стоял в последний раз и где она вырвалась от него и убежала. Там, вот там. Когда он решится встать, это будет означать, что он уже умер. Опьянение, которое оказывало свое действие, пока он шел сюда, теперь испарилось, и по жилам, бурно разливаясь, побежал леденящий ужас. Он был убежден, что осуществлял принятое им самим решение. А теперь ему стало ясно, что его вела рука более надежная, чем собственная воля. И другого пути не было... Небо над его головой впитывало предутреннюю синь из невидимого источника; трепетали, мерцая, звезды. Это еще не был рассвет, но близился час, когда улицы начнут пробуждаться. Встав, он почувствовал, что его трясет, ноги окоченели от холода, усталости и слабости. Сам того не желая, он двинулся вперед. Наверное, хотел убежать. Что-

то в нем противилось этому, но противоборство было слабо и немощно. Видно, было бы не лишним позвать на помощь.

Это было здесь. Он поднял голову. Одно окно было освещено. Окно третьего этажа. На третьем этаже жила когда-то Кама. Не только сердце, но и сама жизнь замерла в нем. И вдруг от взрыва дикой радости он чуть не упал. Надежда то вспыхивала, то гасла в нем. Он никогда не знал, какое окно — ее. Зачем ей свет в такой ранний час? Но он уже не мог, не мог совершить того, из-за чего оказался здесь. Он должен подождать, пока не убедится. Свет погасили. Он подождал еще. Рассвет все-таки не был так близок, как он надеялся. От слабости его сознание начало погружаться в сон вместе с надеждой, такой же отчаянной, как и решение, принятое несколько раньше. И завтра тоже будет день. И для смерти, и для жизни. Он вдруг почувствовал себя опустошенным, как перевернутый жбан. Им овладела чуть ли не обморочная усталость. Он шел домой, засыпая на ходу.

17

Проснулся он поздно, где-то около полудня. Незавершенное действие минувшей ночи развивалось и во сне, только во сне он уже умер. По крайней мере, все его мысли принадлежали человеку, который пробуждается скорее после смерти, чем после сна. Комната была залита солнцем, в изголовье стояла мать и в упор глядела на Петра. Вернувшись под утро, он мгновенно уснул, оставив причитания матери без ответа. Теперь с ее появлением словно повернулся ключ, запертые двери сознания распахнулись, и реальная жизнь ворвалась в них струею болезненного света.

— Где ты был, Петр? Что делал? Тебя никак не добудиться.

Избегая ее взгляда — ему чудилось, будто она стоит прямо на нем самом — он ответил:

— В призывной комиссии.

Мать тяжело опустилась на диван, так что загудели старые пружины.

— Петр! Да ведь ты ничего мне не сказал!

— А чего говорить? Меня все равно не взяли.

Смертельный испуг и внезапное счастье брызнули из глаз слезами.

— Петршичек, Петршичек! — всхлипывала она. — Что бы я без тебя делала!

Вчерашний день промелькнул перед ним цепью картин, несшихся со страшной скоростью, наскакивая одна на другую, пока они не вырвались из тьмы на тротуар перед Каминным домом. Что толкало его, что изматывало до полной утраты жизненных сил, когда даже образ матери не встал преградой между ним и его замыслом? Его объял такой страх, что захотелось спрятать голову в ладонях и закричать, как будто револьвер, который он так и не поднес к виску, мог сам собой выстрелить и убить его независимо от его воли. Под опущенными веками возникло лицо Оттони, его глаза, застывшие от удивления, а может, и от ужаса. Нет, нет и нет. Жить, надо жить.

Когда он мылся холодной водой, обнажившись по пояс и брызгаясь, словно щенок, все его тело дрожало от радости. Быть на волоске от смерти и все-таки избежать ее. Он принялся насвистывать. Ведь он только что открыл для себя жизнь, и это было сильное, радостное ощущение. Вчера ему подарила жизнь Кама. Она или свет, зажженный в чужом окне. Но это было не важно. Светом надежды мелькнуло это окно у него перед глазами, ослепленными уже самим ее образом. Он пойдет и разыщет Каму. А если свет в окне обманул его и Камы здесь нет, он отправится за ней в тот город, где у ее отца аптека. Конец неуверенности и мучениям, долой последние остатки детства, опускающего руки в ожидании ударов.

Он натянул пиджак широким движением человека, спешащего выполнить благородную миссию. Один из карманов больно стукнул его по бедру. Петр вздрогнул от воспоминания о вчерашней ночи, и ему пришло на ум, что полиция наверняка будет искать револьвер Оттони. Выбегав из дому, он замедлил шаги лишь на мосту. Там в некоторых местах были выступы, наверное, для удобства пешеходов, чтоб они могли любоваться течением реки. Он встал на одном из них и, прикрывая револьвер шляпой, положил его на парапет. Когда-то река тоже манила его — вспомнил он, торжествуя улыбнувшись; теперь она быстро катила свои воды, грязная и пенившаяся после недавнего ливня; внизу, как раз под ним, у опорного столба моста образовалось несколько водоворотов. Неподалеку гулко, чуть ли не с грохотом, шумела плотина. Вода чуть вскинулась, в быстрых струях зыбкие круги разметались прежде, чем успели возникнуть, шум плотины поглотил бульканье и всплеск. Петр, глубоко вздохнув, повернулся, чтобы уйти.

В нескольких шагах от него шла женщина в зеленом костюме под руку с высоким офицером. Марта! По этому

мосту он бегал к ней, дрожа от предвкушения. Пожалел ли он о револьвере, над которым только что сомкнулась река? Он стиснул кулаки. Но то не была ревность, а лишь всплеск гнева оттого, что ему отказано в последнем решительном слове, завершающем эту постыдную историю. Еще вчера он замышлял убийство. Сегодня, подкрепленный смутной, но самой прекрасной надеждой, понял, что над этим можно только посмеяться. Пан капитан, этот пирожок жевало и выплюнуло столько ртов, что я вам не завидую.

Она шла, виляя бедрами сильнее, чем когда-либо прежде, и Петр, с радостным злорадством обнаружив в этом факте признак упадка, задал себе вопрос, каким образом эти телодвижения могли когда-то соблазнять его. До него долетел ее звонкий смех, дразнящий, как пальцы, мягко гладящие кожу. Ему вспомнилось, как этот самый смех терзал его в первый раз, тот самый, когда он увидел ее вместе с отцом. Не Петр, а она виновата в гибели отца. Это она вселила в него одержимость и мысль об убийстве. Петр нагнал парочку. Они разговаривали по-немецки. Да, такой уж была Марта. Она не останавливалась ни перед чем. На туго натянутых брюках то слева, то справа появлялась складка. О, если бы можно было пнуть его по заднице, округлой, почти женской. Вчера он плюнул Марте на порог. Что еще мог он сделать? Сознавая ничтожность этой собачьей мести, он смотрел вслед уходящим и усмехался. Так-то завершалась великая страсть, которая принесла столько горя, грозила погубить и его. Он вздрогнул, ощутив отзвук мучительных переживаний, и остро осознал, что страстно желает обрести нечто ясное и понятное до конца.

Прохладный ветерок широко и вольно носился по улицам. На островах и на откосах холма за рекой весна вскипала зеленью первых листочков и коричневыми бутонами, набухшими и готовыми вот-вот лопнуть. Издали не было видно вроде бы ничего определенного, разве что нагота ветвей и стволов утратила строгость черноты, подернувшись легким флером, который кудрявился над ними, объединяя в общее целое. Молодая листва каштанов напоминала зеленых птичек, которые уселись стайками на кончики ветвей и раскачивались, трепеща крылышками. Неясная, несмелая, пока еще робкая весна сквозила и во взглядах людей, попадавшихся Петру навстречу.

Только сегодня, при свете дня, он обнаружил, насколько обветшали на этой улице патрицианские фасады домов. Четыре года без ремонта оставили на них свои следы. Воспоминание о вчерашней ночи, проведенной здесь, сидело

теперь вместо него на краю тротуара. Втянув голову в плечи, он попробовал от него отделаться. Широкие двери дома, где жила Кама, были распахнуты настежь, а сводчатая подворотня туннелем убегала во тьму, что редела в глубине двора на противоположном конце.

Высокие открытые окна тоже были залиты темнотой и не отвечали на вопрошающие взгляды Петра. Он ходил некоторое время по тротуару, борясь с растерянностью и смущением. Пытался помочь человеку, который, по его суждению, должен был в нем сегодня родиться. Человеку, который будет больше заботиться о себе, чем о других, который уже не позволит себя провести и предпочтет сам нанести удар, вместо того чтобы подставить щеку. Он будет закован в броню равнодушия ко всему, что не приносит пользы, и так же бесцеремонен, как Бертик. Ободрив себя подсчетом своих новых свойств, он выпрямился и поправил пиджак. Пиджак, который Марта перешла из костюма своего погибшего супруга (он, так и быть, доносит его, черт с ней, да и сто крон, которые он вчера, как дурак, разордал на клочки, сегодня он сумел бы употребить в дело, ведь Марта — всего-навсего гулящая девка, а скоро, если уже не сегодня, превратится просто в самую распоследнюю шлюху). Перед тем как нырнуть в подворотню, он постоял еще и, пошарив в карманах, вынул и закурил сигарету, чтоб нести ее перед собой как вывеску совершеннолетия.

Из подворотни вело две лестницы. Поколебавшись, он прошел вперед, во двор, откуда доносились женские голоса и смех. Вторую, дальнюю половину большого двора занимал сад. Но и двор, замощенный булыжником, и сад с разросшимися кустами и кривыми деревьями, неухоженными дорожками и затоптанными газонами — были одинаково черны и унылы. За решеткой сада две женщины, наполовину скрытые клубами пара, стирали белье, склонившись над корытом. Петр вынужден был повторить свой вопрос, прежде чем они обратили на него внимание. Перестав стирать и отирая голыми руками пот, стекавший крупными каплями по их лицам, они какое-то время рассматривали его и обменивались взглядами.

С нарочито равнодушным, небрежным видом выпуская изо рта сигаретный дым, Петр ждал.

— А чего вам от нее нужно? — спросила женщина постарше.

— Мне нужно передать ей порученье, — ответил он, и в груди его громко забилося сердце.

— Ее нет дома. Ушла в больницу.

— А что, она заболела? — воскликнул Петр, и женщины, взглянув друг на дружку, улыбнулись.

— Да нст. Просто она работает в аптеке дивизионного госпиталя.

Нигде в городе весна не буйствовала так, как на площади перед дивизионным госпиталем. Сад, защищенный домами от порывов ветра, просто бушевал ярко-зеленой молодой листвой и травами, наперебой заливались черные дрозды, крикливо сводя свои счеты, в кучах серого, давно не менявшегося песка возились дети; словно на острове, оторванном от горя и бед остального мира, слышался смех, тот бьющий фонтаном смех, который в минуту чистой радости рвется из молодых здоровых тел. На скамейках сидели выздоравливающие солдаты и, подставляя солнцу заживающие раны, шутили с сиделками и сестрами милосердия. Даже белые их бинты светились чуть ли не весело. Чудесный день и эгоистическая радость от сознания счастливого избавления заронили в их душу новые надежды. Ах, какая удача — эти раны: исковеркав жизнь, они сохранили ее. Растравить их легче легкого, но, пока они подживут, глядишь — и войне конец, а тогда — прощай, всякая грязь, бесконечные часы страха и оцепенения. Наконец-то все исчерпает себя и через полуоткрытые двери будущего мы расслышим звуки мирной жизни и ее праздников. Приходите, барышни, сегодня вечером, потому что обниматься и одной рукой можно, и на одной ноге можно крепко стоять, и в простреленной груди тоже бьется сердце, даже еще сильнее, и вы, избежавшие смерти,дохнувшей на нас, упьетесь ароматом неистребимой жизни.

Каждому, в зависимости от его настроения, смычок этого дня наигрывает особую песенку. Расправившая плечи надежда Петра вдруг сжимается и осторожно оглядывается по сторонам. Все это так, мои любезные, думает он, прислушиваясь к тому, что подсказывает ему опыт. До смешного мало нужно человеку, чтоб он был счастлив. Немного солнца и пучок зелени позволяют вам забыть, что одежда ваша — сплошные лохмотья, что сами вы голодны и что несчастье и смерть могут в любой момент снова настичь вас. Довольно тучи и дождя, чтобы вы тут же спрятались внутрь себя, как в нору, стуча зубами от нового приступа страха. И ему приходит на ум — а не безумец ли и он сам, погнавшийся за очередным миражем. Себя, прежде всего себя нужно сохранить, дружок.

Решительно и невозмутимо Петр подошел к солдату, сидевшему на стуле у ворот госпиталя, и произнес фами-

лию Камы. Солдат, изобразив улыбку на обрамленном белой повязкой лице, заметил:

— Да, брат, другой такой поискать. А что вам от нее нужно?

— У меня поручение, — ответил Петр, и сердце его сжалось от невыразимой тоски.

— Другой такой поискать, — повторил солдат, не переставая улыбаться. — Она нашему главному помогает. Можете пройти или тут подождите. Об эту пору она как раз домой уходит.

Петр предложил солдату сигарету и отошел, стал расхаживать чуть поодаль, опасаясь дальнейших расспросов.

«Вот дуралей, — твердил он себе, — ну чего еще можно было ожидать, если она работает в военном госпитале?»

Он сознательно разжигал в душе злобное презрение. Или умереть от собственной глупости, или же извлечь пользу из глупости других. Еще вчера он хотел застрелиться, ему казалось, что пасть ниже уже нельзя. А нынче — что могло быть яснее и чище нынешнего солнечного дня, какие пределы и высоты? Выдыхаемый через ворота запах карболки, йодоформа и лекарств, неразрывно связанный с представлением о ранах и крови, смешивался с дразнящим ароматом молодой зелени и увлажненной травы.словно колокол на затонувшем корабле, даже из-под воды все еще моливший о спасении, в душе Петра тоненьким голоском рыдало все, что сохранилось в ней от чистоты и веры. Он словно распался на три части. Одна часть старалась пробиться через свою трепетную чувствительность, будто мелодия, которая возникает из отзвука забытого счастья; другая отрицала это безумие и злобно смеялась над ним, а третья возвышалась над обеими, наблюдая за борьбой, не в состоянии решиться, чью сторону принять. Даже сегодня, Кама, после всего, что произошло, я — просто маленький ребенок, который и боится вашего взгляда, и жаждет с ним встретиться. Я еще сегодня порву со своими воспоминаниями и под вашим взглядом возрожусь заново. Сделайте так, чтобы я забыл себя и стал тем, кем всегда хотел быть.

И, словно подобрав из уличной пыли окурков, Петр сложил губы трубочкой и принялся насвистывать песенку, которую мурлыкали повсюду, а минувшей ночью извергал из себя оркестрион. Стыдно, наверное, знать себя до кончиков ногтей и не суметь себя сохранить. Разумеется, на свете

совершались и более гнусные вещи. И все же сердце Петра задрожало, будто камыш на ветру, когда он увидел Кама, выходящую из ворот госпиталя. Он поперхнулся песенкой, споткнувшись посреди такта. И испугался: ведь он стоял на противоположной стороне улицы и теперь ему придется бежать за ней, как мальчишке. Вот она остановилась в воротах — глотнуть свежего воздуха и дать глазам привыкнуть к яркому свету дня. Огляделась, скользнув взглядом, наверное, и по его фигуре.

Петра кольнуло опасение, что она высматривает кого-то, кто должен ее ждать. Но Кама спокойно пошла вперед. На ней было серое в крапинку пальто, и у Петра в груди шевельнулось радостное чувство. Крапчатая! Солдат с перевязанной головой окликнул ее и показал на Петра. Она подошла поближе, напряженно вглядываясь, но не узнавая. Потом узнала, и напряженность сменилась удивлением, но не улыбочивым.

— Петр! Это вы меня ждете?

— Да, я, — ответил он сдавленным голосом.

Руки их висели вдоль тела, не поднявшись для пожатия. Она смотрела на него сквозь стену времени и отчуждения. С чего бы это и откуда он возник здесь столь неожиданно-негаданно — подумала, наверное, Кама, ни чуточки не обрадовавшись. Занозу прошлого, частицей которого был и Петр, она, очевидно, давно уже выдернула из своих израненных рук и не хотела, чтобы о ней напоминали. Корабль гордой уверенности, на котором Петр еще недавно плыл, вдруг дал течь и пошел ко дну. На глазах Камы Петр превратился в утопающего, спасти которого может только само море, потопившее корабль.

— Говорят, вы хотели передать мне что-то?

Сердце забилося у него где-то высоко в горле, как у загнанного бегуна. Голос Камы стекал по его шее каплями холодного дождя. Глядя на нее, он словно смотрел в глаза неизменной реальности. Он ничем не был для нее в прошлом, а теперь, похоже, пытался ворваться в ее жизнь, которая тем временем вполне сложилась. И едва он это осознал, его затрясло от ярости и разбудило того Петра, который сегодняшним утром обрел для своей жизни надежную опору в виде бесцеремонности, беспощадности и презрения ко всему, что может доставить новые муки. Проглотив подкативший к горлу комок и нарочито насмешливо прищутив глаза, он ответил:

— Я хотел что-то передать, да уже позабыл что. Мне хотелось увидеть вас, Кама.

Она смотрела на него в упор, пытаясь разгадать, что скрывается за этими словами. Но потом отрицательно покачала головой.

— Значит, вам захотелось меня увидеть, — повторила она раздраженно. — Пойдемте отсюда. Я не хочу, чтоб на нас глазели.

В воротах госпиталя, около солдата с перевязанной головой, собралась кучка его приятелей. Они смотрели в их сторону и смеялись.

— Я могу уйти, как и пришел, — ответил Петр. — Прощайте.

— Погодите, не спешите так. Сначала разбудит любопытство, а потом убегает, не объяснившись.

Они вошли в парк. Петр то и дело отставал и оглядывал Каму. Она не изменилась. И лицо все то же. Только выражение совсем незнакомое и новое, будто с головы ее что-то унесло ветром, ореол или что-то вроде. Наверное, никакого ореола никогда и не было. Наверное, его видел только он один, сам, наверное, и осенил им голову Камы позднее, в те черные дни, когда тщетно звал ее, а может, ореол этот сохранился по-прежнему, но только его глаза уже не способны его воспринять.

Этой Камы он не знал, в ушах у него все еще звучал ее безразличный чужой голос. На шее, над воротничком пальто, виднелась прядка коротко стриженных волос, мягких и волнистых. Некогда его пальцам до боли хотелось до них дотронуться; но, так ни разу и не коснувшись их, он, как собственную кровь, носил в себе удивительное, трепетное ощущение их мягкой податливости. И всякий раз, стоило ему их припомнить, сердце его исполнялось неизъяснимой неги и восторга. Какой была бы их встреча, если бы не Марта? Он чувствовал в себе насмешливый холод и дерзкую уверенность. И когда смотрел на шею Камы, на этот пролив чистой кожи, незаметно исчезающий в шелковистой гуще темных волос, то не сомневался, какого рода страсть владеет им.

Тень, которую отбрасывали дома западной стороны улицы, захватила уже добрую половину площади. Приближался час ужина, детские крики умолкли, а песни черных дроздов звучали все победнее.

— Ну, может быть, присядем здесь? — Кама показала на лавочку, еще освещенную солнцем.

Они смотрели на газон, где припозднившийся черный дрозд, поблескивая опереньем и ярко-оранжевым клювом, добывал себе ужин. Молчали, подыскивая слова, и, на-

верное, ждали, кто заговорит первым. Искося поглядывали друг на друга.

— Мне даже любопытно, что из этого выйдет, — рассмеялась Кама.

— Мне тоже.

Услышав тон, каким он ответил, она помрачнела и открыто взглянула на него.

— Ну, раз уж я сижу с вами, Петр, позвольте мне разглядеть вас как следует. Господи, как вы исхудали! Чем же вы занимались все то время, что я вас не видела?

— Вчера был на призывном.

— Но вас не взяли, и это — результат вашей подготовки, не правда ли?

Петр нахмурился. Она разговаривала с ним, как с мальчиком, насмехаясь.

— Хмуритесь вы по-прежнему. И если я что-то запомнила, так эту вашу мрачность. А теперь признавайтесь, зачем вы хотели меня видеть.

Петр подыскивал ложь, но вместо правдоподобной лжи явилась сама правда.

Она слушала тихо, и в глазах ее попеременно вспыхивало то изумление, то недоверие, то брезгливость.

— Это невероятно и некрасиво, — сказала она, когда он закончил. — Но если все это правда, то не хотели же вы застрелиться только из-за вчерашнего происшествия?

— Нет. Причин было куда больше.

— А о них вы не хотите мне рассказать?

— Нет. По крайней мере, не сегодня.

Она промолчала. Тень домов уже доползла и до их скамьи, от свежей травы потянуло холодком. Солнце скрылось за крышами, позолотило закатом небосвод. И этот сумрак возвращал ему Каму, какой он видел ее прежде, когда грезил о ней с открытыми глазами во дворе, у себя под окном. Ее красота уже не была столь внешней, она замкнулась, стала глубже. И, хотя чувство его разрушало все преграды и мосты, нагроможденные временем, что-то еще постоянно держало его настороже, готовым пренебрежительно дернуть плечами и, рассмеявшись, уйти.

— Вы на самом деле зажигали огонь сегодня ночью?

— Нет. Я легла спать уже в десять. Но никак не могу разгадать: что бы вас ни вело, почему все-таки на вашем пути оказался наш дом?

Она смотрела на Петра в упор, и он с трудом усмирив кровь, кинувшуюся ему в лицо. И, чтобы жар не охватил его целиком, со смешком сказал:

— Это вас позабавит. Ведь вы даже и не знаете, но я любил вас.

— Вы изменились, Петр. Говорите о любви, а слова произносите так, как если бы хотели меня оскорбить.

У нее был тонкий слух, но все-таки чего-то она не расслышала.

Его обрадовало, что ему удалось задеть ее за живое.

— Если вы говорите правду, то почему не разыскивали меня раньше?

— Да ведь вы уехали, а потом Вит мне сообщил, что вы выходите замуж.

— Ах, Вит,— произнесла она.— Он здесь?

— Нет. Прошлым летом был, а сейчас, наверное, в плену.

— Я не могла ему простить того, что он сказал вам... Он какое-то время писал мне, но я не отвечала, а письма его — рвала.— Она рассмеялась.— Мы были глупые, правда, Петр?

— Вероятно,— ответил он, соображая, можно ли сейчас сказать больше.— Впрочем, Вит залечил свою рану у какой-то трентской дамочки.

Солнечный свет еще сиял тонкой золотой линией над крышами противоположных домов, а меж деревьями парка уже залег сумрак. Дрозды перестали петь и с криком носились вокруг, подыскивая место для ночлега. Кама поглаживала ладонью край скамейки — свободное пространство между ней и Петром. Он следил за движением ее руки и не шевелился.

— А где вы лечили свою рану?

— Я нанес себе много новых, Кама.

Она опять помолчала, а потом прыснула, уже не в силах сдержаться.

— И теперь пришли ко мне?

Он подивился сам на себя, потому что поднялся и сказал:

— Ну, я повидался с вами и благодарю вас, Кама. Пора идти. Уже холодно.

Она тут же встала, и, когда подняла на него взгляд, он отметил изумление в ее глазах прежде, чем она успела его скрыть.

— По крайней мере, вы меня, наверное, проводите, раз уж задержали так долго.

У Петра было такое чувство, что он может одобрительно похлопать сам себя по плечу.

Что означала смерть одного юноши в те времена, когда умирали миллионы? Собственно, он умер, дабы избежать выполнения своего патриотического долга. Так что расследование, начавшееся по делу о самоубийстве Оттони, угрожающе клацнув несколько раз челюстями, уснуло. Бертик замел следы присутствия при сем бывших своих одноклассников. По его показаниям и показаниям, данным всеми, кто дождался прихода полиции, Оттони появился в вышеозначенном доме один, напился и кричал на весь зал: «Меня на войну никто не затащит. У меня универсальное средство». Похороны прошли тихо, в утренние часы. Даже из учителей никто не пришел проститься с покойным от лица гимназии. Ибо что можно сказать над гробом ученика, смерть которого была чуть ли не государственной изменой?

Один лишь классный наставник в то утро долго смотрел в окно, словно ища в небе ответа. Потом вернулся на кафедру и оглядел лица присутствующих, одно за другим, словно проникая в их души. Это их встревожило, и они — соответственно характеру — или избегали встретиться с ним взглядом, или же, напротив, смотрели дерзко и вызывающе. Классный завершил свое странствие, упершись взглядом в пустоту поверх голов, а потом заговорил.

— Опомнитесь, дети, — произнес он, и голос его скрипел и крошился от сухости. — И этой войне тоже придет конец. Наверное, этого уже недолго ждать. Жизнь возвратится в свое русло. И вопрос совести и характера станет для мужчин главным. Опомнитесь!

Но даже он утратил над ними власть. Сгрудившись в коридоре во время перемены, они только посмеялись над его предупреждениями. Жизнь уже никогда не будет такой, какой была прежде, близорукий классный просто не видит, что творится вокруг. К чему людям умирать или терпеть голод, если это не приносит никаких перемен? Школа давно уже бурлила и кипела бунтарскими настроениями, отзываясь на все, что происходило вокруг. И недавно призванные, которые месяц спустя должны были отправиться на фронт, надеялись вместе с остальными, что империя рухнет раньше, чем на них напялят мундиры. У преподавателей забот было по горло, им приходилось пресекать чересчур неумеренные восторги, грозившие неприятностями. Петр тоже был захвачен этими настроениями; они были так очевидно прекрасны, сближая людей, пробуждая незнакомое ему

доселе чувство общности. Эти настроения послужили ему мостками через пропасть, отделявшую его от Камы.

Стоило только затронуть эту тему, как она тут же загоралась одушевлением.

— Вы думаете, почему я вернулась в город? — спросила она. — Дома я надеялась обрести покой, но уже через месяц мне все там наскучило и потянуло сюда. Я вернулась, окончила гимназию и поступила на фармацевтический, чтобы, хоть я и девчонка, не прерывать семейной традиции. Но все это только потому, что я была убеждена: именно здесь, в столице, будет решаться судьба народа.

Да-да, Петр ухаживал за Камой и уже в первый вечер попросил о свидании, прощаясь перед дверями ее дома.

— Вы хотите встретиться со мной, Петр? — спросила она. — А зачем?

Он молчал. От чувства досады кровь снова бросилась ему в лицо, и неловкость холодной струйкой пролилась по шее за воротник. Он прикусил язык и был готов вырвать его за допущенную неосмотрительность. Подыскивал слова, чтобы отыграть поражение, и спасительный смешок: «Ха-ха, Кама, вот вы и попались. А я, между прочим, просто пошутил». Опустив взгляд в землю, он смотрел на ее туфли, запылившиеся за время прогулки, на треугольник синей юбки, проглядывавший через полурасстегнутое серое пальто. Доверительной близостью пахло на него от этих вещей. Если он сейчас повернется и уйдет, то ввергнет себя в бездну, куда никогда уже не проникнуть лучу света.

— Не знаю, Кама, — сказал он почти смиренно. — Но я просто не могу себе представить, что мы не увидимся больше, после того как все-таки встретились.

С башни ближнего костела, капля за каплей, восемь ударов с металлическим звуком разбились о тишину вечера. Она подождала, пока дозвучит последний, и потом произнесла голосом, который своей трезвой строгостью разительно отличался от мягкого покоя и умиротворения, которые слышались в колокольном звоне:

— И правда, Петр. Почему бы нам снова не подружиться?

Впрочем, виделись они едва ли раз в неделю. Кама была постоянно занята, даже в воскресные дни не принадлежала самой себе. День ее распределялся так: утром — лекции, после обеда — дивизионный госпиталь, а вечером — «Общество студенческой взаимопомощи». Ей мало было одних абстрактных увлечений, не то что Петру, чей энтузиазм (хотя Петр тоже готов был пожертвовать жизнью за дело

национального освобождения, если бы того потребовала необходимость) довольно быстро испарялся, уступая место тому, что всегда больше всего занимало его: он сам и его жажда жизни. Увлечение общественными делами у Камы требовало проявления в действии. И если ей не представлялось иной возможности, она жертвовала своими вечерами, работая часто до ночи в «Студенческой взаимопомощи». Петр, которого эта ее деятельность покорила с самого начала, все больше и больше приходил в отчаяние. Так мало времени оставалось у нее для него — чистейшая милостыня из жалости, и все это время проходило в бесконечных разговорах о работе Камы, о людях, совершенно Петру незнакомых и либо безразличных, либо возбуждавших его подозрение и ревность; о грандиозности задач, которые встанут перед освобожденной родиной и к которым нужно себя заранее готовить. «Знаю, — твердил себе Петр, — я чувствую то же самое, но почему об этом нужно столько говорить, и именно тогда, когда мы вместе?»

Он терял терпение. Он не мог навредить себе хуже, согласившись на роль друга. Того и гляди, Кама признается ему, что кого-то полюбила, и попросит у него совета. Если бы такое же чувство он обнаружил у нее к себе, все было бы в порядке. А так ему ничего не оставалось, как довольствоваться тем малым, что Кама ему дает, и продолжать ждать. Капля по капле, говорил он себе, так вот и проходит время.

Но времени и у Петра было теперь не слишком много. Весну сменяло лето, и после больших торжеств на островах, носивших чуть ли не революционный характер и до сих пор рождавших самые радужные надежды, Петр был полностью занят подготовкой к выпускным экзаменам. Их дождались немногие. Война не кончалась так быстро, как они предполагали, и призванные, наспех сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости, отправились по своим частям и гарнизонам, так что помощь, которую посулил им Бертик, действия не возымела.

Дома, убирая свой аттестат, Петр понял, что стоит перед будущим, как перед глухой стеной, в которой не пробиты двери. Идти учиться дальше или искать работу в каком-нибудь учреждении? Как он ни вертел, но на что-либо решиться или чем-нибудь загореться не мог.

Его мучило отсутствие денег. Уже не было Марты, которая подсовывала ему то пять, то десять крон, а у матери просить не хотелось, тем более что она чуть не валилась с ног под бременем забот и бесконечной работы. Встречи

с Камой, конечно, повлекут за собой посещение концертов и театров. Ведь не может он выворачивать перед ней пустые карманы или просить в долг, как некогда у Вита. Впрочем, активная деятельность Камы невольно оказывалась поводом для бесчисленных укоров самому себе. Девушка из довольно зажиточной семьи не удовлетворялась только занятиями, она содержала себя сама и так серьезно относилась к работе, что не поехала домой даже на каникулы.

— Собственно, зачем вы так поступили, Кама? — в недоумении спросил он ее.

— Вы себе не представляете, Петр, — ответила она, — как это прекрасно — быть себе хозяйкой и никого ни о чем не просить.

И она с восторгом принялась рассуждать о будущем освобождении женщин, а он, как всегда, возражал ей, приходя в отчаяние оттого, что они с Камой, как ему казалось, понапрасну и бог знает на что теряют время. Он даже не догадывался, что она открывала в нем задвинутые далеко вглубь принципы настоящей жизни, и червяк зависти, однажды разбуженный, неотвратимо подбирался к тайникам его честолюбия. Если бы не Кама, он так и дожидался бы конца каникул, томясь неясной тоской и бесцельной жаждой чего-то, до одурения копаясь в себе самом, как нелюdim — в своем заколоченном доме. Теперь он настойчиво искал, как бы стать вровень с ней, хотя бы настолько, чтобы не чувствовать себя униженным. И он вспомнил о Бертике. Неужто о том самом Бертике, которого всегда ненавидел и презирал! Да, о том самом, ведь у Бертика были связи, кое-какие знакомства, и не было, образно выражаясь, пруда, где бы он не ловил рыбку.

— Это проще простого, — сказал Бертик, немножко важничая. — Более надежного адреса не найти, ты правильно сделал, что обратился ко мне.

Он показался Петру пауком, подстерегающим поживу в комнатенке, куда еле-еле втащили письменный стол да полочку с несколькими толстыми бухгалтерскими книгами.

Он был, как всегда, бледен, глаза вытаращены, но прибор в его голосах был ровный и светлый, как шрам от удара сабли.

— Место у тебя уже есть, — хвастал он. — Зачем нам куда-то бегать и кого-то просить, если ты можешь работать у меня? Мне нужен человек, который вел бы бухгалтерские

книги, отвечал на письма, человек, который мог бы меня замещать и представлять, когда я в отъезде.

С одной стороны грубо оштукатуренная стена соседнего дома так близко подступала к их окну, что создавалось впечатление светового проема. Влево от стены, на этаж ниже, шли под уклон крыши нескольких не столь высоких домов, на почерневшей черепице которых сторбленными старичками дымились трубы. Между десятью и одиннадцатью здесь показывалось солнце. Итак, Петр сидел вместо Бертика, заполнял бухгалтерские книги, оформлял заказы и время от времени выслушивал похвалы своего нанимателя.

— В один прекрасный день, — хвастался Бертик, хлопывая по переплетам толстых книг, — каждую их страницу, вплоть до самой последней, заполнят миллионы крон, заработанных на продуктовых суррогатах. А может, выйдет и по-другому. Так-то, друг, можешь себе усмехаться и похохатывать сколько хочешь, но в один прекрасный день это случится. Разве я уже не достаточно убедительно доказал это?

Порой Петру хотелось плевать, когда он обнаруживал, что начинает этому верить.

Никогда и ничто в его жизни не будет совершенно чисто. Впрочем, довольно болтать! Лучше жить лучше, чем хуже. Какое ему дело до того, как Бертик собирается разбогатеть? Петр выполняет порученную ему работу и за это получает деньги. Какой бы там Бертик ни был, а все-таки он отнесся к нему с пониманием. Предложил место, едва Петр об этом намекнул, и платит ему больше, чем платили бы другие. Черт с ним, с Бертиком, может, я ему нравлюсь, иначе почему бы он так ко мне благоволил?

Но мать, хотя и не упрекала Петра ни в чем, не очень сочувствовала его начинаниям. Боялась, как бы ее сын не остался всего-навсего писарчуком, — ведь она желала бы видеть его доктором и настоящим барином. Лучше бы записался после каникул на правоведа, даже если ему до права нет никакого дела, как и до всего прочего. Бертик пришел в восторг, узнав о его решении. Сам недоучка, он принялся страстно убеждать Петра, что продолжать учебу необходимо. Даже если наступит мир, производство суррогатов не прекратится. Ты уж потерпи, а потом фирма откроет собственный юридический отдел. А кому же еще его возглавить, как не Петру?

По существу своему Петр не был любовник, он был игрок. Какая же это любовь, если ты выслеживаешь свою избранницу, как хищник — добычу, если не в силах выговорить слово «люблю», если не можешь ей рассказать, что творится у тебя в душе? Разве это любовь, если лето полыхает сплошным горячим солнечным объятьем, благоухают сады — общие брачные спальни, — а девушка произносит перед ним речи, глухая ко всему, упоенная одним-единственным представлением о своей эмансипации и величием грядущей эпохи? Когда он любовался ее покрасневшимся лицом и пылающим взором, ощущал ее дыхание (в мире не было ничего благовоннее), видел ее грудь — при каждом движении формы ее проступали особенно выразительно, — он пробовал набраться смелости, чтоб обнять ее и поцеловать, прервав бесконечные потоки ее восторгов. И не мог — только, стиснув в карманах кулаки, душил свое нетерпение. Нужно ждать. Быть осторожным и не упустить подходящий момент.

И все-таки ему казалось, что отчужденность между ними не уменьшается, а растет. Они встречались далеко не каждый день, как этого хотелось бы Петру. Случалось, из-за дел в «Обществе студенческой взаимопомощи» Кама задерживалась чуть ли не до ночи, а бывали и такие дни, когда она просто отказывалась от встречи, потому что, как она признавалась, ей хотелось оставить немножко времени и для самой себя. Тогда он прямо-таки не находил себе места от ярости. Все напрасно, он только зря теряет время. И Петр выдумывал, как бы ей отомстить, унижить и доказать самому себе, что его это вовсе не заботит. Почему же тогда он не принимал приглашения Бертика, который, по случаю удачных сделок, устраивал в своей конторе, как когда-то в «заведенье», попойки с девицами? Отчего отказывался и терпел его насмешки, хотя сам не желал ничего иного, как согласиться и присоединиться к его компании? С Мартой он привык к плотской любви, его теперешнее воздержание длилось слишком долго, и хорошенькие женщины, встреченные им, стали представляться ему соблазнительнее и доступнее, чем Кама. Какой же он глупец, что так упорно ее добивается!

Он не верил, что она задерживается чуть ли не до ночи из-за работы в «Обществе студенческой взаимопомощи», и ее желание побыть в одиночестве (тоже чрезвычайно подозрительное) обижало его. Как может она желать оди-

ночества, когда он преисполнен решимости пожертвовать для нее всем своим временем? Между ними нет равенства, один готов отдать все, а другой не хочет об этом и знать. Его жизнь ее не интересует, он для нее пустое место. В нем зрел протест. Еще немного — и он без угрызений совести примет приглашение Бертика.

Однажды вечером он ждал Каму (сколько раз таким же вот образом он следил за кем-нибудь, да и за ней — тоже), у нее вроде как опять было много работы в «Обществе студенческой взаимопомощи». И действительно, он видел, как она вышла оттуда поздно, в одиннадцатом часу, когда он уже почти уверился, что она солгала. Шла она не одна. Ее провожали двое худых длинноногих юношей. Ему показалось, что никогда она не смеялась так весело. Спутники, по-видимому, состязались в остроумии. А он тащился за ними как собака на поводке ревности и возмущения. Когда они юркнули в старое кафе, куда он ходил еще вместе с Витом, он замешкался перед входом. Потом решил войти и притвориться, будто попал сюда по чистой случайности. Ему было любопытно, рассердится ли Кама, увидев его.

Она ему обрадовалась:

— Откуда вы здесь взялись, Петр? Я думала, вы уже спите.

— Да я ведь почти такой же бродяга, как и вы.

Интересно, как она ответит на этот упрек? Она проговорила почти смущенно и извиняясь:

— Мне нужно было немножко рассеяться. Если бы вы только знали, какой тяжелый сегодня у меня был день.

Она представила его своим спутникам. Это были учащиеся Академии искусств, художники, члены «Общества», они помогали ей справиться с работой. Оба смахивали на нищих, и Петр удивился, что Кама, изысканно одетой, не стыдно находиться в их обществе. Петр, в новом костюме, приобретенном на первое жалованье, держался чопорно, будто сам никогда не ходил в обносках или дареной одежде, ненавидя всех, кто лучше одет. Юноши рассуждали о том, что волновало их больше всего, — о любимой живописи и — с некоторым гонором и хвастовством — о своих поисках (каждый должен начать с эксперимента и искать в искусстве свой собственный путь); они смеялись над признанными мэтрами и увлеченно защищали тех художников, которые были им близки и служили недостижимыми образцами. Слова: «поделки», «эксперимент», «Werk»¹ и «форма» —

¹ произведение (нем.).

то и дело слетали у них с языка. Они добрались даже до вечных проблем содержания и формы в искусстве. Оба придерживались мнения, что решающее значение имеет форма. Кама считала важнее всего ясность содержания и душу произведения. Они возражали, говоря, что именно форма является и содержанием и душой картины. Она приводила примеры из литературы и, не уступая, спорила с ними.

Петр слушал молча. Эти споры напомнили ему те дни и вечера, которые они проводили с Витом. Он чувствовал, как постепенно спор затягивает и его. Ему было что сказать, каждое замечание, которое он мог вставить, обретало в его мозгу необыкновенную отчетливость и просилось на язык. Но он продолжал упорно молчать. Молодые люди распались, увлеченные друг другом и своей профессией. Он бы вполне мог подружиться с ними, особенно с тем, темноволосым, побледнее. Может, при других обстоятельствах они стали бы друзьями. Но теперь он чувствовал в нем соперника. Неужели давняя история с Витом повторится снова? Петр внимательно наблюдал за этим художником. Его движения были сдержанны, красивы, в них ощущался темперамент. Глаза горели воодушевлением, их сияние освещало аскетическую худобу щек, смягчая ее. Он больше убеждал своим пылающим взглядом, нежели словами. Говоря, художник иногда касался руки Камы. Она же или была увлечена разговором, или уже привыкла к тому, что он прикасается к ней.

— А что это вы молчите, Петр? Почему не придете мне на помощь? Я ведь одна против двоих.

— Я не вполне разбираюсь в этом деле, чтобы быть третьей стороной, — мрачно отозвался Петр, не отрывая взгляда от ее руки, где пальцы художника застыли, словно забывшись. Кама наконец обратила внимание на то, куда устремлен его взгляд. Виски ее порозовели, и она спрятала руку под стол. Но тут же в глазах ее вспыхнул протест. Она снова положила руку на стол. Художник покраснел. Несмотря на самоуверенные речи и небрежную позу, он был еще совсем юн.

— Друзей у вас становится заметно больше, — сказал Петр Каме на следующий день.

— Друзей у меня может быть столько, сколько я захочу. Но вы вчера выглядели смешно. Вели себя как ревнивый любовник.

— Я не понимаю, с какой стати ваш приятель должен все время держать вас за руку, если ему пришла охота что-

то объяснить. Как-нибудь вы обнаружите, что ваши взгляды на дружбу юношей и девушек несостоятельны. Кончается это всегда одним и тем же.

Они поссорились. В словах этой ссоры и воспоминаниях о художнике, который так непринужденно держал себя с Камой, Петр нашел оправдание своему гневу и решению, что ничто не связывает его с Камой. И уже в тот же вечер на попойке у Бертика обнимал черноволосую Майду — секретаршу, с которой у Бертика и познакомился.

Проснувшись утром и увидев ее рядом, еще не проснувшуюся, Петр испытал чувство, будто ему вовеки суждено убивать все, что есть в нем хорошего. Он хотел себе поклясться, что этого уже никогда не будет. Но рассмеялся. Хватит обманывать себя. Как звучал этот лозунг? «Бери, что хочешь и можешь».

Утром он не пошел в контору, а вернулся домой. Мать оцепенело сидела у стола, взгляд ее застыл, как будто жизнь оставила его. Она не ответила на его приветствие, ему не удалось добиться от нее ни слова даже потом, когда, испугавшись ее вида, он засыпал ее вопросами. Движением заводной куклы она подала ему лист бумаги. Когда позднее он вспоминал об этой сцене, она представлялась ему патетической и дурно сыгранной.

Дочитав написанное напыщенным официальным слогом извещение о смерти отца, где, кроме слова «пал», не сообщалось ничего, даже сведений, какой именно смертью «пал» отец, он обнаружил, что ему хочется облегченно вздохнуть, словно тяжелое бремя, которое лежало на нем все предыдущие годы, что он, несмотря на все старания, ни на минуту не мог забыть, свалилось наконец с плеч. Потом он услышал голос Невидимого из сновидения, который кричал ему: «А все ты!» Ему показалось, что он сейчас рухнет. И так же, как представлялось тогда во сне, ему захотелось бежать и кричать от ужаса. Но нет, он не был виноват. Так или иначе, но отца все равно схватили бы и отослали обратно на фронт. И снова мысль, что отец уже не вернется, что ему уже никогда не придется испытывать страха перед ним и желания проскользнуть незаметно или предупреждать взрыв его ярости и жестокости, доставила ему облегчение и радость. Он посмотрел на мать. Она по-прежнему сидела оцепенев, не подавая признаков жизни.

— Мама, — хрипло позвал он ее.

— Вот, стало быть, и конец, — произнесла она неожиданно чужим и бесцветным голосом.

Удивляясь сам себе, не сознавая, зачем он это делает,

Петр опустился перед ней на пол и, положив голову ей на колени, сказал:

— Это я виноват.

Он, как ему казалось, постарался, чтоб в голосе его слышались рыдания, а на глазах выступили слезы.

— Нет-нет, что ты говоришь! — пронзительно воскликнула она. — Никто тут не виноват. Это судьба. — Обхватив обеими руками его голову, она поцеловала его волосы и поднялась. — Кто знает, что случилось бы с нами, если бы он вернулся.

Она перестала плакать. Петр не видел ее плачущей и позже. Они разговаривали только о самом необходимом, потому что за каждым словом таились опасные воспоминания. Однако отношения их не переменились. Когда-нибудь все само собой образуется и кирпичи будней, исподволь нагромождаемые равнодушной рукой времени, замкнутся надгробным сводом над самыми бурными событиями.

Несколько дней Петр старался делать вид, что его гнетет тяжесть вины. Погиб отец. И он явился причиной этой смерти. Сидя за своим столом в конторе, он не сводил взгляда с подступавшей вплотную стены соседнего дома и до одури повторял: «Ты убийца, убийца». От напряжения взгляд его подергивался туманной пеленой, а от нервных усилий, которые он искусственно поддерживал в себе, начинался озноб, словно сердце гнало по жилам не кровь, а ледяную воду. И тогда, испугавшись, он оставлял игру. Вскоре она утомила его своим однообразием. Он не видел, как умирал отец, воображению его не было нанесено незаживающей раны. И все эти трюки с укорами совести были нужны ему, собственно, лишь затем, чтобы заглушить слишком сильные отзвуки радости: он уже не возвратится, не возвратится никогда...

Лето вспыхнуло и быстро сгорело, словно лист бумаги на пламени свечи. Разотри его пепел пальцами. Вот они и черные. Твоим пальцам, Петр, уже никогда не стать белыми.

Подошел сентябрь. Удивительные, теплые и гармоничные дни; небо, изогнутое нестерпимо голубым сводом; быстро подступающие вечера, когда ярко пылают звезды; осенняя печаль и знойные полуденные вспышки лета. Люди, метавшиеся между надеждой и отчаянием, обнищавшие до последних пределов, начинали верить, что до конца войны уже рукой подать, а перед лавками, зияющими пустотой, как и желудки стоящих в очереди, все чаще вспыхивали скандалы, которые, как правило, оставались

безнаказанными. По этим и многим другим признакам можно было вычислить, насколько подорвано могущество империи и как неотвратим ее близкий конец. Как и многие другие политически неблагонадежные, из лагеря для интернированных вернулся отец Бертика. Но Бертик только помахал флажком ухмылки, приветствуя его возвращение, и даже не пошел его встретить. По его мнению, отца от его сумасбродств еще лечить да лечить; Бертик был убежден, что если империя падет, то первым, кого заберет полиция нового государства, будет его отец — за восхваление былой монархии. Самому Бертику было абсолютно все равно — рухнет империя или выживет: ему удача будет сопутствовать всегда. И пусть никто не надеется, что после войны станет лучше. Война, брат, подмела все подчистую, и суррогаты еще ох как понадобятся. Пока они вместе, Петру бояться нечего. Потому как Бертик торговал не только суррогатами. Вся спекуляция продуктами и контрабандный ввоз сахара шли через его руки весело похрустывающими купюрами, а подлое их происхождение не убавляло им цены.

Из того, что хапал Бертик, Петр получал свою долю. Он ощущал огромную разницу между тем, как служил он и как — Кама. Кама зарабатывала себе на жизнь честнейшим трудом, жертвуя своим свободным временем для тех, на ком голод и нищета сказались горше прочих. Но работа Камы в «Студенческой взаимопомощи» была в глазах Петра чересчур незначительна, незаметна, кропотлива, воистину — женская; результаты ее никому не были видны! А его ретивый дух жаждал риска, волнения, поступков шумных, демонстративных, броских. Так чем же эти ее занятия отличались от его сидения в конторе? Сам он этой своей конторой был сыт по горло. Ему бы совершить что-нибудь для пользы родины, которая, утопая, пытается ухватиться за берега свободы. Но что именно? Если бы речь шла о заговоре или чем-нибудь подобном, он не пожалел бы ради этого жизни. Но все совершалось как-то скрытно, если вообще совершалось (по-видимому, это были пустые надежды и иллюзии отчаявшихся); об этом он ничего точно не знал и не мог предложить свои услуги. Никому он не был нужен — ни родине, ни жизни.

Он уже знал, как относиться к жизни. Жизнь не дала ему ровно ничего из того, чего Петр ожидал. Он хотел дружбы, а вынужден благодарить за свое пропитание прохожему, которого всегда ненавидел. Искал любви, а напоролся на Марту. Он томился по Каме, а нужна ли ему их нынеш-

няя близость? Ладно, он согласен и на то, что есть, и по-прежнему будет грезить о чем хочет.

Петр рассудил, что Кама из тех девушек, к которым следует приближаться не торопясь и действуя убеждением. Чем глубокомысленнее он будет казаться, тем легче достигнет своей цели. И он начал вести с ней разговоры о несостоятельности ее взгляда на возможность дружбы между мужчиной и женщиной. Не такой уж он новичок в этом деле. Почему бы ему не воспользоваться своим опытом? Марта была грубее и все же любила цветы. Он стал приносить цветы и на свидания с Камой. Две-три розы или гвоздики.

— Что это, Петр? Мы ведь друзья, а друзьям цветы не дарят.

— Но вы любите цветы или нет?

— Люблю.

— Так вот и примите их.

— Но ведь это стоит уйму денег.

— Ах нет, тут вы ошибаетесь. Совершенные пустяки, — солгал он.

Эти цветы были той шелковой ниточкой, которой он надеялся привязать ее к себе. И был счастлив больше, чем рассчитывал, видя, что, пока они препираются из-за них со страстной увлеченностью друзей, Кама рассматривает цветы, вертит в руках и, нюхая, как будто целует. Эти поцелуи принадлежат мне, говорил себе Петр, и я их получу.

Проверяя эффект, произведенный подарками, он однажды пришел на свидание без них. А когда увидел огорчение, словно тень, скользнувшее по ее лицу, ему захотелось засвистеть. Во время этой встречи она оставалась грустной, не смеялась и почти не разговаривала. Он сделал вид, что терпеливо выносит ее настроение. Отчего она такая молчаливая? Устала. В самом деле, немного переоценила свои силы, набрала слишком много работы. Теперь она хотела гулять чаще, чем прежде. Это время года она любит больше всего. Любит сентябрь — месяц, когда небо чисто, воздух прохладен и ощущается первая грусть, закрадывающаяся в буйство лета.

На следующее свидание Петр опять пришел с розами. На лице Камы радостная улыбка превозмогла упрямство сжатых губ.

— А в тот раз, Петр, вы забыли про цветы?

Голос ее был ласково-певучий, как будто она никогда и не запрещала приносить цветы.

— Нет, не забыл, просто не было хороших, — солгал он.

Она зарделась румянцем, а потом засмеялась.

— Самое лучшее — для королевы? — спросила она, пытаясь проскользнуть сквозь дверцу шутки.

— Я не люблю плохих вещей, — уклончиво ответил он.

Он чувствовал, что его час приближается, и готов был петь и кричать от радости. Но сдерживался и призывал себя быть терпеливым. Вит поторопился и проиграл. С ним этого произойти не должно. «Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас», — сказал ему Вит в свой приезд с фронта. А нынче Петр знал больше, чем Вит мог предположить. В это время года, напоминавшее весну, что могло вернее привлечь заколебавшееся девичье сердце, нежели поэзия? Пусть поэты говорят за него, коли сам он боится произнести хотя бы одну сентиментальную фразу. Пусть поют Томан и Бодлер, пусть чарует Гамсун. Если они смогли даже в нем пробудить жажду красоты и жизни, то пусть позаботятся и о том, чего он так давно жаждет.

Да, поэзия призвана высказать за них то, в чем ни тот, ни другая не решались себе признаться. Кама уже устала гоняться за своими несбыточными идеалами. Товарищей, о которых она мечтала, не находилось. Напротив, уже не раз так называемая дружба — разумеется, она скрыла это от Петра — оборачивалась сватовством. Она все больше думала о Петре. Он ссорился с ней, высмеивал ее взгляды, однако никогда ни на что иное не покушался. Он представлялся ей настоящим товарищем; иногда это даже слегка задевало ее — отчего он не проявляет никаких других чувств, кроме простой дружбы? Но если он не выдал себя словом, то что означают цветы, которые он приносил ей изо дня в день?

Они сидели на одной из площадок пражского «Крестного пути», вившегося по откосу. Внизу растекались по улицам сумерки, размывая материальность города и превращая его в мираж. Оба молчали, как часто случалось в последнее время. Он будто случайно положил свою руку на ее, и Кама не отдернула. Но он тут же вспомнил художника в кафе (неужели все-таки ни единое мгновение в его жизни не будет совершенно чистым?) и чуть было не оттолкнул ее. Но подавил в себе это чувство и держал мягкую, каменно холодную и неподвижную руку в своей ладони.

— Какая у вас маленькая рука, Кама, — сказал он, помолчав. — И какая холодная. Вы не озябли?

— Да нет, — ответила она, глядя перед собой неподвижным взглядом.

— Позвольте, я согрею их.

Он взял ее руки в свои ладони и стал согревать дыханием. Кама словно оцепенела и не сводила глаз с раскинувшегося внизу города. Под чьими-то шагами закрипели на дороге камешки. Петр быстро поцеловал руки Камы и снова опустил на ее колени. Парочка прошла мимо, и он опять взял их. Было еще достаточно светло, и прохожих было довольно много. Они сидели рядом молча и неподвижно, но чувствовали, как попеременно то один, то другой вздрагивает от озноба или внезапного жара. И все же Петр сохранял самообладание, выбираясь на время из потока чувств, который его уносил. Если бы сегодня он произнес хоть одно слово, то все здание, которое он с таким тщанием возводил в течение месяцев, могло рухнуть. Тело у него начинало ныть, потому что он боялся пошевелинуться — так же как и Кама, которая вообще казалась безжизненной. И про себя поносил темноту, которая наступала недостаточно быстро. И вдруг мгла нахлынула и затопила их, словно где-то отверзлись ее шлюзы.

Первый поцелуй был неловким. Он нашел Камины полураскрытые губы, и поскольку хотел поцеловать ее неожиданно и быстро, то ткнулся губами в ее зубы, чуть было не поранившись. Волна раздражения поднялась в нем, как если бы его пробудили от сладкого сна. Кама тяжело оперлась на его руку, так что он с трудом удерживал ее. Запрокинув голову, она дышала порывисто. И губы ее были полуоткрыты, словно с ней вот-вот случится обморок. Он подозревал, что это неестественно, что она играет. Как-никак целуют ее не в первый раз. И вся сцена ее прощания с Витом, чему он был невольным свидетелем, всплыла перед его глазами. Нестерпимо сладостный и меланхолически протяжный звук трубы, возвещающий вечернюю зорю, поднялся из темноты и, затихая, долго звенел в воздухе. Для Петра это прозвучало насмешкой. Кама выпрямилась и слушала, сжимая его руку. Когда донесся последний трепетный звук, она сказала ему из уст в уста:

— До этой минуты ничего не было. И это навсегда, понимаете — да?

Он ответил ей долгим поцелуем, в котором тем не менее было больше разочарования, гнева, сомнений, чем любви. Навсегда?

После этого вечера они встречались ежедневно. И вдохновительницей этих встреч была Кама, а не Петр. Каме хотелось наверстать все, что она упустила из-за слишком долгих колебаний. Боязнь нового разочарования, два по-

следних года охранявшая ее от легких приключений, была преодолена и отброшена прочь. Кама была из породы недоверчивых — в отца, — они замыкаются в себе из страха перед грубостью жизни; но от матери — та рано умерла, и Кама не помнила ее — дочери передался темперамент и жажда деятельного обладания. Она хотела быть любимой навеки (Вит преподал ей урок, из которого мы извлекаем опыт) и была убеждена, что сумеет достичь этого. Да, за ее изменчивыми мечтами шествовала упорная решимость. Петр, не подозревавший, что он разжигает пламень, который, вероятно, не в силах будет погасить, сыграл на всех струнах своих представлений о любви, которой когда-то был обделен. Он был нежен, влюблен и иногда лгал сам себе. Он тщательно распределил письма, написанные давно, но не отосланные. Выбрал из них все, где исповедовался в своей униженности и причудливых блужданиях страсти, а остальное принес ей. Она читала их и плакала.

— Значит, ты так сильно меня любил? А я и не догадывалась. Думала, мы просто друзья. Почему ты не признался мне раньше Вита? Если бы можно, я бы вычеркнула все, что было. Но этого было очень мало, и теперь я так рада.

Он не мог ей признаться, свидетелем скольких поцелуев он невольно стал, но ощутил некоторое чувство удовлетворения. Любил ли он ее? Ему было тоскливо, когда ее не было, и у ее поцелуев был привкус, до сих пор им не известный.

Разговоры с ней он начинал ценить так же, как прежде разговоры с Витом. Сомнений не оставалось — она становилась для него незаменимой.

Они облюбовали себе местечко на одной из площадок «Крестного пути» и не искали ничего другого. Город плыл под ними как корабль в океане ночи, донося до них приглушенный гул; озаренный редкими огнями, корабль этот рождал в душе печаль оттого, что они много о нем знали. Пока не наступали сумерки и город был хорошо виден, они говорили о нем и о будущем страны, в центре которой этот город находился. В сердце Камы жила страстная вера. Петр был более скептичен. Так же, как она, он верил в приближающееся освобождение, но не знал, что оно принесет. Ее патриотизм представлялся ему несколько легкомысленным и чересчур восторженным. Но бедняки, скорее всего, останутся бедняками, говорил он, а какая же это свобода? Иногда они спорили чуть не до слез. Но едва их окутывала тьма, бросались друг другу в объятия, как в жаркий, стремительный поток. Сжав руки, сильно и безмолвно приника-

ли друг к другу, усталые и возбужденные нежностью, которая ничем не завершалась. В этой темноте Петру припоминалась и тьма подвала, где он отчаянно тискал Фриду, а перед глазами у него стояло лицо Камы. Теперь он ее держал в своих объятьях, как когда-то мечтал. Что же переменилось? Он был разочарован и приходил в отчаяние от такого сходства. Но и эта тьма, и эти поцелуи были все-таки иными. Они омывали его, как волны чистых родников, снимая то, что на него налипло.

Наверное, снимали. Однако часто, простившись с Камой, когда в нем бушевала кровь, разбуженная ее поцелуями, он той же ночью искал Майду. И, отбросив чувство брезгливости, даже не упрекал себя. Напротив, когда на другой день он сидел рядом с Камой, ему бывало смешно и мстительно-весело. Что уж тут говорить об измене, если между ними, кроме нескольких поцелуев, ничего пока не было. Все остальное — только дружба, как того и желала Кама...

И все же Кама умела поддерживать в нем напряжение и страстное чувство к себе. И ему только казалось, что он уже теперь мог бы оставить ее. Хотя она не имела понятия о его вероломстве и ночных похождениях, она ощутила, что дух его нестойк, его нужно стеречь и всякий раз заново привязывать к себе. А что больше привязывает страстных и легкомысленных людей, чем недоступность и непохожесть? Она не перестала оставлять за собой дни, когда о свидании не хотела и слышать. Сомнения, тоска, ревность всякий раз пригоняли Петра под ее окна. Он караулил ее до поздней ночи, и она, наблюдая за ним через штору, умела пересилить себя и не выходила. Она благословляла свою прозорливость, и каждый его шаг у нее под окнами казался ей куда более надежной гарантией, чем тысячи клятв.

Время вздымалось громадой, под которой мы все когда-нибудь погибнем, и сентябрь сменился октябрём тоскливых настроений, свинцовых туч и непрерывных дождей. Лето было проведено без пользы, и холод прогнал Каму и Петра с камня на площадке «Крестного пути». Во время длительных прогулок вдоль берега реки им приходилось целоваться украдкой, чтобы не видели прохожие. Потом дожди загоняли их в кафе. Сидя за мраморным столиком в центре зала, где разговоры исчерпывают себя вдвое быстрее, они смотрели в окно на дождь, хлеставший по пустынной улице. Молчание их было исполнено тоски; они сжимали руки под столиком, страстно мечтали о близости, разделенные нехваткой, недостатком слов. Попусту потерянное время —

говорил себе Петр. Но именно на неторопливых оборотах этих скучных часов катила их новая надежда.

— Что предпримем, Петр? — спрашивала Кама, растягивая прощание как можно дольше, ежась под дождем у входа в дом. — Это кафе меня убивает.

— Не знаю, — отвечал он.

Он не мог выдать все разом, хотя предложение у него было давно наготове.

Она ни секунды не колебалась, когда он высказал его.

— Ты не должна меня бояться, — сказал он. — Я не буду таким, как Вит.

— Не нужно было напоминать об этом, Петр.

— Я никогда не смогу простить ему этого, — добавил он упрямо.

— Ты просто не можешь быть таким, как Вит.

Он сдерживал усмешку, когда вел ее вверх по лестнице, а она тихо и осторожно ступала следом. Когда-то за это он задушил бы Вита.

Контору Бертика она оглядела с любопытством.

— Вполне приличная комнатка. И диванчик есть. Хороша контора. А тут сидишь ты? Господи, вот так каморка. Здесь хоть когда-нибудь бывает светло?

Она жалела его, считала мучеником. Стены комнатенки сжимали их железными руками. Тень Вита возникала перед мысленным взором Петра, куда бы он ни поглядел; на валиках дивана лежала растрепанная голова черноволосой Майды, ее пылающее лицо и рот, полураскрытый в пьяном крике, бледное лицо Бертика плыло в желтом тумане лунным серпом, казавшимся гнусной ухмылкой. Приготовление чая помогло им пережить первые минуты стеснения.

— Он спекулянт, — сказал Петр, когда Кама подивилась Бертиковым запасам сахара и сухарей.

— И ты у него служишь и не можешь уйти?

— Тут мне лучше, чем где бы то ни было. Я не спекулирую, а работа всюду одинакова. Здесь я, по крайней мере, один и сам себе голова.

Пока пили чай, спорили о том, сообщник ли Петр, если служит у Бертика. Сидели на диване в такой дали друг от друга, как будто Кама пришла нанести визит вежливости. Они растягивали время и говорили прерывисто. Однако то, что они боялись сказать, звучало в них так, что они не слышали друг друга. Допили чай. Петр отнес чашки на стол, и тишина встала во всей своей огромности.

— Кама!

Она посмотрела на него, и в ее взгляде он прочел покорность и страшную мольбу.

— Кама, можно мне тебя поцеловать?

— Ты знаешь, что можно, Петр. Здесь или под звездами, на площади среди людей или под землей в самом глубоком одиночестве. Всюду. Для меня нет ничего более прекрасного.

Он опустился на пол и положил голову ей на колени. И ее бесконечное смирение растрогало и обезоружило его. Он не мог быть насильником или коварным злодеем. Лицо, спрятанное в складках ее юбки, утопало в них, задышалось в благоуханной тьме, которую он впитывал вместе с запахом ее тела. И пока пальцы ее ласкали его волосы, вся страшная жизнь, отпечатавшаяся в воспоминаниях, как в смертный миг, промелькнула в его мозгу потоком жгучих мук и раскаяния. И казалось ему, что лучше всего не подымать головы, уплыть в пустоту и никогда не возвращаться к действительности, где чудное сияние прекрасных взблесков отбрасывает длинные тени отчаяния. Прошлое моросило горьким дождем. В этом ароматном заточении, когда захватывало дух, в этом изумленном молчании, когда он захлебывался, слушая собственное сердце, он исповедовался немо, беззвучно, страстно, до мучительного саможжения души. Пылайте, языки пламени, налетай, огненный поток, мне все равно! Если придется поднять голову, ему хотелось бы оказаться Петром детских лет, мальчиком, изумленным открытием первой любви. И все равно где-то глубоко под этой лавой покаяния хохотала гордость искушенности и греха, ранней зрелости и мерзкого молодечества. Он чувствовал, что очистился перед Камой этой своей безмолвной исповедью, и все-таки не признался ей ни в чем. Но с этой минуты все погребено, и никогда уже больше он к этому не возвратится.

Когда они уходили, она поцеловала его в дверях и сказала:

— Ты ведь мой чистый мальчик, Петр, да?

Гордость опыта и лжи хохотнули напоследок, но уже без всякого торжества. Она была прекрасна, могла ли она быть прекраснее когда-либо еще, кроме этой минуты? Она созрела для нее, как он и надеялся, но созрела ради себя, а не ради него. Где она теперь, сила насмешки и пренебрежения? И если это была любовь, то он не хотел чувствовать себя одиноким и опозоренным.

Кама прекратила разговоры о дружбе и эмансипации. Приходила каждый день и признавалась, что, как скряга,

считает минуты, пока она с ним, которые отделяют ее от мертвого времени, когда она остается одна. Мир снова сузился до пространства, где они были вдвоем. Наверное, она все еще думала и о других вещах, переживала их, но думала и чувствовала только через свою любовь.

Он старался проникнуть за ней следом в этот счастливо уменьшившийся мир, который для Камы оказался бесконечностью.

Ноябрь сыпал сырым пеплом туманов на крыши домов и мостовые, стремясь скрыть под серым покровом все, чему хотелось еще светиться и излучать тепло. Родина была свободной — однако это слово и чувство не наполнилось еще ясным представлением, как священная чаша с самым разным содержимым, как слово, пленяющее героизмом и смертью, как понятие, которое может убить и воскресить. И народ, это множество, объединенное одним языком и бесконечным разнообразием судеб, множество, где одни, вероятно, всегда будут погонять, а другие — везти. Но, несмотря на все сомнения, энтузиазм еще цел в груди, как в тот день, когда последний удар обрушился на треснувший свод империи и монархия, тщетно грозившая жерлами пушек, словно в насмешку, была сметена единой решимостью и громом песен.

Время стремилось дальше по бесчисленным руслам сердец, и под пасмурным зимним небом каждый день напоминал нескончаемое торжество, когда люди забывали о не спадавшей и все еще мутной и печальной реке забот и горя. В рядах возвращающихся солдат, которых приветствовала вся улица, однажды они увидели Вита. Петр хотел было разыскать его, но Кама воспротивилась. Зачем? Он не чувствовал к Виту ненависти, и, если бы отец был жив где-то там, далеко отсюда, он был бы еще счастливее. Напор смерти сник, и врата всех сторон света открывались снова. Пора, Кама, покинуть мне Бертикову дыру, пора начать жить сызнова и черпать из иного источника.

Лицо Камы выразило напряжение и грусть, как будто она следила за полетом птицы, исчезающей в облаках.

— Наверное, ты оставишь меня, Петр. Ведь я старше, чем ты.

Но Петр, сжав ее руку, улыбнулся.

ТУПИК

РОМАН

SLEPA ULIČKA, PRAHA, 1953

Перевод
В. ПЕТРОВОЙ

Михал Громус стоял у окна, посматривал то на крышу дома напротив, то опять на улицу, покачивался с пятки на носок, насвистывал, замолкал и раз-другой зевнул.

Михал готовился к третьему государственному экзамену и был сыт по горло гражданским кодексом. Мозг его уподобился заморенной ядовитыми газами почве, и мысль, едва вступив на нее, пошатнувшись, сникала и падала ниц, прежде чем он успевал ее уловить.

Ни на крыше, ни на улице ничего не происходит.

За трубу зацепилось белое облачко, оно не меняется и все висит на одном месте. Так мало народу ходит по этой улице. У владельца лавки, что напротив, наверняка скудная выручка. Скоро полдень, но уже добрых полчаса никто не переступал порога его заведения. Какие доходы у бедолаги за год? Здоровается всегда так смиренно, словно стыдится, что вообще живет на белом свете.

Прибежала собака, обнюхала выставленный на тротуар мешок с картошкой, постояла, задрав лапу, и помчалась дальше, все бочком, бочком вперед, ведь еще столько мест предстоит обнюхать и окропить! Дом подрагивает от гулко-го мерного стука деревянных молотков по полоскам кожи, разостланным на наковальне — в подвале золотобойная мастерская. Золотобит, золотобит, золото, золото!

Михалу Громусу двадцать шесть лет. Другие в его годы уже стали кандидатами на должность адвокатов, сидят в присутственных местах, спешат делать карьеру (собака мчится по улице, ей еще многое предстоит обнюхать и окропить!). Михал усердием не отличался, студенческие годы растратил впустую, не по глупости, из одного упрямства. Учись! А если ты не хочешь? Дома крутятся колеса отцовской фабрики (для кого?), а ты ломай себе голову да мели языком во имя чьих-то интересов. Где написано, что в один прекрасный день я не вернусь, хоть бы и с дипломом, и не возьму, что мне причитается?

Белое облачко наконец сдвинулось и поплыло — кажется, будто из трубы вырвался ослепительно белый клуб дыма, снизу чуть тронутый желтизной.

Михал отлепился от окна и подошел к столу. От вида разложенных на столе лекций стало тошно. Он торопливо собрал их и швырнул на полочку за занавеской. Снял со стены теннисную ракетку, достал из кармана крону и подбросил, загадав: лев или дева, пойти играть в теннис или отправиться на пляж? Чтобы помочь решению созреть, надо бы выпить рюмку коньяку... Выпил и стал наливать вторую, когда в передней раздался звонок. Михал насторожился.

Дверь его комнаты выходит в переднюю, и ему слышно каждое слово. Шлепанцы квартирной хозяйки зашаркали по кафельной плитке, отодвинулась крышечка глазка, грохнула дверная цепочка, и ханжеский голос старушечки запел на высокой ноте взволнованно и почтительно:

— Ах, какой гость к нам изволили пожаловать. Какой гость! Сам пан фабрикант пожаловали! Ах, какой гость! Пан сын дома, он занимается.

Михал потягивал коньяк и улыбался. Хозяйка не так уж далека от истины: он действительно дома и еще полчаса назад занимался. Сейчас его особенно радовало, что он убрал лекции, а на столе лежит теннисная ракетка и стоит коньяк. Михал торопливо снял пиджак и, наклонившись над тазом, принялся, шумно отфыркиваясь, ополаскивать лицо. И старый Громус, войдя в комнату, сразу же уперся взглядом в выставленный зад сына.

Полагая, что его приход остался Михалом незамеченным, Фердинанд Громус задержался в дверях и тихо стоял, собираясь внимательнейшим образом осмотреть комнату. Но Михал разочаровал его — не оборачиваясь и не подняв головы, он сказал:

— Привет, отец! Садись!

Фердинанд Громус засопел в ответ и тяжело опустился на ближайший стул. В комнате, будто умышленно, все противоречило тому, что успела сообщить квартирная хозяйка. Постель еще не застелена, потому что Михал разрешает прибираться, лишь когда уходит из дому, на ночном столике, рядом с чашкой кофе, валяется кусок рогалика — остатки завтрака. Теннисная ракетка на столе рядом с бутылкой коньяка и недопитой рюмкой исторгли из груди Фердинанда Громуса тяжелый вздох.

— Надеюсь, я тебе не помешал? — сказал он, обращаясь к спине сына.

— Вроде бы мешать нечему, — отвечал Михал, вытираясь полотенцем. — Вот собрался на теннис, но время еще есть.

— Занимаешься? — шумно выдохнул отец, делая новую попытку пробиться сквозь равнодушие Михала.

— Бывает.

Молчание вмешалось, как третий собеседник. Сын, завязывая перед зеркалом галстук, весело насвистывал. Загнал-таки отца в угол.

Старик тяжело дышал. Сердце пошаливает, лестница утомила, а тут еще прибавилась досада. Вот, значит, как милый сыночек распоряжается своим временем и отцовскими деньгами!

Михал поставил перед стариком рюмку. Фердинанд Громус разволновался. Рот наполнился слюной, сердце бешено заколотилось. С тех пор как врач запретил ему пить, у Громуса всякий раз при виде пьющих возникает ощущение, будто тело его рвут на куски. Громус неохотно расставался с чем бы то ни было, что принадлежало ему, будь то деньги или улады.

— Мне запретили, — произнес он страдальческим тоном.

Сын пожал плечами.

— Видимо, на то имеются причины.

Фердинанд Громус вплотную прижался к спинке стула. Он бы не посмел так разговаривать со своим отцом, хотя тот был простым деревщиком. Делал деревянные башмаки. Старый Громус с выражением детской строптивости и обиды на лице промолчал.

Сын чистил щеткой пиджак.

— Я приехал сообщить, что мы перебрались.

Михал резко повернулся.

— Это как же? Ты построил еще один дом?

Повеселев от произведенного впечатления, Фердинанд Громус тут же выложил главный козырь:

— Нет, купил еще одну фабрику!

— Когда? — крикнул Михал. — Фабрика не карманные часы. Шел мимо, приглянулась, и купил, так, что ли?

Фердинанд Громус недовольно фыркнул.

— Взял да купил!

Еще чего, отчитываться перед сыном, которого он полностью содержит. Купил фабрику, и дело с концом. Так он, по крайней мере, считает. Но если говорить честно, то он, Фердинанд Громус, еще на пасху ходил вокруг да около обанкротившегося фабриканта игрушек Тыльнера. Михал

на пасхальные вакации приезжал домой, а купчую старый Громус подписал на следующий же день после его отъезда.

Значит, прошло целых два месяца. И вот уже седьмая неделя, как там налажено производство.

— Отличная сделка, мой милый, великолепная фабрика, как будто специально построена для Громуса, не пришлось почти ничего менять, современные машины, радость поглядеть! Работают как дьяволы! А что мне миллион семьсот тысяч — раз плюнуть, сам понимаешь. Купил со всеми потрохами, с правом на производство и фирменным знаком, со складом готовых изделий. Ну-ну, старик, не хмурься. (Фердинанд Громус становится все бодрее, сияя от сознания собственного добросердечия.) Я хотел сделать тебе сюрприз.

— Точнее говоря, ты хотел сказать, что мне в это дело соваться нечего.

Фердинанд Громус не любит подобных «точнее говоря». Но вынужден проглотить, можно сказать, с улыбкой, ибо самое главное он еще не сказал.

Михал потягивает коньяк и курит. Фабрика игрушек Тыльнера — отличное предприятие. Построена после переворота, прекрасные здания, цеха с вентиляцией, современные станки, идеальные складские помещения. Хорошая покупка, особенно если принять во внимание, как легко приспособить станки, на которых до сих пор делали игрушки, пуговицы, четки и всякие ерундовские безделушки из дерева, под производство щеток и гребней. Впрочем, любому молодому человеку приятно прийти к убеждению, что его отец, так или иначе, не полный осел. Это уже позволяет кое на что надеяться.

На край рюмки села муха. Ее хоботок двигается ритмично, словно поршень, она наслаждается остатками спиртного. Михал спугнул ее, махнув горячей сигаретой. Он прикидывает и оценивает отцовское приобретение, просчета вроде бы нет, и все-таки неприятный осадок омрачает его мысли, не давая разыграть радости. А что он, Михал, значит во всем этом деле? Он, как обычно, ни при чем.

Фердинанд Громус вздохнул, набираясь решимости, чтобы объявить главное, для чего он, собственно, явился. Но сын не замечает. Он поглощен своими переживаниями и обдумывает, какой бы каплей яда отравить отцовскую радость.

— Поздравляю, — выдавливают он наконец. — Но мне хотелось бы знать, что ты станешь делать с готовой про-

дукцией? Склад переполнен игрушками. Организуешь раздачу рождественских подарков бедным детям?

Фердинанд Громус съежился на стуле и засопел.

— Игрушки тоже пришлось взять. Иначе было нельзя. За них можно получить, самое меньшее, полмиллиона, если, конечно, удастся сбыть удачно. Почти треть той суммы, которую я дал за фабрику. Что скажешь?

Михал пожал плечами.

— А почему их не продал сам Тыльнер?

Старик вскипел:

— Ты не хуже меня знаешь, что такое Тыльнер и почему у него с самого начала все шло через пень-колоду. Дай время, я еще не так развернусь. Что для меня парочка вагонов! Я в своей жизни и не столько продавал. Сбывал и такое, чем бродяга побрезгует. А этот товарец, между прочим, вне всякой конкуренции. Тыльнер не был коммерсантом, но делать хорошие вещи умел. — Он замолчал и сидел, громко отдуваясь. И вдруг ни с того ни с сего: — А почему бы тебе самому не приехать посмотреть?

Михал подавил смех. Наконец-то все встало на свои места.

— Меня это не занимает. Подожду до каникул.

Подобного ответа, надо признаться, Фердинанд Громус никак не ожидал. Он знал об отвращении Михала к учебе, на это и рассчитывал. Что же произошло, что изменилось, почему он стал так безразличен к делам, от которых когда-то его оторвать можно было чуть ли не силой?

Взгляд Фердинанда Громуса остановился на картине, подаренной Михалу одним из приятелей. Из тех, кого более всего привлекал его тугой кошелек.

Хотелось бы мне знать, почему у этой девицы зеленые груди. Похоже на протухшее мясо и вызывает черт знает какие представления. Человеку в моем возрасте приятно хотя бы глаза потешить! Как мой сын такое терпит? Придется назвать вещи своими именами. Цвет и краска какое-то время путались в голове у Громуса, и он никак не мог от этого избавиться.

— Пойдем обедать, — сказал Михал и поднялся. Но отец оставался сидеть, насупившись, будто капризный ребенок.

— Дурацкая картина, — сказал он в бешенстве. — Хуже быть не может. Ты ее домой не бери.

— Что значит — домой?

Старый Громус окончательно взбеленился.

— Должен же кто-то быть рядом, пока я хотя бы

налажу производство? Пока мне удастся все распродать и освободить склады! Мне нужно место для собственных изделий, я тоже, в конце-то концов, имею право выпускать игрушки. Ведь машины будут простаивать, если мы с этим не справимся. Я оставил кой-кого из тыльнеровских конторщиков. Из тех, что потолковей. Какое там — толковей! Всех надо гнать в три шеи. Черт возьми! Я благотворительностью не занимаюсь.

В соседней комнате старые стенные часы отбивали двенадцать. Хриплые глухие звуки, сливаясь, проникали через тонкую стенку. И вдруг словно встали преградой, остановив излияния Фердинанда Громуса. Мысли споткнулись и разбежались в замешательстве. Ему уже пора сидеть за столом, доктор рекомендовал «строго соблюдать время обеда». Ну можно ли соблюдать это время, если у тебя голова идет кругом от забот. Э, черт бы побрал эти заботы! Прежде всего надо сохранить жизнь, впрочем, кто знает, хорошо бы сначала договориться, а потом отправляться есть. Сердце Громуса учащенно забилося от растерянности, в горле клокотало плаксивое раздражение.

— Уже двенадцать, надо же! — отметил он и беспомощно развел руками. И вдруг решил. — Короче, — выпалил он, — я не желаю на старости лет вводить в дело чужих людей и быть отданным в их руки на милость и немилость, а один я не справлюсь. Почему бы тебе не попробовать и не помочь на первых порах?

Наконец-то Фердинанд Громус все выложил, но легче не стало. Сын смотрел холодно, словно неприятности отца забавляли его, и отец, сознавая свою вину, чувствовал неприятно сверлящее движение совести.

— А как же мой третий экзамен?

Фердинанд Громус беспокойно заерзал. Он готов был поклясться, что отлично знает сына, но просчитался.

— Боже сохрани, — скороговоркой, с поспешной готовностью воскликнул он, — боже сохрани отрывать тебя от занятий! Но ведь ничего страшного, если ты сдашь экзамен на полгода позже (мимолетное колебание, и отец все же нашел в себе храбрость), — ты пропускал больше, да к тому же по пустякам!

Заблуждается тот, кто в этом месте ждет драматической паузы, когда будущее взвешивается с прозорливой осмотрительностью и тщательно подыскиваются слова ответа. Слишком долго жил Михал угнетаемый желаниями и одновременно ненавистью к навязанной ему профессии. Сотни раз, не менее, он обдумывал и проигрывал про себя

эту сцену и ее многочисленные варианты и столько же, не сдерживая резкости, мысленно отвечал, как и сейчас:

— Нет. Если уж я поеду, то останусь дома насовсем.

И отец, позабыв о решении проявлять доброжелательность, ни к чему не обязывающую и уведящую от решения на неопределенный срок, поддался-таки деспотической зависимости от Анны Громусовой, своей жены.

— Как? — вскричал он. — А эти долгие годы и потраченные деньги? Бросить на ветер?

Михал поднялся, подошел к окну и, обращаясь к стеклу, которое тихонько позвякивало от звуков его голоса, произнес:

— У меня не было желания учиться, и я никогда этого не скрывал. И сегодня тоже обращаюсь с просьбой не я. Вот так: или — или.

Он был спокоен и настолько уверен в себе наперед, до мельчайших подробностей зная, что́ будет в словах отца, как бы он ни ответил. Облако над крышей превратилось в гору отливающего серебром пара, и от этого сверкающего айсберга сделалась светлее черная, покрытая сажей улица. Его же дыхание, отразившись от стекла, щекокнуло Михала в носу. Он поспешно отступил и чихнул громко и весело. Ощувив себя полновластным хозяином положения, подошел к отцу сзади, положил ему руку на плечо и сказал с наигранной бодростью, которую Громусы так хорошо умели изображать:

— Разве я не прав?

Но старый Громус был по-прежнему подавлен. Где-то в себе самом он искал берег спасения. «Или — или». Какой вздор! Категорический императив. Как ни в чем не бывало. Каждый хочет урвать кусок побольше и не желает слышать о других. А пока что если один дает пять, а другой четыре, то в конце концов они столкнутся на четырех семидесяти пяти или на четырех двадцати пяти. «Не желаю! — кричала Анна Громусова, когда он объявил ей, что вызовет сына помочь ему. — Не желаю его здесь видеть!» А теперь этот молодой безумец орет: «Или — или!» Но на чем-то им придется сойтись, все как-то должно решиться. На мгновение сознание Фердинанда Громуса слегка замутилось. Хорошо бы всегда было так. Он устал, он хочет отдохнуть. Но только выпусти дело из рук — и после твоей смерти все пойдет прахом; впрочем, если душа в посмертном пути все еще соединена с этим миром, вот тогда он посмеется, похочет, пребывая в вечности! Громус и в самом деле услышал тихий, похожий на икоту смех, — так смеются плуты

и пройдохи, когда им повезет. Но вместе с тем в нем уже проснулось коварство и начинает действовать. Неужели нет выхода? Ну-ну! Не так страшен черт, как его малюют!

— Зря кипятишься, — молвил он. — К чему нам с тобой брать на себя обязательства? Ничто так не обременяет, как обязательства, принятые второпях. Может, тебе не понравится и ты захочешь все бросить и сбежать, но ты связан — причем по собственной воле. Поедем, попробуешь, а об остальном поговорим позже. (Фердинанд Громус неожиданно рассмеялся, и смех этот был словно бы отзвуком того смеха, который он только что слышал в себе.) Не станем же мы тебя выгонять, если за тобой потянутся деньги.

В последней фразе отец естественно и без нажима перешел на множественное число. Проглотит, куда ему деться. Говоришь, говоришь, слова льются рекой, кто заметит, какое ты употребляешь число — множественное или единственное! Но Михала словно током ударило. На лбу пролегла складка, и старый Громус, увидев ее, поперхнулся удушливым кашлем. Еще разрушительней, чем если б она находилась здесь сама, в их переговоры вмешалась Анна Громусова, жена Фердинанда. Молодая ярость бурлила в Михале. Его вдруг охватило желание одним махом разрубить узел, который в страхе перед женой и в стремлении уйти от определенного ответа пытался затянуть на нем отец. Михал знал, что этого не сделает, но мог на несколько секунд хотя бы поиграть с этой мыслью. Но нет, не дано Громусам разом рассекать гордые узлы своих трудностей, они их скорее терпеливо распутывают, никогда не расшибая лба об стену — в конце-то концов, можно сделать подкоп либо перелезть через нее.

Отец, обеспокоенный молчанием сына, пошарил под пиджаком и достал часы.

— Самое время, если мы хотим перед отъездом пообедать.

— Ты на машине? — спросил Михал и, когда старик ответил утвердительно, распахнул окно и, высунувшись, свистнул шоферу. Полчаса ушло на сборы. Михал упаковывал вещи, а обрадованный отец суетился, старался помочь и мешал. Пятью минутами позже, вслед за шофером, выволокшим два тяжелых чемодана, оба Громуса покинули квартиру.

— Но отказываться от квартиры все же не стоило, — заявил отец: в нем боролись сомнения, вызванные не только расстроенным видом старухи хозяйки.

— Не к чему бросать деньги на ветер, — ответил Ми-

хал. — Сколько я пробуду дома? Два-три месяца? Год? До самой смерти?

Фердинанд Громус засопел. Не имело смысла возвращаться к этому вопросу. И с наигранной бодростью заметил:

— Поживем — увидим.

2

Было половина шестого или немногим больше, когда автомобиль с Громусами добрался до Либниц. Попасть в город, минуя станцию, невозможно, ибо шоссе и железнодорожные пути километрах в пяти от города сближались и далее продолжали свой путь рядом.

Фердинанд Громус велел остановить машину у пакгауза, чтобы проверить — прибыл ли вагон с роговиной, который он сегодня ждал. Михал вышел вместе с ним.

— Поезжайте, мы дойдем пешком, — сказал Михал шоферу, и Фердинанд Громус нахмурился. Здесь распоряжался только он.

Громусы обогнули длинное складское помещение, откуда несло карболкой, и остановились на каменной эстакаде. Вагон подогнали еще в четыре, и поденные рабочие уже наполовину разгрузили его. Кладовщик Йозеф Балада стоял в распахнутой на груди рубашке, широко расставив ноги и сдвинув кепку на затылок. С виду человек основательный, хотя и вспыльчивый. Он умеет организовать работу, но в любой момент с него станет подскочить и вырвать ношу из неловких рук. Балада приветствовал Громусов с чувством собственного достоинства и некоторой снисходительностью, поскольку был председателем фабричного комитета и профсоюзной организации и старался особенно при рабочих не уронить себя и не выглядеть чересчур услужливым. Грузчики притронулись к кепкам, что-то пробурчали, и движения их сразу приобрели нарочитую вялость: эти ребята были неробкого десятка.

Фердинанд Громус, не обратив на них внимания, принялся выяснять у Йозефа Балады, закончат или не закончат они разгрузку до шести, но Михаил, стоявший рядом, явственно ощущал их строптивость. Вы только посмотрите, как она в них укоренилась, как глубоко засела. Возможно, это у них в крови, с этим они появляются на свет. Михал вырос среди рабочих, но уже успел все позабыть. В один прекрасный день ему тоже придется столкнуться с ними, этого не избе-

жать; каждый наниматель должен когда-нибудь с ними столкнуться. С какого же боку к ним подойти? Михал Громус смотрел на рабочих, если можно так выразиться, голодными глазами, пытаясь прочесть в поведении, в движениях, репликах и перебранке, которыми они сопровождали работу, ответ на ту загадку, что однажды поставит перед ним будущее. Их ленивые, рассчитанные движения выводили Михала из себя. Шесть мужиков на такую работу! Два часа ковыряются, а седьмой верзила мелет языком, командует, и все пристраивается, как бы дать передых своему здоровенному телу. Один-единственный маленький подъемный кран с двумя рабочими сделал бы все за полчаса. В этой стране не дорожат ни временем, ни средствами — работа ведется бессистемно, слишком много болтовни.

— Идиллия, — сказал Михал, когда они вернулись на шоссе и направились к дому.

— Какая идиллия? — испугался старый Громус.

— Да эти твои работнички у вагона.

— Разгрузили за два часа, как положено.

Михал рассудил, что нет смысла раскрывать свои мысли. Они продолжали идти молча, сын на полшага впереди тяжело пыхтящего отца. Старику лишь бы покой. В уголках сознания скреблось сомнение. Может, он напрасно позвал сына домой? Вспомнил Анну, неуступчивую, жесткую и злобную. Когда он хотел поступить по-своему, в доме начинался ад. Однако старый Громус надеялся, что сын станет ему опорой и вместе они сумеют настоять на своем. Ха-ха. Сын станет опорой! Чувство страшного одиночества сдавило горло.

Из-за пруда с восточной стороны Либниц невозможно было подвести железную дорогу ближе к городу, и станция находилась в получасе ходьбы от него. В некотором отдалении друг от друга, справа от шоссе, разбросаны несколько домишек. Они появились здесь после переворота и большей частью принадлежат служащим железной дороги. Два дома, уже давно заселенные, так и не оштукатурены. Когда город, которому по эту сторону ничто не мешает разрастаться, доберется сюда, эти дома станут помехой. Купили у крестьян землю и, как говорится, построили дома, где кому в голову взбрело. Вот тебе и муниципалитет!

Бывшая фабрика Тыльнера, а теперь Громуса стоит на помещичьих землях где-то на полпути между станцией и городом. Свободные уголья Громус проморгал, Михал понял это давно, но тогда его это еще не трогало. Он остано-

вился и обвел ниву глазами, равнодушными и красоте волнующихся хлебов, созревших для жатвы. Михал видел здесь совсем иное!

— Ты чего? — окликнул его отец, обеспокоенный остановкой, для которой, по его мнению, не было причин.

— Ты никогда не задумывался, — проговорил Михал, — почему Тыльнер, который стал строиться после переворота и мог выбрать из конфискованных земель какие угодно, забрался так далеко от станции?

— А при чем тут я, — оборонялся Фердинанд Громус бранчливо. — Я купил дело на ходу, как было уже построено и расположено. Не мог же я потребовать, чтобы Тыльнер перетащил фабрику поближе к станции.

Михал выдержал паузу, оглядывая обширные волнующиеся поля за станцией, а может статься, желая удержать мираж, ускользающий от него, словно гордая красавица.

— Кто знает? Наверное, лучше было не покупать, а строить самому, но здесь.

Фердинанд Громус раздраженно фыркнул. Разве затем он привез сына, чтобы каждую минуту выслушивать его наставления?

— Благодарю за совет, — сказал он, — подсчитай разницу — сколько я отдал за Тыльнерову фабрику и во что мне встала бы новая.

Михал пожал плечами.

— Надо было, по крайней мере, приобрести эту землю.

— Хотелось бы мне знать — зачем?

— Если уж нет другой причины, то хотя бы для того, чтобы тот, кто когда-нибудь станет здесь строиться, не выглядел умнее тебя.

Грузовик, доверху груженный песком, с грохотом промчавшийся сзади, не дал Фердинанду Громусу ответить. Ветер дул в их сторону, и они утонули в облаке пыли. Михал прижал к носу платок, отец задохнулся в приступе кашля. Тоска сдавила грудь и даже погасила гнев, вызванный ответом сына.

В Либницах они увидели обычную картину. Старинный городок, населенный земледельцами, в кровь которого двадцать лет назад болезнетворной бациллой проник промышленник, еще не сдался! Город боролся, вифлиемские запахи хлебов смешивались с вонью бензина и дыма, и утренние, дневные и вечерние заводские гудки звучали диссонансом с ревом голодного скота. Безучастный к лихорадке, охватившей город в виде бензиновых моторов и машин, крестьянин, обутый в деревянные башмаки, шагает

рядом с телегой, запряженной парой медлительных равнодушных коров. Он пощелкивает над их головами кнутом и монотонно выкрикивает свое, казалось бы, совершенно излишнее: гать-гать, тпру, н-но, милые! Навстречу ему спешит женщина с пустой еще тачкой, вздымая пыль босыми ступнями и длинными юбками. Его обгоняет стайка барышень, возвращающихся со станции, излюбленного променада, где они встречают поезда. Ах эти барышни! Дочери фабричных мастеров, а может, и мелких торговцев. Их платья — жалкое подражание столичной моде, а уморительные шляпки вызывающи. Они идут взявшись под руку и занимают весь тротуар. Они скорее степенны, нежели веселы и молоды. А на некотором расстоянии, в ослепительно белых сорочках и брюках, юбках и блузках, движется компания гимназистов и барышень, вооруженных теннисными ракетками. Девушки смеются, оборачиваясь назад, юноши рассекают жестами воздух, размахисто и небрежно.

Либнице подобны пруду, куда после векового покоя хлынули вдруг проточные воды. Городок походит на пожилого человека, что сбрил усы и вообразил себя снова молодым.

Михал с улыбкой оценивает окружающее и свои мысли, вызванные увиденным. Почти каждый встречный кланяется им, и старый Громус отвечает с достоинством и важностью, как и пристало человеку его положения и достатка. И горькое чувство, которое вызвали в нем последние слова Михала, понемногу оставляет его. Вот! Сразу видно, чего я стою, и пустая мальчишеская болтовня ничего не изменит.

Их взорам предстала фабрика. Белая стена, обращенная к шоссе, и боковые стены, выходящие на поля, обнесены дощатым, покрашенным в коричневый цвет забором. Высокие, в два этажа, цеха, плоские крыши и большие окна — квадраты стекол, оправленные металлом, — жилое здание, стоящее в стороне, ближе к городу, — вписывались в пейзаж. Однообразные глади стен нарушают лишь окна. Крыша плоская.

— Вот мы и дома, — сказал Фердинанд Громус, не скрывая тщеславия, придавшего его голосу звучности.

Внутри все не соответствовало внешней современной целесообразности, столь милой душе прежнего владельца и создателя. Анна Громусова использовала много метров ткани и приложила немало изобретательности, пока ей не удалось наконец воспрепятствовать вторжению света, пре-

жде заливавшего комнаты, и погрузить их в привычный для нее полумрак, в котором ей превосходно дышалось. Она не пощадила даже зимнего сада, занавесив здесь окна тяжелыми портьерами, и проводила там долгие часы, утверждая, будто обилие света вредит ее цветам, но главное, она не желает жить как на площади, где любой зевака, когда ему заблагорассудится, станет пялиться в ее окна.

Впрочем, кто знает, может, Анна Громусова права, ибо, погружая во мрак свою жизнь, она проявляла милосердие и к мебели, темно-коричневая массивность которой и бульдожья тяжеловесность с ее шишками, выпуклостями и завитками вполне соответствовали общим сумеркам.

Отец и сын вошли в дом молча и разделись в просторной передней. Никто их не встретил, все было тихо, и лишь с первого этажа, где находилась кухня, долетали гулкие удары. Это кухарка отбивала мясо. Золотобит, золотобит, золото, золото! Михал широко улыбнулся отцу, стоявшему перед ним в молчании и растерянности.

— Мать, наверное, в зимнем саду, — наконец выдавил тот. — Она всегда там сидит в это время.

— Я подумал, — ответил Михал, — что мог бы жить в отеле и приходить только в контору. Ведь я, собственно, только затем и приехал.

Фердинанд Громус ужаснулся.

— Нет-нет. Ни в коем случае! Что скажут люди? Ты же все-таки мой сын.

— Ах да, а я чуть не забыл.

Чувство мучительной беспомощности сдавило горло Громуса-старшего. И Михал даже немножко испугался. Не слишком ли далеко зашел он для начала? Он поднял руку, как бы защищаясь от предполагаемого ответа, и поспешил предвосхитить события.

— Шучу, шучу, — сказал он и рассмеялся. — Не тронь лихо, пока сидит тихо...

И Фердинанд Громус, в котором активное старение ослабило тормоза эмоциональных реакций, тут же успокоился.

— Не выношу подобных шуточек, — промямлил он. — Не выношу. Из-за них происходят всякие недоразумения. Я никогда не позволил бы себе сказать подобное своему отцу, хотя он был простым деревщиком.

«Хотя был простым деревщиком», — мысленно повторил Михал, улыбнувшись словам отца, которыми он подчеркнул значительность своего положения.

Открывая двери в зимний сад, Фердинанд Громус

подтолкнул Михала вперед и за его спиной нарочито громко сказал:

— Вот я и привез его!

Смехотворное и фальшивое добродушие. С таким же успехом можно было в дремучих лесных зарослях радостно приветствовать шайку молчаливых, вооруженных до зубов разбойников. Возможно, это не преувеличение. Но здесь, в зимнем саду, полумрак, лес и заросли растений и среди всего этого сидит Анна Громусова и молчит.

Да, здесь сумерки. Плотные портьеры задернуты на всех окнах, кроме одного, что выходит на запад. Единственное незатемненное окно, обращенное на запад, играет особую роль. Можно подумать, будто Анна Громусова сидит возле него, чтобы лучше видеть свое рукоделие. Окна на запад. На Западе Англия, а в Англии живет ее сын Роберт.

Здесь настоящий лес, заросли комнатных растений, стоявших прежде по всем комнатам старого дома Громуса. Теперь они собраны вместе. Переплетение филодендронов и карликовых лип, араукарий и фикусов, цинерарий и уродливо разросшихся фуксий. Что и говорить, мрачный уголок, распространяющий сырость и усугубляющий слово «тьма» всеми оттенками глухой зелени.

И когда Анна Громусова обернулась к входящему пасынку, могло показаться, будто ожило одно из тех немислимых растений, листья которых топорщатся вокруг нее и над ней.

Михал поздоровался и направился к мачехе, веселый, молодой, его не так-то просто чем-либо огоршить. От могильного духа влажной земли свербит в носу и горле. Он улыбнулся. Анна Громусова поднялась.

— Приветствую тебя, — сказала она и протянула негнущуюся, будто деревянную руку. Тихая интермедия, когда потрескивают лишь плетеные кресла под тяжестью тел. Кресло Фердинанда Громуса скрипит дольше прочих. Отец никак не может усесться.

— Пожалуй, — заговорила Анна, — будет лучше, если ты оставишь нас наедине.

Фердинанд Громус поднялся неохотно и испуганно. Быстро перевел взгляд с жены на сына. Ее лицо оставалось неподвижным. Сын улыбался. Фердинанд Громус от неуверенности и вдруг охватившего его страха тоже улыбнулся.

— Можно и так, — произнес он и опять посмотрел на сына. — Можно и так.

И поплелся, нога за ногу, напряженно ожидая, что его

окликнут и позовут обратно, ему так хочется оглянуться, чтобы знать, что же происходит за его спиной.

— Надеюсь, он хорошо закрыл,— проговорила Анна, когда за Фердинандом Громусом захлопнулась дверь.— Сквозняк мне вреден.

— Наверно,— ответил Михал, но и не подумал проверить. Тогда Анна поднялась, посмотрела и, вернувшись, уселась, а Михал неожиданно серьезно, сам удивляясь своему возмущению, воскликнул:

— Мне надо было бы оскорбиться за старика, мамаша.

— Надо бы.

Незакрытое окно находилось у них за спиной. Лицо Анны скрывала тень, лицо Михала было освещено. Он подумал о следователях, ведущих допрос.

— Но я, пожалуй, не оскорблюсь,— сказал он.— Это было бы чересчур примитивно.

Она взяла со стола отложенное вязанье, и длинные костяные спицы замелькали в ее пальцах. Они стучали, будто танцующие маленькие скелетики, отбивающие ритм крошечными суставами. И сама Анна Громусова, будто их королева, костлявая, с прямой спиной и почти не склоненной к работе головой, мрачная и злобная, отражалась в незавешенном окне, в голубоватой белизне угасающего дня. Выдержав долгую паузу, она заговорила:

— Сколько ты намерен пробыть здесь?

— Не знаю. Я еще не знаю, что мне предстоит сделать.

— Не будем играть в прятки. Я хочу слышать одно: сделаю, ты вернешься в Прагу.

Михал заколебался. Если ответить дерзостью, как ему хочется, что он выгадает? Начнется война. На каждом шагу он будет наталкиваться на препятствия.

— Вижу, у тебя свои планы. Забудь о них. Если здесь не может жить Роберт, не будешь жить и ты.

Ее заявление прозвучало слишком безапелляционно и резко, и молодость Михала подняла бунт.

— До чего же вы решительны, даже страшно становится,— пропел он с грубой иронией.— А вам не приходило в голову, что отец не вечен и этот вопрос однажды решится? Вы полагаете, фабрике должен наступить конец из-за ваших причуд?

Анна засмеялась.

— Должен наступить конец, если ее унаследует не ты? Впрочем, мне до фабрики нет дела.

Михал попытался взять себя в руки. Что ему нужно?

Время. Через месяц-два он найдет способ справиться со старухой.

— Кто вам наболтал, — отозвался он эхом на ее смех, — что я заинтересован в наследовании именно фабрики? Мне известен более легкий способ прожить безбедно, чем изо дня в день тянуть лямку в вечном страхе все потерять. Я больше забочусь о вас, чем о себе, предостерегая вас от своеволия.

Громусова оставила вязанье. С минуту она смотрела на Михала молча, он скорее чувствовал, нежели видел, ибо ее лицо закрывала густая вуаль тени, что она стремится проникнуть сквозь смех, за который он спрятался, и мысленно освобождает его слова от скорлупы, как орех, исследуя ядро.

— Достаточно того, — произнесла она наконец, — что я забочусь о себе сама. — И голос ее был преисполнен презрения. — Я не привыкла, чтобы за меня думали Громусы.

Михал поднялся. Он уже не мог пересилить себя.

— Достаточно, — пошел он в наступление, — и того, что один из Громусов содержит вас и окружает богатством. Не забывайте, кем вы были, пока не вошли в семью. Головокружительная карьера для вдовы путейского чиновника. Вам бы день и ночь благодарить отца, а вы его терроризируете.

Она сидела, неподвижная, каменная, как обычно, какой Михал знал ее, и потому имел полное право считать, что обращается к статуе. Он понимал, что зашел в раздражении дальше, чем того желал, и, запнувшись, лишь махнул рукой.

— Прошу прощения, — сказал он, почти извиняясь, — я не хотел оскорбить вас, но для встречи вы были со мной, пожалуй, слишком уж любезны.

В тишине плавали звуки. Отдаленный звон колокола, призывающий к молитве, — двуголосная мелодия мира — и лай собак на фабричном дворе, и бормотанье сторожа, несущего им ужин. Михал все глубже увязал в мучительном чувстве стыда: «Я смешон. Что мне еще сказать ей? Или лучше удалиться?»

— Яблочко падает недалеко от яблони, — пронзительно взвизгнула Громусова. — Я привычна к подобным разговорам в этом доме, но привычна и к тому, что в конце концов все будет, как я хочу. Ступай, переоденься к ужину.

И Михал вышел, ощущая каменную тяжесть взгляда на своей спине и сознавая, что успел проиграть, едва вошел в родной дом.

Фабрика шумит подобно плотине, уносящей вместе с водой время. Изю дня в день, с семи утра до пяти вечера, с перерывом на обед, крутятся маховики, свистят трансмиссии, спешат в круговерти, и невидимый хлыст времени подгоняет их. Время — деньги, деньги — власть; выпел дыма, то черный, то серый, вьется на флагштоке трубы, а под ним идет в наступление труд. И это называется битвой, эти монотонные, всегда одни и те же движения людей? Гуттаперчевый прут — в машину, щелчок — плашка, щелчок — плашка, и так до бесконечности, гуттаперчевые плашки продвигаются вперед, рука хватает, сует в машину, столько-то оборотов — новая плашка, обороты — новая плашка, как будто ты с утра и до вечера делаешь гимнастические упражнения: руки вперед, опустить, вперед, опустить, и музыка играет две неизменные ноты: та-та, та-та, не задерживай, приятель, твое время рассчитано, и твои движения связаны с оборотами машины, не оглядывайся, стой на своем месте, ни о чем не думай, стремись только вперед, та-та, та-та, руки в стороны, вниз, в стороны, вниз.

У каждой фабрики свой запах, но этот смрадный дух необычен. Тяжелый запах скота и загнанных лошадей, мчащихся по горячей степи, чтобы спастись от смерти. Запах горячей стали и масла разогретых подшипников, запах пота, выжатого напряжением из человеческих тел, — все это исчезает, поглощается зловонием паленого рога, щетины, шерсти и конского волоса. Сырье, перерабатываемое здесь, — органического происхождения. И плашки, заменяющие натуральный рог, — тоже, ведь давно нет на свете такого количества рогов и копыт, чтобы обеспечить человечество гребнями. Глядя на готовые изделия, трудно поверить, что часть их сделана из мочевины, а другая, скажем, из творога. Снимем же шляпы перед силой человеческой смекалки, но, не покоровшись, спросим: все это замечательно, но сделало ли это нас счастливее?

Впрочем, Михала не занимает вопрос человеческого счастья. Да и что это такое? Не отнимайте у нас времени подобной чепухой. Сейчас главная забота — избавиться от игрушек, которыми забит склад, и, избавившись, начать производить новые. Ведь не так-то просто обзавестись заказчиками, а потом оставить их ни с чем. Из окна, у которого сидит Михал, виден весь фабричный двор и стоящие стройными рядами цеха. Целый день они пыхтят, сотрясаются и смердят, словно зверь, стремящийся сбросить путы.

Ах вот он стимул! Голодный, перед твоими глазами жирный кусок, и от тебя зависит, каким образом ты проглотить его. Ну нет, меня теперь отсюда никому не выжить!

Ты выбрал не слишком веселую жизнь. Задача труднее, чем ты представлял даже в самых мрачных предположениях. Старые пути и связи Тыльнера закрыты, поросли бурьяном его нерадивости, завалены каменными глыбами конкуренции. Попытайся все же воспользоваться старыми, но ищи новые. Ни то, ни другое отнюдь не просто. Но в Михале уже бурлит молодая смекалка и молодая дерзость. Временами он удовлетворенно похихатывает, радость поет в нем. Попробуйте сказать, что торговля не романтика. Мы обошлись без венских посредников, которые засели кое-где, как разбойные рыцари старых времен, и собирают дань. Мы будем действовать на свой страх и риск. Ах, здесь, в этом маленьком, забытом богом городишке есть некий молодой человек, ничем не выдающийся, даже цвет его волос мне не по вкусу: ни блондин, ни шатен, будто пеплом посыпан, слишком румяная широкая физиономия, вытаращенные, словно в непонятном изумлении, глаза. Он своими письмами, будто вездесущими, неумолимыми щупальцами, обследует весь континент, э, да что там континент, не довольствуясь этим, он идет дальше старыми путями и, захватывая все, что родилось в Европе, продвигается на Восток и Ближний и Дальний, через Палестину, Египет и Персию проникает в колыбель чудес, религии и мудрости, разнюхивает Индию, блуждает по островам, разбросанным в просторах Тихого океана, обследует Африку, эту доисторическую насадку, несущую золотые и алмазные яйца, и через Атлантику вторгается в Южную Америку. Он предлагает игрушки, четки и всевозможные безделки, не забывая о щетках и гребнях. Ох, нелегко это, ей-богу, нелегко. Почему-то все больше становится тех, кто хочет производить и продавать, и все меньше покупателей. Он вызывает к представителям и консульствам своего государства, осаждаст министерство иностранных дел и торговую палату. Поднимает крик и суетится, как будто рушится старый и нарождается новый мир. Не станешь орать — тебя и не услышат. Иногда он полон веры, но чаще пребывает в унынии. Не все идет гладко. Он обрушивает ливень, а к нему возвращается капля-другая.

Живет неважнецки, едва ли кто-нибудь из нас ему позавидует. Работает, но результатов не видит. Почти постоянно в нем сидит страх ожидания. Карты сданы, но неизвестно, будет ли он в выигрыше. Хорошо бы подстрахо-

ваться. Управленческий аппарат фабрики он изучил уже лучше самого бухгалтера, просидевшего здесь двадцать лет, и даже лучше самого Громуса-старшего. Не зная покоя, рыщет по фабрике, лазает по цехам, часами наблюдает за работой, донимает мастеров в цехах, приводя их в замешательство своими вопросами.

Неопределенность подчас просто изнуряет его, ему не на кого опереться, не с кем посоветоваться, приходится снова и снова подхлестывать свою решимость. Но, вспомнив о днях учебы, бесплодно прожитых днях, что не оставили в нем радостных воспоминаний, он вновь обретае отвагу.

Наконец первые гонцы преодолели свинцовый и безмолвный океан незаинтересованности. Пошли заказы из Палестины и Египта. Громус-старший ликует. Для него эти дни, пожалуй, еще прекраснее, чем для Михала.

— А мы, видать по всему, преодолели невезение, — сказал Громус в то утро, когда на его стол легли конверты, похожие на чужеземных птиц. Он хлопнул мягкой ладонью по стопке писем и захохотал. — Тут даже из Бискры заказ на гребни. Неплохо, мой мальчик. Даст, пожалуй, тысяч семь — десять. Совсем неплохо для начала, честное слово. А я уже не надеялся, что у нас хоть что-нибудь выйдет.

Да и Михал успел позабыть о своих сомнениях. Он насвистывает и постукивает в такт карандашом.

— Непременно должно было выйти, — говорит он.

— Что до меня, то я вовсе не был уверен, — качает головой Фердинанд Громус. — Ах эта зеленая, ретивая молодость, не знающая преград! И почему бы душе не оставаться молодой, если плоть уже стареет и дряхлеет.

Рука, покоящаяся на стопке писем, плавает в луже солнечного света, бледная и вздувшаяся, словно тело утопленника. Чужая, незнакомая. Он глядит на свою руку, и его охватывает жалость к самому себе. Когда кончатся последние запасы жира — если, конечно, он доживет до того, — морщинистая кожа, иссохшая и вялая, обтянет кости. Фердинанд Громус содрогнулся, отдернул руку и опустил ее на колено. Когда-то давно, когда он был еще мальчишкой, ему нравилось нюхать свои ладони. Они пахли так странно — привольем, словно ветер, прилетевший из неведомых далей, — а если кончиком языка коснуться тыла, то кожа окажется соленой, как солонь, наверное, воды океана, о которых он в те поры лишь мечтал. Старик, будто невзначай, провел ладонью по губам, чтоб уловить ее прежний запах. Нет-нет. Старость не пахнет.

И Громус-старший в нетерпении уставился на склоненную голову сына. Михал опять углубился в работу, непослушная прядь мягких волос пересекла висок и щеку. Нынешняя молодежь какая-то бесчувственная. Он думал, что Михал станет на радостях бегать и вопить, не зная, за что раньше хвататься. Мы не понимаем друг друга, но моя жизнь в нем, он единственное, что останется от меня. За окном громяхают цеха, по двору разносится стук молотков по дереву. На складе сколачивают новые ящики. Грудь Фердинанда Громуса распирает блаженное необъятное чувство собственника. У меня есть сын, и ему я оставляю все, ради чего всю свою жизнь надрывался! И тут фигура жены, угловатая и внушительная, как старое изваяние, всплыла в его сознании и, шагая в ритм перестука молотков, стала топтать его мысли.

Фердинанд Громус вздрогнул от внезапного озноба.

— Что с тобой? — спросил Михал, поднявший на него взгляд.

— Сердце. Пошаливает иногда, — ответил отец и прижал руку к груди.

— Тебе не мешало бы отдохнуть.

И тут Громус-старший взорвался. Да разве он и сам не хочет? Руки в брюки и шагай себе из цеха в цех, хозяин, обходящий пашни, доверенные сыну, он и живет-то, только радуясь плодам его трудов. Старика захлестнули жалость к себе и ненависть к жене, которая восстанавливает его против родного сына и заставляет надрываться день и ночь. Он не сдержался.

— Да разве я могу? — воскликнул Громус-старший. — Она же не успокоится, пока не увидит, что я окочурился.

Михал молчал, прикидывая, настал ли его час.

— Что тебе мешает, — сказал он наконец, — устроить жизнь по-своему, как тебе хочется? По закону хозяин здесь ты, и ничто не помешает твоему решению.

— По закону, — буркнул Громус-старший и скривил рот, будто от приступа боли. — Попробуй-ка стань на мое место. Мне нельзя волноваться, я не могу, не вынесу. Я поздно разгадал ее умыслы. Я всегда думал — она замкнутая и гордая. А она злая и корыстная.

Фердинанд Громус невольно приглушил голос, будто опасался, что его услышат. Глаза молили о помощи. «Вступи за меня и помоги, ты молод и силен, слышишь?»

Но с языка у Михала готовы были сорваться резкие слова. «Не будь тряпкой, старик, возьми себя в руки. Если ты безнадежно проиграл жизнь, спаси хотя бы свое дело»

«Эка важность, жизнь», — думает этот молодой человек, пышущий здоровьем, и сдается ему, что его решительность и сила благородны в самой идее. Он не понимает старика, который дрожит за каждый оставшийся ему удар своего сердца. Не замечает, как ловко скрыл за энтузиазмом во имя дела свой собственный интерес. Но потоки рассудительности остудили его невысказанное негодование. Опять мы уткнулись в стену, которую не прошибить лбом, опять схватились за палку, которую не переломить о колено. Громус изворачивается и роется в своем нутре в поисках лазейки, чтобы ускользнуть.

— Итак, — начинает Михал, чтобы еще нагляднее показать старику, к чему приводит его слабость, — все, во имя чего ты всю жизнь изнурял себя работой, пойдет прахом. И мои старания тоже пустые. Я трачу тут время зря.

И тогда Громус-старший, хватаясь за какую-то туманную надежду, а скорее всего — и это, видимо, главное, — чтобы не казаться столь уж беспомощным, отвечает:

— Время еще есть.

Михал ухмыляется.

— Не знаю, что ты имеешь в виду. Но по мне — лучше иметь твердую уверенность сейчас, чем лезть в драку неизвестно за что после твоей смерти. Впрочем, я еще тогда в Праге говорил тебе: если вернусь обратно домой, то меня отсюда никто не выживет. Я сумею отстоять свое, можешь быть спокоен, но лучше бы сделать это с твоего согласия. (Он помолчал и добавил почти ласково.) Мне хочется избавить себя от всех неприятностей.

Но Фердинанд Громус безнадежно замотал головой:

— Неприятностей не избежать.

Михал встал, прошелся по конторе взад-вперед, пробабанил начало какого-то марша на оконном стекле и опять сел.

— Отец, — сказал он, — ты никогда не задумывался, в чем истинная причина твоих бед?

— Она не желает, чтобы ты жил здесь, вот и все, — ответил Фердинанд Громус, не скрывая удивления глупостью подобного вопроса.

— Это так, но лишь отчасти, — продолжал Михал. — Если б здесь находился Роберт, все было бы в порядке.

Михал ожидал, что отец в гневе вскочит со стула, но, как ни странно, Фердинанд Громус ответил спокойно:

— И ты пристаешь с подобной ерундой ко мне! Раз и навсегда я сказал: нет! И не отступлюсь. Никогда, покуда глядят мои глаза, этот дармоед здесь торчать не будет.

— Но в один прекрасный день возьмет и проглотит все твоё состояние.

Отцу такое ещё явно не приходило в голову. Подобная перспектива, безусловно, ужасна. Всю жизнь ломать горб на чужого ублюдка. Он задумался, стараясь обмозговать столь неутешительную возможность, прикинуть так и эдак. Нет, такого он себе не представлял. И потому сейчас растерялся, подавленный жестокой перспективой и неотступным пристальным взглядом Михала. Надо бы подумать об этом на досуге. Но сейчас он попытался уйти от ответа.

— Мне тогда будет безразлично, — продолжает он. — Я и знать не буду.

Михал, однако, неумолим.

— Но сейчас-то тебе не все равно.

— И что я должен сделать?

— Почему бы Роберту не вернуться? Может быть, он и сам не захочет. Тем лучше. А может, захочет. В любом случае отпадут причины, по которым здесь не могу оставаться я.

Громус-старший с сомнением покачал головой. Он жаждет покоя, но такое решение не сулит его. Тишина, мир, он представляет себе лишь приятные картины жизни. Колеса вертятся, люди старательно работают, дела идут, идут, знай себе поглядывай. Никто от тебя ничего не требует, только совета и одобрения. «Вы довольны, пан шеф?» — «Доволен, ребятки, доволен», — ты улыбаешься и киваешь головой. Как прекрасно!

— Не знаю и не желаю в это вмешиваться.

— Тогда предоставь мне.

Фердинанд Громус пожимает плечами. Он предпочел бы не говорить ни «да», ни «нет». Почему решает всегда он, почему он всегда берет на себя ответственность?

Слава богу, ужин не относится к семейным ритуалам. Михал может заскочить на кухню и стоя съесть кусок мяса, вложенный между двумя кусками хлеба. Тем не менее на плите что-то шипит, и кухарка с раскрасневшимся лицом колдует, приподнимая крышки, и мурлычет под нос песенку. Михал наливает себе воды и, отпив полстакана, спрашивает:

— Мать дома?

У кухарки сразу портится настроение. Громыхнув крышкой, в сердцах ворчит:

— Нету. Полчаса, как ушла. Хотела бы я знать, когда теперь будет ужин?

«Все её не любят», — подумал Михал и удовлетворенно

ухмыльнулся, будто неприязнь, которую вызывает его мачеха, дает ему некую поддержку.

Мягкий сумрак придал улицам приветливости. Этот июньский вечер полон благоуханья палисадников, полей и далеких лесов. За изгородями садов видны согнутые спины, поблескивают лейки и струйки воды, которую жадно впитывает высохшая земля. Мычит скотина, тархтит бензиновый моторчик, свистят ножи косилки, срезая клевер и траву. Впрочем, на этих улицах селятся мелкие ремесленники и торговцы. Желтый свет тусклых ламп в мастерских и лавчонках напоминает о давней поре керосиновых светильников. У калиток переговариваются соседи, на обочине тротуара играют дети. Подростки живут в предчувствии любви, юнцы, озабоченные своими тайнами, устремляются обычно в одном направлении, ибо как все дороги ведут в Рим, так здешние улицы ведут на площадь.

Михал время от времени отвечает на поклоны, и приятное ощущение согревает ему душу. Он вспоминает Прагу и кажется себе мальчишкой, обнаружившим вдруг, что первые длинные штаны, которые месяц назад так радовали его, сегодня ему уже коротки. Подумать только, здесь ты личность, а не капля, затерявшаяся среди таких же капель. Люди здороваются с тобой, ты их не знаешь, но они тебе кланяются из почтения к имени Громус.

И мирно беседовавшие соседи, когда он проходит, сдвигаются поближе. «Это молодой Громус, вы его знаете? Говорят, папаша обделался с Тыльнеровой фабрикой, вот и привез сына из Праги. Не знаю, сосед, не знаю. Мамаша, попомните мое слово, выживет его, как и несколько лет назад. Скажу я вам, приятель, в таких семейках столько мерзости, что и представить невозможно. Дерут носы, но меня не проведешь».

В этом городишке ничто не останется в тайне. Мы шепчемся в четырех стенах, делимся своими заветными секретами с глазу на глаз, при закрытых дверях, а на другой день наши слова разлетаются по всей площади, как колокольный звон.

Площадь. Променад на солнечной стороне и стойки мужчин и парней вокруг фонтана. В галерее у ратуши визгливо хихикают служаночки, когда с ними заигрывают солдаты, из поколения в поколение одна и та же картина. Только теперь молодежь чаще собирается у входа в кинематограф «Сокол». (Сеансы три раза в неделю, зал, в зависимости от надобности, отводится под танцы или под театральное представление.) У фонтана стоят два-три автомобиля

коммивояжеров, спешащих до ночи посетить еще хотя бы один дом, из распахнутых дверей кондитерской слышен рев репродуктора. В магазинах зажигают свет неохотно, в такой час покупатели не заходят, а самим освещать тротуар накладно, коли муниципалитету не приходит в голову.

Сумерки сгущаются, площадь шумит, грудь Михала распирает чувство уверенности. Он здесь и здесь останется, и никому не удастся выжить его отсюда.

Михал сворачивает вправо, в короткий тупик, который шагов через двадцать переходит в небольшую площадь. В центре, обрамленная двумя рядами старых лип, стоит готическая часовня, широко, будто наседка над цыплятами, расставившая свои контрфорсы. Впрочем, ее башенка взлетает высоко над ней, тонкая, изящная, как молодое деревце, выросшее на пне, как игла, воткнутая в подушечку.

Под деревьями было уже темно, и лишь на маленьком алтаре в глубине часовни горели свечи, освещая фигуру священника, нараспев проговаривавшего слова молитв, и старух, преклонивших колена на приступках по обе стороны от входа, что вторили ему дребезжащими визгливыми голосами. Михал остановился, ощущая неясное замирание сердца.

Несколько испортив себе хорошее настроение, он уже собрался было обойти стороной это место и продолжить прогулку по темнеющему городишку, когда заметил подле одной из лип свою мачеху. Это вполне в ее духе. Бесконечное вязанье и бесконечные молитвы. Так вот где она ищет поддержки своей непреклонности. Но не сгибаясь покорно в толпе покорных, а, как обычно, в стороне. Чопорная и гордая, она стоит тут, будто пришла навестить бедного родственника.

Богослужение близится к концу. Анна поворачивается, прежде чем прозвучало «аминь». Незачем кому-нибудь видеть Анну Громусову в толпе богомольных старух. Чтобы не попасться ей на глаза, Михал сворачивает в первый попавшийся переулок. Но по той, видимо, причине, что городок он успел основательно позабыть, они столкнулись пятью минутами позже на мостике через речку, подле другого городского сада. Избежать встречи уже невозможно, ибо столкнулись они лицом к лицу.

— В погоне за удовольствиями? — бросила она, не ответив на приветствие.

— Честное слово, нет, — рассмеялся Михал. — Мне такое пока и в голову не приходило.

— Либнице не Прага. Можешь влезть в историю и будешь жалеть.

Анна нагоняла на Михала уныние, и ему, как обычно, пришлось преодолевать остатки мальчишеского страха. Это бесило его.

— Не понимаю, — ответил он. — Надо полагать, вам бы это пришлось весьма кстати.

— Не знаю, — парировала она, — почему мне может быть кстати, если ты запятнаешь имя, которое мне приходится носить.

Забавно. Она ненавидит все громусовское, но опасается, что честь имени будет запятнана.

Анна Громусова двинулась вперед, давая понять, что с нее довольно разговоров. Но сейчас она находилась не в своем нелепом зимнем саду, окруженная странной, холодной и словно бы неживой растительностью, и не вызывала страха. Сейчас она как черепаха, лишенная спасительного панциря, и Михал, мгновенно решив использовать ситуацию, шагнул следом за ней.

— Я хочу вам кое-что сказать, — произнес он, встретив ее ледяной удивленный взгляд. — Почему бы нам не воспользоваться этим моментом?

— Я тороплюсь к ужину, — заявила она, отклоняя поползновение Михала.

— Но я хочу поговорить с вами о Роберте.

Анна замерла на полушаге под одним из немногочисленных фонарей, что скудно освещали дорожку из сада к шоссе. И тут Михал, не давая ей возможности вымолвить ни слова, начал сам. Неужели и впрямь невозможно отбросить всю эту старую чепуху и свары? Зачем, собственно, Роберту мотаться по заграницам, если дома полно работы, за которую приходится платить чужим людям? Ведь нет причин, почему он не может вернуться домой, конечно, если сам того захочет. Они с Робертом никогда не питали друг к другу вражды, отчего бы им не поработать бок о бок?

Анна молчала, уставившись куда-то в темноту под деревьями. Вздыхающая, шепчущая, благоуханная июньская ночь гуляла по тихому саду. Откуда-то из его глубин донесся смех, подобный вскрику.

— Твой отец артачится, — проговорила Анна жестко, будто преодолевая какое-то чувство, сжимавшее ей горло.

— Отец артачится, но ведь и вы упрямы, — ответил Михал. — Сейчас самое время покончить с подобными глупостями. Почему мы — я и Роберт — должны расплачиваться за то, что вы когда-то придумали?

Молчащий сад, вздымающаяся, полная шорохов июньская ночь. Они стоят лицом к лицу, словно любовники, но где-то там, за спиной у Михала, за стеной из тьмы и деревьев, находится фабрика, часть состояния, из-за которого они готовы перегрызть друг другу глотки. Ах, ах, да разве мы исключение? Мы запленили весь земной шар, лежим, вцепившись в свою кость, и рычим, убивая тех, кого должны содержать за переданное нам имущество, и продаем своих дочерей богатым развратникам. «Трудитесь! — говорим мы беднякам, ибо труд облагораживает. — А что зарабатываете, копите и возвращайте нам свои денежки». К чему скулить, изрекая эту изгоняемую отовсюду жалкую истину, что тащится по миру в отрепьях, сверкая голой задницей, и покорно сгибает спину? Она жужжала у Михала в голове, пробуждая чувство удовлетворения. Сейчас он готов покориться и переломиться в спине, подобно этой самой истине, лишь бы достичь желанной цели. Вам угодны чувства? Извольте! Я разыграю их перед вами, как на органе во время большой мессы. Вам угодны беспристрастные рассуждения? Прошу, сей ходовой товарец всегда к вашим услугам. Нынче никто ничего не дает задарма, как видите, приходится драться даже за свое за кровное. Впрочем, твоя позиция, Михал, крепче, ведь право на твоей стороне, и тебе дозволено применять все средства для защиты того, что принадлежит тебе.

Так ведь и Анна Громусова одного с ним поля ягода.

— Прежде всего в этом заинтересован ты, — сказала она.

Михал рассмеялся. Теперь он мог дать понять прямо, что играет с открытыми картами, ничего не скрывая.

— Это же естественно, — вскричал он. — Не стану же я надрываться за кого-то, а себе шиш! Однако вам-то что? В сделке такого рода мы в выигрыше оба. Вы получаете своего Роберта, а я — возможность оставаться здесь, не наталкиваясь постоянно на ваше сопротивление. Ваше дело написать ему, а уж мы с ним как-нибудь поладим. Лучше, чем вы с моим отцом.

Какое-то время радость в ней борется с гордыней. Роберт возле нее! Павлиний вопль материнской любви пронесся во тьме ее сознания, заглушая доводы разума. И все-таки Анна еще сопротивляется. Она надеялась в один прекрасный день положить все состояние Громуса к ногам сына: вот что сделала для тебя мать! Получай за годы своих и ее унижений. А пока что она принимает Роберта, как подаяние из Михаловых рук. И опять: ее Роберт с ней! Не

через годы, сейчас, через неделю, через две недели! Ну может ли она отказаться? Анна пытается вырваться из лабиринта зеркал, где каждое зеркало отражает картину действительности по-своему. Клокотание смеха в глубинах. Ей все ясно: ведь это же западня, и Михал соорудил ее себе сам. Роберт с ней! Столько лет она оставалась одинокой! Хватит, больше не желает. Не терять ни дня, ни часа! Старый Громус может каждую минуту угаснуть.

— Это все прекрасно,— выдавила она наконец.— Но говорить об этом с твоим отцом я не намерена.

Михал уверенно и с пренебрежением махнул рукой, о чем вскоре, пожалуй, пожалел.

— Отца я беру на себя. Вам надо только написать Роберту.

Это было последнее, что избавило Анну от каких бы то ни было сомнений и колебаний. «Напишу, мой милый, напишу. Уж не чересчур ли уверенно ты чувствуешь себя в седле?»

— Я подумаю,— сказала она и повернулась, чтобы уйти.— Не надо меня провожать. Я люблю ходить одна.

Михал смотрел ей вслед. Она удалялась, выпрямив спину, похожая на сухое бревно. Несколько шагов, и тьма сомкнулась за ней, как двери в дом, который ее ждет.

4

— Как только этот негодник явится, тут мне и смерть придет,— прохрипел Фердинанд Громус, когда Михал объявил ему о приезде Роберта, как о деле уже решенном.

— Ты мог бы выбрать причину поразумнее, если тебе хочется умереть,— отвечал Михал со смехом.— Но мне будет приятнее, если ты умрешь из-за Роберта, а не из-за меня.

Фердинанд Громус нахмурился. Он никак не может привыкнуть к манере, в какой с ним разговаривает сын. Впрочем, на сына не производило ни малейшего впечатления любое проявление его неудовольствия. «Бог знает что должно стрястись, чтобы он обнаружил свои переживания, показал, что и у него есть какие-то чувства кроме рассудочности». И Громус-старший, как обычно, снова готов впасть в ностальгию, вызванную воспоминаниями об ушедших временах галантной и чувствительной молодости, об иллюзиях юности и любовных муках. Пусть кто-нибудь посмеет утверждать, будто тогда к ним относились несерьезно. Сам Фердинанд Громус доказательство, как дорого обходятся иллюзии.

— У тебя нет выбора, — бушевал сын; впрочем, вполне возможно, Фердинанду Громусу казалось, будто он кричит. Михал говорил ничуть не громче обычного. Видимо, такое свойственно всему поколению сына, не знающему ни покорности, ни умеренности и привыкшему напрягать головные связки на просторах спортивных площадок.

— У тебя нет выбора. Я отсюда не двинусь, но, если здесь не будет Роберта, твоя супруга доведет тебя до смерти. Ну чего ты боишься? Нам неизвестно, какой Роберт сейчас. Пятнадцать лет на чужбине могут изменить человека.

— Да не боюсь я, — оборонялся Фердинанд Громус обиженно. — Но существуют вещи, в которых ты не разбираешься.

Фердинанд Громус и сам в них не слишком хорошо разбирался. Он ненавидел сына Анны еще больше, чем Анна ненавидела Михала.

Михал продолжал настаивать, убеждал его, навязывал, как торговец, свой товар.

— Бога ради, посмотри на вещи разумно. Мамаша защищает себя с помощью Роберта, а ты можешь прикрыться мною. Наступит час, и мы наверняка перегрызземся, как собаки из-за кости. Это не кажется тебе забавным? Не вызывает желания сделать ставку? Уж наверное твоя кровь значит больше, чем кровь какого-то пьянчуги путейца, не способного уследить за двумя поездами в день. Стоит мне об этом подумать, и я чувствую — желудок у меня акулий и я проглочу Роберта вместе с его маменькой, как мелкую рыбешку.

Отметив про себя, что сравнение касается его супруги, Фердинанд Громус счел себя задетым. Непостижимо, до чего изначально неуважение ко всем человеческим ценностям въелось в самую суть этой нынешней молодежи. Вместе с тем такое сравнение раззадорило его. Громусы с акульным желудком — а ведь неплохо! Почему бы нет? Он уже стар, но его аппетиты к пожиранию себе подобных отнюдь не ослабели. Старость лишает его многих радостей, но не всех. Отомстить, отомстить за долгие годы унижения и страха. Он затрепетал, злорадствуя, дал волю своей фантазии, разрешая ей достичь самой границы, и опустил книзу большой палец, как император на арене. Добить! Но испугался прямолинейности своих чувств. Ах нет, естественно, это не касается Анны. Ведь она все-таки его жена. Однако не ради чужой крови надрывался он всю жизнь, и вполне понятно — должен поддерживать родного сына.

Избегая внутренних противоречий, с которыми ему отнюдь не хотелось бороться, Фердинанд Громус хихикнул:

— Мы вдвоем еще кое на что способны!

«Бог с тобой, старикан,— подумал Михал,— главное, чтобы в последнюю минуту ты не пошел на попятный».

А пока события не торопили Михала и Михал не торопил их. Анна написала сыну, и Роберт ей ответил. Он был уже сыт по горло границей и своей свободной жизнью, что прежде так нравилась, неустроенность больше не привлекает его. Роберта в Америке задержала война, а когда война кончилась, он начал переезжать с места на место. Перебивался случайными заработками, выучился на официанта, полагаясь, впрочем, больше на деньги, которые ему щедро высылала мать. Плавал стюардом на судах, пока ему нравилось, но вот уже несколько лет был управляющим французским рестораном в лондонском Сохо. Говоря по правде, здесь его удерживала связь с владелицей ресторации, чья щедрость даже превысила щедрость матушки и питала его любовь. Но француженка, которая, в общем-то, была по-мещански добропорядочна и умела ценить не только деньги, но и мужское к себе внимание, поддерживаемое при их помощи, исчерпала свое долготерпение и настаивала на скреплении их союза брачными узами. Она затянула кошелек потуже, чтобы вынудить Роберта принять решение поскорее. Весьма неприятное обстоятельство, поскольку именно сейчас необходимо было заплатить карточные долги и проигрыш на бегах.

Так обстояли его дела, когда пришло письмо от мамы. И Роберт решил не рассуждая, как только прочел его. С этой минуты он стал считать свой отъезд заслуженной карой Сюзанне за скаредность и стремление к узаконенной семейной жизни. Заверить ее, будто едет на родину за документами, необходимыми для свадьбы? Нет, он боялся ее трезвого ума и здравого смысла. Лучше улизнуть незаметно, как задавший лукуллово пиршество посетитель, не заплативший по счету.

— Роберт ответил, что придет примерно через месяц,— объявила Анна, и в ее голосе скрежетала неудержимая радость.

— Я в этом не сомневался,— ответил Михал.— Вы идете за благословением?

Анна бросила на него неприязненный взгляд.

— Я хожу по своим делам, как ты ходишь развлекаться.

— Не сердитесь,— сказал Михал поспешно.— Должно

быть, очень приятно поблагодарить кого-то, кто помог исполнению наших желаний.

— Тебе не помешает хоть немного веровать в бога.

И подумала, что в один прекрасный день, если восторжествуют ее планы, этому малышке и впрямь может понадобиться поддержка кого-то столь же сильного и доброго, как бог.

Субботний день клонился к вечеру. Шагая размеренно и твердо, Михал ощущал во всем теле силу, которую придает человеку сознание хорошо сделанного дела. Неделя была удачной. Наконец-то ответили Индия и Южная Америка. А сегодня во второй раз Марракеш. Склады освобождаются. Если так пойдет дальше, через месяц можно будет начать выпуск новой продукции. Это я-то не верую? Глупости. Я верую в свой успех. Успех! Ты слышишь это слово? Успех! Что может пьянить больше? Это напиток только для сильных характеров.

Он проходил мимо рабочей слободы. Дрянное место. Одинаковые домишки, есть неоштукатуренные. Комната и кухня, кладовка, двор, сарайчик и маленький хлев, за домом огород величиной с ладонь, на пять кочнов капусты. Дома сбили-сколотили по одну сторону шоссе, пять-шесть образуют короткую улочку, выходящую в поле. Пока что дома белые, может, такими и останутся. Разве плохо тем, кто в них поселился? Типовые, одинаково невыразительные, до того напоминают толпу, что берет оторопь.

Здесь, за этими самыми окошками, где на подоконниках толпятся горшки с геранью и морским луком, горшочки с топленым салом и висят убогие занавески, живут те, чьи руки создают для Громусов и им подобных благополучие и комфорт. Ах, да разве мало они получают, разве не лучше живется им, чем беднякам-крестьянам, в чьих избенках появились они на свет? Там, при тяжком труде от зари до зари, навряд ли видят на столе хоть раз в неделю мясо! Михал проходит мимо подавленный и благодарный судьбе, что он не из их числа. После переворота отсюда пахнуло угрозой, рабочие расправили плечи, воодушевленные высоко взметнувшимся пламенем российского пожара; они уже чувствовали себя и судьями и хозяевами. Чушь. Эти люди созданы для повиновения. Природа экономна, и если изредка создает выдающиеся умы, то лишь затем, чтоб облечь их особой миссией. Кто-то должен стоять во главе беспомощного стада, иначе оно погрязнет в нищете и безысходности. Социализм и капитализм. В целом это не что иное, как спор о форме, и русский пример тому доказатель-

ство. В результате все равно одни останутся наверху, другие — внизу, с одной стороны — качество, с другой — количество, а между ними вертится, извивается, корчится бесформенная масса, среднее сословие — администрация, чиновники — с их мечтами выбраться наверх да плоскими, убогими мыслишками, покрытые несмываемой грязью плебейского происхождения и предначертания.

Молодой Громус доволен местом, отведенным ему в этом мире, как он только что определил — по праву рождения и таланта, он все тверже печатает шаг. Он поигрывает старой тросточкой с круглым набалдашником из слоновой кости, наследием отцовского юношеского франтовства, которую откопал в одном из шкафов и с самого приезда берет с собой на прогулки. Последний домик у шоссе, один из тех, что побольше, и сделанный основательнее, принадлежит кладовщику Громусов Йозефу Баладе. Увидев своего работника в огороде, Михал перестал вращать тросточкой и придал походке степенности. Но, подойдя к забору, обнаружил лишь согнутую спину и вызывающе выставленный в сторону дороги зад. Йозеф Балада поглощен истовым уничтожением невидимых гусениц на морщинистых листьях ранней капусты.

Молодой Громус оскорбился. «Ах ты, я найду управу на твое хамство получше, чем просто пинок в бесстыжий зад. Что ты запоешь, если я завтра вышвырну тебя с фабрики? Вот тогда и выставляй что угодно! Сколько таких шляется по свету, вымаливая работу! Уму непостижимо. Сколько их положила война, а людей все равно избыток».

И Михал снова успокоился сознанием собственного превосходства. Какая-то мразь не может его оскорбить. В них ненависть, как во всех, кто подчинен, и что-то, конечно, должно у них быть за душой, чтобы они могли чувствовать себя людьми. Равноправие? Ерунда! Вот уж чего никогда не будет!

Ладно, хватит! Все уже позади, вместе с последним домом этого убогого гнездовья. О! Вот редкий сосняк на фоне синевы неба, а в лучах заходящего солнца поблескивает гладь пруда. Покой разлился по всей равнине, и вокруг и в дали, обрамленной черно-синими лесами. Воздух напоен запахами смолы и цветущей богородицной травки. И чем-то еще. Может быть, сыростью? Нет! Удивительно острый и сильный аромат, словно из недр земли вырывается дыхание дремлющих сил, ожидающих часа пробуждения.

Хо-хо. До чего же прекрасно здесь дышится! С каждым

вздохом становишься все бодрее. Михал ступает высоко подняв голову и выгнув колесом жирноватую грудь, и в его органически достойную и самоуверенную походку врывается вдруг маршевый ритм бывалого солдата. Как будто эта земля принадлежит ему и он попирает ее сапогами завоевателя. А почему бы нет? Стукнешь палкой — и из земли забьют скрытые до времени источники, которые дрыхнут и храпят по всему краю. Люди бродят стреноженные. Какие могут быть ленники, если эпоха во всем мире уже крутит моторы со скоростью в тысячу оборотов! Почему ты решил вернуться, зачем приехал?

И Михалу захотелось раскрыть объятия. Вот мы и встретились, земля обетованная. Человек ищет свое предназначение, а земля ищет подчас своего избранника. Разбудить силы и привести их в действие! Какая разница, как ты собираешься завоевывать мир. А хоть бы гребнями, игрушками и щетками. Цех подле цеха, труба подле трубы, пальнем дымом в солнечное небо. Но тут в вышине над его головой потянуло холодным ветром, и молодой задор сник.

Ах, сколько таких шустрых появилось уже на свет! Но хотеть и мочь — не одно и то же. Вот вынырнула ухмыляющаяся физиономия Анны Громусовой, из-за ее спины, скрываясь в тени весьма туманных воспоминаний, выглядывает ее сын. Что ты с ними сделаешь, как избавишься? Больно много на себя берешь и только притворяешься храбрым, как человек, который от страха свистит в темноте. Отдаленный шум предупреждает, что где-то за поворотом дороги за деревьями мчится грузовик. Да, земля грохочет, земля вздрагивает, что-то грядет, и от этих далеких взрывов тщательно затыкать уши, это грохочет в самих нас, что-то в нас рушится. К чему вообще браться за какие-то дела, если так или иначе всему грозит гибель? Чудовища, миражи — отговорки слабых. Работать надо. Вы твердите о необходимости изменить этот строй? Ну, изменят, а сумеют ли они дать лучший взамен? Для меня он достаточно хорош, более того — мне отлично подходит.

Грузовой автомобиль, доверху груженный углем, вынырнул из-за поворота и вынудил его отскочить на тропинку между деревьев. Шофер и грузчик коснулись козырьков своих кепок, Михал в ответ махнул тросточкой. И взметнувшаяся пыль, словно лес бесплотных стволов, оживший и светящийся, поплыла в лучах солнца к верхушкам сосен.

Михал продолжал свой путь. Он перестал помахивать тросточкой и двигался вперед с тихим упорством, будто

делал какое-то важное дело, и старательно наступал на каждую сухую ветку, попадавшуюся на тропинке. Ему во всем чудились препятствия. И при хрусте сломанной ветки в мозгу вспыхивала фраза: «Наступить на глотку, наступить на глотку...»

Облегчение не приходило. Лес будто играл с ним, лес над ним насмехался. Над головой вскрикнула сойка, потом он увидел скачущую с дерева на дерево белку. В какой-то момент ему показалось, что далеко впереди среди деревьев как будто промелькнуло женское платье. Нет, показалось. Видимо, открылась и вновь исчезла прогалина. Чего он тут ищет, что заставило его забрести именно сюда? Окружающее вызывало у него отвращение, все это великолепие, погруженное в полумрак тишины, называемое природой.

Он перескочил через канаву. Настроение вконец испорчено, надо, пожалуй, вернуться в город. Он сделал еще несколько быстрых шагов по шоссе и вдруг неожиданно для себя оказался на плотине, поросшей дубовым молодняком. Спустившись вниз по тропинке, чтобы оглядеться, он вдруг столкнулся на песчаном пятачке лицом к лицу с Руженой Баладовой, дочерью кладовщика Балады.

5

Просто невероятно, чтобы в такой дыре, как Либнице, дочь кладовщика не знала сына хозяина. Михал видел ее, она приносит еду своему отцу, когда бывает много работы и кладовщику, присматривавшему за сезонниками, работавшими посменно, некогда забежать домой.

Йозеф Балада выходил из складского помещения, подставлял дочери щеку для поцелуя, отыскивал в тени местечко на ящиках, готовых к отправке, и поглощал свой обед. Ружена между тем бродила среди ящиков и читала надписи, сделанные дегтем. Названия далеких неведомых краев, о существовании которых она не имела понятия. Далекий, широкий мир, боже мой, как он прекрасен, как прекрасно все неизведанное! Девушка втихомолку вздыхала, сознавая всю горечь своего удела. До самой смерти она будет торчать в Либницах или другом захолустье и выйдет замуж за такого же работягу, как ее отец. Год-другой замужем — и заботы сотрут с ее лица последние следы бесполезной красоты. Ружене было жаль себя, как и всем женщинам, чья красота нашептывает им, что родились они для лучшей доли.

Йозеф Балада проглатывал обед, можно сказать не прожевывая, как силач, которому важен не вкус еды, но ее количество, не выпуская, однако, из поля зрения дочери и следуя за каждым ее шагом, хотя вокруг никого не было. Он ревновал ее. Ревновал к ее мыслям, которых не знал, к тому, что ждет ее в будущем, которое не давало ему спать по ночам, ревновал ко всему и ко всем: к собаке, что ласкается к ней, и к воздуху, которым она дышит. Ревновал и изумлялся, гордясь, что появление на свет этой красавицы обошлось не без участия его большого и сильного тела.

Сколько раз Михал наблюдал за ней из окна, но стоило ей только обернуться, как он тут же прятался. Не хватало еще, чтоб его застигли за этим занятием, для него недостойным; подглядывать за дочерью своего рабочего! Ему и в голову не приходило хотя бы намеком дать знать Ружене о своем интересе к ней.

И вот сейчас она стоит в двух шагах от него, и ее красота обжигает Михала своим огнем. Михал растерялся не меньше, чем она, но пришел в себя быстрее.

— Вот уж никак не предполагал, что кого-нибудь встречу, — сказал он извиняясь.

Тут и Ружена пришла в себя и обрела душевное равновесие. Мужчины давно уже не повергали ее в смущение. Их комплименты, намеки и обещания научили ее презирать и мужскую неуклюжесть, и деланную развязность, которую так легко пресечь двумя словами.

— Не стану вам мешать, — ответила она. — Мне все равно пора домой.

И двинулась вперед, но остановилась, увидав, что Михал так и остался стоять.

— Это ваше любимое местечко? — И его тросточка описала в воздухе круг.

Ружена искоса бросила на Михала взгляд, хотела понять, куда он метит, и опять почувствовала смущение. Такое было ей внове. Она привыкла иметь дело с молодыми рабочими и деревенскими парнями, которых встречала на сельских танцульках, иногда с мелкими фабричными служащими, которые пыжились, пытались поразить ее обхождением и сознанием собственной значимости.

Этот молодой человек станет в один прекрасный день хозяином ее отца, и ей не мешает быть с ним полюбезней. А впрочем, с какой такой стати? Она училась ненавидеть людей его положения и сейчас, глядя на Михала, повторяла про себя гневные речи отца, ибо Йозеф Балада был социалистом, резким и неумолимым, как деревенские книгочеи.

Эксплуататоры! В ее представлении они тесно связаны с ее мечтами, которым никогда не суждено сбыться. Ненавидеть их было легко, жизнь от этого становилась проще, да и сама ненависть приятна, она возмещает все, чего недодает ей жизнь.

— А тут красиво,— проговорил Михал, предполагая, что ответа он не получит. И, улыбнувшись, ткнул тросточкой в сторону пруда.

Гладь его оставалась почти неподвижной, и лишь редкие порывы ветерка морщили ее, точно палец натянутую ткань. Камыш обступал пруд со всех сторон, выставив свои черные цилиндрики к заходящему солнцу, на фоне горящего золотом закатного неба темнел лес. Вдали от запруды отдельными стайками плавали семейки лысух, добывающих себе пропитание.

Умиротворение, пожалуй, даже угнетающее, и крики чибисов, протяжные и тоскливые.

— Тут так красиво,— повторил молодой Громус.— Но я этой красоты не понимаю. Честное слово. И что касается меня, сказал бы — без подобных мест обойтись можно.

Ружена сбросила наконец наваждение своих мыслей и, пытаясь снова стать сама собой, той самой Руженой, чей язычок повергает в страх молодых либницких парней, отрезала:

— Зачем же вы сюда пришли?

Простой вопрос, заданный девушкой, привыкшей поддразнивать и высмеивать, открыл перед Михалом неожиданную перспективу. Как страшно и невероятно одинок он в этом мире. Отец? Какое там! Больше всего на свете старик любит себя. Странное положение. Один против всех, и каждому хочешь встать на горло. Встать на горло! Приятно или нет? Это зависит от характера. Когда ты шел сюда, Йозеф Балада повернулся к тебе задом, лишь бы не поздороваться. Михал учуял ту же строптивость в его дочери, словно пес, узнавший вора и под поповской рясой. Михала вдруг охватило страстное желание завоевать эту девушку. Сделать любовницей? Нет, этого недостаточно. Овладеть телом и душой. Желание парадоксальное и заманчивое. Дочка рабочего и будущий фабрикант... «Сегодня — ты слышишь? — я вышвырнул пятерых из щеточного, а ты восторгайся мною. Они не устраивали меня, сволочь ленивая, на их место придет десяток других. А завтра, если только захочу, выкину и твоего папашу!» — «Выкидывай, мой милый, мне нравится твое могущество! Ничего не бойся».

От этих мыслей его губы сжались в узкую полоску, он

смотрел на Ружену, пока та не смутилась. А потом, покопавшись в памяти, извлек ее вопрос, о котором как будто забыл.

— Зачем я сюда пришел? Сюда ли, еще куда — не все ли равно, хожу потому, что не сидится на месте. — Он наклонился к ней, округлив и без того выпуклые глаза, и сделал попытку улыбнуться, отчего некрасиво надулись щеки, и сказал:

— Но сегодня я об этом не жалею.

Этим трудно было пронять Ружену Баладову. Она привыкла и к предложениям и к признаниям, соблазнительным, и откровенно лстивым, и к таким, которые от полноты чувств застревают в горле, к объяснениям, которые манили и совращали, к угрозам в случае невнимания. Она притворилась, будто, оробев, ничего не слыхала.

— А теперь мне и вправду пора домой, — сказала она и проскользнула мимо Михала на тропинку к насыпи.

Он без колебаний двинулся следом.

— Я тоже возвращаюсь. Почему бы нам не пойти вместе?

Она остановилась напротив него и, выгнув грудь, дерзко и очаровательно воскликнула:

— Вы собираетесь проводить меня до самого дома?

Как будто ткнула пальцем в разделяющий их глубокий ров, который можно преодолеть, лишь оговорив заранее условия. Он вспомнил про городишко, где никого не знал и который может, не обременяя себя опасениями, сколько угодно дразнить, но вспомнил также Анну Громусову. Уж ей-то подобная история придется весьма кстати. Он ответил презрительно:

— Мне не пришло в голову, что я могу сделать вас предметом сплетен, здешние нравы мне не знакомы. Но что, если я стану ждать вас в воскресенье, ну, скажем, в два часа здесь у пруда в автомобиле и мы отправимся куда-нибудь, где нас никто не знает?

Кровь бросилась Ружене в лицо. Дома эта девушка сживала подле печки на ящике с углем и прислушивалась к разговорам, которые велись между отцом и его товарищами по профсоюзной организации.

«Кто такой рабочий? — спрашивали эти люди и сжимали на столе кулаки. — Раб, собака. И даже хуже. Раба и собаку хозяин должен накормить, но тебя может вышвырнуть на улицу, когда ему заблагорассудится, и никто не спросит, что ты станешь жрать». И, доказывая, приводили примеры в подтверждение этих слов. Жизнь, если смотреть их глаза-

ми, сплошной и черный мрак, и лишь где-то в необозримой дали алеет свет грядущего дня, когда они за все рассчитаются сполна. А пока их голоса гремели, нагоняя все больше мрака на времена нынешние и рисуя все более светлыми дни грядущие. Ружена, притихшая и настороженная, прислушивалась к их разговорам, и ее фантазия тут же дополняла и раскладывала их на два голоса, на два ряда образов, столь неоднородных на первый взгляд и все же вытекающих из одного источника, взаимозависящих и взаимопереплетающихся. Эта маленькая швейка остро чувствовала свое бесправие и несправедливость судьбы, поместившей ее в эту среду, где она изо дня в день должна уродовать прекрасную грудь, прогонять километры подножкой швейной машинки и до крови колоть пальцы. Спор двух голосов, распря двух мелодий: ненависть эксплуатируемого, осужденного работать на других, и желание выкарабкаться и есть медовые пряники праздности и восхищаться собственной красотой. Йозеф Балада и его товарищи тонули в безбрежности призрачных видений, мечтая о дне, когда наступит справедливость и отмерит равные куски всем, — он казался им близким, рукой подать, они уверены, что капитализм уже издыхает, разлагается, пожирает себя, как гидра, которая может утолить голод лишь своим собственным мясом. Подтверждение этому найдешь повсюду. Не потребуется даже сильного удара, чтобы добить его. Ружена столько лет слышала эти речи, но не видела исполнения предсказаний! Она теряет веру, что дождется великого дня. А если и дождется, то будет слишком старой, чтобы радоваться. В эгоизме своей красоты она связывает этот день со своей молодостью и своими страстными мечтами. Только их исполнение имеет для нее смысл. Легко ненавидеть тех, кто на другом берегу, потому что ей самой туда не попасть. Но если она туда все-таки попадет?

Михал выжидательно молчал, а Ружена все не находила сил для ответа, она стояла, не двигаясь с места, стиснув зубы, потому что боялась, что они начнут выбивать дробь. В такие минуты кажется, будто в тебе уживается одновременно не менее пятерых человек, каждый со своими мыслями и желаниями. До чего нахальный и самоуверенный этот молодой Громус. И все, наверное, потому, что он фабрикант, а она простая швейка. Видит впервые — и смеет предлагать такое! Следует показать ему спину. Если бы не заманчивая перспектива прокатиться на автомобиле. А как за подобные развлечения расплачиваются? Ты что,

мало слышала о таких вещах? Но ведь это твой первый и последний шанс. Он опять заговорил, слушай.

— Вы, конечно, любите танцевать. Вот и съездим куда-нибудь потанцуем.

Нельзя отвечать решительно. Ни оскорбиться нельзя, ни кивнуть в знак согласия. Но нельзя и показаться доступной.

— Не знаю, — выдохнула Ружена. — Впрочем, ведь мы с вами разговариваем в первый раз.

Михал рассмеялся.

— Так я же только к тому и стремлюсь, чтобы поговорить во второй.

Его смех и ответ разозлили ее.

— Нет, — крикнула она резко. — Все это ни к чему. Зачем мне встречаться с вами? Вы не смеете морочить меня только потому, что ваш отец дает работу моему.

Михал собрался защищаться. Да разве, ей-богу, есть что-нибудь оскорбительное, если двое молодых людей проводят вместе время?

Но Ружена не дала ему и рта раскрыть. Ей необходимо выговориться, необходимо одним разом пресечь его и, главное, доказать самой себе, что ей в голову не придет предать пролетарскую честь и стать содержанкой у фабрикантова сыночка.

— Нет, не приду, и не желаю, чтобы вы возвращались в Либнице через рабочий поселок. Не хочу, чтобы говорили, будто мы с вами здесь встречались.

Они стояли на лесной опушке, и Ружена, войдя в раж, схватила Михала за руку и потащила за собой. Рука у нее нежная, ладонь мягкая, как у барышни, потому что и мать, восхищенная ее красотой не меньше, чем отец, не принуждает ее ни к какой работе по дому. Михал в лесном полумраке улыбался, счастливый от прикосновения, взволновавшего его.

— Вам туда, — сказала Ружена и ткнула перед собой в голубоватый сумрак, уже сгустившийся над землей, — ступайте по тропинке, выйдете на шоссе у станции, а там в двух шагах ваша фабрика — заблудиться негде.

Тут она, опомнившись, хотела оттолкнуть руку Михала, но он сжал ее ладонь в своей.

— Вы придете в воскресенье?

— Нет!

— И все-таки я буду ждать.

Она вырвалась и побежала по дороге к дому.

В темноте перед домом Баладовых светились два огонь-

ка. Кладовщик курил с кем-то на лавочке у калитки. Спокойно текла беседа. Ружена приближалась медленно, с неохотой, ей хотелось как можно дольше побыть одной.

— Где ты носишься по ночам? — спросил Йозеф Балада, и в его тоне не было злости.

— К пруду ходила.

— Значит, встретила молодого Громуса. Хотел бы я знать, чего ему здесь надо.

Но Ружена, не задумываясь, отрезала:

— Никого я не встретила, я шла по тропинке.

Йозеф Балада затаился и шумно выпустил облако серого дыма, сразу же растворившегося в темноте.

— Стервец он, этот молодой Громус. Глаза б мои на него не глядели. Старый тоже лиса, но в нем хоть что-то человеческое есть. А этот? Разговаривает вежливо, так и пнул бы его ногой. Сразу видно, что ты для него пустое место, не больше чем ржавый гвоздь или, скажем, рубанок.

Тут заерзал и подал голос тот, что сидел рядом с Баладой на лавочке.

— Вот такими они и должны быть. Храни нас боже от добреньких хозяев, тех, что добиваются любви у своих рабочих. Нам нужны именно такие. Это одно из условий революции. Мы должны изо дня в день получать свою порцию унижения и бесправия, иначе нам никогда не раскаться.

Индра Поур говорил тихо, его глуховатый голос был сиплым. Он работал токарем-инструментальщиком на фабрике у Громусов и снимал у Балады комнатенку под крышей. Неприятный человек. Придет с работы, заберется к себе в мансарду и все курит да читает, как русский студент. По всему видать, знает много, но никому о том не докладывает. На собраниях молчит, мусолит сигарету, и каждый, кто выступает, поглядывает на него. Вид у него такой, будто он ухмыляется, но это оттого, что во рту у него торчит неизменная сигарета. Рабочие поначалу запинаятся, но потом, озлившись, начинают говорить, повернувшись не к председателю, а к нему, будто швыряют в его голову слова. Молчит, хитрец, не угадаешь, что у него на уме. И вдруг придавит свой окурочок, попросит слова и двумя-тремя фразами не оставит камня на камне от всего, что здесь говорилось. И товарищи пристыженно молчат. Крыть нечем. И уже кажутся себе кучкой придурков, предающих рабочее дело.

Йозеф Балада его тоже побаивается. Этот человек словно живой укор. Но кладовщик Балада состарился,

честно служа рабочему делу, почему он должен мучиться угрызениями совести? Черт побери! Он отсидел свое первый раз в каталажке, когда этот сопляк еще держался за мамину юбку. Революция? Да! Конечно! Но если ты уже в годах, и у тебя жена, дочь, какой-никакой домишко, и ты держишь немного грошей в обычной капиталистической ссудно-сберегательной кассе, отложенных про черный день, то уже не считаешь, что надо так уж торопиться с революцией.

И кто его знает, может, Индра Поур и выглядит так необычно потому, что страстно мечтает о самой что ни на есть простой человеческой жизни. Чувство справедливости высечено на его челе, как на каменных скрижалях Моисея. Если бы то время, что Индра Поур просидел над книгами, он истратил, чтобы подработать, то сегодня стал бы, самое меньшее, мастером, что значит — «умей, но не делай, ори, а не объясняй», то есть стал бы, тем самым, хлыстом в невидимых лапах эксплуататоров, а может, даже возглавил организацию — был бы рупором идей и профессиональным революционером. Но Индржих Поур и в помыслах своих не был дезертиром. Сознание общности жило в нем так же естественно, как в других — стремление к личному преуспеянию, всегда обостренное, возбужденное и нездоровое, ибо всегда имелись побуждающие причины. Индра Поур постоянно находит факты, подтверждающие вычитанное из книг. Он не знает сострадания, нет, — ведь сострадание весьма сомнительное оружие для того, кто убежден, что лучшее будущее можно обрести единственно силой, а сила не знает колебаний. Так же не колеблясь шагает стальной поступью история. Вот и случилось, как это нередко бывает с людьми, сосредоточенными на одной-единственной мысли, что он оказался в вакууме, без друзей и зачастую ненавидел товарищей не меньше, чем своих противников, потому что считал их чересчур пассивными и избалованными для службы той идее, которая должна сделать их свободными.

И это видно. Шила в мешке не утаишь, люди иногда его побаиваются. И Ружена тоже. Он жил у них уже полгода, но никогда с ней и не поговорил. Ружена знала лишь, что взгляд его таскается следом за ней, как собака, которая боится тявкнуть, чтобы ее не прогнали.

Сейчас она стояла на дороге, не видя лиц, и лишь слышала тихий глуховатый голос Поура, избличающий молодого Громуса. Ее вновь охватила уже знакомая противная дрожь, и ее симпатии, пока еще не определившиеся,

неожиданно и решительно перешли на сторону Михала. Ей хочется позлить этого монашка, нагоняющего страх даже на немолодых мужчин.

— Видела раза два,— говорит она.— Выглядит вполне прилично. А вы что, боитесь его?

Индра Поур присвистнул. Ответа не последовало. Возможно, не захотел отвечать на глупости.

— Бояться у меня нет причины,— произнес он наконец с расстановкой.— Что такое один провинциальный фабрикантишка? И тем не менее, будь моя воля, я бы довел его до полного озверения, чтобы люди проклинали само его имя.

Ружена смеется. Тоже мне зверь! Она видела молодое круглое лицо, застывшее от восхищения ее красотой. И тут на нее дохнуло холодом скрытых во тьме полей, ночи и звезд, и тело ее и душу охватила грусть. К чему бессмысленная ненависть, так хочется жить весело и беззаботно.

— Я спать пошла, спокойной ночи,— бросила она и торопливо юркнула в калитку.

Сигареты тихо светились. Наконец Йозеф Балада отшвырнул окурок, он длинной дугой перелетел через шоссе. Йозеф собрался встать.

— Красивая у тебя дочка,— сказал вдруг Индра Поур.

И кладовщик Балада, привставший было с лавки, тяжело опустился обратно. Кто бы подумал! Индра Поур! Выходит, и его броню пробила Руженина красота. Йозеф Балада не знал, радоваться ли этому. Хмыкнув, он неожиданно тоненько хохотнул и сказал:

— Не один ты заприметил.

А Индра Поур так же бесстрастно, будто продолжая о том, что необходимо вселять веру и возбуждать постоянные волнения, вполголоса сухо добавляет:

— Я хочу жениться на ней.

Забор затрещал под напором спины Йозефа Балады. Он смотрел в ночь, подняв подбородок к звездам, будто надеялся прочесть ответ в их загадочных начертаниях. Судьбу дочери он представлял себе иной.

— Ты с ней говорил?

Не изменившийся монотонный голос шелестит рядом с ухом кладовщика:

— Нет. И, пожалуй, никогда не поговорю. И с тобой поделился не как с ее отцом. Эта девушка, Йозеф, подняла бы меня на смех, она глядит сквозь меня, будто я стеклянный. Ты отец, ты должен ее знать. Тебе не приходило в голову, что рабочим парнем она побрезгует?

— Скажешь тоже!

Кладовщик взбеленился, ужаснувшись, что в его собственные, тщательно скрываемые даже от себя мысли кто-то вдруг влез пальцем.

— А кого ей ждать? Принца? Отец — рабочий. А сама — кто? Швейка!

Наступило короткое молчание. Стала слышна песнь сверчков и отдаленное кваканье лягушек. Ночь шумела, как сад.

— Красота, — сказал Индра Поур, — не для бедных. Твоя дочка слишком хороша и, когда глядится на себя в зеркало, вздрагивает при мысли, что всю жизнь станет жить, как прожили вы с женой. Я сказал, что хочу жениться на ней? Клянусь, это так. Но что я могу ей дать?

Кладовщик слышал совсем рядом учащенное дыхание товарища. И, не зная, что ответить, подавленно молчал.

Индра Поур встал.

— Пойду спать, — бросил он и вошел в калитку, не оглядываясь на Баладу, идет ли он следом.

Йозеф Балада остался один в ночи, холодной, словно покойница. Из окна мансарды выстрельнул короткий конус света и устоялся в темноту. Индра Поур будет читать до поздней ночи, будет бороться с призраками, извлекая из слов их терпкую суть. Кладовщик сидел неподвижно, с горечью сознавая, что жизнь сильнее его и не помогут ни его могучие плечи, ни кулаки. Он спорил с Поуром. И ему тоже подавай Ружену, фанатик несчастный! Я не предатель, но этот всех нас готов утопить в крови. А почему? Йозеф Балада знает, что никакие перемены в мире не нужны ему, если они не принесут счастья его дочери. Пускай Поур обзывает меня мещанином, но мы не Россия. Есть и другие пути. За его спиной стоит дом, его дом. Для кого он строил? «Красота не для бедных», — сказал Индра. Что станет с Руженой?

Кладовщику было уже не до звезд, он обратил лицо к мерцающим либницким огням. И в нем поднялась бесильная злоба. Высоко во тьму ночи взвился и распался, угаснув, сноп искр. Цементный работает и по ночам. «Надо выяснить, как там с оплатой сверхурочных», — в нем заговорил председатель профсоюза.

Сверчки оборвали свою песнь разом, тишина вознеслась, как вскрик.

Остывшая ночь умолкла, не дав ответа.

— Сегодня приезжает Роберт, — объявила Анна мужу, и Фердинанд Громус растерянно захлопал глазами и отвел взгляд. Прошло некоторое время, пока он выдавил, наконец, ответ, заранее приготовленный на этот случай:

— Жаль, что я не смогу его встретить. Дела. Необходимо съездить в Худейовице.

— Я не для того сказала. Встречу сама, я не нуждаюсь в провожатых.

И тем не менее ей пришлось взять в провожатые Михала.

— Вы хотите, чтобы в городе пошли разговоры, будто отец от него сбежал, а я заперся в своей конторе?

Анна искоса глянула, предполагая увидеть на его лице насмешку.

— Мне безразлично, что болтают люди, — ответила она.

Анна прохаживалась по перрону либницкой станции, напряженно прямая, будто затянутая в корсет, которого никогда не носила, и, скрывая волнение, плотно сжимала губы. Роберт! Она не видела сына одиннадцать лет. Что могут сказать фотографии, которые он изредка присылал? Михал ходил с ней рядом, вызывая молодую и гибкий, энергичный и самоуверенный, и каждое его движение кололо ее беспокойным ожиданием сравнения. Михал Громус был по-громусовски дерзок и независим, всегда и всюду чувствовал себя как дома, все заполняя своим присутствием. Анну раздражала его манера здороваться: сняв шляпу, он тут же расплывался в улыбке и звучно выкрикивал: «Мое почтение»... Лавочник так и лезет из него. Разве не таскался его дед с деревянными башмаками по ярмаркам? Взвинченная ненавистью, она едва заметно и молча кивала головой, еще более окаменевшая, чем обычно, эта бывшая супруга никчемного чиновника, корчившая теперь из себя важную даму; она чувствовала за спиной леденящий шепоток.

Ударил станционный колокол, дежурный в красной фуражке вышел на перрон (каждый раз при виде его Анну охватывали язвительные воспоминания), и в далеких пересечениях путей, там, где рельсы уже сливаются в одну линию, показался поезд, уменьшенный расстоянием до игрушки. Он приближался и рос, хвост дыма, расширяясь воронкой, тянулся над вагонами, облака белого пара вырывались по бокам паровоза и тут же рассеивались. Анна Громусова стояла, застыв соляным столбом. Все еще может

рухнуть, мальчиком он никогда не держал слова, ах, этот мальчик так легко давал обещания и так же легко забывал их. От жутковатого лязга металла и свиста горячего пара внутри у нее все дрожало. В торопливой толпе выходящих и входящих Анна ловила взглядом сына.

Он совсем не такой, как этот обрюзгший Михал! Высокий, ему так идет светлый костюм, сразу видно человека светского, на верхней губе темнеют густые усы, раньше их не было, нет-нет, ведь он уехал из дому почти мальчиком, а виски посеребрило быстротечное время. И все же он не изменился. Это Роберт. Ее Роберт.

И хотя ноги плохо держали ее, она сделала шаг навстречу ему и протянула руку, подняла ее с трудом.

— С приездом тебя, — хрипло произнесла Анна. Роберт, однако, не выглядел взволнованным встречей с родительницей. Он нагнулся и легко коснулся усами одной и второй ее щеки. Исполнив сей обряд, он отступил на шаг, чтобы лучше разглядеть ее, и сказал со смехом:

— Ну и постарела же ты! Да-а-а! Совсем — как это говорится... ага, — бабушка.

Голос у него был протяжный и жесткий, казалось, он подыскивает слова и удивляется картавым звукам этого комичного языка. Проклятый язык, когда он говорит по-чешски, его всегда одолевает смех.

Анна стояла бледная. Да, это Роберт. Ее Роберт. Он всегда разговаривал с ней пренебрежительно, тоном человека, которого раздражает материнская заботливость и который отвечает насмешкой на проявления ее любви.

Впрочем, Роберт не замечал мать. Он озирался вокруг, с любопытством принюхиваясь, будто заранее не сомневался, что здесь должно нести хлебом и навозом. «Значит, это и есть та самая дыра, я, кажется, успел ее начисто забыть. Станция была определенно другая. Да разве здесь можно жить? Попробуем развернуться».

— Ну, пошли? — заявил он и двинулся вперед, не интересуясь, следует ли за ним мать. И тут наткнулся на Михала, который стоял в нескольких шагах от них и улыбался.

Роберт оживился.

— Михал! Клянусь, я тебя не узнал. Ну разве это, ну разве это не прекрасно? А ты все такой же толстячок, как был.

Они обменялись рукопожатиями, и Михал с блеском сыграл роль младшего брата.

— Элегантен, — лыстил он с восхищением, — такого

костюма здесь не достать. Боюсь, все Либнице побегут смотреть на тебя, как в паноптикум.

Роберт похотывал. Был он тщеславен и самодоволен. И на самом деле радовался, что встретил здесь своего неродного брата. Выглядит вполне прилично и соответствует проблескам воспоминаний о тех раздорах, что сеяла между ними его мамаша. Роберт похлопал Михала по плечу жестом, который обошелся ему весьма дорого, ибо он перенял его у букмекеров на ипподроме.

— Признайся, старина, да у вас тут сгниешь заживо, а? Ну да ладно, мы с тобой поднимем дым коромыслом,— заявил он, вытаскивая из памяти забытые слова.

И они стали беседовать, будто всю жизнь были лучшими друзьями. Роберт старался показать, что он, как человек светский, стоит выше предрассудков и мелочных семейных свар.

— Что поделывает твой папаша?— поинтересовался он.— Надо полагать, не слишком радуется моему возвращению?

Михал пожал плечами.

— Боятся, что ты не станешь ничего делать.

Роберт, видимо, давно не слыхавший такой смешной шутки, захохотал, и люди стали оборачиваться.

— Старик ясновидец,— вскричал он.— Я возвратился на любимую родину совсем не для того, чтобы изнурять себя работой.

Он был великолепно настроен. Наконец-то после долгого воздержания можно опять говорить все, что взбредет в голову, и ловить на себе любопытные и восхищенные взгляды провинциалов. Это его возбуждало.

Оглянувшись на отставшую мать, Роберт понизил голос:

— Им охота столкнуть нас лбами. Ты моей матушке встал поперек горла, можешь мне поверить. Она мне писала, и ее письма меня очень смешили. Вещала, как библия, а иногда библию цитировала. Жаждет тебя выпереть и отнять наследство. Но это не по мне. Это не *fair play*¹. Я на такое не пойду. Что скажешь?

Что мог Михал сказать? Все в нем хихикало. Всегда самое лучшее подтащить к себе жупел поближе и вблизи разглядеть. Но еще заманчивее услышать, что скажет Анна, если она вообще решится высказать свои мысли вслух. А пока, чтоб сохранить достоинство в глазах тех, кто при-

¹ честная игра (англ.).

стально наблюдает за ней, она остановила носильщика и договорилась о доставке багажа. И Михалу не оставалось ничего иного, как предупредить Роберта, который, казалось, решительно не помнил о своей матери, что необходимо считаться с окружающими.

— Слово чести, — воскликнул лондонский либничанин с небрежным жестом, — я все это успел позабыть и не желаю снова привыкать.

И, с явным неудовольствием дожидаясь, пока их догнит мать, принялся выкладывать Михалу о своей связи с француженкой, которую наконец и в самом деле бросил, сделав вид, будто едет за бумагами, необходимыми для свадьбы, а сам оставил вексель на двести фунтов, подлежащий оплате на следующий день после его отъезда, и фальшивый адрес. Он удовлетворенно хмыкал, вспоминая, как ловко все проделал.

Анна, на лице которой от ярости еще более углубились морщины, подошла к ним.

— Насчет твоего багажа я распорядилась, — сказала она.

Но Роберт, которого ничуть не тронуло выражение ее лица, рассеянно поблагодарил и, рассудив, что не годится в ее присутствии распространяться насчет обманутой француженки, стал рассказывать Михалу о положении дел на английских ипподромах, про мошенничество букмекеров, про владельцев конюшен и жокеев, про то, как прекрасно разбирается в лошадях и в ставках, про выигрыши и проигрыши, которые, как он утверждал, с ним случались исключительно по причине закулисных интриг. Он находился в приподнятом настроении, эти воспоминания, бега, кони, летящие, подобно пущенной стреле, напряженное ожидание, стеснение в груди десятков тысяч человек — о такой жизни можно только мечтать. Роберт говорил громко и, держась на полшага впереди матери, вклинившейся между ним и Михалом, обращался только к нему, словно матери здесь вовсе не было.

В конце концов этот мучительный путь был окончен, Анна опять сидит лицом к лицу с Робертом в своем зимнем саду, где чувствует себя уверенно и единственно на своем месте, завладев им сейчас для себя одной. Она полна решимости управлять им рукою твердою и без промедления вбить в его голову как можно больше полезных наставлений. Наконец-то он с ней, рядом, она так мечтала об этом! В ней ворочается ядовитая насмешка мечты, оскорбленной и разбитой реальностью. Сын унизил ее, едва вышел из вагона, он держал себя как неотесанный болван и дурак, сделал

в глазах Михала посмешищем и себя и ее. Роберт никогда не был хорошим сыном, всегда был бестактен, пренебрегал ее самолюбием и высмеивал ее чопорность. Но она любила это чужое существо, порожденное ею, этого легкомысленного, вздорного и необузданного парня, не пропускавшего ни одной юбки, едва только окончил среднюю школу. Видимо, позвав его сюда, Анна совершила ошибку, и сила, которую она черпала в своем одиночестве и страстной мечте о нем, будет теперь сломлена.

Переступив порог зимнего сада, Роберт втянул носом воздух, будто собака в лавке с дичью. Испаряющаяся из бесчисленных цветочных горшков влага отравляла своими миазмами это редко проветриваемое помещение.

— Фу, у тебя тут вонь, как на кладбище, — воскликнул Роберт и, задерживая дыхание, поспешно подошел к единственному пезанавешенному окну и энергично его распахнул. — Как ты можешь здесь находиться? — И, оглядев все это пространство, заполненное растениями всевозможнейших форм, неподвижные листья которых казались вылепленными из цветного воска, добавил: — Никогда не видел ничего, что было бы так похоже на крематорий. Не хватает только гроба.

И наконец-то обратил взгляд на мать, весь вид которой, если б не открытые глаза, с ее крепко стиснутым ртом, волосами, одеждой и злобно напряженными морщинами на лице, напоминал покойницу. Он содрогнулся от отвращения и подступившей к горлу тошноты.

Анна не отвечала на его грубость.

— Садись, — только и произнесла она и указала на стул перед собой, но Роберт уже присел на подоконник открытого окна и, слегка опершись на раму, отрицательно помотал головой.

— Благодарю, — сказал он. — Мне гораздо удобнее здесь.

Кадык подскочил под морщинистой кожей ее тощей шеи. Она проглотила оскорбление. Да, она только и делала, что глотала оскорбления! Хотелось бы ей знать, сколько она получила их за то время, как он приехал. И все же ее тянуло погладить сына по прилизанным, с легкой проседью на висках, черным волосам. Что он выкинет, если она осмелится? Наверное, оттолкнет и посмеется или скажет еще какую-нибудь грубость. Она сложила ладони и крепко сжала их, усмиряя жгучее желание. Она боролась с собой, не в силах преодолеть своих чувств. Внутреннее напряжение делало ее еще безобразнее.

— Я не слыхала от тебя ни одного доброго слова с момента твоего приезда, — хрипло сказала она.

Волна отвращения поднялась в Роберте. Он смотрел на мать и переживал ее безобразие как нечто такое, в чем природа провинилась перед ним лично. Не стоило возвращаться, если она будет все время торчать перед глазами.

— Чего ты, ей-богу, хочешь? Чтобы мальчик плюхнулся к тебе на руки и лизался с тобой?

Воля ее ослабла, натолкнувшись на злобную жестокость. Он не любит ее. Хуже: испытывает отвращение. Может, подползти к нему на коленях, и тогда он сжалится над ней? «Послушай, я столько лет жила здесь одна, среди людей, которых ненавижу и которые ненавидят меня, и все лишь ради тебя, чтобы ты однажды стал богатым. Ты и в самом деле не можешь хоть немного любить меня, взглянуть на меня ласково и сказать: «Мамочка!»? Он наверняка ответит: «С ума баба спятила». Она попыталась взять себя в руки и снова стать собой, той Анной Громусовой, один лишь взгляд которой нагоняет на людей страх.

— Я надеялась, что эти годы за границей научили тебя хотя бы вежливости. Вижу, ошиблась.

Но Роберт лишь презрительно махнул рукой. Ей бы взорваться и заорать, чтобы проваливал прочь, откуда явился, но мысль, что она увидит его уезжающим и опять станет сидеть тут в одиночестве, уставившись в то окно, у которого он сейчас стоит, сломила в ней последние всплески гордости. Она может заманить и привязать его, лишь купив, как когда-то в детские годы покупала крохи его упорно сопротивляющейся и изменчивой приязни. Ей пришлось оставаться бесстрастной и постараться заманить его призраком богатства, которое готовится урвать для него. Анна начала издали. Подыскивая слова, она вела речь осторожно и в обход, к чему не была привычна. Прежде всего коснулась сердечности, с которой Роберт относится к Михалу. Если он намерен подобным поведением обвести того вокруг пальца, тогда все в порядке. Но если делает это искренне, ей остается лишь предостеречь его. Ибо именно Михал является наибольшей помехой и его необходимо устранить.

Роберт слушал равнодушно, выставив спину из окна наружу и то и дело оборачиваясь, чтобы окинуть взглядом равнину, пересеченную темными полосами лесов и убегающую к далеким горам.

Он закурил и, хитроумно, с фокусами, выпуская дым,

казалось, целиком погрузился в свою забаву. Время от времени он вздыхал, как бы давая понять, что терпение его велико и он способен еще долго выносить эти разговоры, хотя они его вовсе не интересуют.

Наконец он отшвырнул сигарету и соскользнул с подоконника.

— Чего ты, собственно, от меня хочешь? Чтобы я помог тебе выжить отсюда Михала? А кто станет заниматься фабрикой? Если ты вообразила, что я, то выбрось это из головы. Я никогда не взвалю себе на шею такую обузу. Да, я стремлюсь жить на широкую ногу и этого не отрицаю, но утруждать себя работой не намерен. Выжить Михала! На такую глупость я не клюну. Это все равно, что срубить сук, на котором нам так удобно сидеть.

У Роберта были совсем другие планы. Он всегда вел паразитическую жизнь и собирался продолжать в том же духе. Мать стремилась править, он хотел жить на широкую ногу. Править — это всегда заботы, черт бы их побрал! А здешнее золотое дно дает возможность получать денежки более легким способом.

Роберт приблизился к матери и с минуту молча смотрел на нее. До чего же стара и безобразна! Она, видимо, малость повредила умом от одиночества. Вбила себе в голову сделать из него господина фабриканта. Подумать только, что за гордыня ее обуяла! А в Роберте нет гордыни! Мама-ше, конечно, можно посочувствовать, если принять во внимание, что он вдребезги разбил ее мечты и высмеял все, на что она рассчитывала. Но сочувствия в нем нет, одно лишь недоумение — как мог он родиться у существа столь уродливого, жестокого и чуждого жизни, как эта женщина. Роберт заколебался — может, следует ободрить ее каким-нибудь словом, но решил — в конце-то концов, она имеет то, чего заслужила.

Анна смотрела мимо Роберта в открытое окно, от которого он только что отошел. Еще вчера она устремляла свой взор к синим горам и в даль за ними, туда, в то невидимое, где находился он, Роберт! Ее Роберт! Когда он возвратится? Он ли это стоит сейчас перед ней? Какая чепуха. Она не узнает его в этом постаревшем фатоватом мужчине, вполне отвечающем своим видом истинной своей сути, о которой она успела забыть, изгнав ее из своих одиноких мечтаний. Но, если это не он, Анне необходимо создать его. Она слишком упорна, слишком одержима своей мечтой, чтобы так легко от нее отказаться. Хотя бы для такого случая она должна стать матерью, которую не может

оскорбить наглость сына. Не может же она перегнуть его через колено и выпороть!

— Не знаю, чего ты торчишь здесь, — проговорила она. — Можешь отправляться. Хватит с меня на сегодня. Но мы еще побеседуем. И будем беседовать до тех пор, пока ты не поймешь, что я права.

Ее тон напомнил Роберту те времена, когда она бранила его и угрожала наказаниями. Мать умела жестоко избить, ей-богу, сила у нее, как у борца, а ярость холодна и безжалостна. А пока что он раздумывал, стоит ли отвечать ей и как, а сам смеялся в душе, вспоминая то далекое время. Что ж, он тем не менее рос по-своему, вопреки всем угрозам и наказаниям, и жил всегда преотлично. Он решил промолчать. Лишь пожал плечами и, повернувшись, вышел.

— Что поделаешь, — сказал он Михалу, разыскав его в конторе. — Мать подбивает меня совершить переворот, жертвой которого должен, как наследник трона, стать ты.

— Ну и?..

Михал сидел здесь один, потому что Громус-старший и в самом деле уехал, чтобы не встречать пасынка с поезда. Бумаги, сгрудившиеся на столе, являлись вещественным доказательством забот, которые взвалил на себя Михал. Он и впрямь не знал, за что раньше хвататься. Ибо если ему удалось наконец освободить склады, распродав старье и даже снова запустить машины в цехе игрушек, то теперь надо позаботиться, как удержать завоеванные с таким трудом рынки сбыта, выгодность которых, оказалось, была большей частью весьма проблематичной, в частности, еще и потому, что с оплатой его заморские покупатели не спешили. Затем коллективный договор со вновь набранными в цехе игрушек рабочими, которые хотят воспользоваться неожиданно выгодной для них ситуацией, плюс бесчисленное множество других загадок и шарад, которые подсовывает каждый новый день предприятию, пожелавшему преуспевать в эти отнюдь не легкие времена, неизвестность относительно приближающегося воскресенья (придет Ружена или нет) и, наконец, приезд Роберта и все, что может скрываться за этим рискованным ходом в игре. Но Михалу, как ни странно, пожалуй, даже весело, как никогда не бывало в Праге, когда он изображал из себя студента, а сам кутил и бездельничал, специально растягивая время от экзамена до экзамена. Именно такой он представлял себе жизнь. Управлять событиями и давать им развиваться по его желанию. А что, если в один прекрасный день они выйдут из повиновения и набросятся на него самого? Доля

риска лишь добавляет остроты и интереса в работе, которая иначе грозит утонуть в нудном однообразии. И Роберт тоже является частичкой этой угрозы, частичкой, в общем-то, развлекающей, что скорее смешит, как щекотка, чем пугает. Михал осмеливается считать его симпатичным ослом, но решительно не намерен недооценивать.

Роберт плюхнулся в кожаное кресло и вместе с ощущением уюта обрел удовлетворение собственной персоной. Михал, которого он помнил толстым, глуповатым малым, оказался неожиданно деловитым и решительным человеком, с которым можно разумно договориться. За долгие годы, что Роберт проплавал стюардом на океанских судах, он приобрел некую профессиональную способность оценивать и определять людей. «Михал, конечно, продувная bestия, но мужик вполне подходящий, — решил он, — надо будет переманить его на свою сторону». Роберт привык считаться с реальным положением вещей и не любил витать в облаках, когда дело не касалось тотализатора или карточной игры.

— Я отказался, — с глубоким, из самой души, вздохом ответил Роберт выжидающему молча Михалу, позволяя восхищаться своим мужеством.

— Ты обладаешь чувством чести, — произнес Михал без тени усмешки, но Роберт, не следует забывать, столько лет проживший в Англии, обладал, кроме того, еще и чувством юмора и умел различать оттенки речи.

— Чувство чести, — повторил он серьезно. — Даю слово. То, чего добивается мать, все равно что остановить на бегу коня или опрокинуть рюмочку перед стартом. Я видал немало таких, кто на этом свернул себе шею. Я так не играю, если могу играть не рискуя.

Михал подумал о француженке, которая будет ждать Роберта. Простодушие Роберта забавляло его все больше. Ей-богу, какая удивительная смесь пройдохи с растяпой. Любит легкую жизнь, но инстинкт приживалы и бездельника, постоянно живущего за чужой счет, подсказывает ему не брать мамашину сторону. Роберт явился предложить себя, но делал это чересчур откровенно, чтобы можно было поверить в его искренность.

Но так и не подыскав подходящего ответа на сомнительные аргументы Роберта в пользу порядочности, Михал сказал:

— В Лондон, насколько я понял, ты возвращаться не хочешь?!

Роберт выпятил грудь.

— Туда я могу вернуться когда угодно.

И Михал заговорил по-деловому:

— Я обдумываю, как нам объяснить твоё пребывание здесь, чтобы оно не слишком раздражало отца.

— Я ему неприятен.

Роберт улыбался удовлетворенно. Он поигрывал вынутым из жилетного кармашка карандашом в золотом футляре и, утонув в мягком кресле, закинул ногу на ногу и покачивал ею. Живописный портрет члена лондонского клуба, который охотнее скучает, нежели работает или утруждает себя размышлениями.

Михал пожал плечами.

— А я раздражаю твою мамашу. Мы или можем остаться здесь оба или ни один из нас: Некая взаимокompенсирующая сделка.

— Великолепно, — согласился Роберт и рассмеялся. — Я себе цену знаю и согласен оставаться товаром до тех пор, пока от меня не станут требовать, чтоб я ударил хотя бы палец о палец.

Михал на минуту задумался относительно своей собственной ценности и своих истинных намерений. Перед ним сидел человек, который всегда уклонялся от настоящей работы и тем не менее жил преотлично. Если отбросить мысль, что он тебя вполне устраивает именно такой, чертовски обидно сознавать, что станешь надрываться ради захребетника, сделавшего безделье своей жизненной философией.

Немедленно вышвырнуть его — это было бы актом высшей справедливости! Но при этом, что самое забавное, ведь он тебе, пожалуй, нравится, и вместе с завистью (но не более, чем та, что может вызвать лентяй у человека, который никогда не поменяется с ним местами) он возбуждает любопытство. Вспомнив о своей пражской жизни, Михал не удержался от вопроса, прозвучавшего с юношеским простодушием:

— И ты никогда не скучал?

Роберт совсем развеселился.

— А ты когда-нибудь пробовал? — воскликнул он. — Честное слово, если хочешь жить ничего не делая, приходится пошевеливать мозгами больше, чем Форду или кому другому из этих тузов. Серая, однако, эта страна, старик, если она ничуть не изменилась, пока меня здесь не было. Над людьми здесь тяготеет уверенность, будто без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что именно труд является первопричиной всех зол,

постигших мир? Кому мешает лентяй, который только то и делает, что ничего не делает? Но эти чертовы придумщики, пройдохи, те, что постоянно чего-то ищут, куда-то лезут, которым не дает спокойно спать мысль, что люди могут сидеть себе сложа руки, предоставляя событиям идти своим чередом! Эти чертовы несокрушимые, что придумали все, от тачки и пороха до рационализации, аэроплана и отравляющих газов! Скажи сам, сколько они натворили зла?

Роберт сидел с победоносным видом защитника лени, однако, не дождавшись от Михала иного ответа, кроме снисходительной улыбки, расхохотался сам.

— Впрочем, это выдумал не я. Слышал от одного типа, еще не преодолевшего первой стадии стыдливости за лень и потому в оправдание себе положившего ее в основу философской системы. Таких в Англии сколько угодно. Я, мой милый, пошел еще дальше. Я никогда не обременял себя подобными теориями, старался не думать о неприятном и потому только и знал, что развлекался, чем сохранил свои нехитрые принципы и молодость. Отсюда вытекает: я вернулся в Либнице решительно не для того, чтобы всего этого лишиться.

Михал хохотал и даже несколько раз гулко хлопнул в ладоши.

— Рукоплещу оратору, — сказал он. — И все же тебе придется пойти на компромисс. Избрать нечто среднее между тем, к чему ты привык, и тем, что хоть немного похоже на работу. Полагаю, в Либницах тебе долго не усидеть и ты будешь рад, если сможешь время от времени отсюда удираТЬ.

Роберт вздохнул.

— А я-то надеялся, что обращаю тебя в свою веру.

Вид у него был унылый, как у девицы, обманувшейся в своих надеждах. Этот парень был кокеткой. В силу привычки с легкостью и без усилий выходить из самых затруднительных жизненных ситуаций, он научился в совершенстве владеть голосом и физиономией и мог изобразить любое движение души. Роберт был из тех лгунов, которым ложь проникла в самую кровь, вытеснив правду и превратив ее в нечто даже для них самих неправдоподобное. Лжец, слившийся со своей ложью, в союзе веры и пренебрежения к фантазии, разряжаемой таким путем. Лгуний чувствами и словами, он мгновенно использует любое событие и подменяет его прекрасной притчей, коей оно никогда не являлось.

Михал смеялся, испытывая противоречивые чувства восхищения и ненависти. Слишком легко живется этому ничтожеству. И в Михале проснулось что-то от пуританства и желчности деда, который столетие назад яросто преодолевал сопротивление дерева, выдалбливая и выжигая деревянные башмаки, и с ненавистью поглядывал на разжиревших благополучных мещан, что праздно прогуливались перед окнами его подвальной мастерской. И на какое-то мгновение он явственно увидел в Роберте отвратительного бродягу-алкоголика, что таскается в дорожной пыли от двора к двору, униженно попрошайничает или, упившись до немоты, мерзнет в канаве. Эта картина возникает в памяти, когда он начинает говорить:

— Предлагаю тебе небольшое бродяжничество, которое ты в любой момент можешь сменить на лежачий образ жизни в Либницах. Тучные командировочные и тучные коммиссионные.

Роберт морщится.

— Одним словом, коммивояжер.

— Что-нибудь тебе придется делать, если хочешь здесь удержаться, — сказал Михал, подавляя в себе вспышку гнева. — Впрочем, сын владельца фирмы уже не просто «коммивояжер». Беседуешь, угощаешь сигарой или там сигаретой и переходишь в соседний дом. Я никогда еще не встречал человека, которому больше пристал бы титул «представитель фирмы», чем тебе.

Роберт выпрямился в кресле, по его лицу разливалось удовлетворение.

— Ну, если ты так считаешь, то конечно. Представитель! Это годится! Принимаю. А ты, я гляжу, чуть было не рассердился.

Автомобиль у ворот сигналил клаксоном, помогаясь, чтоб его впустили. Возвратился Фердинанд Громус. К чему было куда-то уезжать, если так или иначе встречи с пасынком не избежать. Правда, он этим выразил свой протест — ведь поступили вопреки его желанию. Но дальние дороги уже не для старого Громуса, а он сгоряча рванулся в Прагу. Возвращался в полуобморочном состоянии, отказывало сердце, каждая колдобина давала себя знать. Что ж, по крайней мере, есть подходящий повод отложить встречу до завтра. Но едва машина въехала во двор, как дверца, прежде чем к ней успел подскочить шофер, распахнулась и чьи-то услужливые руки протянулись к Фердинанду Громусу, помогая ему выйти. Он дышал трудно, но, с отвращением отпихнув их, вылез сам. И тем не менее Роберт

снова схватил его руку и стал трясти, обрушивая на старика шквал красноречия.

— Ах, это ты,— выдавил Фердинанд Громус, выпрастывая свою ладонь из неприятных тисков. Он сипел от душевного напряжения, а глаза скользили по фигуре Роберта, избегая его взгляда. Боже спаси и помилуй, фигляр какой-то, я, видно, успел совсем позабыть его. Мне бы стаканчик воды, стаканчик свежей водички. Пусть Михал уведет этого типа подальше, эй, Франц, уберите его прочь с дороги.

— Э-э, прошу извинить меня. Я себя неважно чувствую. Завтра, завтра. Михал, отведи меня наверх.

Роберт остался стоять, едва сдерживаясь, чтобы не махнуть в бешенстве рукой и не выругаться. От смущения он угостил шофера сигаретой и байкой о различиях между английскими и чехословацкими автомобилями и шоссе-ными дорогами, прекрасно понимая, что парень в мыслях насмехается над ним и слушает его с вежливым нетерпением.

Фердинанд Громус между тем, выпив стакан холодной воды и полулежа в широком кресле возле своей кровати, медленно приходит в себя. Он не разрешает зажигать свет, такая поза успокаивает, подобно мягкой ладони. Только не определенность — пусть все, сливаясь, тонет в тумане, не имея даже контуров, не видеть, не слышать. Лишь свое сердце, что так подвело меня, и шум крови, которой у меня излишек, она распирает голову, эта слишком густая кровь, и не хочет бежать по жилам, как ей положено. Он как бы наклонился над пропастью, но не чувствует ни малейшего страха. И только сама мысль, что сейчас он не побоялся бы умереть, испугала его. Он пытался дышать глубоко и ритмично. Благодарение богу, удалось, сердце начинает успокаиваться, оно бьется ровнее, хотя отстукивает свои удары, подобно башенным часам, с долгими интервалами. Прилив крови спадает. Не так еще плохи твои дела, дружище, ты просто немного устал.

Михал растерялся и был зол. Зная о болезни отца, он не может позволить себе забывать, что должен щадить его. Но каждый раз, напоминая старому Громусу о необходимости показаться специалисту, натывается на упорное сопротивление. Сейчас у Михала сразу всплыли в памяти слова либницкого врача, с которым недавно консультировался: «Завтра он вдруг ни с того ни с сего икнет, и все! Конец!»

Как он мог откладывать столь серьезное дело? Михалу удалось пронюхать, что последнее завещание отец писал под надзором Анны. Наверняка завещание нелепое, а от

него откупились законной долей. Завещание, вне всякого сомнения, необходимо изменить, если Михал не хочет лишиться всего, что принадлежит ему по праву. И как это он до сих пор не нашел удобного случая переговорить с отцом?

Михал прислушивается к дыханию старика. Случись это с отцом сейчас, Михалу останется собрать пожитки и покинуть дом нищим. Допустим, он и впрямь уже умирает, что мне надо сделать? Я никогда еще не видел умирающего. Сумерки нагоняют на Михала тоску. Лицо отца кажется расплывчатым, и лишь время от времени Михал слышит слабое мышинное попискивание старческого дыхания. Михал в замешательстве и не находит смелости хоть чем-то нарушить тишину. Он весь напрягся в странном ожидании, где страх смешался с любопытством, злость на отца и на самого себя — с игрой воображения, весьма настойчиво и отрывочно, в поспешной последовательности прокручивающей перед ним куцые обрывки поступков, на которые он решится, если наступит катастрофа.

Давить перестало, как будто расстегнули слишком тесную одежду, легкие теперь дышат свободнее и в такт с ударами сердца. Лишь в голове еще слабо шумит, словно шуршат удаляющиеся крылья, да в затылке остается ощущение, что только секунду назад он скинул невыносимо давящую тяжесть. Правая сторона тела, казалось, скрывает свое существование. А где его правая рука? Сердце испуганно подпрыгнуло. Фердинанд Громус шаркнул ногой и одновременно поднял руку. Ах, они тут и двигаются вполне сносно. Радость растекается с веселыми всплесками. Столько страха из ничего.

— Зажги свет, — крикнул он Михалу преувеличенно громко, возжелав вдруг света, который вместе с темнотой изгонит последних нетопырей тоски.

Свет заливает его ощущением безопасности и уверенности. Вот она постель и письменный стол, где он за всю жизнь едва ли написал три письма; под ногами ковер, так выгодно купленный на распродаже в замке. Старику кажется невероятным, что он когда-нибудь будет вырван отсюда, где он врос корнями крепче, нежели дуб в родную землю. Беспомощность отступила, он уже не корчится, раздавленный физической слабостью и страхом смерти. Кичливая громусовская душа, сжавшаяся и задохнувшаяся было от страха, окрепла и достигла обычных размеров.

— Что хотел, то и получил, — набросился он на Михала с неожиданной горячностью. — Англичашка. Пижон. Я его не вынесу и недели.

— Об этом я уже позаботился, он не станет мозолить тебе глаза. Мы сделаем его коммивояжером.

Фердинанд Громус почувствовал, как кровь снова кинулась в голову. Кто здесь решает, кто здесь пока еще хозяин? Нет-нет, тебе нельзя волноваться. Впрочем, если Фердинанд Громус не выйдет из себя, он не в силах настоять на своем. Но, когда язык плохо слушается, мысли разбредаются, и даже более того, мыслей вовсе нет, а есть лишь какие-то неуловимые обрывки, за которые он пытается в страхе ухватиться. Вот-вот снова навалится удушье, я чувствую, оно снова хватает меня за горло!

— погоди,— быстро говорит Михал.— Не волнуйся. Роберта сюда вызвал я, и я возьму его на себя. Но тебе совсем ни к чему быть с ним грубым. Этот человек преисполнен благими намерениями понравиться тебе и наладить дружеские отношения.

— Плевать я хотел на его намерения.

Но Михал отрицательно махнул рукой.

— Оставим это. У меня в голове дела поважнее.

В нем вспыхнула острая антипатия к отцу. Внезапно пришло решение покончить с колебаниями одним махом. Старик и в самом деле способен помереть, может быть, даже сегодня ночью и поставить под удар, сломать все, ради чего он здесь надрывается. Где-то в тайниках души шевельнулся страх — ну как можно проявлять такое бездушие! Разве не родной отец сидит перед ним, можно сказать, при последнем издыхании? Но какой смысл споткнуться на подобной глупости и перекрыть себе все пути?

— Тебе сегодня стало плохо,— сказал Михал и укоризненно смолк, давая отцу время заглотнуть наживку.

И Фердинанд Громус, как только ему полегчало, готов уже любоваться своим нездоровьем, вызывать жалость и принимать сочувствие. Кто мог ожидать, что сыночек проявит такое внимание? И старик начал во всех подробностях выкладывать про свои недомогания, сгущая страхи.

Михал дал ему выговориться, не перебивая и пытаясь отделить правду от старческой болтовни. И без того, даже если взять половину, дела были достаточно тревожны и подтверждали предположения и пророчества старого городского врача.

— Я уж, ей-богу, думал, помираю, сколько может такое тянуться? — постанывал Фердинанд Громус преувеличенно слабым голосом, как бы прерывающимся от перенесенных страданий. И вдруг, почувствовав сильный голод, он спохватился и продолжал уже с оглядкой, опасаясь, не

слишком ли далеко он зашел, чтобы просить ужин? Шницель натуральный на сливочном масле, в собственном соку, наверняка бы пошел ему на пользу, глоток вина он тоже может себе позволить, если примет порошки, те, что ему прописал доктор, да два-три раза затянуться сигарой. Он до того погрузился в заманчивые мечтанья, что пропустил первые слова сына. ...Завещание? Какое еще завещание? Он вдруг всполошился — неужели его дела и в самом деле так плохи?

И Фердинанд Громус, отвергая это, замахал рукой, той самой рукой, которая, как ему только что казалось, была нечувствительна. Хватит, ничего такого он и слышать не желает. Он еще жив, а они уже раскаркались, воронье! Сначала жена, а теперь сын. Было бы можно, он бы все богатство забрал с собой. Все принадлежит ему одному, это плоды его трудов и стараний, никто ему ничего не давал, никто не помогал наживать. Никому ничего, никому ничего.

Откуда-то снизу, из кухни, послышались громкие, частые удары, от которых вздрагивали стены. Кухарка отбивала мясо. Фердинанд Громус представил себе шницель, о котором мечтал с такой страстью, как, пожалуй, только в молодости мог мечтать о женских объятиях. Сыну же слышались ритмичные удары в подвальной мастерской в Праге: «Золотобит, золотобит, золото, золото», как будто подхваченные и усиленные спятившим с ума варваром. Михал с трудом обуздал себя, чтобы не заорать и не встряхнуть старца, которому даже нависшая над ним тень смерти не прибавила разума. Он подвинул свой стул к его креслу и заговорил громким свистящим шепотом, чтобы перекрыть доносившийся стук и вместе с тем не слишком доверяя стенам этой комнаты. Пробил час! Хватит быть бабой, игрушкой в руках алчной женщины, пора стать наконец по-настоящему деловым человеком. Старое завещание необходимо ликвидировать и написать новое. Неужели он хочет, чтобы все созданное за долгую жизнь пустил по ветру, просадил в кабаках и на бегах этот психоватый пижон? Михал говорил, пытаясь поставить себя на место отца. Старики сентиментальны, способны переварить факты, лишь одобренные пикантным соусом. Почему бы нам в таком случае не побеседовать о чести фирмы и добром имени Громус, которые необходимо сохранить?

Стены перестали вздрагивать, стук в кухне прекратился. Сейчас кухарка бросит шницель на сковородку. И старый Громус слышит уже яростное скворчанье кипя-

щего масла, обрушившегося на холодную массу, которую и него опустили. Он выслушивает сына и сглатывает слюнки. Мальчик прав, негоже, чтоб его надували, а имя Громус и впрямь кое-что да значит. Волна сентиментальности лезет вверх по жилам, и ласкающее чувство гордости посылает импульсы сердцу. Старик почти весел, и гаденькие мысли вселяются в него, будто он внезапно помолодел и вернулся в те времена, когда изворачивался, ловчил и дрался за свое благополучие и будущее. Он поднял руку, ту самую руку, которая только что напугала его, и с наслаждением почесывал ею затылке, где уже не было ощущения тяжести. Ну разве не смехота, если он и впрямь обведет вокруг пальца Анну, такую самоуверенную, и оставит ей лишь то, что положено по закону? Жаль, он этого уже не увидит и не сможет насладиться ее бессильным бешенством. Если он сделает этот шаг, то Михала ждут горячие денечки. Впрочем, это уже его заботы. Старик вспомнил нотариуса, эту старую лису Пуркла, который вот уже четверть века ведет его дела. Интересно, что он скажет? Пурклу не по душе проект завещания, которого так добивалась Анна.

«Ты, Ферда, рехнулся, что ли?— сказал ему тогда Пуркл.— Придет день, сын тебя проклянет, и правильно сделает».

В тот раз они чуть было не разругались навсегда, ибо Фердинанд Громус, отлично сознавая всю подлость своего поступка и свою трусость, тем не менее с пеной у рта отстаивал свое, упирая на принцип: «со своим имуществом я могу делать все, что взбредет в голову». Память вернула забытую было ярость. И теперь он тоже имеет право поступать, как ему заблагорассудится. Фердинанд Громус представил себе, как утрет нос старому нотариусу, когда явится к нему с предложением аннулировать старое завещание и составить новое. Неужели и впрямь выгорит? Анна! Известное дело! Страх прошелся по нервам. Но бунт безвольного уже разгорелся. Он делает все осторожно. Ведь, когда Анна узнает, его уже не будет.

По притихшему дому разносился теперь иной звук. Кто-то напускал воду в ванну, и вскоре грубый, без модуляций, мужской голос громко запел. Роберт собирается принять ванну.

— Скажи ему, чтоб заткнулся,— крикнул Фердинанд Громус.

Михал моментально поднялся с места.

Старик остался один. Пение прекратилось, сменившись приглушенными переговорами двух голосов. В этом доме

с ним ничуть не считаются. Никто. Ну к чему было Михалу притаскивать сюда это ничтожество? Михал наверняка хотел как лучше, Михал трудится не разгибая спины. Разве он не прав, желая иметь гарантии? И, так как Фердинанд Громус уже вышел из состояния прострации и голод все настойчивее заявляет о себе, он дал волю фантазии и вызвал меланхолический образ сына, достойно продолжающего оставленное им дело. И он решился.

— Михал, — изрек он торжественно, как только сын вернулся. — Я завтра же отправлюсь к Пурклу и сделаю все, как ты хочешь. Но ты должен избавить меня от этого мерзавца. Не желаю его видеть или, по крайней мере, видеть как можно реже.

— Может быть, мы скрепим это рукопожатием? — предложил Михал.

Сын стиснул его руку, и у растроганного Фердинанда Громуса заколотилось сердце. То была великая минута. Ведь Громус вручал свое дело сыну.

— Слушай-ка, Михал, — молвил старик смущенно, когда тот собрался распорядиться, чтобы ужин отцу подали в комнату, — а бокальчик вина мне не повредит...

Он смотрел на сына робко и просительно, как мальчишка, опасаящийся, что его лишат лакомства. Михал кивнул.

Но, спускаясь по лестнице в полуподвал, где находилась кухня, Михал все же прикидывал — а не слишком ли многим он рискует, давая разрешение. Что ж, будем надеяться, завтрашний день старик еще как-нибудь протянет. Но каково, однако, это уходящее поколение, если даже на смертном одре не в состоянии отказаться от удовольствий, которые убивают?

7

Автомобиль Михала урчал, остановившись неподалеку от пруда Блато. Молодой Громус ждал, поставив его в тени старого дуба. Лес, словно праздная воскресенья, был еще тише, чем в иные дни. Солнце, отраженное неподвижной гладью, кружево теней на дороге да звон мошкары. Мотор урчит, стараясь перекрыть этот звон, машина легонько подрагивает, дыша теплом и смрадом, словно живое существо, и дело рук человеческих кажется чем-то более реальным, нежели творение природы.

Трудно поверить, до чего же сладок подчас вкус одино-

чества. Дымок сигареты, что ты выдохнул, не спешит раствориться в неподвижном знойном воздухе, он привлекает твой взор и уводит сознание в нематериальный мир, о котором ты прежде не имел и понятия. Это, подобное начальной стадии опьянения, сладкое безразличие к себе и ко всему сущему. Тревожась, как бы это ощущение не исчезло, задерживаешь дыхание, не давая мыслям просочиться, будто воде сквозь обветшавшую плотину. И вдруг все исчезает, нет более голубого дыма над тобой и голубого тумана в голове, снова повеяло холодным ветром умеренности, стыда и смутных сожалений, ты снова являешь собой ревущий диалог, ты и тысяча рычащих морд, ибо человек мыслящий есть человек спорящий. Ты явно не подходишь такой тишине, что замирает в изумленном страхе перед тобой, твоим пульсирующим мотором и не дающим тебе покоя мозгом. Хотя может показаться, будто природа, против которой столько людей ведет жестокую борьбу, создана лишь для того, чтоб мещанин нашел на ее лоне свой воскресный покой и отдохновение. Взять хотя бы этот дуб, в тени которого так вольготно, чья красота, впрочем, оставляет тебя равнодушным, он напоминает тебе Анну Громусову. Анна Громусова и дуб. Любовь к Роберту подтачивает ее, как жук-древоточец.

Михал глубоко затянулся сигаретой и, раскинув руки на спинке сиденья, удобнейшим образом развалился в своем автомобиле. Ощущение одержанной победы неустанно щекочет нервы, направляя подсудно все мысли в определенное русло: «...и единственным наследником сына моего Михала, в чьих руках, как я уже смог убедиться и твердо уверен, состояние мое будет приумножено...» Отец в своем завещании воспарил до патетики, которую, впрочем, всегда любил.

Михал посмотрел на часы на приборном щитке машины. Половина третьего, он здесь уже полчаса. Все это время он не выключал двигателя, не внимая справедливому укору в расточительности. Это несоответствие окружающей его задумчивой умиротворенности природы ритмичному пульсированию мотора странным образом отвечает хорошему расположению его духа. И тело отдыхало, а мысли летели во весь опор. Так должно быть: гонка, постоянные тревобления — это единственное, чем ты никогда не насытишься. Едва закончишь одно дело, кидаешься в другое, и жизнь, откликаясь тебе, торопит к новым свершениям, ты жаждешь чего-то нового, иного, ты рычишь устами своих агентов и деловой перепиской, нет-нет, такое уже было, ах,

все это старо, дайте нам что-нибудь поновее. Что-нибудь новенькое. Безусловно, этот вопль, сотрясающий мир, естествен, он выражает чувства и чаяния современного человека и, честное слово, нравится тебе. «К чему это приведет?» — спрашивали твердолобые представители уходящего поколения, пережевывая репы своей нерешительной и астматической мудрости.

— К новому и новому, — можно бы с легкостью ответить, — нету иной границы у подобного полета, нежели катастрофа. Работают уже не медлительные руки, а машины, которые давно посрамили чудеса волшебной палочки из старых сказок, повозки, запряженные лошадьми, которые некогда тащились по дорогам, словно превращены в моторы и мчатся на бешеных скоростях. Новое и новое. Только так. У нас есть возможность наддавать, я бы сказал, до бесконечности. Есть лишь одно опасение. Хватило б отпущенной жизни на все, чего ты хочешь! Мы мчимся вперед все быстрее, и, значит, справедливо желание, чтобы наш жизненный путь стал длиннее. Новое и новое. Правильно ли это? Да, ибо это единственное, чего мы хотим, ибо это единственное, что нам подходит.

Весьма возможно, конечно, что девчонка не придет. Михал закурил новую сигарету. Решил прождать час. Как только истечет час, он с точностью до минуты включит скорость и придаст газку, даже не удостоверившись, явилась ли она в последний момент. Да, это правда, за все время, что Михал сидит тут, он ни разу не оглянулся. Делать вид, будто девушка тебя не слишком интересуется, — основное правило, если хочешь добиться успеха. Михал, кому редко отказывало чувство реального, усмехнулся.

Он торчит здесь уже более получаса, а это полностью опровергает столь назидательное правило. Ах, да в этом ли дело! Если она спряталась где-нибудь за деревом, борясь с нерешительностью или желая поразвлечься, пусть увидит человека, лениво развалившегося на сиденье своего автомобиля и не обнаруживающего ни нетерпения, ни интереса к ее персоне. Впрочем, у молодого Громуса были и сомнения в отношении этой авантюры, если, конечно, до авантюры суждено дойти.

Умный кот никогда не охотится в своей округе, утверждает другое правило. Это было для него законом, и он следовал ему в своих любовных похождениях в студенческие годы. Что ж, улыбнемся и пойдем дальше. Есть сомнения и посерьезнее, которые в данной ситуации могут вызвать колебания и опасения.

Михал с легкостью может отказаться от Ружены, ничего еще не началось, и потому не надо ломать голову, как закончить, — что бывает самым тягостным (опять истина, на сей раз основанная уже на собственном небольшом опыте), но возбуждено его любопытство (а оно, надо сознаться, единственный импульс, до сих пор толкавший его к женщинам) и его стремление к опасности — если говорить честно, скорее надуманной, чем реальной. Хотя в данном случае опасность, пожалуй, весьма реальна. Минули времена, когда к образу жизни и экипировке молодых фабрикантов принадлежали также пикантные истории с дочерьми их рабочих. Отец Ружены — председатель фабричного комитета и сильной политической организации. Он задаст такого перцу, если связь вдруг откроется! Вот когда может разразиться общественный скандал! Сейчас дадим газ и поедем! Если б не так сильно хотелось знать, что эти люди собой представляют... Михал вспомнил свое возвращение: грузчики у пакгауза равнодушно коснулись козырьков своих кепок и лениво продолжали работу.

Девушка могла бы многое ему рассказать. На долю секунды он совсем по-мальчишески увидел себя переодетым лазутчиком в стане врага.

На дороге заскрипел под ногами песок, каблук чиркнул по обкатанной щебенке. Михал сидит, притворившись, будто ничего не слышит.

Ружена остановилась рядом с дверцей машины. Она запыхалась, щеки покраснелись, выглядит рассерженной.

— Зачем вы тут стоите, почему не уезжаете? — выкрикнула она, прежде чем Михал успел поздороваться. — Я пришла не к вам. Я иду к тете в деревню, а другой дороги нету. Пятнадцать минут стою в лесу и дожидаюсь, пока вы уедете.

Она говорила быстро, захлебываясь словами, но звучало все заученно, будто эти слова она много, много раз повторяла. Похоже, она боится, как бы он не перебил ее, не дав договорить, а сама исподволь, изучающе смотрит, какое производит впечатление. Ружена всегда с легкостью измышляла отговорки и капризы, чтобы помучить молодых рабочих и конторщиков, пытавшихся завоевать ее симпатию. Ах, подчас она достигала таких результатов, что ей самой становилось жаль несчастного бедолагу. С Михалом все иначе. Она знала, что выглядит так, как хотела того, но ее колотила дрожь.

Михал открыл дверцу и выскочил из машины.

— Ну, ежели это так, — произнес он, — то вам следует

поторопиться и сесть в автомобиль, чтобы наверстать время, которое из-за меня потеряли.

Он видел ее насквозь, и она это понимала, видел насквозь, как только она заговорила, но ей пришлось продолжать игру, хотя уверенность покинула ее.

— Нет, я пойду пешком. Не можете же вы везти меня в деревню, где меня все знают.

— Тогда хотя бы до перекрестка.

Он легонько взял ее за локоток и подтолкнул к дверце машины. Ружена вырвалась. Нет больше смысла что-то изображать. Это оскорбляло ее больше, чем она могла вынести.

— Вы действительно дожидались меня?

— Ведь мы же договорились.

— Но я вам ничего не обещала!

— Я надеялся, что вы передумаете.

Она поставила ногу на подножку и опустилась на переднее сиденье.

— А я передумала только что и к тете не поеду. (Она засмеялась.) Ведь должна же я чем-то отплатить вам, вы так долго меня дожидались.

Михала ничуть не трогали ее насмешки, просто-напросто все шло, как он и предполагал. Не ответив, он сел рядом и включил мотор.

— И куда вы меня повезете? Так хочется потанцевать.

С Руженой можно ехать куда угодно — она словно создана для автомобиля и фэйф-о-клока, — и даже в такие танцзалы, где за бокал фруктового сока с водой платят по десять крон. Отменное здоровье и врожденная элегантность; фигура, которая украсит любое платье, и платье, за которое не пришлось бы краснеть и самой привередливой буржуазке. Ружена похожа на тех любовниц богачей, что выглядят изысканней, чем их законные жены.

Ну и что? Не усложнять же себе из-за этого жизнь! Михал взял себя в руки. Все внимание дороге, он, не изменяя своей привычке, ехал с большой скоростью. Нервы все еще были напряжены.

— Вы так любите танцевать?

Задавая вопрос, он понимал, что это один из немногих вопросов, которые можно задавать женщине любого общественного положения. Танцевать! Вальсирующая Европа впорхнула в мировую войну, джазовая Европа, похоже, допрыгается до новой катастрофы.

— До смерти! — вздохнула Ружена, словно ритмы тан-

го, улавливаемые лишь ею, стеснили грудь.— Я бы за танцы отдала душу, если б она у меня была.

Стремительность ее ответа растрогала его и словно посулила обещание. Он так резко сделал поворот, что ощутил на своем лице ее волосы.

— Почему?

Она пожала плечами.

— Когда я танцую, становлюсь другой. Мне начинает казаться, что у меня есть все, чего я хочу. Или что изменился мир! Я танцевала бы до упаду, иногда мне хочется умереть во время танца и я страшно боюсь, что он кончится. Но всегда одно и то же — все остается таким, как прежде.

Ружена запнулась. Теперь она сидела подавленная и жалела, что так разболталась, позволила втянуть себя в разговор и пустилась в откровенности. Родной дом предостерегающе поднял руку: отец, Индра Поур. До чего же все они ненавидят таких, как Громус!

Шоссе убегает узкой лентой вдаль и, подобно бесконечному жерлу, вблизи расширяется, заглатывая автомобиль. По обе стороны раскинулись по-воскресному безлюдные поля, и льется между небом и землей песнь жаворонков. И, наперекор всему, так прекрасно, отдавшись мягким объятиям автомобиля, уноситься к неведомой цели и неведомой судьбе. Какая там судьба, глупышка, почему не прокатиться, если есть такая возможность? Ведь это ни к чему еще не обязывает, какая там судьба, если ты держишь ее в руках! Машина свернула вправо, они объехали большой город стороной и сейчас мчались вверх, к горам. Горы ей всегда казались неподвижным синим облаком на горизонте, теперь она увидит их вблизи. Будь у меня деньги, я купила бы себе такой же автомобиль и носилась с места на место, только бы ездить, мир так велик, и я хочу увидеть все. Страшно подумать, что есть на свете места, которых я никогда не узнаю, даже если мне повезет и в моей жизни будет все, как мне хочется. Господи, мне бы деньги! До чего же несправедливо, что у меня их нет. Так говорит отец и Индра Поур тоже, но они прикидываются, будто быть бедным великая честь. Посмотрели бы, с кем я еду, дали бы мне жару!

Поля исчезли, теперь потянулись леса, и дорога поднимается все круче. Здесь леса совсем не те, что вокруг Либниц. Там лес веселый, светлый, полный шелеста и шума, с сухим смолистым благоуханьем, там сосны, кора у них отливает медью, а узловатые ветки подобны мускулистым рукам тяжело работающего человека. Здесь же, под

елями, строгими и отчужденными, с их ветвями, склоненными до самой земли, прячется тьма и подползает почти что к самой дороге.

Автомобиль легко и бесшумно взбирался на высоту. Михал вел его молча, будто забыл, что едет не один. Ружена даже рада его молчанию. Она притулилась в уголке у самой дверцы, отодвинулась от него как можно дальше, ей хочется не думать о Михале, и она все старается внушить себе, будто машина идет сама собой, управляемая лишь ее равнодушной волей. Все походило бы на сон, если б где-то в глубине сознания не билась тревожная мысль, что в конце концов они остановятся, начнутся слова и ... Ружена заставляя умолкнуть тревогу, ей хочется быть просто телом и глазами, которые радуются, но не мыслью и не сгустком желаний, более прекрасных, нежели любая действительность.

Неожиданно впереди посветлело, лес по левую сторону все еще бежит вверх, а дорога свернула и выплеснулась на широко раскинувшиеся холмистые луга.

— Вот мы и прибыли, — сказал Михал и затормозил у вытянутого ширию приземистого двухэтажного строения, стоящего на высоком фундаменте из светло-коричневых блестящих бревен. Несколько ступенек вело к настежь распахнутым дверям, и готическая вывеска над ними гласила: «Трактир» — «Gasthaus». Другая табличка, прикрепленная в окне у входа, соблазняла: «Свежая форель» — «Friche Forellen». И во внезапно наступившей тишине стал слышен звонкий голос ручья, что, проскользнув под мостиком рядом и теряясь в крутых берегах, торопился обегать сад вокруг дома.

— Как вам здесь нравится?

У Ружены слегка кружилась голова и ноги от долгого сидения были ватными. Она дышит? Воздух был неправдоподобно легкий, и, если б не насыщавший его аромат, можно было бы подумать, что его нету вовсе.

Несколько домиков ютились, разбросанные по склону, их отливающие серебром тесовые крыши одной стороной вросли в землю.

Приободренный восторгом девушки, Михал повторил свой вопрос с таким самовлюбленным тщеславием, будто весь этот уголок был его собственностью. Громус! Он не способен ничего дать без похвалы. Ружена, подавив возглас изумления, готовый сорваться с ее губ, равнодушно пожимая плечами, произнесла:

— Красиво.

Начало не слишком хорошее. Ружена презирала его, но боялась оттолкнуть совсем.

Они пили кофе на застекленной, с распахнутыми окнами, веранде. Благоуханный воздух извне смешивался с сухим духом деревянных стен. Их обслуживал хозяин, высокий молодой человек, смуглый и светловолосый, с глазами неправдоподобно блеклой голубизны. Одну щеку пересекает глубокий шрам. «Видимо, со студенческих времен, — решил Михал. — А если так, то почему он теперь трактирщик в этом медвежьем углу?» И, все еще раздосадованный холодностью Ружениного ответа, завел с ним разговор. Насколько Михалу известно, за тем лесом раньше был стекольный завод. Как там дела? Улыбка, еще более блеклая, чем цвет глаз, скользнула по лицу трактирщика и исчезла в провалине шрама.

— Дел нет, — сказал он и пожал, как только что Ружена, плечами. Он говорил по-чешски слишком твердо, но четко, и его «рж» звучало раскатисто. — Трудно поверить, — продолжал он. — Казалось бы, после стольких лет разрушения миру многое понадобится. Но для нас работы не нашлось. Я служил на стекольном в конторе, — добавил он, и еще одна бледная улыбка исчезла в его шраме.

— Для вас не нашлось работы? — повторил Михал, не поняв значения его слов. — Почему?

— Нашим покупателем был Дальний Восток и Южная Америка. Но Япония нас вытеснила. Она ближе, а ее рабочие работают почти даром. Мы не выдержали конкуренции.

Михалу был нанесен удар под дых. Не выдержали конкуренции? Почему же не искали других рынков сбыта? Он вспомнил недавние месяцы, проведенные в упорной борьбе за новые рынки, и надулся спесью и презрением к трусам, сдавшим свои позиции преждевременно. Улыбка трактирщика стала еще более тусклой, он привык выслушивать мнение своих клиентов и не возражать им. Но Михал возбуждал в нем слишком острую неприязнь.

— Кризис, сударь, — сказал он снисходительным тоном. — Сегодня он коснулся нас, завтра доберется до других. Это лишь начало, будет еще хуже. Что вы можете сказать насчет текстильной промышленности на севере? Фабрики закрываются одна за другой. Слишком развита промышленность для такой маленькой страны. Империю легко было свергнуть, но чем вы ее замените? Пятьдесят процентов промышленных изделий мы продавали на территории всей империи, и взамен не нашли ничего. А правительству (шрам искривился и стал глубже) нет до нас

никакого дела, и оно глухо к нашим нареканиям. В этих домиках, сударь (он показал на разбросанные по откосу строения), достатка не было никогда. А сейчас там просто голодают.

Как назло, зазвенел звонок, зовущий трактирщика в кухню, и Михал остался наедине с Руженой и с яростным, невысказанным ответом, застрявшим в глотке.

— Вот вам, пожалуйста,— повернулся он к девушке, которая, как ни странно, слушала их со вниманием. — Они всегда валят свою несостоятельность на кого угодно и на какие угодно обстоятельства, лишь бы не признать виновными себя. Кризис! Что это значит? Большие трудности со сбытом, бешеная конкуренция и отсебестовство.

Михал гнал от себя мысль, что и сам может оказаться в числе неспособных или раздавленных обстоятельствами, от которых не спасешься. В нем бурлила и бунтовала не только молодая сила, подогреваемая первыми победами и уверенная в своей несокрушимости, но также убежденность, что, видимо, так и есть, о чем вопят вокруг, мир и в самом деле перерождается, готовый смести с лица земли все старое, в том числе людей подобных ему, эксплуататоров и дельцов, кто диктует законы беднякам, полностью подчиненным и зависимым от них.

Ружена почувствовала, что он встревожился. Вы только поглядите, как он струсил, да он и впрямь боится!

— Я в этом не разбираюсь,— сказала она и перевела взгляд на разбросанные по кособокому домику. — Но мой отец говорит, что все не так просто, что этот кризис кончится по-другому и положит конец капитализму.

— Чепуха! — крикнул Михал. — Это утопия и мечты блаженных. Невозможно организовать мир, не вверив одним управление, а другим работу. На свете всегда одни будут трудиться, а другие станут указывать, как это делать. В мире не так уж много умов, способных что-то придумать. Остальным приходится лишь подчиняться и слушаться. И этого не сможет изменить никакая революция. Таково предопределение самой природы, раз и навсегда выраженное самой сущностью жизни в этом мире!

Ружена наслаждалась его раздражением. Он с таким иступлением опровергал даже мысль, будто в один прекрасный день мир помимо его воли может измениться и раздавить его, Громуса, или отшвырнуть в сторону, что она на какой-то момент твердо уверовала в надежды своего отца и Индржиха Поура. Вдруг и в самом деле не так уж далеки времена, на приход которых они надеялись. Но в таком

случае ей следует собраться с духом и, отбросив нетерпение, с верой ждать вместе со всеми.

— Ну, а как же Россия? — спросила она.

Михал понимал, что она насмехается и умышленно поддразнивает его. Но взять себя в руки не смог. Нечто в нем заставляло с ненавистью кидаться на подобные намеки, со слепой яростью, как быка — на красную тряпку тореадора.

— Россия — всего лишь начало, и никто не может сказать, чем все окончится. А впрочем, Россия вовсе не отрицает правомерности моих слов. И там тоже группа людей руководит, остальные подчиняются и гнут спины. Правда, на смену промышленнику там пришел чиновник, и я не знаю, что лучше.

Ружена пожала плечами с презрительным безразличием. Возможно, рабочий действительно всегда будет кому-то подчиняться, но важнее, как он будет жить и что получать за свой труд.

— Не это главное, — ответила она. — Ведь в России всем отмеряют поровну.

— Да! Там всем одинаково скверно. Женщины мечтают о шелковых чулках и куске мыла, как в других странах мира — о бриллиантовых серьгах или жемчужном ожерелье. Вы, в вашем платье, выглядели бы среди них королевой.

Ружена думала об этом с прежней тревогой. Она всегда боялась, что день, о котором так мечтает, придет для нее слишком поздно.

— Временные трудности, — заметила она, и дрогнувший голос выдал ее сомнения.

А Михал рассмеялся, внезапно ощутив свой перевес.

— Как вам будет угодно. А пока это тянется вот уже пятнадцать лет, и за это время вырос, состарился и умер в безнадежной нищете миллион-другой людей.

Ружена смотрела в окно и думала о себе, ей-то что за дело до русской или любой другой революции... Слушая речи, что велись у них дома, она лелеяла свои собственные мечты. Не остаться на бобах со своей собственной красотой, не прозябать всю молодость в убожестве бедняцкой жизни. Не сгибаться над швейной машинкой и не ютиться в тесной комнатухе с кухней, разрываясь между плитой, корытом и шваброй. Ненависть к богатым! Она ненавидела их, впрочем, как и все те, среди которых она родилась, но признавала, что главная причина ненависти в том, что ей никогда не придется жить, как живут богатые.

Лесные тени становились все длиннее, они покрывали теперь большую часть лугов под окнами. Стали слышны колокольцы коров, возвращавшихся с горных пастбищ, но стада пока не было видно, стадо гнали по лесным тропам. Бередящие душу звуки придавали вечеру особую прелесть. Если сделаешь, что задумала, станешь обычной шлюхой. Глупости. Испокон веку женщины продают свою красоту. Одни по-глупому, другие половчее. Красота — их собственность. И это их право. Где сказано, что она обязана выйти, к примеру, за тощего, худосочного Индру, который всю жизнь будет любить еще более худосочный призрак революции больше, чем ее? Ведь ее жизнь и красота принадлежат только ей.

Окна домишек, разбросанных на косогоре, сейчас светились, словно позолоченные. Она дрожала, как в ознобе, мучимая сомнениями. Там голодают люди. Голод, как проказа, страшная, заразная болезнь.

Михал уже успокоился. Ишь чего захотели, напугать его кризисом, и он чуть было не испортил себе день, предназначенный совсем для другого. Сам-то этот немчик со шрамом все-таки сумел, падая, удержаться на ногах и найти другое дело. В этих хижинах, дескать, никогда не было недостатка, а теперь там просто голодают. Что и требовалось доказать! Значит, он, Михал, прав. Без хозяина пропадут. Жизнь все усложняется, бедняку, чтобы прокормиться, мало быть поденщиком. Историческая роль капитализма — умножать возможности трудоустройства, искать и находить все новые источники средств к существованию. Но если рабочие собираются уничтожить капитализм, полагая, что без него жить лучше, то лишь подрубают сук, на котором сидят. Их ждет большая нищета и полное разочарование. Михал уже утвердился, к нему вернулась самоуверенность, и он весело предложил:

— Пойдемте лучше прогуляемся.

Берегом они спустились по тропинке, вьющейся вдоль ручья, и вскоре лес принял их под свою влажную тень. Еще слышались колокольчики, невидимое стадо двигалось где-то под сумрачной тишиной высоких и угрюмых деревьев. И тропинка и ручей стремились вниз по обросшим мхом каменным глыбам. Воспользовавшись неровностью дороги и тем, что, рассчитывая потанцевать, Ружена надела туфли на высоком каблуке, Михал подхватил ее под руку. Движение возбуждало, и, когда они наконец остановились, оба покраснелись, тяжело дышали и старались не встречаться глазами.

Лес с этой стороны отступал от ручья, оставляя небольшую прогалинку, поросшую низкой темно-зеленой травой, где на значительном расстоянии один от другого возвышались серые, пересеченные темными жилами валуны. Ручей низвергался небольшим водопадом, и светлая, зеленоватая, восхитительно прозрачная вода, обрушиваясь с высоты не более полутора метров, звенела и закипала бесчисленными пузырьками воздуха.

Ружена и Михал расположились на автомобильном чехле, опираясь спинами на один из валунов, все еще хранивший солнечное тепло. Оба были несколько растеряны. Наступила тягостная минута, когда вспыхнувшее было в крови волнение угасает, но напряжение еще не улеглось, когда один думает о другом, но прежде всего стремится утвердить и защитить себя. Шум и звон воды доносились, словно бы издалека, как будто приглушенные невидимым прикрытием. Слышался тонкий жалобный комариный писк этой струнки, что так отчетливо звучит под смычком тишины. Надвигались сумерки. День, однако, задержался на той неуловимой точке перелома, когда свет уже утратил трепетность и, застыв, позволяет окружающим предметам вырисовываться с болезненной определенностью.

Ружена Баладова, наделенная безудержной, всегда взбудораженной чувствительностью, характерной для брюнеток, оглушенная на мгновение этой неизъяснимой красотой, трепетала, будто по ее обнаженным рукам скользили мягкие подушечки пальцев. Михал же, который рассматривал природу только как самое подходящее средство для здорового отдыха, прикидывал, достаточно ли укромно и безопасно это местечко на случай, если наступит подходящий момент. Он поигрывал серебряной коробочкой, что два года назад купил в Венеции. Накупив тогда множество прелестных безделушек, он добивался с их помощью больших успехов у своих временных возлюбленных. Почему же Ружена должна оказаться не такой, как все девицы, которых он до сих пор знал? Ружена долго боролась с любопытством, прикидываясь замороженной таким изменчивым постоянством игры водяной пыли. Она искоса прощлась взглядом по вещице в руках Михала, но не сумела определить, что это такое. А Михал упорно молчал и барабанил ногтями по серебряной крышечке.

— С чем вы все время играете? — в конце концов воскликнула она и до смешного похоже изобразила, будто это ее раздражает.

— Да так, безделка, — ответил Михал равнодушно и

протянул ей коробочку. — Рылся вчера в старых вещах и обнаружил на дне своего студенческого чемодана. Взял, а зачем, и сам не знаю. Она из Венеции.

— Из Венеции, — повторила Ружена, непроизвольно понизив голос. Она читала когда-то роман о любовниках, которые бежали в этот город на воде, где вместо улиц каналы и люди только и знают, что разъезжают на лодках и распевают при свете луны. Можно посмеяться над подобной чепухой, придуманной для того, чтобы люди забыли о своей бедности, но в глубине души постоянно мечтаешь о такой жизни. В школе Ружене говорили, что если приложить большую раковину к уху, то услышишь шум морского прибоя, и ей так захотелось прижаться к уху коробочки, — вдруг зашумят каналы и донесется песня гондольера? Венеция! Синие морские дали, на волнах качаются парусники. Она видела на картинке: пенится беспокойное море и паруса похожи на крылья огромных птиц. Когда она поднимает голову от швейной машинки, чтобы распрямить стесненную грудь и дать отдых глазам, утомленным от напряженной сосредоточенности на бегущей строчке, реальность отступает, мастерская раздвигается в безграничных просторах и перед ней проходят чудные видения, те, что она носит в себе, как другие носят талисман на шее.

Склонившись над коробочкой, Ружена с восхищением смотрела на изящное переплетение виноградных листьев и гроздей. Не в силах насытиться видом этой прелести, она водила по крышке кончиками пальцев, чувствительными, как у слепцов.

— Прекрасная вещица, — вздохнула Ружена и медленно, неуверенно протянула руку, чтобы вернуть коробочку Михалу. — Золотая?

— Серебряная, позолоченная, — ответил Михал небрежно, сделав вид, будто не видит ее руки. — Как вы думаете, ее можно использовать вместо пудреницы?

— Конечно!

— Тогда оставьте ее себе.

Но радость погасла в Ружене с такой же стремительностью, как вспыхнула.

— Почему вы мне ее дарите?

Михал пожал плечами.

— Мне она ни к чему. Купил, потому что понравилась, но что с ней делать, не знаю.

Ружена вертела коробочку, поглаживая ладонью. До чего же вещица покорила ее! Разве трудно брать? Если она

будет вести себя с умом, могут последовать и другие подарки, еще лучше. Неужели так плохо брать?

Она резко возвратила ему коробочку, чуть ли не швырнув на колени.

— Нет, не хочу. Я никогда ни у кого ничего не беру.

Если она полагала, что он станет уговаривать, то ее постигло разочарование. Он сгреб несколько камушков, вложил в коробочку и размахнулся, чтобы закинуть в воду. Ох этот жест, столь патетический и избитый! Михал его сделал с холодным расчетом, без тени раздражения, Ружена вскочила и удержала его руку.

— Что вы делаете?

И тогда оправдавшее себя лицедейство Михала ответило:

— Я не привык брать обратно то, что дал.

Ружена выхватила коробочку из его руки и визгливо засмеялась, гася и пережитый испуг, и страстную мечту об этой прекрасной вещи.

— В таком случае давайте сюда.

Она обладала ею, она сжимала и ласкала ее волнистую, но гладкую поверхность и была так беспомощна в своей страсти к красивой вещице, что задохнулась от счастья.

Ружена слышала, как Михал что-то говорил, но не разбирала его слов, поглощенная начавшимся в ней самой диалогом. Его слова не имели значения, наверняка убеждает, ведь наступило время расплатиться за взятое. По правде говоря, взято не так уж много — ничего не стоящая безделка, которую он ей буквально всучил. Но Ружена и не пыталась сбросить руку, легко обвившую ее талию.

А звезды тем временем уже пронизывали темнеющий небосклон своими огоньками и вечер подстреленной птицей рухнул на землю, прикрывая ее своими широко раскинутыми крылами. Слепой и глухой к молчаливой прелести ночи, поглощенной своими тайнами, что распростерлась над ними, Михал пожинал первые плоды. Он навязывал свои поцелуи ее губам, остававшимся сжатыми, силился разжечь огонь в теле, противящемся напряженным оцепенением. Ружена ужаснулась сама себе. Наверное, в ней живет иное сопротивление, чем то, которое она приготовила. Целомудрие тела сопротивлялось яростнее, нежели дух, уже согласный на сделки и предательство. Откинувшись назад, она упиралась локтями в землю и крепко сжимала запотевшую коробочку, боясь выпустить из рук, чтобы не потерять.

Она так странно дорожила ею, но если б в этот момент

коробочку захотели вырвать и отобрать, то даже это не заставило бы Ружену вести себя иначе.

Михал неистовствовал, и сила, которую он вкладывал в свои ненасытные поцелуи, лишь вознаграждала его за желание избить Ружену, поведение которой он вполне мог истолковать как брезгливость. Его вожделение натолкнулось на отпор и было отравлено мыслями. Он чувствовал себя униженным тем, что она разрешает целовать себя, но на поцелуи не отвечает. И хотя он уже начал остывать, странная настойчивость — видимо, от бешенства — принуждала его не прерывать этих бессмысленных поцелуев.

В конце концов ему пришлось остановиться и перевести дыханье, и тогда Ружена резко поднялась и сказала, оправляя помятое платье:

— Пойдемте, стемнело уже, потеряем дорогу.

Он поднял автомобильный чехол и коснулся пальцами травы, влажной от росы. Холодок вдруг вызвал новую вспышку угасшей было чувственности. Он стоял против девушки, глядя на ее вызывающую молодость, и чувствовал себя как бродяга, готовый навалиться на одинокую женщину, повстречавшуюся в полях.

— Вы со всеми обходитесь так, как со мной? — сказал он, и в голосе его прозвучала лютая ненависть неудовлетворенного желания.

Ему отвечала девочка, поднаторевшая на деревенских танцуйках и привыкшая к попрекам, угрозам и мольбам, что нащепывали ей придушенные голоса. Отвечала с той доводящей до безумия непосредственностью и чистотой невинности, которая не понимает, чего от нее добиваются:

— И как же я с вами обошлась?

Он швырнул чехол на землю, положил ей руки на плечи и стиснул, будто собирался хорошенько встряхнуть.

— Я хочу, чтобы вы хоть раз поцеловали меня.

Ружену вдруг залила горячая волна, голова закружилась, она попыталась спастись шуткой:

— И больше ничего?

Плечи ее вздрагивали под его руками. Он молча прижал Ружену к себе. Нашел губы, раскрытые и мягкие, и сжал ее в объятиях, она неожиданно выгнулась и страстно прильнула к нему всем телом. Руки вскинулись, как у тонущего, ища спасительной опоры, они блуждали по его плечам и, обвив шею, затихли. Ему оставалось лишь немножко наклониться, и ноги ее бессильно подломились. Все лукавое и нетерпеливое, жадное и безрассудно влекущее к определенной цели, что притаилось в ее теле, сдерживаемое,

подавляемое и робеющее, все это наконец дождалось своей минуты и сломило преграду, такую неправдоподобно слабую.

Взгляд ловил мерцающие звезды, а тело, став чужим, преодолевало пороги бессмысленной боли. Она смогла найти лишь слова бедной девчонки, которую даже минуты упоения не избавляют от призрака будущего, из тех, кто протягивает исхудавшую руку, умоляя не обидеть.

Потом она стояла, и водопад все звенел, как тысячи маленьких рюмок, сдвинутых для тоста в честь этой ночи, а Михал встряхивал и складывал чехол. Ружена сжимала в руке серебряную коробочку, и ее сведенные пальцы никак не могли разжаться, словно боялись упустить эту мизерную плату за любовь. Ей хотелось быть, как избитой собаке, убежать и скрыться где-нибудь в глубинах тьмы безмолвного леса. Ей предстояла поездка в автомобиле. Подушки мягче дивана, что стоит у них дома, ночь, рассекаемая светом фар, который обычно слепил ее, завистливого пешехода. Ведь ты же мечтала покататься?

Примолкший Михал испытывал сейчас нечто вроде благодарности к этой девчонке. Ему хотелось погладить ее по неподвижным плечам, но он не решался. Что можно сказать девушке, которую соблазнил? Странно, хотя и бессмысленно, но может прийти и чувство вины. Наверное, ему следовало быть с ней нежным, если б это слово не звучало столь глупо: «нежный». Что сказать? И надо ли вообще говорить?

8

Запустили новую машину. Целлулоидные заготовки и искусственная роговина выскакивали из нее, превратившись в зубные щетки, в перфорации которых оставалось лишь вставить пучки щетины.

Отличная машина. В день производит столько, как на станках старого типа восемь рабочих. Чтобы обслужить ее, достаточно двух человек. Старые станки с умеренной скидкой взяла фирма, поставившая новые; это была приличная фирма, хотя ее представитель удивлялся, как можно нынче работать на таких монстрах, единственное место которым на свалке железного лома.

Прежние станки, разобрав, можно сдать в утиль, это ясно. Их демонтируют и по частям отправят в печь, металлу дадут новую жизнь, и он станет служить дальше. Со

старыми машинами все в порядке, металл всегда найдет применение. Но что делать с рабочими, теми, что обслуживали машины и не стали еще ни старыми, ни изношенными? Их восемь, новой машине достаточно двух, шестеро сразу стали лишними. Что с ними делать?

— Какая-нибудь работенка подыщется, — рассуждал Фердинанд Громус. — Они ребята хорошие. Самый старший проработал у меня двенадцать лет, а младший — пять. Что, если отправить их на склад и на упаковку?

— В упаковочном и без них на два больше, чем нужно. Держим так, про запас да на всякий случай, прислугой за все. На складе толкуются восемь мужиков и рвут друг у друга работу из рук.

Фердинанд Громус с сомнением поглядел на сына. И чем только у него голова забита? Выбросить людей на улицу? Только безумцы увольняют хороших работников, а эти как раз хорошие, лучше не бывает! Он, Фердинанд Громус, надо вам сказать, еще никогда никого не увольнял без весьма серьезных причин.

— Куда же ты их поставишь? — спросил он, сопротивляясь любому другому решению, которое мог услышать от сына.

— Мы для чего покупали новую машину? — вопросом на вопрос ответил Михал.

Он не боялся взять на себя ответственность за увольнение этих шестерых, они ему безразличны — и сами они, и их дальнейшая судьба, — но вызывает досаду тот факт, что отец пытается умыть руки и делает вид, будто ничего не понимает. Ни дать ни взять, старосветский помещик, убежденный, что его не разорят лишних десять ртов.

— Чтобы увеличить выработку, ускорить производство и удовлетворить спрос, — заявил отец тоном первого ученика. Нет, папашу голыми руками не возьмешь.

— Чтобы снизить производственные расходы и быть конкурентоспособными, — парировал Михал спокойно, будто посвящал в дела новичка. — Скажи, как ты провернешь это, если ко всему, что ты истратил на станок, приплюсуешь содержание ненужных шестерых рабочих? Или ты такой богач и чудака, что нанимаешь людей исключительно для своего удовольствия?

Фердинанд Громус знал, что потерпел поражение, что сын прав. Его старческое тщеславие было оскорблено, и его гнев искал выхода там, где его легче найти. Дело не просто в шестерых рабочих. Нет! У него всегда была и есть репутация гуманного хозяина. Фердинанд Громус погрузился

в приятные воспоминания. Чем он прославился? Когда-то давно он держал старика, который уже совсем не мог работать, но если его уволить, дорога ему была одна — в богадельню. Громус поставил его маркировать ящики, и старикан за целый рабочий день делал столько, с чем молодой управился бы за час. Но никто не мог упрекнуть, что Фердинанд Громус выжимает из своих рабочих все соки, а потом сажает на шею обществу. Настоящий коммерсант должен держать свою марку высоко.

Казалось, отец увязнет и заблудится в своих воспоминаниях. Но гнев без усталости бурлил в нем и все искал выхода. Забыв о сыне, он углубился в заботы предпринимателя, своевластие которого обуздали республика, схватив его за горло социальным законодательством. Мир настолько изменился, что человек совестливый выглядит теперь смешным. А ты собираешься драться из-за каких-то шестерых, которые, по всему виду, с огромным удовольствием оторвали бы тебе башку. Рабочие. Хозяева. Прежде все они были вроде бы членами многочисленной семьи. Хаживали к тебе советоваться, если собирались купить домик или отправить сына в ученье. Или приводили с собой сыновей, и те через какое-то время вставали на место отцов. В те поры они еще сами высмеивали социализм, называли его еврейской придумкой и затыкали рот тем, кто кричал о нем чересчур громко. Тогда они являлись сами, когда хотели прибавки, и ты мог ругаться и выторговывать, так уж повелось, и дело решалось между тобой и каждым из них в отдельности. А теперь они говорят о классовой борьбе и грозятся повесить тебя на фонаре, как только о тебе заходит речь. У них страховка по болезни и по старости, и ты ее выплачиваешь. Они больше не ходят к тебе, а посылают представителей своих организаций, а те распускают хвост, командуют, требуют, а ты говори спасибо, что не выкинули тебя с твоей собственной фабрики. Коллективные договоры, по которым ты обязан платить любому растяпе, как и всем остальным, фабричные комитеты и прочая чепуха! Им никогда не жилось так, как живется сейчас, но они вопят, будто помирают с голоду. Пускай хоть кто-нибудь на собственной шкуре почувствует, что значит сидеть без работы. Может, тогда угомонятся.

Но чем больше Фердинанд Громус об этом думает, — хотя и мстительность его почти удовлетворена, — тем яснее он предчувствует грозу, которая разразится, как только объявят об увольнениях.

— Не желаю этим заниматься, — заявляет он. — Это

похуже, чем разворошить осиное гнездо. Забегают и поднимают крик о несправедливости, а от представителей фабричного комитета нигде не спасешься! У меня здоровья не хватит такое выдержать!

Михал посмотрел на отца сочувственным взглядом, но без сострадания. Неприятная вещь старость. И я стану когда-нибудь так же жалеть и оберегать себя?

— Я займусь этим сам, — ответил он.

И Фердинанд Громус опять замотал головой и повторил, будто его собирались переубеждать и уговаривать:

— Не желаю иметь с этим ничего общего. Я болен, мне нужен покой.

Шесть рабочих, которые уже неделю спрашивают, что с ними будет, и сомнения их чередуются с надеждой, были уволены в пятницу, в день получки. Все-таки уволены. Они вертели в пальцах конвертики с деньгами. Последняя зарплата? Никогда больше не будет желтого конвертика, скромное содержимое которого они вечно поругивали, но тем не менее оно оборачивалось и мясом, и пивом, и подметками к башмакам для детишек. Нет, невозможно поверить. Пепик, тебе приснилась какая-то чепуха, ты лежал на спине, кровь прилила к голове, сейчас жена толкнет тебя в бок, чтобы ты перестал храпеть.

Словно перст божий ткнул в тебя, пометил гибелью! Не утешало, что в беде ты не одинок. Наоборот, гнев охватил их всех и обратился не только на Громуса, но и на тех, кого не коснулась беда. Они не желали в этом признаться и пытались его в себе подавить. Кинулись к своим представителям. Вы должны помочь, для того и организация, столько лет платим взносы! Они сетовали теперь о брошенных на ветер деньгах. В чем их вина, почему ни за что ни про что оказались на улице? Всегда работали на совесть, а тут нате вам, машина, дескать, работает лучше. Зачем нужны новые машины, если отлично обходились старыми и никого не лишали куска хлеба? Нет, Громусы рвутся поскорее разбогатеть, и нет им дела, что станет с рабочими. Но те времена, парень, когда хозяин мог обходиться с рабочим, как ему в голову стукнет, прошли. Йозеф за них возьмется, он им покажет! А Индра? Он тоже парень не промах. Не хотелось бы мне оказаться на месте Громусов, когда Индра Поур даст им прикурить!

В субботу после полудня уволенные один за другим вваливались к Йозефу Баладе узнать, что они с Индрой Поуром могли бы сделать. В их поведении смешались бунтарство с покорностью. Стисни зубы, приятель, и не

искушай судьбу, может, еще все обойдется. Чего бояться? Человек с такими лапами, как у меня, всегда найдет работу. Кроме Громусов, есть и другие фабрики. Это, товарищ, было раньше. Ты что, не слыхал — на севере выбрасывают на улицу текстильщиков сотнями и даже тысячами. Скажи мне, куда они денутся?

Они пришли и принесли с собой испуганные взгляды жен, встретивших их слезами и горестно всплескивающих руками. «Не реви, старуха, — говорю я ей. — Есть еще на свете товарищи, они нас в беде не бросят. Разве я не прав, Йозеф?»

Они говорили громко, лихо, нельзя же сразу навалить в штаны, если какой-то хам крикнул тебе «пшел вон»! Но Йозеф Балада старается глядеть на всех и ни на кого, а Индра Поур сидит, вытянув длинные ноги, с трудом умещающиеся в кухне, и дымит в потолок.

Ружена примостилась под кухонным окном и слышит каждое слово. Похоже, она не согласна. Громусы уволили шестерых друзей ее отца, ну, а ей-то что до этого? Она знает их всех, живут они, как говорится, одним гамузом. С их дочерьми ходила вместе в школу, возилась с их малышами, помогала советом их женам, когда те шили себе платье, самый молодой из них когда-то за ней ухлестывал, пока не понял, что зря тратит время, и не женился на другой. Уволили! Они же имеют право увольнять рабочих, которые им не подходят, и лишних, разве не так? Подыщут себе другое место, и все снова пойдет по-старому. Ей-то что, ее это вовсе не касается. Но если так, почему она не уходит, почему торчит и слушает, вместо того чтобы пойти за дом и наслаждаться жужжанием пчел, вылетающих из раскрытых чашечек гладиолусов? И подсолнухи уже цветут и поворачиваются вслед за солнышком, плывущим над лесами, и качают на ветру своими тяжелыми головами. Такова жизнь, такова жизнь, такова, такова, так, так...

«К чему мне слушать пустые разговоры. Уволили и обратно не возьмут. Лучше матери помогу прибираться». Но, махнув рукой, она не ушла, а все продолжала сидеть здесь, поникшая и безвольная.

На дворике за домом, где сарай, курятник и хлев, Руженина мать начищает домашнюю утварь. К концу недели все должно блестеть, наводить чистоту есть священный обряд бедняков, она приближает мечту о лучшей, более счастливой жизни. Мамаше Баладовой сорок пять, но выглядит, будто ей давно за пятьдесят. Свою печать оставили тяжелая работа и два выкидыша. Жизнь бьет ключом,

в ней растет и зреет плод, словно яблоко на ветке, а она, глупая, нет чтобы беречь его больше зеницы ока, поднимает ушат с водой, боль ножом вспарывает тело, и все кончается. Я тоже ждала лучшей жизни. Но разве дело сейчас во мне, старой бабе, все мои чаяния в тебе, моя дочушка. Ступай отдохни. Пока мои руки могут работать, ты свои береги. Женщина, у которой руки в мозолях, теряет половину красоты. Иди повеселись. Заботы оставляют след в душе и на лице, а смех сохраняет молодость. А молодость влечет парней. Не теряй голову и не слушайся сердца, может, тебе повезет больше, чем твоей маме, сбежишь от стирки белья, в которое тяжелый труд навсегда вколотил грязь, уйдешь от замызганных полов и лоханей с сальной посудой, от мужиков, воняющих потом и машинным маслом или пригоревшей роговиной, как черти из преисподней. Я развлекаюсь, матушка, весело растрачиваю свою молодость. Вот уже больше месяца я любовница молодого Громуса. Он благоухает одеколоном и дорогими сигаретами, его белье сверкает чистотой. Танцую на паркете, а не дощатом полу, от которого откалываются щепки, бываю в заведениях, где стены — золото и пурпур, и могла бы купаться в подарках, если б не боялась, что отец поднимет крик и начнет допытываться откуда. Вы про это, матушка?

Голоса на кухне становились все громче. Йозеф Балада отчитывался, с чем вернулась депутация фабричного комитета, то есть он и вот Индра, ходившая хлопотать за шестерых уволенных. Он не торопится сказать правду, слова путаются, пробиваются сквозь недомолвки, робеют и сомневаются, как проситель, что не раз пересчитает окна в доме, прежде чем решиться постучаться в дверь.

— Не темни, Йозеф, — кричат ему, — говори прямо, мы хотим знать все, как оно есть на самом деле.

Но Йозеф Балада не дает подгонять себя, говорит не спеша и подробно, чтобы не оставалось сомнений: он и вот Индра, они сделали все, что было в их силах.

Ружена слушает под окном, не пропуская ни слова, будто решается ее собственная судьба. Ну и ну, ты только погляди, кого выбрала в любовники. С кем твое сердце в эту минуту? Мне нет до всего этого никакого дела. Подсолнухи качают головами: такова жизнь, такова, такова, так, так, так...

— Почему вы не двинули напрямик к старику? — допытываются, растерявшись, уволенные. Так всегда. Когда стрясется беда, не знаешь, на кого положиться.

— Нас к нему не пустили, — оправдывается Йозеф Балада. — Говорят, болеет и ему нельзя волноваться.

— Выбросить людей за здорово живешь на улицу, это он может. Это его не волнует.

— Я сказал молодому, что они обязаны были поставить в известность фабричный комитет еще до увольнений. Мы могли выставить свои условия и возражения. Еще я сказал ему, что нам не известно, будто его отец отказался от управления предприятием, и уверены, что не так уж он плох, чтобы нас не принять. Парень поглядел на меня, словно с трудом себя сдерживает, чтоб не покатиться со смеху, и говорит: «Право предпринимателя нанимать рабочих, когда они ему нужны, и увольнять, когда больше в них не нуждается. Это принцип предпринимательства, и нет такого закона, который мог бы принудить меня держать людей и платить им, если я в них не заинтересован. Слишком много развелось теорий, — добавил он и ухмыльнулся, потому что подразумевал социализм, — да к тому же в последнее время перепутались понятия, которые раньше разумелись само собой».

Шестеро уволенных заговорили все сразу. Плевать они хотят и на теории и на социализм, они хотят знать, что с ними будет.

— Вы что, ходили туда трепаться о всякой хреновине и делать из нас лопоухих? Нас вышвырнули с работы, — кричали они, — и жрать мы должны теперь членские билеты да байки про рабочую солидарность?

— Рабочая солидарность, — заявил один из них, — ха! держите меня! Каждый трясется за свой кусок и не полезет в огонь за другого. Объясните-ка мне кто-нибудь, почему вы ничего не сказали о стачке?

В озлоблении они уже не разбирали, кто прав, кто виноват. С этой минуты в их глазах Йозеф Балада, Индра Поур и все остальные стояли в одном ряду с Громусами.

— Товарищи, — пытался кладовщик урезонить их, ведь возмущение могло охватить и многих других и превратиться в опасное оружие в руках тех, кому рабочая организация была неужодна, — можете не сомневаться, мы пригрозили и этой мерой. Но молодой Громус высмеял нас уже в открытую. Он вроде бы только и ждал этого, чтобы объявить, что теперь, мол, заведет на фабрике свои порядки и устроит режим. «Бастовать? — хохотал он. — Можете бастовать, пока не надоест. У вас нет законных оснований для стачки. Это не тяжба о зарплате или нарушение коллективного договора и даже не беспричинное увольнение. Ваша стачка

будет дикой, и я надеюсь, ваш центр вас не поддержит. Давайте действуйте, господа, — смеялся он. — До чего же мне на руку ваша дурацкая стачечка!»

Ружена слушала, впившись пальцами в скамейку. Да, он такой. К нему явились с угрозами, а он их высмеял.

— Надо бы ему показать, где раки зимуют! — шумел кто-то в доме.

— Как же, такому покажешь!

— А вы, значит, утерлись, — частил другой, — а нас оставили с носом?

Как бы он ни поступил, он выиграл, и так будет всегда, потому что сила на его стороне, а им остается только сжимать кулаки да грозиться, как грозится слабый мальчишка тому, кто посильнее, и обращать свои взоры и чаяния к неизвестному будущему, когда все перевернется и хозяевами станут они. Ружену не привлекают пустые надежды, порхающие над крышами еще не построенных домов. Она слышала голос отца, он защищался потому, что злоба уволенных обратилась на него, но ей были так далеки и чужды отцовские переживания, будто в ее жилах и не течет его кровь.

Наконец хриплым, неприятным голосом, словно осипшим от жара, заговорил Индра Поур. Он был за стачку, обещал уговорить и других товарищей. Стачка, будь то удавшаяся или проигранная, всегда является демонстрацией мобилизованности рабочих, репетицией готовности и упорства, стачка — серьезный пробный маневр и подготовка к главной битве. Стачка бьет в набат, рушит успокоенность, поднимает равнодушных и показывает им, что дает организованная борьба. Ленин, Маркс, Тельман говорили устами Поура. Он приводил цитаты и произносил на память целые страницы, и слушателям казалось, будто он знает наизусть целые книги. Когда его слушали вот так, разинув рты, его охватывало счастливое чувство, что он по праву заслуживает восхищения окружающих. Впрочем, суть не в нем, а в деле, которому он служит. Сейчас он бросал в почву зерна, что набирал бессонными ночами.

Он говорил, и сухой жар все больше подогревал его слова, превращая их в раскаленные камни, по которым не пройдешь босиком, не удержишь в голой руке. Шесть уволенных не сводили с него глаз и то и дело перебивали одобрительными возгласами. Его речь была им понятна и не оставляла сомнений. Он ратовал за стачку, если не будет достигнуто соглашения, ибо рабочая солидарность должна проявляться всегда и при любых обстоятельствах.

Он внесет предложение у себя в организации и наверняка поднимет на стачку остальных товарищей. Стачку они выиграют, по крайней мере, он в это твердо верит. Молодой Громус лишь распускает хвост и пытается их запугать, утверждая, что он не пострадает. У фабрики столько заказов, что сейчас каждый рабочий день для него неоценимо дорог. Иначе для чего было новое оборудование? Подобные действия только лишний раз свидетельствуют, что такое произвол капитала, если и при благоприятных для предприятия условиях рабочих увольняют.

С Индрой Поуром согласились. Он говорил словами их надежды, и, утопая в тоске и подавленности, они ухватились бы и за тень соломинки, не говоря уже о соломинке самой. Они соглашались с ним, глотали его слова — но не верили ему. Он был человеком не их рода-племени. От него исходил дух авантюризма, он был случайным спутником, игроком, поставившим без колебаний все на одну карту. Когда же это было? Давно ли они сами между собой и все вместе обзывали его подстрекателем — и поворачивались к нему спиной? Да, они тоже верили, что настанет день, который все изменит, но до самого вчерашнего дня, пока наконец не поняли, каких жертв это от них потребует, не ударили палец о палец, чтобы ускорить его приход.

До вчерашнего дня. А сегодня они мечтают и не знают, за что раньше хвататься. Ну, получают пособие и вообще здесь, в крестьянском краю, где город со своими пятью фабриками всего лишь островок, как-нибудь да прокормятся. Но как выплатить долги, что висят на их домах? Вот каким коготком увязли они и их товарищи. А пока что они будут бороться за существование, долги станут разъедать фундаменты домишек и поглотят крышу над головой, их бывшие товарищи (они могли уже считать их бывшими в предчувствии того, что неизбежно произойдет) станут от них отдаляться шаг за шагом, подгоняемые инстинктом, который заставляет собак кидаться на бродяг, а сытых отворачиваться от голодных. Они могли бы биться об заклад на что угодно — стачки не будет, ибо в глубине души сознавали, что и сами, случись такое с другими, тоже не стали бы бастовать.

Ружена оставила свое место под окном, как только услыхала, что в доме задвигали стульями и стали громко прощаться, так громко, будто раз и навсегда пытались заглушить свои сомнения. Она ушла за дом, чтобы не встретиться с ними и не отвечать на шуточки и приветствия. Встала под яблоню, которая своей кроной затеняла до-

брую четверть небольшого садика, и прислонилась спиной к ее стволу. Ветви, отягощенные созревающими плодами, низко склонялись к земле. Она смотрела в просвет между ветвей на леса, над которыми заходящее солнце разливало свое ослепительное сияние. Маленькой девочкой она любила так смотреть, не отрываясь, а потом смежала веки, чтобы видеть красное мелькание перед глазами.

Услыхав за спиной тихие шаги по траве, она не оглянулась, уверенная, что это мать.

— Испортите глаза, — услышала она. Это был Индра. Ружену, непонятно почему, всегда раздражало, если он заговаривал с ней.

— А вам-то что до моих глаз, — отрезала она. — О своих беспокойтесь.

Ее ответ не слишком обескуражил его, в этом тоне разговаривали все девчонки в поселке. Но ему становилось не по себе, как только он оказывался рядом с Руженой. Она не удостаивала его вниманием. Проходила мимо и делала вид, будто не видит, а если он обращался к ней, страшно удивлялась. Он сжимал кулаки, но не находил смелости даже про себя обрезать ее или притвориться, что ему на нее наплевать.

— Ну, я пошел, — сказал он. — Не стану вам мешать.

Поур вытащил из кармана сигарету и собрался закурить, чтобы выглядеть независимей. Ружена неожиданно обошла яблоню с другой стороны и встала прямо перед ним. Она с трудом различала его черты, еще ослепленная светом закатного солнца. Зеленый лужок казался ей фиолетовым, тронутым черными мазками.

— Я сидела под окном и все слышала, — сказала она. — Вы хорошо говорили, но все это, сдается мне, в общем-то, чепуха. Неужели вам не совестно подбивать людей на забастовку? Ведь вы же ее проиграете!

Он так и замер на месте.

— Вы меня слушали, — пробормотал он с глуповатой улыбкой.

Ну, не дурак? Ты его обругала, а у него, можно сказать, счастливый вид. И что-то похожее на жалость тронуло ее сердце.

— Слушала, — повторила Ружена и, сказав, почувствовала прежнее бешенство и отвращение к этому парню с бледным безжизненным лицом. — И мне кажется, вас надо хорошенько наказать, если вы и впрямь собираетесь травить людей в заранее обреченную стачку.

Его не оскорбили ни ее слова, ни насмешливый тон. Он

стерпит от нее и побои. Если б он мог сказать ей все, что знает и чувствует, так, как говорит с товарищами, может, и завоевал бы ее симпатии. В нем вспыхнули лихорадочные слова, давно скопившиеся, но ни разу не высказанные.

— Послушайте,— начал он сбивчиво,— стачка проигранная или выигранная — дело вовсе не в этом. Нужны потрясения, большие либо малые, не важно, но потрясения постоянные, чтобы приблизить падение капитализма. Вам это, вероятно, покажется ужасным, но, чтобы избавиться от него навсегда, нужна еще бóльшая нищета. Каждая война требует жертв, но никогда еще не велось большей войны, нежели та, которую начал за свое освобождение пролетариат.

Ружена слушала, потрясенная его вдруг пробудившимся красноречием. Он не дурак, ей-богу, он негодяй.

— Попробуйте скажите это тем, которых собираетесь подбить на стачку! — крикнула она. — Еще бóльшая нищета, чтобы не было нищеты! Услышите, что они вам ответят. Люди хотят жить хорошо сейчас, сегодня, а не влачить жалкое существование.

Он стоял перед ней с неясной улыбкой. Даже не улыбкой, гримасой, исказившей лицо. Если б он увидел себя, то, наверное, испугался. Такой улыбкой сердце девушки не завоеешь. Ружена не поняла его, как, впрочем, не поняли бы и те, среди которых он живет. Ему хотелось привлечь ее на свою сторону, хотя бы ее одну, тогда ему станет легче жить.

— Я знаю,— согласился он, пожалуй, даже покорно. — Но людей иногда приходится принуждать для их блага и вопреки их желанию. (Он опасался, что девушка опять не поняла его, и лихорадочно подыскивал наиболее доступное объяснение.) Мир болен нищетой, как хронической простудой. От этого не умрешь, но и жить по-человечески не сможешь! В таких случаях болезнь следует довести до воспаления и тогда немедленно приступить к операции. Люди предпочитают нищенствовать, кое-как перебиваться, лишь бы не испытать сильную и острую боль и не избавиться разом от своих болячек. (И вдруг, безотчетно, как и всегда, вспыхнув ненавистью к медлительным, не способным понять своей пользы, ко всем тем, у кого недостает сил принести себя в жертву идее и доказать, что они не обманут надежд, которые возлагались на них, он заговорил страстно.) Вот почему их необходимо подгонять и даже толкать на беды, как неразумного пациента, который готов умереть, но не соглашается для своего же спасения на

операцию. И только потому, что глупцы цепляются за свое жалкое муравьиное благополучие, до сих пор существуют с одной стороны крупные эксплуататоры, с другой — вечно голодные бедняки. Мы должны доказать им, что дело не в них, слишком малы они в этой великой схватке. Возьмем Громуса. Сейчас он бахвалится и воображает, будто в его руках полмира и жизнь двухсот человек, он считает себя таким могущественным, что его уже ничто не может затронуть. И тем не менее его судьба predetermined судьбой его класса. Он будет сметен с лица земли вместе с остальными. (И снова Индра, против своей воли увлекшись, становится красноречивым, он упивается своими познаниями.) Меня смех берет, когда я думаю об этой капиталистической мелюзге. Они видят только самих себя, эти мелкие пиявки, и полагают себя сильными мира сего, не понимая, что мир отлично обойдется без них, но без нас обойтись не может!

Индра умолк, прерывисто дыша, хотя привык выступать на собраниях намного дольше. Сейчас, в сокращенном виде, он высказал ей все, во что верил и на что уповал, он говорил, надеясь втайне, что будет понят, что в его кредо социалиста Ружена услышит и голос его сердца.

А вечер тем временем полыхал алыми стягами. Олеография, буйство красок, когда природа безумствует не скупясь. Пурпурная надежда завтрашнего дня, потоки, сливающиеся воедино, и рваные лоскуты, словно закопченные дымом сражений, над мраком действительности, которую олицетворяли сейчас леса. И совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, стоит девушка, прислонившись спиной к дереву, заложив руки назад и выгнувшись всем телом. Быть вдвоем, вместе надеяться той надеждой, которая подчас тяжелее отчаяния!

Она ответила ему смехом, словно швырнула песок в глаза, которые уже видели клочок лучшего будущего!

— Журавль в небе! А в руках пусто. Я не удивляюсь тому, что кто-то крепко держится за свое. Впрочем, нет. Люди за вами пошли бы даже сейчас, если б вы могли поручиться, что они не потеряют то небольшое, что у них имеется. Но вы поручиться не можете. И потому все останется так, как было, и надолго, пока что-нибудь сможет измениться.

Индра в отчаянии. Он понимал, что Ружена окончательно и безжалостно высмеяла не только сказанное им, но и его самого, Индру Поура, и он горько, но беззлобно вздохнул. Если б она даже пинала его ногами — и это доставило б ему наслаждение. Хоть что-то, хоть как-то, но он для нее суще-

ствует. Отчаянная, мещанская, шальная мысль взбрела в голову: он отречется от своих убеждений, плюнет на все, во что верил, если она поставит такое условие. Ну разве не больно, не постыдно потерять себя, забыть, что ты терзался за муки других, а они плевали на это и сами лишь жалко сетовали на судьбу? А ведь он рабочий, и его заработка вполне хватит на двоих. Кто знает, может, он просто-напросто забрал себе в голову, будто она им пренебрегает? Так водится у девчат — делают вид, что тебя не замечают, а сами просто интересничают и набивают себе цену. Быть может, он от робости видит все в черном свете, без причины? Он ни разу не поговорил с ней, как говорят обычно парни с девочками. Надо бы только найти подход и построить голос, чтобы звучал помягче и душевнее.

— Разве вы не хотите, чтобы жилось лучше не только вам, но и всем людям на свете? — спросил он, чувствуя, что задыхается и голос, вместо того чтобы стать мягким, срывается и скрипит. — Ведь вы, Ружена, дочь рабочего и сама работаете.

— А я виновата? — взвизгнула она. — Никто не виноват, что таким родился, и нечего этим ни гордиться, ни стыдиться этого. Но не скажу, что это доставляет мне удовольствие, — чего нет, того нет. А жить я хочу лучше, это уж будьте уверены. И постараюсь добиться. Но это мое дело, а на остальных мне чихать.

Она вдруг осеклась, словно испугавшись какого-то слова. Но Индра услышал его. Он не знал точно, что это за слово, и все-таки сник перед ним, согнулся в три погибели, как нищий, которого встречают злобными взглядами, но он твердит себе: «Спокойно, братец, от взгляда еще никто не помер. Если тебя не вышвырнут, оставайся».

Небо над лесом погасло; несколько тучек, как клубы холодного и неподвижного дыма над почерневшим пепелищем, стыли в нем. А пророк лучшего будущего замер, пронизанный ужасом, что сейчас девичьи губы раскроются и бросят слово, которое навсегда убьет надежду, с классовой надеждой ничего общего не имеющую.

— И не смейте называть меня Руженой! — все-таки выкрикнула девушка, не в силах сдержаться, но после этих своих слов почувствовала к себе такое отвращение, что готова была плюнуть сама себе в лицо.

Индра повернулся и тихо поплелся прочь. От ворот — поворот, не успел еще и слова вымолвить. Пустяк, и, в общем-то, комичный, не стоит раздувать в событие. Ему нет места в многообразии явлений, представляющих сово-

купность борющихся сил в современном мире. Личные переживания суть пережиток, который подлежит уничтожению, как и прочая мещанская чепуха. Нет-нет, я не всхлипываю, это просто икота. Обычное дело — ужин рабочего, что ни день — простокваша с черным хлебом, сыр, копчености. От этого портится пищеварение. Впрочем, Ленин говорил... никак что-то не припомню страницу, где это сказано, и даже название книги. У меня икота, обыкновенная икота, и не более.

Человек, сознательно обидевший другого, может утешать себя, лишь притворяясь перед собой, что оскорблен сам. Какая я ему Ружена! И вообще не желаю иметь с ним ничего общего, не желаю, не желаю! Дочь рабочего! На это меня не возьмешь. Не по своей воле родилась я в рабочей семье и могу отсюда уйти, как только захочу. Конечно, могу.

Куда подевались пурпур и золото, напоминавшие ей красивые рестораны? Теперь небо походит на дешевый кабаk под утро: перевернутые вверх ножками стулья на столах; клочья дыма неподвижно застыли под самым потолком, и черная муть бессонной ночи оседает к земле.

— Ружена! Доченька! Смотри не простынь, — крикнула мать от сарая.

— Ах, мама, отстаньте, ступайте спать!

Как в тюрьме. Все время кто-то караулит, все время кто-то лезет.

9

До стачки дело, конечно же, не дошло, хотя коммунисты, которые были в меньшинстве, все до единого высказались за нее, а Индра Поур, душу которого раздирала боль, о чем никто и не подозревал, громил гнилую мещанскую суть язвительней обычного. Гнилая суть, недостаток революционного энтузиазма — все это красивые слова на торжественный случай, но когда задумаешься и прикинешь все «за» и «против», то не станешь подставлять свою шкуру под удары, легче от этого никому не станет. Постановили: выразить сочувствие пострадавшим товарищам и заверить, что о них не забудут, наоборот, организация сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить их работой.

С того дня шестеро уволенных стали изгоями, дома жены осыпали их головы раскаленными угольями насмешек и тыкали в нос слово «организация», как вонючую

половую тряпку. «Те деньги, что ты в нее всадил, нам сейчас во как пригодились бы!» От такой жизни уволенные переругались со всеми, с кем только могли, кидались на всех и на каждого, с ними старались не встречаться, избегали, потому что многое можно сказать в свое оправдание, но, как там ни верти, в глубине души всех мучило чувство вины, и что еще хуже — они гнали от себя мысль: а что, если б такое стряслось со мной?

Михал Громус мог гордиться и радоваться первой победой над стихией, с самого начала будившей в нем неопределенные опасения, как это бывает с человеком, расположившимся у подножия вулкана, который курится то ли просто так, для украшения ландшафта и приманки туристов, то ли на самом деле готовится извергнуться.

— Я знал, что они не станут бастовать, — смог он через неделю сказать старому Громусу. Теперь, когда все встало на свои места, он имеет право разговаривать с той долей превосходства, что неизменно присуща молодости в отношении старости, страшщейся даже намек на неприятности. — Теперь работают сдельно и слишком хорошо зарабатывают, чтобы им хотелось рисковать.

— Ах, никогда не угадаешь, что они выкинут! — возражал отец. — У меня есть свой горький опыт. Они то заупрямятся и готовы начать революцию по пустячному поводу, то в другой раз поворчат, но их не раскачаешь, хоть вали камни на голову. Организация вертит ими, как хочет, и, если ей понадобится, подобьет на стачку из-за ерунды.

Старый Громус качал головой и выказывал пессимизм с высоты своего возраста, когда человек уже отошел от мелких баталий, предостаточно отравлявших ему жизнь, и теперь наконец имеет возможность вынести им свой последний приговор. Тут одной силой не возьмешь, фабрика — это не только станки, но и живые люди. Старик начал что-то лепетать и погружаться в подробности воспоминаний, но вытаскивал все из такой дали, будто человек, уже получающий содержание от детей взамен переданного им имущества и вззирающий на прошедшую жизнь с удовлетворенной улыбкой.

Однако Михал пришел к нему вовсе не затем, чтобы выслушивать старикиевские воспоминания. Колеса не стоят, они продолжают вращаться, и ему необходимо знать, что и как делать, если этот блаженный старик вот уже неделю торчит, запершись, у себя в комнате, спасаясь от переговоров с рабочими.

— Ну, а теперь, когда все позади, — вклинился он

в щелку, образовавшуюся в потоке отцовской болтовни, — ты можешь опять спуститься вниз.

Михал даже не попытался скрыть ухмылку. Но Фердинанд Громус сделал вид, будто ее не замечает. Он испуганно съежился в своем кресле и умолк. Ну зачем ему спешить вниз, ведь он еще не успел даже толком прийти в себя и, честно говоря, чувствует себя весьма утомленным. Разве без него не идут дела?

Невероятно. Всего неделю назад старый Громус был убежден, что он последняя опора, подпирающая своды возведенного им за всю жизнь дела, и по ночам ему не давали спать злые предчувствия и страхи: что-то будет, когда его оставят силы? Он всегда восхищался собственной оборотистостью и усердием и даже не успел заметить, что и другие работают и дела у них тоже идут не хуже.

Если бы кто-нибудь прочел или подслушал его мысли, то посмеялся бы над невероятной самовлюбленностью, распирающей этого толстяка куда больше, чем жировые накопления. Но зачем смеяться? Он на самом деле работал, не зная покоя ни днем ни ночью, и в погоне за деньгами и успехом за всю свою жизнь не позволил себе, пожалуй, ни одного дня настоящего отдыха. И вдруг такое! Не хочет он вниз. Фабрика работает как никогда прежде, и его больше не терзает мысль, что все пойдет прахом, если он не будет торчать там сутками. Можно сказать, что Фердинанд Громус убедился: сын ему хорошая замена. Чепуха. Еще неделю назад старый Громус хвастался перед Михалом, изо всех сил доказывая, что он незаменим и необходим, докучал своими опасениями и замечаниями. Еще неделю назад он был обеспокоен, не слишком ли сыну легко живется, и он, похоже, не желает больше считаться с отцовским авторитетом и готов все заграбастать, прежде чем отцова смерть и наследство дадут ему такое право.

Куда девались все опасения и заботы? Может, они просто не имеют теперь той силы, чтобы волновать его, как волновали прежде? Случилось так, что человек, который всю свою жизнь мчался, как скаковая лошадь, и надрывался, пока не стало отказывать сердце, вкусил вдруг прелесть и блаженство отдыха и безделья. Разве не получил он уже давно право на самое обычное человеческое счастье — сидеть сложа руки и ничем, кроме себя, не заниматься?

— Отдохну еще недельку, я чувствую себя не совсем хорошо и, полагаю, могу себе это позволить. Продержался без меня неделю, выдержишься и вторую, — сказал он

Михалу, и сын, естественно, расхохотался, будто услышал хорошую шутку. Что касается Михала, то отец преспокойно может вообще отправляться на отдых.

И старый Громус провел в своей комнате еще неделю. Он не помнил в своей жизни чего-нибудь столь же прекрасного. Разве что в детстве, когда, свернувшись калачиком на куче стружки в углу отцовской мастерской, мечтал отправиться в чужие края, разбогатеть и заставить весь город преклоняться перед ним, восхищаться сыном бедняка-деревщика. Старый Громус хихикал потихоньку, ибо мысленно видел всех тех, кто теперь кланяется ему, его богатству. Среди них были семьи, которые ему, мальчишке, казались небожителями. Ну, а сейчас куда им до него!

Тихий гул станков доносился к нему. Казалось, где-то за стеной мурлычет огромная сытая кошка. Он прикинул, сколько у него. Немало, ей-богу, на такой куш он даже не рассчитывал. Куда больше? С него хватит. Что сделал, то сделал для себя. И если после него останутся еще полные доверху горшки для других, то чему так уж радоваться? Пускай каждый сам зарабатывает себе на масло для своей краяхи.

К концу второй недели, когда он все еще отсиживался наверху, жена, до сих пор выказывавшая подчеркнутое безразличие к состоянию его здоровья, решила выкурить старика из норы. Она считала себя вправе сделать это, ибо врач на ее вопросы лишь улыбался да пожимал плечами.

— Ничего не изменилось, — заверял он. — Здоровье его серьезно пошатнулось уже давно, но сейчас хуже не стало. Просто ему захотелось отдохнуть, и это, вне всякого сомнения, следовало сделать давно.

— Да, — сказала Анна, и на ее застывшем лице не дрогнул ни один мускул. Она жила в непримиримом озлоблении за поражение, которое нанесло ей возвращение Михала. Озлобление усугубилось приездом родного сына. Ибо ничто не исполнилось из того, что она ожидала и так тщательно готовила все годы невыносимого супружества с Фердинандом Громусом. Вернулся не Роберт ее мечты и взволнованных грез, здесь объявился чужой человек, смотревший неприязненно и недоверчиво на все, что она собиралась положить к его ногам. Более того, он насмеяется над ее до боли исхлестанным материнским чувством. Не поверил, что однажды она вручит ему все состояние Громуса, и, поскольку она не может дать сейчас, сколько он требует, Роберт охотно склонился на сторону Михала

и отправился в свой первый деловой вояж. Анне известно, что у Михала хватило ума поставить его не просто коммивояжером, но доверить дело, где он может не только эффектно проявить себя, но и прилично заработать.

Да, Михал хитер, он выхватил Роберта из ее рук, как оружие, которое может стать ему опасным. Заманил в надежде без труда избавиться, как только наступит подходящий момент.

Громусы отняли у нее сына, ее Роберта, того, которого она за долгие годы материнского одиночества придумала. Старший выставил его из дому, чтобы на чужбине он превратился в то, чем стал, младший стремится довершить начатое прекрасным папашей. Но у нее на руках еще одна карта — она имеет в виду завещание, составленное в ее пользу, ибо даже не представляет, что оно может быть аннулировано и изменено, — которая уничтожит Михала и вернет ей Роберта, поставив в зависимость, в какой он был когда-то, еще мальчиком. Анна уже не знала, добывается ли она этого, гонимая любовью. Роберт оскорбил ее самолюбие, и сейчас ею владеют лишь инстинкты властолюбивой и упрямой женщины.

Фердинанд Громус в своем одиночестве с неожиданной силой предался пороку, который владел им всю его жизнь; видимо, это уже последнее и единственное в его жизни, что еще как-то разнообразит и улаживает старость: чревоугодие. Пренебрегая советами врача, который неустанно указывал, что давление угрожающе поднимается, Фердинанд Громус каждое утро вызывал к себе кухарку и вместе с ней составлял для себя меню на целый день, только для себя, его не заботило, что стряпают остальным. Он привередничал, проявляя познания и фантазию, сделавшие бы честь даже гурманам, имена которых вошли в историю. И день его проходил радостно, с полными наслаждения остановками под названием «завтрак», «обед» и «ужин». Ибо, пока у него во рту сохранялся вкус только что съеденного блюда, он, как опытный любовник, умел продлить удовольствие, и фантазия, столь примитивно и блаженно плотская, начинала работать в предвкушении следующего блюда. И приходили воспоминания, которые вытесняли мысли, смутные и неустойчивые, и возвращали ему жизнь ароматами тех незабвенных блюд, что он когда-то съел. Ах, клянусь, жизнь стоит того, чтоб прожить ее, и уж если тебе суждено умереть, то пускай это случится от того, что составляет радость и блаженство.

В тот день, к концу второй недели отдыха, заслышав

звонок, которым муж вызывает кухарку, Анна выбежала и остановила ее.

— Бети,— произнесла она, глядя ей через плечо,— скажите пану фабриканту, что́ сегодня будет к обеду и к ужину для всей семьи, и предупредите, что у вас нет времени стряпать для него одного отдельно.

Кухарка оторопела, не в силах поверить, что приказание можно принять всерьез. Она любила Фердинанда Громуса, как его любила большая часть прислуги. Разве не отпускает он ей постоянно какую-нибудь шуточку, не греша сладострастием, невинную шуточку старика, восхищенного пышностью молодости, разве он не сует ей то десять, то двадцать крон, советуя сменить танцы вокруг плиты на танцы под музыку, а уполовник на любовника? Он был для Бети примером доброго, порядочного мужчины, таким бы она хотела видеть своего мужа, а сейчас еще и умилял ее своим одиночеством. Она вспыхнула.

— Я не могу сказать такое хозяину. Он разволнуется, и с ним что-нибудь случится,— заикалась она от гнева, и зубы ее выбивали дробь.— Мне вовсе не трудно поработать лишку.

— Нет, передайте! Делайте, как я велю. А если не понимаете, можете собрать вещи и убраться! — повысила голос Анна и, повернувшись спиной, дала понять, что это ее последнее слово.

Кухарка добрых пять минут стояла столбом, раздумывая, не лучше ли сразу упаковать свой чемоданчик и уйти не мешкая. Но она принадлежала к тем людям, которым совершенно необходимо поделиться с кем-нибудь своим мнением и своей правдой, и решила, прежде чем уйти, доложить все хотя бы самому старому Громусу. Однако когда она растворила двери и увидела, как старик улыбается ей, тучный и довольный, словно добрый бог, с глазами уже несколько затуманенными, то сердце у нее оборвалось, будто она собралась обидеть младенца. И она решила, что, коли уж ей на самом деле придется убраться, она найдет кому выложить правду за все, что тут натерпелась.

Фердинанд Громус радостно приветствовал ее, бубнил, как попугай, называя ее прелестной Бетулинькой, и тут же перешел к вопросу:

— А что мы сегодня вкусенькое скушаем?

Он пожелал к завтраку свиную почку, изжаренную на сухой сковородке, на открытом огне, к ней капельку горчицы и два ломтика поджаренного хлеба, таких тонюсеньких, Бети, чтобы сквозь них, Бети, можно было увидеть Святую

Гору. Бокал красного вина, легонького красного винца, оно разгонит ленивую кровь и соберет разбегающиеся мысли. Он причмокнул и проглотил слюнки, ибо железы его испускали секрет с такой легкостью, что их раздражала сама мысль о еде. А теперь обед: чашечка бульона из куриных потрошков, не более наперстка, фальшивая устрица из свиного мозга — смотрите не забудьте посыпать пармезаном, Бети,— и жареного цыпленочка с зеленым горошком, мне необходимы овощи, хе-хе, и два яблочка, запеченных в тесте. А вечером? Он хотел бы бифштекс, обожает до смерти, но на ночь ему не велят. Глупости мелет этот доктор, а сам только знает деньги из меня тянуть, ну да ладно, согласен на телячью отбивную, пусть будет натуральная. Смотрите, Бети, чтоб масло было свеженькое, немного картошечки и кочанный салатик с растительным маслом, но сбрызнутый лимоном, а не уксусом.

Он говорил почти с нежностью, задерживался на отдельных блюдах, справляясь у своего аппетита и раздумывая над правильностью выбора. И кухарка, позабыв о неприятной миссии, стояла и слушала его с удовольствием, потому что любила свою работу и гордилась своим искусством. В старом Громусе ей особенно нравилось, что он не боится заказывать ей сложнейшие блюда и всегда находит для нее слова похвалы. Она смотрела на него едва ли не растроганно. Ей-богу, ну разве этот старик, стоящий одной ногой в гробу, не дитя? Совсем как мальчишка перед витриной со сладостями. Ведь это же настоящее преступление — отказать ему в последней оставшейся в жизни радости.

Фердинанд Громус уже умолк, а она все стояла с сомкнутыми от страха губами, перед тем, что должна была, но не смогла сказать. Старик забеспокоился и заерзал в своем кресле.

— Ну, Бети, ну что такое? Повторить еще раз?

И тут, охваченная внезапным бешенством, она решилась.

— Нет,— крикнула кухарка,— я все запомнила. Но та (она ткнула оттопыренным большим пальцем за спину, не желая называть хозяйку по имени) велела сказать вам, что для вас особо стряпать не будут и чтоб вы ели, что стряпают для остальных

Кухарка увидала, как он багровеет; она даже не предполагала, что лицо может стать таким красным. Фердинанд Громус вцепился в подлокотники кресла так, что пальцы его побелели. Она испугалась. О господи, сделай, чтобы с ним ничего не случилось!

— Сударь, — окликнула она его тихонько, — не волнуйтесь, ради бога, прошу вас, я не виновата, я все для вас сделаю, только мне велели передать..

Но Фердинанд Громус не слышал ее. И даже не видел. Она вдруг исчезла в сером и алом тумане. Сердце страшно колотилось, он слышал лишь бессмысленный шум собственной крови в голове, это шарила смерть своими холодными когтями в извилинах его мозга, чтобы оборвать нить жизни. Громусу хотелось вскочить и заорать и до тех пор выкрикивать грязные, убийственные ругательства, пока не рухнет и не умрет. И вместе с тем он с трудом, но твердо искал успокоения, которое отвратит угрозу смерти, боролся за свое достоинство, которое было унижено таким неслыханным бесчестьем.

— Сударь, сударь, я приведу молодого хозяина, — тихо подвывала кухарка, но он отрицательно махнул рукой, услышав наконец ее голос. Ах, он снова победил, мысли возвращались чистые и ясные, будто этот губительный прилив крови лишь омыл их. Кухарка была уже почти у дверей, когда он позвал ее обратно.

— Нет, Бети, — сказал он, голос его был хриплым, но он говорил, и это главное. — Делайте, как я приказал, и на этом закончим.

— Конечно, сударь, — ответила она послушно, радуясь, что он снова обрел дар речи. — Ну конечно, конечно, все будет сделано. Да только она грозилась, что если я ее ослушаюсь, то могу собирать пожитки и сей же час убираться.

Тут она прижала руку к губам, испугавшись, как бы опять не разволновать его. Ах, нет, все прошло, и Фердинанд Громус снова владел собой. Что мог он услышать ужаснее того, что только что выслушал? Он покачал головой, обдумывая слова ответа. Сказать или нет?

— Я полагаю, Бети, вы знаете, кто вам платит за службу в этом доме. Ступайте и сделайте, как я велю. А если кто-нибудь вас станет выгонять, то передайте, чтобы сам убирался. Да, так слово в слово и передайте, что это я велел сказать.

Кухарка стояла, не веря своим ушам. Вы только поглядите, он вовсе не взволнован. Он говорит серьезно, так серьезно и с достоинством, она такого от него просто не ожидала; совсем как священник, когда венчает молодую парочку или отпевает усопшего. Ее трясло, хозяин слишком суров, и, хотя в ней вопила утоленная жажда мести, она была не в силах представить себе, что может выкинуть

из дому старуху, которая всегда нагоняла на нее такого страху.

— Нет, сударь, — Бети сцепила руки и заломила их с излишней трагичностью, — я никак не смогу.

Но Фердинанд Громус уже и сам рассудил, что таким образом ничего не добьется, что примчится Анна и на него обрушатся новые волнения, опасные для здоровья.

— Правда ваша, Бети, вы не сможете, ступайте и пришлите сюда Михала. Ничего не объясняйте, только скажите, чтобы явился немедленно.

Оставшись один, Фердинанд Громус оглядел комнату, словно обращаясь к ее стенам и всему, что здесь находится, за помощью и защитой. На мгновение в нем что-то сжалось и заскулило. «Я старый человек, почему мне не дают покоя? Долгих двадцать лет я перед ней унижался, раболепствовал, дрожал, вымаливая каплю ласки и благосклонности, откупался, служил как собака, которая мчится по первому зову, но взамен ничего, даже намек на то, что составляет счастливое супружество. Много лет назад старый Роубичек, напившись, сказал: «Громус, кого ты взял в жены? Она же ведьма, мой друг, она не женщина, она сука и палач. Я боялся бы, что она меня отравит. Что ты в ней нашел, дружище, ну скажи мне, что ты в ней нашел?» Ах, сейчас уже и сам не знаю, но ведь было время, когда я страстно желал ее, пылал, словно двадцатилетний мальчишка. Никто меня не понимает, я и сам не могу понять себя, но так было, и началось и продолжалось вопреки рассудку. Я пресмыкался перед ней, но это все равно как если бы я задумал растопить камень. Впрочем, камень, если ты лежишь на нем, все-таки становится теплее. А она всю жизнь прожила в ожидании моей смерти. Разве сегодня не сделала она попытки приблизить мой конец? «Взорвется от злости и сдохнет», — решила она. Для нее я и без того слишком зажился на этом свете».

Фердинанд Громус бормотал это вслух, а может, только думал. И вдруг расхохотался в тишине, сам того испугавшись. Он вспомнил, что Анне его смерть теперь ни к чему, по крайней мере, не даст ей того, что она ждет. Смех растревожил старика, сердце заколотилось, а мысли в тоске остановились. Но тут же опять заговорила, завертелась стариковская визгливая шарманка: тщеславие, страхи, смутные расчеты и яркие картины воспоминаний.

Михал прибежал, пожалуй, встревоженный и перепуганный. Бети держалась таинственно и серьезно, и он не мог добиться от нее толкового объяснения. Увидев отца,

как обычно спокойно сидящего в кресле, Михал обозлился на себя за свои неоправданные страхи и на то, что его оторвали от работы не иначе как из-за очередных стариковских фокусов. Но присмотревшись внимательнее, он заметил следы отступившего припадка, пепельную бледность лица, обычно пламенеющего, словно красное вино, и тоску во взгляде помутневших глаз. И, поспешно подавив недовольство, он стал участливо расспрашивать его, чем растрогал сердце старого Громуса. А мальчик-то любит меня! И смутная надежда, неизвестно с чем связанная, вспыхнула в нем. Переживания человека, жизни которого угрожало коварство жены, ушли, потесненные радостными отцовскими чувствами, которых он был давно лишен и никогда не вкусил сполна. Он не одинок, у него есть на кого опереться. Безотчетные угрызения совести кольнули его — из-за собственной недальновидности он чуть было не оставил себя и без этой последней поддержки. Чтобы заглушить их, он тут же изобразил ликование, в нем ожило древнее лицедейство торговца, который добивается своего наигранно простецким выражением физиономии, сочетая вид добряка с отлично отрепетированным достоинством. Он указал Михалу стул против себя жестом одновременно настойчивым и заискивающим.

Первые же его слова заставили Михала насторожиться. Фердинанд Громус старался рассказывать как можно спокойнее, будто все, что тут стряслось, касалось не его, а кого-то другого, а он стремится выразить свое отношение к случившемуся по-деловому и объективно и требует того же от сына. Он попытался было даже шутить, но очень быстро осекся. Излагая, он переживал все заново. Кровь снова бросилась в голову, то, что случилось, было слишком уж вопиющим. Так безобразно оскорбить человека в собственном доме, которого не было бы вовсе, не будь он столь оборотлив и усерден. Кроме того, здесь просматривается явное намерение разволновать, чтобы его хватил удар, ах, несомненно, все обстоит именно так, и никто его не убедит в обратном, Анна слишком хорошо знает, в каком он состоянии.

Дойдя до этого места, Фердинанд Громус заколебался, но все-таки решил не говорить сыну, что именно передал Анне через кухарку, нет, не имеет смысла, это была лишь мгновенная реакция, и он все тут же отменил.

Он боролся со своим волнением, как только мог. Но тщетно. К концу разговора старик уже мог издавать лишь нечленораздельные звуки и даже разок-другой всхлипнул.

Две крупные старческие слезы покатались по багровеющим щекам. Если бы он и в самом деле смог заплакать, ему стало бы легче: «Михал, заслони меня своей молодостью, я старый, больной, я хочу только покоя».

Михал наклонился к нему и взял его руку в свои.

— Тихо, папа, тихо. Я должен подумать, все на свете можно устроить по-умному.

Михал был растроган, хотя и противился этому чувству. Неприятно видеть слезы в глазах старого человека, даже если нет большой уверенности, что он не ломает комедию. И тут вдруг, перечеркивая жалость, нахлынули горькие воспоминания. Нам не дано судить, более того, вообще смешно брать на себя роль судьбы, но что посеешь, то и пожнешь. Нам ничего не дается даром и только на радость. Уходящее поколение! Распускают юнии, едва попадут в жесткие обстоятельства. Способны проявлять суровость к другим, да и то когда им самим нечего опасаться. Впрочем, какое мне до этого дело? Живем, чтобы умереть, и, когда мы начинаем строить свою жизнь, никто не может дать нам совета и никто не возьмет на себя издержки. Главное, мне выпал шанс раньше, чем я ожидал, теперь не промахнуться бы, ведь есть еще кое-какие препятствия.

И Михал пожал отцовскую руку мягко и успокаивающе.

— Спокойствие, папа, спокойствие, — повторял он. — Я сделаю все, что ты пожелаешь. Поговорю, если хочешь, с ней, объясню, поставлю на место. В этом доме есть только ты и твое желание.

Старый Громус опять успокоился, ему стало так легко, что он потерял было уверенность, не слишком ли сгустил краски негодования, чтобы растрогать сына. Он ответил на рукопожатие Михала, ах, он сжал его руку с такой силой, будто тонущий, который хватается за спасительную землю. Вот чего мне всю жизнь не хватало! Клянусь! Я был так одинок, и мне не на кого было опереться. И никому я не был нужен. Сына прогнал, а что получил взамен? Но сейчас он со мной, и больше я его не отпущу. Поставлю между собой и ею. Значит, все в порядке. Ведь дети должны быть щитом в руках родителей. Да, именно так. Руки твои ослабели, но разве те руки, что сжимаешь сейчас, ты не оставишь вместо своих? Дайте покоя старому Громусу, дайте ему покоя. Разве он не заслужил его, разве мало набегался, мало наработался за всю свою долгую жизнь? Перед ним раздвинулся некий занавес и мелькнуло что-то, изумившее его. Эта комната. Ему казалось, что он уже больше не выйдет отсюда. Это страшно? Кто знает. Старик не знал даже, не

разыгрывает ли он снова один из тех фарсов, что доставляли ему такое наслаждение. Он заговорил, продолжая с силой сжимать руку сына, и Михалу это стало неприятно.

— Посмотри, Михал, на мою комнату. Еще минуту назад мне казалось, что я больше отсюда никогда не выйду. Я не хочу разжалобить тебя, правда не хочу, вероятно, просто сказалось мое скверное самочувствие, но, если я и вправду отсюда не выйду, мне теперь все равно, мне отсюда уходить не хочется. Моя доверенность у тебя есть и все полномочия на любой случай тоже, поступай, как сочтешь нужным. Позаботься только, чтобы у меня было все, что я захочу, и чтобы она сюда не смогла проникнуть. Она подстерегает меня, я знаю. Хочет поскорее избавиться, чтобы потом избавиться и от тебя, потому что еще не догадывается, что ее ждет. О, я только для того желал бы иметь бессмертную душу, чтобы вернуться, когда станут читать завещание, увидеть ее физиономию и услышать ее проклятия. Всю жизнь я пресмыкался перед ней и боялся ее. Но больше не желаю, ты слышишь, не желаю! Даже если мне суждено умереть сию минуту, я не хочу умирать из-за нее!

В глазах старого Громуса мелькали вспышки бунта и тени страха, и рука, которой он судорожно сжимал руку сына, была влажной. Через столько лет, когда смерть стоит, можно сказать, у изголовья, этот человек прозрел и ужаснулся. Михалу такого не понять. Сначала унижаться, поклоняться как святыне, на все сознательно закрывать глаза, и теперь вдруг такая ненависть, словно он хочет растоптать самое дорогое.

— Я сделаю все, что ты пожелаешь, и стану приходить к тебе советоваться по всем вопросам, — заверил его снова Михал.

Но отец чуть не в ужасе замотал головой.

— Нет, я не могу больше ни о чем слышать. Если уж мне в голову придет блажь и я захочу вспомнить, что у меня когда-то была фабрика, я отворю окно, послушаю, как она шумит, и этого с меня хватит. Вспомню, как делал я, и всей душой порадуюсь, что не знаю, как делаешь ты, ведь ты, конечно, все станешь делать иначе, а мне ни к чему лишние волнения. Не желаю. Нет, я даже слышать ни о чем не хочу.

Почему все так внезапно ушло из его сердца? Лишь две недели назад он весь дрожал, как бы я не вздумал хоть что-то предпринять без его ведома. Естественно, для меня это лучше, хотя он, несомненно, поступает так не от ума, опять вдруг что-то придумал и неожиданно пылко влюбился

в свою придумку. Романтик, ни в чем не знающий удержу, и уж если чего захочет, то подавай ему немедленно, целиком, без остатка. Как мог этот человек заниматься коммерцией и добиться столь значительного успеха? Скорее всего, потому, что те, с кем он имел дело, были чем-то похожи на него.

В дверь постучали коротко и решительно. И Михал, погруженный в свои мысли и отдавшийся напряженному разговору, вздрогнул. А Фердинанда Громуса охватил ужас. Он выпрямился в кресле и показал рукой на дверь.

— Это она, Михал,— прошептал он, сразу превратившись в мальчишку, которого отец застал за решительно запрещенной игрой.— Это она, не пускай ее сюда.

Михал тут же устыдился своего испуга и того, что поддался отцовскому волнению. Ну разве не чепуха устраивать едва ли не трагедию из того, что явилась старая женщина, в которой нет ничего особенного, кроме того, что она умеет быть исключительно противной? Однако отец выглядел таким перепуганным, что Михал продолжал сидеть в нерешительности.

— Не пускай ее сюда,— повторил Фердинанд Громус хрипло.

Михал, обозлившись, поднялся. Впрочем, лучше избавиться старика от нежелательной сцены и разобраться с ней внизу наедине. И он почти обрадовался, представив себе лицо Анны, когда сообщит ей, что теперь он неограниченный хозяин и на фабрике и в доме. Но удобный момент был упущен, и Михал успел отойти не более чем на два шага от своего стула, когда настойчивый стук повторился и вошла Анна.

Фердинанд Громус еще указывал на дверь рукой, так и не успев ее опустить, а Михал был на пути к ней, чтобы помешать ей войти, и они выглядели как заговорщики, застигнутые на месте преступления. Анна улыбнулась, как обычно, скривив рот, ибо улыбалась она, лишь застигнув кого-нибудь в неловкой ситуации или когда ей удавалось загнать кого-то в угол.

— Совещание,— хмыкнула она.— Я не вовремя и, полагаю, помешала вам.

Ей никто не ответил. Старый Громус потерял дар речи, горло сдавило, сердце страшно стучало, кровь опять прилила к голове. Он не видел Анну, потому что серые и красные сполохи плясали у него перед глазами. Она явилась убить его, и никто не сможет ей помешать.

— Михал, сделай что-нибудь, ведь для этого я тебя сюда вызвал, разве ты не сын мой?

Но Михал уже успел прийти в себя, и какое-то неизведанное раньше бешенство остро поднялось в груди.

— Папа,— произнес он спокойно, с неприятной холодностью.— Не принимай участия в этом разговоре, если чувствуешь, что он может тебя взволновать. А если сумеешь, то лучше не слушай его вовсе.

Анну, однако, не так-то легко запугать или избавиться от нее. Она продолжала улыбаться.

— Сыночек в роли защитника,— молвила она.— Ну, с тобой мне разговаривать не о чем. Тебе самое лучшее уйти и оставить нас наедине.

Михал силился сохранять спокойствие.

— Мне неизвестно, что вы собираетесь сказать отцу, но, что бы это ни было, он не может выслушать вас. Он болен, и ему необходим покой. Неужели вы этого не понимаете?

Анна ухмыльнулась.

— Вы беседовали достаточно долго. Это его не волновало?

Михал сжал кулаки, он человек уравновешенный, но эта женщина вызывает в нем желание орать и драться.

— Отец не желает разговаривать с вами,— сказал он, чувствуя, как тяжелый ком встает в горле.— Не хочет и не может и потому посредником избрал меня. Если у вас хватает здравого смысла, пойдемте вниз и там спокойно объяснимся.

— Довольно! — крикнула неожиданно Анна, повысив голос, вероятно, впервые за многие годы.— Я не нуждаюсь ни в каком посреднике, если желаю говорить со своим мужем. Убирайся отсюда, и немедленно. Разве не я хозяйка в этом доме, чтобы позволять всякому вертопраху командовать собой?

Как ни странно, ее крик подействовал на нервы Михала благотно. Он сразу же успокоился и почувствовал свое превосходство. В ней кричит страх, эта женщина боится, что все уже кончилось и назад не вернется. Михал улыбнулся, улыбнулся неискренне, вложив излишнее презрение в растянутые губы.

— Я полагаю, вы всегда жили в некоем заблуждении касательно своего места в этом доме. Но сейчас решительно переоцениваете свое положение.

Фердинанд Громус прислушивался к разговору. Тихо, приятель, тебя это больше не касается, твой сын здесь для того, чтобы за тебя вступить. Ведь она специально яви-

лась раздражить тебя, но ты зажмурь глаза и заткни уши, чтобы ничего не видеть и не слышать. А коли уж желаешь слушать, то слушай и смотри, как прекрасно держит себя Михал, а она, не зная, что предпринять, только шипит от бессильной ярости. Тихо, спокойствие, кровь должна отхлынуть от головы, а сердце утихомириться и не стучать как молот. Трусливое сердце! И сам ты трус. Ты всегда только и знал гнуть перед ней спину, а теперь подsunул вместо себя другого. «Я здесь хозяйка!» А кто здесь хозяин? Мысли утратили форму и больше не облечены в слова, это лишь неуправляемое падение ничем не сдерживаемой лавины эмоций. Кто тут хозяин? Глубоко внутри Фердинанда Громуса поднялся безотчетный вопль, казалось, он разорвет грудь, если она и дальше будет мешать ему вырваться наружу естественным путем. Кто здесь хозяин? Казалось, сейчас под напором сдерживаемого вопля лопнут барабанные перепонки, а он так и не достиг еще даже глотки. И ужасающая ярость, которая швыряет труса на поднятые штыки, сорвала Фердинанда Громуса с кресла. Серые и красные сполохи не прекращали своего мельтешения перед его глазами. Он вытянул руки, попытался убрать их и заорал, заорал дико, обратившись в ту сторону, где стояли его жена и сын:

— А хозяин здесь кто? Кто распоряжается в этом доме? Вон! Немедленно убирайся! Вон!

Ах, этот великолепный миг прорвавшегося бунта. Он кричит на нее, гонит, как неугодную прислугу. Он больше ее не боится. Как смешно было вообще бояться ее, как бессмысленно было любить ее и стремиться нравиться ей. Он слышал слова, которые собирался швырнуть в нее, похоже, кто-то другой выкрикивал их вместо него, он порвет в клочки всю прожитую с ней жизнь, растопчет, заплюет. Вон, вон отсюда! Ты, потаскуха, ты жила моим трудом и брезгала моей любовью, прочь, потаскуха, превратившая мое существование в унылую пустыню, прочь, негодяйка, забравшаяся в мой дом, в мое сердце и, как кукушонок, вытолкнувшая всех, кого я должен был любить, прочь отсюда, смерть, обретшая плоть только для того, чтобы меня провести. Фердинанд Громус слышал все эти слова и еще множество других, кто-то, кто был сильнее его, гневный и страшный, бросал их ей в лицо, но произнести их не мог. Потому что язык его вдруг стал деревянным, а изо рта, издавшего первый вопль, вырывалось лишь невразумительное мычание. Хочу видеть, боже, хочу видеть! Резким движением руки он отбросил серые и красные

сполохи, которые теперь мелькали все быстрее, будто от порывов сильного ветра, но вдруг за ними разверзлась бездонная, черная тьма — он услышал смех, визгливый победный смех своей жены и рухнул во тьму, ничком, а ударившись, не почувствовал боли.

Страх перехватил горло Михала, когда он опустился на колени перед лежащим на полу отцом. Михал перевернул его лицом вверх. Лицо, багровое и отечное, было искажено диким гневом, но не было лицом мертвеца. Фердинанд Громус от первого хватившего его удара не умер.

— Помогите поднять и уложить в постель.

— Он кончился?

— Нет, но может, если мы сейчас же не вызовем врача.

Ах, сейчас не имело особого значения, умер уже Фердинанд Громус или какое-то время протянет. Он не сможет ни говорить, ни писать, не сможет выкинуть никакого фокуса, который бы ей угрожал. В ее глазах промелькнула ненависть. Он гнал ее, орал, чтобы убиралась. Теперь уже никому не выжить ее из этого дома! Она еще больше напряглась в спине, уверенная в своей победе, и стояла так, высокая, костлявая и крепкая, как трактирщица из деревенской корчмы, которой ничего не стоит запросто вышвырнуть разошедшегося мужика. Она заявила:

— Мне его не поднять, не хватит сил.

Михал перевернул отца навзничь, схватил с кресла подушку и подsunул ему под голову. Выбежав в коридор, он крикнул:

— Бети!

Кухарка, которая слышала вопли старого Громуса, а потом глухой стук упавшего тела, стояла посреди лестницы и, затаив дыхание, ожидала, что же будет дальше. В одно мгновение она оказалась наверху. Увидав старого хозяина лежащим на полу, она кинулась к нему и опустилась на колени.

— Бедненький хозяин, — рыдала она. — Он умер.

И, обернув к Анне лицо разгневанной фурии и тыча в ее сторону пальцем в припадке справедливого негодования, запричитала:

— Это все она, я знаю. Она хотела убить его. Сначала послала меня разволновать, а когда не получилось, явилась сама. Бедный хозяин.

— Тише, Бети, — прикрикнул на нее Михал. — Сейчас не время для разговоров. Помогите мне уложить и раздеть отца.

Нелегко было одолеть этот рухнувший обрубок, бес-

сильный и переполненный убийственно распирающей его изнутри лимфой. Вес Фердинанда Громуса перевалил за сотню килограммов. К счастью, на нем под свободным халатом была лишь ночная рубаха.

Анна злобным взглядом следила за их стараниями, но не двинулась с места, чтобы помочь. Когда кухарка бросала ей в лицо оскорбительные обвинения, она даже не попыталась остановить ее. И сейчас стояла безучастная, злобно упиваясь чужой бедой, и лишь из любопытства ожидала, чем все это кончится.

— Бегите скорее за доктором, Бети, — приказал Михал, как только отец оказался в постели. — Торопитесь, дорога каждая минута!

— Да-да, поторапливайтесь, — присоединила свой голос Анна. — Когда вернетесь, уложите свои вещи. Жалованье будет приготовлено.

Кухарка покраснела, но Михал предупредил ее ответ.

— Ступайте, ступайте, Бети. Останетесь вы у нас или нет, об этом мы поговорим с вами позже.

Анна оцепенела от гнева. Что это значит? Она так и не поняла, что разбита наголову, более того, была уверена, что настал час ее триумфа.

— Подойди сюда, — сказала она Михалу, когда тот собрался выйти в коридор и там дожидаться врача, чтобы не видеть отца, бесформенного и хрипящего.

— Я намерена уволить эту девицу, следовательно, вопрос уже решен. И ты тоже можешь собрать вещи и возвращаться в Прагу. Что касается фабрики, то, пока я не подыщу кого-нибудь более подходящего, обойдусь главным бухгалтером.

Безудержное веселье овладело Михалом. Захотелось выкурить сигарету, но помешала мысль об отце. Хотя отцу теперь все равно, но как-никак существуют предрассудки, что можно и чего нельзя в присутствии человека, впавшего в бессознательное состояние. Воздух казался невыносимо спертым, Михал подошел к окну и, не отвечая мате, распахнул его.

— Не знаю, слышал ты, что я сказала, или не слышал, я требую, чтоб ты вернулся в Прагу, — ткнула его Анна в спину.

Михал, заложив руки в карманы, встал перед ней.

— Только что я уже предупреждал вас, что вы переоцениваете свое положение в этом доме. Пока отец не придет в себя или не будет в состоянии работать, руководить предприятием стану я. Мои полномочия вы можете проверить

в суде и у нотариуса. Это означает также, что деньги на расходы по хозяйству вам буду выдавать я и что ни на фабрике, ни дома ничего не может быть изменено без моего разрешения. Это все! А теперь позвольте дать вам совет: ведите себя, как пристало женщине, у которой тяжело болен муж.

— Значит, вы с папашей уже успели все провернуть без меня и против меня, — протянула Анна и рассмеялась. — Но ты поступаешь опрометчиво. Может случиться, что твой отец вообще не придет в себя.

В ее голосе снова прозвучала угроза. Но Михал смотрел на нее с высоты своей уверенности. Она решительно подбросила ему возможность нанести последний удар, как это делают актеры на сцене, подавая свои реплики партнеру с нажимом.

— Я заметил, что вы набожны, хотя это не соответствует тому, что мне о вас известно, и может рассматриваться лишь в качестве парадокса. Советую, молитесь, чтобы он прожил подольше. Ибо, как только он испустит последний вздох, станет лишь вопросом моей доброй воли, долго ли я разрешу вам здесь оставаться.

Он выложил свой козырь со злорадством молодости, выложил со всей решительностью, на какую только был способен. Выйдя в коридор, он остановился на лестничной площадке и закурил.

Анна Громусова долго стояла не двигаясь там, где он оставил ее, и пристально вглядывалась в сторону бессильного тела, из которого с большими интервалами вырывалось хриплое дыхание.

И вдруг, словно все произошло помимо ее воли, она обнаружила, что стоит у самой постели. Она наклонилась к человеку, который растратил впустую четверть своей жизни, чтобы сделать ее своей женой, и плюнула ему в лицо.

После чего вышла, заперлась у себя в комнате и не появилась, даже когда пришел врач.

— Старика хватил-таки кондрашка, — молвил Роберт, и, нельзя отрицать, в голосе его прозвучали нотки искренней жалости. Он добрый парень, этот Роберт, быть может, отсюда и его легкомыслие и мотовство? — Друг в этом есть и моя вина? Ты как считаешь, Михал?

Но Михал без улыбки пожал плечами. Вот ведь незадача, не сегодня завтра придется избавиться от этого веселого сибарита, от этой добродушной блошки, а как?

— Во всем виновата мать. Она интриговала против тебя, а он, естественно, злился на меня, — продолжал Роберт простодушно и добавил: — Мать в бешенстве. Для нее такое невыносимо. Привыкла распоряжаться и вдруг оказалась полностью зависимой от тебя. Но она не теряет надежды, что все встанет на свои места, как только отец умрет.

Роберт вопрошающе взглянул на Михала, словно надеялся получить ответ на свой более чем прозрачный намек. И его ничуть не смутило и не оскорбило молчание Михала.

— Я, конечно, за тебя, — сказал он после паузы. — Я, Михал, всегда за тебя.

Роберт мог говорить это спокойно. Если завещание окажется в пользу Михала, его преданность наверняка не будет забыта, в противном же случае можно с дружелюбной миной выпроводить беднягу и преспокойно опорожнить полный мамашин карман.

Михала забавляло его плохо завуалированное тщание.

— Ну, положим, — ответил он, — ты всегда на стороне тех, у кого денежки. Но это не суть важно, на сей раз они и впрямь у меня.

Впрочем, что денежки так и останутся у него, он говорить не стал. Роберт слегка нахмурился.

— Нехорошо, — сказал он, — ей-богу, это не по-братски.

И тут же, без всякого перехода, будто вспомнил что-то забавное, залился хохотом:

— Вчера я застал мать, когда она поймала в коридоре доктора. Они меня не видели, я стоял в дверях своей комнаты. Мать была весьма озабочена, вернется ли к отцу речь, но доктор сказал, что сомневается. Я видел, ее прямо передернуло. Сначала подумал, жалеет старика, но какое там! Смотрю — идет мимо его комнаты, вдруг останавливается и грозит кулаком. Как это понимать, скажи?

— Не знаю, — равнодушно ответил Михал. — Вероятно, ей надо о чем-то спросить его.

— Ну, тогда я сам тебе скажу. Завещание, братец, завещание! Вот что ее терзает! Мать мучает подозрение, что отец успел изменить завещание не в ее пользу, и она хочет, чтоб он аннулировал его. Вынюхивает, но ничего вынюхать не может.

— И подослала тебя, чтобы ты все вытянул из меня, —

спокойно парировал Михал, и Роберт удивленно захлопал глазами. Но не так просто вывести из себя того, кто сам себя считает человеком светским.

— Честное слово, ты прав! Подослала, — сказал он с обезоруживающей откровенностью, — да только какая ей польза, если я даже и узнаю что-нибудь?

— Оставим это. — Михал решительным жестом пресек дальнейшие разговоры и, вытащив из груды писем одно, стал просматривать его, то и дело переводя взгляд с письма на Роберта. Михал еще не решил окончательно, как заговорить об этом деле.

Роберт беспокойно ерзал под его взглядами. Открыв крышечку часов, он уже собирался вскочить, будто внезапно вспомнил о неотложном свидании, на которое опаздывает, но Михал опередил его.

— Мы тут посылали уведомление Флейшеру в Прагу, — начал он. Роберт вскочил и хлопнул себя ладонью по лбу.

— О господи! — вскричал он. — А я-то сижу и все пытаюсь вспомнить, о чем таком важном хотел с тобой поговорить. Я взял этот пустячок, мне срочно понадобились наличные. Надеюсь, можно будет как-нибудь оформить.

— И этот пустячок — ни много ни мало, пять тысяч, — говорил Михал Ружене в воскресенье вечером, когда они сидели в худейовицком кафе «Рай». Он и сам не очень хорошо понимал, зачем рассказывает ей об этом, но больше ему поговорить не с кем, а даже самый замкнутый человек испытывает иногда потребность поделиться.

— Он смотрел на меня по-собачьи преданными глазами. Актер, я его вижу насквозь, лодырь, на которого нельзя положиться. Но что ты скажешь: питаю к нему необъяснимую слабость, и у меня язык не повернулся предупредить, что вычту эту сумму из его жалованья.

Ружена не ответила. Она смотрела на кружение танцующих, но думала о себе; «...питаю к нему слабость» — ну разве не смешно? Будет ли он таким же добреньким к ней, если она скажет, что дома стало просто невыносимо, что ей ужасно хочется остаться жить в этом веселом городе, где такие прекрасные кафе и магазины, где ее никто не знает и где бы ей дышалось так вольготно, что она с легкостью позабыла бы про какие-то Либнице с их убогим салоном и вечно взбудораженной и озлобленной рабочей слободкой. Девушка на содержании! Но скажите, а разве городские дамочки, которые только и знают транжирить деньги своих

мужей, не такие же содержанки? Что-что, а уж это ее нима-ло не смущает. Удрать из Либниц? Конечно, ей за все придется расплачиваться.

Дома плохо и чем дальше, тем хуже. В один прекрасный день все откроется и вылезет наружу, как, впрочем, все тайны подобного рода. Отец ничего не замечает, голова забита делами организации, на дочь смотрит как на святую, обожает, и ему все не верится, что эта красивая девушка и вправду плоть от плоти его. Тем страшнее, если кто-нибудь случайно откроет ему глаза. Но мать уже начинает что-то подозревать, уж от ее заботливых глаз никуда не скроешься.

— Ты где была вчера, Ружена? — спрашивает она.

— На танцах в Канёве.

— А Мария Гавловых тебя там не видала...

— Значит, я была в другом месте. Удивляюсь, мама, до всего вам дело, у вас что, своих забот мало?

Вот погас свет, и зажглись невидимые светильники, перемешали розовое с синим, пронизали полумрак нежными, почти нематериальными бликами, словно возникающими из страстной и плавной мелодии танго. На дворе еще белый день, но здесь люди играют в ночь, заманив ее в это подземелье без окон, куда свежий воздух подается при помощи сложного вентиляционного устройства. Музыка звучит приглушенно, будто издалека, почти на всех инструментах сурдинка. Странно, все это напоминает ей парник, хотя кто надумает играть салату или огурцам? Люди двигаются тихо, не сотрясают воздух взрывами неудержимого хохота, лишь тихо шаркают подошвы, шуршат, как густой дождь на безлюдной ночной улице, застывшие лица странно похожи одно на другое, словно все галлюцинируют и всем снится одинаковый сон, мужчины и женщины раскачиваются в одном ритме, кружатся и скользят, тесно сомкнувшись друг с другом телами, назлектризованные возбуждающим предчувствием соития. Михал не умел и не любил танцевать. И это зрелище скорее раздражало его, чем нравилось. Казалось ему одержимостью, а он не признавал иной одержимости, нежели та, что ведет к намеренной им самим цели. Но для Ружены музыка и танцы были словно украшающий павлина хвост, распущенный, чтобы распалать и будоражить ее чувственность. Они хлестали ее по нервам, как горячий ветер, который тревожит и погружает в протрацию.

— Пойдем потанцуем, — сказала она (привыкнув наконец говорить ему «ты», хотя поначалу этому противилась)

и обещающе сжала его руку, скорее, впрочем, выражая свое собственное нетерпение.

Они вернулись к столу рука об руку, разгоряченные танцем, как парочка самых настоящих влюбленных. Михал был возбужден. Эта девушка завладевала его чувствами больше, чем он того желал. До сих пор он всегда держал верх в любовных связях, всячески стремясь не дать подчинить себя.

Ружена продолжала держать Михала за руку, и когда они уселись. Она сжимала его запястье, а потом, разогнув ладонь, стала нежно водить по ней пальцами. Ей так нравилось, что на руках у ее возлюбленного нет мозолей.

— Идем, — сказал он решительно. — Ну, пошли!

Здесь, в Худейовицах, он снял у вдовы императорского офицера комнату: со своим цветастым плюшевым ковром, блеском латунных кроватей, оттоманкой с боснийским покрывалом и большим трехстворчатым зеркалом, она не отличалась для Михала от обычных меблированных комнат, но Ружене казалась верхом достигаемой роскоши. Частенько во время работы она вспоминала ее, и у нее мертвели руки. «Если б я жила в такой комнате, я вставала бы в десять, не раньше». Она представляла себе, что нежится на пружинных матрацах, затягивая момент ленивого наслаждения, и обдумывает, как провести день, которому она сама полновластная хозяйка. В ванне, ожидая ее, плещется теплая вода, а из кухни доносится аромат шоколада. Ее завтрак. Да, это было бы наслаждением, истинным наслаждением, за него нетрудно заплатить той малостью любви, что, впрочем, не было ей ни противно, ни опасно. Ружена сощурила глаза, вспомнив об этом, и впиалась ногтями в запястье Михала.

— Я хочу остаться в Худейовицах. Мне так нравится жить в комнате, что ты снял и откуда мы каждый раз должны убежать. Хорошо бы больше никогда не возвращаться в Либнице!

Михал удивленно взглянул на нее. Ее зрачки имели способность расширяться и сужаться, как у кошки. Сейчас они так расширились, что глаза, обычно серо-зеленые, казались черными. В круговороте своих дел и семейных баталий Михалу никогда и в голову не приходило, что рано или поздно эти отношения придется по возможности безболезненно прекратить. И потому самое для него удобное — держать Ружену подальше от себя. Если он и подыскивал какие-либо возражения, то по той единственной причине,

что привык сперва обследовать почву, а уж потом на нее ступать.

— Не так уж это недостижимо, — сказал он спокойно. — Но что скажут у тебя дома?

Сиянье в ее глазах угасло, и она отвела взгляд. Дом! К чему напоминать ей о доме? Дом давит ее, как вечный, никогда не исчезающий укор. А кто из нас любит укору? Она ненавидит свой дом за бедность и честность, за то, что там считают доблестью ничего не дающий каторжный труд; тот самый дом, который первым осудит ее за желание вырваться. Мать, замордованная хозяйством, как кляча на шахте, и отец, жаждущий справедливости, которой никогда не было и быть не может, и сбивающий в организацию таких же бедняков, как он сам, агитируя за грядущую революцию, хотя боится ее так же, как боится недополучить даже грош за час работы. Не напоминайте мне про родной дом. Они порядочные и бросают в нее камень уже самой своей добропорядочностью, они для нее вечный упрек. Ружена во что бы то ни стало жаждет верить, что права она, и боится, ах нет, она прекрасно знает, что правы они.

— Тебе не приходит в голову, что однажды все откроется и меня попросту выгонят из дому?

Он с большой неохотой думает о подобного рода неприятностях, но тем не менее считаться с ними должен. Он представил себе Йозефа Баладу, как тот стоит, широко расставив ноги, и орет бессмысленные слова о том, что Михал совратил его дочь, что капиталисту-кровососу мало того, что он наживается на их мозолях, так он еще не щадит рабочих девчонок. Ведь Йозеф Балада записной оратор и не откажет себе в удовольствии, даже изрядно обозлясь, щегольнуть каким-нибудь выпрененным выражением. «Ну что ж, девочка, не лучше ли не тянуть и покончить со всем сразу?» Но Михал чувствует, что рвать с ней вовсе не хочет, как не желает признаться себе, что ему будет не хватать Ружены.

— Как ты захочешь, так и сделаем, — говорит он, чтобы отдалить решение и остаться наконец с ней наедине. — Но нам надо хорошенько взвесить, как выйти из положения. Я не вижу никакого смысла в скандальном разрыве с родителями. Что пользы, если они тебя проклянут, а меня обвинят в твоём падении? Некоторых людей правда ранит насмерть. Не лучше ли им оставаться в приятном неведении? Кому от этого хуже?

Ружена слушала его, прикрыв глаза. Действительно, лучше избежать ссоры с родителями и не отнимать у них

иллюзий, чтобы не разрушить ни их любви к ней, ни их счастья. Но как это осуществить? Она не знает. Пусть решает Михал. Пускай что-нибудь придумает, если он и впрямь такой умный, как о нем говорят. Ружена была достаточно безжалостна, чтобы, невзирая ни на что, получать свое и не слишком обременять себя переживаниями о том, что будет с другими.

— Поговорим обо всем у нас, — шепчет она. Так Ружена называет комнату, где они нашли приют, ибо просто не знает, как ее можно назвать иначе. — А теперь пойдем потанцуем еще!

Они снова танцевали танго в полумраке, где расплывались розовые и голубые огни, и вышли ослепленные этим странным светом и волнением в крови.

На улице моросил дождичек, видимо, после промчавшейся грозы, даже слабый отзвук которой не долетел до подвала, где расположилось кафе «Рай». Мостовая блестела, отражая яркий свет пробивавшихся поверх тучи лучей невидимого, должно быть, уже закатившегося солнца. Запахи далеких лесов тянулись улицами, словно разбрызганные этим мелким дождичком.

Контраст между фиолетовым полумраком кафе, из которого они только что вышли, с его искусственным освещением и застойным, несмотря на вентиляцию, воздухом, и этим свежим вечером еще сильнее возбудил их взаимное желание. И они, не замечая ничего вокруг, видели только друг друга. В эту минуту они, возможно, любили один другого, или, вернее, каждый из них столь горячо любил себя и свое желание физического обладания, что был счастлив, имея партнера. Они отыскивали автомобиль Михала и сели, не заметив человека, который при виде Ружены так резко затормозил свой велосипед на углу рядом, что чуть не свалился.

В то воскресенье в Худейовицах на летнем стадионе Федерации спортивных обществ собрались многочисленные толпы народа, но их разогнала налетевшая гроза. Индра Поур возвращался оттуда промокший и злой. Речь, которую он подготовил, чтобы произнести, но произнести не смог, возвращалась во все более яростных и резких вариантах. Он намеревался говорить о пагубном влиянии рационализации, которая неумолимо вытесняет труд человека, заменяя его машиной, и превращает рабочих в отчаявшихся людей, которым ничего иного не остается, как,

рано или поздно, подохнуть голодной смертью. «Страшное зрелище являет собой сегодняшний мир, — собирался воскликнуть Индра Поур, — исполнилось наконец пророчество величайшего гения человечества, Карла Маркса, утверждавшего, что капитализм сожрет сам себя! На долю нашего поколения выпала страшная и прекрасная привилегия стать свидетелями того, как его слова превращаются в реальность».

Индра Поур знал, что, умело оперируя цитатами, он, можно сказать, встает вровень с их автором. Цитаты придают вес мыслям и словам и сообщают им видимость непогрешимости. «Кого боги хотят погубить, того ранят слепотой», — собирался сказать Индра Поур далее и сослаться на то, что эта древняя истина, открытая когда-то римлянами, познавшими ее на собственной шкуре, ныне снова в ходу. Ибо если взглянуть на сегодняшний капиталистический мир, то можно легко обнаружить, что он поражен слепотой и мчится к неминуемой гибели. Это очевидно для всех. Неизбежность конца подгонит его, если он добровольно не пожелает отказаться от своих привилегий. Ибо если один предприниматель модернизирует производство и начнет выпускать продукцию дешевле, то конкуренция, которую никто не может ни ограничить, ни сократить, заставит и остальных также рационализировать производство. Бешеная жажда наживы, которая безжалостно топчет одних, толкает на гибель и других тоже. «Эта современная вавилонская башня, — собирался изречь он, ну прямо-таки по библии, — утративши самую главную свою опору, труд человека, рухнет в один не слишком далекий день на головы тех, кто ее воздвигает. Ибо, — обратился бы он к массам, которые разогнал проклятый дождь, — каждый голодный, кого выкинули с работы и кто мечется в тщетных попытках найти ее, есть камень, вышибленный из фундамента этой башни. Для кого, — вопрошал он запальчиво у масс, давно рассеявшихся, едва не падая с велосипеда, педали которого бешено крутил, — для кого эти глупцы выпускают продукцию, если лишили рабочих заработка, а вместе с рабочими обобрали и тех, кто зависел от заработка рабочих. Пилят сук, на котором сидят, полагая, что их-то не тронет вызванный ими же потоп! Но ведь, закрывая глаза на истинное положение вещей, они режут себя без ножа. Все это вселяет надежду. Капитализм сыграл свою роль, он больше не может вести за собой и способен лишь паразитировать! Только рабочий класс может ускорить его неумеримое разложение и сам положить конец своим страданиям».

Дождь, пронявший Индру Поура до костей в его легком пиджачке, не смог охладить его пылкой ярости. Индра Поур мчался, будто вел рабочие отряды на последнюю схватку, которой не сможет остановить никакая сила. Ирония случившегося, когда дождь разогнал толпу прежде, чем он смог обратиться к ней с речью, улетучилась из его сознания, ибо что может значить ирония по сравнению с неумолимой логикой идей? Что могут значить все ливни мира по сравнению с неугасимым пламенем его, Индры Поура, энтузиазма и веры! «Я один из вас, — мог бы он звать к слушателям, но те пока что снимали мокрые рубахи и надевали сухие, — я пришел к вам от имени товарищей, которые уже ощутили безрассудный разгул рационализации на собственных спинах. Сперва шесть человек, а неделю назад еще восемь уже знают, что машина легко заменит и даже вовсе вытеснит их руки».

Автомобиль, промчавшись на полной скорости мимо, обдал его грязной водой из выбоины. Дьявол! Все вы обречены на гибель! Гибель надвигается, как чума. Фабричонка Громуса — это даже не атом во вселенной мирового производства, тем не менее она отражает его суть. Конвейер в цехе игрушек, в проходной контрольные часы для всех. Готовую продукцию на склад, и в один прекрасный день остановка производства, расторжение коллективного договора, увольнения. Хорошо, что молодой хозяин пришел вместо старого, ведь и на таком малом отрезке мировой схватки необходимо довести раздражение до самой крайней точки.

В этом месте его пламенной, но так и не произнесенной речи, которая осталась лишь в мыслях, Индра Поур затормозил свой велосипед, потому что в нескольких шагах перед ним шли молодой Громус и Ружена Баладова.

Поур ошеломленно уставился на них, он видел, что они направляются к автомобилю Михала, видел, как виснет Ружена на руке его работодателя, льнет к нему и улыбается, приближая свое лицо к его лицу, будто целует, и ему вдруг показалось, что он ни черта не смыслит в том, что перед ним сейчас разыгрывается.

Ружена Баладова и молодой Громус! Он может повторять эти два имени до полного одурения. Ему и во сне не могло присниться, что между ними может быть хоть какая-то связь. Мысли его зашли в тупик. Парочка уселась в машину, дверцы звучно хлопнулись, он услышал резкий звук стартера, а затем рокот мотора.

Все было настолько невообразимо, что он не понял,

испытывает ли какие-нибудь чувства. Когда автомобиль отъехал, Поур вскочил на велосипед и поехал следом за ними. Ему не пришлось слишком напрягаться, автомобиль двигался медленно, и вскоре стало понятно почему. Минував две улицы, он остановился на третьей, приятной, тихой боковой улочке, состоящей из двух- и одноэтажных вилл с палисадниками и разросшимися кустами или клумбами роз и георгинов.

Индра соскочил с велосипеда на углу и согнулся, будто проверяя, не спустило ли колесо, чтобы его случайно не узнали. Он видел, как Ружена и Михал вошли в двухэтажную виллу. Все ясно. Что ему надо? Чего он тут торчит?

Есть удары, которые не сшибают с ног, а скорее пробуждают к жизни. Тот самый вечер в саду Баладовых, когда они обсуждали, что можно сделать для шести уволенных, и когда Ружена так грубо оттолкнула его, сейчас предстал в новом и жестоком свете. «И не смейте называть меня Руженой!» Через неделю после этого Поур перебрался к одному из уволенных, объяснив свое решение тем, что надо поддержать товарища, оставшегося без заработка. Он и себя сумел убедить, будто это единственная причина. Ведь если ты решил раз и навсегда, что отдашь все свои силы и посвятишь все интересы делу своего класса, то не можешь так уж убиваться из-за того, что тебя отвергла девчонка. Любовь слишком индивидуалистическое чувство и, бесспорно, пережиток мещанского восприятия мира, и потому ей не место в жизненной программе Индры. Честное слово, он сумеет задушить свою любовь. Жизнь требует бескомпромиссных ответов: или — или.

Бессмысленно стоять перед этим домом, все ясно! Что еще можно сказать или предположить?! Но Индра почувствовал вдруг такую слабость, что побоялся сесть на велосипед. Он свалится, он знал это наверняка, хотя не мог объяснить причины. Видимо, быстрая езда совсем изнурила его.

Дождь прекратился, тротуары блестели, и на листе кустарника, словно золотые блестки, сверкали в сумерках капли.

Улица была неправдоподобно тихой, и, вероятно, именно тишина подействовала на него так угнетающе. Что-то у него болело, но он никак не мог определить, что именно. Он промок, ему нанесли удар, словно обухом по голове. Этот борец за идеи социальной революции был несчастен и раздавлен. Кто подскажет, что ему делать? Фантазия разыгрывала перед ним небольшую мелодраматическую

сценку. Он дождется, пока они выйдут. Да, он будет стоять под самой дверью и дожидаться, чтобы насладиться их растерянностью и страхом, это будет маленькая месть за унижение, которому он подвергся в садике у Баладовых.

Однако, когда двери внезапно отворились, Индра Поур оцепенел от испуга столь великого, что его решительность тут же была изобличена во лжи. Растерянность оказалась такой сильной, что вернула силу его подавленной воле. Он уже готов был вскочить на велосипед и уехать, но не успел осуществить свой замысел, как на тротуар выбежала китайская собачонка, следом за ней вышла женщина в старомодной шляпке, одетая в черное. Ее вполне можно было бы назвать старухой, если б не высоко поднятый корсетом бюст. Она приближалась к Индре размеренным, деревянным шагом, высоко вскинув голову, как взнузданная лошадь, на ее блузе со стоячим, на китовом усе, воротом, плотно облегающим шею, покоился массивный золотой крест.

Ну не великолепное ли зрелище? Отчаяние Индры Поура грозило взорваться приступом безудержного хохота. Сводня в обличье придворной дамы, да еще украшенная христианским символом, — это уже слишком! Ему показалось, что он непременно должен бросить ей что-то оскорбительное и грубое. Но дама, прошествовав мимо, смерила Индру Поура взглядом столь холодно-оценивающим и подозрительным, что все то, что еще осталось в нем от бедняка, испугалось и растерялось. Пекинес заливался у его ног визгливым лаем.

— Фу, Кики! — резко одернула его хозяйка.

Она остановилась на углу и, пока собачонка, не переставая нервно лаять, бегала вокруг ее длинной, до земли, юбки, метущей тротуар, пристально вглядывалась в Индру. Дама, видимо, приняла его за вора, высматривающего, как бы половчее проникнуть в дом. Противостоять подобному взгляду невозможно. Он холодно и неумолимо гнал Индру прочь.

Некоторое время он еще сопротивлялся, пытаясь как-то сохранить достоинство, судорожно выискивая резервы, которые мог бы противопоставить подобному патрицианскому презрению, видящему негодяя в каждом, кто носит одежду иного покроя. И все же отступил под этим взглядом, твердо стоявшим на своем, сел на велосипед и помчался прочь.

Он гнал что было сил, и быстрая езда горячила его

кровь. Он был парией, он был оскорблен, вышвырнут, оплеван.

Баба с крестиком на вялой и вздернутой корсетом груди его доконала. Сейчас он видел отчетливо: все они из того мира, где властвует капитал и купленные на его деньги псы облают любого. Индра Поур был не отвергнутым любовником, заставшим девушку со счастливым соперником, он, привыкший все явления рассматривать в свете учения Маркса, мысленно представил себя неким символом пролетария, которого эксплуатируют и грабят по всем статьям, и что самое страшное — в личных отношениях. Лишают радостей, испытывать которые дано даже животным.

Его вдруг охватило глубокое отчаяние, и боль, вполне физическая, так сжала сердце, что казалось — он вот-вот свалится со своего велосипеда. Стиснув зубы, Индра превозмогал себя и с неистовством средневекового фанатика возвращал себя на поле своей веры, где нет места отдельным личностям и дело не в нем, не в Ружене и даже не в каком-то Громусе, который едва не лопается от спеси и воображает себя сильной личностью, коей, по закону джунглей, все дозволено. Дело не только в них. Вся эта история, по сути своей, быть может, и комичная, является лишь одним из многочисленных симптомов болезни, разъедающей живую ткань общества. Его мысли, подхлестываемые быстрой ездой и болью, опять раздражающей душу, никак не могли прийти в равновесие. Ненависть полыхала в нем, и неистовство дико выискивало мишень, по которой могло бы сию минуту ударить. Час расплаты, далекий, бессмысленно далекий час расплаты! И тут к нему впервые пришла мысль, что он может умереть, не дождавшись этого дня. Он жаждал, раздув пожар, приблизить его. Пусть придет немедленно, сейчас же. Полоумный тип! Из-за дурацких переживаний, из-за девчонки, растоптавшей его любовь, предать общее дело! Как же ему быть?

Бессмысленно бояться скандала, его следует всячески ускорить. Он бешено крутил педали, подхлестываемый мыслью, будто избран гонцом, несущим весть о близящейся гибели. Что стал бы делать отвергнутый влюбленный в старые времена? — спрашивал он себя, вкладывая в вопрос насмешку. Пошел бы и убил! Соперника, любимую, себя, а то и всех вместе. Или покорно склонил голову пред судьбой, запил или, забившись в угол, сидел и плакал. Нет-нет, надо сделать что-то, что всколыхнуло бы всех, а не только причастных, и пошло бы дальше! Зло порождает новое зло, ибо зло может быть уничтожено злом. Ему при-

шлось остановиться, слезть с велосипеда и зажечь карбидный фонарик. В темноте совсем не было видно дороги. Индра ехал, не отрывая глаз от полосы света перед собой, занятый одной-единственной сверлящей мозг думой. И мысли его как бы сливались с этой светлой полосой. Свет! Да, властвующая над нами тьма должна быть разбита светом.

Тем не менее Индра трусил. Подъехав к Либницам, он долго сидел на меже за домом Баладовых. То, что он задумал, было низким и грязным. Но, смятенный и униженный, он был не в состоянии отделить добро от зла. Все теории перепутались в его мозгу от нанесенного ему удара. И собственная боль сливалась с великой бесконечной болью всех эксплуатируемых, и искупительная ярость вновь овладевала им. Надо быть героем, чтобы отказаться от своего намерения и продолжать молча страдать? Или это трусость нашептывает ему спасительную ложь перед решительным поступком? Где же правда и где ложь?

Сжав кулаки, как делают все, в ком страх сильнее решимости, он распахнул калитку и вошел во дворик Баладовых. Свет еще горел. Может быть, у Балады опять собрались товарищи, заглянувшие вечером поговорить и спокойно, по-товарищески разобраться во многом, что так трудно решить на собраниях. Тогда, конечно, все будет проще и минута, когда он должен начать разговор, весьма кстати отдалится.

Индра тихонько подкрался к окну и заглянул внутрь, в щель между опущенной занавеской и подоконником. В кухне сидели только Балада и его жена. Кладовщик, надев очки, читал книгу, и лицо у него было напряженным и сосредоточенным, как у человека, который с некоторым трудом воспринимает написанное. Его жена штопала чулок, натянув его на деревянный гриб. Немая, но такая красноречивая мирная картина вызвала в Индре новую бурю чувств. Перед ним, словно молния, мелькнуло будущее и тут же сокрушило его уверенностью, что подобное его, увы, не ожидает. Волна дикой зависти захлестнула его и подняла из глубин воспоминание о газетном сообщении: браконьер выстрелом убил лесника, спокойно читавшего вечером у лампы. Вот и он стоит под окном, как тот браконьер, и собирается совершить что-то похожее, а может, и того хуже. Это засело в нем, оно, как заряженное ружье, могло мгновенно превратить мирную картину в сцену с рыданиями и проклятиями. Индра стоял, играя этой мыслью, как злоумышленник, который избрал цель и те-

перь, прежде чем нажать, просто балуется со спусковым крючком. Ты, Индра, способен на такое? Ах, как долго мы позволяем себе играть с оружием, пока оно не выстрелит. И часто оно стреляет в тот момент, когда мы уже решили не стрелять. Он повернулся и поплелся обратно к калитке. Ах, Йозеф Балада, в один прекрасный день этот подрубленный кров сам рухнет тебе на голову!

Но у калитки Поура учуяла собака, она, все еще не привязанная, бегала по саду за домом. Собака запрыгала вокруг Индры, кидаясь на него с радостным лаем.

Когда получасом позднее Индра покидал дом Балады, он слышал за спиной высокий, жалобный плач Баладовой. Йозеф не рыдал, не слал проклятий. Он сидел, свесив руки между колен, и то взглядывал на свои громадные ладони, то сжимал их в кулаки и все повторял и повторял вполголоса:

— Я убью ее, убью! — Или, вскинув на жену глаза, по-детски беспомощно и виновато спрашивал: — Что мы ей сделали, мамочка, что мы ей сделали, почему она так обошлась с нами? Разве мы не давали ей всего, что могли? Разве не для нее я построил этот дом?

И жена опускала взор под этим отчаянным взглядом, испытывая болезненные уколы материнской совести, что не смогла уберечь свою дочь, и принималась рыдать еще громче.

«Как получилось, что я все им выложил?» Индра стоял на дороге, искал и не находил в себе мстительного удовлетворения. Действительность была ужасна. Теперь он потерял Ружену навсегда. Индра подошел к велосипеду, брошенному на меже, и опустился на землю рядом, дрожа от холода в промокшей насквозь одежде. Он встал и несколько раз пробежался по дороге. Индра, казалось, помешался. Он то вздымал кулаки к небу и грозил звездам, снова выпавшим на нем, то плевал себе под ноги (вот тебе, гадина, — говорил он), то кидался на колени и прижимался к земле ухом. «Надо вернуться и сказать, что я все выдумал. Надо сказать им, что я все наплел со зла, потому что признался в любви, а она мне дала от ворот поворот. Надо, надо сделать это. Но они мне не поверят, хуже того, просто так, для смеха, расскажут ей, что я натворил, а она им откроет всю правду».

В лесу у пруда между деревьями показался свет, а потом, набрав силу, острым клином вырезал из темноты дорогу. Но колеблющийся сноп света вдруг перестал приближаться, угас и превратился в два отдаленных сверкаю-

щих глаза. Продолжалось это недолго, яркий поток света снова выплеснулся, взревел мотор, и через несколько секунд мимо Индры промчался большой автомобиль, оставив позади себя темноту еще более густую, но трепещущую и взбаламученную. И в этой темноте теперь приближался от леса, неторопливо и плавно, светлый, слегка дрожащий огонек. Кто-то ехал на велосипеде.

Так вот они, значит, как делают! Ружена уезжала из дому на велосипеде, будто отправлялась в соседнюю деревню на танцы, а в лесу ее поджидал молодой Громус, он забирал велосипед в автомобиль и вез ее в Худейовице. В Индре вновь вспыхнула ярость. Он отступил за ствол груши, что росли по сторонам дороги, решив дожидаться Ружены и послушать, как ее встретят дома.

Но в тот момент, когда дрожащий снопок света достиг его ног, он, раскинув руки, выскочил наперерез.

— Пойдите, Ружена, мне надо вам что-то сказать, — тихо, чтобы его не могли услышать у Баладовых, позвал он. Слабо скрипнули тормоза, и девушка соскочила с велосипеда в двух шагах от него.

— Это вы? — с обычным пренебрежением произнесла она. — С каких это пор вы, словно злодей, останавливаете прохожих на дороге?

Ружена сочла, что он, выпив немного для храбрости, дожидается ее тут, чтобы объясниться. Она-то отлично знала, по какой причине Индра съехал от них на другую квартиру.

— Я хуже злодея, — ответил он хрипло. И Ружена испугалась, припомнив вдруг разные, хотя и ни одной достоверной, истории, когда отвергнутый влюбленный убивал свою милую, подкараулив ее после танцев.

— Чего вы хотите? — резко крикнула она в надежде, что ее услышат дома.

Индра съехал от ее голоса и, в смятении оглянувшись на дом, умоляюще поднял руки.

— Не кричите, прошу вас, — поспешно заговорил Индра, еще сильнее хрипя. — Я ничего вам не сделаю. Хуже того, что я уже сделал, придумать нельзя. Я жду, чтобы вы плюнули мне в лицо, если я заслуживаю хотя бы плевка. Я выдал вас, Ружена. Сам не пойму, как я мог! Наверное, я лишился рассудка, впрочем, нет, это обычная отговорка. Я вас страшно ненавидел и хотел отомстить, хотел отомстить за всех тех, которых вы предали, за весь рабочий класс, к которому принадлежите и от которого отвернулись. Я рассказал вашим родителям про Громуса.

Они знают все, я видел вас сегодня днем в Худейовицах. Вы выходили из кафе, а я ехал за вами на велосипеде.

Ружена смотрела на него, как из великой дали. Ну разве не смешно? Какие только шутки не выкидывает с нами случай! Весь день она внушала Михалу, что ей необходимо уйти из дому и поселиться в Худейовицах. Весь вечер они ломали голову, как это сделать, чтобы не вызвать у родителей подозрений и избежать лишних сцен и попреков. Рассудили, что лучше всего объяснить бóльшим заработком. И в самом деле, что может ожидать девушку в Либницах, где портних более чем достаточно, а местные богачи охотнее шьют в районном городе? А теперь ухищрения больше ни к чему. Решение пришло само, ей не надо уже притворяться. Может, оно и к лучшему?

Ружена посмотрела в сторону своего дома. Окно светилось так же мирно, как в других домах. И так же, как остальные окна, казалось ей чужим и далеким. Она видела мать, заламывающую руки, убитую горем, отчаянно рыдающую, искреннюю даже в таком безумном проявлении, представляла отца, вот он стискивает ее плечи и трясет, требуя объяснений, он хочет из ее собственных уст получить подтверждение жестокой правде. К чему подвергать себя таким испытаниям? Терзать душу и нервы? К чему рыдать и изображать раскаяние, если она вовсе его не чувствует и хочет идти тем путем, который избрала? Ах нет, домой она больше не вернется, хотя неясно представляет, что станет делать сейчас, ночью.

Фонарик ее велосипеда выхватывал из темноты тощую, черную и помятую фигуру Индры Поура. Его колотила дрожь, и он с трудом держался на ногах.

— Зачем вы это сделали? — спросила она, и голос ее помимо воли прозвучал участливо, она жалела человека, принесшего ей вред.

— Я готов был убить вас, — проговорил он медленно и с трудом, преодолевая лихорадку, его зубы стучали. — Я люблю вас, вы это знаете, но мне вы не позволяете даже называть вас по имени. Нет-нет, не то, это еще не все. Вы не можете с ним... (Он мотнул головой в сторону города за спиной.) Это не для вас. (Его охватило прежнее неистовство, губы больше не сводило и горло не сжимала спазма.) Я и сейчас убежден, что поступил правильно. Я ничего не могу с собой поделать, плюньте мне в лицо, повернитесь спиной, я поступил подло, но тем не менее правильно. Не смогу объяснить... Я пресмыкался бы перед вами, как

собака... (Он взмахнул руками, будто хотел схватить ее, а когда Ружена отпрянула, стиснул руки в отчаянной мольбе.) Разве вы не понимаете, что ваше место среди нас, что мир разделился на две части и каждый из нас обязан четко сказать свое «да» или «нет»?

Ружена видела его бледное лицо как в тумане. Оно было узкое, словно лезвие ножа, и, пронзив тьму, устремило острие к ее сердцу. Если где-то существовала любовь, то она была на кончике острия, она владела этим одержимым коллективистом, который хочет разрушить мир только потому, что она для него лишь несбыточная мечта. Михал никогда не смотрел на нее так, для Михала она просто временная забава — поиграл и забыл, да и сама она, очевидно, не стремится стать для него чем-то большим, сходясь с ним во мнении, будто любовь чепуха, и она отдается ему, лишь надеясь, что он поможет ей сбежать из Либниц и даст беспечную жизнь. Объяты Михала еще отзывались в ее теле истомой и неудовлетворенностью, но сейчас, к ее удивлению, в ней вдруг поднялась новая горячая волна желаний. Неужели она может возжелать этого дохлятину, этого измученного лихорадкой и бог его знает чем, вполне возможно — голодом, потому что, по слухам, он посылает все свои сбережения на нужды партии? Разве возможно такое?

— Ружена, — заговорил он снова, и казалось, будто он вот-вот рухнет перед ней на колени. — Обещайте, что вы оставите Громуса, я помирю вас с родителями, я скажу, что выдумал все из ревности. Скажу, что бегал за вами и сделал это со злости, потому что вы меня прогнали.

Ружена оперлась на руль своего велосипеда и нагнулась, близко придвинув свое лицо к его лицу. Индру опять била дрожь, и ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не отпрянуть.

— Вы на самом деле так сделаете?

— Немедля, сейчас же! — с горячностью воскликнул он.

— Постойте, — сказала она и ухватила его за рукав промокшего пиджака, потому что он уже двинулся к дому, чтобы исполнить обещанное.

— Вы ведь еще не знаете, согласна ли я, хочу ли я этого!

Она притянула его к себе, и теперь только руль велосипеда разделял их, ее дыхание ласкало и обжигало его лицо. Она чувствовала, как он дрожит, и ей было весело от сознания своей над ним власти.

— А вы, — добавила Ружена тихо, — несмотря на то, что вам все известно, вы от меня не откажетесь?

Разве не он хотел стереть ее в порошок за то, что она принадлежала другому? Ну и что? С этой минуты она будет принадлежать ему одному. Он был уверен, что вытравит в себе любое воспоминание об этом. Больно, о, как больно и еще долго будет болеть, но подите вы прочь, все воспоминания! Впрочем, это бессмысленно! Если нет предрассудков, то не может быть и боли, причиняемой ими. Тут он наконец набрался храбрости и схватил ее за руку.

— Я позабуду все, что было, я ничего больше не помню. Просто вы жили, как вам хотелось, ведь для меня эти воспоминания страшная мука.

Он сжимал ее руку все сильнее и смотрел на нее с отчаянием, ибо не мог найти слов, которыми можно попросить разрешения поцеловать. И не мог отважиться прижать ее к себе молча. Он был охвачен лихорадкой желания, слова теснились во рту, и он не в состоянии был вымолвить их потому только, что страшно перехватило горло. Ружена одной рукой отодвинула в сторону велосипед, другой обняла его. Тогда он наконец нашел ее губы и стал целовать грубо и ненасытно, задыхаясь сам и не давая дышать ей. Он сознавал, что еще днем ее обнимал и ласкал другой, но его страсть от этого становилась только мучительней и гибельней.

Она опрокинула его на себя и, не замечая, что земля мокрая от дождя, а трава обильно покрыта росой, отдалась ему яростно и безоглядно, с наслаждением, пронзившим ее. Ничего подобного она не испытывала в объятиях молодого Громуса. Ружена чувствовала странное мстительное удовлетворение, она плюет на богача и лишает его собственности, хотя он уверен, будто имеет на нее суверенное и оплаченное деньгами право. И еще одна мысль, циничная и веселая, билась в ее голове: как легко обманывать мужчин и получать от них все, чего пожелаешь!

И вот они стоят друг против друга, чужие и далекие, словно две звезды во вселенной. Индра одержим единственной, болезненно пульсирующей мыслью, и она сводит судорогой его пальцы: почему он не задушил ее в эту минуту здесь, на меже, чтобы остаться навсегда уверенным в ней и смыть все, что теперь никогда не перестанет его терзать. Утомленный, смятенный и униженный, словно кем-то избитый и измызганный в дорожной грязи, Индра Поур искал в себе чувство благодарности и не находил его, не ощущал он и сладости любви, которой только что упивался, она

разъедала, как кислота, он искал и не находил ни полной уверенности, ни надежности. Индра схватил Руженину руку и поцеловал ее.

— Не правда ли, Ружена, это было, — заикался он, — это было больше, чем обещание, это было все!

Она захохотала, широко раскинула руки и потянулась, зевнув без утайки.

— А как же, — ответила она. — Скорее поехали к тебе, не то я засну тут, прямо на земле.

И целую неделю после случившегося Балада с женой верили, хотя и не слишком этому радовались, будто Ружена и Индра Поур жених и невеста. И в рабочей слободке все верили вместе с ними. В конце недели Ружена исчезла из Либниц и больше туда не вернулась.

11

Проходили месяцы, но состояние Фердинанда Громуса не менялось. Старик лежал в своей комнате, его лицо было несколько перекошено, будто он злобно усмехался, а левая рука и нога оставались неподвижны. Плохо. Но еще хуже, что парализованы его голосовые связки и он не в состоянии произнести ни слова. Долгое время это было ему безразлично, потому что, прежде обычно неприятно суетливый и болтливый, будто скворец в августе, вместе с апоплексическим ударом он обрел наконец покой и равнодушие ко всему, что не являлось загадочным движением в его теле, блужданием ослепшей жизни в жилах и в извилинах мозга. Лишь иногда, когда ему чего-то хотелось, а его не могли понять немедленно, гнев сдавливал ему голосовые связки, будто меха испорченной волюнки, и вынуждал их издавать странные дикие звуки, всегда одинаковые и одни и те же, так что со временем они определились в слухе окружающих как слова таинственные и непонятные, подобные заклинаниям: подада, подада, тать, тать...

Болезнь лепила его лицо, прибавляя с каждым днем новые черты и изменяя внешность. Он исхудал, благодаря неумолимой диете, которой мог сопротивляться единственно голодовкой, потерял почти половину веса, и его некогда круглая, лунообразная физиономия стала распадаться на части, разделенные глубокими морщинами, заполненными пеплом свинцово-серых теней.

Михал навещал его ежедневно после обеда. Садился

в кресло, стоящее у изножья кровати, и отчитывался в своей деятельности, подготовившись так, чтобы исключить все, что могло бы разволновать старика. Михал охотно присовокуплял всякие случаи, происшедшие в цехах и конторе, которые иногда вызывали у Фердинанда Громуса улыбку, искажавшую здоровую половину лица. Старик с радостью глотал эти весточки продолжавшейся без него жизни. Они шли на пользу его ущербному мозгу, мысль становилась свежее, будто после целебной ванны, и шевелилась живей. Он был еще способен припомнить и связать лицо с именем, которое слышал, это доставляло ему детскую радость, и, подняв правую руку, он почесывал за ухом, как в те дни, когда был лихим, оборотистым, развеселым делягой, а из горла его вырывалось ужасающее слух хрюканье, что на самом деле было смехом.

После ухода Михала Фердинанд Громус жил рассказами сына. Его мозг впитывал их, как губка, и он потом выжимал из него каплю за каплей, напрягаясь, чтобы припомнить все, что услышал. Но время, которое есть не что иное, как пространство воспоминания, утратило свою трехмерность, и память, превращенная в плоскость, смешивала прошлое с настоящим, лица возникали мучительными вопросительными знаками, на которые он не мог найти ответа, обрывки сцен накладывались друг на друга, сталкивались и рассыпались в тщетном поиске исполнителей. И тогда его одолевала такая скорбь, что слезы, хлынув из глаз, терялись в лабиринтах морщин, катились по щекам и полуоткрытому рту к уголкам губ, одной — судорожно вздернутой и второй — безвольно опущенной. Но случилось, им вновь овладевало бешенство. Он размахивал здоровой рукой, колотил ею по одеялу или, схватив себя за ухо, терзал его с такой силой, будто хотел вовсе оторвать от головы. Это являлась ему во всей своей ужасающей истине бессмысленность существования. Он хотел умереть сейчас же, немедленно, и принимался издавать свое похожее на кваканье заклинанье: подада, подада, тать, тать... Прибегала перепуганная сиделка и пыталась его успокоить: прикладывала руку ко лбу и уговаривала тихо и примирительно, как раскапризничавшегося ребенка. Но Фердинанд Громус бился в припадке все возрастающего неистовства, пытался подняться и выброситься из постели, которая в такие моменты казалась ему скалой, с которой он может кинуться в пропасть покоя и забвения. Опытная сиделка, взяв его за плечи, твердо и решительно прижимала к подушкам и говорила жестко:

— Так, а теперь довольно беситься.

Она держала его до тех пор, пока сопротивление не ослабевало, после чего заставляла выпить воды с фруктовым соком. Фердинанд Громус успокаивался и затихал. Он лежал неподвижно, подстерегаемый подозрительным взглядом сиделки. Лучше не думать и тем более не вспоминать. Пыль кружилась в косых солнечных лучах, был слышен настойчивый монотонный гул работающих машин, и дом легонько вибрировал. Глаза могли смотреть в никуда, в неограниченные просторы, голубоватая белизна которых поглощала все предметы или блуждала в джунглях неуловимого узора пронизанной солнцем портьеры.

А за дверью стояла Анна и напряженно вслушивалась. Она слышала шум борьбы между сиделкой и больным и старалась понять, что происходит в комнате. Однажды она уже попыталась войти в эту дверь, которая для нее единственной в этом доме должна стоять распахнутой настежь, ибо она все еще была женой этого калеки, но ее, словно потаскуху, выставили вон. Где-то в глубине коридора скрипнула дверь, и Анна в удивлении обернулась. Кухарка наводила чистоту в комнате Михала, пока младшая прислуга готовила в кухне продукты длястряпни, и сейчас возвращалась с совком, полным мусора. Поздно уходить или как-то маскировать свое присутствие. Анна осталась стоять там, где стояла.

Кухарка прошла мимо не здороваясь, гордо откинув голову назад и, как это делают глуповатые театральные примадонны, вихляя бедрами. Кто приказывал ей убираться отсюда и кто здесь распоряжается теперь, хотелось бы знать?

— Подслушивает, — сказала кухарка громко на середине лестницы. Но Анна оставалась стоять неподвижно, даже не повернув головы. И Бети, несколько смущенная, упав духом, вошла в кухню и принялась покрикивать на младшую прислугу.

— А сейчас будьте послушным, — слышался в комнате Фердинанда Громуса голос сиделки. — Мне нужно отойти, я сейчас же к вам вернусь.

Фердинанд Громус осклабился здоровым уголком губ и вяло махнул правой рукой. Страхи сиделки забавляли его. Ну и задал же он ей жару, что правда, то правда, все равно целый день сидит, развалившись в кресле. Он бы тоже не прочь зарабатывать свои денежки так легко, как эта баба.

Увидев у дверей Анну, сиделка, не сказав ни слова,

повернула ключ в замке и беззвучно вытащила его. Анна впилась ногтями в свою ладонь.

— Зачем вы это делаете? — прошептала она.

— Я делаю то, что мне приказано.

Сиделка была долговязая и сухоощая, фигурой похожая на Анну, быть может — только чуть повыше. У нее было суровое и равнодушное лицо профессионалки, составившейся у постелей больных богачей. Слишком много она повидала, и уже ничто не могло ни растрогать, ни изумить ее.

— Имею я право войти к нему? Я ведь его жена, — продолжала Анна, повышая голос, чтобы внушить этой женщине уважение к себе и добиться превосходства.

— Что касается ваших прав, то мне о них ничего не известно, — пренебрежительно ответила сиделка, пожимая плечами. — Меня наняли не вы, и перед вами я не отчитываюсь.

Она двинулась было по направлению к лестнице, но Анна задержала ее.

— Пойдите, — сказала она, понизив голос, и вид у нее был такой, будто она с трудом преодолевает волнение. — Мне хотелось бы поговорить с вами разумно. После двадцати лет супружества я оказалась в таком положении, что не уверена, не выгонят ли меня после его смерти из дому, без геллера в кармане, как прислугу. Мне необходимо объясниться с ним, вы слышите, я должна спросить, не уничтожил ли он, не изменил ли своего завещанья, в котором мне отведено должное место.

Сиделка насторожилась, как кошка, перед которой приотворились двери кладовки. Ах эти вечные деньги! У богачей за всем одни только деньги! При всем своем благообразии, они готовы из-за наследства поубивать друг друга. Сиделка не колеблясь облегчала их кошельки при всякой возможности.

— Каким образом вы собираетесь объясняться с ним? — спросила она, изображая незаинтересованность и нетерпение человека, которого отвлекают от важного дела. — У него отнялся язык. Он не может говорить.

Но Анна решительно не намеревалась отпускать ее, желая добиться своего. Она учуяла в ней именно того человека, который ей был необходим. Ах ты! Достаточно швырнуть тебе грош, чтобы купить вместе с твоей бессмертной душой!

— Мне и не надо, чтобы он говорил. Мне хватит жестов.

Я должна знать, что меня ожидает. Вам нечего бояться, можете не покидать комнаты, я объяснюсь с ним при вас.

— Мне категорически запретили пускать вас к больному. Ведь вы причина его первого удара, я не могу пойти на такое!

Анна вцепилась в ее руку.

— Не бойтесь, я не позволю себе ничего, что может его растревожить. И не останусь перед вами в долгу.

Какое-то время они молча стояли друг перед другом. Сиделка отвела глаза под ее взглядом. И вдруг, не произнеся ни слова, распахнула дверь и бесшумной походкой вошла вслед за ней.

Фердинанд Громус лежал в той же позе, как она оставила его. Старик улыбался, будто прислушиваясь к какой-то песне, которую никто, кроме него, услышать не мог. Быть может, какое-то воспоминание блуждало потускневшими путями сознания и лицо его просветлело, ибо ему удалось узнать его. А пока что это было лишь действие, весьма близкое к реальности, и оно донельзя взволновало Фердинанда Громуса. Он мог погружаться в него слухом, но рассудок его оставался безучастным, и потому оно действовало на него не более, нежели солнечный луч на младенца. Он даже что-то тихонько мурлыкал. Фабричная сирена только сейчас пять раз гукнула, и двор наполнился гомоном расходящихся рабочих. Сквозь закрытые окна звуки проникали приглушенно, как песня путника, что доносится издалека и становится все слабее. Ах эта песнь жизни, реальной, сильной, ликующей, но уходящей. Возможно, ее-то он и видел сейчас, какой долгие годы наблюдал из окна своей конторы: рабочие валом валят к фабричным воротам, подобные стаду, движутся бок о бок, некоторые хохочут и громко выкрикивают что-то шутовское через головы других, счастливые тем, что на несколько часов скинут бремя работы со своих плеч, что возвращаются домой дать роздых усталым телам и насытить уже урчащие от голода желудки.

Увидав блаженную улыбку на лице человека, который провалился в глубины своего «я» и не желает ничего больше знать о действительности, сиделка опять заколебалась и встала перед Анной, будто собираясь загородить ее собою. Но рука за спиной пошарила в поисках ее кармана, и она услышала шелест купюр. Решившись, она подошла к ложу больного и наклонилась к самому его лицу.

— Пришла ваша жена, — произнесла она тихо, со всей

деликатностью, на которую была способна, — вы примете ее очень, очень спокойно, не так ли?

Фердинанд Громус, вырванный из своей полудремы, из тех воспоминаний, что были не более чем сладкое колебание звуков и мелькание неуловимых перемежающихся картин, сделал величайшее усилие в попытке сосредоточить свое внимание на словах сиделки. Его жена. Он старался припомнить. У него было две жены. Первую звали Альжбета, и ее сыном был Михал. Как ни странно, сейчас он вспоминал именно ее. Бедняжка, она постоянно хворала, сердце в ее груди бешено колотилось от малейшего движения, не хватало дыхания. Альжбета пугалась и вздрагивала, если он смеялся чуть погромче. А он в те годы умел смеяться, потому что смех исходил из его здорового молодого тела и постоянной радости успехов в делах. Альжбета пришла к нему с деньгами и подарила сына, но не смогла поспеть за его стремительным шагом и вечной молодой ненасытностью. А потом исчезла навсегда, как исчезают летними вечерами облачка дыма, которые только что струились над крышами. Он не мог припомнить даже, как она умерла. У него две жены. Вторую звали Анна. Жалость сдавила его горло и заволокла глаза слезами. Почему ее нет рядом с ним, что за чепуха?

— Попада, попада, тать, тать, — прохрипел он негодуяще и замотал головой.

Но тут Анна отпихнула сиделку и шагнула к нему. Она двигалась, пожалуй, даже с осторожностью, согнув спину, обычно такую прямую и неподвижную, и пыталась доверительно улыбнуться. И Фердинанд Громус силясь повернуться на своем ложе и протягивал к ней свою здоровую правую руку.

— Нет-нет, — произнесла она, приглушив свой голос до мягкого шепота, щекочущего ее глотку, будто она давилась ватой, — не надо двигаться, лежи спокойно. Ты прекрасно выглядишь.

И вдруг осознала, что ответить ей он не может, паралич навсегда разрушил голосовые регистры его связок. Она придвинула сиделкин стул к самой постели, нагнулась к мужу и нежнейшим рукопожатием, на которое только была способна, сжала протянутую к ней руку. И снова ее передернуло, как от холода. Это была не та пухлая рука, что когда-то, вызывая отвращение, прикасалась к ней. Это была несчастная, вялая, костистая рука, покинутые благодатной прослойкой жира лоскуты кожи, в увядших складках которой скрывается скелет, символ смерти. Каждый из

нас носит его в себе. Каркас, к которому приклепнута штукатурка нашей временной формы.

Анна была поражена оказанной ей встречей. Ведь последние слова, которые он крикнул, прежде чем рухнуть, были: «Немедленно убирайся! Вон!» — и предназначались именно ей. Она никогда не согласилась бы признать себя причиной его болезни, но слова, как брошенный топор, засели в дубовых воротах ее эмоций и все еще торчали там. Впрочем, вполне возможно, что мрак, окутавший сознание ее мужа, навсегда затмил в нем и это воспоминание. Разве его лицо не выражает радости, а его правая рука не тянется навстречу человеку, которого давно и тщетно ждали? Она прощупывала — есть ли возможность сблизиться с ним и добиться своего? Ее слова скользили и кружили по тонкому льду, и каждое слово было осторожной попыткой продвинуться вперед. А когда сиделка наконец оставила их наедине и притворила за собой двери, Анна сказала вкрадчиво:

— Меня к тебе не пускали, но я воспользовалась минутой, когда никто за мной не следил, и пробралась к тебе, будто мы любовники, скрывающие свою любовь. (Ей удалось подобрать для этих слов нежную веселость и грудной девичий смех.) Ты ведь не сердись, правда? Дай мне знак, что ты радуешься мне.

Ее не хотели пускать сюда? Кто посмел не пускать ее к нему? Фердинанд Громус был возмущен. Но слова наплывали чересчур поспешно, и одно смывало другое. Она говорила про любовников и сжимала его руку, он слышал, что она смеется, как еще никогда не смеялась. Сумрачное прошлое его мужского века сейчас воссияло, и он увидел ее выходящей из него такой, как ее видели некогда его глаза, затуманенные ложью острого и неотступного желания, так и не получившего недостижимого. Двадцать лет она отказывала ему, двадцать лет у нее не нашлось для него ничего, кроме пренебрежения и насмешек, и эти двадцать лет обернулись для него мечтой, дав Анне два лица — истинное, повседневное, то, которое он часто ненавидел и против которого бессильно восставал, и другое — лицо его грезы, существующее лишь в нем самом. И сейчас, в этот миг, каким-то необъяснимым чудом ее истинное лицо растаяло и проступило лицо грезы. Анна склонилась к мужу, она улыбалась и говорила с ним мягко и проникновенно, покорная и ласковая. Ну скажите, разве это не прекрасно? Всем, чего он был лишен в пору мужского расцвета, он владел сейчас, став больным, старым, калекой. И что так

характерно для Фердинанда Громуса — он отнюдь не смутился подобной переменой, более того, он ее, видимо, и не заметил. В этой борьбе, которая длилась для него, можно сказать, постоянно, не играли роли ни время, ни обстоятельства, при которых он добьется победы. Всю свою жизнь он страстно желал завладеть ею и удержать так же крепко, как все, что хоть раз попало в его руки. Что ж, теперь она здесь, в этой минуте сосредоточилась вся минувшая жизнь и все, что еще могло произойти.

Анна видела, как лицо его розовеет и свинцовые тени исчезают из бороздок морщин. Старик был так счастлив, что молодец на глазах. Гордая властью, которую всегда имела над ним, она вдруг прониклась к нему неимоверным участием, и мысль эта была столь преданной и сильной, что, возвращая жизнь немощному телу и зажигая свет в помрачившемся мозгу, захватила и ее самое и понесла по течению. Еще немного — и она позабудет, зачем явилась сюда, и, поддавшись порыву неведомой ей жалости, обвинит себя в том, что все минувшие годы провела рядом с этим человеком в пренебрежении, отвращении и холодной ненависти. Наверняка можно было бы прожить их иначе. Да, наверняка, — если бы только она захотела. Но сейчас все это уже не имеет значения. Годы ушли, и жизни, чтобы отыскать возможность все исправить, не вернуть. Она могла лишь попытаться спасти то, что еще удастся спасти, воспользовавшись этой неожиданной благоприятной переменой чувств.

Анна приметила на ночном столике карандаш и папку с нарезанной четвертушками бумагой, на которой Фердинанд Громус большими, корявыми, неразборчивыми буквами изображал свои просьбы. В ней вспыхнула новая надежда, ведь, входя сюда, она и понятия не имела, каким образом сможет получить его ответ. Теперь она ясно видела путь. Она выпросит, не изменил ли он под нажимом Михала свое первоначальное завещание, и, если действительно эта подлость случилась, принудит его написать записку нотариусу, которую сама же продиктует.

— Я день и ночь думаю о тебе, — сказала она и низко склонилась над ним. — Разве это не жестоко — разделить мужа и жену во время таких суровых испытаний? Я молилась за тебя, и в этом было единственное мое утешение и единственная помощь, которую я могла тебе дать. Они пытались уверить, будто ты ненавидишь меня и не желаешь видеть. Я не могла понять почему, ведь двадцать лет — говорила я себе — ты любил меня. Но они твердили, что

твоя ненависть настолько велика, что ты даже решил уничтожить свое завещание и после стольких лет супружества оставить меня совсем нищей. Я ни на секунду им не поверила, убеждала себя, что слишком хорошо тебя знаю, что ты на подобное не способен. (Она добавила нежности и страсти своему голосу и рукопожатию.) Ах нет, не ты сам, конечно же, не ты, а если даже и сделал такое, то в том повинны твоя болезнь и скверные советчики-шептуны. Но я не верю этому! Скажи, ведь я права, что не верю?

Ее голос пресекся всхлипом, который, как ни странно, был не наигранным, а явился результатом постоянного напряжения, в котором она жила последнее время, и возбужденного состояния нервов. Она наклонилась к его руке и прижалась к ней лицом, глядя на него снизу полными слез глазами. И сердце ее колотилось так сильно, что стук его доходил сквозь одеяло до исхудавшей ноги Фердинанда Громуса, к которой Анна прижималась грудью, выжидая, каких результатов ей удалось достичь своей игрой.

Однако для Фердинанда Громуса все это оказалось чрезмерным. Он видел ее у своих ног плачущую и умоляющую и добивающуюся его любви как единственного спасения. И это вторглось в его душу и мозг: ощущение счастья и страшное усилие — понять, что же, собственно, происходит? Он уже знал. Он изгнал ее из королевства, которое создавал всю свою жизнь, он лишил ее громусовского состояния. Ее, Анну, которую любил и которая любила его. Ибо что же иное могло бросить ее к нему, что иное могло вложить в ее горло этот мягкий теплый голос и выдавить из глаз слезы, разрывавшие его душу? Необходимо все исправить, исправить, не медля ни минуты. Все, что у него есть, должно принадлежать ей. Он забыл, что из его глотки вырван язык, и выпрямился и рванулся резко, как упряжка лошадей, отрывающая примерзшую телегу, рванулся, как бы заверяя ее, будто исправит все, что мог натворить, лишь впад в полное безумие. И вдруг взрыв ослепительного света хлестнул его по глазам, секунду или две он заливал его яростным потоком, пока весь не исчез в голокружительном водовороте и на окружающий мир не ринулось что-то еще более ослепительное. Это Анна? Ее лицо, такое белое, такое прекрасное и светящееся? Это свет или боль, жуткая и невыносимая? Ему казалось, будто он протянул руки, чтобы схватить это что-то, о чем он мечтал всю жизнь, что принадлежало ему по праву и чего он никогда больше не выпустит из рук. Вот он схватил и держит.

И он рухнул навзничь на белые подушки, в вечную

темноту, и сознание свершившегося отпустило искаженно застывшие мышцы, и по лицу разлилась улыбка.

Не понимая и не веря случившемуся, Анна сидела, не двигаясь с места, и все сжимала его холодеющую руку, когда в комнату вошел Михал в сопровождении сиделки.

Накануне похорон Фердинанда Громуса целый день лил дождь, и дождь этот, охладив последний жар лета, положил начало осени. Резкий ветер, поднявшийся с утра, продувал насквозь либницкие улицы и морщил лужи в колдобинах на дорогах.

Небо было высоким и ясным, и глыбы белых облаков перекачивались в его бездонной глубине. Воздух, освободившись от испарений, открыл глазам пейзаж, раскинувшийся широко в необозримой дали, пронзительно реальный и голубой, как мечта. То был один из дней, когда застигнутые наступившими вдруг холодами люди достают теплую одежду, наблюдая на дорогах хороводы листвы, из которой увядание не успело еще изгнать всю зелень, и под порывами ветра испытывают приступы меланхолии, от которых пробирает душевный озноб, еще более неприятный, нежели физический.

Когда катафалк отъезжал от ворот этого дома печали, фабричная сирена загудела свой последний привет покойному, и ее пронзительный вой, ставший еще более душевраздирающим от причины, которой был вызван, слился с погребальным звоном всех колоколов соборного храма. Рабочих в тот день отпустили, чтоб они могли участвовать в похоронах своего работодателя, и котельную топили только для того, чтобы ее пар оживил глотку сирены. Окружающие не посмели бы утверждать, будто сын что-то упустил или недостаточно подчеркнул, сколь многим обязан своему почившему отцу, конечно же, — и в этом никто не сомневался, — он был самым богатым человеком в городе. Организацию похорон он поручил худейовицкой погребальной конторе, приславшей катафалк, запряженный шестеркой угольно-черных коней, какого здесь никто никогда не видывал. Были еще две кареты с венками, походившие скорее на свободно движущиеся горы цветов, среди которых преобладали алые розы. Вслед за министрантами в замызганных стихарях шествовали пятеро священников в заляпанном грязью облачении. Те, что пекутся о духов-

ном благе либницких граждан. Они, все как один, шли склонив головы и сцепив руки внизу живота, профессиональная важность на их лицах сообразно моменту была доведена до маски скорби, скрывающей какие бы то ни было следы собственных мыслей и ощущений.

Впереди, перед похоронной процессией, в которой шли все, кто хоть что-то в Либницах значил, и мелькали незнакомые физиономии деловых партнеров Фердинанда Громуса, двигалась семья усопшего. Анна Громусова являла собой лишь черный слепок с человека, на ней не было ни единого светлого пятна, на котором мог бы остановиться взгляд любопытствующих, много давших бы, чтоб заглянуть под непроницаемую темень траурной вуали, скрывавшей ее лицо, и даже еще глубже — в нутро ее обладательницы. Ибо обстоятельства болезни и смерти Фердинанда Громуса не остались тайной для города. Носились слухи, в которых Анне приписывалась роль по меньшей мере убийцы. Сейчас все видели собственными глазами: ее голова не упала на грудь в рыданиях, плечи не вздрагивают и фигура у нее прямая и застывшая сильнее обычного. Многие из женщин, мимо которых она проходила, испытывали истерическую потребность наброситься на нее и сорвать черное фарисейство траурного одеяния, ибо они любили Фердинанда Громуса, вспоминали его восхищенные взгляды, адресованные им, и комплименты, на которые он никогда не скупился и оделял, когда бы ни встретился с ними.

Роберт тащился по правую руку от матери. Приходилось идти обнажив голову, и резкие порывы холодного ветра раздражали его. Роберт нес шляпу в левой руке, а правой, невзирая на драматичность момента, проверял, не испорчена ли его тщательно уложенная прическа. Вид у него был достаточно скорбный, он ощущал даже, как мышцы лица начинает сводить от непривычного выражения, а скулы деревенеют от тщетных усилий сохранять серьезный вид. Зябла голова, и Роберт, подверженный простудам, с тревогой думал, что эта затянувшаяся прогулка непременно кончится насморком и болью в ушах, и прикидывал, сколько еще может продлиться траурное шествие и весь этот бессмысленный обряд на кладбище. Похоронная карета была застеклена, но Роберту мерещился гнилостный запах разложения, проникающий из гроба, и он изо всех сил старался отвлечься от печальной действительности и вспомнить приятное. Но так и не припомнил ничего более веселого, чем похороны на море,

свидетелем которых был несколько раз еще в те времена, когда плавал стюардом.

Роберт окидывал быстрым взглядом зевак, толпившихся у края тротуара, чтобы видеть похоронную процессию. Заметив в толпе хорошенькое женское личико, он негодовал, что не может не только уделить красотке внимание, но даже оглянуться. Какая чепуха, какая комическая помпа ради того, чтобы закопать в землю тело, в котором черви уже начали свою более чем полезную деятельность. Трупы следовало бы устранять тайком, без шума, лучше всего — по ночам. Пока ты живешь, получай почести по заслугам, но падали место на скотомогильниках. Да какого, к примеру, черта Роберту выставлять на всеобщее обозрение свою опечаленную физиономию, если, честно говоря, ему на все это глубоко наплевать?

Хотя процессия двигалась медленно, направляемая двумя служителями похоронной конторы, спокойно шагавшими подле первой пары коней, катафалк качало на горбатой либницкой мостовой, словно корабль в бурном море, и стекла неприятно дребезжали. Михал Громус, которому ветер трепал и бросал на лоб волосы, слишком мягкие для приличной прически, приглаживал их свободной рукой тем же движением, что и его братец. Взгляд Михала был опущен к дороге, медленно ползущей под ногами назад, и он лишь иногда поднимал его и пристально смотрел на гроб, неясно различимый за задним стеклом погребальной кареты. Михал испытывал чувство спокойного удовлетворения. Если бы отец мог сейчас подняться и посмотреть вокруг, он, скорее всего, хлопнул бы его по плечу и воскликнул: «Именно так я представлял себе свои похороны. Ты все отлично устроил!» Отец любил шик и показной размах, любил пустить пыль в глаза и, несомненно, должен был все это сполна получить на своем последнем пути. Может быть, смешно? Нет, только кажется смешным. Коммерсант в первую очередь обязан думать о впечатлении, которое производит на людей. Сын был даже тут заодно с усоншим. Дело не в том, чтобы достойно похоронить покойного, но — и это главное — достойным образом представить фирму «Громус». Фирма! Нечто вроде герба в те давние времена, когда титулы и богатства завоевывались в иных битвах.

В глубокой выбоине посреди дороги стояла большая лужа. Миновать ее было никак невозможно. Лошади пошли вброд, от копыт полетели во все стороны брызги, а затем и колеса взмутили гладь. Траурной процессии пришлось

расступиться и обогнуть лужу. Реальность в столь серьезный момент оказалась бесчувственной и насмешливой. Это маленькое происшествие дало мыслям Михала иное направление.

Лужа и погребальная процессия, дорожная грязь и салонный изыск черной траурной одежды. Жизнь без прикрас, такая, как есть. Ну уж коли природа равнодушна к нам, то и у нас нет особых причин проявлять заботу и деликатность друг к другу. Вот, скажем, сейчас я везу хоронить своего родного отца, и меня, признаться, беспокоит, что я не испытываю особой печали. А впрочем, почему я должен ее испытывать? Разве не пора ему уйти из этого мира, который он все меньше понимал? Он, конечно, не очень меня связывал, но ведь лучше, что и эти путы разорваны. И, шагая за гробом, Михал Громус ощущал расправшую его силу, которая с легкостью преодолет все преграды на своем пути. Теперь он ни от кого больше не зависит и все будет подчинено только его воле.

У кладбищенских ворот гроб вытащили из кареты, и трое рабочих и трое служащих с фабрики Громуса на своих плечах понесли его к фамильному склепу.

Фамильный склеп. Над разверстой ямой — ибо надгробная доска черного мрамора отодвинута — возносились такого же черного мрамора усеченная дорическая колонна. На нее опиралась рукой плачущая женская статуя в римской тоге. В другой, опущенной вдоль тела, руке она держала пальмовую ветвь — символ вечного мира. Статуя была вырублена из белого каррарского мрамора. В свое время Фердинанд Громус, заказывая памятник скульптору, велел сделать фигуру, оплакивающую уход из жизни и его, и всех остальных Громусов, которые когда-либо найдут успокоение у ее ног. В склепе уже спала вечным сном первая жена Громуса и деревщик Громус, отец Фердинанда Громуса, чей прах он перенес сюда через много лет после смерти старика, ибо для Фердинанда Громуса была невыносима мысль, что его отец будет спать вечным сном в голой земле, среди бедняков, каким и он был всю свою земную жизнь.

Когда умирает человек столь известный, как Фердинанд Громус, несомненно, надлежит помянуть его достойный жизненный путь должным образом. Кладбище располагалось на покато́м холме, единственном незначительном возвышении среди плоской равнины, окружающей Либи́нце. Ветер здесь совсем распоясался и стал еще злее, чем на улицах города; он до костей пробирал столпившихся

у склепа, лохматил их непокрытые головы, пытался сорвать вуаль со вдовы, раздувал облачение министрантов и одежды священников. Накинувшись на хорал «Из рук судьбы», что пел сокольский хор, он, как балованная собака, теребил его из стороны в сторону, подхватывал бормотанье священников, читающих молитвы, и детские, берущие за душу голоса министрантов и уносил их, не возвращая эха, в далекие, светлые и голубые просторы полей, уже готовых к осеннему севу.

Вслед за деканом, что, склонив голову и обращаясь главным образом к своему могучему брюху, пробубнил слова о примерной жизни усопшего и нарисовал трогательный портрет работодателя, гражданина, супруга и отца, от служащих выступил главный бухгалтер предприятия и, величая покойника попеременно то «уважаемый пан фабрикант», то «возлюбленный наш пан шеф», произнес короткую речь, в которой подобострастное восхваление было несколько умерено сознанием того, что за его спиной стоит новый шеф и сейчас излишне чересчур превозносить того, кто никогда более не сможет причинить зла, и от желаний и капризов другого будет теперь зависеть наше шаткое благополучие.

Обряд затянулся. Ведь и время играет важную роль, когда требуется воздать по достоинству. Ветер не утихал, он разносил тяжелый дух размокшей кладбищенской земли и забирался под одежду, люди сердито ежились, словно сама смерть прохаживалась рядом и щелкала их по затылкам своими костлявыми пальцами. Оставалось выступить еще представителю рабочих.

Тихий ропот пробежал по толпе, когда вышел и встал перед гробом хозяина кладовщик Йозеф Балада. Иные из женщин, не в силах сдержать свои языки даже в такой момент, принялись злословить:

— Почитай уже родственничек, а? — спрашивали они одна другую приглушенным шепотком и, заменяя жесты вращанием глаз и легкими кивками, добавляли: — Вон дочка стоит! — страшно сожалея, что вынуждены перенести обсуждение подобного нахальства на другое время.

Ружена Баладова стояла поодаль, окруженная прежними подружками, которые присоединились к ней наперекор враждебным взглядам своих матушек. На Ружене был черный облегающий костюм, но белая блестящая пряжка на шляпе свидетельствовала, что туалет ее вовсе не траурный.

Считала ли она, что в такой момент ей следует быть

рядом со своим возлюбленным, или просто решила растревожить родное болото? Подружки присоединились к ней еще возле дома Громусов и все пытались вывести, насколько соответствуют действительности слухи, что ходят по городу. Это им не удалось, и они, можно сказать, сочли себя оскорбленными, но не теряли надежды поймать Ружену на слове.

Ветер ворочал глыбами облаков в провалах небес, месил их невидимой мутовкой, словно тесто в бездонной синей квашне. А кладовщик Балада, крепко вцепившись обеими руками в свою твердую воскресную шляпу и держа ее чуть выше колен, под самым животом, все говорил и говорил над гробом хозяина.

Трудно поверить, что этот маленький гроб мог стать вместилищем такого толстяка. Балада горевал вполне искренне, и слова сами складывались в его душе в целые фразы. Он забыл о людях, столпившихся вокруг, о сыне покойного, который его опозорил, о товарищах, которые теперь поглядывают на него с подозрением, считая, что он вел себя не по-мужски, не предпочел нищету новой работе, которую все связывают с его позором. Балада говорил, обращаясь к ящику из черного мореного дуба, будто был с ним один на один. Рядом с покойником лежит его прошлое, и сейчас их похоронят вместе, хотя в нем, в этом прошлом, было немало горестей, неприятностей, жестокости, обид и борьбы, теперь оно казалось ему намного прекраснее того, что ждет впереди. «Пооди ж ты, все эти годы я был уверен, что ненавижу тебя честной ненавистью своего класса, как и полагается человеку, которому товарищи доверили блюсти их интересы; но ведь я-то, как ни странно, любил тебя! Между нами были стычки. Ты, угнетая нас, дрался за то, чтобы урвать куш побольше, мы, работая на тебя, дрались за кусок хлеба побольше. Но мы друг друга понимали, ведь ты, Ферда, сын простого деревщика, был таким же, как мы, пока тебе не подфартило. Между нами стояла стена, мы не могли протянуть друг другу руку, но, глядя на тебя, знали, что, в общем-то, так оно и должно быть и по-другому быть не может. Надо признаться, ты никогда не толкал меня на предательство. И я никого не предавал. Но вот явился твой сын и, посулив ей красивую жизнь, сделал мою дочь потаскухой, а меня старшим кладовщиком, теперь я могу ходить руки в брюки, не зная, к кому себя относить!

Мысли всегда точнее слов, слова уносят тебя невесть куда. Если хочешь убить мысль, давай говори, приятель,

и она потонет в твоём бормотанье, как крик приговоренного в грохоте барабанов. Но в конце концов мысли Йозефа Балады все-таки соединились со словами, и Йозеф стал говорить то, что чувствовал, — по крайней мере, в эту минуту. Он судорожно впился руками в поля своей твердой шляпы, потому что руки, привычные к ораторской жестикуляции, так и рвались к жестам, подчеркивающим силу слов.

— Мы прощаемся с усопшим, — говорил он, — искренне сожалея, что он покинул нас. Он был истинным тружеником и был на своем месте, он стремился как можно лучше понять наши нужды. Он — наше прошлое, когда хозяин еще старался быть отцом своим рабочим, жаль, что больше оно никогда не вернется!

Но иные слова, совсем не те, что он произносил, опять стали рваться из груди Йозефа Балады. Он сжимал зубы, чтобы не дать им вырваться, и между отдельными фразами делал глубокий вдох, подавляя яростное желание выговориться, избавиться от ненависти, разгоравшейся в нем все сильнее с тех пор, как он позволил заткнуть себе рот, став старшим кладовщиком. Сейчас он мучился страхом, что ненависть прорвется неудержимыми словами именно в эту минуту. Усилия, которые ему приходилось прилагать, чтобы совладать с раздвоенностью своих мыслей, вогнала его в пот, хотя ветер становился все холоднее. Йозеф Балада уставился на гроб, чтобы не видеть лица тех, кто стоял вокруг, он умолкал и вздыхал все чаще, сопротивляясь наплыву истинных чувств, и тот, второй в нем, призванный на помощь и неискренний, заполнил его настолько, что речь становилась все более похожей на оплакивание невозместимой утраты и покойник оживал в ней примером подлинного благородства, единственной заботой и любовью которого был рабочий и его благо.

«Ну скоро ли он наконец разрыдается?» — думали стоявшие вокруг.

Горожане у могилы были растроганы. Их мещанским чувствам польстили, они находили в словах кладовщика подтверждение своей правоты и, вспоминая бесстыжие требования своих подчиненных, клялись себе, что в соответствующий момент и подходящую минуту станут ссылаться на этого единственного порядочного из их рядов, и уже сейчас мысленно вступали с ними в спор.

«Слыхали? Он такой же рабочий, как и вы, и тем не менее он понял, что мы тоже люди и не собираемся вас надувать».

Однако те, кому предназначались эти укоризненные и льстивые слова, стояли как стадо упрямых баранов, вперившись глазами в землю, словно боялись переглянуться. Им было стыдно. Они гневно переминались с ноги на ногу и сжимали кулаки. Кто-то должен подойти и заткнуть этому дураку глотку. Мало ему, что за подачку сам осрамился, так еще публично тащит за собой и всех остальных?

Те, кто стоял поближе к Индре Поуру, дергали того за рукав и спрашивали шепотом:

— Ну, что ты скажешь, Индра? Самое время скинуть его с председателей. Пора!

Но Индра лишь пожимал плечами. Кто знает, слышал ли он их вообще. Глаза пощипывало, он, не мигая, смотрел туда, где за толпой стояла Ружена Баладова.

До чего же красивая! А душа потаскухи. Ну и что? Разве это имеет какое-нибудь значение? Он никогда не перестанет любить ее. Утром (давно ли? Ему кажется, что он носит эту рану в своем сердце всю жизнь!) он ненавидел ее лютой ненавистью, но вечером того же дня она навсегда искалечила его своими ласками. Он больше не сможет взглянуть ни на одну женщину, чтоб не думать о Ружене. Душа его была больна, а вечера бесплодны. Уже не поднималась, как прежде, жаркая радость, когда он читал Ленина. Человек всего лишь человек. Но Индра проклинал все, не желая мириться с этой истиной. И обвинял и себя и Ружену пред трибуналом объективной истины, истины, принадлежащей всем. Он бродил извилистыми путями, по которым чувство тащит за собой разум, принуждая его искать объяснения своим желаниям. «Она шлюха,— говорил он,— обыкновенная шлюха. Кому нужна хозяйская подстилка? Ты свое получил, и с тебя хватит!» Каждый на его месте сказал бы, что, в конце-то концов, так оно и есть, но Индра снова впадал в сомнения и начинал грезить. «Все намного сложнее,— убеждал он себя.— Дело в человеке, она наш человек, ее у нас украли, и мы должны вернуть ее». Он едва не убедил себя, что будет его заслугой перед революцией, если он отобьет Ружену у молодого Громуса и женится на ней. Иногда наступало просветление, но такие минуты выпадали не часто. Чаще он жил словно в лихорадке, кидаясь от реальности к бурной фантазии, которая была такой заманчивой.

Он так долго смотрел на Ружену, что дождался, пока ее взгляд коснулся его. Но почему, почему? С таким же успехом он мог быть стеклом в окне заезжего двора, через которое кто-то бездумно глядит на пустую дорогу. Кровь

прилила к его лицу и подкрасила землистую грубую кожу. «Тот вечер на дороге за вашим домом, ведь он же нас связал навсегда, девочка». Но Ружена, видимо, успела забыть о каком-то там вечере. Она глядит в окно и думает: «Ничего на этой дороге нет, и незачем мне на нее смотреть».

Ружена отвела взгляд, но не поспешно, как отдергивают руку, обжегшись, а неторопливо, равнодушно скользнув по лицам. Подумать только, и этот тоже здесь, и тот, еще бы, разве без него обойдется? И лишь на своего отца смотреть она не стала и Михала тоже едва коснулась краешком глаз.

Роберт уже два раза чихнул, по спине и пояснице пробежали мурашки. Этот болтун когда-нибудь заткнется? Похоже, он вот-вот пустит слезу. Господи, до чего же люди наловчились ломать комедию, не отличишь от правды. Но тут Роберт столкнулся взглядом с Руженой Баладовой, свербение в носу мгновенно прекратилось, и он не чихнул облегченно, а затаил дыхание. Что-то в ее одежде и манере держаться напомнило ему француженку, ту самую, которую он бросил в Лондоне. А ведь он к ней привязался и, хотя не имел ни малейшего желания вернуться, иногда испытывал тоску, все усиливающуюся, главным образом, из-за того, что так и не смог подыскать себе подходящую девушку взамен. Но эта? Вы только посмотрите, как надета на ней шляпка! И в глазах такое знакомое выражение: желанье и насмешка, дерзость и податливость. Роберт снова вздрогнул от озноба, но причиной тому уже был не студеной ветер. Он слегка прищурил левый глаз, ах, совсем чуть-чуть, ну, решительно слабее, чем позволил бы себе при иных обстоятельствах, ему показалось, что его поняли. Разве не заметил он улыбки, мелькнувшей на ее лице?

— Он всегда всеми силами старался понять нас, — продолжал тем временем Йозеф Балада, — и никогда не высмеивал надежды рабочего на лучшие времена. «Разве не наш общий долг, — говаривал покойный, — стремиться к лучшей жизни?» И если мы с ним расходились идейно, то во многом мыслили одинаково, как все люди, хоть частично вносящие свой трудовой вклад в общее дело, чье святое имя есть прогресс.

Бедный кладовщик Балада, слова подставляли ему же подножку, таили коварство, они были хлябью и трясиной, и он никак не мог из них выбраться, более того — с каждым новым словом увязал все глубже в несусветной путанице и замешательстве. Присутствующие дрожали на холодном ветру, все уже устали, стоявшие позади в надежде, что исчезнут незамеченными, один за другим торопливо уходи-

ли, втянув голову в плечи, чтобы за первым же откосом, по которому кладбище спускалось к воротам, прибавить шаг и устремиться к дому.

«Вы только поглядите на этого болвана, он и сам не знает, как закончить свою трепотню, — думал Михал. — Вот бы заткнуть ему глотку! Кончится тем, что торжественная церемония превратится в пасквиль и толпа начнет шикать или свистеть, будто в театре на скучном спектакле». Чувство собственного достоинства возмутилось этой мыслью, и он не уследил, каким образом Баладе удалось наконец выпутаться из своей речи. Михал неожиданно увидел, что кладовщик с явной опаской, как бы не повернуться к гробу спиной, отступая, пробирается на свое место, крепко прижимая к животу воскресную шляпу. Священники снова выступили вперед и, сбившись кучкой, стали торопливо бормотать последние молитвы в твердой решимости как можно скорее закончить столь неприятно затянувшуюся церемонию. Михал наблюдал за ними с неудовольствием: именно они, кому будет заплачено лучше, нежели остальным участникам представления, явно торопятся отделаться от своей работы. Правда, и он сам чувствовал сейчас, что устал и продрог и что ему хочется поскорее уйти. Глядя поверх черных шапочек духовенства на лица присутствующих при траурном обряде, он находил те же знаки усталости и нетерпения. И лишь одно-единственное свежее и внимательное лицо увидел он в толпе. Незнакомая красивая девушка стояла подле громадного седовласого фабриканта Ролина и, как это ни странно, в упор смотрела на Михала. Взгляд был не любопытствующий, но внимательный, пристальный и изучающий. Михалу показалось, что перед таким взглядом трудно что-то утаить, и вдруг, неизвестно почему, он почувствовал, что краснеет. Раздосадованный юношеским своеволием своей крови и девушкой, что при столь неподходящих обстоятельствах разглядывает его, как экспонат на выставке, он перевел взгляд на гроб, твердо решив больше не смотреть туда, где она стояла. Но, конечно же, изменил своему решению, и не раз, пока не кончились похороны, и даже в тот момент, когда гроб под звуки заубойных молитв медленно опускали на лямках в раскрытую могилу.

Конец. Гроб был водружен на место вечного покоя, где останется стоять на века, если только власть денег может обеспечить вечный покой праху богача. Не слышно было ни всхлипываний, ни рвущих душу рыданий, никому не пришлось удерживать безутешную вдову, чтобы она не броси-

лась в яму, принявшую останки ее супруга. Анна Громусова, застывшая и прямая, похожая и под траурным флером на гвардейца, чей хребет не сломить даже на колесе, приблизилась к могиле и бросила в нее привядший букетик фиалок. И тут же отворотилась, не утрудив себя даже притворной задумчивостью в минуту последнего прощания.

Семье, как того требуют приличия, придется еще стоять у могилы, пока все участники церемонии не разойдутся. Подходили те, которым не удалось высказать свое соболезнование ранее, в доме покойного, и получали из трех уст благодарность столь ледяную, что их пробирал холод сильнее, чем от ветра, который все дул и дул без устали.

Толпа рассеялась на удивление быстро. И вокруг стало ужасающе пусто. Видны были группки людей, быстро уходящих по главной дороге, они исчезали за гребнем холма; несколько одиноких фигур бродили среди могил — кто-то, воспользовавшись случаем, навещал своих полузабытых усопших.

— Ну, Громус, — обратился к Михалу серьезный басовитый голос, — позвольте выразить вам мое соболезнование сейчас. Ранее такая возможность мне не представилась. Самая тяжелая для вас минута уже позади.

Фабрикант Ролин с дочерью. Его дочь? Михал коснулся ее краешком глаз и заставил себя тут же перевести взгляд на бородатую физиономию Ролина. Последняя реплика, бог знает почему, показалась ему смешной, и он с трудом удержался от улыбки.

— Самая тяжелая минута для меня? — переспросил он оживленно. — Я бы сказал, что самое тяжелое позади у него.

Он кивнул головой в сторону склепа, где несколько рабочих под руководством гробовщика уже начали задвигать мраморную доску. Но Ролин, как бы невзначай, поглядел вслед медленно удалявшейся вместе с Робертом Анне Громусовой.

— У каждого из нас свои затруднения, — сказал он добродушно. — Немногие из деловых людей могли похвастать такой хваткой и удачливостью, как ваш отец.

В столь искренней оценке усопшего слышалась сдержанная горечь. И Михал вспомнил сплетни, которые ходили в последнее время о финансовом положении Ролина.

— Моя дочь Вильма, — продолжал Ролин тем же низким, приятного тембра голосом и, отступив на шаг, встал

рядом с дочерью, — также желает высказать вам свое сочувствие. Не знаю, помните ли вы ее, ведь прошло столько лет, как вы с ней не виделись.

— Наверняка не помнит, — промолвила девушка, — когда вы исчезли отсюда, я была совсем девчонкой. И, насколько я знаю, вы не часто сюда приезжали.

Она пожала ему руку коротким, крепким рукопожатием, оставив ощущение, будто он прикоснулся к чему-то чрезвычайно драгоценному. Он хотел ответить, но не нашелся, как будто разом неимоверно поглупел.

— Мы задерживаем вас недопустимо долго, — продолжал Ролин. — Но я хотел бы сказать, что, если у вас когда-нибудь появится потребность поговорить, мы всегда будем вам рады.

— Благодарю, — ответил Михал почти весело, ибо у него внезапно и необъяснимо поднялось настроение. — Не премину воспользоваться вашим приглашением в самое ближайшее время.

Михал отошел на несколько шагов, когда услышал глухой стук. Это мраморная доска встала на свое место. Конец. Печать, именуемая смертью. Стало немного грустно, но эта грусть скорее была о жизни вообще, которая, хочешь не хочешь, должна закончиться, о жизни, которая будет продолжаться и без нас. Для отца она уже окончилась. А для меня? Всегда и во всем получать выгоду — видимо, в этом ее подлинный смысл. Клянусь, дело не в том, что ты оставишь после себя, важно, что ты сможешь урвать, пока ты здесь. Взять хотя бы эту девчонку Ролинову. Он поднял и вытянул перед собой руку, словно протягивал кому-то для рукопожатия, и раскрыл ладонь, чтобы в ней уместилась рука девушки и он смог вернуть и усилить память о прикосновении к ней.

«Хотелось бы мне знать, почему это Ролин так торопится пригласить меня? Слышал, что ему грозят закрыть банковский кредит, а это разорит его». Он вдруг заметил свою игру с ладонью, конфузливо оглянулся и, с испугом сжав кулак, засунул его в карман пальто.

Михал невольно прибавил шагу и вскоре оказался у кладбищенских ворот. Анна уже сидела в автомобиле, но Роберт стоял у распахнутой дверцы и упорно кого-то рассматривал. Проследив за его взглядом, Михал увидел Ружену Баладову, покинувшую кладбище в числе последних. Стройная, элегантная, сейчас она, пожалуй, слишком вертела бедрами.

Нотариус Пуркл предупредил, что явится с визитом в пять часов пополудни в день похорон; он пришел с точностью до минуты и был встречен Михалом Громусом в обширной передней. Нотариус, человек с резкими, нервными движениями и бегающим, постоянно что-то выискивающим взглядом, щуплый, небольшого роста, с непомерно огромной головой, вполне мог бы сойти за ученого. Он и был им. Люди, уважавшие его за высокий профессионализм и деловитость, побаивались язвительности, с какой он подтрунивал над их слабостями, и за его спиной высмеивали его увлечение, по их мнению — близкое к помешательству. Но мало кто знал, что нотариус Пуркл как орнитолог пользуется мировой известностью. Такое в их представлении было абсолютно несовместимо с достойным званием нотариуса, ведь Пуркл, эта комичная фигурка в широких полотняных штанах и замшевой куртке, каждую свободную минутку, которую мог урвать от дел, болтался по насыпи у прудов и вокруг трясин, продираясь сквозь тростник, и, как индеец, ползал на животе в зарослях высокой травы и кустарника, вооружившись биноклем и фотографическим аппаратом. Чего стоила одна его фигура! Во всем облике было что-то птичье, не говоря уже о том, что и пронзительный голос нотариуса напоминал птичий крик.

Михал помог ему вылезти из тяжелого пальто, в котором нотариус тонул, как мальчишка в отцовской одежде, и Пуркл принялся потирать свои костлявые, с сухой шелестящей кожей, руки. Послышался звук, будто терлись один о другой два листа пергамента.

— Продрог я, мой мальчик, до костей прохватило, — скрипел он. — Терпеть не могу ветра. Нынешняя погода для таких, кто оброс жирком. Я сбежал с кладбища раньше времени — и не я один, — но я возмещу Фердинанду свой проступок сторицей. Впрочем, все это чепуха. Это мы делаем для собственного успокоения, тем уже все равно ничего не нужно.

Он метнул в Михала быстрый взгляд, словно ожидал согласия, и снова принялся потирать руки.

— Рюмку сливовицы? — спросил Михал с легкостью.

— «Словацка крив»? Не откажусь! Я отдаю дань уважения и любви всем дарам земли. И вино не менее драгоценный из них. Мы пивали его с Фердинандом. Ему во вред, мне же отнюдь. Все мы устроены по-разному.

Он пожал плечами и покачал головой, как бы осуждая подобное неравноправие.

— Фердинанд. Он вкладывал во все, что бы ни делал, слишком много страсти. Что же касается меня, у меня сгорание более медленное. Вот в чем загвоздка.

Михал распахнул двери столовой и жестом пригласил нотариуса войти. Пуркл ссутулился, протянул руку к портфелю и вопросительно взглянул на Михала.

— Ах нет,— ответил Михал.— Они ожидают рядом.

Встав подле буфета, Михал наполнил две рюмки белой, недобро искрящейся жидкостью, и нотариус удовлетворенно ухмыльнулся.

— Мой мальчик, я с удовольствием отмечаю, что вы не лишены чувства коллегиальности. Мне хочется кое за что выпить. Ну, скажем, за то, чтобы вам так же везло, как вашему папеньке.

После возвращения из столицы Михал успел позабыть о возлияниях, и от обжигающей горло водки у него перехватило дух. Он достал носовой платок, прижал к губам, чтоб подавить кашель, и вытер слезы, набежавшие на глаза. Нотариус лишь стиснул губы и сухо причмокнул.

— Еще одну,— молвил он,— не люблю сирот. И в природе тоже все собирается в пары. Вы чувствуете? Следы циана. Аромат горького миндаля. Сладчайшая горечь земли, я бы сказал, сама ее суть подхлестывает соки, чтобы быстрее бежали, но подрубает корни. Яд, мой мальчик, но я его не боюсь.

Михал слушал его с улыбкой и, как ни странно, чувствовал себя старше этого живого и беспокойного шестидесятилетнего человека. Алкоголь помогает болтливым и романтичным подняться над плоскими буднями жизни.

— Пойдем? — спросил он и двинулся к дверям гостиной.

Нотариус засуетился и смешался, будто испугавшись предстоящего момента, и в непонятном смятении принялся искать портфель, который все это время не выпускал из рук. Он не воскликнул: «Ах, да вот же он!» — когда обнаружил это, а лишь нервно хохотнул. И, чтобы лучше замаскировать столь неожиданное отступление от профессиональной невозмутимости,дохнул в сложенные лодочкой ладошки.

— Мерзкий запах. От него не так-то легко избавиться,— произнес он с ухмылкой.— Будет повсюду сопровождать нас, и у непосвященных может сложиться впе-

чатление, будто мы выпили для храбрости. Вы ничуть не взволнованы предстоящим?

— Взволнован? — переспросил Михал с непритворным удивлением.

Почему он должен быть взволнован? И Михал на какой-то момент остановился, чтобы прислушаться и заглянуть в себя. Да, действительно, он испытывал некоторое напряжение, которое, вне всяких сомнений, не было вызвано ни опасениями, ни страхом. Ах нет, это было скорее напряжение автора, уверенного в совершенстве своего произведения и лишь с любопытством ожидающего, какое оно вызовет впечатление у тех, кому предназначается. Быстро закончив ревизию своего внутреннего состояния, он добавил:

— Я решительно больше волновался, когда шел к первому причастию.

Пуркл кивнул, словно клюнул, своей большой головой.

— Поколение без нервов, — произнес он. — Ваша жизнь будет более пресной, чем наша. Вы не признаете сенсаций.

Комната, в которую они вошли, служила гостиной в том смысле, как принято считать в этой захудалой стране и как ее понимает культура быта послевоенных десятилетий, но отнюдь не была салоном, как можно было бы ожидать, глядя на обстановку всего дома. Покойный Фердинанд Громус купил эту мебель, всю как есть, вместе с домом; она осталась от прежнего владельца фабрики, потому что в доме было множество комнат, а обстановки в то время ему не хватило. Здесь, естественно, не было никаких украшений, лишь дерево, темно-красное, полированное, оно сверкало всеми своими плоскостями, подчеркивая однотонность светло-красной обивки кресел и широких, располагающих к отдыху диванчиков. И даже большое окно во всю стену не было забрано шторами, как остальные окна в доме, и свет свободным потоком лился сюда сквозь редкий тюль. Какой диссонанс со столовой, из которой вошли сюда Михал с нотариусом! Столовая по сравнению с этой комнатой казалась скорее огромной, утонувшей в полумраке ризницей с бесформенными шкафами, где хранятся служебники, церковное облачение и прочие атрибуты богослужения. Гостиная же была похожа на аквариум с симметрично расположенными, сверкающими коралловыми рифами. Две черных рыбы, прилипшие к двум таким рифам, высились здесь недвижно: Анна Громусова и Роберт.

Как только нотариус переступил порог гостиной, подавленность и смущение оставили его. Две рюмки сливовицы трубили марш и пробуждали привычное презрение

к людям, из коих наследники, по его убеждению, являлись наиболее мерзкими вырожденками рода человеческого. Михал наблюдал за нотариусом Пурклом с непритворным восхищением. Молодец старикан. Умеет изобразить твердость, даже когда в нем ее нет и в помине.

Роберт с сияющим лицом поспешил ему навстречу, протягивая для приветствия руку. Проведя полчаса мучительного ожидания в мамином обществе, он радовался, как собака, которую пришли спустить с привязи.

— Ах, наконец-то он явился! — вскричал Роберт с патетической аффектацией актера в драматический момент. — И принес в своем портфеле наши судьбы.

Не замечая протянутой руки, нотариус с тихим «пардон» прошел мимо Роберта и остановился перед Анной. Поклонившись ей, нотариус Пуркл вежливым и холодным тоном, в котором Михал тщетно пытался уловить хотя бы намек на иронию, сказал:

— Сударыня, я глубоко опечален, что вынужден беспокоить вас в день, когда вы особенно нуждаетесь в покое. Но ваш покойный супруг высказал категорическое пожелание, чтобы его последняя воля была непременно объявлена в день погребения.

Анна выглядела сурово и неприступно. Она даже не пыталась притвориться, будто сердце ее разбито горем, и не изображала любезную хозяйку. Анна терпеть не могла нотариуса Пуркла и никогда не скрывала этого. Он без труда припомнил, как она тут же покидала комнату, когда он являлся с визитом к Фердинанду Громусу.

— Садитесь, — произнесла она с неприятной великосветской надменностью, словно обращалась к нищему бродяге. — Мне о подобном пожелании моего мужа ничего не известно. Видимо, он распорядился лишь на словах.

Нотариус Пуркл, однако, являл собой ледяную невозмутимость, он находился при исполнении, и это обеспечивало ему неуязвимость, словно он был закован в латы. Пуркл держался с достоинством судьи, надевшего берет, чтобы объявить приговор. Не говоря уж о том, что сегодня был тот редкий случай, когда официальная процедура доставляла ему несказанное личное наслаждение. Где-то в тайниках его черепа, словно болотный огонек, плясала выпитая сливовица и злорадно хихикала, как лесная кикимора в зарослях.

Он медленно, словно с трудом удерживая тяжесть своей большой головы, опустил в кресло. Рассчитанно неторопливыми движениями, ставшими с незапамятных времен

принадлежностью его профессии, так же как и степенность речи, призванной пробудить в участниках процедуры сознание торжественности момента, отпер замочек портфеля и пошарил в его глубинах.

— Усопший, — провозгласил он, — никогда ничего не выражал словами, которые нельзя подтвердить документально.

Он перегнулся через стол и положил перед Анной Громусовой большой белый конверт. Анна взяла его не сразу и, насторожившись, прочла:

ПАНУ ТОМАШУ ПУРКЛУ, НОТАРИУСУ
В ЛИБНИЦАХ.
РАСПЕЧАТАЙТЕ И ОБЪЯВИТЕ МОЕЙ СЕМЬЕ
В ДЕНЬ МОИХ ПОХОРОН.

ФЕРДИНАНД ГРОМУС.

На конверте, который был ей известен, ничего подобного не значилось. На какой-то момент ею овладело искушение изорвать его в клочки вместе с содержимым. Анна криво усмехнулась своим мыслям.

— Мне незнаком этот конверт, — заявила она и вернула его нотариусу.

Пуркл пожал плечами.

— Усопший вручил его мне за месяц до своей болезни.

— В то время он уже был нездоров.

— Но никогда не был душевнобольным, — отвечал нотариус.

Пуркл держал конверт в своих костлявых длинных пальцах, косо оперев его ребром о стол. Возможно, под влиянием двух наскоро опрокинутых рюмок сливовицы он вообразил, что некая мистическая справедливость в данном случае вмешалась как нельзя более кстати, хотя отлично знал, что лишь ненависть к Анне Громусовой оправдывает эту роковую игру. Он достал из жилетного кармана перочинный ножичек с золотой ручкой, прикрепленный к концу цепочки для часов, и одним длинным движением взрезал конверт.

— Господа, прошу вас сесть, — обратился он к Михалу и Роберту.

Роберт развалился в кресле со всем возможным безразличием и равнодушием. Он готов был держать пари, что старикашка ему не завещал ни полушки, а мамаше только то, что обязан по закону. Роберт достал сигарету и закурил, чтобы подчеркнуть свое пренебрежение к церемонии и ото-

мстить нотариусу за то, что прошел мимо него, сделав вид, будто не заметил.

Михал расположился под огромным портретом отца, занимавшим почти треть стены против окна. Фердинанд Громус заказал его в те времена, когда упивался своими все возрастающими успехами и сам восхищался собственной пробивной силой. Картина была сделана в рембрандтовском стиле, модном тогда в портретной живописи. Фердинанд Громус дал за него двадцать тысяч художнику, поставившему свой незаурядный талант на верную карту и начавшему свое успешное восхождение к вершине успеха. Портрет поразительно верно передавал не только сходство с Фердинандом Громусом тех лет, но и мнение, которое он тогда имел о себе. Фабрикант, в те поры еще молодой, сидел за своим рабочим столом (ибо именно так он пожелал быть увековечен, утверждая, что столы промышленников и есть современные троны и отсюда они правят миром). Его руки, в одной из которых он держал вечное перо, покоились на столе, на стопках бумаги, в то время как голова, выхваченная из темноты фона мощным потоком света и словно отлитая из бронзы, была устремлена вперед, нижняя челюсть выставлена; лицо строгое, а взгляд сосредоточенный. Этот портрет предназначался для будущего, когда неудержимый размах предприятия перерастет силы и возможности одного человека, на которого со смешанным чувством почтительности и мучительной зависти смотрят члены правления банков, а на отчетных годовых собраниях — и все акционеры, собравшиеся в зале заседаний фирмы «Громус и К^о».

Нотариус Пуркл сидел напротив портрета. Готовясь зачитать завещание, он взглянул на него и все время, пока читал, поглядывал на Фердинанда Громуса. «Смешной портрет, — думал он. — У Фердинанда сроду не было такого выражения лица. О боже, ведь морда у него была как блин, на котором кто-то смеха ради изобразил повидлом глаза и прочее, ведь Фердинанд вечно ухмылялся, а когда злился, сразу становился похожим на лавочника».

Нотариус прочистил горло, привычно откашлявшись, как человек, требующий уважения от слушателей еще до того, как открыл рот. Впрочем, в эти минуты устами его глаголет закон, беспристрастный и безжалостный. И голосом сухим, временами похожим на птичий клекот, он начал читать завещание Громуса:

— «Находясь в ясном уме и трезвой памяти, в результате размышлений и полностью сознавая последствия

принятых мною решений, постановляю, чтобы все мое имущество, движимое и недвижимое, со всем, что мне принадлежит, после моей смерти было определено следующим образом...»

Нотариус сделал паузу, будто ему необходимо было набрать в легкие воздуха, потому что имел привычку паузой подчеркивать значительность каждой зачитанной строки. Он окинул быстрым взглядом своих слушателей и остался доволен. Михал сидел со сосредоточенным внимательным лицом, будто слышал слова завещания впервые и вовсе не участвовал в его составлении. С Роберта же, против ожидания, упала маска равнодушия, и пробудился инстинкт игрока; он наклонился вперед и забыл про свою сигарету. Казалось, он снова вернулся к тем дням, когда устремлял все силы души вслед мчащейся лошади, на которую поставил. Мысль, что он может вдруг легким путем получить деньги, на которые не рассчитывал, взволновала его кровь. А разве такое не возможно? И с энтузиазмом, каким в любой момент и по собственному желанию он умел загореться, Роберт мысленно принялся раздувать ореол вокруг покойного Громуса. «Он был не таким уж скверным, этот старый господин, — внушал себе Роберт, — и если не слишком любил меня, то более по матушкиной вине (я не удивляюсь, что она стояла у него поперек горла), нежели по моей. Готов биться об заклад, что он обо мне не забыл, ибо был джентльменом и не был скупердям и, в конце концов, признавал, что и по отношению ко мне имеет определенные обязательства». И, возносясь на волне неожиданно вспыхнувшего оптимизма, Роберт сам с собой заключал пари не только на то, что будет упомянут в завещании, но и на сумму, назначив себе от двадцати до пятидесяти тысяч крон. Глаза Анны горели черным пламенем. Если у нее оставались еще какие-то надежды или сомнения, когда она держала в руке конверт с распоряжением, о котором ничего не знала, то первая же фраза подсказала ей, что завещание, без ее ведома, вне всякого сомнения, изменили. Она впала в странное состояние. Всей силой воли она стремилась воспрепятствовать тому, что должно неминуемо прийти, жаждала испепелить взглядом документ в руках нотариуса, заткнуть слова обратно в его глотку, остановить бег времени, а еще лучше — принудить время повернуть вспять. Да разве такое возможно, чтоб не она была здесь хозяйкой, чтобы здесь жить из милости или, более того, чтоб ее вышвырнули, как шлюху, свое отслужившую?

Слова завещания продирались к ней сквозь душный дурман яростной злобы, бешено скачущих мыслей и страстных желаний. Сухой, бесцветный голос скрипел и насмехался, зачитывая один пункт за другим и подталкивая действие к его неизбежному концу.

— «...все свое имущество, движимое и недвижимое, которое здесь перечисляется...»

...громыхающий список названий и цифр, издевательская, жестокая и тщеславная демонстрация громусовских богатств, накопленных за полвека суетности, труда, азарта и изворотливости.

...ну-ну, в чье лоно свалится наконец это перезревшее райское яблоко?..

...ах, я знал, я знал, и все-таки это прекраснейшая литания, которую я когда-либо слышал...

...вечерняя молитва молодого человека, который доведет дело до ума...

...мое, это все мое, или он подавится...

— «...завещаю своему единственному сыну, Михалу Громусу».

Небольшая передышка, ровно столько, чтобы успеть сделать глоток, смочить горло слюной и кинуть быстрый взгляд на Анну Громусову. Нет, не умеет эта баба владеть собой! Даже четверть века благополучия не научили ее быть дамой. Она рухнула назад в свое кресло, словно сгорели все подпорки, удерживающие ее спину прямой, глаза готовы убить. Ну-ну, дурында, мне-то что до громусовской мамоны?

— «Из чего, — продолжал вещать усопший Фердинанд Громус устами своего друга нотариуса Пуркла, — он должен выделить моей супруге пани Анне Громусовой дом № 757 в Либницах в пожизненное пользование и установить и закрепить пенсию в размере 4000 крон чехословацких ежемесячно или возместить стоимость, причем за основу должна быть взята цена кроны чехословацкой на день составления данного завещания. После ее смерти дом № 757 возвращается в собственность Михала Громуса либо его наследников, а выплата пенсии прекращается. Далее приказываю Михалу Громусу выплатить своему неродному брату Роберту Алексу, сыну пани Громусовой, 100 000 крон чехословацких единовременно и навсегда».

У Роберта вырвался то ли громкий вздох, то ли нечто такое, что можно было бы принять за свист. Сто тысяч! Старый господин превзошел самого себя, превзошел все ожидания Роберта, продемонстрировав отличное понима-

ние fair play. Благородный старый джентльмен! И в припадке прочувствованной благодарности Роберт поднял глаза к портрету своего благодетеля. «Но маменьку мою — ничего не скажешь — зарезал без ножа! Господи, она же совсем позеленела. Пусть меня повесят, если старуха сдержится и не взорвется, как мина».

Нотариус продолжал читать, голос его вдруг стал равнодушным и безразличным — он перечислял мелкие суммы на различные благотворительные и прочие цели — и зазвенел лишь к концу, став снова значительным:

— «Управление наследством вплоть до вступления в силу завещания возлагаю на моего сына Михала Громуса и нотариуса пана Томаша Пуркла, в Либницах, дом номер двести восемьь.

Подписали свидетели...»

Нотариус Пуркл закончил вяло, с приветливой и примирительной улыбкой. Опираясь на стол, он поднял, будто тяжкое бремя, голову и встал.

— Ну, — сказал он, — надеюсь, мне, как доброму другу усопшего, будет позволено поздравить присутствующих с его мудрым решением: Фердинанд Громус следовал голосу разума и природы. Естественная преемственность. (Кивок головой. Кому-кому, а уж ему-то известно, как этим распоряжается природа.) Лучшего решения он принять не мог.

Анна Громусова тоже встала, еще более напряженная, чем обычно, прилагая страшные усилия, чтобы владеть собой.

— Довольно, сударь, — произнесла она. — Вы находитесь здесь как лицо официальное, и если кого-нибудь ваше личное мнение интересует, то для меня, смею вас заверить, — для меня оно в высшей степени оскорбительно. Меня выкинули из этого дома, я лишена состояния, которое приобретено с моей помощью, и вычеркнута из завещания, в законности которого с полным основанием позволю себе усомниться. Я намерена его опротестовать, имею на это право и воспользуюсь им. Ваша обязанность предоставить мне все документы, которые для этого понадобятся.

Нотариус наклонил голову, скрывая улыбку, но Михал беспокойно задвигался. Опротестованное завещание. Вне всякого сомнения, это чепуха, но что, если это вызовет задержку и нарушит его планы?

— Я не могу дать вам ничего, кроме заверенной копии данного завещания, — сказал нотариус и посмотрел на портрет Фердинанда Громуса, словно спрашивая его согла-

сия, — и доброго совета не предпринимать необдуманных действий. Ни в этом документе, ни в обстоятельствах, при которых он был составлен, нет ни малейшего нарушения закона.

И тут последний обруч, удерживавший дьявола в груди Анны, лопнул.

— И тем не менее я знаю, что это мошенничество, чистейшее мошенничество! — кричала она. — И вам это известно так же хорошо, как мне! Вам известно, что раньше было сделано другое завещание, но под нажимом или коварством или еще как-то, знает один только бог, его принудили завещание изменить!

Нотариус кивал своей большой головой, словно соглашался с каждым ее словом и желал это подчеркнуть особо.

— Да, — сказал он миролюбиво, — весьма часто случается, что люди, пока живы, по несколько раз изменяют свои завещания. И всегда их к этому что-то понуждает. Фердинанда Громуса вынудило чувство справедливости.

— Чувство справедливости?!

Дикая злоба обуяла Анну. Она кричала. Знала, что это ни к чему не приведет, что все уже бессмысленно и напрасно, понимала, что смешна, но ничего не могла с собой поделать. Ей нужно было кричать, ибо ничего другого уже не оставалось.

— Вы с Михалом подбили его! У нас давно было обговорено, что его наследницей буду я, и на этом условии я согласилась выйти за него замуж. Вы меня обокрали.

Нотариус вяло пожал плечами и ничего не ответил. Пока он был моложе, ему нравилось в подобных обстоятельствах дразнить своих клиентов, вызывая еще большие взрывы яростного негодования. И он не без любопытства наблюдал, как жажда богатства превращает человека в зверя. Но теперь он находил все это до омерзения скучным и одинаковым. Насколько яркой казалась ему сейчас жизнь, ну, скажем, малой птахи — шеврицы луговой! Каким великолепным, таинственным гостем была гагара северная!

Роберт издал долгий, похожий на фырканье вздох и перевел взгляд с нотариуса на Михала. Что они ей ответят? Могло показаться — Михал решил молчать, что бы здесь ни творилось, какие бы речи ни велись. К чему ненужные и глупые скандалы? И все-таки злорадное и мощное сознание своего триумфа настоятельно требовало твердого ответа. Михал достал сигарету, закурил и сквозь

густое облачко дыма обратился к нотариусу, словно не было никакой сцены:

— Что ж, пан нотариус, я полагаю, на этом мы закончим.

Пуркл кивнул и, сложив бумаги, засунул их в портфель.

Анна Громусова резко повернулась и двинулась к дверям. Там, взявшись за ручку, она остановилась и сказала:

— Роберт, я хочу с тобой поговорить.

И сын лениво и неохотно ответил:

— Ладно, сейчас приду.

— Я хочу с тобой говорить немедленно.

Роберт с трудом сдержался, чтобы не ответить грубым отказом, уже готовым сорваться с языка. Впрочем, она будет получать четыре тысячи ежемесячно и может пригодиться даже человеку, получившему в наследство сто тысяч наличными. Он с оскорбительной неохотой поднялся, ухмыльнулся, потянувшись, и бросил понимающий взгляд на Михала, притворившегося, будто ничего не заметил.

Едва за ними захлопнулись двери, нотариус оживился.

— Я ожидал худшего.

И, улыбаясь, как добродушный домовый, приблизился к Михалу и похлопал по плечу, что выглядело комично, ибо Михал был по меньшей мере на две головы выше его.

— Ну вот, Михал, теперь вы денежный мешок со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. Будь я циничнее, я бы вас поздравил, ибо скоро вы поймете, что богатому доступно все, но только не любовь и искренность. Получить столько денег, мой друг, сколько достанется вам, значит утратить все человеческие отношения. Как можно думать о чем-либо другом, если вы должны думать только и только о деньгах? Я видел, как ваш отец гонялся за ними, как пожирал их, как задыхался от них. Даже в минуту, когда он самым приятным образом развлекался, он продолжал рычать и дрожать от нетерпения заполучить их, подобный автомобилю с заведенным мотором, который ждет, что сейчас включат скорость. А сегодня вы видели последний акт папашиного семейного счастья.

Михал, не говоря ни слова, взял нотариуса Пуркла под руку и повел в столовую, совсем как дядюшка ведет племянника, пришедшего поздравить его с праздником. Там он налил два бокала портвейна (у нотариуса вспыхнули и увлажнились глаза, он подумал: «Фердинанд ушел, но портвейн его остался»), позвонил в кухню и велел подать сэндвичи с мясом.

— Вещаете, как священник, — произнес он наконец, —

и явно имеете желание прочесть мне проповедь на тему морали. За едой она у вас пойдет лучше. Я, в свою очередь, хочу выслушать мораль сегодня, потому что, если верить вашим угрозам, позже у меня не останется времени и на вещи более интимные. Но, думаю, вы ошиблись, обрисовав личное счастье моего отца. С чего вы взяли, будто он не был счастлив? Из-за того что у него не задалась семейная жизнь? Потому что полжизни он разрешал командовать собой и подчинялся моей мачехе? Но ведь это лишь одна часть его жизни, да и то менее существенная. А другая, куда более значительная, была главнее, и она затмевала невзгоды, возникающие, впрочем, из ложного понимания мужского рыцарства и женской нежности. Сильный мужчина и слабая женщина, вот в чем закавыка. А сильный мужчина обязан служить и уступать женской слабости. Цель покойного отца была всегда вполне реальной и осязаемой, но причина, по которой он этого хотел, имела исключительно романтические корни. Вы сказали, что он надрылся ради денег и больше для него ничего не существовало. Это неправда. Деньги были ему нужны как средство, чтобы получить самое высшее наслаждение из ему известных. Он возжелал купить представление о сильном человеке. Не о таком, что служит слабой женщине, а о том, который властвует над мужчинами и вещами. О сильном Фердинанде Громусе, которым все восхищаются и которому подчиняются, которого слушаются, чье слово делает невозможное возможным. И в пределах своих способностей он этого добился, но силы его были ограничены рамками одной-единственной слабости: он жаждал вместе с остальными восхищаться собой.

Михал говорил не спеша и без волнения, пристально глядясь в рубиновое сердце наполовину выпитого бокала портвейна, который вертел в пальцах на столе. День угасал, сумрак быстро заполнял столовую. Из-за тяжелых портьер, повешенных хозяйкой, столовая была самой темной комнатой в доме, и цвет портвейна остывал и густел, словно холодеющая кровь. Почему бы людям типа Михала не поддаться волшебству полумрака, быстро переходящего в сумерки?

Нотариус хихикнул, и это прозвучало испуганным вскриком птицы.

— Наполеоны! — изрек он. — Почему вы считаете, что надо властвовать, вместо того чтобы оставить друг друга в покое?

Михал захохотал весело, громко и самоуверенно, со-

знаявая собственное превосходство. У него не было ни малейшего сомнения, что путь, им избранный, единственно верный, а упреки нотариуса казались древними, как мир.

— Кость станет больше! — воскликнул он. — Можете в этом не сомневаться. Она становится больше в соответствии с количеством тех, у кого на нее растут аппетиты. И если одновременно увеличивается нищета, значит, стало больше дураков, только и всего. И не хватает тех, кто способен изыскивать новые возможности или создавать их. Мы в нашей стране еще не использовали их до конца. Кризис и конъюнктура. Это лишь разные точки одной и той же волны. Кто способен управлять своей лодочкой, сможет заработать и на этой качке.

Портвейн, добавленный к принятой ранее сливовице, подхлестнул кровь, словно безумный пастух. И нотариус Пуркл, этот птицелов, единственными тенетами которого были линзы бинокля и фотоаппарата (ибо, кто знает, быть может, он любил птиц как символ вольности и свободы, которой лишен), ощутив ее в себе, отважно взмахнул красным знаменем.

— Волна, — проскрипел он, ухватившись за единственное слово, вызвавшее в его сознании вполне четкий образ, — ну и что из того? Вознесла вас на гребне достаточно высоко, а теперь тащит вниз. Но когда она вновь начнет подниматься, кто знает, вы ли ее оседлаете!

Михал, забавляясь, восхищенно глядел на него. Великолепнейший нотариус, что правда, то правда. Какой удачный выбор!

— Вы большевик, однако!

— Мне неизвестно, что такое большевизм, — твердо заявил нотариус, как будто его язык вдруг потерял гибкость. — Я никогда не изучал ни политических катехизисов, ни сонников. Мне просто жаль людей, хотя я не слишком их люблю. В природе каждая особь бережет свою шкуру. Одни лишь муравьи, пчелы да еще люди превратили эту веселую авантюру в организованное рабство.

И тут Михал в яростном неприятии его слов почувствовал вдруг абсолютную уверенность в правильности своей позиции. Ну разве не авантюра вся его жизнь, этот каждодневный бой с непредвиденным и неисповедимым? К чему болтать о сострадании, если жизнь, так или иначе, пойдет своим путем и всегда рядом с сильными будет плодить слабых? И почему бы сильным не использовать свои преимущества? Бунт слабых? Возможно. Сколько раз уже было такое. Но жизнь не может стать иной, ведь в этом ее суть.

Он снова наполнил бокал портвейном и сказал:

— И тем не менее вы не откажетесь, надеюсь, выпить за успехи моих планов и дел!

И нотариус, чья душа окончательно обратилась к миру птиц и погрузилась в великолепное, подобное ноябрьским туманам опьянение, подняв свой бокал, отвечал:

— Я пью за ястреба, который не колеблясь закогтит мышь!

14

Анна Громусова уехала на следующий же день после похорон мужа. Она отправилась в Татры, где собиралась оставаться, пока дом, завещанный ей в пожизненное пользование, не будет готов для переезда.

Дом № 757, о котором шла речь, был старой виллой в пышном стиле девяностых годов, с карнизами и лепниной, где гнездились воробьи, и с бесполезной, чисто декоративной башенкой — там, в свою очередь, обитали стрижи и летучие мыши. Вилла являлась частью приданого первой жены Громуса, и семья жила здесь до тех пор, покуда Фердинанд Громус не купил фабрику Тыльнера.

За полчаса до отбытия на вокзал Анна посетила папыньку в его конторе. Удивленный, он вышел ей навстречу, ожидая продолжения сцены. Анна старалась держаться как обычно, но сознание непоправимости поражения лишило ее уверенности и превратило привычную чопорность в театральную. Кожа на ее лице имела неприятный оттенок, какой бывает у иных трухлявых деревьев. От предложения сестры она отказалась.

— Я пришла, — объявила она, прилагая все силы, чтобы говорить бесстрастно, — узнать, интересуется ли тебя мебель, оставшаяся от отца. В завещании о ней никак не упоминалось, однако мне необходима какая-нибудь обстановка.

— Эта мебель, естественно, ваша, — ответил Михал и почувствовал облегчение и радость, что так легко может удовлетворить ее просьбу. — Можете взять мебель и все, что вам нужно.

Она, видимо, ожидала отказа. Вид у нее был растерянный, она бросила на Михала быстрый, удивленный взгляд.

— Меня здесь не будет около месяца. Полагаю, за это время...

— Не беспокойтесь, — сказал Михал, торопясь удовлетворить все ее требования. — Я сделаю все необходимое.

Она уже опомнилась, и в глазах ее появилось строптивое выражение.

— Вот теперь все. Благодарю. Прощай.

Михал смотрел на дверь, которую она громко захлопнула за собой, и не был уверен, радуется ли еще своей победе над Анной. Естественно, он не мог оставить ей фабрику, но так уничтожать ее, наверное, не следовало.

Анна уехала прежде, чем ей вручили копию завещания, и своего адреса не оставила даже нотариусу; могло показаться, что она отказалась от мысли подать кассацию. С такой легкостью смирилась со своим поражением? Впрочем, смирилась или нет, но что она могла предпринять?

Михал поручил перевезти мебель в дом мачехи, и тут возникла проблема, как побыстрее обставить свой собственный дом. И он решил навестить мебельщика Ролина, припомнив сердечную настойчивость его приглашения в день похорон отца. Вспомнил также и его дочь. Как же ее зовут? Вильма? Говорят, детьми они вместе играли? Но Михал начисто позабыл это.

Михал нашел Ролина с дочерью в просторной конторе, которая одновременно являлась чертежной.

— Достаточно постучаться, и сразу входите, — сказал служащий, когда он попросил доложить о себе. — Там открыто.

Такая фамильярная манера общения неприятно кольнула Михала. Хозяин, который принимает без доклада, несомненно, теряет много времени на людей, на которых лучше его не тратить, и, весьма возможно, этим отпугивает солидных заказчиков. Все так не вяжется с полной достоинства, благородной внешностью старого Ролина.

Михалу предстояло удивляться и дальше. Ролин выглядел как человек, с превеликим усилием согнавший с лица озабоченность, чтобы заменить ее приветливой улыбкой радушного хозяина. Его дочь в белом рабочем калате оторвалась от стоящего наклонно кульмана.

— Вы не знали, что Вильма архитектор по интерьеру? — сказал Ролин.

Он смотрел на нее влюбленным и несколько меланхоличным взглядом человека, который мечтал иметь сына, но нашел больше чем компенсацию в своей дочери.

— Вильма училась в Париже у Перре, — сообщил он восторженно. — Но у меня она не имеет возможности показывать, на что способна. Мои заказчики (он презрительно

поджал губы, скрытые бородой и усами) весьма консервативны. Вы можете поверить, что я еще держу резчиков?

— Не слушайте папу, — улыбнулась Вильма, и голос ее прозвучал для Михала меланхолической вариацией голоса отца. — Он раздражается потому, что люди не приходят в восторг от моей работы. Папа не владеет искусством убедить заказчика, что мы ему предлагаем именно то, что он ищет сам.

— Предположите, будто я тот самый заказчик, который нужен вам обоим, — воскликнул Михал весело и тут же выложил, зачем явился. У отца и у дочери загорелись глаза. Казалось, оба радуются, как дети, словно состоялась первая в их жизни сделка. Если говорить о дочери, возможно, так оно и есть, и отец просто счастлив за нее. В нем было что-то по-мальчишески простодушное.

— Когда вам угодно начать? — спросила Вильма. — Естественно, мне нужен план дома, если он у вас есть, и я должна посмотреть комнаты, которые вы хотите обставить. Мне понадобится от вас еще целая куча всяческих сведений, как, скажем, врачу. Может статься, вы еще пожалуете, что влезли в это дело, а не заказали просто столовую, спальню, кабинет и так далее, как это делают другие.

— Не беспокойтесь, я представляю, чего хочу, а вы это осуществите. Наконец, ведь я смогу увидеть ваши планы и чертежи!

— Несомненно, — ответила Вильма, и женщина в ней не преминула иронически заметить в ответ на подобное проявление его мужской осторожности: — Главное — застраховаться.

Михал расхохотался, хотя ее папаша выглядел испуганным. Ему было приятно, что она такая. Архитектор! Мой ты боже, ведь она могла оказаться скопищем цифр и амбициозных взглядов!

Он готов был пригласить их ехать осматривать его дом прямо сейчас, и Вильма и ее отец, видимо, этого ждали. Но тут в нем проснулся коммерсант и воспротивился проявлению такой преувеличенной заинтересованности и поспешности. Михал предложил встретиться завтра в четыре часа, торопливо откланялся, как человек, который среди приятной беседы вдруг вспомнил, что его ожидает еще масса дел. Впрочем, так оно и было.

Вступление в права наследства оказалось более хлопотным, чем он предполагал, и к этим заботам прибавились новые. На Ближнем и Дальнем Востоке Михал столкнулся с неожиданно сильной конкуренцией японцев, начавших

внедряться туда со своим демпинговым барахлом, его поставки возвращались обратно, и он стал терять с таким трудом завоеванный рынок. Но не тут-то было, Михал решительно не собирался сидеть сложа руки и отдавать кость, которую уже ухватил, такое было бы просто-напросто не по-громусовски. Если его товар там, на Востоке, дороговат, что ж, он снизит цены, а свое возьмет где-нибудь в другом месте. Он должен продержаться до тех пор, пока эти желтые, или какого они там еще цвета, эти тупицы поймут, что барахло есть барахло и барахлом останется, что у японских гребней быстрее ломаются зубья, из японских щеток быстрее вылезает щетина и вообще нет лучшего товара, чем тот, что им поставляет Громус! Михал выработал план наступления. Он должен: первое — найти либо более дешевые источники для закупок, либо более дешевое, но качественное сырье; второе — улучшить организацию труда в цехах, чтобы иметь возможность еще сократить избыточную рабочую силу; третье — непременно снизить в нескольких цехах плату рабочим; четвертое — если понадобится, основать в тех странах собственные представительства, чтобы эффективнее противостоять японскому внедрению. Сократить производство? Бессмысленно. Нет, Громус не позволит загнать себя в угол. А почему бы не увеличить сбыт здесь, дома? Да, это — пятое.

Голова горела. Склонившись над расчетами и циркулярами, предназначенными для поставщиков и заказчиков, посредников и агентов фирмы, он ощущал в стремительном биении крови непреклонность своей воли. В такие минуты исчезало все, кроме мира, созданного отцом, и этот мир Михал стремился расширить. Странную область деятельности избрал старый Громус. Гребни, щетки, игрушки и четки. Ну и что из того? Разве она, как и любая другая, не есть воплощение вечной борьбы человека с природой, чтобы как-то облегчить себе жизнь на земле? По его мнению, человечество все еще осталось сворой ни тожных грязнух (трудно представить, как мало они причесываются и чистят одежду), эти магометане там, внизу, хулят неверных (или они забыли аллаха и перестали молиться?) и родители озверели (забыв, что мир и душу взрослого формируют игрушки)! Михал сам посмеялся бы своим мыслям, если бы ко всему, что он делал, не относился с такой мрачной серьезностью. Возможно, мир по сути занят ерундой, но только не он в своих начинаниях. Он свирепел, натываясь на препятствия, хотя преодолевал их терпеливо и не

опускал рук. Почему нельзя схватить молот и разбить их в пух и прах, почему невозможно силой завладеть этой сворой, именуемой «покупатель»?

Когда появилась необходимость уволить еще часть рабочих, Михал затосковал, но не потому, что опять должен лишить людей куска хлеба, а потому, что сам факт был ему неприятен. Из этого следует, что Громус все-таки сдает позиции? Ах нет, из этого следует только одно, что развитие идет по пути, когда производить нужно с наименьшими затратами и наименьшими издержками. Он вернулся мысленно к разговору с нотариусом в день похорон отца. Хищник, пожирающий самого себя. Чепуха. Просто стремление человека к цивилизации не поспевает за его развитием. Нынче ты уволишь пятерых рабочих, а завтра наймешь двадцать. Закат капитализма? Да нет же, мир не сможет существовать без умов, которые создали его, без воли к власти, без желания творить и властвовать, разве что пожелает уничтожить пути, которыми прошел, и вернуться в пещеры.

Могло показаться, будто, окунувшись в дела, Михал позабыл о Вильме. Но когда около четырех часов о ней доложили, он понял, что все это время девушка жила в его подсознании и даже была, пожалуй, составной частью той горячки, в которой он проработал до самой ночи накануне и весь сегодняшний день. Он вдруг ощутил трепет, словно речь шла не о деловом, а о любовном свидании.

— Вы точны, — сказал он, приветствуя ее.

— Лишь в тех случаях, когда это касается торговых сделок, — отвечала она со смехом. — Но когда я могу оставаться сама собой, то по возможности вырываюсь из тесных рамок...

Он отметил про себя, что в ее поведении и манере говорить есть независимость и прямолинейность, приобретенная, видимо, в результате многих лет совместной учебы с мужчинами и необходимости жить за границей самостоятельно, но вместе с тем она старается не утратить естественной женственности, прибегая к легкому кокетству и некоторой ироничности. Он вдруг понял, что ему интересно знать о ее прошлом все. Об отношениях с мужчинами — ведь она общалась с ними ежедневно. При ее красоте, живости и обаянии, которое исходило от нее, словно интенсивное излучение, она не могла избежать любовных связей. Как она их решала? Трудно исключить, что в прошлом у нее был возлюбленный. Современная девушка. В определенном смысле вполне. Девушка, умеющая постоять за

себя и живущая по своим собственным законам. Ее интимная жизнь до замужества — вот о чем думал Михал. Нынешние девицы присвоили себе в этом полную свободу, которой до сих пор могли пользоваться только мужчины. Михала это не трогало, наоборот, он находил такое положение естественным и приятным. Он признавал определенные границы, которых приличный человек никогда не преступит, но в их пределах было дозволено все. Этот приличный молодой человек, естественно, принадлежал к его классу, а определенные границы в действительности весьма неопределенны и раздвигаются в соответствии с обстоятельствами. Однако, глядя на Вильму, он вдруг понял, что вопрос, которому он до сих пор не придавал значения, неожиданно может приобрести неприятную остроту. Ему ровным счетом не было никакого дела до того, как она жила до сих пор, но если между ним и ею возникнут какие-то отношения, то он такого просто не потерпит. Ну, не потерпит, и что же? И Михалу пришлось признаться, что с такой глупой обстоятельностью он еще не размышлял ни об одной девушке. А Вильму к тому же он видит всего третий раз. Предположим, что к ней тянет, но его тянуло уже к стольким девушкам, что смешно из-за одной из многих впадать сейчас в раздумья и противоречия.

Он наблюдал за ней внимательно, пожалуй, даже напряженно: каждое ее слово, движение, взгляд препарировал, поворачивал так и эдак и соединял в новых сочетаниях, ища ключ, который легко откроет ему двери в ее внутренний мир. Это было наивно, но Михал постоянно льстил себе, что за полчаса сумеет разгадать каждого, к кому проявит хоть какой-то интерес. Но не мог ни к чему прийти и оставался в растерянности. Он смотрел на нее с назойливой пристальностью, которая граничила с дерзостью, а она спокойно выдерживала его взгляды и, обращаясь к нему с вопросом или замечанием, смотрела столь холодно и вежливо, что его это начало задевать. И тут же, подняв руки, чтобы поправить прическу, движением, ему казалось, заранее тщательно отрепетированным перед зеркалом и вместе с тем таким естественным, напоминала античные статуи женщин, несущих амфоры, и одаряла улыбкой, от которой он трепетал, как мальчишка.

«Она или бессовестная кокетка, или я выдаю желаемое за действительное. Нет, я не знаю, какая она», — и подумывал, не схватить ли ее за плечи и встряхнуть как следует, чтобы заставить показать истинное лицо. Кто знает, возможно, их у нее несколько, и все настоящие, быть может,

и другие женщины такие же, но он этого раньше не замечал.

И все-таки ему доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие водить ее по своему дому. Прежде ему и в голову не приходило считать это помещение своим домом. Оно было просто неотъемлемой частью предприятия. Где-то жить надо! А сейчас он сказал: «Мой дом», и слова эти наполнили его гордостью. Вильма нашла, что дом необычайно хорош, и, можно считать, не предъявила никаких претензий к тому, как он содержится. Михал по-детски обрадовался.

«Она ведь специалист», — думал он. Вильма вносила жизнь и тепло даже в эти пустые комнаты, где их голоса разлетались и отражались от стен устрашающе громким эхом. Он поймал себя на мысли, что примеряет к ней обстановку, о которой они вели речь и которую она сама должна создать. Михал забывал про японцев и про новое оборудование для щеточных и гребешковых цехов и чувствовал, как его разговор с Вильмой, который должен быть чисто деловым, приобретает иной смысл. Он помогал ей обмерять и придерживал, как она велела, металлический метр то на полу, то на стене. Она была в своей стихии, он умел это понять и оценить. Для Вильмы ее работа не была ни минутным капризом, ни безделицей, придающей ей еще большую импозантность, которую в один прекрасный день она могла бы без сожаления бросить ради чего-нибудь другого. Работа захватывала Вильму и увлекала так же, как Михала его дело. Но сознание этого не приближало Вильму, а делало еще более недоступной.

Они обсудили, как обставить столовую и небольшую комнату рядом, которая при жизни отца пустовала, а теперь должна стать курительной, и перешли в гостиную. Здесь стояла мебель, купленная у Тыльнера. Вильма задержалась на пороге и внимательно осмотрела ее.

— Так, — сказала она оценивающе, — я полагаю, вы хотите здесь кое-что изменить?

Не таит ли вопрос какой-нибудь каверзы, может быть, это испытание его вкуса? Как ни странно, он начал реагировать на ее тон.

— Вы про обивку? — сказал он вопросительно и посмотрел на нее, готовый тут же поступиться своим еще не высказанным мнением.

— Вы правы, — ответила она, и его охватила радость, что он попал в точку, хотя обивка всегда его раздражала. — Я бы сказала, что она чересчур роскошная.

И тут ее взгляд остановился на портрете покойного Фердинанда Громуса — основателя. Вильма сделала вид, будто остолбенела от испуга.

— Черт побери, — воскликнула Вильма по-студенчески грубовато. — Ну и дешевка!

Михал нахмурился. Если ему этот портрет тоже иногда казался излишне помпезным, то сейчас громусовское тщеславие было задето. Будто кто-то плюнул на величие Громусов. От Вильмы не укрылось изменившееся лицо Михала. В ее глазах мелькнула тень усмешки.

— Простите, — сказала она извиняющимся тоном, но твердо. — Мои слова были несколько бестактны, но меня страшно раздражают подобные портреты. Вам не кажется, что он давит кошмаром на эту комнату? Гранитная глыба, обросшая лишайником, и та подошла бы сюда больше. Мрак. Портрет написан для помещений, куда свет проникает лишь сквозь тусклые стекла в свинцовых переплетах. А здесь светло, как в саду.

Какая горячность! Как резко и, возможно, искренне судит она о вещах, которые ему абсолютно безразличны! Ему пришло в голову, что Вильмины познания в искусстве он сможет использовать в своих интересах. Его не занимает живопись и вряд ли когда-нибудь будет занимать. Но вот значения рекламных плакатов Михал не мог недооценивать. Хороший рекламный плакат — проблема и именно теперь, когда он готовится завоевать позиции на отечественном рынке, может сослужить отличную службу. Гребни «Громус» и щетки «Громус» должны привлекать к себе внимание! А игрушки? Это самое главное! Важно не только всучить их людям, но надо суметь их сделать. Требуются новые формы. Игрушка модернизируется, как и все прочее, она не может оставаться грубой копией жизни, а должна выражать ее стиль. Конечно, дружеские отношения с Вильмой ему не повредят. Он мог бы прислушаться к ее советам. Мог бы заказать ей эскизы рекламных плакатов и игрушек, если она возьмется. Но совсем не это было главное, решительно не это.

Пока он собирался обставить только нижний этаж, не трогая второго, потому что, кроме своей комнаты, другими не пользовался.

— Пока я живу один, — сказал Михал, — это не имеет смысла.

— Конечно, — согласилась Вильма. — Должны же вы оставить своей избраннице хоть немного радости от устрой-

ства дома. Ничто не приносит женщине большего удовольствия.

— Пока еще нету избранницы, — ответил он излишне резко, и Вильма рассмеялась. Она могла, конечно, сказать: «Но наверняка скоро появится» — или что-нибудь в том же роде. И не сказала, только рассмеялась. А у Михала мгновенно появился вопрос и горячее, но тщетное желание ответить.

Вильма свернула металлический метр и надела светлый дождевик. Вид у нее был такой уверенный и независимый, что Михал сжал кулаки и ему показалось, что он сейчас заскрипит зубами, хотя вовсе не от ярости. Как будто одежда выявила и подчеркнула то, чем Вильма была на самом деле. Вот бы взять над ней верх, подчинить себе, сделать зависимой. Все это чепуха, она никогда не подчинится. Это станет вечной дуэлью двух интеллектов. И странным, новым, возбуждающим стимулом к жизни. Неожиданно заманчивое, чувство это было сильнее физического влечения. Михалу вдруг показалось, что ничего не может быть несноснее, но ничего другого он так не жаждет.

— На сегодня все, — сказала Вильма, убирая блокнот в широкий карман плаща. — А теперь с трепетом ждите, чем я вас поражу.

Он посмотрел на нее в упор и ответил, словно слова его таили скрытый смысл:

— Обставляйте мой дом так, будто вам самой придется здесь жить, и я уверен, что мне понравится.

— Я никогда по-другому не делаю, это обычная профессиональная этика, — ответила она холодно, разом убив скрытый смысл.

Михал обозлился, он был полон решимости проститься с ней, как с любым деловым посетителем. Но, проходя мимо гардеробной, взял шляпу и пальто и предложил проводить ее.

Они вышли на вечернюю улицу, было, пожалуй, тепло, хотя стоял уже поздний октябрь. Под затянутым тучами небом сгустилась тьма, и далекие, до смешного слабые фонари светились едва видимыми островками. Проложить дорогу от одного к другому казалось почти авантюрой.

— Не правда ли, красиво? — произнесла она приглушенно и мягко, будто опасаясь говорить громко. — Я знаю это позорное освещение, типичная провинциальная скандальность и безалаберность старожилы, и все же говорю — красиво! И в вас тоже иногда уживаются два человека? Один из них считает, что прогресс все еще недостаточен, из-

за человеческой глупости он продвигается ужасающе медленно, а другой боится, как бы его не было слишком много, потому что медлительная, ладная старина имеет свое очарование, которое никогда не возвратится.

Михал молчал, не зная, что ответить. Она говорит, конечно, ерунду, как бы остроумно это ни звучало. С его точки зрения, старое должно уйти вместе с прошлым, а плохое следует безжалостно искоренять. Но это, видимо, ее образ мыслей, полный противоречий и волнующих контрастов. И в какой-то момент он показался себе тяжело-возом из пивоварни рядом со скаковой лошадкой. Но это его не беспокоило. Наоборот, совсем неожиданно он почувствовал преимущество своего однобокого прямолинейного мышления. Ведь это прибавляет силы, если у тебя определенное мнение о вещах, а не два и не три одновременно, если ты никогда не сомневаешься и не кокетничаешь со своим интеллектом, а просто стараешься его использовать. Это придает уверенности, и ты имеешь преимущества перед остальными. Все другое — интеллигентские выдумки, уместные на воскресных вечеринках для развлечения дамочек, всегда склонных к легкому отрицанию. Он был удивлен и возбужден, что рядом с ней может так ярко мыслить и понимать самого себя.

Михал споткнулся о камень на неровном, еще не замощенном тротуаре и, не сдержавшись, выругался.

— Извините, — воскликнул он поспешно. — Но вот она ваша — как вы изволили выразиться? — ладная и медлительная старина! Еще немного, и я откусил бы себе язык.

— Я довольна, — засмеялась она, — наконец хоть что-то вывело вас из равновесия. Все мои попытки оказались тщетными.

Михал подавил новое проклятье, будто споткнувшись еще раз. В мыслях он бранился и полемизировал с ней, изучал и оценивал, и все это только для того, чтобы в конце концов услышать, что она пыталась просто вывести его из себя, то есть вовсе не придавала значения сказанному! Михал был зол. Он не собирался разгадывать ее, словно загадку. Женщина как проблема не входила в его жизненные планы. У него осталось неприятное впечатление, что она мыслит быстрее и легче, чем он. Более, так сказать, совершенный мыслительный аппарат!

И, сделав этот вывод, он отказался от ее приглашения зайти, когда они добрались до дома Ролина, хотя ему страшно этого хотелось; он попрощался коротко, с преувеличенной холодностью.

Однако уже на следующее утро Михал позвонил по телефону и назначил свой визит на вечер, объяснив себе это интересом Ролина к успеху Вильминых проектов и тем, что одиночество гонит его из заброшенного пустого дома. Ему необходимо было такое объяснение прежде всего для самого себя, ибо Ролиновы считали, пожалуй, его визиты, ставшие в последующие недели почти ежедневными, естественными.

Как быть в этих обстоятельствах с Руженой Баладовой? Пока что самым простым казалось отделаться несколькими тысячками отступного, как Михал с самого начала и предполагал. Ему становилось все труднее ездить к ней по субботам. Он был не обязан объяснять кому бы то ни было или оправдывать свое регулярное субботнее отсутствие в Либницах, но заметил, что Ролиновы никогда не приглашают его ни на субботу, ни на воскресенье, более того, не упоминают, как сами проводят эти дни недели. Ну разве такое не красноречивее и не тягостнее настойчивых распросов?

После смерти Фердинанда Громуса, более того, с самого начала его болезни отношение Ружены к Михалу изменилось. Уж не забрала ли она в голову стать пани Громусовой? Она отбросила свое обычное полупрезрительное равнодушие, хотя это являлось скорее результатом опасений, как бы он не привык считать ее девицей на содержании, с которой можно не церемониться. Теперь он часто находил ее печальной, задумчивой и неприязненно настороженной. Стремление сохранить хотя бы видимость независимости становилось у нее все сильнее. Он должен знать, что приходит не к девице, которой платит за любовь, но к возлюбленной, благосклонность которой должен каждый раз завоевывать наново. Она пыталась не замечать очевидного или хотя бы дать ему новое толкование. Михал оставлял ей еженедельную сумму на карманные расходы, потому что большую часть ее счетов оплачивал сам, и не мог не заметить, что в последнее время они заметно сократились. Ружена со вздохом говорила:

— К чему все это? Никогда бы не поверила, что меня такое может унижить. Мне хотелось бы не нуждаться в твоих деньгах, лучше, если б все было наоборот. Ты, заботясь обо мне, считаешь, что содержишь меня. Стань я богатой,

я бы с радостью помогала тебе. Нет, я бы не помогала тебе. Просто деньги стали б принадлежать тебе так же, как мне.

Со смеху можно лопнуть, а? Ведь предлагал же он оборудовать ей модный салон и таким образом сделать вполне независимой. И что она ответила? Что с нее до самой смерти хватило иголки с ниткой и высокомерных заказчиц и что не за тем она приехала в Худейовице, чтобы целыми днями просиживать за швейной машинкой! Она хочет жить, жить, жить! Он думал об этом с усмешкой, но удивился, что не находит смелости напомнить ей об этом. Смелости хватало лишь на брюзжание:

— Не пори ерунды. Кто думает о деньгах!

— Ах, если б я знала, что тебе это все равно. Если бы ты был моим мужем, тогда это действительно не имело б значения. А так? Хочешь не хочешь, я у тебя содержанка. Впрочем, какая разница? Пожалуй, лишь в том, что ты не живешь со мной под одной крышей и не рискнешь, более того, просто струсить пройти со мной по либницкой площади.

Во время этого разговора они сидели на кушетке, Ружена, откинувшись назад, одной рукой опиралась на подушечку за спиной Михала, другой перебирала его волосы. Лаской она осчастливила его в тот день впервые, ибо обычно приставал к ней с нежностями он. Михал был смущен и удручен. Ему хотелось подняться и ходить по комнате, чтобы не поддаваться чувственности, которая мешала трезво мыслить. И опять ему не достало ни силы, ни смелости.

«Не слишком ли грубо?» — спрашивал он себя. Прежде подобные сомнения никогда не обременяли его.

— Что на тебя нашло сегодня? — спросил он и повернулся так, чтобы видеть ее лицо. Оно было грустным и задумчивым. — С какой стати вдруг Либнице? Ведь ты о них недавно и слышать не хотела? — продолжал он и, прислушиваясь к собственному голосу, обретал уверенность.

Ружена перестала играть его волосами и, опрокинувшись навзничь, взяла его руку и прижалась к ней лицом.

— Потому что Либнице мерило, — ответила она медленно. — Либнице твой и мой мир, а здесь всего-навсего нора, в которую мы прячемся. А с меня уже хватит и норы и прятка.

Он, как мог, уклонялся от ее атаки. Поднялся и сказал, будто не понимая, куда она клонит, а подобные разговоры утомляют и наводят скуку:

— Ну, чего ты хочешь? Я всегда делал все, что ты

просила, ни в чем тебе не препятствовал. Хочешь вернуться в Либнице, я не против.

Но Ружена была слишком дальновидна, чтобы верить, будто достигнет своей цели сразу. Она извлекла из этого разговора не меньший урок, нежели Михал. И держалась так, что его неуверенность все росла. Он ни минуты не сомневался, чего она добивается своей все растущей нежностью и вниманием, и тем не менее твердость его решения поколебалась и он все спрашивал и спрашивал себя, не дурак ли он в самом деле и не враг ли сам себе, упорствуя в намерении избавиться от Ружены, как только сочтет момент подходящим.

— Просто не могу поверить, Михал, — сказала она ему в другой раз, — но боюсь, это правда. Прежде я любила тебя лишь иногда, но теперь, видно, полюбила накрепко. Всю неделю думаю только о тебе, жду не дожусь субботы, и это прекрасно. Ты чувствуешь, я тебя обнимаю совсем по-другому, чем раньше?

Михал совсем растерялся, не умея противиться этой новой атаке, которая, надо сознаться, его приятно возбуждала. Он попытался вернуться к тем сентенциям о бесполезности подобных чувств, которые в начале их связи так часто и так настойчиво вбивал в ее голову. Она отвечала насмешкой.

— Я тебя люблю, и это дело мое, а не твое. Ты бессилен что-нибудь изменить, а запретить не можешь, как и я не могу запретить себе. Но пусть тебя это не беспокоит.

Теперь Ружена частенько расспрашивала Михала о его делах, чего раньше никогда не делала, и, когда ей удавалось заставить его говорить о своих заботах, успехах и планах, слушала с таким вниманием, что он не мог усомниться в ее искреннем интересе.

— Ну разве не прекрасно быть мужчиной? Я всегда считала, будто ты только и делаешь, что сидишь за столом да придумываешь, что кому приказать да как побольше вычесть у рабочих. А ты, дружок, хоть и вправду сидишь за столом, на самом деле воюешь с людьми где-то там в Индии и в Африке, которых никогда в жизни не видал.

Сказано красиво, хотя с долей женской романтичности. Но не для того ли существуют на свете женщины, чтобы иногда высвечивать наши поступки такими вот лампами и пускать фейерверки восхищения во славу наших дел? И даже самый ничтожный мозгляк мужского пола жаждет услышать из чьих-нибудь уст:

«Как прекрасно ты вбил этот гвоздь, мой герой!»

Она сумела дать ему то, чего он никогда в своей жизни не знал, что ему было неизвестно и внове: чувство, что он приходит домой. Это были не только предполагаемые объятия, теперь все более откровенные и горячие, это была целая цепочка мелочей, начиная от чашки чая, всегда ожидавшей его, едва он переступал порог, и кончая готовностью подчинить себя каждому оттенку его настроения. Тебе хочется помолчать? Что ж, молчи, сколько твоей душе угодно, здесь не станут лезть к тебе с раздражающими расспросами, отчего ты так молчалив? Не желаешь, чтобы я мелькала перед глазами, или хочешь, чтобы была как можно ближе? Тебе охота поболтать или просто валяться и курить, наслаждаясь, что время бежит, а тебе его не жаль?

Поступай, как тебе нравится, не считайся со мной.

В одну из суббот, когда подошло их обычное время отправиться в ресторан потанцевать, Михал сказал:

— А стоит ли? Разве нам дома не лучше?

Они встрепенулись оба, когда вырвалось это слово. Дома! До сих пор, когда речь заходила о Ружениной квартире, он обычно обходился словами «здесь» или «у тебя». Михал глубоко увяз в уюте, которым его окружила Ружена, но, разобравшись, стал рваться, словно почувствовав, что на горле затягивается подготовленная заранее петля.

Разумных доводов у него не было, в сущности, лишь тревога человека, уверенного, будто он не способен промахнуться. Конечно, он уже не мог просто порвать с Руженой, как сделал бы это полгода назад. Впрочем, а он действительно все еще хочет избавиться от нее?

Мысль о том, что он мог бы возмутить Либнице, живя на дочери своего кладовщика, начинала импонировать ему своей провокативностью. Имеет же право сын своего отца доказать всему свету, что Громусы достаточно сильны и могут не считаться с мнением окружающих и достаточно богаты, чтобы брать в жены девиц без гроша за душой. Вот так складывались его отношения с Руженой и прежде всего с самим собой незадолго до смерти отца и до того, как в Либницах и в его жизни появилась Вильма Ролинова.

— Вы играете в теннис? — спрашивала Вильма.

— Да, — отвечал он и, немало удивленный, вспомнил вдруг, что с тех пор, как вернулся из Праги домой, ни разу не взял в руки ракетку.

— Как же вы могли выдержать? — ужасалась она.

Как мог то, как мог другое, как вообще мог вести тот

образ жизни, с которым успел уже свыкнуться, а главное — как он может ей нечто подобное объяснить?

Она сделала эскизы мебели для его дома за две недели.

— Боюсь, что не смогу жить среди такого великолепия, — улыбнулся Михал, просматривая чертежи. — Не слишком ли?

— Да, — спокойно ответила Вильма, — слишком, если считать великолепием идеальный материал и хорошее исполнение. Я на вас не экономила и делала так, как вы велели. Я обставила бы свой дом именно таким образом, если бы, естественно, позволили средства. Надеюсь, вам они позволяют?

Он польщенно засмеялся.

— Мне настолько нравится, — ответил Михал, — что я ее закажу, даже если придется влезть в долги.

Она испытующе смотрела на него, словно прикидывая, какова доля шутки в его ответе.

— Ну, тогда по рукам, — произнесла она деловито, и Михал со смехом протянул ей руку.

— Надо бы это дело отпраздновать? Ставлю магарыч — так это, кажется, называется? Наша кухарка недурно стряпает, а покойный папаша был известным знатоком вин. Из его запасов еще кое-что осталось. Не пожалуете ли вы с отцом сегодня вечером ко мне?

— Предлог столь же благовиден, как и любой иной, если у вас есть желание провести вечер с нами. Но полагаю, будет лучше, если вы сначала поговорите с папой.

Ответ был странным для простого приглашения на дружеский ужин, и Михал, подумав, ответил не сразу:

— Я, конечно, собираюсь пригласить пана Ролина лично. Вы полагаете, он не сможет принять приглашение?

Вильма сидела с отсутствующим лицом, словно надев на себя чужую глуповатую маску. Прошло несколько секунд, прежде чем, как это могло показаться, она поняла, что он обращается к ней, и наконец ответила. Михал не был уверен, задумалась ли она в действительности, или это было игрой.

— Вы спросили, — произнесла она, — сможет ли он? Не в этом суть. Не это главное. Впрочем, не знаю.

И Михалу осталось лишь разгадывать новую загадку. Почему не главное? Впрочем, он решил, что не станет ломать себе голову, будь что будет.

— Предположим, он действительно не сможет, — произнес он, подавляя дрожь в голосе, — вы придете одна?

Я бы с таким удовольствием выпил сегодня за успех вашей работы.

— Конечно, я могу прийти и одна, но начнутся сплетни, будто наши деловые отношения зашли слишком далеко.

— Вас волнует, что станут говорить?

— Это волнует меня столь же мало, как и вас. Но дело не только в нас с вами.

— А в ком же еще?

Она пожала плечами, взяла со стола эскизы и вложила их в большую картонную папку.

— Значит, мы с вами обо всем договорились, — сказала она. — То, что вы приняли мой проект, естественно, не означает, что вы обязаны заказывать мебель в мастерской моего отца. Как архитектор, я должна дать вам совет обратиться за сметой также в другие фирмы.

— Какая чепуха! Я вел переговоры с вашим отцом и с вами. Я пришел к вам обоим с совершенно определенным заказом.

Она снова пожала плечами.

— До тех пор пока заказ не подписан, вы можете поступать по своему усмотрению. Вы же поступаете так в своей коммерции. Зачем вам делать исключение в данном случае? — Лицо ее сразу стало утомленным. — Впрочем, все это меня уже не касается. Вы навестите папу сейчас?

Когда он вышел из дому и уже пересекал фабричный двор, направляясь в контору Ролина, он снова спросил себя, что могло накатить на девушку? Ей как будто вдруг захотелось, чтобы он заказал мебель у кого-нибудь другого.

Старый Ролин, ссутулившись, сидел за огромным письменным столом. Он, видимо, не слышал, как Михал поступался, и, сильно вздрогнув от неожиданности, выпрямился.

— Это вы, — сказал он, не выражая никаких эмоций, и поднялся. Он боролся со своим лицом, и ему не сразу удалось надеть привычную улыбку.

— Садитесь, мой друг, и рассказывайте. Вы говорили с Вильмой? Ну, как вам ее эскизы?

Глухой голос становился все раскатистей. И вот уже Ролин почти кричит.

— Эскизы мне нравятся, — с расстановкой ответил Михал. Ему казалось, он не сможет долго смотреть в лицо Ролина. Что сегодня с ним? Ничего. Он, пожалуй, как обычно, улыбаясь, но под улыбкой таится нечто непонятное и невыносимое. Нет, выражение его лица не отталкивающе, скорее оно удручает, словно человек боится, что нечто уже известное о нем всем и вся вы можете прочесть в его глазах.

— Я пришел подписать заказ,— закончил Михал.

— Да-да, конечно,— произнес Ролин и перестал улыбаться.— Я полагал, вы уже переговорили с Вильмой,— добавил он после секундной паузы.

— Она послала меня к вам.

— Вильма не говорила, что вам выгоднее запросить смету у какой-нибудь другой фирмы? Это слишком большой заказ.

— Послушайте,— воскликнул Михал резко, но осекся.— Выходит, вы не заинтересованы в моем заказе?

— Разве можно быть не заинтересованным в таком заказе? Мы с Вильмой исходим лишь из ваших интересов. Мы хотим, чтобы вы не сомневались, что вас хорошо обслужат.

— Я отказываюсь понимать вас.— Михал говорил твердо.— Вы, как и я, предприниматель. И для нас существует один-единственный интерес — наш собственный.

— Зарабатывать надо честно,— взволнованно и с некоторым вызовом в тоне ответил Ролин.

— Честность лишь одно из условий коммерции. Мы потеряем покупателя, если станем подсовывать ему барахло. Впрочем, я заказываю мебель именно вам, потому что не сомневаюсь в вашей честности.

Старый Ролин вспыхнул темным румянцем. Он придвинул к себе несколько листов бумаги.

— Вот смета,— молвил он, и его слова прозвучали так, будто вместе с ними вылетел подавленный вздох.— Она не отличается от Вильминого проекта сметы, мы все готовили вместе. Сейчас мы с вами его пробежим и я поясню все, что вас интересует. После чего (попытка улыбнуться), чтобы быть вполне деловыми людьми, вы подпишете мне заказ.

Когда дело было сделано, Михал неожиданно пригласил его с дочерью к себе на ужин.

— Как говорится, ставлю магарыч,— повторил он свою шутку.

Однако Ролин выглядел скорее испуганным.

— Только не сегодня, прошу вас. У меня срочные дела, и мне понадобится Вильмина помощь. Завтра или послезавтра, если вам подходит. Мы вас оповестим сами.

— Так вот оно что,— сказал Михал утром следующего дня.

— Поклясться не могу,— продолжал нотариус Пуркл

и завожился в глубоком кожаном кресле, как дитя в колыбели, — но похоже на то.

Михал не утруждал себя объяснениями.

— Значит, его дело дрянь?

— Да, дрянь, — подтвердил нотариус и участливо причмокнул губами.

— Теперь все понятно, — сказал Михал, обращаясь к самому себе.

— Не знаю, что вам понятно, — повторил нотариус. — Но он примчался сегодня утром в ссудную кассу, шлепнул по столу вашим заказом и потребовал, чтобы касса открыла ему кредит.

— С заказом все в порядке, — торопливо подтвердил Михал.

— Никто и не думал сомневаться. Но дело не в этом. Если он обанкротится прежде, чем выполнит ваш заказ, нам никогда не удастся защитить разрешение на кредит перед общим собранием. Теперь он в наших руках со всеми потрохами. Инкассируем его долговой иск, удерживаем проценты и посылаем ему на оплату. И нам остается только ждать, пока кто-то подаст знак на закланье, и тогда мы первыми накинемся на него. Ибо так нам велят интересы наших сограждан, карманы которых мы защищаем.

Михал думал о Вильме. Сулит ли ему то, что он сейчас узнал, какую-нибудь выгоду?

— Какая сумма могла бы его спасти?

Нотариус пожал плечами. Сможет ли Ролин вообще когда-нибудь сбросить это бремя? Деньги, деньги. Сдается, он никогда не встречал человека, который бы через пять минут не начал разговора о них. Нотариус Пуркл утомился, как исповедник, всю жизнь вынужденный слушать о пороках, которых у него самого никогда не было и быть не может.

— Полмиллиона, семьсот пятьдесят тысяч — точно не знаю. Знаю лишь, за сколько его сожрет ссудная касса, а на это нам хватит его барахла. Купите!

Михал замотал головой.

— Это не по моей части.

— Не по вашей, вы правы, — подтвердил нотариус. — На нем не заработаешь.

Нотариус никого не обойдет своей язвительностью. Люди становились ему все более отвратительны, и он давал им это понять при каждом удобном случае. Он в них не нуждался и, черт бы все побрал, не мог дожидаться, когда они наконец перестанут нуждаться в нем.

— Тем не менее, — продолжал Михал, словно не слыша реплики нотариуса, — я прошу вас дать ему эти деньги в кредит под мое обеспечение, но это, естественно, останется между нами.

Пуркл заморгал, после чего уперся из-под прищуренных век пристальным взглядом в Михала. Что таится за столь неожиданной щедростью, так не похожей на все, что ему известно о Громусах? И наконец, решив, что понял, закрипел по-птичьи:

— Ах вы, Ромео в шкуре дельца.

О, этот омерзительный, наглый соглядатай, не слишком ли он злоупотребляет своей дружбой с покойным Громусом?

— Промазали, — сказал Михал. — Мне просто нужна побыстрее мебель, и я желаю, чтобы она была только от Ролина, потому что доверяю его работе. — Он помолчал, но тут же с преувеличенной жесткостью закончил свое опровержение: — После чего пускай себе вылетает в трубу хоть в тот же день.

— Не сердитесь, старче, — хохотнул нотариус... — Похоже, я наступил вам на любимую мозоль. У вас будет лучшая мебель под солнцем.

Ролин позвонил в три часа пополудни. Он неожиданно освободился и, так как обещал, что объявится сам, спросил, удобно ли Михалу принять их нынче вечером. Его голос снова звучал уверенно, в нем слышалось глубокое удовлетворение. Этот человек быстро обретал утраченное доверие, ему ссудили нужную сумму незамедлительно и безо всяких осложнений, значит, дела его не столь плохи, как он опасался. Он твердо верил, что Михал принес ему счастье, а значит, будущее его отнюдь не безнадежно.

— Вашего отца сегодня словно подменили, — сказал Михал Вильме, стоя с ней после ужина в опустевшем теперь зимнем саду. Здесь оставался один-единственный, разросшийся до гигантских размеров филодендрон, который Анна не смогла перевезти в свое новое жилище. — Он похож на человека, которому неожиданно в чем-то крупно повезло.

Михал только раз повернул выключатель, и под толчком за стеклянным плафоном, скрывавшим целую гирлянду лампочек, загорелись всего три, тускло осветив обширное пустое помещение. Филодендрон, воздевший листья к самому потолку, выглядел в этом освещении призрачно и дико. Здесь было жарко, потому что Михал приказал весь день не выключать отопления. Они распах-

нули окно, как только вошли, и сейчас, высунувшись, глядели, дымя сигаретами, в осеннюю темную и беззвездную ночь.

Вильма долго не отвечала. Может быть, притворялась, что не слыхала, или обдумывала ответ.

— Ему повезло, — произнесла она наконец. — Ваш заказ не пустяк.

— Еще вчера я готов был биться об заклад, что он не слишком в нем заинтересован.

Вильма швырнула сигарету на газон под окном и повернулась к Михалу. Ее лицо было суровым и непроницаемым.

— Мы слишком долго пробыли здесь. Пора возвращаться.

— Не торопитесь. Роберт хороший рассказчик — ваш отец с ним наверняка не скучает.

— Дело не в том, скучает ли мой отец. В конце концов им обоим придет в голову, где мы так долго, и, когда мы вернемся, ваш брат отпустит какую-нибудь шуточку. Мне это безразлично, но отец в подобных вопросах слишком щепетилен.

Михал смотрел на нее, как бы стремясь внушить сочувствие к своим желаниям. Такого с ним еще не бывало. Язык во рту одеревенел, не в силах выстроить фразу из слов, мелькающих в голове. До сих пор он обычно знал, как поступать в подобных случаях, и умел предельно четко объяснить, чего хочет. Чужая, рассудительная, что бы она ни сказала, кажется, будто главную мысль приберегает на потом, а если выскажешься ты, то неизвестно, какие насмешки вызовут в ней твои слова. Впрочем, может статься, это лишь игра твоего воображения, а действительность много проще. В конце концов, наше воображение — единственное стекло, через которое мы видим мир.

Его сдавила тоска. В нем бродило, нагоняя ужас, желание и путало мысли. Он знал лишь, что хочет эту девушку и должен ею обладать, должен подчинить себе полностью, без остатка, и только тогда все, что он делал до сих пор, обретет смысл.

— Я-то полагал, что вы всегда поступаете, как вам заблагорассудится, и не слишком считаетесь с кем бы то ни было.

Она глянула на него из-под ресниц, будто подавляя усмешку.

— Я начинаю казаться себе страшно старой или явившейся из другого века, когда слышу такие ваши слова. Вас

еще занимают подобные сказки? — И, поймав его недоумевающий взгляд, громко расхохоталась. — Я изъясняюсь непонятно? В таком случае объясню: это похоже на сватовство. Я не права? Ну что ж, можете оборвать меня, и я сразу успокоюсь.

Существуют все-таки определенные границы.

— Да, сватовство, если вам угодно! — закричал Михал в бешенстве. — И даже более того!

На какую-то долю секунды она показалась ему, пожалуй, смущенной.

— Но вы не посмеете утверждать, что я дала вам повод.

Земля, заходившая было ходуном под его ногами, внезапно остановилась. Проблеск женственности в ней вернул ему уверенность и на момент наполнил сознанием превосходства.

— Наоборот. Вы сделали все возможное, чтобы отвратить меня от этого, а почему — не понимаю.

— Быть может, я вам когда-нибудь объясню. А сейчас идемте.

— Я хочу знать сейчас же.

Она остановилась, держась рукой за выключатель. Лицо Михала пылало. Он готов был схватить ее и задержать силой.

— Мне не слишком приятно говорить вам это. В Либницах общеизвестна тайна, что вы связаны обязательствами.

Ружена! Он мог предвидеть, что однажды это станет явным. Старательно сохраняя спокойствие, Михал ответил как только мог равнодушно.

— Обязательств нет. Остальное, полагаю, вам понятно.

— Конечно. Почему бы мне не понимать того, с чем я не согласна? Пойдемте?

Вильма щелкнула выключателем. Темнота ослепила его. Он задохнулся, словно от удара. Нет, так дело не пойдет. Он не позволит делать с собой все, что ей вздумается. Михал пошарил в воздухе и схватил ее руку, протянутую к дверной ручке.

— Подождите, я слишком многое сказал вам, чтобы отпустить без ответа.

Свет отдаленной уличной лампы слабо разбавлял темноту зимнего сада. Их лица, смутно угадываемые в темноте, стали плоскими и расплывчатыми. Это пугало и волновало. Михал притянул Вильму к себе, пытаясь второй рукой обхватить за талию. Его зубы выбивали дробь от охватившей внезапно лихорадки.

— Вы что, не понимаете? Я хочу, чтобы вы стали моей женой!

Теперь она была совсем близко, ее ноги были прижаты к его ногам, их животы, вздымаемые дыханием, соприкасались. Но руками она упиралась в его грудь, и все тело ее оставалось неподвижным и напряженным. У Михала тихонько попискивало в горле. Это колотилось сердце, разозленное громусовское сердце, алчный, ненасытный дух унаследованной крови. Он никогда еще не был так взволнован. Ее руки мешали ему обнять ее так крепко, как он того желал, но и вырваться она не пыталась.

Вильма заговорила, и голос ее, несколько изменившийся от прилагаемых усилий, был холоден и почти насмешлив.

— Предположим, но вы делаете лишь то, чего хотела я.

— Это не имеет значения. Вы только скажите «да».

— Не знаю, хочу ли я сказать «да». Все не так просто. А если я соглашусь, то поставлю свои условия.

— Говорите!

— Нет, не сегодня, еще не сегодня. В другой раз. Так будет лучше. А пока одно: ваша связь. Мы не станем говорить, пока вы как-нибудь деликатно не покончите с ней.

— Уже покончил.

Вильма засмеялась. Ее дыхание коснулось его лица, ее живот колыхнулся. Это было больше, чем он мог вынести. Он попытался крепче прижать ее к себе и добраться до губ. Она согнула руки и уперлась острыми локтями ему под ребра.

— Дайте хоть поцеловать вас, — охнул он.

Локти еще сильнее уперлись под ребра. Они стояли в темноте, не двигаясь с места, как будто между ними не происходило никакой борьбы. Впрочем, борьба была неравной. Михал атаковал с неистовством, еще более со страхом, — кто знает, что скрывалось в Вильминой обороне. Они были почти одного роста, но сегодня, в туфлях на высоком каблуке, она казалась чуть выше. Их глаза уже свыклись с темнотой и видели, как блестят глаза другого.

— Поцеловать? — Она хихикнула. — Как вам будет угодно!

Она убрала локти, ее руки неожиданно обвились вокруг его шеи, пальцы вцепились в волосы и запрокинули его голову назад. Он хотел ее поцеловать, но она сама поцеловала его. Он чувствовал ее губы и боль от острых зубов; прогнувшись всем телом, она прижималась к нему и вдруг

отбросила назад с такой легкостью, будто его руки вовсе ее не сжимали.

— Ступайте к отцу. Я поднимаюсь наверх, в ванную, и приведу себя в порядок.

Он остался один в темноте. Человек, бражничавший всю ночь напролет, не может испытывать большей жажды! Человек, которого на потеху остальным напоили до положения риз, не может быть унижен сильнее! Она поцеловала его! Не он, нет, это она поцеловала его. Но и это еще не все. Сколько женщин целовало мужчин. Но то, как она поцеловала его, это самое *как* было невыносимо!

Позже, ночью, после ухода Ролиновых, когда они с Робертом сидели и курили по своей последней сигарете перед сном в большой гостиной, которая выглядела сейчас удивительно пустой, Роберт высказывал свое мнение о гостях, и, несмотря на многословие, Михал не пресекал его по единственной, видимо, причине, что был глубоко погружен в обдумывание собственного.

— Красива. Да. Умна. Мне до нее далеко. Но есть в ней что-то такое, не знаю, как тебе объяснить, — короче, сдается мне, в ней есть что-то от моей мамы.

Михал, впрочем, был не настолько погружен в свои мысли, чтобы не услышать этих слов.

— Ерунда.

Ерунда ли? Допустим, Роберт прав, но она намного привлекательней Анны даже в ее лучшие годы! Пусть так, но ведь у Михала воля в десять раз сильнее, чем у его отца! Ах, ерунда!

— Как тебе будет угодно, — сказал Роберт равнодушно и выпустил дым, переняв манеру богатых бездельников с заокеанских пароходов. — Она, как говорится, не моего романа.

Разве не подходящий момент? Человек должен упорно следовать тем путем, которым собрался. Или лететь очертя голову по тому пути, который ему предназначен? Михал Громус плевать хотел на сомнения. Не его стихия. Он с легкостью сказал:

— Как я понимаю, твоего романа та девица, на которую ты пялился в день похорон на кладбище?

Роберт резко выпрямился в кресле, в котором сидел удобно развалившись.

— Goddam! ¹ (Уж коли Роберт ругался, то, интересная, ругался по-английски.) Да! В той девчонке есть и смак и жизнь. Ты ее знаешь?

¹ Черт побери! (англ.)

— Могу, если хочешь, познакомить.

Роберт вскочил.

— Как можно скорее, дружище! С такой я, не задумываясь, промотал бы все наследство!

Михал Громус свалил бы с себя немалое бремя, узнай он, что у Ружены Баладовой есть любовник.

Звучит неправдоподобно. Она прилагает такие усилия, чтобы внушить ему мысль жениться на ней. Некоторые люди имеют роковую склонность портить себе жизнь. Ружена принадлежала именно к таким.

Индра Поур стал ее любовником примерно за месяц до болезни Фердинанда Громуса, то есть в ту пору, когда мысль о браке с Михалом тревожила Ружену не более, чем фата-моргана; она скорее мечтала, нежели думала об этом всерьез.

Михал возвращался от Ружены по воскресеньям вскоре после обеда. Такое правило он завел, чтобы хоть несколько часов в неделю иметь для себя. Его автомобиль стоял перед домом, и Ружена обычно смотрела, как он садится и уезжает.

Улица, где жила Ружена, имела особенность. Липы были посажены только по одной ее стороне. Каждое воскресенье за каким-нибудь из деревьев прятался тощий человек в скверно пошитом пальто, а когда автомобиль отъезжал, он выходил из своего убежища, приваливался спиной к стволу и смотрел на Руженины окна. Заметив его в первый раз, Ружена испугалась. На следующее воскресенье это ей показалось смешным. Он забавлял ее своим упорством и не давал скучать воскресными вечерами. Но поразмыслив, она перестала считать его смешным. Этот исхудавший человек был трогательным. Он стоял и смотрел, как уходит другой, сам не имея ни малейшей надежды. Разве не страшно? Бедный Индра! Что есть у него в жизни, кроме фанатичной веры, будто мир однажды станет таким, как его видят он и ему подобные? В ней вспыхивало воспоминание о том вечере, когда он сказал ее родителям всю правду про нее и Михала. Ни разу потом она его не упрекнула. Разве не отомстила она ему так жестоко? «Но какой же смысл, парень, тебе тут торчать? Чем это может кончиться, если я вдруг рехнусь и начну с тобой крутить?»

Развязка наступила в дождливое воскресенье. Осень

уже заявила о себе бесконечным моросящим дождем, но Индра стоял на своем месте, как обычно. Поля его шляпы набухли от воды и обвисли, а поднятый воротник еще более подчеркивал худобу. Ей-богу, он стоял там, словно нищий, выставляя напоказ свое убожество и взывая о сострадании. Даже самыми отчаянными мольбами он не добился бы большего.

Ружена боролась с собой около часа, дольше выносить угрызения совести было выше ее сил. Слова можно выслушать и не поверить. Но Индра был живым укором. Она оделась, взяла зонт и спустилась вниз.

В первую минуту Индра, казалось, обратится в бегство. Ружена шла к нему, не думая, что за ней могут следить хозяйкины глаза.

— Ты не можешь стоять здесь, Индра.

— Я никому не мешаю.

— Нет, но ты простынешь.

— До этого нет никому дела...

Он и не думал разжалобить ее, просто говорил то, в чем был убежден. Она знала это так же хорошо, как и сам он: до Индры Поура никому не было дела, даже его товарищам.

— Зачем ты ходишь сюда, Индра? В который раз я тебя вижу.

Он пристально смотрел на нее своими черными глазами, в которых метались странные безумные искорки.

Когда-то она не выносила, если он просто заговаривал с ней.

— Ведь ты не собираешься причинить мне зла?

Он повернулся к ней спиной, и плечи его вздрогнули, будто их сотрясло рыдание.

— Индра! Дружище!

И тут вдруг она вспыхнула. Вот еще — бегать за ним собачонкой! Простоволосая, с зонтиком, она вцепилась в его намокший рукав.

— Может, бросим ломать комедию? Идем ко мне. Напою чаем, обсохнешь.

Он двинулся следом за ней, его трясло, как в лихорадке. О господи, этот человек весь дрожит.

— Мой брат, — объясняла она на другой день хозяйке. — Иногда приезжает навестить.

И брат стал появляться регулярно, каждое воскресенье после обеда, и хозяйка сидела, прижав ухо к стенке, отделяющей ее комнату от Ружениной спальни. Из пестрой мозаики подхваченных слов — ибо стена была неумолима и пропускала звуки выборочно, по весьма изменчивым

законам акустики, — старуха могла сделать вывод, что любовники несчастливы. Большую часть времени они тратили на руготню, а не на поцелуи. И тем не менее Ружена не прогоняла его, и он появлялся снова и снова. Что их связывает? Хозяйке не понять, даже если ей все объяснят.

Ружена сделала Индру истинным своим любовником. И он поддался ей со скрежетом зубным, как осужденный на смерть. Пролетарка, которой эта девчонка не перестала быть, снова очнулась в его безумных объятьях, и он, захлебываясь стыдом, пытался заглушить свой позор поцелуями. Индра искал выход. Уехать из Либниц, найти работу в Худейовицах и заставить Ружену выйти за него замуж? Она лишь посмеивалась в ответ. Он пытался угрожать и клялся, что никогда больше не придет. Она пожимала плечами. И тем не менее боялась, как бы он не исполнил своей угрозы. В ней заговорило прошлое: единство мыслей и надежд, объединяющих людей одного круга, одной судьбы и устремлений, сходный ритм речи, где каждое слово знакомо, близко, ты среди своих, в массе, — они живут в тебе с тем большей силой, чем сильнее ты стремишься от них вырваться. Как невыносимо жить с ними и как трудно жить без них!

И Ружена, не желая вернуться к ним, пыталась заменить их Индрой. Ей хотелось иметь то и другое: мир, из которого она сбежала, и мир своей мечты. Она верила, что не получит отказа ни в чем, чего бы ни пожелала. В ней уже зарождалась любовь к этому кощею, а он едва не терял сознания в ее объятьях. В его глазах отражалось восхищение и обожание, подобное тому, что она замечала в глазах отца, только питали их разные источники.

Теперь она временами мечтала бросить Михала и вернуться к своим. Объятья Индры — это любовь, но ведь Михал дал ей все, чего она хотела, и если она станет вести себя умно, то получит от него еще больше. Ружена не любила Михала, но и противен он ей не был, наоборот, часто, пожалуй, приятнее, чем Индра.

Ружене не под силу выбраться из противоречий. Что-то влекло ее назад, но она знала, что ей никогда не достанет смелости возвратиться.

По субботам Ружена, глядя на Михала, испытывала мстительную радость. Хозяин платит и потому воображает, будто все принадлежит ему. Ей было весело от сознания, что она изменяет ему, в ней осталось что-то от рабочей девчонки, и отношения с Индрой еще более утверждают ее

в этом. Хозяев надо обманывать. Они нас эксплуатируют, вот мы и добиваемся равновесия.

А по воскресеньям, когда уезжает Михал, она смотрит на Индру. Он сидит напротив нее и хрустко ломает пальцы.

— Не могу, не могу больше, — бормочет он. — Это все равно как быть сутенером!

Ружене жаль его, она отлично понимает, что с ним творится, но не может отказать себе в удовольствии, чтобы не поддразнивать.

— Зачем тогда сюда ходишь?

Он с отчаянием смотрит на Ружену. Поначалу ее это забавляло, теперь начинает утомлять. Одно воскресенье похоже на другое, ничего нового. Плетет свои старые байки про капиталистов-людоедов и умоляет бросить Михала и выйти за него замуж.

Но тут заболел и умер Фердинанд Громус, и Ружена сделала крупную ставку на Михала. Как в этих обстоятельствах поступить с Индрой? Избавиться, если не хочет споткнуться на нелепой случайности. Но она откладывает свое решение с воскресенья на воскресенье, не находя в себе смелости сказать, чтобы больше не приходил. Ну и влипла! Эта морока стала вызывать у нее неприязнь к Индре. И чего лезет, сколько раз говорила, что он ей не нужен. Живут же на свете безумцы, которым, видать, все равно — что любовь, что смерть.

Осень сменилась зимой. Снег на тротуаре подтаивает вокруг башмаков Индры. Уже половина третьего, а Громус все еще не уехал и, похоже, сегодня не уедет вовсе. Его автомобиль стоит перед домом, и снег под мотором превратился в грязную кашу. Только что из дому выскочил Михал без шапки и без пальто, не пристегнув даже воротничка к сорочке, и накинул на капот машины еще один чехол. Дрогнул занавес, и Индра увидел Ружену. Она искала его глазами, а когда он, подняв голову, взглянул наверх, улыбнулась и махнула рукой. Рука обнажена до плеча, на Ружене ее самый лучший халатик.

— Ну хоть разок, Михал, — ластилась после обеда Ружена. — Разве тебе здесь не лучше, чем дома? Там же совсем пусто! Делай что хочешь. Читай или поспи, не обращай на меня внимания, я буду такой тихонькой, будто меня здесь вовсе нету.

И Михал, сделав вид, будто колеблется, наконец согласился. Последняя милость осужденному. «Это заставит ее думать, что мои намерения были самые лучшие и во всем виновата она сама».

— В субботу приеду с Робертом.

— Это твой неродной брат?

— Ты ему понравилась. Хочет познакомиться.

Ружена польщенно засмеялась, ей показалось, будто она видит проблеск своей победы. Если Михал собирается знакомить ее с братом, разве это не то же самое, как ввести ее в семью?

— Когда я могла ему понравиться? Ведь он меня даже не знает!

— Приметил на похоронах отца.

Ружена вспомнила. Тогда на кладбище она не могла оторвать от него глаз. Михал рядом с ним казался грубым мужланом. Человеку не дано иметь все, но не дано и знать, что он мог бы иметь. Дикая бесшабашная удаля обуяла Ружену. Ей всегда достается то, чего она сильно пожелает. На улице топчется в снегу Индра, его трясет от холода и ревности. Он все еще там? Она и не подумает выглянуть. Пускай сам разбирается. Пора бы понять. Даром ничего не дается. Сейчас она расплачивается страхом, хватит с нее и этого.

Михал развалился на кушетке, курит и гладит Руженину руку. Ему хорошо, он, в общем-то, доволен, что сегодня остался. Прошлая неделя была чертовски трудной, да еще тот разговор с Вильмой. Индию, сдается, он упустил окончательно, товар без конца возвращают обратно, лучшие покупатели от него отказались, ссылаясь на низкие цены японских изделий. Сдать позиции и попытать счастья где-нибудь еще? Это он, конечно, может, но не будь он Громус, если выпустит из рук то, во что однажды вцепился. Издержки производства слишком высоки, их необходимо снизить, необходимо также упростить производственный процесс, если он не может урезать зарплату; придется ставить новые машины и тогда начать новые увольнения. Без этого не обойтись. Пускай грозятся забастовкой, их дело, пусть даже бастуют, ему это на руку, он временно остановит фабрику, подождет, пока дела не наладятся, пока все вокруг не придет в норму и он не освободит складов.

Михал смотрит на руку, которую ласкает, и Ружена поднимает ее, чтобы ответить на его настойчивую ласку. Но Михал заставляет ее лежать спокойно, не хочет, чтоб ему мешали. Пока ничего реального, одни мысли. Ему надо прийти в себя. До чего же вульгарен был тот поцелуй! Ты сам себе начинаешь казаться коридорным в дешевом трактире. Он гладит ее руку и смотрит на Ружену. Мягкая шелковистая кожа, а ведь раньше не была такой. Он улыба-

ется, это его заслуга. И все же! Нет, он не упустит Индию, и Вильму не упустит тоже. Ему непременно нужна борьба и преодоление. Он пойдет напролом.

На тротуаре против дома торчит Индра. Сумерки принесли с собой оттепель, снег стал мягким, превратился в жидкую кашу, с ветвей падают капли, сырость пронизывает до костей. В окнах вспыхивает свет, и только Руженино окно остается темным. Всего четыре часа, а уже смеркается. Дважды мимо Индры прошагал полицейский, сейчас он стоит на углу и смотрит на Индру. Еще немного, и он начнет выяснять, чего здесь Индре надо. Сторожевые псы капитализма, их натравливают на рабочих, и они лупят рабочих дубинками по головам! В них воспитывают злобу, им тоже не дают жрать досыта. Люди ослеплены страхом перед голодом, и, чтобы удерживать их в этом слепом страхе, нужны большие деньги. Сейчас четыре, в половине пятого отходит поезд на Либнице. Сегодня Индра не на велосипеде, навалило слишком много снега. Он плетется мимо полицейского и не может избежать его взгляда. «Ну, давай спрашивай, почему не спрашиваешь?» Полицейский поворачивается и глядит ему вслед, не зная, что думать об этом тощем человеке с горящими глазами. Медвежатники, подлецы — те тоже худющие, их точит чахотка, а в кармане лежит пушка. Впрочем, дальше уже не его участок, а парень и так мотает прочь.

Улица становится шире, народу здесь больше, до вокзала десяток шагов.

— Подайте, сколько можете, на ночлег, — слышит Индра сиплый голос.

У Индры нет желания даже взглянуть. Таким подавать не надо. Проклятая благотворительность поддерживает в них вместе с жизнью и тлеющий огонек надежды. Когда одни начнут подыхать с голоду прямо на улицах, другие быстрее сдвинутся с мертвой точки. Почему же именно он своим грошем должен гасить этот тлеющий огонек? Именно он! Индра не способен даже засмеяться.

Тень человека следует за ним по пятам.

— Подайте на ночлег, — повторяет он настойчивей.

Его голос останавливает Индру. Он оборачивается. Это же Гейл, один из первых уволенных Громусом. Деревообделочник, сорок пять лет, трое детей, жена, теща, сквозное ранение в легкие, жизни не щадил в войну за государя императора и его августейшую семейку и, если родина позовет, опять пойдет на бойню, а сейчас он им не нужен. Впрочем, не нужны и те, что помоложе, не говоря уже

о стариках, те просто обуза. Дом Гейла продан за долги, восемнадцать тысяч, что были внесены, — коту под хвост. Жену с детьми отправил в деревню к родственникам, зимой для него там места нет, летом и то перебиваются с хлеба на воду, а сейчас и вовсе нечего жрать. Тещу отвезли в либницкую богадельню, этой повезло больше остальных.

Индра слушает вполуха, он все знает не хуже самого Гейла, гораздо важнее мысли, вызванные его рассказом. Они сидят в привокзальной третьеразрядной харчевне. Здесь подают похлебку из рубцов с хлебом, еще он возьмет свинины с кнедликами. А мне чаю с коньяком и рюмочку коньяку отдельно. Давай наворачивай, приятель, и не мели языком. Но тот делает глоток — рот горит от перца и горячей похлебки — и сразу выпаливает десяток слов. Его одинаково мучат и голод и необходимость поделиться. Ну и досталось ему! Два месяца вкалывал на стройке, сейчас конец, на временную берут только местных безработных, просился на уборку снега — уже набрали.

— Ох и вкуснятина же этот супец, я такого не нюхал почитай полгода. Зашибу геллер-другой — сразу посылаю жене.

Индру разморило от тепла, мокрые ноги противно горят. От коньяка, бегущего по жилам, его трясет, словно от сдерживаемого смеха.

— Ночую в ночлежке, старина, — говорит ему Гейл. — За это берут две кроны. Набегаешься, как собака, пока их заработаешь.

Индра ничего не отвечает, только слушает. Откроет рот — и зубы начинают стучать. Ну не анекдот? У тебя нет денег на ночлежку? А я тебе могу рассказать об одном уютном гнездышке, я там сплю и знаю, какое оно мягкое. Там уже зажгли свет? Глупо, что я кормлю тебя, товарищ, это противоречит моим взглядам, но во мне еще сидит что-то похожее на чувство товарищества. Они на то и рассчитывают, что мы не дадим друг другу подохнуть с голоду и потому далеко не уйдем.

Гейл с едой покончил. Вот бы еще чашечку кофе с ромом, он смотрит на Индру искательным и вместе с тем извиняющимся взглядом. Индра кивает головой. В харчевне плавают табачный дым и кухонный чад, все покрыто копотью и жиром. Хорошо бы вытянуть ноги под столом и расправить плечи, чтобы хрустнул позвоночник.

— Ох и здорово! Ты молодчина, Индра. Когда-нибудь обязательно будет по-твоему. Но сейчас все мы сонные и ленивые. Если целыми днями мотаешься по городу и не

знаешь, что тебя ждет завтра, да что там завтра — сегодня вечером, может, ты и пойдешь убивать, но лучше бы по-жрать и выспаться. Безработные — это разбитые куски, их трудно соединить. Совсем как в джунглях, каждый охотится сам по себе, а уж коли что пронюхал, затаится и помалкивает, потому что боится, как бы не вырвали другие. Но иногда на меня накатывает. Добивайся справедливости сам, своими руками, никого не жди! Будь у меня ящик ручных гранат, как там, на Соче, я бы не глядя швырял налево-направо, без разницы, потому что мне сдается, будто каждая рожа издевается надо мной, хохочет, а каждое сытое брюхо аж лопается от жира, и только мое скулит от голода.

Добивайся справедливости сам, своими руками, никого не жди!

— Заплати и за мой чай и коньяк! — бросает Индра и кладет перед Гейлом пятидесятикрановую бумажку, которую уже давно мусолит в кулаке, поднимается и торопливо выходит на перрон. Ноги и тело стали совсем ватными. Коньяк ударил в голову, сознание вдруг отключилось, он пошатнулся и, чтобы не упасть, ухватился за чью-то руку, с трудом выпрямившись, не слыша брани, пробирается вперед.

Кондуктор открывает двери, звонит в режущий слух колокольчик и объявляет остановки.

Стиснутый со всех сторон, он стоит в проходе битком набитого вагона, сейчас многие разъезжаются по домам после воскресной поездки сюда, в город; кому поближе, кому дальше. Знакомых, к счастью, не видно. Все больше деревенские парни и девушки, которые приезжали в кинематограф и теперь торопятся кормить и обихаживать скотину, они знают друг друга, перекликаются и хохочут, кто-то из батраков на другом конце вагона играет на губной гармошке модную городскую песенку, остальные подпевают, они безбожно фальшивят, искажая мотив, и голоса их звучат вразнобой. На парнях зеленые шляпы и, будто сколоченные из фанеры, негнущиеся пальто, лица девчонок, смуглые и румяные, испуганно выглядывают из-под городских шляпок. От всех исходит ощущение деревенской свободы и силы, в них вколотили уверенность, что они-то и есть соль земли, на их мозолях держится мир. В вагон их набилось столько, что, утратив врожденную застенчивость, они заполнили все свободное пространство своей грубеватой молодостью. Кому же еще так прочно стоять на ногах, как не им?

Только их мне не хватало! Волчья ненависть к довольству, этой шумной, пышущей здоровьем толпе довершает какой-то сдвиг в душе Индры. Добиться справедливости своими собственными руками, никого не ожидая! Он делает попытки скандировать эту фразу и так и эдак, принаравливаясь к стуку колес, но вдруг на него накатывает дурнота. От одежды парней и девчонок несет затхлой вонью шкафов и чуланов, мокрой соломой, пашней и хлебом. Индра то-ропливо пробирается через толпу к уборной, его выворачивает: пустой желудок, терзая пищевод, тяжело возвращает чай с коньяком.

Либнице. Дорога уходит из-под ног. Ноги подкашиваются. Тело совсем обессилено, скорее, скорее. Либнице лежат выше Худейовиц, которые осели в самой долине реки. Температура здесь чуть ниже нуля. Свежий воздух иголками покалывает ноздри, а если дышать ртом — обжигает легкие. Вроде стало полегче, но слишком уж свежий воздух вызывает головокружение и слабость. Быстрее, быстрее, за фабрикой есть тропинка. Лучше бы никого не встретить, хотя в общем-то — какая разница? Здесь небо без туч, ночь будет морозной, мерцают звезды. Темное небо отливает синевой звездного сияния; будто черная грива волос в нем — фабричная труба, она торчит таким определенным и материальным восклицательным знаком грому-совской гордыни! Ящик ручных гранат и — швырять в каждого, кто попадет под руку! Ах, хватит и одной, той, что поразит цель! Кто-то рухнет. И это — немало, какая-то кривда будет отмщена, неподвижные чаши весов правосудия качнутся, и та, что опустилась на землю, станет после этого легче.

В доме темно. Хозяева Индры в гостях у соседей или в единственном в Либницах кинематографе. На угольном ящике в сенях светятся кошачьи глаза. Не надо зажигать свет и объявлять всему кварталу, что ты вернулся. У окна большой черный чемодан, из тех, где рабочие-холостяки хранят весь свой земной скarb. Индра идет прямо к нему, отпирает и роется на самом дне, под бельем, под старыми, давно прочитанными книгами. Потом ставит на стол что-то, что в этой тьме, лишь чуточку разбавленной светом далекой уличной лампы, напоминает необычную по форме широкую бутылку с прямым, без всякого перехода, горлышком. Индра хочет переобуться, очень уж донимают промокшие ботинки. Он присаживается, но тут снова наваливается слабость. Хоть на минутку вздремнуть. Даже не вздремнуть, только положить на стол голову и выждать, пока прекра-

тится это чертово головокружение. Тяжелая рука опустилась на затылок и придавила голову к столу. Он вытянул руки перед собой, рукава пальто слишком широкие, ручная граната со стуком опрокидывается и катится по голому, без скатерти столу. Индра кидается, как сумасшедший, и хватается ее прежде, чем она успевает достичь края. Сонливости как не бывало, бурный поток, едва не исчезнувший в усталости тела, снова подхватил его и понес дальше. Добиться правосудия своими руками! Он взвесил гранату на ладони и осторожно засунул в карман пальто. Надо осторожнее выхватывать ее, не зацепить бы чекой за пуговицу. Иногда правосудие заключено в полутора, или сколько там, фунтах взрывчатки, тщательно упрятанной в металл. Индра смотрит на светящийся циферблат часов на руке. Без четверти шесть. Наверное, он еще успеет. Он должен, должен!

Индра выходит из дому. Кошка все еще сидит на ящике с углем, глаза ее неподвижно светятся в темноте. Подходящее время, чтобы проскользнуть незамеченным. Детей уже позвали домой, но еще не погнали за пивом, народ в кинематографе или лениво валяется на диванах и на неразобранных постелях, разомлев от послеобеденного сна и чая с ромом, молодежь, если не разбежалась по танцулкам, толчется в трактире и горит хоккейными страстями, слушая передачу из Праги.

Индра крадется мимо домика Балады, как вдруг освещенное кухонное окно на мгновение темнеет от загоревшейся его крупной фигуры кладовщика. «Пойдем со мной, Йозеф, это дело под силу твоим рукам, так же как и моим». Тень исчезает, и окно снова спокойно светится в темноте зимней ночи. Ибо все освещенные окна — это покой, они успокаивают нас и вселяют веру в сердца одиноких прохожих. Мы не прочь представить себе за ними ленивый мир и умиротворение. Чего может хотеть человек, который ограничил себя четырьмя стенами, зажег лампу и привалился спиной к теплой печке? Чего ему недостает? Почему бы вам не войти в такой дом? Вот кладовщик Йозеф Балада, пятидесяти двух лет, не мужик — гора, здоровья на десятерых. Хозяин превратил его дочь в шлюху, но самого почтил своим доверием. Теперь Балада — главный кладовщик, можно сказать, служащий, надзирает за всеми складами громусовской фабрики и не марает больше рук черной работой.

Окно то темнеет от тени кладовщика, то снова становится светлым. Этот человек не сидит, как вы предполагаете-

те, прижавшись спиной к печке, он шагает взад-вперед, взад-вперед и не желает, чтоб к нему лезли с разговорами. Он разговаривает сам с собой и еще со многими, он носит в себе беспокойный мир. Пятнадцать лет Балада был председателем профсоюзной организации, люди ждали его веских слов и, опираясь на них, принимали решения. Две недели назад они заявили: «Нет! Больше Йозеф Балада нашим председателем не будет». Теперь он бродит в пустоте, опоры жизни рухнули и душу его продувают ледяные ветры. Он не желает, чтобы к нему лезли с разговорами, он разговаривает сам с собой и со многими другими и носит в себе беспокойный мир, пытаясь понять, как же так? Он горит и все-таки остается во тьме. Идем со мной, Йозеф, у меня найдется дело для твоих рук.

Снег покрывает ветви деревьев, пригибает их к земле. Лес не шелохнется, будто спит под тяжелым пуховиком. Иногда он неприметно движется: хрустнет суставами и вздохнет из самой глубины своего сна. Тихо, по мерзлому снегу скрипят шаги. Индра идет быстро, уже шесть, ему нужно вовремя поспеть на место. Индра высчитал, что Михал Громус выедет из Худейовиц в шесть, и твердо в это верит. Рубаха, влажная от холодного пота, липнет к спине, словно примерзает, ноги противно горят. Вот Блато. Там, где рябилась водная гладь, теперь первый серенький ледок. Дорога, завернув на каменном мостике, сильно сужается над отводом. Автомобиль здесь непременно сбавит скорость.

Индра стоит за стволом толстого столетнего дуба, чьи корни крепче цемента держат запруду. За этим поворотом дорога сворачивает еще раз, и машина станет приближаться медленно. Индра увидит свет фар, и времени, чтобы приготовиться, будет достаточно. Но нельзя все откладывать на последний момент. Индра достает из кармана гранату и держит ее в руке. Он в толстых перчатках, и все-таки руки зябнут. Индра кладет на снег у своих ног сложенную вчетверо газету и на нее ставит гранату. Газета напоминает ему о чем-то, и его снова бросает в пот. Он обязан был заявить партии, что решился на такой шаг и потому выходит из нее. На партию теперь со всех сторон набросятся с упреками, Индра Поур состоял в ней — значит, партия поставляет террористов, хотя за такое исключила бы его из своих рядов. Индра Поур еще успеет заявить о своем выходе, когда возвратится домой. Надо полагать, время у него будет. Добиться правосудия своими руками! Только рабочий класс имеет на это право. Опомнись, вер-

нись домой и предоставь все примиряющему течению времени и нагромождению причин.

Треск ветвей под тяжестью снега, безмолвие зимней морозной ночи. Самое страшное — тишина. Причины уже нагромодились, но молчат. Может быть, нужен единственный вопль, чтобы тебе ответил разрушающий стены рев пробужденного большинства, может быть, достаточно одной гранаты, чтобы повсюду начали взлетать в воздух склады бесправия. Что бы там ни было, его поступок потребует объяснения. Я убью не за то, что у меня увели девочку. Впрочем, она не была моей, она никогда не была моей. Я, наверное, брошусь бежать, как безумный, когда это случится, не так просто убить человека, даже если ненавидишь его. Оставлю после себя полно следов — и от ботинок, и газету наверняка забуду. Не желаю уйти от их дурацкого правосудия, хочу говорить, не могу молчать, хочу все сказать суду присяжных. Мороз проел мокрые ботинки и теперь грызет ноги. Индра топчется, стискивает зубы и кулаки. Боль невыносимая. За спиной потрескивает лед, иногда слышится тихое пение и перезвон, будто кто-то простукивает и перебирает до предела натянутые тонкие струнки. Спать, спать, вот бы уснуть.

Михал возвращается, он устал, а многое так и осталось неясным. Хочет он избавиться от этой девушки или нет? Он замечает, что насвистывает, думая о ней, но стоит вспомнить Вильму, как веселье угасает. Он, конечно, решил, а, как известно, Михал Громус никогда не меняет своих решений. Он знает, что и на сей раз поступит, как решил, но не слишком доволен этим.

Михал свернул с главного шоссе на боковую дорогу, ведущую на Либлице. Черт знает что, а не дорога, едва ли за все воскресенье здесь проехал пяток автомобилей! На задних колесах позвякивают цепи, монотонные звуки навевают сон, а тут еще эта противная, режущая глаза снежная белизна дороги. Приходится все время насвистывать, чтобы прогнать сонливость. Первый, а вот и второй поворот, он мигает фарами, переключая свет, просто так, — кто может ехать навстречу из Либлиц в такой час? Кого тут предупреждать? Медленно переваливает через каменный мостик. Что-то темное мелькнуло в свете рефлекторов и упало под колеса, переднее левое наезжает и вдавливают это в снег. Автомобиль даже не подскакивает. Что это было? Наверное, обломок ветки или метнулась спугнутая птица. Михал едет к Либлицам.

Индра стоит над невзорвавшейся гранатой. Он сделал

все, что должен был сделать. Дернул за кольцо, сорвал его с бешенством, отсчитал положенное время и швырнул. Его разбирает смех. Страшная тишина, в которой растворяется шум удаляющегося автомобиля. Индра швырнул гранату, прижался лицом к дубу и зажал ладонями уши. Какой смысл имеет теперь его жизнь? Ты предал все, чем жил до сих пор. Ты зверь, зверь! Он в ярости и отчаянии стучит гранатой по стволу дерева. Ну взорвись, взрываешься же, подлая, и убей хотя бы меня. Отскакивают кусочки коры, на металлическом корпусе появляется вмятина. Но смерть, дикая, орущая, все сжигающая смерть, та, что заключена в ней, не пробуждается.

Измученный, задыхающийся, валясь с ног от слабости, Индра прислоняется к дубу. Рыдания рвут его горло. Индра и сам не понимает, плач это или хохот. Собрав последние силы, широко размахнувшись, он швыряет гранату в пруд. Лед звенит, как разбитое стекло, и вода и тишина смыкаются, поглотив то, что не свершилось.

17

Когда за Михалом захлопнулась дверь, Ружена Баладова так и осталась сидеть, окаменев. Только что ее уносили волны безумного, безудержного наслаждения, и вот невинная шуточка волн — жестокий удар в спину. Ружена была пьяна? Конечно. Не сильно, но все же достаточно, чтобы ослабили вдруг тормоза и появилось ощущение, будто нет ничего на свете прекраснее, чем падать не задерживаясь.

Озноб железной щеткой прошелся по спине. Ружена сидела нагая на смятом ярко-розовом халатике — самом любимом, потому что он так шел к ее коже и волосам. Она натянула его на плечи, сунула руки в рукава и плотно запахнулась, плотнее некуда. Прежде всего укрыться от взглядов. Роберт как вскочил с кушетки, так и стоит в углу у зеркала с глупой улыбкой. Улыбка приклеилась к лицу, он то и дело судорожно сглатывает и опять улыбается. Ситуация непривычная. Когда застанут в такой момент, — тьфу! — вид у тебя, должно быть, исключительно идиотский. Какая муха укусила Михала? Похоже, он так и поджидал у замочной скважины, когда дело дойдет до точки. За такое можно и морду набить!

В зеркале отражается его профиль. Нижняя губа кажется еще более отвисшей.

Ружена отвернулась. Это было невыносимо. Как такое случилось? Виновата она или за этим что-то кроется?

— Одевайтесь, — приказала она Роберту, не глядя в его сторону. — Не можете же вы оставаться в таком виде.

Пусть он помалкивает, ничего не говорит. Покоя, покоя! Надо все обдумать. Холод отрезвления пробирается по извилинам мозга. Ружена жестом останавливает Роберта, когда тот делает попытку приблизиться.

— Вам сказано — оденьтесь, — кричит она...

Она сидела с закрытыми глазами, подтянув колени к самому подбородку. Хотела во всех деталях восстановить произошедшее. Да, она допустила ошибку, но почему же?

Когда Михал открыл дверь, она хорошо разглядела его лицо, хотя и перепугалась насмерть, а может быть, именно поэтому. Михал не был похож на человека, изумленного неожиданным зрелищем, он улыбался, будто увидал именно то, что предполагал увидеть. Распахнул дверь настежь и, прежде чем заговорить, постоял на пороге. Ружена может поклясться, что из-за его плеча выглядывала размытая сумраком физиономия квартирной хозяйки.

— Извините, — процедил Михал. — Вижу, вы тут и без меня отлично столковались.

Ружена больше не сомневалась. Михал заманил ее в ловушку. Она была слишком уверена, настолько уверена в нем, что стала считать простаком, рядом с которым, не слишком утруждая себя предосторожностями, сможет вести сладкую жизнь. А он тем временем дал ей споткнуться перед самым, так сказать, финишем, хотя теперь Ружена понимала, что до желаемого финиша она все равно бы не дошла.

Он начался вполне невинно, этот злосчастный день. После обеда Михал, как и обещал, привез Роберта, и тот с первой же минуты начал вокруг нее увиваться. Сыпал комплименты, казавшиеся ей смешными, но весьма лестными. Ничего не скажешь, остроумен и очень мил. Похоже, он тут же стал делать ей авансы, не обращая никакого внимания на Михала. Ружене это было приятно и вместе с тем смущало. Заманчиво, но боязно выдать себя. То, как держался Михал, ее раздражало. Разве не любопытно наблюдать, что кто-то лезет вон из кожи и ничего добиться не может? Громусовская самоуверенность, высокомерие и пренебрежительность! Более того, Михал всячески давал ей взглядом понять, чтобы она разжигала Роберта в его безумствовании.

Он усадил ее и Роберта рядышком на кушетке, а сам

присел напротив. И выглядел совсем как человек, который из злорадства разыгрывает такую сцену, которой мог бы, вспоминая, забавляться до самой смерти: «Помнишь, как Роберт тогда в Худейовицах?.. Ну скажи, ты встречала когда-нибудь большего осла?»

Хотелось бы ей видеть женщину, которая согласится играть роль в подобном фарсе. Играть, и не чувствовать себя оскорбленной, и устоять перед искушением оставить с носом того, второго! С этой минуты Ружена считала, что льет воду только на свою мельницу. На столе появилось вино, совсем легкое, сладенькое, которое она любила. Она смеялась и все чаще поворачивалась к Роберту, желая поддразнить Михала и пробудить в нем ревность, ибо какие-то неясные опасения подспудно гнездились в ее душе. И Ружена не давала себе забыть, что ей нужен прежде всего Михал. Полчаса ее внимание и разум были обострены. И хотя ситуация, в которой она оказалась, становилась все сложнее и Ружена с трудом могла во всем разобраться, она была убеждена, что в ней перевешивает стремление использовать старую женскую уловку: стать дороже тому, кто нужен тебе, внушив ему опасение, что он может тебя потерять быстрее, нежели в своей самоуверенности самца себе представляет. Она окончательно утвердилась во мнении, что ее намерения удались, когда, наклонившись к ней, Михал шепотом попросил ее переодеться именно в этот халатик, в который сейчас она куталась, дрожа от озноба.

Они продолжали пить. И вдруг Михал, достав часы, с видом человека, совсем забывшего за веселым застольем о делах чрезвычайной важности, попросил извинить его. Через час, самое большее — два, он возвратится, ах эта чертова коммерция, даже на полдня не оставляет в покое. В этом странного не было ничего, он и раньше частенько уезжал от нее, чтобы утрясти какие-то дела. Роберт молодцевато выпрямился и заявил, что отправится вместо Михала.

— Сиди, сиди, — смеясь ответил тот. — У тебя язык заплетается, и еще неизвестно, твердо ли ты держишься на ногах.

Ружену охватили слабость и смятение. Она знала себя, понимала, что с ней сейчас творится, и боялась этого. Отношениями с Индрой она пыталась успокоить вечно терзающую ее совесть. Но теперь с ней происходит совсем другое, ее манит безудержная свобода и вседозволенность, где нет закона, нет границ и больше ничто не может помешать

утолению неугасимой жажды. Ружена вышла вслед за Михалом в коридор.

— Не уезжай, — попросила она, обняв его. — Я, похоже, опьянела.

Он рассмеялся, всунул руки ей под халатик и стал гладить голые плечи. Ружена прижалась к нему. Все ее тело пылало, и в холоде передней она почувствовала это с особой силой.

— Ну-ну! Не пей больше, глупышка, — сказал он.

— Неприлично оставлять меня с ним наедине.

Михал пожал плечами.

— Ничего не напишешь. Надо. К тому же — Роберт? С таким же успехом я мог бы оставить тебя со своей бабушкой, если б она у меня была.

Михал уходит. «Свинья все-таки человек, — думает он. — Ну, а что прикажете делать?» Ладони еще горят от жара Ружениных плеч. «Эта девчонка как печка. Чем все кончится?»

Он включил зажигание, раздался металлический щелчок. Мотор остыл, не хочет заводиться, несет бензином, машинным маслом, кожаными чехлами, холодным металлом и сигаретным дымом. «Я еще могу вернуться и сказать, что все равно опоздал. Сейчас они наверняка смотрят, действительно ли я уезжаю». Наконец машина завелась, надо прогреть мотор, чтобы сразу не заглох. Впрочем, это не более чем небольшая проверка. «Не обязательно же Ружене поступать именно так, как я предполагаю». Автомобиль тронулся наконец с места, оставляя за собой на снегу две черные полосы. А снег все сыплет и сыплет.

Михал возвращается, он крадется, как вор, жмется к стенам домов, чтобы его не заметили из окна. Машину он оставил перед рестораном, куда ходит с Руженой танцевать. Странное занятие для молодого промышленника, который собирается стать магнатом. Но что такое одна человеческая судьба в его большой игре? Сейчас он просто озябший негодяй, он жмется к стенам еще и потому, что пытается укрыться от ветра, а по улице мчится ледяной ветер, и мерзлый снег колюче хлещет его в лицо. Но это не имеет значения. Михал напряжен, как струна, буйная фантазия распаляет его мозг. Он не в состоянии преодолеть отвращения и проглатывает то, чего не может выплюнуть. Но, если задуманное им провалится, Михалу не останется ничего, как закончить эту историю, по обыкновению откупившись. Он останавливается на лестничной площадке и глубоко дышит, чтобы успокоиться. Ощупав холодную

оковку дверей, он пальцем находит замочную скважину. И, сжимая обеими руками ключ, так, чтобы избежать малейшего шума, всовывает его в замок и медленно поворачивает.

Передняя слабо освещена проникающим сюда через матовое стекло из дверей Ружениной комнаты светом. Михал слышит приглушенный голос Роберта и взрывы Ружениного смеха. Он замечает, что дверь хозяйкиной комнаты приоткрыта. Никуда не денешься, пришлось посвятить старуху в свой план, ибо, кто знает, не потребуется ли она в качестве свидетеля. Уж коли сам влез в грязь, то перемажешь и всех вокруг. Время тянется бесконечно, не утихает Руженин смех и бормотанье Роберта. Нет, не удалось. И тут внезапно наступает ошеломляющая тишина. Михал приотворяет дверь пошире и, затаив дыхание, прислушивается. Бешенство, истинное бешенство раздирает его сердце. Из хозяйкиной двери высунулась рука, машет ему и тычет в сторону Ружениной комнаты. Чтобы найти в себе силы и придать лицу соответствующее выражение, нужно время, но вот он несколькими быстрыми шагами преодолевает прихожую и распахивает дверь.

— Вы видели? — говорит он квартирной хозяйке, которая успела вылезти из своей комнаты. Голос у него пресекается, он заикается, он слишком потрясен увиденным. Нельзя так играть с людьми.

— Запомните хорошенько, возможно, вы мне еще понадобится, — произносит он, чтобы завершить игру в нужной тональности. Он громко, с треском захлопывает за собой дверь, выскакивает из дому и бежит по улице до самого перекрестка, не в силах заставить себя идти спокойно. Здесь улица переходит в другую, более оживленную. Пройдет много дней, пока он снова почувствует себя Громусом, которому дано пренебрегать другими и восхищаться собой.

Роберт оделся и долго смотрел в окно. Ну что там еще? Она все сидит в той же позе, с закрытыми глазами, прижав колени к подбородку. Ничего не поделаешь, девочка, я знаю, это пошло и ты проиграла какую-то большую игру, но что делать? Ничего не придумать, ничего не исправить. Он закурил. Если тебя швыряло чуть не по всему свету и ты испытывал еще не такие сальто-мортале судьбы своей и чужой, тебя непросто вышибить из седла. Его принцип — избегай неприятностей, а если уж налетишь, то удирай как можно скорее. И этот принцип всегда отлично на него работал. Разве нынче его дела не лучше, чем когда-либо? Сто тысяч! Приличная монета, хотя он промотал за свою

жизнь куда больше, но сразу таких денег никогда не держал в руках. Будь благословен папашка этого дурака. Роберт испытывал к нему искреннюю благодарность, как, впрочем, ко всем людям, чьи деньги он беззаботно пускал на ветер.

За окном сыплет мелкий снег. Улица тонет в нем, косо заштрихованная и подсвеченная уличным фонарем. От одного вида снега бросает в дрожь. Лучше, пожалуй, отсюда смотреться. Каждую минуту девчонка может удариться в истерику. При этой мысли Роберта бросает в дрожь сильнее, чем при виде метели. У Роберта свой опыт с женскими истериками, и опыт плохой. Схватить шляпу, пальто и тихо испариться. Она, надо полагать, даже головы не поднимет. Роберт повернулся к зеркалу и с минуту изучал свое отражение в его гладкой, равнодушной поверхности. Да, там единственный человек из всего рода человеческого, ему симпатичный и не дающий повода для недовольства, Роберт Алекс. А уж для него-то в этом мире всегда отыщется сладкий кусочек и мягкая постель.

Роберт присел на круглый пуфик перед зеркалом. Ему предстоят пренеприятные четверть часа, но он согласен на них. Впрочем, неприятно может быть лишь тем, кому дано это понимать, но он не из таких!

Роберт закурил вторую сигарету и, затянувшись, выпустил дым.

— Послушайте, — произнес он мягко, а Роберт умел говорить мягко, что ни к чему не обязывало, но льстило. — Послушайте, Руженка, алло! Нельзя же сидеть так все время. У вас наверняка уже болит спинка.

Случилось то, чего он ожидал. Упрямица еще крепче сжала веки. Его голос не вывел ее из транса. Возможно, вспышка еще впереди, но теперь это будет просто нервный срыв от пережитого стыда и мучительного сознания проигрыша. А когда все пройдет, она будет благодарна, что он остался и выслушивал ее излияния более или менее терпеливо и молча.

Он прикинул, можно ли уже погладить ее.

— Ну-ну, Руженка, не глупите. — Роберт легонько провел ладонью по ее волосам. Она дернулась всем телом и отбросила его руку.

— Вы еще здесь? Почему не ушли? Почему не убрались вместе с ним? Выполнили все, что ему надо, так чего же не убираетесь?

Роберт издал свой идеально отработанный вздох великомученика, как и в те времена, когда лондонская францу-

женка узнавала о карточных долгах и ему приходилось выслушивать ее упреки.

— А что он хотел одним махом избавиться и от меня и от вас, вам не приходит в голову?

В комнате было тихо. Но из передней доносились легкие шорохи. Хозяйка подслушивала под дверью и не могла не шуршать своим платьем из плотного шелка. Впрочем, это уже не имело значения. Она успела увидеть предостаточно. Роберт вопросительно взглянул на дверь, но Ружена скривила губы и пренебрежительно махнула рукой.

— Да пусть ее. Так или иначе, мне придется отсюда выкатываться. Но все, что вы сказали, вранье. Вы просто пытаетесь выкрутиться.

Роберт перетащил пуфик от зеркала к кушетке. «Сейчас, девочка, мы договоримся, не будь я Роберт! Ведь ты не первая женщина в моей жизни. Все вовсе не так плохо, как я опасался».

— Хотите держать пари, что я говорю чистую правду? Михал намерен избавиться от меня, так же как и от вас. Он знал, что вы мне нравитесь, и потому втравил в эту историю. Ему, как обычно, повезло. А я налетел как последний идиот.

Ружену неприятно задело такое заключение.

— Вы сожалеете?

Роберт рассмеялся. Все шло, как он предполагал. Черта лысого он сожалеет. Просто злится, что одурачен. А в остальном это самый прекрасный вечер в его жизни. По крайней мере, сейчас он лучшего не припоминает.

Ружена тихо слушала его. Пускай болтает. Ей приятен чей-нибудь голос, он отгоняет невеселые мысли. Она понимала, что после всего, что стряслось, он уговаривает ее продолжить отношения. Очень мило с его стороны. Он имеет право вести себя как ни в чем не бывало. Роберт раскрывал семейные тайны, давно известные ей от людей и из намеков Михала. Впрочем, Роберт говорит все это, стараясь убедить ее в том, что Михал на такую подлость способен, но абсолютно исключено, чтобы он, Роберт, мог быть заодно с Михалом. Язык у него подвешен что надо, и это его большая удача в жизни. Он умеет владеть им: захочет — держит за зубами, а понадобится — мелет без удержу. Пускай себе говорит, слушать приятно, какую бы окоlesiцу он ни нес. Только бы, ради всех святых, понять, зачем было Михалу подстраивать эту гадость.

— Михалу нужно развязать себе руки, только и всего. Никакого груза прошлого. Сначала он разделался с моей

мамашей, теперь настал мой черед. Не пойму, чем я ему мешал. Возможно, прикинул и решил: с меня довольно и того, что оставил старик, и незачем больше раскошеляться. Ни геллера из громусовских богатств, даже если я их честно зарабатываю. А что касается вас? Думаю, он собирается жениться.

— Нет! — крикнула Ружена, но это была лишь инерция старых мыслей и надежд. Она махнула рукой. Была дурой, когда надеялась, и в десять раз большей дурой, когда ради этого лезла из кожи вон. Пусть поступает как угодно, ей безразлично. Она может только поздравить себя, что тоже не терялась. И, вспомнив Индру, почувствовала горькое раскаяние. Разве не то же самое проделала она в прошлое воскресенье с Индрой? Сегодня он не пришел и, наверное, никогда не придет. Но хватит. Она тоже не желает иметь груза прошлого, не намерена рыться в нем и укорять себя.

— Я полагаю, он собирается жениться на Вильме Ролиновой, — продолжал Роберт, не дождавшись вопроса и развивая свои предположения теперь уже по собственной инициативе.

— На этой? — Ружена злорадно захохотала. — Да ведь она не женщина, она статуя.

И Роберт почувствовал себя счастливым, как пророк, который опять оказался прав. Его понесло:

— Я сказал ему то же самое, когда увидел ее в первый раз. Но, вероятно, такова уж судьба всех Громусов — пытаться оживлять камень. Разве моя мать другая? Ее вполне можно поставить покойнику Громусу вместо надгробного камня.

Ружену передернуло. По ее понятиям, не полагалось так говорить ни о родителях, ни о мертвых. А у нее самой теперь есть родители? Если б мать встретила ее на либницкой площади, то отвернулась бы и притворилась, будто не знает ее. А отец? Обожание, вечный вопрос и изумление в глазах.

В комнате стало прохладно, в печку забыли подбросить дров. Жизнь, похоже, взывала к жизни, которая, что бы там ни случилось, продолжается. Ружена опустила босые ноги с кушетки и шарила по полу в поисках туфелек.

Роберт, так хорошо знавший цену маленьким знакам внимания, ничего нам не стоящих и так дорого ценящихся, тут же бросился на колени и стал обувать ее.

— Какие холодные, — шептал он с преувеличенным сочувствием.

Он взял ее левую ногу и подержал в ладонях, согревая своим дыханием. Ружена растаяла, а это было уже слабостью. Жизнь на этом вовсе не кончилась, есть свои остановки в пути, но всегда стоит наготове поезд, который отвезет тебя дальше, к другой станции. Так ведь только того она и хотела — быть веселой путешественницей, умеющей покидать насиженные места, не обременяя души печалью! Она смотрит на макушку, склонившуюся к ее ногам, где черные волосы спиралью закручиваются к белой точке, являющейся как бы источником их роста. Могла ли она желать лучшего компаньона в дорогу, чем этот самый Роберт, как будто явившийся к ней из романа для девиц? На столе стоит стакан воды, единственный среди недопитого вина, потерявших вид пирожных и пепельниц с окурками. Напиться, смыть горечь, засевшую в горле. Разве это ей нужно? Либницкой швейке Ружене Баладовой? Остановите поезд, она хочет вернуться назад. Домой, домой. Папа! Индра!

Ружена положила руку на голову Роберта:

— Подбросьте дров в печку, прошу вас. Здесь так холодно.

Он поднял голову и заглянул в ее глаза.

— Вы мерзлячка, — улыбнулся он. — Вам нужен юг, тепло.

Сто тысяч вспыхнули перед ним, как маяк, указывающий путь. Жить, как те, которых он, учтиво кланяясь, обносил бокалами с коктейлем. Растроганный такой мыслью, он подсел к Ружене и, обняв ее, прижал к себе:

— Что вы скажете относительно весны и моря?

За стеной, в хозяйкиной комнате, раздался чистый долгий металлический звон. Пятнадцать минут неизвестного часа. Что же это? Говорят, печаль иногда порождает радость.

— Придет же такое в голову, — ответила Ружена и засмеялась. И засмеялась еще раз, чтобы слышать свой смех.

Поднимешь голову от работы, хочешь хоть немного расправить спину — и вдруг обнаруживаешь, что на дворе конец января. Инвентаризация и подведение баланса! Ползимы как не бывало, а мы так и не вкусили от ее радостей. Какие там горы, какой снег, какой там чистый морозный воздух! Строгая дисциплина. Если мы подчиняемся ей сами, то без угрызений совести можем требовать и от дру-

гих. Но сегодня все готово и лежит перед нами, как картина, отчетность за прошедший год. Нет более ясной речи, чем речь цифр, для того, кто их любит. Рельефная карта не может быть выразительней. Здесь мы выиграли, а это что за бугры? Они свидетельствуют о том, что наши усилия не были тщетны, а тут вот дальше рассыпаны крохи успеха. Мы много вложили и мало вернули, но однажды мы вознаградим себя. А вот это потери. Плакали наши денежки. Безутешный, хмурый край. Полярная ночь, замерзшие долговые иски.

Михал встал и, упираясь кулаками в поясницу, потянулся. Хватит. До сих — и все. Сигарету. Первая за-тяжка — забыл и покурить — погладит по затылку, как бархатная ручка. Голова кружится. С крыши за окном свисает огромная сосулька. Каждое утро сторож ее сбивает, а к обеду она висит снова. Солнце единоборствует с морозом, а где-то в водостоке дыра, которую осенью не закрыли. И вот результат. Свободное падение капель и преломление солнечных лучей в друзе ледяных кристаллов. Горы! Искрыстые просторы снегов. И приятная истома по вечерам у печки, в которой потрескивают дрова.

Усталый Михал поднял телефонную трубку и обрадовался, что на другом конце провода сразу отозвался голос Вильмы.

— Я решила, вас уже нет в живых.

— Это и есть благоденствие капиталиста. Мой бухгалтер закончил в десять вечера, я в два ночи.

— Бедняжка. Почему бы вам не поменяться местами?

Колючая, как обычно. Он колебался. Из его голоса исчезли первоначальные восторги, осталось лишь некоторое своеобразие.

— Не хотите ли на несколько дней съездить на Мюллерову Гуть?

Тишина. Шумы и шорохи в трубке. И вдруг:

— Хочу... А впрочем, почему бы и нет? Если не станете преследовать меня любовными предложениями.

Теперь молчал Михал. С огромной сосульки падали капли. Раздражающее зрелище. Сосулька. Сбить ее. В огонь! Чтоб растаяла, испарилась!

— Вы онемели?

— Я хотел сказать, что не ручаюсь.

Трубка завибрировала от смеха. Михал немного отвел ее от уха.

— Не огорчайтесь. Конечно, поеду. Но сейчас у меня еще дела.

— Я заеду за вами завтра, в половине девятого, — добавил Михал и повесил трубку. Трубка была влажной. Михал не помнил, чтобы когда-нибудь при телефонных разговорах у него потела ладонь. Он достал платок и тщательно вытер руку. Подошел к печке и взял кочергу. Солнце было прямо в окно, сосулька ослепительно сверкала, капли теперь соединились в тонкую струйку и, трепеща, спускались к земле серебряной нитью. Михал распахнул настежь окно и размахнулся. Сосулька, хрустнув, разлетелась, как стекло.

— И ничего нельзя сделать?

В вопросе Ролина, как это можно было предположить, отчаяния не звучало. Скорее недоверие человека, который не хочет понять, что и в самом деле все кончено.

Нотариус Пуркл ерзал на своем стуле и дергал плечами. Ну, не детская ли наивность? Этот человек состарился на коммерции, следовательно, для него нет тайн в ее многоликом коварстве. Бывал не раз бит, да и сам, случалось, наносил удары, иначе его сожрала бы собственная волчья стая. Почему он так и не сообразил, когда надо остановиться? И нотариус — этот вечный соглядатай, этот легавый пес, хищно идущий по следу, жаждущий узнать новое, касалось ли дело птиц или людей, этот свидетель, стоящий над рекой жизни и удовлетворенно покачивающий головой, будто может еще сомневаться, что однажды она подмоет берега и под его ногами тоже, — сейчас алчно впился взглядом в лицо Ролина. Неужели Ролин все еще верит в спасение?

Тяжелая львиная голова сотворена из наипрочнейшего материала, резьба по твердому дереву. Но лицо затравленного напрасной борьбой человека. А глаза еще светятся. Почему он должен считать себя побежденным? Он строил свою жизнь на простом, но правильном принципе, который во все времена вознаграждал тех, кто оставался ему верен. Он верил в честь ремесла. Мебель, выходящую из его мастерских, делали на века, она переходила из поколения в поколение, как свадебные костюмы наших предков. Ну что ж, в принципах, видимо, что-то дало осечку, а может, и в устройстве мира. Ибо черта ль теперь людям и добротной работе, если они хотят купить дешево? Нет таких слов, которыми вы можете убедить их, сколь велика разница между спальней орехового дерева из ваших мастерских и той, что вам всучат, на две и даже на три тысячи дешевле,

многочисленные конкуренты. И та и другая одинаково блестят полировкой, и покупатели, обработанные рекламой других предприятий, недоверчиво кивают головами и, защищаясь улыбкой, уходят, чтобы больше не вернуться. У людей все меньше денег, вот в чем дело, а количество, выданное машиной, обесценило и лишило уважения такое понятие, как качество. Разбито доверие, этот драгоценный хрупкий сосуд, без которого невозможно мирное сосуществование. Внезапно оказалось, что оно было облаткой для человечества и теперь, без этого, мир опустел, как храм, покинутый богом, и все закачалось в основах: мир, общество и его институты. И даже покупатели, что еще оставались у Ролина, оказались мерзавцами, решив, что платить не станут, даже сделав заказ, а другие, разбогатев и вознесшись на волне конъюнктуры, обанкротились прежде, чем мебель была готова для доставки.

Ролин успел пройти значительную часть крестного пути унижения, которым должен пройти каждый, чьи денежные обязательства превысили платежеспособность. Пока дело не дошло до балансирования на лезвии ножа, он еще тешил себя надеждой, что многие обязательства покрыты его векселями и долговыми расписками. Он влез в долги не потому, что был расточителен, а потому, что был промышленником, раздавленным и ограбленным трудностями, обычными для нынешних времен. Сдаваться Ролин не желал. Он опирался на совесть порядочного человека, никогда в жизни не жульничавшего, как на посох, вырезанный в собственном лесу. Терпение, терпение! — зывал он ко всем, размахивая списками своих должников. Увы, его векселя были преимущественно безнадежны.

И все-таки он не хотел признавать своего поражения, и, когда нотариус Пуркл неофициально, но как лицо официальное и как приятель сообщил, что либницкая ссудная касса собирается пустить его предприятие с молотка, Ролин вскричал:

— Разве и в самом деле уже ничего нельзя сделать?

С языка нотариуса Пуркла вот-вот готов был сорваться злорадный ответ: «Можно. Оплатить!»

Но Пуркл вовремя остановился. Он явился сюда не затем, чтобы раздразнить старого Ролина и насладиться его беспомощностью.

— Я и понятия не имела, что все так плохо, — поспешно сказала Вильма.

Сперва Пуркл не хотел разговаривать при Вильме и сделал попытку спровадить ее, чтоб она оставила их

наедине, но Ролин рассудил, что нет больше смысла скрывать от дочери то, что вскоре, так или иначе, станет известно всему городу. Вильма не ужаснулась, не испугалась, а лишь удивилась. Отец, случалось, говорил при ней о своих затруднениях, но никогда не давал понять, что ему грозит полный крах. Торги! Банкротство! Конец всем планам, которые зиждились на уверенности, что однажды она станет владелицей отцовской фабрики. Вильма обдумывала ситуацию без волнения. Сюрприз приняла. Однако не потому, что была так уж дальновидна. Просто должен же быть какой-нибудь выход! Она поддержала отца и тоже хотела узнать подробнее, можно ли что-нибудь сделать, прежде чем принимать решение.

— Почему вы раньше не предостерегли нас? Две недели — слишком малый срок для решительных мер.

Нотариус фыркнул, как обозленный кот. Присутствие девушки с оскорбительно правильным и красивым лицом и серыми как лед, пристально глядящими глазами было ему неприятно.

— Прошу прощения, юная дама, — отвечал он, глядя на Вильму, как учитель на ученицу, — но ваши слова звучат как обвинение. В мои обязанности не входит предупреждать кого бы то ни было о грозящей ему опасности. И я не убежден, что своей дружеской услугой не нарушил бы обязательств, налагаемых на меня членством в правлении ссудной кассы. Впрочем, при заключении договора с паном Громусом я достаточно прозрачно намекнул вашему отцу, и он имел время понять, что его ожидает. Но вы, Ролин, сдается мне, никогда об этом всерьез не задумывались.

— Вы ссудили мне деньги без всяких затруднений, — воскликнул Ролин. — Откуда мне было знать, что ваши намеки не более чем преувеличенное предостережение!

Святая простота! И как этот человек не обанкротился еще перед войной? Впрочем, жизнь тогда была милосердна даже к недотепам, это теперь она стала безжалостной. Пальцы правой руки нотариуса забегали по невидимой клавиатуре.

— Эти деньги принадлежат пану Громусу, — сказал он, уставившись на тупые носки своих башмаков. — Он желает, чтобы вам дали возможность выполнить его заказ, и обеспечил кредит. Иначе бы вам его никогда не дали.

Вильма закусила нижнюю губу, сразу став дурнушкой. Подбородок выдвинулся, и зубы, казалось, вот-вот расколют побледневшую кожу.

— Какое бесстыдство, — произнесла она медленно и глухо.

Ролин поднялся, упираясь кулаками в стол. Рот его открылся, как у человека, которому нанесли удар под ложечку и он не может перевести дух. Он дрожал всем телом. И долго шевелил губами, прежде чем ему удалось издать вопль:

— Вон! Вон! Убирайтесь отсюда! Я не позволю оскорблять себя в собственном доме. Это пока мой дом, вы его еще не получили. Вон, говорю!

Пуркл чуть сторбился на своем стуле. Этот Ролин окончательно спятил. Но какой смысл пытаться успокоить его и продолжать разговор? Нотариус встал, двинулся к дверям, мелко семеня ногами и все еще сторбившись. Там он остановился и обернулся к отцу и дочери.

— Вы, Ролин, по всей вероятности, тронулись умом. Бог с вами, — сказал он и выскочил с такой поспешностью, будто ожидал, что в него запустят чем-нибудь тяжелым.

Ролин смотрел на двери. Он казался помолодевшим и воинственным. Этот старик справится с десятком молодых, в этом пне еще гуляют соки, попробуй выкорчуй его, это будет потруднее, чем свалить дерево, от которого он остался. Но потом кровь отлила, оставив на лице пепелище: серую бледность да глубокие морщины, в которых, словно обгоревшие балки, лежали густые тени.

— Экая вошь, — выдохнул он остатки неистовства и тяжело опустился в кресло.

Вильма достала из кармана своего белого рабочего халата пилочку и принялась подпиливать ногти.

— Это было необязательно, — произнесла она, не обращаясь ни к кому.

В комнате воцарилась тишина. Сквозь нее, как товарный состав сквозь безлюдный край, пробивалось тяжелое дыхание Ролина.

— Я думаю, Вильма, нам действительно пришел конец.

Она оставила ногти, выпрямилась и посмотрела на отца.

— Я в этом не сомневаюсь. Почему ты раньше не говорил мне, как обстоят твои дела?

— Я сделал все, что мог.

— Важен конечный результат.

— Вильма!

Он молил о милосердии. Он всегда боялся дочери, но сейчас она повергала его в ужас. В ответ на его отчаянное восклицание она пожала плечами.

— Нужно что-то придумать.

Ролин поднялся и подошел к окну. О господи, как он одинок. Взглянул вверх, небо низко нависло, тяжелое и серое. И не на кого опереться. Как выглядит со стороны обнищавший человек? Когда осталась лишь одежда, прикрывающая тело, а в теле несчастная, трусливая, нищая душа? Ролин не мог поверить, что через несколько дней его выгонят отсюда и он никогда не посмеет свободно войти в дом, где родилась его дочь и умерла жена, где он, можно сказать, прожил половину жизни. В тот дом, который построен на его труды и деньги. Надежда в нем умирала; ей и прежде не раз приходилось туго, но она всегда возвращалась к жизни. Теперь она умирала. И ее судорожные корчи сотрясали его тело. О, нет!

Он резко повернулся. Выход столь очевиден! Как ему сразу не пришло в голову?

— Переговорю с молодым Громусом. Если он так заинтересован именно в моей мебели, то, вполне возможно, захочет мне помочь.

Вильма подняла руки к лицу и принялась изучать форму ногтей, которые только что закончила подпиливать. Потом сказала:

— А зачем ему это делать?

Ролин изумился, словно не понял вопроса.

— Зачем ему это делать, я спрашиваю? Зачем ссужать тебя деньгами, если все, что он узнает, свидетельствует о том, что он их непременно потеряет? Какую ты можешь дать ему гарантию?

И, словно бы состояние Ролина не было на краю гибели, словно бы знак фирмы ежедневно осыпает золотой дождь, Ролин выпятил грудь и заявил:

— Я приму от него деньги как пай и предложу стать моим компаньоном.

Острый, сладковато-едкий запах ацетона распространился по комнате. Вильма, кончив орудовать пилочкой, принялась покрывать ногти лаком. Розовый лак в восьмигранном пузырьке переливался перламутром.

— Нужно быть безумцем, чтобы согласиться обременить себя оплатой твоих долгов. Через две недели он получит все, что от тебя осталось, дешевле и свободным от обязательств.

Ролин несколькими длинными шагами пересек комнату и, упершись в стол кулаками, нагнулся над Вильмой. Она не дала себе труда взглянуть на него и продолжала покрывать ногти тонким слоем лака. Чужая, равнодушная, далекая. Отчий кров рушится, а она делает вид, будто ее это

не касается. Резкий запах ацетона раздражал Ролина. Ему хотелось смахнуть со стола этот пузырек с отвратительно пахнущей жидкостью, заорать, запустить пальцы в завитые волосы дочери и таскать до тех пор, пока она не станет по-детски просить:

— Папочка, папочка!

Но поздно, он упустил время, много лет назад надо было почаще братья за гибкие обрезки фанеры и внушать ей уважение, настоянное на страхе, вместо того чтобы тщетно воспитывать чувство любви.

— Он собирается так поступить? — напряженно спросил Ролин, и Вильме тон его показался слишком аффектированным, как у актера старой школы в его последний выход на сцену, к публике, давно отвыкшей от сантиментов и гипертрофированных переживаний.

— Он сказал что-нибудь в этом роде?

Вильма засунула кисточку в пузырек и, как школьница вытянув перед собой на столе руки, произнесла:

— Я еще не говорила с ним об этом. Но если он сам не сообразит, то поговорю.

Ролин, задохнувшись от этого необъяснимого откровения, молчал.

— Ты сошла с ума, — выдавил он наконец.

— Нет, папочка, просто ты не способен рассуждать. Ты лишился фабрики, но я ее терять не желаю. Она нужна мне для себя. Я сделала на фабрику ставку и всегда ее делала и попытаюсь принудить молодого Громуса купить ее, купить как можно дешевле и без долговых обязательств. Обремененная твоими долгами, она мне ни к чему. И, если Громус меня послушается, я выйду за него замуж.

В комнате наступила тишина. Мысли Ролина были тупы и обрывочны. «Я подожгу дом, сожгу все, они никогда его не получают. Это мое, это ведь все мое, я никого не обокрал!» Тишина впитывала тоску и все разрасталась. Скользящий шорох бархотки по ногтям всего лишь ее дыханье. Когда Вильме было три годика, она любила расчесывать его волосы. Нельзя было отпускать ее за границу. Самым страшным страхом был страх, что ему никогда больше не придется ходить среди свистящих трансмиссий и по-дружески, с тревожным интересом склоняться над готовыми изделиями, заглядывая через плечи своих рабочих на пропитанное сладчайшими ароматами, терзаемое железным инструментом дерево, продираться среди сугробов опилок и шуршащей стружки, видеть превращение грубых и корявых досок в столы, шкафы и кровати, которые потом

станут частичкой семейного очага, счастливого, грустного и мучительного, станут домом, сладостным благодаря любви и безопасности, горьким и бурным от свар. Ах эти столы, шкафы и кровати, которые не просто будут стоять в квартирах, но до самой смерти останутся жить в сердцах тех, кто среди них коротал свой век. Пальцы невольно сложились в отчаянной мольбе, приблизились к дочери и снова отпрянули.

— А что будет со мной?

Вильма отложила бархотку и посмотрела на отца. Как немощна старость. Но в нем еще есть кое-что: упорство человека, который без дела просто умрет. Она отвергла его, не нашла и слова сочувствия, лишь пожала плечами.

— Я еще не знаю, что будет со мной. Но, если выйдет по-моему, для тебя здесь всегда найдется занятие. Но уж никак не коммерция, папочка, этого не будет.

19

— Доброй ночи, — кивнула головой Вильма, и Михалу оставалось лишь ответить:

— Доброй ночи.

Она ушла в свою комнату, не одарив его даже снисходительной улыбкой, какими женщины обычно извиняются, говоря: «Увы, мой милый, ничего не поделаешь, наши отношения еще не зашли столь далеко!»

От всей их поездки разило горелым, как от омлета, с которым поторопились. Михал сидел на кровати и разувался. Он стащил с ноги тяжелый лыжный ботинок и кинул его на пол. Дощатые половицы загудели. Снял второй и сидел босой, шевеля пальцами, чтобы разогнать кровь и избавиться от зуда, причиняемого шерстяными носками. Михал совсем не устал, наоборот, он еще поболтал бы или потанцевал, здесь джаз совсем неплохой. Но Вильма поспешила в свою комнату.

Он поджал пальцы, будто хотел вцепиться ногами в пол, когда вспомнил, с какой глупой надеждой, расплатившись, поднимался по лестнице следом за ней.

Михал закурил и, не раздеваясь, растянулся на постели. В его комнату проникали то бляющие звуки трубы, приглушенной сурдинкой, то приторно сладкое, тягучее и щемящее постанывание саксофона. Внизу танцевали. Какой смысл изводить себя мыслями? Он может просто спуститься туда, если так хочется, и, уж конечно, без партнерши не

останется. Нет, лучше раздеться и спать. И тем не менее он не смог заставить себя даже сдвинуться с места. Только сейчас усталость целого дня, проведенного на морозном воздухе, начала разливаться по телу, сковывать мышцы и вытеснять мысли мельканьем туманных картин.

Тихий стук в дверь застиг его на рубеже расслабления, бодрствования и погружения в дремоту. Он резко поднялся, вырванный из полусна, для которого этот стук был и родной матерью и смертью, и крикнул:

— Войдите!

Вошла Вильма, уже без свитера, но еще в кофточке и в лыжных брюках. Ее появление было настолько неправдоподобным, что Михал продолжал сидеть: он смотрел на нее тупо, как осужденный, которому за пять минут до казни пришли сообщить о помиловании.

— Похоже, вы спали?

Наконец он опомнился. Вскочил и двинулся к ней навстречу:

— Вильма! Как мило, что вы пришли.

Она придвинула к себе стул и загородилась им, прежде чем он успел к ней приблизиться.

— Сидите, где сидели. Я устроюсь здесь.

Он колебался. Как бы он ни вел себя с ней, она всегда поворачивала дело так, что он казался себе мальчишкой, смешным и нелепым. Вильма обошла стул и села.

— Прошу вас, сядьте,— повторила она.— Я пришла поговорить и, если вы будете стоять надо мной, не смогу вымолвить ни слова. Но сначала закурим.

И, когда он наклонился к ней и, щелкнув зажигалкой, поднес горящий фитилек, запах ее волос сразил его. Он погасил фитилек, бросил зажигалку на пол и, обняв ее сзади, скрестил руки на ее груди и погрузил лицо в волны волос. Она сидела не двигаясь и вдруг неожиданно прогнулась, груди ее соскользнули в ладони Михала, подняв руки, она притянула к себе его голову и, кусая, впилась в его губы долгим, хищным поцелуем.

— А теперь садитесь,— приказала она, отталкивая его.— Сейчас же сядьте, не то я уйду.

— Вы превращаете меня в марионетку,— вспыхнул Михал.

Но Вильма уже курила и, смеясь, выпускала дым.

— Полагаю, это для меня лучше, чем если б было наоборот. Впрочем, не дурите, Громус. Я сразу сказала, зачем пришла, и это отнюдь не повод, чтобы попасть в ваши объятия. Если не станете вести себя благоразумно, я уйду.

Михал хмуро смотрел на нее.

— Вильма, вы пробуждаете во мне нечто, чего я раньше за собой не знал. Сдается, что я мог бы вас задушить. Вы думаете, это любовь?

— Это, несомненно, болтовня, а остальное дело ваше. Скажите, у вас за день до нашего отъезда был нотариус Пуркл?

Удивленный подобным оборотом, Михал покачал головой. Нотариус не был у него уже несколько недель.

Вильма придвинула к себе пепельницу и с задумчивым видом смяла окурок. Она и не предполагала, что ей будет так трудно сказать то, что она собиралась.

— Вы как-то обмолвились, что хотели бы на мне жениться.

И ради этого она сюда явилась? Почему в таком случае сначала спросила про Пуркла? Михал не мог проследить взаимосвязи, а Громусы всегда становились недоверчивы, если не могли ее проследить. Но, что бы ни крылось за этим, Михал может с определенностью ответить:

— Да, и говорил и думал. Вы мне просто нужны!

Вильма смотрела на горящий кончик новой сигареты и улыбалась.

— Как у вас все замечательно просто. «Хочу!», «Нужны!» — девиз преуспевающего мужчины. Сегодня, надо полагать, он котируется особенно высоко. Хотелось бы мне знать, и как же вы намерены это осуществить, если я не пожелаю? Но дело не в этом. Когда вас охватило благородное намерение на мне жениться, вас не огорчила мысль, что в один прекрасный день в ваши объятия вместе со мной свалится и фабрика моего отца?

Связь все еще ускользала от Михала. Эта девица перескакивала с предмета на предмет и не оставляла насмешливого тона, чем, видимо, хотела Михала на что-то спровоцировать. Никогда еще он не чувствовал себя более тупым, чем в эту минуту. Фабрика ее папаши! Что ж, насмешка за насмешку!

И, посмотрев на нее, со всей решительностью ответил:

— Я не был бы коммерсантом, если б не учел и этого. И не могу сказать, что сей факт доставляет мне большую радость. Дары данайцев. Что касается меня, я предпочел бы, чтоб вы оказались бесприданницей.

Тут Михал слегка побледнел, испугавшись, что хватил через край. Вильма смутилась, она не ожидала такого нелестного ответа. Она поднялась, и Михал, уверенный, что оскорбил ее, испугавшись, встал тоже.

— Вильма, — вскричал он поспешно, — это, естественно, не значит...

Она остановила его смехом и жестом.

— Парадоксальная ситуация, теперь вы станете утверждать, что женитесь на мне даже с таким приданым. Не беспокойтесь. Этого бремени я на вас не взвалю. По крайней мере, не в таком виде. Через две недели наше состояние пойдет с молотка. Думаю, сегодня об этом уже объявлено.

— Я ничего не знал, — смешался Михал. — Искренне сочувствую...

— Ах, оставьте, — снова перебила его Вильма. — Я не для того сказала, чтобы вы выражали мне сострадание. Я хочу слышать ваше мнение. Не станем сожалеть о долгах, что выросли выше фабричной трубы, но наверняка жаль самого предприятия и возможностей, которые не сумел использовать отец. Пожалуй, можно пожалеть и все то оборудование, помещения и станки, которые еще сгодятся в дело, если они достанутся кому-то, так сказать, за спасибо.

Михал расхохотался от внезапного воспоминания.

— Вам пришло в голову, что Громусы специализируются на скупке разорившихся предприятий? — Но тут же заговорил серьезно: — Вы хотите слышать мое мнение? Право, не знаю, что и сказать. Я никогда не производил мебель и никогда ею не торговал. Я не мебельщик и в этом деле не разбираюсь.

На улице вдруг поднялся сильный ветер. Деревянная «Мюллерова хата» застонала и вздрогнула под первым же его резким порывом. Вьюга швыряла в окно шрапнелью мерзлого снега, и ее завыванье сливалось со всхлипами саксофона, проникающими в комнату. Взвинченные нервы Михала эти звуки терзали, как смычок обезумевшего музыканта.

— Давайте сядем, и вы все взвесите, — предложила Вильма. — У меня к вам есть вполне конкретное предложение, но я была бы рада, если б и вам самому пришло в голову то же самое.

Что ж, это Михал понял с первых ее слов. Но ему не хотелось ничего взвешивать. Сознание, что он сидит с ней ночью наедине в комнате, в чьих стенах вздыхали и сжимали друг друга в страстных объятьях бесчисленные парочки, а ее воля делает ее такой недоступной, словно между ними натянута стальная сетка, через которую пропущен электрический ток, разбивает любую его попытку что-либо трезво взвесить. И к тому же этот ветер, что играет тоскливые хоралы на деревянном щипце крыши. Ледяной неистовый

ветер, он проникает в кровь, хотя вы укрыты стенами и вас обогревают батареи центрального отопления. Мне бы его ярость, и я посмеялся б над стальной сеткой, мне бы его напористость, чтобы я смог сжимать, крушить и не знать препон.

Вильма пристально смотрела на него из уютного уголка, пристроившись на стуле, придвинутом спинкой вплотную к столу. Положив на стол правую руку, она явно наслаждалась покоем, вытянув ноги в лыжных брюках, изящная и тонкая. Она прекрасно сознавала силу своей власти над Михалом, но не стремилась ни усугубить ее, ни уменьшить.

— Что же вы решили? — спросила она наконец.

Михал сердитым рывком распрямил плечи.

— Ничего. Я думал о вас.

— Что-то вы путаете, Громус. (По давней привычке, оставшейся еще со студенческих лет, большей частью проведенных среди парней, она обращалась к нему по фамилии, и Михалу это казалось насмешкой.) Если вы думаете о том, что сейчас ночь и вы тут со мной наедине, то отнюдь не об этом следует сейчас думать.

Вильма встала и подошла к нему. И, стоя над ним, продолжала презрительно:

— Вы сумасшедший. Вы хотите меня сейчас, немедленно, и прикидываете, что вам это даст! И какова ваша роль во всем этом? Вы можете быть со мною один раз, и все, а потом никогда. Все дело только во мне, а вы, — не в обиду будь сказано, — ваша роль тут второстепенна. Неприятно слышать? Но я говорю для того, чтобы все поставить на свои места, тогда вы поймете, что жалеть вам не о чем. И пусть у вас будет, ну, назовем это — надежда, потому что на какое-то время я беру вас в расчет в своих требованиях к жизни. Вам не угодно думать обо мне в этой плоскости, но это угодно мне. Увы, ничего не поделаешь. Спокойной ночи.

Она повернулась, чтобы уйти, а может быть, только сделала вид.

Эта минута решала будущее Михала и Вильмы и характер их взаимоотношений. Кто знает, она и в самом деле ушла бы, если б Михал, удерживаемый властной рукой праведного мужского самолюбия, не двинулся с места? Кому дано знать, не породила бы одна гордыня другую, которая вытолкнет ее за дверь? Кто знает, быть может, мучимые ночной темнотой и раздражаемые сожалениями о разбитых мечтах, ее гордыня и своеволие не легли бы прахом и не прибежала бы завтра Вильма просить, хотя

намеревалась вымогать и требовать? Но Михал не успел еще поднять бунта, как был отброшен волной испуга. Прежде чем Вильма успела сделать первый шаг, Михал схватил ее за руку и повалил рядом с собой.

— Вы останетесь здесь, — сказал он, пытаясь и голосу придать твердость и решительность. — Вы не смеее со мной играть. Я не сумел разгадать вашей загадки сам, так скажите мне ответ вы!

Он уже переживал такое или ему только кажется? Это глубже, чем всплеск воспоминаний. словно вскрикнуло что-то, что в нем давно шепчет и чего он избегал: плаксивая, убогая тоска, которая боится обнаружить себя, ярость, дробимая страхом, бессильная страсть, от которой дрожат руки, жажда убийства, а зубы стучат в смирении.

Почему именно сейчас ты вспомнил отца и Анну?

Он сжал Вильмино запястье с такой силой, что сам почувствовал боль, но Вильма на удивление легко высвободилась.

— Не пытайтесь повторить, — произнесла она самым будничным тоном и отодвинулась.

Ветер снова завыл в щипце крыши, словно голодный волк, окно задребезжало под его напором, и снег зазвенел по стеклу, будто кто-то швырнул лопату песка. Вильма вздрогнула.

— Здесь становится холодно, — сказала она и натянула на плечи одеяло.

— Вильма. — Михал молил голосом и глазами. — Позвольте мне сесть рядом и обнять вас. А потом говорите.

Она смотрела на него откуда-то издалека, будто обдумывая его предложение, и наконец ответила непривычно мягко:

— Нет. Тогда вы не станете слушать с тем вниманием, которое мне нужно. — И вдруг нагнулась к нему и сверкнула глазами. — Да перестаньте хоть на минуту думать о том, что я женщина. Мне нужно, чтоб вы решали, как деловой человек, а не как влюбленный сумасшедший, потому что за ваши безумства расплачиваться в первую очередь придется мне. Не желаю ни расплачиваться, ни сожалеть. Меня ужасает аукцион. Я всегда считала, что отцовская фабрика будет однажды моей. Это не просто имущество, но нечто, что даст мне возможность воплотить свои планы, не завися от тупых и корыстолюбивых предпринимателей. Мне эта фабрика необходима, Громус, и потому я пришла с предложением: я выйду за вас замуж, если на аукционе ее купите вы. Для вас это будет дешевое приобретение, а для меня

исполнение всего, чего я хочу от жизни. Но мне надо, чтобы вы отбросили мысль, что за это получите меня. К этому предложению подойдите как к выгодному или невыгодному помещению капитала. Решайте, старина, Либнице восхищаются вашей коммерческой хваткой, и, надо полагать, в этом есть доля правды. Если вы сделаете, как я того хочу, я выйду за вас замуж, если же сочтете, что с точки зрения чисто коммерческой это бессмысленно, я из Либниц уеду. Тогда мне здесь делать нечего.

Михал пожал плечами, желая, вероятно, что-то сказать, но Вильма опять взорвалась со страстью школьницы, которой заранее известны все возражения и она хочет их опровергнуть:

— Вы, конечно, имеете право знать, чего я, собственно, добиваюсь. Работать как отец — с этим уже покончено. Я это знаю лучше вас. Но открываются новые пути, которые его страшат, и новые технические возможности, необходимо только взять как следует дело в свои руки. Думайте, Громус, думайте — до завтра, или, если хотите, я даю вам целую неделю.

Договорив, она скинула с плеч одеяло и собралась встать. Но Михал сказал:

— Не спешите, не такая уж это проблема, чтобы я думал целую ночь или, тем паче, целую неделю.

Если отбросить, что он хочет ее.

Михал смотрел на румянец, покрывший ее щеки. Выходит, и у нее есть темперамент, да только не про него! Лучше не удерживать, пускай уходит, но это не поможет, все равно она постоянно перед глазами: он закроет глаза — и видит ее! С таким же успехом он мог бы выскочить на улицу и схватиться с воющей вьюгой, он и тогда будет видеть Вильму! Не думать, отвлекаться от мысли, что он жаждет ее. Да, он коммерсант, ей незачем это подчеркивать. Он никогда не был ничем иным. Этот уголок его души закрыт для женщин. Щетки «Громус». Гребни «Громус». Кто сделает броскую рекламу для его товара? Разве не с этим связана одна из первых мыслей о Вильме? Щетки, гребни, игрушки... «Папочка, купи мне игрушку «Громус». А почему бы не «Американский патентованный кухонный шкаф «Громус» — друг хозяйки» или «Семейный рай» — дачный домик «Громус». Нет! Не думать, отвлекаться от мысли, что жаждет ее.

— Какова будет продажная стоимость? — спросил он, ибо счетный механизм не прекращал своей работы и в мечтах.

В глазах Вильмы вспыхнули искорки победоносной усмешки.

— Полагаю, девятьсот тысяч. Оценено в миллион триста пятьдесят.

Михал прикрыл глаза. Девятьсот тысяч! Он видит перед собой все предприятие Ролина, как будто ходит по его мастерским. Он считает, прикидывает, каковы они на вид. Тут и совсем новые помещения, и старые. Самым старым, пожалуй, лет тридцать, новым — нет и пяти, эти строгальные станки совсем новенькие, и фрезерные могут еще десяток-другой годков послужить, лесопильня — большой мощности, на полную нагрузку ее еще не пускали, жилой дом, следует сказать, вполне приличный, восемь больших комнат, под жильем они ему не нужны, но вполне подойдут для главной конторы предприятия «Громус». Одно к одному. Михал сделал приятный вывод: по самым скромным подсчетам, все вместе тянет на миллион семьсот пятьдесят тысяч, и это — по скромным подсчетам!

— Покупаю! — воскликнул Михал и продолжал спокойнее, словно бы заключая в скобки то, чего не должна слышать другая сторона: — Если тут не таятся какие-либо завазы и цену не взвинтят выше миллиона двухсот тысяч. Покупаю! Но с одним условием: никто не должен вмешиваться в мои дела.

— Естественно, — ответила Вильма. — Да и кому вмешиваться! Но и у меня тоже есть условие: я хочу, чтобы мне была отписана половина. Я полагаю, что буду иметь на это право не только как ваша жена, но и потому, что стану там работать.

Сама судьба, кажется, послала Громусам жен, поющих одну и ту же песенку: «Половину сейчас, а остаток — после твоей смерти!» Похоже, смерть мужей является весьма существенной частью их жизненных расчетов.

Но у них с Вильмой, безусловно, все будет по-другому, не к чему вспоминать сейчас отца, его отношения с Анной и сравнивать свою жизнь с их жизнью. Впрочем, колебаться может только человек, имеющий выбор. А если выбора нет, то остается лишь сохранять хорошую мину при плохой игре и под дулом пистолета широким жестом дарующего вручить свой кошелек.

— Само собой разумеется, — сказал Михал.

Вильма осталась сидеть, прислонившись к спинке кровати, неожиданно вялая и безжизненная. На ее лице не мелькнуло даже проблеска радости или удовлетворения. Из коридора доносились голоса и женский смех, кто-то на-

свистывал танго. Постояльцы расходились по своим комнатам.

Вильма выпрямилась.

— Чуть было у вас здесь не уснула. Итак, с этой минуты мы, как принято говорить, обручены. Ну, не гротеск?

— Не пойму, — хмуро ответил Михал. — К чему вам непременно высмеивать любое чувство?

— Чу-увство? Вам нужна я, а мне нужна отцовская фабрика. Вы не получите меня, если не купите фабрику, а я не получу фабрику, если не выйду за вас замуж. О каком чувстве вы говорите?

Они стояли друг против друга, Вильма — засунув руки в карманы лыжных брюк. Прошло не так уж много времени с тех пор, как Михал читал Ружене нравоучения, чтобы застраховать себя от вспышки ее чувств и тех неприятностей, которые могли в связи с ее чувствами возникнуть. Прошло решительно недостаточно времени, чтобы мелькнувшее воспоминание не отозвалось мстительным эхом его собственных слов.

— Ну, а там, где обручение, там объятья и поцелуй, не так ли? — неожиданно сказала Вильма и положила ему руки на плечи.

Он сжал ее и поцеловал с алчностью голодного, впервые за много дней набросившегося на еду.

— Оставайтесь, Вильма.

Она прогнулась и больно уперлась острыми локтями в его грудь. Повиснув на его крепко сомкнутых руках и выгнувшись, она молча и пристально смотрела ему в лицо.

— Пустите, — сказала Вильма глухо и бесцветно, вдруг обмякнув, будто сразу увяла.

Вильма шла к дверям, и Михал, сжав кулаки и ужасаясь собственной беспомощности, смотрел ей вслед, оскорбленный в своих желаниях. Но она все-таки не ушла. Он видел, как она подняла руку, услышал металлический скрип замка, а секундой позже — глухой щелчок выключателя.

Он стоял, не двигаясь, на прежнем месте и прислушивался к звукам, которые швыряла в него темнота. Вильмино имя застряло в горле, словно кляп.

И потом, многим позже, он снова остался один, и ночь клонилась к утру, а он сидел, опираясь спиной на подушки, и смотрел в темноту, которая была почти такой же непроясненной, как та, когда он прислушивался к Вильминым

движениям. Ветер все еще тянул свою унылую песню. Он гудел, выл и стонал в щипце крыши, дом вздыхал и скрипел, а лихой коммерсант Михал Громус сидел в темноте, не зажигая света. Он устал, но сон не шел к нему. Он прислушивался к завыванию ветра и слышал нечто, чего не слышал никогда. Тьма неожиданно разразилась смехом. Огромная ночь, переломившись в поясе, сотрясалась от хохота.

Вильма могла без опаски швырнуть ему кусок этой ночи, как кость. Он тщетно грыз ее. Оставалась лишь неуга-симая жажда, будто он напился морской воды или насо-сался снега. И такое станет его судьбой? Он сидел, и зубы его вдруг начинали стучать, но он этого не замечал.

20

Когда Анна Громусова возвратилась с Татр в Либнице, снег уже подтаял, ветки деревьев стали влажными и черны-ми, в водосточных трубах, звеня, щебетали струйки, а на раскисших дорогах прыгали хохлатые жаворонки и тонень-кий, робкий свист их весенних надежд исчезал в пенье бегущих ручьев.

Анна возвратилась не смирившись.

Почти полгода она жила в окружении гор, сумев сохранить одиночество даже в людном фешенебельном отеле, где поддерживать знакомства считается хорошим тоном. И вершины Татр, строгие, суровые, жестокие и под снежным покровом, вели с ней разговор, в котором не было ни забвения, ни покорности.

Все месяцы, которые Анна провела в Татрах, она находилась в полной изоляции, отторгнутая от всего, что некогда составляло ее мир. Никто не мог написать ей, чтобы сообщить о переменах в оставленном ею доме. Роберт предал ее. Это самый страшный удар, который только мог быть ей нанесен, и чувство ее осуждено было вечно кровоточи-ть, но не умереть.

Анна Громусова отказалась от мысли обжаловать заве-щание, ибо сумела понять всю тщетность и бессмыслен-ность такого поступка.

Но молилась теперь чаще, чем прежде, и большей частью отсиживалась в своей комнате, как раньше в зимнем саду либницкого дома, повернувшись лицом к горным вершинам, то ослепительно сверкающим на солнце, то окутанным облаками. Случалось, она иступленно моли-

лась, даже в глубине души не осмеливаясь признаться себе, зачем, собственно, молится. Но когда не молилась, то очень точно знала, чего так страстно желает. Впрочем, осуществить это было не в ее силах. Лишь кто-то, кто бесконечно сильнее ее, способен сделать это. Но она не знала, кто он, и не могла бы назвать его, и понимала, что его нет среди людей. Таким вот сложным путем, когда молитва — но отнюдь не просьба — была строго отделена от личных помыслов и все было сказано весьма определенно и точно, Анна пыталась напомнить богу о его прямых обязанностях в отношении ее. Она утвердилась в решении не возвращаться в Либнице, пока не будут выполнены ее требования, никогда не высказанные прямо, и рассматривала свое пребывание в Татрах как затянувшееся испытание, долженствующее возвести ее к славе и блаженству.

Вернуться ее вынудила открытка Роберта, посланная из Ниццы. Без обращения, всего три строчки, нацарапанные поспешно и неряшливо:

«Тысяча приветствий. Именно такой жизни я всегда желал. Да здравствует покойник Громус и его усердие!

Роберт».

На открытке — море, далекий закат солнца, белые паруса, застывшие, словно замершие крылья мечты, обрамленные белым сиянием темные кроны, стволы пальм, и черные их тени на гладком асфальте набережной, и две женские фигурки, стоящие рядышком: они глядят в эту ослепительную и грустную даль. Роберт транжирил свою часть наследства в соответствии со своими представлениями о роскошной жизни. В этом она не сомневалась. Но что за этим кроется? Собрался и уехал, как сам того хотел, или его выставил Михал? Анна в тот же день оплатила гостиничные счета и назавтра выехала в Либнице.

Она приехала ночью, когда оттепель уже прогуливалась под низкими тучами и дышала на остатки снега теплым дыханьем земли, воды и зловоньем хлебов. Никто не встретил ее, потому что никому не было известно о ее возвращении. Оставив багаж на станции, она потащилась к дому сквозь чавкающую и вздыхающую, как огромный зверь, тьму. Ее появление походило на вторжение неприятеля, воспользовавшегося почной темнотой. И хотя в своем сердце Анна Громусова несла смертельную ненависть, она была подавлена и грустна.

Дом, в котором ей предстояло теперь жить, принадле-

жавший первой жене Фердинанда Громуса и где сама она провела двадцать лет, находился неподалеку от вокзала, она миновала его и двинулась к теперешним владениям Громуса. За высоким каменным забором слышались шаги ночного сторожа. Собаки, на которых она смотрела обычно из окна, почуяв ее, подняли яростный лай. Собаки лаяли на нее! Это же ее собаки, хотя она ни разу не бросила им куска. Анна остановилась перед домом. Темнота ослепила окна, лишь некоторые из них уличный фонарь задернул бельмами желтоватых отблесков. И надо всем этим, чернее и неумолимее, нежели сама ночь, высилась черная фабричная труба. Все это должно было принадлежать ей.

Она медленно преодолела несколько метров, что отделяли фабрику от ее нынешнего жилища. Ключей у нее с собой не было, и она долго звонила у ворот, пока ей наконец удалось разбудить привратника. Потом сидела в своей спальне, обставленной почти так же, как до переезда в дом Тыльнера. Впрочем, сейчас здесь стояла одна кровать. Благодарение господу, только одна кровать! Единственное, что ее порадовало. Анна слышала журчанье воды в водосточной трубе и удушливый кашель разбуженного привратника. А потревоженные собаки на фабрике Громуса все еще заливались злобным лаем. Она слышала их, и только их, будто во всем городе не было других собак. Как она сможет жить здесь?

Анна вошла в дом, где все было чужим: стены, окрашенные светлой краской без рисунка, занавеси, пропускающие слишком много света, и мебель с широкими, зеркальной полировки, плоскостями, размещенная так, что комнаты, казалось, зияют пустотой. Это походило на вторжение. Ее дух выметен отсюда грубой метлой, от нее не осталось и следа. Новый чужой дом — дом, в котором она никогда не жила.

Она вошла сюда, чуть ли не применив силу. Кухарка — та самая, что когда-то так воинственно воспротивилась ей, — встала в двери, придерживая полуоткрытую створку и не проявляя ни малейшего желания впустить ее.

— Дома? — спросила Анна.

— В конторе, — ответила кухарка, глядя на нее свысока и насмешливо; она была почти одного роста с бывшей хозяйкой, но стояла ступенькой выше.

— Позовите его, — приказала Анна. И, уткнув ручку своего зонта в живот кухарки, оттолкнула ее и вошла.

Анна стояла посредине комнаты, той, что когда-то была столовой. Впрочем, здесь и сейчас была столовая. Исчезли, однако, тяжелые портьеры и на месте массивного буфета, похожего на алтарь, украденный из барочной часовни, стоял низкий буфет, занимающий добрую половину длинной стены. Стулья, будто из замковых залов, с высокими спинками, сменили стулья мягкие, с опорой, едва доходящей до половины спины. Сервировочный столик походил на стеклянный ларец на колесиках.

Анна не стала садиться, но и не ходила, она стояла на месте, отвергая всю атмосферу этой комнаты. Не квартира, а бесстыдно открытый взглядам аквариум, где предметы купаются в избыточном свете, словно блестящие рыбы, и где чувствуешь себя как в зале банка либо в зале ожидания на вокзале.

Михалу сообщили о визите Анны Громусовой в конторе, и он имел время подготовиться к неожиданной встрече. Он явился с улыбкой, всем своим видом изображая изумление и радость.

— Садитесь, матушка, — произнес он с демонстративной обходительностью. — Выглядите великолепно. Горы, несомненно, пошли вам на пользу.

Анна остановила его взмахом руки и обвела пространство вокруг себя со словами:

— Ты основательно все переделал. Отец не узнал бы. Его позабавило, что свое мнение она выдает за мнение отца.

— Я не сомневаюсь, что ему бы понравилось, — ответил он. — Отец любил, когда было много света.

Анна поняла, что он подпустил ей шпильку.

— Мне не нравится.

Михал не отвечая улыбался. Ее лицо напряглось, косточки пальцев, вцепившихся в ручку зонта, побелели. Она теперь не вправе говорить в этом доме, нравится ей или нет. Открыв ридикюль, она достала письмо Роберта, быстро пробежала глазами и снова спрятала. Ее взгляд стал жестким и требовательным. Она уставилась на Михала, словно хотела вырвать из него правду и не допустить лжи.

— Что с Робертом?

Михал пожал плечами.

— Не знаю. Уехал из Либниц два месяца назад, и с тех пор я о нем не слыхал.

— Он прислал мне открытку из Ниццы.

— Значит, ему неплохо.

— Ты выгнал его! Каким-то образом принудил уехать, чтобы избавиться.

Михал с улыбкой смотрел на нее. Бессильная, kloкочущая злобой. Ну не прекрасное ли зрелище для человека, судьбой которого она всегда хотела распоряжаться? Его так и подмывало выложить ей все, как было. Воспоминание о том воскресенье, когда он направил по иному пути судьбы двух людей, согревало его, как иных сентиментальных людей согревают воспоминания о поданной милостыне. К тому же ничто не помешает ему бросить тень на пострадавшего. Михал перестал улыбаться и тоном человека, который еще не перестал терзаться, произнес:

— Роберт отбил у меня девушку, с которой я встречался, и уехал вместе с ней.

Лицо Анны пошло красными пятнами.

— Отбил у тебя девушку, — повторила она и усмехнулась. — Уж не дочь ли кладовщика Балады?

Михал подтвердил.

— Красивая девица, — продолжала Анна, сощурившись, словно желая припомнить лицо той, о которой говорила. — Я видела ее раз или два. Очень красивая девица. Поговаривали, будто ты собираешься жениться на ней.

— Мало ли что поговаривают, — пробормотал Михал и понял, что злится.

Анна вышла из дому. Тротуар был еще мокрый, колеса машин разбрызгивали снежное месиво. Резвая струйка прозрачной воды, выбегающая из водосточной трубы, преградила ей дорогу. Она легко перешагнула через нее, будто ноги ее помолодели на десяток лет, и направилась к костелу. Ей необходимо обратиться к богу со стертymi словами молитв, придуманными и признанными, которые не предполагают объяснений, просьб и благодарности. Давящая тоска прошедшей ночи оставила ее. Бог мудр, бог знает все. Встречные, видя ее такой же, как и прежде, прямой и напряженной в спине, кланялись ей с обычным почтением, а она отвечала им все с тем же высокомерием. Роберт, ее Роберт! Женщины были слабостью Громусов, но он утер им нос! Забывая о грубости, с какой сын бросил ее, и о том, как ее предал после всего, что она сделала для него, Анна трепетала от нежности, вспоминая сына. Высокий, темноволосый, красивый, настоящий мужчина. Не то что громусовский образина! Да, он легкомысленный. Ну и что? Разве не ее задача сделать все, чтобы он жил, как ему нравится? Но как она может сделать это, если ее лишили того, что давало ей силу и власть? Она остановилась, и впервые стояла

просто так, без видимой причины, уставясь в пустоту неподвижным взглядом, — словно увидав что-то ужасное, чего не видят другие, и люди изумлялись: что же стряслось со старой Громусовой? И еще они видели, как Анна ткнула зонтиком перед собой в невидимую тень ненавистной слабости. Прочь! Разве не было ей нынче знамения? Анна вошла в костел и опустилась на скамью перед самым алтарем. И стала молиться сидя, не преклоняя колен, ибо ей никогда не удавалось принудить ни колени, ни душу к покорности. Она гнала все прочие мысли, сосредоточившись на словах молитв (не эта ли тактика приносила свои плоды?). Анна Громусова вышла через полтора часа, умиротворенная и уверенная, что идет навстречу исполнению своих желаний. Отбивали полдень, и колокольный звон, если можно так сказать, прохаживался в одиночестве по обезлюдевшей вдруг площади. Анна шла не спеша, в нимбе своей новой веры, словно шагала в такт ударам колокола.

Нотариус Пуркл, выскочивший из своего дома на площадь в это же самое время, едва не налетел на нее. Он остановился, раскинул руки, как будто желая помешать ей пройти мимо, и тут же опустил их и поздоровался, клюнув воздух своим большим носом. Его голос изображал удивление и восторг и был исполнен иронии.

— Приветствую вас в нашем стольном граде! Как прекрасно, что вы вернулись именно сейчас. Восхитительно, до чего же вам пошли на пользу горы, восхитительно!

Анна, с высоты своего роста и вновь обретенной гордыни, смотрела, как он скачет и вертится где-то на уровне ее талии.

— Почему так уж прекрасно, что я вернулась именно сейчас? — поинтересовалась она, за время своего супружества с Фердинандом Громусом привыкшая из потока слов выбирать лишь самые главные.

Нотариус взглянул на нее своими юркими глазками, и она не поняла, встретились ли их взгляды.

— Я склонен предположить, — продолжал нотариус все тем же шутовским тоном, — что некая пташка-болтушка прилетела к вам туда, в братскую Словакию, и выложила новостешки, которые сотрясают наш город.

Спина Анны окаменела еще приметнее.

— Мне нет нужды в болтливых пташках. Я получила письмо от Роберта.

— От Роберта? — крикнул нотариус и, замешкавшись, попытался как-то скрыть свое изумление.

— Да, от Роберта, — строго повторила Анна. — Почему бы сыну не написать матери?

— Естественно, естественно, — согласился нотариус, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, будто школяр, уличенный во лжи. — Я полагал лишь... (Он выглядел сконфуженным, и казалось, не может подобрать нужных слов.) Я лишь полагал, что вы будете огорчены.

— Не понимаю чем.

Анна, считая, что поняла суть его намека, была полна решимости защитить своего сына от пересудов всего света. Нотариус мелко, как цыпленок неразвитыми крылышками, взмахивал руками.

— Весь город потешался над Михалом Громусом, когда ваш сын уехал с барышней Баладовой. Злорадство всегда берет сторону тех, кому удалось какое-нибудь плутовство. Но теперь город уже над Михалом Громусом не потешается, но интересуется, а не оказал ли ваш уважаемый сын пану Громусу неоценимой услуги.

Анна что было силы стукнула зонтом о мостовую, звякнув его металлическим концом, и оперлась на него. Краснощекий чумазый мальчуган выбежал из ворот соседнего дома, остановился неподалеку от них с изумлением в вытаращенных глазах и, открыв рот, уставился на Анну. Она не замечала его. Мальчуган дернулся и умчался обратно в дом.

— Какую услугу? — спросила она.

Нотариус вдруг забеспокоился. Словно понял, что зашел чересчур далеко, и боится, как бы кто не услышал его неосмотрительных утверждений. Он оглянулся вокруг и махнул рукой.

— Извините, я спешу, я очень спешу. Стар стал, заболтался! Я хотел сообщить вам, что пан Михал Громус готовится к бракосочетанию с барышней Вильмой Ролиновой. Она архитектор, изволите ли знать, роскошная дама! Фабрика ее отца идет с торгов. Я очень сейчас тороплюсь, но всегда к вашим услугам, всегда к вашим услугам!

И помчался вприпрыжку через площадь по неровной мостовой, будто преследуемая собакой курица.

Анна осталась стоять на том месте, где он оставил ее. Чумазый мальчуган, набравшись храбрости, снова таращился на нее, спрятавшись на всякий случай за створкой ворот. Почему эта черная тетя стоит здесь, как каменная, почему у нее такое бледное лицо и глаза горят, как у чудовищ из сказки? Ах, что может знать этот чумазый румяный мальчуган, жующий пышку, про обманчивые знамения,

о призраках слабости, что являются среди бела дня прямо на площади, которых надо изгнать, и о небесах, которые заслуживают проклятья?

Мальчуган выронил из рук пышку и с ревом кинулся к матери.

У входа в здание местного суда на черной доске для официальных объявлений наклеено сообщение о продаже с аукциона фабрики Ролина, а также объектов, к ней относящихся. Оно висит уже неделю, и люди перестали перед ним толпиться. Банкротство одного из самых уважаемых и любимых либницких граждан хоть и вызывало сочувствие, но не удивляло. Многие это предсказывали давно и сейчас могли гордиться своей проницательностью. Впрочем, по нынешним временам не так уж трудно быть пророком, если ты предсказываешь неприятности. Пяти крахов за год более чем достаточно для такого городишки, как Либнице, и это, вполне естественно, лишало данное событие сенсационности. Среди банкротов были даже два самоубийцы, один из которых попытался помешать неумолимому ходу событий собственным телом, повесившись на дверной ручке своей лавки, второй подгадал застрелиться с последним ударом молотка аукционщика и разнес себе череп.

Что ж, мелкие предприниматели, которые в счастливые годы процветания растут, как грибы после дождя, и чья заносчивость неприятно шибает в нос, сейчас погибают, как мухи осенью, перед святым Вацлавом, чтобы остаться в памяти тех, которым выпала счастливая судьба наблюдать со стороны превратности их судеб. Но если их несчастья вызывали в людях чувство удовлетворения, падение Якуба Ролина возбуждало более или менее искреннее участие. Ибо таковы уж люди, они преследуют своей завистью и ненавистью таких, чье богатство возникало на их глазах, чувствуя себя обойденными, будто это у них украли шанс, тех же, чье состояние нажито в давние времена, окутанные легендами, они дарят своими симпатиями. Но ни симпатия, ни антипатия, ни сочувствие или злорадство не могут ничего изменить в судьбе человека, единственным спасением которого может стать лишь мешок денег.

Сообщение об аукционе, уже слегка пожелтевшее, как, впрочем, и все официальные бумаги, что плесень времени

пожирает в первую очередь, успело провисеть с неделю, когда перед ним остановилась Анна Громусова.

Она читала, приложив к глазам лорнет, которым пользовалась весьма редко.

«Оценочная стоимость — 1 350 000 крон.

Минимальная стоимость — 900 000 крон.

Поручительство — 135 000 крон».

До аукциона оставалось ровно семь дней.

Не одна пара глаз вперилась в эту долговязую женщину, изучающую объявление у ворот суда и, словно бы для вящего эффекта, озаренную снопом солнечных лучей, время от времени пробивающихся сквозь мартовские тучи. Все видели, как она повернулась и без колебаний вошла в дом нотариуса Пуркла, что находился лишь на несколько номеров далее, и из уст в уста полетела молва, будто старуха Громусова примет участие в аукционе, выступая против своего пасынка Михала.

Нотариус Пуркл, как обычно, был похож на перепуганную и растерянную курицу.

— Извольте пройти! А я уж и не надеялся увидеть вас у себя до самой смерти. Впрочем, по правде говоря, я вас ждал. Куда мне вас усадить? Ну хотя бы сюда.

Пуркл снял стопки бумаг, лежавших повсюду и заполнявших, казалось, всю эту мрачную, неопределенных размеров комнату, потом положил их обратно и в конце концов обмахнул полой длинного черного сюртука низкое, обтянутое черной клеенкой кресло, как ни странно, свободное, и предложил его посетительнице. Вся эта комедия с поиском места не имела никакого смысла, потому что кресло было единственным, что нотариус мог предложить своим клиентам, а коли имела хоть какой-то смысл, то он остался известен одному лишь нотариусу Пурклу.

Анна окинула низкое кресло презрительным взглядом — если она сядет, ее колени поднимутся, можно сказать, до самого подбородка — и предпочла разговаривать стоя, опираясь на стол.

— Я останусь стоять, а вы садитесь, — заявила она строго. — Я не задержусь. Двадцать восьмого марта фабрика Ролина пойдет с торгов. Я хочу знать, дал ли уже кто-нибудь поручительство?

Нотариус захлопал глазами.

— Пан Михал Громус, — ответствовал он. — Только он, и никто более. И думаю, никто больше не сделает заявки. Времена тяжелые, что ни день — крах. Никто не отважится начать дело, поскольку обычной расплатой за это стало

банкротство, потеря имущества и положения. Ссудная касса должна быть благодарна пану Громусу. Мы опасались, что фабрика Ролина так и останется висеть на нашей шее. Единственным спасением для нее был бы пожар. Но пан Громус — исключение. Говорят, ему везет во всем, за что ни возьмется.

Анна что-то проворчала.

— Вы говорили, — произнесла она тут же голосом еще более скрипучим, нежели скрип старых настенных часов, — будто Михал женится на девице Ролиновой, а сейчас утверждаете, что он покупает их фабрику. Какова тут роль ее отца?

Нотариус поднял глаза, будто по потолку, как по небу, летели невидимые птицы.

— Не знаю, с вашего позволения, не знаю! Я просто нотариус, но не исповедник. И, если мне известно о людях немного больше, чем велит моя профессия, все равно я знаю лишь то, что известно каждому второму в нашем городе. Безответственные сплетни лучше не распространять.

— Я желаю эти сплетни знать.

Нотариус заерзал в кресле, как будто оно его жгло. Анна стояла над ним, не сводя с него сурового взгляда.

— Ну, говорят, — начал нотариус, словно подыскивая и не в силах найти уклончивый ответ, — будто старый Ролин больше не будет принимать участия в управлении и дочь намерена сделать его чем-то вроде делопроизводителя. Но, с вашего позволения, я повторяю, все это лишь болтовня.

Анна отвернулась и некоторое время смотрела сквозь высокое узкое окно с длинными, давно не мытыми стеклами, ставшими почти непрозрачными от пыли. Глаза ее с детским суеверием блуждали, разыскивая хотя бы лужицу синего неба, и, обнаружив одну, Анна звякнула в душе своей колокольчиком краткой молитвы.

— Телефонуйте пану Ролину, чтобы он немедленно явился сюда, — сказала она наконец.

Нотариус испуганно развел руками. Он не разговаривал с Ролином с того дня, когда фабрикант, взволнованный печальным известием, выгнал его из своего дома. Воспоминание, надо сказать, не из приятных хотя бы потому, что возвращается чаще других.

— Нет, с вашего позволения, этого я не могу, никак не могу. Между мной и паном Ролином не те отношения, какими должны быть.

— У нас с вами, — заявила Анна своим твердым и изде-

вательским тоном, — тоже не все, как должно быть. Но в первую очередь вы нотариус, некий пан Пуркл интересуется нас лишь во вторую! Пригласите пана Ролина от моего имени.

Пока нотариус, скривившись, будто жевал лимон, названивал по телефону, Анна наблюдала за площадью через другое окно, не менее пыльное, чем то, подле которого находился стол нотариуса. Она хотела видеть, как придет Якуб Ролин. Может статься, его вид подскажет ей, чего она может ожидать от своей затей.

Не прошло и десяти минут, как Якуб Ролин показался на углу улицы, выходящей на площадь. Он шагал стремительно, стараясь держаться прямо, что всегда отличало его походку. Впервые за три недели, после того как город узнал о его несчастье и позоре, он мужественно показался на глаза согражданам. Анна Громусова видела, как руки иных неуверенно тянутся к шляпам и тут же опускаются, потому что даже издали было ясно, что Ролин никого не замечает и замечать не желает. А несколько самых осторожных, заметив на расстоянии широкие плечи Ролина, торопливо исчезли в дверях своих лавок.

Нотариус не потрудился даже приподняться со стула, когда вошел бывший фабрикант. Вместо приветствия он показал на Анну:

— Пани Громусова изъявила желание переговорить с вами в моем присутствии.

Взгляд у Ролина был загнанный, и это стерло с его лица все признаки былой гордости и веселой доверчивости. Три недели отчаяния врезались в него морщинами, углубили старые и прочертили новые. Зачем его позвали? Он избегал взгляда Пуркла. Сколько времени прошло, как он выгнал этого уродца, крича, что пока еще хозяин в своем доме? И не видя нотариуса, можно было понять, что таится в его взгляде.

Анна не заставила Ролина долго недоумевать; она усадила его в кресло, от которого только что отказалась сама, и, возвышаясь над ним — величественным старцем с физиономией одряхлевшего и усталого циркового льва, — опустившимся в кресло, не соответствующее его размерам, нанесла удар первым же вопросом:

— Я слыхала, будто ваша дочь выходит замуж за моего пасынка.

Якуб Ролин побагровел и приподнялся в кресле. Похоже, он задыхался.

— Мне об этом ничего не известно, — признался он

наконец глухим голосом. — Никто не просил у меня Вильминой руки.

Что ж, Якуб Ролин говорил лишь полуправду. У него действительно не просили руки его дочери, она сама сказала ему о своем намерении. Возвратившись с гор, пришла к нему в пустые мастерские, где он проводил большую часть дня, посиживая на верстаках, или прогуливался между умолкнувших станков и вел молчаливые беседы с отсутствующими рабочими.

Вильма положила ему руку на плечо, поддавшись нахлынувшему было сочувствию к этому старику, что бродит по умолкнувшим мастерским в поисках своего счастливого прошлого.

— Я пришла сказать, что выйду замуж за Михала Громуса, если он выполнит определенные условия. Тогда, — продолжила она после короткой паузы, не получив ответа, — тебе не придется расставаться со своими машинками.

Видимо слишком занятый собой и своей болью, он не дал ей надлежащей отповеди. Он сказал:

— Я никогда больше не буду здесь хозяином.

И Вильма, рассердившись на себя за сантименты, ответила более резко, чем, может быть, следовало:

— А этого и не потребуется. Довольно и того, что о тебе позаботятся и ты будешь занят делом, если, конечно, захочешь.

— Мне об этом ничего не известно, — повторял он теперь, сопротивляясь пристальному взгляду Анны Громусовой, привыкшему одним махом рассекать хлипкий студень мужских душонок.

Ролин не желал ничего знать, представляя себе, какая роль ему отведена, и сердце его переполнялось стариковской вздорностью. Нет, он еще не сдался, он никогда не сдастся! Удар, нависший над его головой, еще можно приостановить на последнем миллиметре, в последнюю долю секунды.

— Ну и что с того, — продолжала Анна. — Если об этом говорит весь город, значит, так оно и есть. Вам известно хотя бы, что мой пасынок пока единственный, кто заявил о своем участии в аукционе? Я говорю о вашей фабрике.

Якуб Ролин мрачно кивнул головой.

— Что ж, я буду второй, — объявила Анна и услышала, как нотариус за ее спиной издал нечто похожее то ли на вздох, то ли на чиханье. Ролин сидел неподвижно и молчал. Анна Громусова вытащила его сюда для того, чтобы объ-

явить это? Ну что ему за дело, сколько собак вцепятся в кость, оставшуюся от его состояния?

— Я позвала вас,— продолжала Анна Громусова эхом его мыслей,— чтобы спросить, не желаете ли вы стать моим компаньоном?

Ролин дернулся, будто собрался вскочить с места, но Анна ткнула ручкой зонта в его грудь:

— Сидите, я еще не все сказала. Я не очень-то высокого мнения о ваших деловых качествах. В противном случае вы не потеряли бы то, что имели. Но это не важно, обо всем позабочусь я. Вас всегда хвалили как отличного специалиста. В это я верю. Предлагаю объединиться. Станете пайщиком из одной третьей. Считаю, этого достаточно, если соотнести, сколько вложу я и сколько вы.

Да, удар еще не обрушился и приостановлен даже не в самую последнюю секунду.

Но Якуб Ролин смотрел безучастно, как всякий, в ком промчавшаяся рядом смерть не погасила еще искры жизни. Ему воздали и хвалу и хулу в едином грубом потоке слов. Вместо полного рабства ему посулили частичное. Он будет хозяином на одну треть, но все-таки хозяином. Для начала. Кто знает, что произойдет потом?

— Я не могу пойти против дочери,— ответил он хрипло.

— Я пойду против сына,— сухо сказала Анна.

— Но она мне родная дочь!

Анна пожала плечами.

Значит ли это пойти против дочери? Разве она не пошла против него? Разве не его цель оставить ей все, что он получит? Ведь он хочет вернуть все, что имел! Он не может жить из милости там, где был хозяином. Часы сипло отсчитывали время, с площади доносились детские голоса. Нотариус от волнения теребил свой тонкий, похожий на клюв нос. Анна ждала не двигаясь.

— Не могу,— прохрипел Ролин. Но вдруг, прежде чем Анна успела ответить, вскочил и воскликнул: — Ах, нет. Я согласен! Кто посмеет сказать, что этим я кого-то обижу?

Анна Громусова повернулась к нотариусу, будто дело было вовсе не в Ролине. Она открыла свой ридикюль, достала два листа канцелярской бумаги, исписанной крупным, угловатым почерком, и протянула Пурклу.

— Здесь проспект договора. Позаботьтесь, чтобы в договор вошло все, что я здесь написала, и чтобы не было юридических упущений. Мы подпишем его сегодня.

Когда был зачитан этот документ, Якуб Ролин расстался еще со многими иллюзиями. Но не нашел в себе смелости отступить.

День продажи с торгов фабрики Ролина взбудоражил город. Все, кто смог в то утро освободиться, толпились в зале суда, где проводились публичные торги. Обстоятельства, предшествовавшие этой акции, не остались для городка тайной, хотя все переговоры велись, как можно утверждать, с глазу на глаз либо в присутствии лиц, чьи уста должны быть запечатаны семью печатями присяги.

Здесь преобладали либницкие торговцы и мелкие предприниматели, так как именно представителям этих сословий не дает спать по ночам тайный страх банкротства, как иным — мысль о смерти. Продажа с торгов имеет для них ту же мрачную силу и притягательность, что для некоторых похороны. Собирались возле здания суда за добрых полчаса до одиннадцати, когда был назначен аукцион, и толковали, сбившись в кучки, или прогуливались в ожидании главных действующих лиц предстоящего спектакля. Были здесь и такие, для кого нет ничего святого, или те, кто, изображая легкомыслие и цинизм, старался заглушить собственные страхи, и заключали пари на результат этого странного аукциона, где сын, пусть и не родной, ставит против матери, а дочь потерпевшего идет против бросившегося за призраком спасения отца. Впрочем, всех, кто тут находился, и главным образом женщин, волновал вопрос, придут ли Ролин и его дочь, и как: вместе или каждый сам по себе? Не успел служитель отворить двери в зал, где обычно разбирались земельные межевые споры, претензии родителей, получающих содержание от детей взамен переданного им имущества, жалобы на оскорбление личности, на потравы и порубки, кражи и бродяжничество, как почтенные либницкие граждане превратились в толпу, в достаточной мере жизнерадостную, обуреваемую желанием поскорее занять удобные места, чтобы быть поближе к непосредственным участникам представления.

Появление нотариуса Пуркла было встречено веселым шумом. Люди обменивались репликами и похохатывали. Они осмелели, их смелость все возрастала, потому что в толпе они ощущали себя невидимыми и безымянными. Нотариус Пуркл мог сойти за городского сумасшедшего, но

только до тех пор, пока стоял к ним спиной. Лицом к лицу благоразумнее держаться с ним с максимальной уважительностью. И потому все, мимо кого он проходил или на кого обращал свой взгляд, раскланивались с ним. В конце концов, потешались они над Пурклом или боялись его злого языка, он был их нотариусом и они доверяли ему свои дела уже четверть с лишком века, а он изучил их души и карманы лучше, нежели исповедник душу кающегося. Отвечая на поклоны, Пуркл клевал своим птичьим носом, словно говорил: «Ах вы, паршивцы, вам меня не провести». И каждый волей-неволей сознавал, что этому человеку про него кое-что известно, и ему становилось не до смеха. Они вздохнули с облегчением, когда Пуркл, повернувшись к собравшимся спиной, втиснулся между двумя членами правления, которые пришли сюда представлять и оберегать интересы ссудной кассы.

Анна Громусова явилась первой. На ней было длинное каракулевое мантио и черная шляпа, лишь подчеркивающая жесткость ее черт. Она опять стала больше похожа на собственное изваяние, чем на живое существо. Множество шляп приподнялось в знак приветствия. Но она ответила лишь общим немим кивком, адресованным всем и никому, и прямо от дверей, по живому коридору между мгновенно расступившимися пред ней людьми, направилась к столу, за которым в обычные дни судья допрашивал, распекал и выносил приговоры и на котором сегодня молоток аукционщика должен был припечатать своим ударом судьбу фабриканта Ролина. Несколько мужчин в первом ряду встали, предлагая ей место, но она отказалась, выбросив вперед руку, в которой держала зонт.

Ролин вошел одновременно со своей дочерью. По единодушному мнению всех присутствующих и вообще всех либничан, ни одному из этих двоих не следовало здесь появляться. Они прошли вдоль задней стены зала и встали у последнего окна. Ролин глядел на пустой двор, где несколько чахлах кустиков пытались пробиться к свету, чтобы встретить новую весну. Он стоял, повернувшись к присутствующим своей широкой спиной и седым затылком, резко контрастирующим с черным зимним пальто. Вильма прислонилась к стене рядом с ним и, достав из сумочки большую овальную пудреницу, принялась изучать и поправлять в зеркальце прическу. Многие отдали бы находящиеся здесь, чтобы узнать, что предшествовало совместному появлению отца с дочерью и что происходит в их душах сейчас.

Но времени для раздумий им было отпущено мало.

Минута в минуту, как было указано, позади судейского стола распахнулись двери, и в зал вошел советник юстиции, роль которого ограничивалась надзором за процедурой, следом за ним — судебный исполнитель, которому сейчас предстояло выступить в роли аукционщика, и секретарь суда. Шум, вызванный их появлением, состоял главным образом из приветственного бормотания, ответа на которое, естественно, не последовало. Вот почему осталось незамеченным появление в зале суда Михала Громуса, вошедшего одновременно с ними.

Для такого случая молодой фабрикант оделся несколько вызывающе. На нем было светло-серое пальто, светлее, пожалуй, чем следует, чтобы не возбудить внимания, и галстук в яркую красную и желтую полоску. Серую мягкую шляпу с чересчур широкими для его физиономии полями он снял и повесил на вешалку у двери, как только вошел. На дворе стояла весна, и небо было высоким и синим, и порывистый резкий ветер подхлестывал и веселил кровь. И всякий под его порывами невольно становился его вассалом, напивавшись его силой и черпая порывистость от его не знающей преград беспощадности. Попробуйте заговорите о неудачах с молодым человеком, вся жизнь которого есть воля к действию и радость преодоления препятствий, в такой день, как этот!

Первыми из присутствующих Михала заметили Анна Громусова и Вильма Ролинова. Он кивнул в знак приветствия мачехе, но не получил ответа. Вильму приветствовал, приподняв трость, которую сжимал в правой руке. Вильма едва заметно повела плечами, будто выказывая неудовольствие его сегодняшним видом. Уверенность Михала на какой-то момент поколебалась, ему вдруг стало казаться — хотя он все обстоятельно и детально продумал, — что он стал жертвой некоего обмана или заговора, цель которого не уяснит никогда.

Сухой стук ревматических пальцев советника юстиции смел шум как раз в тот момент, когда находившиеся в зале заметили появление молодого Громуса и принялись было обмениваться замечаниями. И тут голос черствый и бесстрастный, голос человека, который давно не испытывает никаких тревожений, но вместе с тем не перестает уважать вверенной ему институции и власти закона, вещающего его устами, стал зачитывать аукционный эдикт, повышая и усиливая голос в тех местах, которые следовало подчеркнуть. В мертвой тишине, наступившей в небольшом

помещении, его голос звучал, будто это сам магистр Пролог из средневековых мистерий открывает действие и готовит зрителей к таинственным событиям.

Закончив читать, советник юстиции снял очки, прищурив близорукие глаза, взглянул на множество слившихся в одну физиономий и сказал с легким вздохом:

— Объявляю аукцион открытым. Пан Каш, огласите оценочную стоимость.

И, пока советник юстиции с явным облегчением устраивался в своем кресле, пан Каш, судебный исполнитель, известный не только всему городу, но и большинству в округе, худосочный человек на журавлиных ногах — постоянно куда-то спешащий семимильными шагами, хотя шестой десяток и согнул его в поясице, — поднялся со своего места. Безупречная трагическая маска, преисполненная сознания как важности момента, так и своего собственного достоинства. Сейчас он, в манере, достойной большей сцены и более внушительного зрительного зала, играл самого себя. Его длиннополый сюртук был парадным и засаленным, и жест, которым он вытащил из кармана жилетки пенсне и водрузил на нос, мог принадлежать председателю стального треста, открывающему учредительное собрание. Пан Каш натужно прочистил горло, в его бронхах что-то долго и сипло гроыхало, но голос не изменился. Это был сиплый голос старого пьянчуги и курильщика, хотя исполнитель, разделяя идеи маздазнанского движения, не пил и не курил даже тайком, — и многие сидящие перед ним, поддавшись гипнотическому воздействию, принялись хрипеть и покашливать, будто хотели помочь его голосовым связкам.

— Начинается продажа с торгов недвижимого имущества Якуба Ролина, — просипел судебный исполнитель и вдруг, словно озлившись на бесстыдное поведение своей глотки, хрипло выкрикнул: — Продажная цена девятьсот тысяч! Кто больше?

Аукцион начался. Присутствующие замерли в ожидании и любопытстве: кто из участников начнет борьбу?!

— Девятьсот тысяч, раз, — хрипел аукционщик.

— Девятьсот десять тысяч, — раздался низкий мужской голос из группы столпившихся вокруг нотариуса Пуркла.

Судная касса ринулась в бой. Это оказалось новостью для всех присутствующих, и всем сразу стало очевидно, что они участвуют только для того, чтобы взвинтить цену, и в критический момент или даже раньше, когда станет

ясно, что истинные покупатели вошли в раж, эти люди сойдут со сцены. Опять поднялся шум, присутствующие хотели обменяться мнениями о вмешательстве кассы.

— Девятьсот десять тысяч, раз,— выкрикнул взволнованным павлиньим голосом экзекутор Каш и воинственно наклонился над столом, будто подстрекая к повышению ставки. В зале притихли, но вскоре головы стали поворачиваться от Анны Громусовой к ее пасынку. Молодой Громус стоял, привалившись к дверному косяку, будто с интересом прислушивался, и, немного нагнувшись вперед, постукивал себя по левой ладони округлым набалдашником трости.

— Девятьсот десять тысяч, два,— выкрикнул судебный исполнитель.

— Девятьсот двадцать тысяч,— сказала Анна Громусова таким тоном, будто собралась исключить следующую ставку.

И экзекутор Каш, этот актер многочисленных драматических амплуа, вестник судьбы, разносящий сообщения о трагедиях, размеры которых не всегда пропорциональны размерам задолженности, которую он явился взимать, это печальное подобие донкихотствующих персонажей, подчас неуместно комичное,— Каш, экзекутор, хищно ухватился за ее предложение.

— Девятьсот двадцать тысяч, раз и два,— прохрипел он, не сделав, так сказать, никакой передышки между первым и вторым предложением.

Пауза. Молчание. Взволнованный ропот и движение в публике, алкающей долгожданной сенсации.

— Предупреждаю о законной пятиминутной льготе между вторым и третьим, то есть последним, предложением!

Советник юстиции, с выразительной обязательной четкостью проскандировав непременное предупреждение, рухнул обратно в свое кресло.

Головы присутствующих повернулись к Михалу Громусу. Но молодой фабрикант именно в эту минуту, зажав тросточку под мышкой, с подчеркнутым старанием облегчал нос. Сегодня его поведение было вообще демонстративным, будто вместе с этим светлым пальто и вызывающе ярким галстуком он напялил на себя маску фата, презирающего всех и вся, что не есть он сам.

Михал Громус. Старина, это ты! И это необходимо подчеркнуть. Для Громусов их фамилия всегда была чем-то вроде военного клича. Потому, вероятно, он и вырядился сегодня так, чтобы напомнить всем, что он и есть тот самый

Михал Громус, которого жизнь еще ни разу не положила на лопатки. Вы ждете, что я стану набавлять? А может, не стану? Комедия! Когда-то при любых обстоятельствах я мог опереться на силу воли. Ну-ка, есть еще у меня воля или нет?

В сознании проплывают два месяца, что прошли с той ночи в «Мюллеровой хате». Мелькают мысли, и в них видения. Что есть мысль и что есть видение? Ночь, когда состоялась сделка, обручение и скрепление обязательств. Вот как можно определить это в общих чертах. Наверное, до самой смерти в его ушах будет стоять свист и стон ветра в ту ночь. Он был уверен, что, преследуемый видениями, ничего общего не имеющими с только что пережитым, остаток ночи прободрствовал. Завывание ветра создавало лишь звуковой фон — и тем не менее было уже одиннадцать утра, когда он проснулся. Вскочил в испуге, комната была залита искрящимся светом, метель к рассвету отбушевала, и солнце зажгло свежевывавший снег, превратив весь край в ярко горящую дуговую лампу. Михал взял с ночного столика стакан и двумя глотками выпил тепловатую воду. Жажда. Тогда он рассмеялся и сейчас чуть было не расхохотался здесь, в зале суда, на торгах. Тогда он думал, что у него жажда. На что еще может быть похоже чувство, не принадлежащее полностью ни телу, ни душе, или, правильное, принадлежащее одновременно и телу и душе, рожденное где-то на их неуловимом рубеже? Жажда! Он и в самом деле не решил, будет ли участвовать в аукционе. В то утро, приложив ухо к стене, отделявшей его комнату от комнаты Вильмы, он некоторое время прислушивался, но неподвижная тишина не смогла ответить, спит еще Вильма или встала и спустилась к завтраку.

— Барышня поднялись очень рано и уже уехали,— сказал ему потом официант.

«Эх, старина, нам жарко, жарко! Сегодня так же, как тогда. Некоторые воспоминания не подвластны времени, наоборот, время будто прибавило язвительной остроты. Быть может, именно они орошают потом чело умирающего и последняя влага, омочившая тело, есть роса непреодолимой вечной муки. Ты мне однажды за это заплатишь, девочка. Возможно, уже сегодня, именно сегодня я верну тебе частицу ада, в который ты меня столько раз ввергала!»

— Девятьсот сорок тысяч,— взвизгнул представитель кассы голосом высоким и нервным.

И экзекутор Каш вскинулся, как форель за мухой.

— Девятьсот сорок тысяч, раз,— прохрипел он.

— Девятьсот пятьдесят тысяч,— перебила его Анна Громусова, будто прикрикнула на дерзкую прислугу.

А теперь слушайте и только поспеваяте отсчитывать, дорогая моя невеста! «Девятьсот шестьдесят тысяч»,— крикнет касса, и Анна Громусова убьет, как за карточным столом, их карту, накинув десять тысяч, и они, добавляя по десять тысяч, ползут вверх, а старик Каш будет хрипеть басом на схватившихся, как рассвирепевший пес из лавки мясника. Собравшиеся, не поспевая уследить за ними, совсем позабудут, что есть еще один Громус, который тоже может что-то сказать, только он пока молчит. Но вы, моя дорогая, не забывайте этого, я не стану смотреть на ваше лицо, потому что вид у вас, вполне возможно, ах, нет, конечно же, невозмутимый, а это может сокрушить мои надежды и испортить всю радость. Ну! Десять и еще раз десять! На какую-то минутку они остановятся на девятистах восьмидесяти тысячах, так как девятьсот восемьдесят — это уже лимит кассы, этим будут покрыты налоги на все ее иски, а остальное — да черта ли ей в остальном! Весь вопрос — не граница ли это возможностей спятившей старушенции, ведь если я молчу, как пень, так потому, что неизвестно, сколько она хочет или может в это дело всадить. Господа совещаются, а нотариус деликатно отошел, чтобы никто не мог сказать, будто он каким-то образом повлиял на их решение, ведь обе стороны являются его клиентами, а он лицо должностное. Но господа рассудили, что старуху Громусову уже понесло, да к тому же она упряма, и, коль скоро решила ввязаться в потасовку, разница в сто тысяч ее не остановит, а значит, они могут с полной мерой ответственности это учесть. Девятьсот девяносто тысяч! И Анна Громусова, не колеблясь, отвечает: миллион! Полагаю, и вы тоже услышали их облегченный вздох! Куш у них в кармане. А сейчас, моя дорогая, грядет новая пауза, самая, уверяю вас, интригующая из всех сегодняшних пауз.

Миллион, раз, миллион, два.

Ну, довольно. Пускай бегут минуты и люди терзаются сомнениями. Впрочем, дело не в том, чем терзаются люди, дело в том, что происходит на самом деле. Хотелось бы мне знать. И хоть я пришел сюда, чтобы участвовать в аукционе, но, предположим, не стану. Поиграем-ка с этой мышишкой, покада есть время. Рабская мысль. «Могу убить, если хочу»,— говорит раб, и я представляю, как он стоит с ножом в руке над своим господином, а тот спокойно спит. Господин во сне вздыхает, раб дрожит и выпускает из рук

нож. Ибо он раб, и не более чем раб, и боится даже спящего господина. Не буду участвовать в торгах хотя бы для того, чтобы доказать, что я не раб, бросивший нож, когда хозяин вздохнул. «Ах, безволие, ах, нынешняя молодежь», — я слишком часто слышал подобное кудахтанье, чтобы в это поверить. Что ж, победить в нашем мире могут лишь те, у которых сильная воля. Моя дорогая, в ваших объятиях я принадлежал вам не более, нежели девицы, с которыми прежде забавлялся, принадлежали мне. И такое положение вещей не доставляет мне удовольствия. Оно лишает меня равновесия, и я начинаю сомневаться в себе, а это непростительное преступление. Если я не сдержу слова — вы ведь свое тоже возьмете обратно. И я полагаю, это единственно правильное решение. Я угашу свою жажду тем, что засыплю колодец и проглочу пригоршню соли. «Я поступил благородно», — молвил раб, бросив нож. А что такое бросить нож в моем случае? Не могу решить! Участвовать в торгах или не участвовать?

Экзекутор яростно откашлялся и, как петух, готовящийся прокричать первое утреннее «кукареку», выпятил свою тощую грудь.

— Миллион и двадцать тысяч, — сказал Михал самым спокойным и невозмутимым тоном, на какой был способен.

То, что вырвалось одновременно из груди всех здесь сидящих, можно смело назвать вздохом облегчения. Слухи, шепотком от уха к уху, летавшие по городу, не солгали, они явились сюда не напрасно. Событие сулит быть захватывающим и вознаградит их ожидания. И пан Каш, поддавшись всеобщему восторгу, взревел:

— Миллион и двадцать тысяч, раз!

Анна Громусова повернулась ко всем лицом и поверх голов взглянула на своего пасынка.

— Миллион и тридцать тысяч, — громким, пронзительным голосом крикнула она и, словно навязывая Михалу свою волю, стукнула концом зонтика об пол.

— Маменька осерчали, — произнес кто-то в середине зала, изменив свой голос на бас.

В ответ разразился общий благодарный хохот. Но костяшки пальцев советника юстиции уже стучали по столу. Физиономия чиновника, рассерженная и неумолимая, наклонилась вперед.

— Помещение аукциона не кабаре. Если кто-нибудь еще подобным образом попытается нарушить официальное мероприятие, я приму меры, какие имею право применить по закону.

Ко всем чертям, уж посмеяться нельзя! Зачем мы тогда пришли? Впрочем, смех оборвался. Никто не осмеливается даже буркнуть, люди смотрят перед собой, как провинившиеся школяры. «Чинуша, — думают многие из этих почтенных торговцев, — живет на наши денежки и еще на нас пасть разевает». Их мнение по этому вопросу весьма твердо, и не так уж много надо, чтобы они озлились. Никого так не общипывает государство, как их сословие! И они пестуют в себе неумолимую ненависть ко всем, кто получает твердое жалованье и имеет право на пенсию.

Деньги Громуса пошли в атаку. Клянусь честью, ведь это же деньги из одной мошны и загребала их одна пара рук, сейчас уже полуистлевших. Откуда же еще могла их взять Анна Громусова?

Михала преследовала эта мысль. Она не отпускала его, когда он добавил двадцать тысяч и мачеха, не колеблясь, ответила еще десятью. Сколько же она сумела выманить у отца, если, несмотря на ежемесячные щедрые перечисления Роберту и на то, что по завещанию не получила наличных, может все-таки пускаться в такие авантюры?

— Миллион и семьдесят тысяч, — произнес Михал.

Подбрасываю исключительно с провокационной целью, да, дорогая моя, просто мне не терпится наступить на любимую мозоль старушениции, что воюет со мной моими же собственными деньгами. Приближаемся к оговоренной границе. Полагаю, вас это и удовлетворяет и раздражает. Вы наверняка счастливы, что я, как и обещал, ввязался в борьбу. Вперед, моя дорогая, за мной, доверьтесь мне! Я вознесу вас на вершину, а потом погляжу, будете ли вы похожи на ангела, когда сверзитесь вниз!

Не имеет смысла прибавлять. Время играет на меня, самое меньшее, через два года это барахло все равно опять пойдет с молотка, если я дам ей сейчас его проглотить. Ну, не комедия ли, мои же деньги против меня!

Вот мы и добрались до миллиона двухсот тысяч. Последняя остановка, старина, выходим. Здесь все кончится и пойдет прахом. Мы не выяснили, сколько сударыня мачеха урвала от нашего состояния, и теряем невесту. Но ведь мы мужчины и коммерсанты и, коли уж назвали сумму, сдержим свое слово и не станем швыряться деньгами налево-направо.

— Миллион двести десять тысяч.

Анна Громусова уже давно не могла справиться со своими голосовыми связками, а сейчас орала, будто

командовала ротой солдат. Потому как и в ее расчетах это число было границей, и ей пришлось собрать всю решимость, чтобы превысить его.

Грезы любви, погибшие в аукционном зале. Извольте взглянуть на этот фарс, почтеннейшие. Нет, не могу. Я или коммерсант, или влюбленный безумец! Миллион двести десять — красная цена за фабричку. А где гарантия, что эти деньги вообще не выброшены на ветер? Хватит, говорю, хватит! Пять минут законной льготы уже бегут. Ну и пусть. Мне плевать. Рабство, господа. Ибо существуют ценности поважнее любви и посильнее страха.

Я победил! Нам с вами больше нечего сказать друг другу, барышня, ибо у меня нет сомнений, что вы сумеете сдержать слово. Ну, а вас я буду считать одной из своих любовных усад, хотя это самое необычное из всех моих походов, близкое, пожалуй, к тому, что называют любовью. Хватит. Я отказался от чего-то, без чего моя жизнь, казалось, потеряет смысл. Мне и сейчас это кажется. Я отказался добровольно или под давлением обстоятельств? Я отказался по велению разума и воли. Воли! Чепуха. Все мои желания обращены только к Вильме. Я сказал себе: миллион двести тысяч — это предел. Почему не миллион или миллион семьсот пятьдесят тысяч? Какую роль в данном случае играют сто тысяч, пятьсот тысяч? Я не фабрику покупаю, я покупаю себе жену. Однажды я смогу сказать тебе: я тебя купил. Однажды, когда мне станет казаться, как казалось уже много раз, что единственный способ ее победить — это свернуть ей шею. А она взглянет на меня, как на придорожную тумбу, и усмехнется. Скорее всего, усмехнется.

— Миллион двести пятьдесят тысяч! — Михалу казалось, что он это сказал, но он выкрикнул.

— Жми ее, — проворчал неизвестный остряк, но никто не поддержал его.

Тишина на секунду-другую сгустилась. И люди утонули в ней. У большинства по коже пробежал мороз. Все они были торгашами и по вечерам играли в карты. В картах такое называется — блефовать. Значит, либо у молодого Громуса отказали нервы, либо он хочет закончить эту тягомотину разом. Как бы там ни было, многие из них считали все чистым безумием или вопиющим нахальством. Миллион двести десять — красная цена за имущество Ролина. Набавлять еще сорок тысяч — это уже слишком, насколько они еще разбираются в коммерции. Впрочем, кто не хочет прогореть — должен в ней разбираться.

Экзекутор хрипел, как цирковой зазывала. Драматический накал достиг своего апогея.

Все глаза были обращены к Анне Громусовой. Давай говори, баба. Слишком долго ты оскорбляла нас своим высокомерием. Мы слушаем, мы наострили уши, наши глаза превратились в свиные пяточки, мы роемся в твоей физиономии и стараемся докопаться до самой твоей души. Рушится человеческая гордыня. Она трещит, словно кровля, раздираемая челюстями пламени, воет, как собака под виселицей с повешенным. Говори, старуха! Через час языки всего города станут трепать тебя, как пучок льна.

— Миллион двести шестьдесят тысяч,— произнесла Анна Громусова неожиданно, но слова невнятно провалились, удушенные хрипением.

— Как вы изволили сказать? — обратился к ней судебный исполнитель, будто насмехаясь. — Я вас не понял.

— Миллион двести шестьдесят тысяч, шут гороховый,— крикнула Анна Громусова, и советник юстиции дернулся вперед через стол, будто его кольнули.

— Я попросил бы сударыню,— завел он было, но, взглянув в ее бешено горящие глаза, обращенные к нему, махнул рукой. — Продолжайте,— обратился он к пану Кашу, который, впрочем, ничуть не оскорбился и не изумился, ибо ему постоянно приходилось сносить подобные взрывы беспомощной ярости.

Молодой Громус изготовился, будто волк, готовый вцепиться.

— Миллион триста тысяч,— воскликнул он, едва судебный исполнитель договорил, и по его голосу всем стало ясно, что даже еще миллион теперь для него не предел.

— Миллион триста тысяч, раз, миллион триста тысяч, два!

Анна Громусова накренилась набок, как столб, который вот-вот рухнет. Стоявшие поблизости испуганно расступились. Но она лишь шагнула вперед, выставив перед собой зонт, будто собралась пронзить каждого, кто встанет на ее пути. Она шла по проходу между расступившимися перед ней людьми еще торопливей, чем когда входила сюда. Ее взгляд, пылающий и твердый, устремленный вперед, изгонял из любого даже намека на сострадание.

Ей пришлось пройти мимо пасынка, который стоял у дверей. Молодой Громус старался сохранить непроницаемое выражение лица и не опустить перед ней взгляда. Анна Громусова остановилась в шаге от Михала. Это было нелепо. Как должен держать себя человек в такой ситуации? Она

хочет устроить скандал? И вдруг, без единого слова, Анна Громусова подняла над головой зонтик и размахнулась для удара. Михал по-мальчишески пригнулся и выставил руку, чтоб удержать ее. Но Анна громко захохотала и опустила зонтик вниз, вдоль тела.

— Громус, — сказала она и вышла.

23

Якуб Ролин обходил мастерские, которые больше не принадлежали ему. Он постоял около каждой машины, погладил каждый верстак. Это был для него самый трудный момент. Потом вернулся, сложил в чемоданчик самое необходимое — остальное можно попросить позже в письме — и стал крадучись спускаться с лестницы. Оставался шаг-другой до двери, когда Вильма вышла из конторы.

— Куда это с чемоданом, папа? — произнесла она насмешливо и озорно. Губы его задрожали от стыда и гнева. Он пытался выглядеть строго и отвечать как можно достойнее.

— Я уезжаю.

— Это я вижу, — сказала дочь, и ее издевка была слишком жестокой для сердца старика. — Но не пойму — почему? Видимо, боишься, что теперь твое положение здесь будет недостаточно высоким?

Ролин поднял голову и посмотрел на дочь с тяжким укором.

— Именно так, Вильмочка, — ответил он. — Я хотел уйти молча и свою точку зрения изложить тебе позже, в письме. Не будет ли так лучше?

Она не отвела глаз и сказала безжалостно:

— Если б не твой почтенный возраст, я бы сказала, что все это попахивает мальчишеской романтикой. А если бы ты был мне не отцом, а сыном, я заперла бы тебя и держала на хлебе и воде, пока не бросишь подобные фокусы.

— Да, именно так мне следовало поступать с тобой, — отвечал старик с улыбкой. — Ну, пропусти меня.

— Твое место здесь, — продолжала Вильма, не уходя с дороги.

— Мое место там, где я найду себе применение, а здесь мне нечего больше делать. Я всегда полагал, что мое состояние перейдет к тебе из моих рук. Ты его получила по-своему! Все. Я не привык быть пятым колесом в телеге и жить из милости.

— Проклятая гордыня!

— Это единственное, что у меня есть.

— А то, что твоя помощь может понадобится мне, такое тебе в голову не приходит?

Ролин вымученно улыбнулся, махнул рукой и ответил с убежденностью пророка:

— Ты справишься и сама. Тебя ненадолго хватит терпеть мои советы. Дай мне руку и поцелуй на прощанье.

Вильма спрятала руки за спину и упрямо отвернулась.

— Нет, я не стану с тобой прощаться. Не могу согласиться с тем, что ты задумал.

Когда он вышел из дому, Вильма вбежала в контору и стала смотреть в окно, как удаляется этот могучий, но уже согбенный старец, унося в небольшом чемоданчике все свое земное достояние. Вильма подняла руки над головой и с такой силой затрясла ими, что едва не выбила оконное стекло.

— Старикашка! — крикнула она, и голос ее пресекся рыданиями. — Проклятый, сумасшедший, упрямый старикашка!

Так ушел из Либниц Ролин, чтобы никогда больше не вернуться. Через два года после аукциона о нем напомнили либницким гражданам газеты: они узнали, что Ролин был служащим большой торговой фирмы, производящей облицовочную фанеру, и погиб от ранений в автобусной катастрофе. Но все это были лишь отголоски событий, когда-то их волновавших.

Вскоре после отъезда отца Вильма Ролинова вышла замуж за Михала Громуса. Это была самая тихая свадьба, какую можно себе представить, и никто о ней и не узнал бы, если б не обязательное уведомление, две недели провисевшее на официальной доске либницкого муниципалитета. Их брак можно было бы считать просто замечательным союзом двух расчетливых людей, если бы один при этом не сходил с ума от страсти, а вторая не оставалась холодной. Вскоре Михал получил возможность оценить, для кого из них двоих этот брак выгоднее. Вильма продолжала жить по-своему, явно не позволяя опутывать себя ни обязательствами, ни привычками. Не допустила она и перехода на «ты».

— Доверительность в определенных ситуациях весьма легко переходит в грубость. Но невозможно быть грубым с тем, к кому обращаешься на «вы».

Между ними не случалось ссор, их отношения походили на беседу двух пассажиров в купе международного экс-

пресса. Были у них, естественно, и ночи, но именно после них у Михала усиливалось острое ощущение полной Вильминой неприступности. Михал никогда не наталкивался на откровенный отказ. Наоборот. Но она одаривала его любовью, лишь когда хотела этого сама, а принудить ее он был не в силах. В душе он вел нескончаемый диалог с Вильмой и с трудом отрывался, чтобы переключить внимание на дела, наваливающиеся на него со все нарастающей силой. Постоянная, упорная борьба, из которой даже в своих самых смелых фантазиях он не выходил победителем. Взять любую ночь: сейчас ты со мной, и обнимаю тебя, ты моя! Не «вы», а «ты», слышишь — «ты». Свет в твоей спальне, слабый и неверный, как свет зари, отдает мне тебя всю, твою наготу, твой взгляд, утративший жестокость и затуманенный, мои пальцы, жаждущие осязать трепет твоих нервов, нащупывают их под твоей кожей. Ты моя! Ты — моя? Лакея позвали к княжне, пожелавшей утолить свою страсть. Настанет день, и я не стану спрашивать, я просто изнасилую тебя, как девку, и потом, как девке, набью морду.

После свадьбы минул месяц. Михал шагает взад-вперед по столовой. Четырехугольные серебряные часы на каминной доске звонко отбивают время. Час. Она еще никогда не приходила так поздно. Михал снимает трубку и звонит к Вильме в контору, на бывшую фабрику Ролина.

Отвечает секретарша. Голос девушки звучит удивленно и чуть насмешливо. По крайней мере, Михалу слышится насмешка.

— Мадам уехала еще утром, сразу после восьми, но сказала, что вернется через два часа, не позже.

Михал не благодарит, он раздраженно бросает трубку. Конечно же, он смешон в глазах этой девицы. Ну и что? Звонком он вызывает горничную и велит подавать обед.

— Хозяйка телефонировала, что приедет позже, — добавляет он, понимая, что в этой необычной ситуации надо что-то сказать. И в эту минуту перед домом слышится звук клаксона. Вильмин автомобиль, автомобиль, который он подарил ей к свадьбе!

— Подождите немного, я вас позову, — говорит Михал прислуге и отворачивается к окну, чтобы не видеть ее ухмылки.

Многовато для одного дня, впрочем, редкий день не дает пищи любопытным ушам и глазам, которые постоянно подстерегают их. Он так недавно женат, а весь город уже прохаживается на его счет и насмехается. Вильма вбегает в дом, энергичная, веселая, юная. Михал слышит, как она

здоровается с прислугой и как они вместе чему-то смеются (такова она с другими, но только не с ним). Он прислушивается к стуку ее каблуков по лестнице, слышит, как журчит вода в ванне. А вскоре она появляется умытая, свежая, и к нему доносится аромат ее тела.

Михала трясет от страсти и негодования.

— Вы еще не едите? Сколько раз я говорила, чтобы из-за меня не задерживались с обедом.

— Могли бы дать знать, что уезжаете и куда. Я ставлю себя в смешное положение, разыскивая вас.

Вильма усаживается к столу и звонит в колокольчик. Она явно хочет избежать упреков, считая их ненужными и лишними. Но, прежде чем прислуга приносит суп, успевает сказать:

— Возможно, я действительно должна была вас предупредить, хотя это вовсе не обязательно. Но если вы во что бы то ни стало хотите стать смешным, то делаете это уже по собственной инициативе.

Обед проходит в молчании, но позже, когда горничная убирает со стола и Вильма собирается подняться и уйти, у Михала вырывается:

— Может быть, нам как-то договориться, Вильма? Если и дальше так пойдет, мы станем совсем чужими.

Вильма смотрит на него очень серьезно, в ее взгляде ни тени пренебрежения. Похоже, она скорее жалеет его.

— Не знаю, о чем нам договариваться. Видимо, вы ошиблись в своих предположениях, но я, насколько мне известно, перед вами никогда не притворялась. Вы и сами можете подтвердить, что сей выдуманный официальный акт, который называется бракосочетанием, ничего в моем поведении не изменил. Я такая же, как была, уже потому, что брак с вами означал для меня лишь осуществление моих планов, ничего общего не имеющих с истинным супружеством. Ну, а вы? В качестве реванша могу подтвердить, что и вы не изменились. Продолжаете прилагать усилия, чтобы подчинить меня своей воле, принудить стать такой, какой хотите, чтоб я была. Короче, вы желаете супружества как такового, а я рассматриваю его как средство достижения определенной цели. Вам придется принять мое понимание, потому что я не изменюсь и не подчинюсь. Наш союз, если вам угодно, — свободная солидарность, ибо мы компаньоны, совладельцы предприятия, но при этом сохраняем за собой полную свободу, полную независимость.

— А где же граница? — взорвался Михал. — Кончится

тем, что вы провозгласите свободное право на любовника и мне предоставите такую же свободу.

Она с презрением взглянула на него.

— Зачем? Если у меня есть муж, мне не нужен любовник, и я никогда не потерплю любовницы у вас. Это вам уже известно. Мне хватает вас, и вам должно хватить меня. Я не стремлюсь усложнять свою жизнь любовным хаосом.

— А разве все это не хаос? — в отчаянии воскликнул Михал. — Я совершенно вас не понимаю. Скажите, что я для вас значу?

— Именно это я вам только что сказала, добавить мне нечего. Если вы не научитесь мыслить трезво, будете постоянно страдать.

И, махнув рукой на прощанье, она вышла из комнаты.

24

Михал Громус вышел прогуляться, — идет медленно, сдерживая себя, чтобы не спешить. Зачем показывать, что ты — вне себя от возмущения? И хотя шляпа надвинута с некоторой лихостью, но отнюдь не фатовато, его одолевают заботы. Мысли имеют ту неприятную особенность, что влияют на внешний вид и на ритм наших движений.

В последнее время у молодого фабриканта были большие расходы, и он уже начал ощущать их бремя. На аукционе переплатил за фабрику Ролина, а потом пришлось вложить еще крупную сумму, чтобы снова открыть производство в нынешних изменившихся условиях. Оборудование для серийного выпуска кухонных шкафов требовало больших затрат, чем он предполагал. С ним случилось то, что случается с людьми, которые, забыв о цифрах, кидаются вдогонку за чувством. Серийное производство типовых кухонных шкафов, типовых деревянных дачек. Звучит великолепно. Но мы не можем обольщаться словами и фантазиями. Серийное производство рассчитано на то, что на свете живет определенное количество людей, которые ждут не дождутся ваших изделий, а все остальные пребывают в том неустойчивом состоянии, когда достаточно с вашей стороны толчка, конечно чувствительного, чтобы они пришли к убеждению, будто без ваших изделий просто не могут жить. Как проверить, отвечает ли реальность вашим предположениям? А никак, вам ничего не остается, только положиться на свои предположения. Вы прибегаете к помощи всевозможных чудес, которые в современной коммер-

ции заменяют средневековых святых и патронов. Одно из таких чудес — знание психологии покупателя. То есть вы изучаете душу абстрактного большинства, пытаетесь проникнуть в ее темные закоулки. Поскольку вы рассчитываете только на женщин, считайте, что проблема сузилась. Женщины, конечно, жаждут перемен, они завистливы и чаще всего желают непременно иметь то, что уже есть у других. И женские журналы подготовили для вас почву, ратуя за экономию времени при ведении домашнего хозяйства. Любая женщина мечтает сохранить красоту и молодость. Вы, несомненно, сошлетесь и на то, как, по вашим сведениям, ведут хозяйство американки. Все это их наиболее уязвимые места, сюда вы и направите свои атаки. Вы будете печатать статьи в женских журналах, давать объявления, распространять листовки, клеить плакаты. «Хотите сохранить молодость и красоту? — будете кричать вы. — Будьте веселы и не переутомляйтесь! Американский кухонный шкаф «Громус» сделает вашу домашнюю работу веселым развлечением!» Вы будете фонтанировать идеями и вариантами. «У вас еще нет американского кухонного шкафа «Громус»? — станете вы вопрошать с не слишком оскорбительным изумлением. — Спросите у своей соседки!» Все прекрасно, и успех упорного наступления на воображение, тщеславие и жадность женской половины общества, казалось бы, обеспечен. Но все это требует, естественно, огромных затрат. Сила подобных атак заключается в их неустанном повторении, реклама должна непременно вонзаться в память, призывы должны стать составной частью повседневного словаря, завладеть фантазией настолько, чтобы сниться по ночам. Деньги! Деньги! Михал живет в то страшное время, когда они текут из карманов, словно кровь из перерезанной глотки. Видел бы отец, как он сыплет деньгами, пусть на дело, — смерть задушила бы его еще раз. Старый Громус гордился, что всю жизнь работал без банковского кредита, а сынок, не прошло и года после его смерти, увяз в нем, можно сказать, по самые уши. Он утешал себя тем, будто этот страх перед банковскими деньгами продиктован старческой ограниченностью и что нельзя быть серьезным предпринимателем и вести крупное дело, не пользуясь услугами банка. Но мы зашли слишком далеко, и теперь долго, а быть может, всегда банки будут поглощать большую часть наших прибылей.

А что мы за это имеем? Несколько неправдоподобно и незабываемо прекрасных вечеров (вечеров, чье волшебство продолжила ночь). Тогда нам казалось, будто мы

избрали единственно верный путь, чтобы покорить свою жену, ибо в ее глазах блеснули раз-другой огоньки восхищения. Это случилось, когда мы вместе планировали свое наступление рекламой на мир, и Вильма поражалась воинственному полету нашей фантазии, и мы вместе восторгались легкостью, уверенностью и безошибочным вкусом, с какими она облекала в форму и плоть каждую нашу инициативу.

Михал поднимает трость и легонько помахивает ею, чтобы отогнать воспоминание, слишком мучительное и настойчивое. Он идет по площади, с ним здороваются, возможно, он захотел прогуляться именно для того, чтобы убедиться, что он прежний Громус, тот самый Громус, чей вес в обществе заставляет других сгибаться перед ним в поклоне. Наступление рекламы сожрало свои тысячи, но не принесло ожидаемых результатов. Где-то допущен просчет, подвела именно психология. Забыли, например, что женщины консервативны, успевают привязаться к вещам, окружающим их изо дня в день, и не намерены их менять, не учли, что женщины приучены матерями вести хозяйство по старинке, ленятся приспособливаться к чему-то новому, а знающие толк в современном хозяйствовании не могут выйти замуж, потому что мужчины, которые хотели бы на них жениться, теряют работу. Михал Громус наткнулся на стену, через которую невозможно ни перескочить по-громусовски, ни сделать под нее подкоп. Вот он и шагает вдоль этой стены и простукивает. Чертовски монолитная стена!

Он бродит, не имея определенной цели, мечется, будто заблудился, и вдруг начинает казаться себе человеком, которого безжалостно швыряют волны и он не ведает, за что ухватиться. Он идет мимо дома мачехи. Останавливается, смотрит через ограду. Окна закрыты, в доме поселилась тьма, нигде ни следа жизни; если бы не ухоженные дорожки в саду и скошенный газон, никто бы не поверил, что в доме живут. Анна Громусова заперлась здесь, как в крепости, исчезла из мира; со дня аукциона не выходила, и никто не видел ее. Михал думает о ней без злорадства. Каждое первое число он переводит ей ренту. Это доставляет ему гораздо меньше огорчений, чем многое другое. Долго ли придется платить ей? Наступит день — и старуху отсюда вынесут. Победа. О господи, он и не предполагал, какие плоды это даст и как будет горек их вкус.

Михал резко отвернулся, будто за темными окнами мелькнул призрак. Вильма и Анна. Фердинанд Громус и он

сам. Чепуха. Он никогда не станет таким безумцем и не позволит подчинить себя и унижить, как его отец.

Он спешит уйти прочь, пытаясь избавиться от этих мыслей, но наваждение тащится следом, как бездомная собака. Чтобы изменить направление мыслей, Михал идет к вокзалу, хотя делать ему там нечего.

Начальник станции вышел из кабинета и поздоровался с ним довольно небрежно. Он человек молодой и очень старается не уронить своего достоинства.

— Вагон из Гамбурга уже здесь, пан Громус. Когда вы его разгрузите?

— Завтра, пожалуй, — отвечает Михал рассеянно.

— Тяжелые времена, — говорит начальник сочувственно.

— Ну, отчего же! — отвечает Михал и шагает дальше. Пора, пожалуй, привыкнуть к сочувственным словам и взглядам.

Он выходит из здания станции и в нерешительности останавливается. Между станцией и его фабрикой по-прежнему тянутся поля. Когда-то он мечтал купить эту землю, проложить железнодорожную ветку. Вот было бы смеху! Ну, пройдет в день один вагон с товаром, ну, два! Дел на копейку! Хватит и одного, что стоит под разгрузкой, чтоб взяло сомнение, разумен ли мир и есть ли смысл во всей твоей суете. Вагон с готовой продукцией был отправлен в Англию, а вернулся из Гамбурга, потому как за два дня пошлина подскочила и английские заказчики объявили ему, что отказываются брать товар. Обратного на склады, и без того забытые до отказа и переполненные больше, чем когда отец позвал его на помощь. Сейчас прозвонит колокол, а я вернусь домой и буду заниматься все теми же делами. Зачем? А хотя бы для того, чтобы доказать себе и всему миру, что Громуса не так-то легко сломить.

Вздрыгнул перрон — подъехал поезд, и вот уже из стеклянных дверей повалила толпа. Людской поток начинает обтекать Михала с двух сторон прежде, чем он успевает двинуться с места. И ему не остается ничего другого, как притворяться, будто он и в самом деле кого-то встречает. Иные здороваются, он машинально отвечает и напряженно глядит на двери, как бы помимо воли и все-таки страстно играя в какую-то игру, смысла которой не понимает.

Среди последних, а точнее — последней, пропустив вперед всех приехавших, вместе с толпой из дверей станции вышла Ружена Баладова. На ней темно-синий дождевик, на голове баскская шапочка того же цвета. Без багажа,

с сумкой под мышкой, она остановилась на краю тротуара, в неуверенности озираясь по сторонам. Сюда ее привез поезд, а дальше — на своих на двоих. Это будет потруднее.

Только Ружены ему не хватало! Но разве он надеялся, что чужбина сомкнется над ней, как вода над самоубийцей? Впрочем, ему нечего бояться. Он застрахован от любых неприятностей, что бы ей ни взбрело в голову! Их взгляды встречаются. На лице Ружены ни испуга, ни радости, будто она ожидала, что первым в Либницах встретит именно его. Он не осмелился поздороваться. Она могла бы воспринять это как насмешку, а дразнить ее не к чему. Михал повернулся и торопливо зашагал прочь, даже не стараясь, чтобы его походка выглядела достойно. Ну и прогулочка! Зачем было высовывать нос из дому? Впрочем, нет, наверное, на свете места, где бы Михал Громус чувствовал себя счастливым.

25

Ружена Баладова не пошла по шоссе, а, чтобы таким образом миновать город, свернула на тропу, что вела вдоль стены за фабрикой Громуса и через поле к лесу, огибая пруд.

Озимые уже топорщились едва пробившимися мягкими усиками на юном лице земли. Высокая, нескошенная трава на меже, что ни шаг, щекотала Руженины икры. Все, что оставалось в ней от девчонки, родившейся в деревне, трепетало от радости и печали. Не оглядываясь на Либнице, она устремила взгляд к слободке, дома которой стояли, разбросанные вдоль шоссе, между городом и лесом. Честное слово, они походили на стадо пестрых бедняцких коров, для которых трава была единственной пищей. Здесь тропа раздваивалась, как пруттик, расщепленный ножиком мальчугана. Ружена свернула к лесу.

Кто-то шел по тропе от поселка. И хотя от Ружены он был на таком расстоянии, что она не могла разглядеть его лица, Ружена отвернулась. Она возвращалась сюда, как раненый зверь, что тащится в свою нору. Может, она и не останется, но должна хотя бы увидеть родные места, прежде чем на что-то решиться. Все в душе Ружены было мертво, и даже встреча с Михалом, первым, кого она увидела, не взволновала ее.

Пав так низко, когда уже и сам не видишь в себе человека, ты становишься безразличен ко всему. Но ведь

как-то она должна была сюда добираться, если там осталась без гроша, разве не правда? Когда Роберт смылся (у него у самого были жалкие крохи, их едва хватило на возвращение в Англию, о которой он вспоминал все чаще), Ружена продала все. И хотя этого было немало, ей с трудом хватило на оплату гостиничного счета, к счастью, всего за несколько дней, потому что они с Робертом нигде не задерживались долго. Ружена тяжело вздохнула, ее душили воспоминания. Она пыталась не думать о своем теле, ей хотелось стать лишь частицей густого, свежего и до головокружения чистого воздуха, омывающего ее легкими волнами. Она вдыхала его с такой отчаянной жадностью, будто верила, что он может умыть ее, ах, умыть, как струя воды промывает бутылку, пока она не станет лишь сверкающей прозрачной материей.

Отсюда, с этого места на лесной опушке, Ружена увидела родительский домик. Клочки светлого, почти белого, дыма, вырывались из трубы. Это мать стряпает ужин и подбрасывает охапки мелкого хвороста, кору и шишки, и они быстро исчезают в алчных языках пламени.

Бывало, Ружена заглядывала через мамино плечо, проголодавшаяся, нетерпеливая. Поскорей бы за стол! Мамочка, мама! Она сотрясалась от подавляемых рыданий. Отец стоит в саду, как стаивал там всякий вечер, пока его не кликнут ужинать. Он как будто сгорбатился, но, может быть, так кажется на расстоянии. Она повернулась и вошла в чашу. Хватит! Хватит с них позора, который она навлекла на них. Пока ее нет дома, они могут жить окруженные скорее сочувствием, чем насмешками. Холод коснулся ее влажными руками сумерек. Она запахнула плащ, но он не согревал, и, опустив голову, быстро зашагала прочь. Ей приходилось продираться сквозь сухостой, которого еще не тронул топорик бедняков, и ветки громко шуршали, царапая прорезиненный шелк. Ружена шла к Блату; она думала о нем с той самой минуты, как пересекла границу, ей необходимо пойти туда, и она не может себе объяснить, почему ее туда тянет.

Она поглядела налево, направо, прежде чем осмелилась перебежать шоссе.

Ружена сидела на камне, еще теплом, потому что весь день его грело солнце. И песок под ногами был еще теплым, но от воды уже веяло прохладой. Ничто не изменилось, лишь кусты разрослись пышнее и выше, выбросив молодые побеги.

Ветер водит пальцем по натянутому полотну водной

глади; лысухи гоняются за добычей и перекликаются тихими, нежными голосами, в камышах не утихают суета и шум, иногда выскочит из воды рыба и звучно шлепается обратно. У запруды вода, вырывающаяся из-под щита в луга, прядет свою нескончаемую болтливую песнь.

Насколько легче жилось бы, не будь воспоминаний, дни исчезали бы в нас, как камушки, что кидают в воду мальчишки; круги разбегутся — и снова покой. Что делать? Жить. Но как? После всего, что было, и чтобы такая жажда жизни! Жить! Господи боже, жить! Ее жизнью был Михал, худейовицкое кафе и комната у офицерской вдовы, Роберт, отели на берегу прекрасного моря, ночи, полные звезд, музыки, смеха, огней и ароматов, но и Марсель, пьяные прохожие, слюнявые старики, циничные юнцы, облезлые стены тайных домов свиданий по пятьдесят франков за ночь, страх перед полицией! И это тоже жизнь? Если б я могла сказать: «Нет, я ничего не знаю, это была не я». Но я же сама в эту жизнь полезла, я так хотела ее, что мне казалось, я умру, если всего этого не будет. Все, только не Марсель! Но был и Марсель! Господи боже, ты же знаешь, иначе я подохла бы там, как собака!

Вода у запруды бормочет и гудит. «Глубина восемь метров», — предупреждает дощечка с надписью на столбе. Много лет назад — девушка Ружениных лет этого помнить не может — пара коней с телегой и возчиком угодила в этот омут. А позже пьяный бродяга, которому насыпь оказалась узка, свалился туда, и на воде осталась только дырявая шляпа, последнее прости миру и звездам. Других жертв Блато не знает, потому что если хотели свести счесть с жизнью и нуждой либницкие мужчины, то они отдавали предпочтение ремню и гвоздю, а женщинам было ближе до железнодорожных путей.

Холодные влажные руки обхватили ее за щиколотки, зубы стучат, ее бьет озноб. Вода под запрудой всхлипывает, безумный зеленый старик-водяной сидит себе на затворе и выжидает, чем все это кончится.

Ружена поднялась. Ах, нет, у меня ни на минуту не было таких мыслей, всегда есть надежда, пусть я ее пока не вижу, не чувствую, но она должна быть. В жизни случается всякое. То вдруг все рушится разом и она словно песок, который разметает ветром, а иногда дробится понемногу и дни отгрызают от нее кусок за куском. Нет, не могу. Представляю, что меня ждет, но — нет, не могу!

Ружена возвращалась по невидному в темноте шоссе. Она вышла из лесу, и впереди засветились огни рабочей

слободы, а за ними на потемневшем небе — и зарево над Либницами. Здесь тропа сворачивает к станции. Ружена не решается идти по ней. Медленно, от тумбы к тумбе, приближается она к слободе. Она знает, что ее не прогонят, но знает также, что не найдет в себе смелости войти и попросить их, чтоб ей позволили остаться дома. О чем просить? Она сделала, что захотела, не вняв ничьим предостережениям, не давая помешать себе, и, что бы ее теперь ни ждало, это только расплата.

В ней боролись гордость и чувство вины — с жалостью к себе. Как рвалась она отсюда, как ужасала ее мысль, что проживет свою жизнь как они. Теперь их жизнь казалась ей нереально прекрасной, чем-то несбыточным, знакомым лишь по рассказам. Она возвращалась из мастерской после работы, опускала отекавшие от швейной машинки ноги в теплую воду, чтобы успокоить боль и дать натруженным мышцам расслабиться. Сидела на низенькой табуреточке у плиты, где уже скворчала заправка для похлебки, и в доме пахло жареным луком. В этот час отец, усевшись на лавку у окна, читал при свете угасающего дня вечернюю газету, это был час отдыха и покоя, сладкой лени, еще более счастливый, чем минутка перед тем, как уснешь. Воспоминания совсем одолели Ружену, а от усталости у нее подламывались ноги.

Она опустила на ближайшую придорожную тумбу и долго смотрела на освещенное кухонное окно. До чего же раздражали ее тогда мамины расспросы, до чего приторным казалось обращение и с каким бешенством отвечала она, как избегала взглядов отца, с собачьей преданностью и восхищением устремленных на нее.

Кто-то приближался по шоссе от леса. Она слышит шаги и приступы удушливого кашля. Ружена перебралась через канаву и спряталась за дерево. Возможно, тот уже заметил ее. Ну и что? Не станет же он выяснять, кто там стоит за деревом. Он все время кашляет, уголек сигареты дугой перелетает в поле.

Подумайте только, и он тоже стоит и пялится на окна Баладовых. И тут Ружена его узнала. Он закуривал новую сигарету, огонек осветил лицо, плеснул в него желтым и красным. Она вспомнила, что он шел со стороны леса. Он видел ее, потому и стоит сейчас тут и смотрит в окна. Когда-то он перехватил ее именно здесь, чтобы сказать, что предал. А там, под тем деревом, напротив, она швырнула ему себя, как взятку, как насмешку, то был каприз, желание избежать столкновения, и сейчас опять, как тогда, в те

минуты, ее опалило жаром, будто из распахнутой дверцы печки.

Ружена перепрыгнула через канаву и встала рядом с ним.

— Индра!

От неожиданности из его груди вырвался новый приступ кашля.

— Индра, ради всего святого!

Она стояла в растерянности перед ним, не в силах ничем помочь.

Наконец он пришел в себя.

— Ничего, — сказал он сипло. — Со мной такое случается.

— Не надо бы курить.

Он махнул рукой. «Пора подышать», — означал этот жест.

Ну и встреча. Ружена смотрела на него, в темноте разглядеть трудно, но она его все-таки разглядела. Поди поищи двух таких помятых жизнью!

Индра переступил с ноги на ногу и поглядел на кончик горячей сигареты.

— Ты дома была?

— Нет, и не пойду. Просто стою и смотрю.

Он судорожно сглотнул.

— Я тоже стоял тут и смотрел. Хотел зайти к вашим, да постеснялся. Под вечер у меня был твой отец, просил написать в консульство в Марселе. Хотел перевести им деньги, чтобы тебя нашли и помогли вернуться домой. Я не написал. Удрал и бегал по лесу до самой темноты. А ты, оказывается, уже здесь...

И тишина разделила их. Женский голос кого-то звал. Через приоткрытые окна репродукторы перекликались одной и той же песней. Слышалось недовольное похрюкивание кабана, видимо напуганного мышью. Не всем отмерено поровну и под крышами слободы; время обошлось с ними по-разному, кое-кому еще жилось сносно.

— Мне бы лучше остаться там? Да?

— Нет, не потому! — воскликнул он с давней горячностью. — Просто я не хотел вмешиваться. Не мое это дело, понимаешь?

Темноту, словно неуверенно шаря рукой, всколыхнул паровозный гудок.

— Я опоздала на поезд.

— Почему ты не идешь домой? Твои будут рады, что ты вернулась.

— Нет, я не смогу с ними жить. Не выдержу. Ни их взглядов, ни их молчания. Они станут молча сносить чужие оскорбления.

— Что же ты будешь делать?

— Уеду в Прагу.

— А там?

— Сам понимаешь, мне теперь одна дорога, — сказала она, и улыбка на ее лице погасла.

От волнения у него запершило в горле, приблизился новый приступ кашля. Пытаясь подавить его, Индра опять закурил.

— А за меня ты пойти не можешь?

Он сказал это хрипло и тихо, не настаивая, но боль скрыть не удалось. Индра! Это был все тот же Индра, стоящий в дождь под ее окнами. Есть все-таки какая-то надежда. На Ружену накатывал истерический смех.

— Индра, не сходи с ума. Ведь ты же измучаешься.

— Хуже, чем знать, что ты делаешь в Праге, быть не может.

— Тебя не оставят в покое, будут насмехаться.

— Еще никто не смеялся мне в глаза, а за спиной пусть делают что угодно! — В нем вдруг восстал гордость. — Смеяться? У им еще пригожусь, надо мной они не посмеют издеваться!

Он больно сжал ее руку костлявыми горячими пальцами.

Сжимай, я не стану сопротивляться, даже если ты схватишь меня за горло.

— Ружена, останься здесь со мной, и все пойдет по-другому. Я снова, как раньше, буду бороться за наше дело. За себя, за тебя, за твоих отца с матерью, за всех остальных.

Девочка, будь честной и скажи! Скажи: ты сумасшедший. Ничего хорошего от этой затеи не жди. Чего за меня бороться? Никто меня силой не тащил, я полезла сама, и очень охотно. Там, над Блатом, я вовсе не собиралась бросаться в омут головой, отправляться в Прагу на панель тоже не желаю, скажи, что мне еще остается, если ты встал на моем пути. Нет, не совсем так. Я молчу, потому что не знаю. Мне сейчас надо что-то выбрать, на всю жизнь, ах, боже, нужно поскорее ответить, от голода я едва держусь на ногах.

— Индра, прошу тебя, ступай к нашим и скажи им, что я здесь. И попроси, пускай встретят меня попроще, пускай

надо мной не плачут. Скажи им, если не смогут, я лучше сразу пойду к тебе. И еще скажи, что так решил ты, а я согласилась. Может, тогда мое возвращение будет для них не таким тяжелым.

Михал велел вызвать кладовщика Баладу.

— Садитесь, закуривайте, — приветствовал он его и пододвинул коробку с сигаретами. — Мне нужно с вами посоветоваться.

Кладовщик волновался, но сдерживал себя. Он сел, положил кепку на колени и поблагодарил за сигарету. Несколько запоздалый и вялый жест для человека, который купил себе повышение по службе и надбавку к жалованью молчаливым согласием с поведением дочери. Но с тех пор, как Ружена вышла замуж за Индру Поура, многое улеглось в душе кладовщика Балады. Он снова распрямил спину и стал смотреть людям в глаза. Что ж, Балада-то смотрел, но люди все еще отводили глаза. Не похоже, что они собираются опять считать его своим. Он потерял место в этой малой вселенной, которой был рабочий поселок, и кружит теперь подобно одинокой звезде, обреченной на угасание. Он теперь ни с кем, ибо еще не служащий, но уже и не рабочий, и стал подозрителен именно для тех, кто некогда так верил его благоразумным речам. Что более страшное, чем это, могло обрушиться на Баладу, для которого работа в партии была всегда единственным смыслом жизни?! Он понимал, в чем причины его изоляции, покуда на него падала тень Ружениной вины, но теперь, когда Ружена вернулась и ее, после замужества с Поуром, люди приняли — хотя и после некоторого колебания и растерянности, но все же приняли, — откуда же такое недоверие к нему? Как он ни тщился, как ни старался, с ним разговаривали неохотно и спешили поскорее уйти прочь. Чего им надо, что он должен сделать, чтобы не смердеть, как сапоги живодера, отпугивающие собак? Отказаться от предложенного места? Заявить об уходе и подыхать с голода? Может, и сейчас не поздно? Нет, этого они не смеют требовать. Он вел с ними страстные разговоры, объяснял, умолял. Люди, послушайте! Я дал молодым на домик, издержался до последнего, а надо хоть немного отложить про черный день! Ведь и со мной может случиться, что уже случилось со многими из вас, а если я окочурюсь, то останется жена, да и молодые... Индра — что-то он мне не нравится, — ему,

похоже, надо поскорее начать лечиться, а что будет с девчонкой, если он протянет ноги? Или вы хотите загнать ее туда же, откуда она и без вас с трудом вырвалась?!

— Говорят, ваша дочь вышла замуж, — с расстановкой произнес Михал. — Поздравляю.

Надо полагать, меня сюда позвали не для того, чтобы поздравить. Ему бы впору поздравить самого себя, что дело обернулось таким манером.

— Лучшее, что она могла сделать, — ответил Балада с вызовом.

— Несомненно, — поспешил согласиться Михал. Он принялся рыться в коробке сигарет и, выбрав, закурил наконец, притворяясь задумчивым, на самом же деле стараясь успокоиться. Он подыскивал слова и покашливал, будто бы от дыма, но в действительности стараясь придать голосу спокойную интонацию.

— Я желал бы, пан Балада, выслушать ваше мнение. Вы и сами знаете, что весной и в начале лета у нас имеются значительные затруднения со сбытом готовой продукции. Вам известно также, что и сейчас мы работаем, если можно так сказать, только на склад. Вы это знаете лучше кого бы то ни было.

Он умолк, и Йозеф Балада, в котором сразу же пробудился рачительный хозяин, болеющий за свое дело, увидел склады, забитые по самую крышу, где невозможно отыскать место для новой продукции, а машины все изрыгают ее без устали. Он заворчал:

— Там уже повернуться негде. Надо бы что-то делать.

— Выбор у меня не так уж велик, — сказал Михал. — Что я могу? А самого легкого пути я хотел бы избежать. К счастью, появились признаки улучшения. Мы опять сможем сбывать. Не меньше, чем год назад, возможно, даже больше. Однако есть одно «но». Мы сможем сбывать наполовину дешевле против нынешней цены. И уже давно спустились к самой нижней калькуляционной границе. Можно бы, конечно, распродать скопившееся на складах себе в убыток, ничего иного нам, видимо, не остается, но мы не можем себе в убыток производить. Мы просто разоримся. Итак, вы понимаете: что-то надо делать.

Йозеф Балада сидел и старался не встретиться взглядом со своим работодателем. Знакомая песенка! Понятно, откуда ветер дует — и куда. Он готов выслушать все, что скажет Михал Громус, но не ответит ни слова.

Однако чем больше мрачнел Балада, тем больше успокаивался Михал, он обретал уверенность. Иногда тяжеленько

быть хозяином самому себе, но, несомненно, всегда легко командовать другими.

— Я пригласил вас, чтобы узнать, что меня ожидает, если я объявлю о снижении заработной платы. Оно будет немалым, скорее наоборот, тридцать процентов! И, заявляю наперед, не уступлю ни сотой доли.

Йозеф Балада почувствовал, что бледнеет. В нем проснулся председатель фабричного комитета, обязанность которого — защищать интересы рабочих, оказавших ему доверие. Он резко ответил:

— Рабочие никогда с этим не согласятся!

Михал усмехнулся, и память тут же выдала картину, когда-то так беспокоившую его: Балада, приглядывающий за рабочими на разгрузке вагона, и рабочие, презрительные и безразличные к своим хозяевам. Они — сила, значения которой он когда-то не сумел предугадать и которая нагоняла на него страх именно своей непостижимостью, а сейчас она казалась стертой и нереальной, как и само воспоминание.

— Думаю, вы несколько сгущаете краски. Я предвижу сопротивление, точнее говоря, возражения. Могу ожидать, что мне пригрозят стачкой...

— Уж в этом не сомневайтесь, — перебил его Балада запальчиво. К нему возвратилась решительность записного оратора, показалось, что представляется случай снова встать в тесные ряды, откуда его вытолкнули. Теперь он получит благодарность толпы, которая так легкомысленно и мелко пренебрегла его лидерством. Здесь нет свидетелей, но, он надеется, они так или иначе узнают и в конце концов придут к нему. «Черт побери, товарищ, так дальше не пойдет! Не держи зла... Ежели что тебе не по вкусу — давай забудем, только бери-ка снова дело в свои руки!»

— Если вы срежете тридцать процентов, рабочим на оставшиеся нищенские гроши не прожить. Они и без того обозлены, что, купив новое оборудование, вы лишили многих из них даже самого необходимого. Эта последняя капля переполнит чашу!

Михал все улыбался снисходительной, недоверчивой улыбкой.

— Должен найтись кто-то, кто посоветует им не устраивать стачки. Дорогой пан Балада, не я выдумал эти машины, и мне они ни к чему. Более того, я принадлежу к людям, которые предпочитают машине ручной труд. Но, увы, не в моих силах остановить прогресс! Так же, как этого не может никто другой. И, если один из нас взялся за

рационализацию, все остальные вынуждены следовать ему. Так же обстоит и с зарплатой. Иностранная конкуренция принуждает меня снизить цену готовых изделий. Я могу избежать этого двумя способами: либо продолжать внедрять рационализацию и увольнять рабочих, либо снизить заработную плату. Я убежден, что второе решение и социально более справедливо: пострадают не отдельные рабочие, бремя падет на всех в равной мере. И кто-то им должен все это разумно доказать.

— На меня не рассчитывайте, — поспешно ответил Йозеф Балада. — Они убеждены, что я вам запродался, и не поверят ни единому моему слову. Они поверят скорей, что вы подослали меня облапошить их. Нет уж, вы на меня решительно не надейтесь.

— Я не имел в виду именно вас. У вас есть зять. Насколько мне известно, ему очень доверяют. Если бы вам удалось убедить зятя... — Михал выжидал, будто взвешивал слова, — а ему — и других, то у меня найдется способ возместить те убытки, которые он понесет от снижения жалованья. Молодоженам будет лучше, если их такое не коснется.

Кладовщик побагровел и трудно дышал. Почему Громус выбрал именно его и его семью? Разве и без того он мало их опозорил? Неужели они теперь никогда от него не избавятся?

Михал внимательно смотрел ему в лицо. Ишь ты, еще вспылит и начнет тут орать. Их не поймешь. Думаешь: старик помешан на деньгах и за приличную сумму от него добьешься всего — и вдруг натыкаешься на стену, через которую не перелезть. И Михал, опасаясь, что кладовщик вот-вот разинет пасть, чтобы ответить, торопливо произнес:

— Я не жду ответа немедленно. Это лишь информация. Подумайте. Вы своего зятя знаете лучше, чем я, решайте, можно нечто в таком роде поручить ему или нет. С моей стороны это лишь попытка избежать осложнений. Я не люблю заходить далеко. Но если вы полагаете, что шаги, которые я предложил, не имеют надежды на успех, то не пытайтесь вовсе. Я сам сообщу фабричному комитету о своем предложении и, если предложение не будет принято, не стану ни обсуждать, ни дожидаться, пока они объявят стачку. Я просто остановлю фабрику на время. Пока не распродам накопившийся товар и не получу новые заказы, чтобы начать выпуск продукции. Но потом, естественно, возьму обратно на фабрику только тех, кто согласится работать на новых условиях. Это все.

Михал Громус встал. Разговор подошел к концу. Кладовщик не произнес ни слова, попрощался и направился к выходу, притворившись, будто не видит поданной хозяйном руки. Когда Йозеф Балада стоял в дверях, Михал сказал:

— Вас, разумеется, все это не коснется. Склад должен содержаться в порядке, и дела там всегда хватит.

Йозеф Балада обернулся. Слова бились в нем беззвучно, словно в безъязыком колоколе. Он их боялся. Отталкивал и звал. Одно дело — говорить за всех, это вроде как если б на тебя напали, а ты прислонился к стене и стена тебе помогает, она заодно с тобой. Другое — говорить за себя без уверенности, что у тебя есть на кого опереться, на кого положиться, и ты боишься, что стена, в которую верил, исчезнет, оставив за твоей спиной пустоту. Когда-нибудь, браток, тебе придется с этим покончить! Дочь твоя замужем, чего тебе угодничать, оставаться ничтожеством, человеком, честь которого кривляется и пляшет за подачку, как шут гороховый!

— Если до такого дойдет, — выдавил наконец Балада, — я буду солидарен с остальными.

Михал утомленно вздохнул.

— Будем считать, что вы должны были так ответить, чтобы по какой-то причине оправдаться перед самим собой. Но если вы думаете это всерьез, предупреждаю, вы себе плохо представляете свое положение и ситуацию. Если, конечно, дело дойдет до остановки работ и вы перестанете выполнять свои обязанности, я сочту это законным основанием для увольнения.

Йозеф Балада вышел не попрощавшись.

Несколько дней Йозеф Балада носил в себе эту тяжесть. Ему не к кому было с ней пойти, а довериться зятю он не отваживался. Наверное, он обязан был кричать во всю глотку, потому что новость касалась всех. Наверное, надо было встать и сказать на собрании: «Вот, товарищи, знайте! Может, удастся еще что-то сделать, как-то помешать. Он не смеет ни снижать зарплату, когда ему стукнет в голову, ни закрывать фабрику, когда вздумается!» Но Йозеф Балада не посещал собраний с тех пор, как его прокатали на выборах и не избрали председателем, и одна только мысль, что ему нужно снова пойти к ним, вызывала в нем прежнюю

обиду и гнев. Они наплевали на него, выперли пинками под зад, а такое не забывается.

Цементный завод уже работал всего три дня в неделю, весна и лето не оправдали надежд, строительство приостановилось на неопределенное время, а впереди была безысходная зима. У кладовщика Балады переворачивало все нутро, но он продолжал молчать. Когда-то они заклеили его подозрением, будто он панский холуй. Этого он простить не мог. Если Громус действительно закроет фабрику, лично Балады это не коснется. Допустим, он пришел к ним, они станут выпрашивать, откуда у него такие сведения, и еще больше утвердятся во мнении, что, коли он вдруг полез в святые, значит, у него горит земля под ногами, как, впрочем, и у всех остальных, и он хочет заручиться их поддержкой. За эти годы Йозеф Балада отлично изучил их, ему объяснять не надо. Страх за кусок хлеба сделал их подозрительными. Они твердо верят старой истине, что господам не обойтись без доносчиков и шептунов. Дни бежали, все приближая решение Громуса, но не укрепляли уверенности Балады, а лишь усиливали его муки. Он даже мысли не допускал, чтобы поделиться своими тревогами с Индрой и попросить его совета. Слишком, ей-богу, допек их всех растреклятый Громус, чтобы еще раз напоминать Индре о нем. Но ведь есть еще Ружена?

Прошли недели, пока Йозефу Баладе удалось наконец улучшить минутку и застать ее дома одну. Это случилось после обеда в субботу, она сидела за домом под яблоней, уже отягощенной созревающими плодами. Сидела неподвижно, предаваясь тихому блаженству, в последнее время нисходящему на нее, как легкая июльская тучка, что прикрывает от солнца утомленную зноем землю. Ее живот выпирал и округлялся, и Ружена ощущала в себе незнакомый, неисповедимый росток, прорастающий из тьмы к свету. Он стал якорем, навсегда прикрепив ее к материку жизни, он вселил уверенность, что никогда ей больше не оторваться, как безумной лодке, которая готова плыть и плыть, даже себе на погибель.

Она восприняла приход отца без большого восторга, он лишал ее блаженства этой тихой минуты. Йозеф Балада уселся рядом с дочерью и долго подавлял вздохи, понимая, что его задача труднее, чем он представлял. Наконец он заговорил об Индре, в это самое время находившемся на собрании, и принялся расхваливать зятя. Сразу видать, женитьба сделала его совсем другим человеком, он теперь

не тот, что раньше. Никто нынче, видя его уравновешенным и рассудительным, не поверит, каким он был бешеным.

— Это верно, папенька, — отвечала Ружена, несколько удивленная, с чего это вдруг отец, в присутствии Индры обычно смущенный и недоверчивый, явился к ней и превозносит Индру до небес. — Индра такой хороший, что мне даже больно.

И тут кладовщик с трудом удержался, чтобы не буркнуть: с какой, мол, стати ей больно, это Индре надо прыгать от счастья, что ты у него есть, — но подавил в себе это желание.

— Он за тебя в огонь и в воду, и голодать с ним не будешь, — только и сказал он громко и уверенно.

Ружена недоумевала, почему он вдруг заговорил про голод и что вообще означает вся его болтовня.

— Ну уж это конечно, — ответила она. — Он из кожи вон лезет...

— Да, но у других, как ни бьются, ничего не выходит, — перебил отец. И, путаясь в собственных словах, принялся излагать свой разговор с Михалом Громусом. Он не знал, как бы получше подготовить почву и попросить Ружену, но вдруг понял, что вроде бы одобряет действия фабриканта. Балада обливался потом, будто солнце стояло в зените, а оно между тем уже опустилось низко над лесом. — Если ты рассудишь по-умному, — закончил он свою отчаянную и взволнованную попытку выгородить намерения Громуса, — то поймешь, что для всех будет лучше, если Индра согласится и уговорит их пойти на уступки. Ведь лучше принести домой хоть грош, чем сидеть и ждать пособия, которое меньше половины зарплаты. А ведь и вам сейчас (тут кладовщик покосился на выпуклый живот дочери) не грех зарабатывать лучше, чем зарабатывали.

Отец говорил, а Ружена видела глаза Громуса, вытаращенные от смеха. В них была уверенность: клюнут. Громус никогда не сомневался в том, что задумал. Если он смог купить ее, то почему сейчас не может купить ее мужа? Она посмотрела на отца, на его лоб, взмокший от трудного разговора. Ее передернуло. Физиономия подлеца, перетрусившего, что ему не удалось скрыть истинный смысл слов. В ее жилах течет его кровь, в этом Ружена больше не сомневалась, вот почему Михал без большого труда заполучил ее и без большого труда избавился. И это отцовская кровь в ней боялась бедности, которой Михал ей угрожает. Она чуть не закричала, но вовремя спохватилась, ведь они сидят

в садике, а все вокруг, наострив уши, со злорадством ждут новых подтверждений вероломства и позора Балады.

— И вам не стыдно, папенька? — тихо спросила Ружена.

Кладовщик не находит ответа. Он покраснел, задохнулся, вцепился пальцами в скамейку. Ружена поднялась, оправила помятое от сиденья платье и пошла прочь. А чего он, собственно, должен стыдиться? Он-то знает чего, но упорно повторяет про себя вопрос, будто по гроб жизни так и не поймет, чего же тут стыдиться.

Разве стыдно, что он хочет обеспечить их и себя? Разве она сама, своими собственными глазами, не видит, куда они зашли с этой хваленной рабочей солидарностью? Пустая фраза, на которую все наплюют, как только запахнет жареным. Стыдиться! Уж кому-кому, но только не ей говорить о стыде.

Обеспокоенная новостью, принесенной отцом, Ружена, не находя себе места, поспешила к Индре. Такого еще не случалось, чтоб она приходила за ним на собрание, и Поур, не обращая внимания на шуточки товарищей, проезжавших насчет его усердия в делах супружеских, схватил кепку и выскочил из трактира.

— Что случилось? — с испугом спросил он.

— Расскажу по дороге, — ответила Ружена. Они шли взявшись под руку, не таясь от назойливых взглядов. Многие либничане знали Руженину историю и смаковали невиданное зрелище: Ружена с высоко выпирающим животом в трогательном сопровождении мужа! В это время жители Либниц обычно отправлялись на променад, и площадь была полна молодежи и горожан, закончивших службу. Супруги Баладовы прокладывали себе путь в этом ленивом потоке — Ружена, все еще красивая и, пожалуй, даже элегантная, несмотря на располневшую талию, и тощий Индра, типичный, даже, пожалуй, вызывающий — своим пролетарским обликом и черными злыми глазами, взгляда которых люди побаиваются.

Они свернули с площади в городской сад. И тут Ружена рассказала Индре, с чем заявился отец. Он выслушал ее не перебивая, хотя его костлявые пальцы иногда так сильно сжимали Руженину руку, что причиняли ей боль.

— Что же ты ему ответила? — спросил он, когда Ружена закончила.

— Спросила, не стыдно ли ему.

— И он удивился, с чего бы это? Ну, Ружена, твой папаша — человек конченный. Он потерял веру, впрочем, он

и всегда не больно-то верил. Своя персона весь мир застила. Он неплохо придумал — идти к тебе. Счел, что ты испугаешься нищеты и уговоришь меня сделать все, что от него требуется.

Ружена смотрела на дорожку. Она колебалась. Все уже было решено, пока она бежала к мужу. Просто подыскивала слова, и в горле щипало от стыда и растерянности.

— Почему нищета, Индра? — выдавила она наконец. — Останешься ты без работы — смогу работать я. Буду опять шить.

Они долго молчали, испытывая неловкость от вспыхнувшей вдруг веры друг в друга. Пустая скамейка манила. Они сидели взявшись за руки. Солнце уже садилось, и небо над деревьями отливало всеми цветами радуги. Мягкое обморочное головокружение выключило сознание Индры. Дурнота вырвалась долгим, словно из волны, вздохом и старалась накрыть его с головой. Жить тебе, парень, недолго, не обманывай себя. И все же в этой неожиданно мелькнувшей уверенности не было страха.

— Что с тобой, Индра? — испугалась Ружена, почувствовав, как его обжигающая сухим жаром ладонь стала вдруг влажной и холодной.

— Уже все в порядке, — сказал он с кривой улыбкой. — Наверное, много курил. С шитьем не торопись, Ружена, сейчас это тебе не годится. Пока я работаю — работаю. На свете не один Громус. Найдутся и другие, чтобы жать из нас масло. Вот что я думаю: предложу-ка товарищам опередить его и самим явиться с требованием повысить заработную плату. Это будет поводом для объявления стачки и для нас лучше, чем если он закроет фабрику. Можно будет тянуть дольше, нежели ему того захочется, а после стачки он уже не сможет уволнять.

Индра разгорячился, он говорил быстро, пока приступ кашля снова не прервал его и он опять весь не взмок от холодного пота. Ружена крепко сжимала его руку в своей. Куда она смотрит?.. А-а...

Приближался Громус, держа шляпу и трость в руках за спиной; всем своим видом он старался не показать, что его одолевают заботы. Если что-нибудь и болтают, вы только взгляните на меня — и убедитесь: все это сплетни.

Ружена с Индрой, сами того не желая, замерли, словно перед камерой фотографа. Рука Индры сжалась в кулак, и Ружена, почувствовав, как муж цепенеет от напряжения, впила пальцами в его запястье.

«Ну, милый, ну, прошу тебя», — мысленно шептала она,

ибо губы ее были не в силах разомкнуться и произнести эти слова вслух. Но Индра все равно услышал. Он расслабился и сел свободнее. Я уже перешагнул через это, девочка. Когда-то у меня была возможность рассчитаться с ним, но я не сумел ее использовать. Ах, что было, то было! Чья ты сейчас? Выставь свой живот, выпяти его посильнее, вот он, памятник моей победы. Нет больше спора между ним и мною. Только спор между *ними и нами*. Время работает на нас. И теперь не мы, а они дают нам такую возможность.

Михал приостановился. Он увидел их. Сбившись, он сделал два-три шага коротко и неуверенно. Повернуть назад? Пройти мимо и поздороваться? Или сделать вид, что их не замечает? Он выбрал последнее и, приметив аллею, сворачивающую влево перед самой скамейкой, пустился по ней.

А эти двое тихо смотрели ему вслед. И вдруг оба громко, не сговариваясь, захохотали. Оглядевшись вокруг и не обнаружив поблизости никого, они обнялись и поцеловались, как любовники, которыми, может быть, по-настоящему стали лишь в эту минуту. Индре не терпелось выложить все; как на духу.

«...Однажды вечером, на запруде у Блата...» — хотел он поведать Ружене, но сдержался. Пусть это останется в нем и уйдет вместе с ним. Они еще раз поцеловались и встали, исполненные молодого стыда и счастья.

28

Часы на либнической ратуше били половину восьмого, когда Вильма Громусова пересекла площадь. Был вечер пятницы, а в дорогу она отправилась в понедельник. Побывала в нескольких городах Посазавья и в Лужнице. Деревянные дачные коттеджи раскупали отлично. Вильма приехала, чтобы осмотреть площадку, на которой по заказу спортивного общества собиралась строить целый поселок из таких типовых коттеджей, на других же — небольшие виллы, учитывая вкус и желание покупателей. Ей повезло. Тут же на месте она получила новые заказы и несколько заманчивых предложений, которые отнюдь не казались пустыми.

Стоя у окна за портьерой, Михал наблюдал. Вильма вышла из автомобиля и, сняв белое полотняное пальто, бросила его на руки горничной, выбежавшей ей навстречу. Движения Вильмы были быстры и решительны и вместе

с тем полны очарованья. Окно стояло распахнутым. Михал слышал ее смех, она шутила с девушкой и звонко и откровенно смеялась, как никогда не смеялась, когда бывала с ним.

Как будто ветер ворвался в открытые двери и пролетел по дому, выискивая, куда бы снова скрыться. Шум юбок, развевавшихся на бегу, стук каблучков. Михал сел и стал ждать. Так лучше, легче будет преодолеть желание кинуться к ней, обнять и расцеловать, сжимая молодо, беззаботно и счастливо, не обращая внимание на покрывавшую ее дорожную пыль, пока в ней еще бьется и пульсирует скорость автомобиля. Михал поднял руки, прижал кулаки к вискам, но опять опустил их между колен. И вдруг его пальцы сжались так, будто он взял чью-то ладонь. Михал смотрел на пустые руки сквозь пелену воспоминаний о дне отцовских похорон. Первое Вильмино рукопожатие. Благородство форм, прочность и хрупкость драгоценной вазы. Уже тогда он наверняка знал, что ему не удастся постичь ее, схватить и удержать.

Вильма вошла, но Михал не изменил позы, лишь повернул голову, чтобы взглянуть на нее. За несколько минут, проведенных наверху, она уже успела переодеться, сейчас на ней было платье из цветастого шелка, щеки под тонким слоем пудры горели молодым румянцем. Она не скрывала своей радости и шествовала походкой триумфатора, словно явилась освеженная любовной купелью из объятий любовника. Михала кольнула острая ревность: он ненавидел ее красоту и свою неугасимую страсть.

— Что тут произошло? — спросила она обеспокоенно и тут же перешла на слегка насмешливый тон, каким обычно разговаривала с Михалом. — Ваша жена возвращается после недельной разлуки, а вы, вместо того чтобы прыгать от радости, сидите будто в воду опущенный. Вы даже не хотите поздороваться со мной?

Михал не в силах сказать, как мучительно этого хочет. Он поднялся и двинулся к Вильме, сердце стучит совсем как в тот раз, когда он впервые приблизился к ней со страстным желанием поцеловать, но и страхом, что на такое никогда не решится. Он склонился к ее руке, а когда выпрямился, она сама поцеловала его долгим поцелуем и, глубоко вздохнув, так и осталась стоять, обвивая руками его шею.

— Мой бука, — сказала она, — у меня радость, вы это чувствуете? Настоящая, не эгоистическая, и я хочу, чтобы вам перепала ее частица.

И Михал ответил:

— Возможно, в эту минуту вы даже любите меня. С меня довольно, если все так и останется.

— Весьма возможно, что в эту минуту я действительно люблю вас, — молвила Вильма все тем же ясным голосом. — Я способна на многое, когда исполняются мои намерения. Даже не быть эгоисткой и, может быть, даже любить. Но не советую вам на этом что-нибудь строить. Почва зыбкая, фундамент непрочный. Завтра столкнусь с препятствиями — и буду думать только о них.

Михал нагнулся, подхватил Вильму и понес на вытянутых руках в гостиную. Опустился вместе с ней в одно из глубоких кресел и продолжал:

— Такой вы еще никогда со мной не были! Что вас так радует?

Она уселась поудобнее, но не сделала попытки вырваться. Наоборот, положила руку на его плечо, а вторую засунула под пиджак, до самой подмышки.

— Как приятно! В нас, женщинах, и впрямь есть что-то от кошек, нам нравится сворачиваться клубочком в тепле. Да! Я еще никогда ничего подобного не испытывала, вы верите?

У него мелькнула мысль, что все другое она уже успела испытать, но это не вызвало в нем той бередящей душу, обжигающей боли, как обычно. Слишком хорошо держать ее, податливую и любящую, и незачем отравлять себе такую минуту. Он молчал, погрузив лицо в ее волосы.

— Дайте мне сигарету, — попросила Вильма, — но так, чтобы мне не надо было шевелиться.

К счастью, портсигар находился у него в кармане пиджака, и он как мальчишка обрадовался этому. Михал зажег ей и себе, и они молчали и курили. Он представлял себе все изгибы ее тела и повторял их, словно поэму, властную и волнующую, вдыхал аромат ее волос, так не похожий на запах сигаретного дыма. Сумерки сгустились, будто день растворился во тьме и сейчас оседал в сосуде этой комнаты.

— Мы настроены исключительно лирично, вам не кажется? — спросила Вильма без насмешки. — По крайней мере, я. И мне это нравится.

А в нем жило видение, и он не мог избавиться от него, наоборот, эта минута все четче обрисовывала его силуэт. Ружена и ее муж там, в парке, на скамейке. Сидят застыв, словно изваяния, такие разные и все-таки будто чем-то прочно связанные друг с другом. Михал сразу угадал,

почему они так замерли, и, ретируясь на боковую аллею, испытывал сложное чувство нелепости своего бегства и гротескной комичности, которую вызывал их вид. Это продолжалось недолго, победило зрелище Ружениного вздернутого живота и вонзилось в сознание. Михал невольно положил руку на Вильмин живот. Девически плоский, почти впалый. И другим, наверное, никогда не будет. Он привлек к себе Вильму, как в любовной судороге, и ответил на ее последние слова:

— Я хотел бы, чтобы так продолжалось вечно. Так обычно говорят, не правда ли? Но сейчас я и в самом деле испытываю это желание.

Она рассмеялась.

— Милый мой, не считая того, что через десять минут у вас затекут ноги и вы будете счастливы, когда я наконец слезу с ваших колен, вы и часа не вынесете такого сладостного бездействия. Вас это не наталкивает на размышления? Это хуже, нежели любые волнения. Я, видимо, не думаю, я грежу. Но, увы, должна, к сожалению, признаться, мои грезы очень мало связаны с вами. Это просто переплетение физического наслаждения, радости удачи и мечты о том, что мне предстоит сделать. И, надо сказать, вы отлично во все это вписываетесь.

— Зачем вы мне это говорите? Бойтесь, что я стану радоваться какой-то победе над вами? Быть может, сейчас мне было бы приятнее вам покориться.

— Зачем? От этого вы только потеряете. Сколько раз я повторяла, мы можем сносно жить рядом, если вы не станете требовать от меня больше, чем я сама захочу вам дать. Для меня все это само собой разумеется, а вам еще надо привыкнуть. Впрочем, не лучше ли помолчать? Мы слишком много говорим, а такую минуту могут убить слова.

Михалу казалось, что в нем не уместаются чувства, которые он сейчас испытывает. Разве уже само то, что она сидит с ним вот так и это ей приятно, не прекрасно? Он гладит ее по обнаженной нежной руке. От прикосновения к ее коже Михала бросало в дрожь, каждый вздох, насыщенный ароматом ее волос и тела, подбрасывал все новые смолистые поленья в пламя его чувственности. Но как только он закрывал глаза, чтобы еще глубже погрузиться в это наслаждение, он видел Руженин раздутый беременностью живот. Он наблюдал за медленным ходом своих мыслей. Разве не могут они с Вильмой договориться разумно? Возможно, это лишь вопрос тактики, которую он изберет. Только сумасшедший пытается пробить стену

лбом, умный обойдет стену, перелезет через нее или сделает подкоп.

— И все же, сдается мне, — заговорил он, уткнувшись в ее волосы, будто шепча какое-то объяснение, — что, повторяйся подобные минуты почаще, мы оба были бы немного счастливее.

Она задвигалась, желая возразить, но опять успокоилась.

— Говорите только за себя, — сказала она. — Я никогда не чувствую себя ни вполне счастливой, ни несчастной. По моему мнению, это самое естественное состояние, в котором человек может жить. Какое там счастье! Это слишком большое отклонение от нормы, чтобы не начать беспокоиться, а что же последует дальше? Сегодня у меня радость, и это чудесно. Радость очищает, подобно купели. У меня есть причины радоваться. Исполнилось все, чего я ждала от своей поездки, и даже больше. Но радость не вызывает опасений. Знаю, она уляжется и наступит желание что-то сделать еще. И это мне необходимо. Ах, Михал, трепещите! Надеюсь, я своими коттеджами порядком утру вам нос. Для меня сложилась благоприятная ситуация, в то время как вы со своими гребенками не знаете, куда деваться.

Из груди Михала вырвался вздох, подобный рычанию.

— Ах, лучше б у вас были иные причины для радости.

— Ревность предпринимателя, — засмеялась Вильма. — Не можете переломить себя и не ревновать к успехам законной супруги? Я встану. У вас наверняка уже затекли ноги.

Вильма соскользнула с его коленей и стаяла, поднимая руки над головой, она потянулась и прогнулась в спине. Михал уже не мог разглядеть ее лица и наблюдал лишь темную дугу фигуры и светлое разветвление поднятых рук. Сознание, что он привязан к ней не любовью, а неустанным стремлением поработить, пронзило его горечью и беспомощностью.

Вильма взяла его за руку, заставила встать и повела к угловому дивану.

— Садитесь сюда, — приказала она и, когда он послушно опустился, легла рядом, положив ему голову на колени.

— Мне приятна сегодня ваша близость. Вас это не радует? Я сегодня какая-то... — как бы это выразиться поточнее — плотская и хотела бы знать, насколько моя чувственность подчиняет себе мою волю.

— Короче, вам хочется проверить, можете ли вы делать

со мной все, что вам заблагорассудится. До сих пор, Вильма, я был для вас лишь средством достижения определенной цели. Вы ее достигли. Не хотите ли что-нибудь изменить?

Она лениво потянулась и, чуть повернувшись, добралась до его волос, запустила в них пальцы и спросила:

— Ну, мое средство, а что бы хотелось изменить вам? Поделитесь со своей госпожой и владычицей. Я нынче в милостивом расположении духа и, возможно, ваше желание исполню.

Он подавил раздражение, вызванное ее насмешливостью, только потому, что ему вдруг почудились новые нотки: мягкие тоны дружелюбия и терпимости.

— Вам никогда не кажется, что мы живем в страшной пустоте, Вильма? Вам никогда не казалось, что вы не сумеете бороться с жизнью, если вам не на кого будет опереться? Ваша работа отнимает вас у меня. Вы воздвигаете ее между собою и мной, оставляя мне лишь обломки времени, скорее подаяние, нежели подарок. Я тоже занят делом, но я должен, потому что без него не смогу жить! Но ведь и такое еще не все. Я хотел бы знать, для кого мы делаем все это.

Она не переставала перебирать его волосы.

— Короче, вам недостает восхищения и вы страдаете от этого.

— Возможно, — допустил он. — Но главное — нет цели.

Он подложил ей руку под голову и, чуть приподняв, тихо и умоляюще вымолвил то, что так долго давило его, а сегодня после встречи с Руженой превратилось в неотступную необходимость.

— Не могли бы мы иметь ребенка?

Михал почувствовал, как вся она напряглась в его объятиях и затаила дыхание. Он ожидал взрыва возражений и боялся своей реакции.

Наконец она выдохнула и неожиданно рассмеялась.

— Ну, хорош! Вы чувствуете? Я вне себя от восторга! — И тут же, отбросив иронический тон, с серьезностью тем большей, что в темноте он не видел ее лица, сказала:

— Я не предполагала, что вы когда-нибудь можете предложить мне такое. Вы никогда не производили впечатления человека, который хочет завести потомство. Но коль скоро мы об этом заговорили: я не желаю иметь детей. Они мне будут мешать.

Колокола, зовущие к вечерней молитве, влетели в открытое окно погребальным звоном его надеждам. Михал

все еще держал руку под Вильминой шеей, ощущая шелковистость сухой кожи, выбившиеся из прически пряди волос на своей ладони и комок жалости к себе, вставший в горле. И он проявил свою волю, как проявляет ее деревенский мужик или степной кочевник. Как она посмела отказать ему в этом? У него хотят отнять то, что природа признает за каждым сущим, — право на продолжение рода! Было бы так легко схватить ее и сжимать долго, пока тело не начнет холодеть, пока не станет таким же холодным, как ее душа в этом теле. Но чего он достигнет? Руженин живот высится в сгущающихся сумерках, как гора в голубоватых далях. Значит, мы должны вымирать, не зная, кому передать плоды своих трудов, а они будут размножаться, невзирая на свою нищету?

Вильма подняла руки и медленным, плавным и ласковым движением погладила его по лицу.

— Я разочаровала вас?

Ах ты! Наш спор еще не закончен! Его мысли подкрадывались, подползали, продвигались вперед, тихонько принахивались, как хищник, идущий по следу.

— Почему? — ответил он, и голос его звучал удивленно и естественно. — Просто мне подумалось... Я думаю о нас, я ищу, что могло бы связать нас покрепче. Нет, я не мечтаю о детях, по крайней мере, до сих пор не мечтал, но мне казалось, что это может быть вашим невысказанным или неосознанным желанием. Если же нет, то я не разочарован, не огорчен — и принимаю все так, как оно есть.

Вильма лежала молча и вдруг произнесла:

— Много бы я отдала, чтобы видеть сейчас ваше лицо.

Михал поразился ее женской интуиции, столь безошибочной, но не желал сдаваться и прекращать игру. Темнота была его верной сообщницей, и Михал, воспользовавшись ею, склонился над Вильмой и с горячим упреком сказал:

— Я никогда не сказал вам ничего, чего бы я действительно не думал или не чувствовал.

Она придвинулась к нему, навалившись всей верхней частью тела, поцеловала и со смехом, в котором клокотала вздымающаяся в крови волна чувственности, прошептала:

— Ну разве не похожи мы сегодня на настоящих любовников?

Поцелуй, которым ответил ей Михал, был тем горячее, чем большая радость удавшегося коварства охватывала его. Вот так-то, моя милая, подозреваешь ты или нет, но Грому-

сы упорно идут к своей цели, где могут — раздавят и сожгут, если наталкиваются на сопротивление. Ты пробудила сейчас мою страсть, я захлебываюсь желанием и жаждой, но что значат мои желания и жажда? Мне надо, чтобы в тебе они горели еще яростнее, чтобы в твоей чувственности утонуло все, что способно мыслить, остерегаться и взвешивать. Я подкарауливаю свою минуту; возможно, она близка, и я надеюсь, мне удастся обмануть твою бдительность.

— Подите ко мне, иди же скорее!

Вильмин голос был подобен всхлипу.

— Может быть, поднимемся наверх?

Она впиалась ему ногтями в шею в неистовом взрыве нетерпения и бешенства.

— Нет-нет, я никуда не пойду.

Он проникал в нее медленно, почти неохотно, а она шла навстречу ему резкими, конвульсивными судорогами. Он сдерживал наслаждение, как вскрик, боролся со своими инстинктами, противился воображению, от которого требовала дани темнота, подстерегал Вильму, вздымаемую волнами опьянения, что несли ее к тому неотвратимому взрыву, когда разлетятся вдребезги остатки осторожности. И, крепко обхватив, чтобы она не могла вырваться, ускорил свои движения, как это делает бегун на финишной прямой. И тело его сотрясало не только в конвульсиях сладострастия, но и в хохоте исполнившегося замысла. Но в ту секунду, когда наслаждение уже нажало на курок, чтобы произвести свой коварный выстрел, Вильма прогнулась и резким движением скинула его на пол. Михал упал навзничь и стукнулся головой, почти потеряв сознание. Он почувствовал колебание воздуха, когда она перескочила через него, и слабый скрип паркета, когда она выбегала из комнаты. В дверях Вильма остановилась, и голос ее донесся из неимоверной дали:

— Так вот чего вы хотели! — Видимо, она кричала, но звук был до смешного слабым: — Никогда, слышите! Это было в последний раз!

Михал лежал, и тьма перекатывалась через него обморочной волной. Не было сил приказать себе подняться. Минутами тело его вздрагивало от нервной, подобной рыданию, корчи. Что-то всплывало перед глазами. Наверное, живот Ружены, раздутый беременностью и светящийся голубизной, как гора из притчи.

От миски с картофелем, испеченным в мундире, поднялся парок, и свет лампочки становился мутным, словно это солнце заигрывало с утренним туманом. Ужин не назовешь таким уж нищенским, ведь можно сдобрить свою порцию картошки топленным гусиным салом из горшка рядом с миской. Кладовщика Баладу так и распирает гордость. Тот гусь был откормлен самолично им, Баладой, да и картофель от первого урожая тоже с поля, купленного Баладой еще в прошлом году. И все-таки кладовщик Балада и его жена, Ружена и ее муж, сидящие вчетвером за этим столом, жуют вяло и глотают с трудом. Они едят молча, в тишине еще более душной, чем жара перед грозой.

Сегодня фабрика Громуса стоит первый день, и если с нынешнего дня Индра Поур стал безработным, о его тесте этого сказать нельзя. Кладовщик послушался своего работодателя, продолжает ходить на склад и работает вместе с ночным сторожем и вахтером.

Индра первым отложил нож и отодвинул тарелку. Остальные едят с трудом, потому что подавлены, но у него и в самом деле нет аппетита. Он пошарил в кармане жилетки, достал и закурил сигарету, старательно избегая печального и укоризненного взгляда Ружены. Знаю, знаю, девочка, я негодяй, но или я здоров и тогда мне сигарета повредить не может, или дела мои таковы, — а мне это известно, да и всем вам тоже, — что тебе будет лучше, если я отправлюсь на тот свет как можно скорее.

Балада отодвинулся от стола, обтер ладонью рот и сидел потирая рука об руку и размазывая жир. Он глубоко вздыхал, вернее, пыхтел и отдувался, как человек, который отлично наелся, и, пытаясь стряхнуть тоску, один из всех, с наигранным удовлетворением заявил:

— Ужин что надо! Такая картошечка и у помещика не родится!

Никто не ответил. Мать прибирала со стола, и Ружена, тяжело неся свой живот, поднялась, чтобы помочь ей вымыть посуду.

Кладовщик Балада с трудом подавлял одолевающее его раздражение и, как человек перебарывает страх тем, что сам идет навстречу опасности, продолжал развивать тему о картофеле:

— Нам ее хватит на всю зиму, если даже ничего другого не будет.

Индра выпустил облачко дыма в лампу и, вытянув под

столом свои длинные ноги, произнес, обращаясь к темному потолку:

— У вас-то будет, но не будет у многих других.

Кладовщик мгновенно вскипел, будто только и дожидался этих слов.

— Это надо понимать как намек? — крикнул он и резко рванулся через стол к Индре. — По-твоему, надо, чтоб вышвырнули и меня тоже и лишили семью последнего заработка?

Индра, не изменив позы и все еще глядя на дымок, окутавший лампу, ответил на вопрос вопросом:

— А всех нас разве не вышвырнули?

Балада совсем разошелся. Он знал, что этого разговора ему не миновать, и к нему готовился. Он приберет себе оправдание и выучил наизусть, потому что повторял его с утра и до вечера, а частенько и по ночам, когда беспокойство не давало ему уснуть. Он был убежден, что не найдет возражения, о котором не подумал бы сам, и нет доказательств, которых он не найдет в подтверждение своей правоты. Он стукнул кулаком по столу и почти закричал:

— Нет! И ты отлично знаешь, что не всех, а если говоришь другое, то просто передергиваешь. Фабрику остановили, а когда пустят, вы все вернетесь обратно как ни в чем не бывало. Вас никто не страшал, что выгонит нас-совсем, если не станете работать аккуратно сейчас. И вообще, я что — штрейкбрехер, что ли? Приостановили работу, это еще не стачка, можешь, в конце концов, радоваться: изо всей семьи работаю хотя бы один я! Посмотри на Ружену и подумай хорошенько, разве плохо, что один из нас удержался?

Ружена перестала вытирать тарелки и повернулась к Индре:

— Ну что, говорила я тебе? — И добавила, как отрезала: — Ты, папа, меня не трогай! И в голову не бери, будто должен из-за меня делать что-то такое, чего бы иначе делать не стал.

Преданный и оскорбленный родной дочерью, кладовщик Балада, не выдержав горькой обиды, закричал:

— Так кто же я, по-вашему? Черт побери, говорите прямо! Давайте скажите, что я предатель и подлец и вы мною брезгуете. Я ничтожество, потому что боюсь потерять работу и стать кому-то в тягость. Я мерзавец, потому что хочу работать, я негодяй, потому что хочу вам помочь!

Индра выпрямился, словно его кольнули.

— Нам, Йозеф, помогать не надо, никто тебя об этом не

просил. Если хочешь быть у Громуса вместо дрессированной лошади — пожалуйста, дело твое, а мы и без твоей помощи обойдемся. Но коли уж мы заговорили об этом, Йозеф, то я тебе еще кое-что скажу. У тебя есть возможность снять с себя все обвинения товарищей. Бросай Громуса, иди вместе со всеми, объявим мы стачку или нет.

Но Индра лишь подлил масла в огонь. Балада все это уже думал-передумал, ругал себя и был уверен, что сам с собой справился. Кто посмеет упрекнуть его в предательстве, если он просто спасает свою шкуру! Ведь им не грозило увольнение, а ему грозило. Чего бы он мог от них ожидать, если б в самом деле помирал с голоду, а они снова весело работали? Такое уже было. Они показали ему спины только потому, что в их глупые головы втемяшились какие-то дурацкие подозрения. Сегодня он имеет возможность отыграться. Они его сами вынудили поступить так — вот он и поступает. Пусть каждый пораскинет своими мозгами, что делать чтобы не положить зубы на полку, — таков его девиз на сегодняшний день. И если у него на несчастный геллер больше, чем у других, так ведь он не для того его припрятал, чтобы потом промотать, а чтоб обеспечить себе старость и что-то оставить дочери.

— Нет, — не унимался кладовщик и размахивал кулаком, будто не только словами, но и кулаком собирался сокрушить любые возражения. — Они на меня начхали, когда я так нуждался в их поддержке, а теперь я хочу на них начхать!

И гнев, словно течение, пренебрегая плотинами и берегами, понес его, и он больше не сдерживал его, стремясь лишь выплеснуть из себя всю накопившуюся горечь. А кто во всем виноват? Почему они хотят все свалить на меня? За что, по-ихнему, я купил себе повышение? И за сколько? Не мешало бы подумать тебе и кой-кому еще! А про вас не болтали точно так же, как про меня, не тыкали пальцем? Но вы вместо того, чтобы встать рядом со мной, не знаете, как лучше перед ними выслужиться!

Мать перестала мыть посуду. Руки онемели от страха, что-то сейчас будет? Тарелка выскользнула и с грохотом упала в раковину.

— Муж, ты что? — крикнула она.

Индра уперся кулаками в стол и встал. Глаза его горели черным пламенем.

— Нет, Индра, прошу тебя! — сказала Ружена и поспешно шагнула к нему. — Ничего не отвечай, пойдем отсюда.

Она судорожно вцепилась в него обеими руками, как будто хотела передать свою волю, прижалась большим животом и налившейся грудью.

Но кладовщик устремился к финишу своего гнева со все возрастающей яростью. Он орал и трясся, сам ужасаясь силе своего голоса и чудовищной бессмысленности своего бешенства, страшился слов, что срывались с его губ, и тех, что, еще не высказанные, лезли из каких-то огненных щелей мозга, а он не знал, как их остановить.

— Идите, идите, проваливайтесь, никто вас тут задерживать не станет. С меня хватило сраму, дайте хоть на старости лет подышать спокойно. Всю мою жизнь испоганили. Дочь — шлюха, зять — полоумный! Проваливайтесь!

Мышцы на тощих руках Индры напряглись и подрагивали, словно в конвульсиях. И, будто борясь только с ними, Ружена все сильнее впивалась в них пальцами.

— Нет, Индра, умоляю, не нужно.

Она шептала, и все-таки ее голос успокоил Индру Поура, так голос хозяина успокаивает ярость рычащего пса. И собачья преданность была в его взгляде, блуждающем по ее лицу в поисках глаз. Он вздохнул, словно сбросил с плеч невыносимую ношу, и сказал, хрипя сильнее обычного, но спокойно:

— Очень скоро ты горько пожалеешь, Йозеф, обо всем, что тут наговорил! Но это уже твое дело. Мы и без того не хотели оставаться под одной крышей с тобой. Завтра же мы съедем.

Наверху, в своей комнате, Ружена с Индрой, держась за руки, уселись рядышком на незастеленную кровать. Горячечно сухая ладонь Индры и влажная от волнения — Ружены. Они судорожно сцепили их, как будто дом под ними ходил ходуном и они держались друг за друга, чтобы вместе спастись или умереть. Через полуоткрытое окно сюда проникало по-осеннему влажное дыхание вспаханных полей. Ночь со звездами высокими и стремительными, мерцающими, как летящие стрелы, застыла в кажущейся неподвижности. Собаки лаем прогоняли страх, а снизу доносились рыдания Баладовой. Потом скрипнула калитка. Кладовщик Балада вышел на шоссе, чтобы ходить до глубокой ночи, пытаясь стряхнуть со своих плеч гнев, как жестокого всадника, который разрывает ему сердце и мозг шпорами, снова и снова спорить в мыслях с Руженой, с Индрой, со своей женой, со всеми остальными, и чем острее будет чувствовать их правоту, тем упорнее будет настаивать на своем. Облегчение не придет, ибо каменные

глыбы, которые сдвинулись с места, останавливаются, лишь достигнув самого дна пропасти.

А эти двое льнули друг к другу все теснее, словно боялись, что между ними втирается тьма и грозит их разъединить. Их мысли сливались и разбегались, у них уже болели руки, они чувствовали это, но не могли расцепиться, оторвать одну от другой, будто с этого мгновенья они начали расти вместе.

Бог знает почему Ружена вспомнила про серебряную пудреницу, подаренную ей Михалом в день первого свидания там, на Мюллеровой Гути. На чужбине она распродала все, что у нее было, чтобы вернуться обратно домой, но пудреницу оставила. Почему? Не знает. И спрятала ее от Индры среди своего белья. Ей нечего было опасаться ни расспросов, ни того, что он станет за ней подглядывать, но иногда, оставшись одна, она доставала ее и забавлялась с ней, как девочки-подростки тайком играют в куклы, счастливые и сконфуженные. Как же она любила и как ненавидела эту безделку, сыгравшую в ее жизни роль ключа к дверце судьбы. Касаясь кончиками пальцев крышки, где с разгульной пышностью, присущей природе, переплетаются кованые виноградные листья и грозди, она вновь чувствовала леденящий озноб счастья, ее красота, идолопоклоннически обожествляющая красоту и наслаждение, искала здесь свои собственные корни. И в зеркальном отражении рядом со своим лицом, одутловатым и обмякшим в горниле беременности, она видит все, что с ней было, словно в зеркале исповедальном, которое ласкает быстротечной сладостью греха и грозит бесконечностью наказания. Жалела она или не жалела, мечтала еще или уже только дрожала от ужаса? Где-то под блестящей гладью крышечки, на невидимом дне таилась иная судьба, как водяной, от которого она спасла свою душу. И ее наполнила великая благодарность к человеку, сидящему рядом с ней, который удержал ее, когда она падала в ту неведомую глубину. Завтра пойдет и продаст пудреницу. Сколько за нее можно выручить? Двадцать, тридцать, пятьдесят крон? Добавит из тех, что получила за шитье и отложила, и купит Индре новые башмаки. И каждый его шаг будет топтать ее прошлое, от которого не должно оставаться ничего, кроме отвращения и ненависти.

Стрелы звезд становились длиннее и сокращались, обламывались и бесследно падали во тьму. Индра вспоминал ту ночь, когда стоял у плотины и сжимал в руках судьбы их всех. Что изменилось бы, если б граната взорва-

лась? Одиночная акция. Бессмыслица. Месть, не больше. Как же был он ослеплен, если считал, будто это нечто иное, чем убийство, какие бы причины не толкали его, и надеялся, что его поступок может изменить судьбы его, Ружены и, возможно, старого Балады.

Ружена взяла руку Индры и положила на свой живот.
— Слышишь? Шевелится.

Он оцепенел в странном испуге. Под его напряженной ладонью пробежала волна, короткая, прерывистая, будто судорога или следовавшие один за другим два сильных вдоха; затихли — и еще два раза. Там кто-то двигался, как шахтер под землей, засыпанный и взывающий о помощи стуком в стены.

Индра обнял Ружену за плечи и привлек к себе. Кого звала эта жизнь, если не его! Он не может предать ее и оставить без помощи. До той самой минуты он не испытывал сожаления, что его собственная жизнь испаряется, чадит и угасает, как когда-то в далеком детстве чадила и, догорая, прыскала искрами керосиновая лампа, если мать забывала или просто нечем было долить ее. Его безразличия ничто не смогло изменить, даже жизнь с Руженой. Но в момент, когда под ладонью задвигалось это незнакомое, бесформенное и прекрасное нечто, ему захотелось жить, жить любой ценой, во что бы то ни стало жить! Уже прошлого не было, оно расплылось, его убили стрелы звезд и впитала темнота, и жизнь его началась сызнова, ни на что не похожая, с той самой секунды, когда тот, другой, поднялся под его рукой. Его охватила страшная тоска, и он крикнул, как самоубийца, в котором страх смерти преодолел желание уйти:

— Ружена, я буду жить? Скажи, я буду жить?

Испуганная Ружена ответила то единственное, что можно было ответить:

— Что ты говоришь, Индра, почему ты не должен жить?

Он смутился.

— Не обращай на меня внимания, — пробормотал он уныло. — Я рехнулся. Такой вдруг накатил страх! Нет, не за себя, — боюсь, мне долго не протянуть и я не смогу помочь тебе вырастить ребенка.

Он искал поддержки и объяснения, хотел быть понятным себе и ей, не дать подумать, будто он трус. Но обмануть ее не удалось. Она знала, что это вскрикнуло его сердце, судорожно цепляющееся за хрупкую соломинку жизни. Он слышит, как она надломилась, и уже чувствует безнадежную глубину падения. Нет-нет, мой друг, не бой-

ся, я тебя не отдам! Ружена нежно прильнула к нему и сказала:

— Никогда больше не говори такие глупости, Индра. Конечно, ты его вырастишь.

Ее ласка, ее тихий, убеждающий голос наполнили вдруг Индру темной яростью. Не надо его утешать, он болен. Конечно! И дела его совсем плохи, так пусть же она знает причину!

— В то воскресенье, помнишь, когда ты заставила меня стоять под окнами,— начал он и с бешенством, словно обвиняя, выложил все, как с гранатой в руках подкарауливал Михала на плотине у Блата, чтобы убить.

Она слушала не дыша, видела все перед собой, голос Индры был жестким от старой ненависти, которая не умирала. И все это время билась в ней и становилась все более четкой одна мысль.

— Индра, ты так любил меня,— прошептала Ружена, когда он закончил,— что теперь будешь за это ненавидеть до самой смерти. Зачем же ты женился на мне, почему не бросил, чтобы я получила по заслугам?

Стрелы звезд становились все острее, а ночь все глубже. Призраки. Неужели в них обоих никогда не умолкнет прошлое? Только что ты был уверен, будто оно растворилось в этой глубочайшей ночной тьме. Почему оно заговорило вновь? Индра хотел бы взять слова обратно, кто знает, какой непоправимый вред они принесли.

— Прости,— просит он.— Я совсем не собирался тебе этого говорить. Вставай, уйдем отсюда. Здесь это будет всегда к нам возвращаться.

Как было бы прекрасно уйти и жить там, где люди о них ничего не знают, забыть, что есть на свете какой-то Громус, не видеть отца, в котором ее вина сломила последнюю гордость.

Ружену баюкают эти мысли, как парусник на незабвенном море, но она берет себя в руки с рассудительностью, которой прежде за собой не знала. Сейчас она уже не та Ружена, что не желала думать о последствиях своих поступков и слушалась только своих желаний.

Она погладила Индру по волосам, будто успокаивая мальчика, перепуганного собственным безрассудством, и мягко сказала:

— Уйдем, но прежде надо знать — куда и заработаем ли мы на хлеб. Ведь нас теперь не двое, Индра.

Они съехали от Баладовых назавтра. Утром перебрались в комнатуху, где Индра жил перед Ружениным

возвращением. Переезд не был трудным, потому что все имущество вошло в холостяцкий чемодан Индры, но вызвал, пожалуй, больший переполох, чем даже закрытие фабрики. Они собрались после семи утра, когда Йозеф Балада ушел на работу, преодолев слезное сопротивление Ружениной матери.

— Я не собираюсь лезть в ваши дела, Индра, — причитала она, — но вы подумайте хорошенько. Доведете отца, и я не знаю, что он сделает с этим домом, ведь он собирался отписать его вам.

— Я не ради дома на Ружене женился и не ради чего другого, что могу от вас получить.

И тогда мать дала ему отпор, какого от нее не ожидали:

— Из-за чего бы вы там на ней ни женились, а отнимать не имеете права!

Индра в нерешительности остановился. Ему и в голову не приходило, что все можно повернуть таким образом. Проклятое имущество! И здесь все та же собственность, что вяжет по рукам и ногам богачей и бедняков, искажает простую правду жизни и превращает естественное в неразрешимо сложное. Он смотрел на Ружену хмуро и беспомощно.

Ружене труднее, чем ему. Она все еще считает, что деньги не пахнут. И в этот самый момент в ней шевельнулся ребенок, домогаясь своих будущих прав. Ах, малютка, ведь и ты однажды станешь тянуть ручонки, и твоими первыми словами тоже будут: дай, дай мне, хочу, мое! Но что поделать, мы должны идти с папой; даже если он вдруг полезет в пекло, нам все равно надо идти с ним. Впрочем, кто знает, может, оно не так уж и страшно, когда лишают наследства?

— Ничего он у меня не отнимает, мама, — сказала она решительно. — А отец пускай поступает как хочет. Проживем и без его халупы.

Халупа! Ружена нашла это пренебрежительное словцо, и ей стало даже легко, когда она вышла из калитки на шоссе. Только вот маме не надо бы так причитать им вслед.

Никто больше не посмеет усомниться в порядочности ее помыслов. Ну, дурила девка, молодая была, чему удивляться? Ну, закружилась голова, когда молодой Громус начал ее обхаживать. Кто знает, что он ей там сулил. Но теперь она опять наша. Моей бабе платье сшила, доложу я тебе — высший класс, и ни гроша не взяла. И нашей Маржене столько всего нашила, а о деньгах и слышать не хочет. Короче — понимает она нашего брата, чего уж тут, и знает,

каково нам теперь приходится. А про Индру-то разве что скажешь? Всегда был порядочным человеком, за наше общее дело готов на все! Не желает на иудины деньги жить!

Они прислушиваются к голосу своей совести и спрашивают себя: кто из нас на такое способен? Полевые работы окончены, картошка выкопана, и зима уже стучится в дверь своей костлявой лапой. Попробуй, браток, уйти от полной миски только для того, чтобы подтвердить свою солидарность с остальными. Он нам всем пример: этим, конечно, не нажрешься и плиту не растопишь, а все-таки согревает и подбадривает.

И теперь оба они окружены симпатиями, словно мягкими одеждами, и замечает Индра, что его слова слушают со вниманием и без насмешек. Ружене, правда, пришлось вернуться к своей прежней хозяйке, и она опять накручивает километры на швейной машинке. Она старается снова стать прежней работницей, лучше которой здесь не было, хотя живот ей мешает и новая жизнь, которая в ней немилосердно бьется и растет, забирает ее силы, то и дело повергает в обмороки.

Живот тебя, конечно, обременяет, но он твой щит, ты прячешься за него, а с тобой прячется и твое прошлое. За твоей спиной еще шушукаются и многозначительно ухмыляются, но, стараясь отбросить любопытство, принимают тебя, — ты своя, ты снова одна из них, и они тайком шьют приданое для твоего младенца и уже сегодня радуются вместе с тобой твоей будущей радостью. Иногда на тебя нисходит тихое блаженство и тебе начинает казаться, что жизнь каким-то новым, неведомым образом станет прекрасной. Но потом все вдруг сменяется страшной тоской. Ты вспоминаешь Индру. «Не делай этого, — молишь ты его в мыслях, как уже молила столько раз вслух, — такое тебе не под силу, еще свалишься. Разве не хватает пока моего заработка? И фабрика не вечно будет закрыта».

Но Индра забрал себе в голову, что к Громусу не вернется. Разве не получил он здесь полной мерой? Когда Ружена рассказала ему, что надумал Громус, он попытался уговорить товарищей опередить его, потребовать повышения заработной платы и пригрозить стачкой, к которой примкнули плотники и столяры с бывшей мебельной фабрики Ролина, хотя сейчас там у них подъем. Рабочие колебались и слишком долго подозревали его в обычном подстрекательстве и в каких-то тайных намерениях. И Громус опередил их, более того, сделал это совершенно неожиданно: остановил фабрику безо всяких переговоров о сни-

жении заработной платы. Нельзя сказать, чтобы Индра от борьбы отказался и, признав свое поражение, сбежал. Он просто действовал как человек, который боится, что времени ему отпущено мало, оно истечет — и он уйдет, так ничего и не добившись. Стоячее болото эти Либнице: люди только и знают, что причитать над своими невзгодами, и расшевелить их, заставить действовать ты не смог. Он не испытывал удовлетворения от того, что теперь они приходят к нему и сокрушаются: «Черт побери, Индра, ты был прав. Если бы мы тебя послушались, все могло повернуться иначе». Разговорчики, пустая болтовня, тешат себя словами, но в душе убеждены: будешь ты бастовать или тебя просто выкинут с работы — один черт! Деревенские умники! В них не рабочая кровь, и жажду справедливости и решимость к борьбе они не всосали с молоком матери. Только богу известно, как их должно трахнуть по башке, чтобы они поняли, в чьи ряды надо встать! В основном это те, кого не обременяют долги за домишки или куча вечно голодной детворы, а чаще — и то и другое вместе; они повсюду приспособляются к безработице, полагаются на пособия, случайные заработки, разводят кроликов, которых нетрудно прокормить, надеются на картошку, на муку и прочее, что можно выклянчить у родителей или деревенской родни. «Нельзя сдаваться», — говорят они и представляют себе все это именно так. И потому, что безработица обрушилась, можно сказать, на всю рабочую слободу, исключая нескольких плотников, столяров да двух-трех рабочих с цементного, они не чувствуют себя такими уж обездоленными.

Прочь от них, прочь из этого болота. Индра загорелся этой мыслью и лелеял ее с фанатизмом и упорством тяжелобольного, веря, что, переменяв место, он изменит и свою судьбу и сохранит себе жизнь. Все надежды он связал с Худейовицами, они были близко, он знал там многих товарищей по партии и потому рассчитывал, что в Худейовицах легче будет зацепиться. И каждый день выбирался из дому на рассвете, несмотря на просьбы и протесты Ружены, и катил туда на велосипеде. Стояла уже глубокая осень, и ветры рыскали по этому равнинному краю, где, кроме лесопосадок, ничто не давало им отпора. Иной раз ветры подталкивали его в спину и облегчали работу ногам, но чаще дули в лицо, вставая перед ним, словно горные хребты, один круче другого, Индра преодолевал их из последних сил, и сердце его разрывалось от напряжения. Где ты, времечко, когда дорога в Худейовице была для него

веселой прогулкой, дающей роздых ногам, затекавшим от стояния у станка? Он преодолевал ее меньше чем за час, радуясь движению и скорости. Теперь, случалось, он слезал и отдыхал у обочины и ноги его дрожали от усталости и слабости. Сердце колотилось где-то в горле, и приступы кашля скручивали, словно лапы подручного палача. Если земля не была раскисшей от дождя, он садился тут же, на обочине. На минутку. Проклятый кашель. Вот перееду, сменю климат, может, и пройдет.

Но со дня на день Индра все отчетливее понимал, как трудно будет устроиться в Худейовицах. Худейовицких металлистов постигла та же беда, что и либницких рабочих. Товарищи завели строгие списки, они показывали ему, сколько из них совсем без работы, кто занят лишь три-четыре дня в неделю. Они делали что могли, не сдавались и сопротивлялись, отправляли делегации в Прагу, где их могли поддержать, угрожали забастовкой или бастовали, чтобы сохранить границы заработной платы, но, в большинстве своем, все-таки утратили веру — работы не было, она исчезла, как река в пустыне, и не за что было уцепиться. Иногда что-то где-то появится, это верно, но погляди, сколько народу ждет своей очереди. Да они нас на куски разорвут, если дознаются, что мы устроили приезжего, а про своего забыли. Будь ты хоть трижды товарищем по партии, и пусть мы знаем тебя. Так-то вот. Капитализм издыхает, но, как обычно, чтобы спастись, идет по нашим трупам. Ничем не можем помочь, дружище, пытайся сам.

Индра идет крестным путем всех, кто ищет работу. Он крутит педали велосипеда по горбатым мостовым фабричных улиц, ждет у проходных, терпеливо сносит презрительные взгляды заводских мастеров, которые ужасаются его худобе, получает отказы, то грубые, то сочувственные, и катит дальше, каждый раз сломленный и не верящий в успех своих поисков, и снова взбадривает себя, вспомнив беременную Ружену, работающую на них двоих и на третьего, еще не родившегося. Не должно такого быть, такого не должно быть!

День ото дня он все больше падает духом и начинает понимать причины той всеобщей подавленности, что охватила рабочих.

То-то и оно, приятель, хотя тебе это казалось просто невероятным. Словно все, чему ты учился, во что верил всю свою жизнь, рухнуло в тебе, как при подкопе. Растет нищета, значит, должны шириться революционные настроения. А пока слышны лишь тоскливые стоны; похоже, между

нами вбили клин. Потому что пока одни голодают, другие трясутся от страха, что их постигнет та же участь. Поднимайтесь, черт побери, поднимайтесь! Не все ли равно, отчего вы помрете? Подохнете с голоду или вас пристрелят! Если не считать, что вторая смерть быстрее и героичнее. «Тебе хорошо говорить, — качают они головами. — Разве и мы не хотим того же? Все лучше, чем нищета. Но кто начнет? Конечно, конечно. Никто не начинает, а нужда все растет. Нас смяли, парень, раскрошили, как краюху кукурузного хлеба».

Ничего не поделаешь, ему остается только жать на педали. От фабрики к фабрике, от мастерской к мастерской, может, где не повезло другим, повезет мне, надо попытаться выкарабкаться своими силами.

30

Йозеф Балада возвращается домой с работы. Уже пять, сумерки порядком сгустились, и лишь над лесами тянется сверкающая полоска уходящего дня.

Он идет напрямик полевой тропкой, по которой, сокращая путь, спешат обычно опаздывающие на фабрику. Но в эту пору, поздней осенью, по тропинке, раскисшей от дождей, никто не ходит. Кладовщик Балада с трудом выдирает ноги из липкой грязи. Он заметно постарел, последние недели навалились на его плечи годами, и он с трудом тащится, сгибаясь под их бременем. И портфель кажется тяжелым, хотя в нем лежат всего-то порожняя кастрюлька да бидончик из-под кофе. Кладовщик перекладывает его из одной руки в другую.

Милосердна осень, укрывшая возвращение Балады ранними сумерками, словно плащом контрабандиста. Но ему и этого мало, ему бы полной темноты. Он еще распознает некоторые дома и окна, если они обращены в поле. Света там нет, люди считают, что мимо рта ложку и без света не пронесешь, а для других дел еще достаточно светло. Они сидят у окон, думает Йозеф Балада, и пялятся на поле, глядят, как кладовщик, единственный из них, возвращается с фабрики Громуса. Он читает их мысли, впрочем, ему не нужно читать их, они преследуют Баладу на его одиноком пути, машут в лицо нетопырьими крыльями, грозятся вороньими клювами. Кладовщик сжимается в комок и втягивает голову поглубже в плечи — если станет красться сгорбившись, может быть, обманет их и проскочит незамеченным.

Тишина опустилась на поселок, но там, впереди, слышались детские голоса. Они доносятся из заброшенного песчаного карьера, заросшего травой и ежевикой и заваленного дырявыми котелками, глиняными черепками и ржавым металлом, — все это сваливают сюда либничане. Кладовщик ненавидит это место, оно нечисто и слишком близко от его дома; крики своры мальчишек, которые швыряются тут камнями, стреляют из рогаток и озорничают как могут, частенько раздражают его, мешая вечером почитать в тишине газету или посидеть в саду. Но с тех пор, как фабрика прекратила работу, он проходит здесь с опаской. Если он мог обойти шоссе стороной, чтобы не прогуливаться, к своему позору, на глазах у всех, то избежать встречи с этой стаей ребятни и подростков, воплями и улюлюканьем выражавших мнение родителей, ему не удавалось. Каждый вечер его встречает кошачий концерт, устраиваемый невидимыми злобными гномами. Мальчишки, попрятавшись в зарослях ежевики и сидя на корточках у края ямы, орали, визжали, свистели, мяукали, гавкали и что есть духу колотили в ржавые кастрюли. И кладовщик, у которого сердце сжималось от неистового, бессильного гнева и стыда, делал вид перед самим собой, будто это относится не к нему, и тащился мимо, опустив голову, но не ускоряя шага. Дикая концерт за его спиной усиливался и продолжался до тех пор, пока за ним не захлопывались двери дома.

В тот вечер Йозеф Балада возвращался в еще более мрачном настроении, чем обычно. Утром, перед отходом, жена устроила ему сцену. Баладова вернулась из лавки в слезах. Несколько женщин, жены рабочих с Громуски, едва она вошла, выскочили из лавки, ничуть не скрывая причины. У женщин, которых тяжесть забот давила сильнее, чем мужчин, не выдерживали нервы, и они с каждым днем становились все раздражительней.

А те три, которые выскочили из мелочной лавки, дождались, когда выйдет Баладова, и, не таясь и не стесняясь в выражениях, принялись громко и напоказ переговариваться, будто разыгрывая театральную сценку.

— Живут же некоторые! — перебивали они одна другую. — Не каждой выпадет такое счастье, чтоб ее мужик, подонок, запродался хозяину! А эта еще смеет людям на глаза показываться! Родная дочь не выдержала, из дому сбежала!

Они продолжали в том же духе, хотя Баладова, уход которой превратился в бегство, уже их не слышала.

Она примчалась домой словно обезумевшая, как будто

взорвалась перегретая печь и ее окатило раскаленным железом. И хотя каждое слово вонзалось в самое ее сердце, она была с ними согласна. Эти женщины правы, все так и есть! И сама она поступила бы на их месте точно так же и говорила то же самое. Баладова рыдала и кричала. Вырывала у мужа из рук портфель — взбесившаяся фурия, женщина тех дней, когда в народе зреет революция, всю свою жизнь покорная и молча тянувшая лямку непосильной работы.

И впервые за все годы, что они прожили вместе, кладовщик поднял на жену руку. Схватил за плечо и рванул с такой силой, что она, потеряв равновесие, рухнула возле плиты.

Ужасаясь своему поступку, но ожесточенный гневом, он схватил портфель и выбежал из дому. Он шагал по шоссе. Окна домов поблескивали в утреннем солнце. Ему хотелось поднять кулак и грозить им. Мерзавцы, что я вам сделал? Вы готовы замордовать человека до смерти! Возле домишки, где жили теперь Ружена с Индрой, он увидел свою дочь. Она выходила из дверей. Балада остановился, дожидаясь ее. Но и Ружена тоже, поколебавшись немного, остановилась, словно испугавшись его вида. И вдруг повернулась и вошла обратно в дом.

Весь тот день кладовщик прожил словно в бреду, он все время видел призраки, бранился с ними: с Руженой, с Индрой, со своей женой, со всеми бывшими приятелями, с Йозефом Баладой, председателем фабричного комитета и профсоюзной организации. Призраки преследовали его, даже когда он возвращался домой.

В песчаном карьере наяривала гармоника, ей подтягивали пронзительные мальчишеские голоса, никак не попадавшие в тон мелодии. У Балады вспыхнула надежда: может, сегодня он проскользнет незамеченным. Но голоса и гармоника умолкли, как по команде, и после минутной паузы гармоника вдруг выдала лихой фуриант, голоса подхватили, фальшиво взвизгивая и срываясь на высоких нотах:

Кладовщик, кладовщик,
кладовщик на всех плюет.
В кассу денежки кладет.
Кладовщик богач,
а бедняк от горя — плачь.

Йозеф Балада спешил, как только мог. Он охотно припустился бы бегом, если б не глаза, которые наблюдали за ним, приподняв занавески. Балада поравнялся с карь-

ером. Песня оборвалась, гармошка завершила ее медвежьим рыком на басах и поросячьим визгом на верхних регистрах.

— Внимание! За мной! — скомандовал грубоватый голос подростка, видимо руководящего этим представлением. — Раз, два, три. Начали!

И мальчишеский хор начал скандировать:

— И-у-да, ты знаешь, за что за-гребашь?

— И-у-да, ты знаешь, много ль полу-чаешь?

Кладовщик остановился. Хватит, сволочи, довольно! Всех передую, паршивцы, всех поубиваю! Он ринулся к карьере, подняв кулаки. Он орал.

В карьере началась паника. Мальчишки бросились наутек, но подросток с грубым голосом быстро опомнился и взял себя в руки.

— Вперед, ребята, — скомандовал он и первым швырнул камень.

Камень ударил Йозефа Баладу в грудь. Он остановился. Боли не было, только изумление, будто этот удар осветил все вокруг, показав в истинном свете. Он слышал вопли мальчишек, свист камней и черепков, один из камней угодил в колено. Окна за его спиной стали с треском распахиваться, мужские и женские голоса визжали и выкрикивали что-то неразборчивое. Кусты перед глазами ожили ухмыляющимися мальчишескими лицами. Он повернулся и побежал. Ноги вязли в грязи, и он с трудом вытаскивал их, он спотыкался и оскальзывался, будто и земля, тоже расставив капканы, подстерегала его, чтобы поймать и связать. Крики и улюлюканье позади все усиливались. Споткнувшись, Балада выронил портфель. Он нагнулся, чтобы поднять его, и тут ему в спину ударил тяжелый чугунок. От удара остановилось дыхание. Он пошатнулся и рухнул лицом вниз. Сразу стало тихо. Он не потерял сознания, просто мальчишки, удивленные его падением и перепуганные, не стряслось ли беды, разом смолкли.

Балада тяжело поднялся, обтер грязь, залепившую глаза и набившуюся в нос и в рот, и, пошатываясь, поплелся вперед, домой, домой, поскорее заползти в конуру, спрятаться, как побитая собака. Сердце и легкие разрывались от натуги. Победоносный клич мальчишек послышался снова и понесся следом за ним, но теперь только крик, потому что швыряться уже никто не осмеливался.

— И-у-да, ты знаешь,

Мно-го ль по-лу-ча-ешь?

Дождливая октябрьская ночь вздыхает под окнами.

Кладовщик Балада сидит в комнатухе под крышей и глядит в темноту. Только что дом сотряслся от рыданий жены, сейчас здесь неслышно ворочается тишина. Только ветер иногда то ли вздохнет, то ли завоет, и дождь, словно бесконечно длинный ящер, шлепает мягкими лапками по черепичной крыше.

Йозеф Балада прислушивается к ударам своего сердца. Это тяжелые удары, очень далекие один от другого, как будто кто-то забивает гвозди, неторопливо и расчетливо. Ну и вóзитесь же вы с этими двумя гвоздями, Плецитый. Но ночной сторож не спешит. Бух, — взмах долгий, как зевок, — бух! Не его это дело, послали сюда, а он нос воротит. «Если рассудить, ведь мы штрейкбрехеры, хотя не было никакой забастовки». — «Заткнитесь, вы! И поскорее заканчивайте!» Дождь усилился и сейчас шумит, как плотина. «И-у-да, И-у-да». Кладовщик Балада вскакивает и мерит комнатуху длинными шагами. Четыре шага до дверей, пять до окна и один назад к стулу, на котором сидит. Он тяжело опускается на сиденье, и эта старая рухлядь трещит по всем швам, будто собирается развалиться.

Йозеф Балада не ужинал, но голода не чувствует. Сразу же, как явился домой, забрался сюда, не стал говорить с женой и, запершись на ключ, прогнал, когда она прибежала и стала его звать. Она долго плакала на лестнице за дверью, может, и сейчас там сидит и сторожит каждое его движение, потому что этим ненормальным бабам, если у человека что-то не так, первое, что лезет в голову, — как бы чего над собой не сделал. Он не раздевается. Сидит и пытается собраться с мыслями, ищет выход из тупика, в который его загнали или он забрался сам, но в голове звучат крики и мелькают видения. Грязь, покрывающая его, засохла и шуршит, как сброшенная змеиная шкура. Боль в спине от удара чугунным котелком наконец проснулась и жжет огнем. «Я уйду от вас, пан Громус, придется уйти, не то меня затравят насмерть». — «Никто вас не держит, пан Балада, двери открыты, но знайте — обратно не возьму».

Если б я мог задушить его, наброситься и одним разом переломить хребет! Кладовщик сжимает кулаки, вытягивает вперед в темноту руки, грязь крошится, осыпается с пальцев. Кто загнал меня в тупик, я вас спрашиваю, кто? Я был Йозефом Баладой, председателем фабричного комитета и профсоюзной организации деревообделочников. А теперь я кто? Говори, Йозеф! Пусть скажет Йозеф! Он всегда знает, как надо поступить! Говори, Йозеф, ну говори

же ты, умник!» Кладовщик смеется в тишине, пугается своего смеха и напряженно, с отчаянно бьющимся сердцем прислушивается. Нет, тихо, совсем тихо. Может, схожу с ума? Короче, я заявлю об уходе, и дело с концом. Короткое заявление и долгая нищета на старости лет. Отлично, Йозеф, мы этого ждали. Вы ждали, нахалюги, а теперь бросите меня подыхать с голоду! Мне не надо говорить, что вы из себя представляете. Кто нарушил рабочую солидарность и кто всю жизнь ее проповедовал?

«И-у-да, И-у-да, ско-лько за-гре-баешь?»

Заткнись, заткнись, или я разорву тебе пасть!

От долгого сидения мышцы онемели, одолевает усталость, боль в спине становится все острее. Он поднимается, стул потрескивает, избавившись от тяжести. Балада идет к постели, половицы скрипят и верезжат, он сбрасывает пуховики без чехлов, оставшиеся здесь после ухода молодых, и валится навзничь. Кровь рвется в голову от переменны позы и нечеловеческой усталости, сон накатывается обморочными волнами. Бейрут, Аден, Карачи, Сингапур, Гонконг, Батавия. Кладите краску погуще, Плечитый,— и это ты называешь буквами? Ты, сопливый, слезливый калека? Да не набирайте вы столько краски, чертова кукла. Течет, как из дырявого водостока. Иисус-Мария, куда тащите? Это пойдет на Усти и на Гамбург, это на Горни Дворжиште, а это на Братиславу. Ф.Г.1159, Ф.Г.1172, Ф.Г.1126, Ф.Г.1208. Черт побери, вы что вытворяете? Это на отправку, а это вернулось назад. А накладные не трожьте, не то я вам лапы обломаю. Кейптаун, Сидней, Монтевидео, Буэнос-Айрес. Ф.Г.895, Ф.Г.1506, Ф.Г.912. Ящики, ящики, ящики. Горы ящиков. Они нас задавят, Плечитый, мы издохнем под ними. Этот ненормальный настрогать настрогал, а продать не сумел. Одно отправляем, другое возвращается. «Retourgut Гамбург», — двенадцать ящиков, 609—620. Так-то, сударь мой, а вашей милости никогда не приходило в голову, как все это запыхает, если кто-нибудь ненароком обронит хоть один-единственный окурок? Хотелось бы мне поглядеть на этот костерок, но нюхать вонь — неохота. Одна спичка — и все дела! Никаких забот. Многие, скажу я вам, визжали бы от радости. Да заткнитесь вы наконец, лучше смотрите, как трафаретки держите...

Балада проснулся, сел и в ужасе устоялся в темноту. Он все еще слышит голос ночного сторожа и свой. Он встал, закурил и при догорающей спичке посмотрел на часы. Половина четвертого. Старательно завел ручные часы — вечером позабыл — и сел на стул у окна. Дождь

прекратился, и ветер больше не дует. Ночь стала серой и помутнела, уже не темно, но до рассвета еще далеко. От влажной земли, наверное, поднимается туман. Но и этого не разглядишь. Хоть бы собака забрехала, хоть бы услышать, как бьют часы. Нет, ничего. На дворе глубокая, страшная предрассветная тишина.

В этой тишине сидит кладовщик, курит и думает. Тело болит, бросает в дрожь, но он сразу забывает об этом. Мысли стали гладкими, текут и не путаются. Если прикинуть, то и впрямь мало где скопилось столько взрывчатки, как на складах Громуса. Впрочем весь мир полон взрывчатки, только с войны она вроде бы отсырела. А этот Плечитый не такой уж дурак, хватит одной спички, но займется не больно быстро. Все надо тщательно продумать и подготовить. Я не сторонник поспешных поступков. Один раз напортачишь — испортил навсегда.

Наконец-то залаяла собака — видно, кто-то прошел по пустынной улице. Кладовщик испугался. Он наметил час, когда должен незаметно выскользнуть из дому. Наверное, пропустил. Чиркнул спичкой и посмотрел на часы. Пять. Самое время. Кладовщик скидывает башмаки и осторожно крадется к дверям. Половицы скрипят — и в нем от напряжения скрипят все суставы. Двери оставил открытыми, но в шаге от них остановился. В темноте он явственно видит: на последней ступеньке темнеет что-то большое. Жена. Стерегла его и уснула, намаявшись. Пальцы жалости сжимают сердце. Он стоит над ней, затаив дыхание. Слова подступают к горлу, и ему становится плохо, будто он уже умирает. Наконец, взяв себя в руки, Балада тихо спускается по кирпичным ступенькам. Выходит из дому, обувается и долго трет одежду, чтобы соскрести засохшую грязь, потом умывается у колонки и вытирается носовым платком.

Ни в одном окне не горел свет, когда он добрался до шоссе. Людям незачем вставать в такую рань, время стало бесплодным и не родит денег. И окна, слепые от темноты, — тоже упрек. Кладовщик пробирается мимо торопливо, он сгорбился. Так же он возвращается по вечерам и задерживается перед домишкой, где живет его дочь. Он долго смотрит вверх на темное окно, пытаясь проглотить горький ком судьбы, вставший в горле. Если бы не эта девочка и ее непостижимая красота, он бы до такого позора не дошел. Она определила мою судьбу. Она не виновата, видать, наши желания больше наших возможностей. Но это выше моего понимания. Почему вчера утром дочь отвернулась от меня? Мне ничего не надо, только посмотреть на тебя. Я всегда

так любил смотреть на тебя. Мать в молодости тоже была хороша собой, но твоя красота слишком ослепительна для нас, бедняков. За окном мелочной лавчонки вспыхнул свет, и на дороге послышался отдаленный грохот старого драндулета молочника. Кладовщик, вытащив ноги из хлюпающей грязи, поспешил прочь.

Он знает небольшую харчевню неподалеку от рынка — туда охотно заглядывают обогреться от утреннего холода и стряхнуть сон торговцы и крестьяне, что привозят на продажу птицу и овощи. Харчевня открывается в пять утра. Балада проторчит там подольше, потому что на фабрику раньше семи нельзя. А больше ему некуда деться.

Когда он вошел, на небольшом пятачке у стойки уже толпились мужики в сапогах, плоских кепках и тяжелых коротких куртках, порывевших от старости, солнца и непогоды, — сейчас они подсыхали, намокшие от дождя. Тяжелый дух одежды смешивался со смрадом винных паров и дыма трубок, создавая невыносимую атмосферу, где ты задыхаешься и тебя так и тянет вырвать. Крестьян и батраков можно было узнать по пышным усам и кнутам, которые они, ни на минуту не выпуская, держали в руках. Тут же толкались женщины в больших суконных платках, перекрещенных и связанных на груди узлом, они тоже пили и ели. Деревенские мужики откусывали от здоровенных краях ржаного, вынутого из бездонных карманов, хлеба, городские жевали рогалики, несмотря на золотистую корочку — будто резиновые, и запивали каждый глоток по выбору, кто водкой, кто чаем, в котором больше рома, чем кипятку. Разговоры велись с полным ртом, и слова увязали в разжеванных, но не проглоченных кусках. Но и в этом хлеву, где люди стояли плечом к плечу, были и такие, кто ел молча и, избегая взглядов, пресекал все попытки заговорить.

Йозеф Балада протиснулся к стойке, заказал стакан русского пунша, потому что выпивал лишь по большим праздникам, предпочитая к тому же только сладкое вино, и взял из объемистой корзины рогалик. Горячий стакан жег пальцы, а напиток опалял пересохшее горло. И тем не менее он с жадностью выпил его и заказал второй и только тогда принялся за рогалик. Балада откусывал, запивал и прислушивался к разговорам вокруг с любопытством, объяснимым лишь страхом и усталостью от собственных мыслей. Спина к нему стоял плечистый крестьянин, уже явно захмелевший, и рассказывал, как он разделался со своим строптивым батраком, надумавшим было, после трех

лет службы, просить надбавку десять крон в месяц в такие трудные времена, когда в деревнях люди голодают и не видят годами десяти крон зараза, и где даже копилку для хлеба приобретают в обмен на яйца.

— С...ть я на тебя хотел, Йоза, говорю я. Радуйся, говорю, что жрешь тут у меня от пуза. В других местах батраки и того не имеют. В других местах, говорю я ему, батрак на похлебку дует, как на воду, а ты ее остужаешь хлебушком. Заткни, говорю я ему, глотку, черт бы тебя побрал, и благодари, говорю, господа бога, что сидишь в тепле! Ну, он давай огрызаться и загнул такое, чего бы не надо, а мне обидно, вот я ему разок и врезал. А он на меня с вилами! С вилами, говорю, только этого еще не хватало! Ну, тут я ему и дал, да так, что красными соплями умылся. И выгнал! А тут ночью, вторая неделя уже пошла, как я его выгнал, вдруг будит меня корова, ей телиться время, — ревет, будто судный день пришел. Накинул я куртку, бегу к ней в одних подштанниках. Кобеля, само собой, не слышать, бегают где-то, зараза, я его когда-нибудь прикончу, дармоеда! Корова стоит, ревет, и больше ничего такого. Ну, сажусь я на скамеечку, света не зажигаю, подожду, думаю, погляжу, чего там. Сижу в темноте и хлопаю себя по карманам, сигарету ищу, и вдруг в голову ударило: дай-ка я на ворота гляну! А под ними красные сполохи! Моргнет — и нету, и снова моргнет. Я уставился, как баран, сам себе не верю. С чего бы это, думаю, в сарае огню гореть? Я туда, гляжу — Йоза! Сами понимаете, там куча овсяной соломы лежит, с нее он и начал. Занимается солома медленно, известное дело, еще толком не просохла, а он сидит на корточках и дует в огонь, ровно цыган. Я, известное дело, на него, — схватил, а через минуту огня как не бывало. Его рожей погасил! До тех пор в горящую солому тыкал, покуда ни единой искорки не осталось. На кой мне жандармы, говорю, я тебе так прикурить дам, что до самой смерти на спичку не взглянешь!

Баладу чуть не вывернуло наизнанку. Он расплатился и, протолкавшись к двери, выбрался на улицу. Было светло. Мутный серый рассвет дождливого дня. Торговцы, укрывшись ряднами или надев на голову мешки, переминались с ноги на ногу у своих палаток. Бóльшая часть товара в плетенках, корзинах и на прилавках, сбитых из нетесаных досок, тоже была прикрыта. Покупатели еще не появлялись, и на рынке властвовали пустота, дух мокрой земли и осеннего тления.

Часы на ратуше пробили половину седьмого, кладов-

щик поплелся к фабрике закоулками, каждый из которых в этом полумраке был похож на собственный призрак. «Горит, как солома», — говорят обычно, а не всегда, а если верить тому, что рассказывал мужик, то и вовсе нет. Поглядел бы ты, деревня, как полыхают целлулоид или стружка... Конечно, все дело в материале и как ты с ним умеешь обращаться. Тот батрак-бедолага сам во всем виноват. Кладовщик сочувственно покачал головой. Каждое дело сперва нужно подготовить. Что, если бы я, скажем, взял с собой керосинчика? Да, про керосин в таких случаях нельзя забывать.

Лавки были уже открыты, кладовщик остановился перед одной из тех, где можно купить все — от сохи и кнута до конфет и соды для теста. Он вошел и спросил двухлитровую жестянку: «Знаешь, такую, с горлышком, или как оно там называется — носиком, что ли». — «И керосину тоже нальем?» — «Ха-ха, вопрос! А на что мне жестянка без керосина? Смотреть на нее, а светить своей сопаткой?»

— Ты куда это с керосином, Йозеф? — спросил вахтер, пропуская кладовщика на фабрику.

— Да у жены в сараюшке лампы нету, и гуся приходится кормить впотьмах, — отвечал кладовщик, разводя руками, — вот и купил утром, чтобы вечером опять не позабыть.

— Ох, до чего же хорош жареный гусь, — с добродушной завистью причмокнул вахтер.

И тут кладовщик Балада стал хохотать как сумасшедший.

— Ты это верно сказал, ей-богу! Такого гуся ты еще не едал. Приглашаю!

Вахтер глядел ему вслед; идет Балада и трясет головой в приступах безумного смеха. «Нализался с утра пораньше, что ли, — ворчал он, — что-то с ним творится неладное».

Жестянку с керосином заметили все. Ночной сторож поинтересовался, что да как, и молодой Громус тоже обратил внимание. Заметил. Как только вошел в складское помещение, сразу увидел жестянку, поблескивающую в уголке у самых ворот. Поднял, поболтал, понюхал.

— Что у вас тут? — воскликнул он и недоверчиво выслушал объяснение кладовщика.

— Могли оставить в проходной у вахтера — такие вещи проносить на склад воспрещается.

Но в Йозефа Баладу словно бес вселился. Он в бешенстве орал и, было похоже, стремился вызвать хозяина на скандал:

— Само по себе не загорится, а со спичками здесь никто не балуется! А вообще-то, кто знает, может, кому-нибудь пожарчик и на пользу пойдет!

Михал Громус, уже собравшийся уходить, вдруг резко обернулся. Сейчас они стояли друг против друга с вытаращенными глазами, словно собирались броситься один на другого. Впрочем, наброситься хотел, возможно, только кладовщик Балада. Михал Громус гораздо больше хотел бы знать, что происходит в душе этого старого холуя.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он в конце концов, ибо чтение мыслей в большинстве случаев не дает результатов.

— То, что сказал. Кому помешает, коли все, что здесь стоит и лежит, — он широко раскинул руки, — сожрет огонь? Настрогали — под крышу не влазит, а никто брать не желает. Один ящик продаете — пять обратно возвращают, машины стоят, а у людей ни работы, ни еды.

Глаза Михала сузились в насмешке. Ах ты, проповедник. Языком молоть каждый горазд, поговоришь — и угомонишься. А я-то подумал...

Михал даже в мыслях сделал паузу, не позволяя себе ни уточнять, ни делать выводов.

— Можно подумать, вам известно, как выйти из этой ситуации. Если что-нибудь придумаете, не забудьте сообщить мне. Возможно, я сделаю вас своим компаньоном, если, конечно, вы не откажетесь. Потому что человек, который сумеет присоветовать другому, как покончить с нынешним бедламом, непременно должен разбогатеть. Но пока что, пан Балада, попридержите-ка свой язык. Подобные разговорчики — вроде «кому-то пойдет на пользу» — могут пойти и во вред!

Они снова уставились друг на друга. Потом Михал, махнув рукой вместо приветствия, повернул к выходу.

В полдень Балада остается на складе один. Вахтер с ночным сторожем уходят обедать.

Кладовщик стоит в дверях и глядит им вслед, пока они не скроются в своих жилищах. Он запирается. На дворе холодно, ветрено и слякотно, сеет мелкий дождь, не больно охота, чтобы сюда задувало. Но, наверно, совсем не обязательно и запирать двери на ключ. И тем не менее Йозеф Балада запирается на два оборота и оставляет ключ в замке. Подтаскивает несколько тяжелых ящиков и баррикадирует ворота. На них громоздит другие. Он понимает, что и это не обязательно, и посмеивается сам над собой, но опять вспоминает батрака, который позабыл об осторожности и все

испортил. Каждое дело надо тщательно подготовить. И кладовщик работает с молодой силой и рвением, словно сбросил годы. Он давно не был таким бодрым, как сейчас. Балада перетаскивает тяжелые ящики, сдвигает их вместе на свободных местах, оставляя лишь узкие проходы между штабелями, и обкладывает стружкой. В животе урчит от голода. «Погоди, потом, — успокаивает он его, — сначала все приготовим, потом посмеемся и только тогда поедим». Некоторые ящики он вскрывает, в основном те, где, как ему известно, находятся изделия из целлулоида, эти ему понадобятся в первую очередь. «Можно обойтись и без керосина, — думает он, — ну, да ладно, не помешает». Он отвинчивает крышку, и поливает керосином стружку, и разбрызгивает керосин по проходам. Наконец и это готово. Теперь уже никто на свете не сможет ему помешать.

Балада усаживается на один из ящиков, оглядывает плоды своих трудов и улыбается. И тут из памяти вырывается фраза: «...ибо трудящийся достоин награды за труды свои...» — и это наполняет его яростью. Он достает из кармана веревку, на которой уже заранее вывязал петлю, проводит по ней пальцами, — какая грубая, и это вызывает в нем внезапную перемену: напряжение вдруг сменяется слабостью.

«И-у-да, И-у-да, ты знаешь, сколько за-гре-баешь?!»

Опомнись, Йозеф, опомнись. Нет! Ты им покажешь, кто такой Йозеф Балада. Когда не останется этого барахла, которым забиты склады, они опять начнут работать. Что они станут кричать тогда? И ты, женушка, не будешь больше плакать, что в тебя тычут пальцами и бегут от тебя. На брюхе приползут просить прощения. Будешь вроде как святая, говоря тебе!

Картина предстоящего триумфа возвращает ему силы. Надо еще кое-что сделать, потом не успею. Он карабкается на поставленные друг на друга ящики к поперечному траверсу, что поддерживает стальную конструкцию, и там закрепляет веревку. Он спешит. Быстрее, быстрее! Только ни о чем не думать, ни о чем! Сделать, сделать быстро, быстрее!

Балада спускается вниз, достает коробок со спичками и поджигает стружку у дверей. Пламя вырывается мгновенно, стружка вспыхивает факелом, огонь бежит в обе стороны по керосиновым дорожкам, вторая и третья кипа стружки занимают почти одновременно.

Йозеф Балада в ужасе перед яростью стихии. Нет, теперь все! Бежать, бежать, пока огонь не перекрыл ему

дороги. Только не заживо, господи боже, только не заживо! Он бежит к штабелю ящиков и карабкается вверх. За его спиной слышен шум и вздохи, будто из земли вырвался толстый столб воды! И вдруг весь склад освещает яркая вспышка: взорвался первый ящик с целлулоидом. Повалил дым, целые облака едкого, удушливого дыма. Еще взрыв... Теперь они следуют один за другим, как ураганный артиллерийский огонь. Йозеф Балада стоит на самом верхнем ящике с петлей на шее и смотрит вниз, на волны пламени. Оно бушует, заполнив все пространство под ним, и тянется к нему... На брюхе приползут, на брюхе... Но в то мгновение, когда он делает шаг в пустоту, он видит вдруг насмешливые глаза Михала Громуса и, прежде чем кровь, хлынувшая в мозг, перекрывает сознание, успевает бросить ему в лицо вопрос, на который уже никогда не услышит ответа:

— Для кого я это сделал?

31

— Не говоря уже о том, что это абсолютно противоестественно, подобного довода ни один судья не признает.

Нотариус Пуркл пристально смотрел совиными глазами на Вильму Громусову, сидящую перед ним в том самом старом потешном кресле, в которое некогда отказалась сесть ее свекровь. Пуркл говорил и беспокойно вертел головой, склоняя ее набок, и птичий взгляд его глубоко сидящих глаз менялся, а сам он становился похожим то на степную сову, то на аиста, нацепившего очки. И Вильма, хотя и противилась его логике, не могла избавиться от чувства, будто она напроказившая девочка, которую бранят, а она никак не может понять, почему нельзя обрывать мухам лапки и крылышки.

— Возможно, это звучит неправдоподобно, — продолжал нотариус, нагнув голову, и на лысине его промелькнул мутный отблеск света, пробившегося сквозь пыльное окно, напомнив Вильме забытую картинку из учебника истории с портретом греческого философа, — но вы придете в противоречие с законом именно с том пункте, где он прочнее средневековой башни и благороднее, чем десять заповедей, ибо находится в полном соответствии с природой. Нет, голубушка, вам не добиться развода, если не придумаете и ловко не подстроите иного довода. В любом случае вам лучше обратиться к кому-нибудь из тех шарлатанов от

адвокатуры по бракоразводным делам, которые лично мне напоминают распорядителей на похоронах. Я вам не советчик хотя бы потому, что я старый холостяк и, как таковой, ярый приверженец нерушимости супружеских уз.

И тут молодая архитекторша, столь самоуверенная и целеустремленная, внезапно почувствовала, как ее обдало жаром неведомого ей доселе стыда, будто она урод, будто тело ее, всегда такое совершенное, в какой-то роковой момент обезобразилось горбом. Она вспыхнула:

— Можете не сомневаться, я попытаюсь. Мое право — жить по своему желанию и разумению.

Стекла очков, насмешливо блеснув, вперились в нее, глаз Пуркла видно не было. За стеклами бежали кадры воспоминаний, ибо нотариус был человеком старым. Прошлое могло быть ему опорой более прочной, нежели настоящее, которое чаще раздражало и вызывало отвращение. Лет восемнадцать или двадцать назад, еще совсем маленькой девочкой, она уже отличалась от своих сверстниц. Любимым местом ее игр была мебельная фабрика отца, она презирала девчонок и никогда не интересовалась куклами. Иногда принимала участие в диких забавах мальчишек, чтобы назавтра пройти мимо вчерашних приятелей, не узнавая. Ей очень скоро удалось подчинить себе рано овдовевшего отца, и она сама избрала себе воспитание и судьбу. В одиннадцать лет исчезла из Либниц и, не считая коротких наездов на каникулы, возвратилась лишь через четырнадцать лет: жестокий, беспощадный мужчина в соблазнительном и прекрасном женском обличье. Вот каков результат эмансипации, совместного обучения, и как их там еще называют, эти современные безумствования, а также технического образования, — женщина, которая стыдится своей женственности и самый чистый и самый праведный закон природы воспринимает как оскорбление и насилие.

Нотариус достал большой цветной носовой платок и шумно высморкался. Ему мало было очков, чтобы как-то скрыть свое возмущение. К этой изящной и обольстительно прелестной женщине он испытывал отвращение еще более глубокое, нежели когда-то к Анне Громусовой. Отцу и сыну досталась, пожалуй, одинаковая судьба, но сыну, по его мнению, — даже еще более страшная и безутешная, чем отцу. Если старый стал в какой-то мере жертвой самообмана, на долю сына пришлось очаровательнейшая реальность. Однако с таким же успехом можно было бы предлагать голодному лакомое блюдо в стеклянном, но недоступном сосуде.

— Вам, конечно, придется лгать, — произнес он бесцветным голосом, напряженно ожидая ответа.

Мужской характер. Но такой ли уж цельный? Она постаралась сидеть прямо в этом старом кресле, которое заставляло сгибаться, и резко ответила:

— Ну, а что такое вообще супружество, если не ложь?

Нотариус устало вздохнул.

— Это, знаете ли, фраза. Несомненно, фраза, я ее слышу настолько часто, можно сказать, ежедневно, что она и не может быть ничем иным. Впрочем, вы лгали уже самым вступлением в брак. Но от лжи, милая моя, избавиться свою жизнь можно единственно правдой, а не новой ложью. Если, конечно, вы этого хотите.

Опять все тот же мучительный, разрушающий прилив стыда. Сопротивляйся, девочка!

— Похоже, я нахожусь в исповедальне. Какую епитимию вы мне определите?

Нотариус удовлетворенно засмеялся.

— А вы недалеко от истины. Но в исповедальне под видом раскаяния люди бахвалятся своим грехом, в то время как здесь грехи заставляют корчиться от страха либо лезут из людей, как дьявол из одержимого. И если вы хотите знать, как понимаю я, что такое настоящее раскаяние, то я вам подскажу: попытайтесь отнестись к тому, другому, честно и, если это невозможно, скажите ему правду и уйдите, отказавшись от всего, что дал вам союз с ним.

Вильма сидела молча и разглядывала зигзагообразную трещину в дощатом полу. Туда-сюда, туда-сюда — бегали ее глаза. Попробуй выпрями эту кривую, ты, умник. Она встала, и смех ее был близок к истерике.

— Вы отличный советчик, пан нотариус.

Совиные глаза за стеклами очков изучали ее лицо.

— Это не совет, это только моя точка зрения. Совет вы должны держать сами с собой.

На ратуше часы отбивали полдень. Косой дождь соединял серое низкое небо с черной мостовой, и удары колоколов метались в нем испуганными птицами. Вильма стояла в воротах дома нотариуса Пуркла, удерживаемая скорее своими мыслями, нежели дождем. Дым спускался, едва успев подняться из труб, соскальзывал и перекатывался по блестящим крышам домов напротив. Что-то сломленное, ползучее, не способное взмыть к небу светлым веселым столбиком шевельнулось и в ней.

Люди выходили из домов и магазинов и торопливо шли по площади под прикрытием зонтов. Большей частью это

были служащие, спешившие домой, чтобы, наспех проглотив обед, распрямить на диване ноющую спину и стать на благодатный часок снова самими собой. А у тебя, милочка, дома нет и никогда его не было. Пустой дом вдовца, комнаты, будто выстуженные и не очень прибранные, отец или докучает своей конфузливой, почти лебезящей нежностью, или сидит молчаливый и задумчивый. Меблирашки в Праге, меблирашки в Париже, затхлые запахи, оставшиеся от тех, кто жил здесь до тебя. Ну разве не ирония судьбы, что ты, не знаяшая своего настоящего дома, хочешь строить и обставлять дома других? Дерзкая и бессовестная ложь то, что ты им предлагаешь и навязываешь. Ведь дом — это любовь и желание. А что об этом известно тебе? Господи боже, ведь это даже не ложь, нет, быть может, это мое собственное желание, в котором я боюсь себе признаться и назвать его настоящим именем.

Вильма задрожала то ли от внутренней лихорадки, то ли от холода, которым на нее пахнуло из подворотни за спиной. Она в задумчивости подняла руку к воротнику пальто и застегнула его. Но ей не хочется и нет сил уйти отсюда. Эта пустая площадь, заштрихованная дождем, сеткой дождя, где, как в старой, стертой киноленте, мелькают одинокие торопливые прохожие, проваливается перед ее глазами, будто яма, наполненная паром, в кружении которого она хочет прочесть все, что сейчас должна понять и решить.

«Вы лгали уже самым вступлением в брак». Я действительно лгала? Нет, я не хочу лжи, ложь — оружие женской слабости, нечто, в чем нас воспитывали. Я объяснила Михалу, почему выхожу за него замуж, я ничего не скрывала, ничего не изображала. Все очень правдоподобно, когда я это объясняю себе, еще немного — и я уговорю себя и успокоюсь. Но это мгновение не для того, чтобы о чем-то умалчивать. Кто-то неотступно и настойчиво теревит ее совесть: «Ах, нет, этим ты меня не возьмешь. Открой-ка и эту дверь. Хочу знать, что за ней». Вильма, обозлившись, открывает и эту, последнюю, дверь. Она горда, и никто не посмеет упрекнуть ее, будто она перед чем-то отступила, чего-то боится. И все же это мошенничество. Я вышла за него замуж, а замужество имеет естественные последствия. Он не требует более того, на что имеет право. Ах, но ведь я смошенничала несознательно, я просто не рассчитала и теперь пытаюсь найти выход. Непорядочно по отношению к нему? А в каком положении я?

Вильма едва ли не в отчаянии, она делает резкое

движение, словно желая высвободиться от пут. Со стороны худейовицкого шоссе выехал автомобиль и под прикрытием дождя, разбрызгивая воду из луж, прошуршал по площади к Пражским воротам. Вода летит в стороны, как будто колеса рассекают не черную мостовую, а тяжелую, вязкую массу, и она тут же смыкается и снова становится гладкой. Шуршанье — так похожее на крадущиеся ночью шаги у дверей ее спальни. Это Михал.

Из ворот соседнего дома выбежала стайка девчонок и ринулась под дождь, как в веселую купель. С криком и визгом понеслись эти длинноногие подростки по скользкой мостовой. Другие пробежали по тротуару мимо Вильмы, пригнувшись, толкаясь, по две, по три под одним зонтом. Это швейки из самого крупного либницкого салона. В воздушной волне, отраженной их бегом, колеблется тоска. Их молодые души не способны понять всю необъятность печали своих судеб, но она заставляет биться их сердца, которые не могут оторваться от безумных мечтаний. Вильма с мучительной завистью провожает их взглядом. Следом идут три работницы. Они продираются сквозь дождь, как сквозь лишнюю напасть в постоянном потоке своих бед, опустив голову, пробивают себе дорогу, и на лицах у них дикое и загнанное выражение. Этим женщинам надо многое успеть за те короткие минуты, когда остальные наслаждаются отдыхом. Перед вами замужние трудящиеся женщины. Они стряпают, стирают и прибираются по ночам, а сейчас торопятся приготовить обед, муж чертыхается на подогретую бурду, они наспех проглатывают свою порцию, моют посуду и рысью бегут обратно, ибо время летит, ах, колет в бок, как подумаешь, как оно куда-то торопится.

Ружена Поурова вышла последней. Она шагает медленно, с трудом несет тяжесть живота, не умевающегося под большим мужским зонтом.

Муж ее хворает, измученный поездками на велосипеде по такой собачьей осенней непогоде в Худейовице. Он лежит в чердачной комнатухе, слушает, как по крыше барабанит дождь, мысленно произносит речи, поднимает на борьбу безучастные ряды, таскается от одних фабричных ворот к другим, дрожит от ярости под равнодушными взглядами цехового начальства, и к нему возвращаются картины минувших дней. Он все видит наново, в новом, более ясном свете, он извивается в отчаянии от подлого предательства своего тела.

Ружене с каждым днем все труднее, и все-таки она

каждый день приходит в обед домой, чтобы дать ему чашку крепкого мясного бульона, который просит сварить квартирную хозяйку. Ей надо увидеть его, она не может сидеть одна в пустой мастерской и с тревогой прислушиваться к движениям в своем чреве, терзаясь страхами — не стало ли Индре хуже с утра, когда она его оставила. Господи боже, чем он был для нее! Последняя твердыня, здесь она нашла спасение. Но теперь должна потерять его. Утешительные разговоры врача стали для нее молитвой, и она повторяет ее все время, в такт стрекоту швейной машинки.

Занятая своими заботами, борясь с зонтом, который ветер рвал из рук, Ружена прошла мимо, не заметив Вильмы. А Вильма все смотрела ей вслед, чувствуя стыд и угрызения совести. Ни разу в жизни не обмолвившись ни словом, она тем не менее, не колеблясь, жестоко и беззастенчиво вмешалась в ее судьбу. Кто знает, может быть, эта девушка когда-то действительно любила Михала. Вильма пожала плечами. Генералу вовсе не обязательно знать солдат, которых он посылает на смерть. Эта стояла у нее на пути, значит, иного решения не могло быть. Сейчас неподходящее время затруднять свое и без того трудное положение сомнительным сочувствием и угрызениями совести, которыми все равно ничего теперь не исправишь. И вдруг Вильму осенило — она только что видела объяснение столь внезапной потребности Михала иметь ребенка. Ее передернуло от отвращения, словно к телу прикоснулись дрожащие, влажные ненавистные руки. А ведь были минуты, когда я предлагала ему себя. Чтобы это забыть, придется отскребать душу стальной щеткой.

Вильма раскрыла зонтик и пошла. Надо все кончить еще сегодня. Дождь барабанил по натянутому шелку над ее головой песню без ритма и мелодии. Она свернула с площади и вошла в парк. Под мостками бежала мутная вода, исхлестываемая дождем, и, оборванные взбесившимися ветрами последних дней, стояли голые черные и блестящие деревья. День, будто специально созданный, чтобы с чем-то покончить. Например, с замужеством. Вильма с облегчением засмеялась. Она обрела свою обычную уверенность. Она решила.

Пронзительный жалобный вой фабричной сирены заставил ее насторожиться. Она мельком взглянула на часы. Четверть второго. Почему в такое время ревет гудок? Впрочем, ни на одном предприятии в Либницах, исключая фабрику Громуса, электрической сирены не было. Вильма вышла на широкую дорожку, пересекающую парк, и с бес-

покойством посмотрела в том направлении, где над деревьями торчала высокая труба, едва различимая в плотном ливне.

Обезумев, выла сирена.

Там, в той стороне, что-то подобное темной туче сгустилось под низким небом, и вот оно начало расползаться вширь, расти и подниматься тяжелыми глыбами, взвихрившись в мелькании пронизанных рыжими, словно прожилками драгоценной руды, языками. До нее донесся гул, подобный вздоху задыхающихся гигантских легких, и треск обваливающейся кровли.

И она сразу поняла, что происходит: это горят склады. Какая тут может быть связь с ней и ее решением? Причин откладывать нет. Вильма стояла, наблюдая действие пожара, происходящее за тяжелым занавесом дождя. И чувствовала мстительное удовлетворение, словно там, в языках пламени, сгорали и ее вина и позор.

Пожар прекратился, когда гореть было нечему. И только тогда, говоря словами газетной хроники, сверхчеловеческие усилия сводных пожарных команд увенчались успехом. Впрочем, их усилия, честно говоря, ограничивались охраной соседних зданий от необузданной стихии. И это им удалось. Цеха стояли нетронутыми, стены ближайших почернели от дыма, доставлявшего пожарным куда больше неприятностей, чем само пламя. Вот и все. Да, это было все. Пятерых угоревших пожарных отправили в больницу, от склада остались треснувшие стены, грозящие вот-вот рухнуть, а где-то в центре еще дымящегося пожарища лежали почерневшие кости Йозефа Балады.

В шесть часов все уже, пожалуй, было кончено, и сильный ливень разогнал даже самых упорных зрителей.

Жители рабочей слободки, и, конечно, в основном те, кто работал у Громуса, уходили последними. Они увели с собой обезумевшую жену Балады, а Индру Поура, прибежавшего сюда совсем больным сразу после начавшегося пожара, заставили вернуться домой и уложили в постель, оставив под присмотром Ружены. Пожарные разъехались, и на пепелище была поставлена охрана из трех человек.

Сейчас и владелец пострадавшего объекта, пан Громус, мог уже отправиться отдохнуть и спокойно взвесить размеры случившегося несчастья. Он устал и едва держался на

ногах, оставаясь на пожаре все время, хотя едва ли был полезнее любого из зевак. Впрочем, нельзя требовать от человека, чье имущество пожирает пламя, чтоб он сидел в мягком кресле и с наслаждением курил сигарету. Завтра прибудет судебная комиссия, чтобы определить объем ущерба и причины пожара. А пока он хотел, чтоб его оставили в покое.

Входя в дом, Михал вдруг вспомнил, что сегодня еще не видел Вильму. Лишь мельком, когда она уходила утром. К обеду она не вернулась. В час дня начался пожар, но Вильма не появилась и там. Она слишком уж демонстративно выказывала ему свое безразличие. Что бы между ними ни произошло, жена в такую минуту должна быть рядом с мужем. Станный же у нее образ мыслей, да и поведение тоже! Михал чувствует, что никогда с этим не смирится. Придется ее переломить. Тогда он был опрометчив. Ну, да ладно. Не получилось в первый раз, получится во второй. Или придется крошить камень за камнем в этой стене, пока в один прекрасный день она не рухнет. Такова супружеская жизнь: здесь, более чем где-либо, один должен подчинить себе другого. Кризисные ситуации вроде последней придется еще преодолевать не однажды. Но, черт побери, какие же должны быть нервы, чтобы все это выдержать!

Кухарка, увидев, как в коридоре под лестницей Михал снимает шляпу и улыбается, пришла в такой ужас, что позабыла удариться в причитания, которыми собиралась встретить его. И опомнилась, только когда он стал с трудом стаскивать с себя промокшее на дожде пальто. Бросившись помогать, она заголосила:

— Ах, пан Громус! Какое несчастье!

Слезы горохом катились по ее щекам. Ей ничего не стоило заплакать.

Михал повернулся и, не сознавая, как походит сейчас на своего покойного батюшку, похлопал ее по плечу и, взяв за подбородок, как провинившуюся девчонку, сказал искренне и бодро:

— Ну-ну, Бети. Зачем нам плакать. Один такой костерок нас не разорит.

Она стояла перед ним, эта рыхлая старая дева, с покрасневшимся от нахлынувшего вдруг приятного конфуза лицом, с собачьими, мокрыми от слез глазами, преданная и верная Михалу, как была предана его отцу, потому что не могла забыть, что когда-то он вступился за нее перед Анной Громусовой. В эту минуту она не задумы-

ваясь пошла бы ва него в огонь и в воду, пошла на десять костров, еще более грозных, чем тот, который догорал за окнами, и Михал, увидев, как она раскраснелась, будто только что отскочила от плиты, понял, до чего же он голоден.

— Э, Бети, у меня волчий аппетит. Тащите мне бифштекс величиной с тарелку, к нему парочку яиц и все, что к бифштексу полагается. Не забудьте жареной картошечки. Если наверху нету красного вина, отыщите в подвале бутылочку, да запыленную!

Кухарка смотрела ему вслед, как он поднимался по ступенькам.

«Вылитый отец,— думала она.— Во всем. И полагаться любит, и аппетит совсем как у покойного. Забыла начисто, его ведь жена ждет в гостинной, велела передать сразу, как только вернется».

Она позабыла сообщить и то, что не давало ей покоя: молодая хозяйка сразу же после полудня отослала куда-то вторую прислугу, а та, чертова девка, все еще где-то носится.

Михал принял ванну, переоделся — он провонял дымом, как сам сатана,— и отправился в гостиную выкурить свою вечернюю сигарету. Он все еще насвистывал песенку, начав ее еще на лестнице. В комнате было темно, но ему показалось, что в светлеющем прямоугольнике незашторменного окна он различает темную фигуру. Михал щелкнул выключателем.

— Прошу прощения,— произнес он.— Я и не предполагал, что вы дома.

«Почему Вильма смотрит так испытующе? — подумал он.— Видимо, хочет убедиться в каких-то своих новых предположениях!» Он был настроен верить, что это означает поворот к лучшему и она ждет его здесь с предложением помириться.

— Я велела передать, чтобы вы пришли сразу же, как вернетесь.

— Мне передать забыли. Но вы не удивляйтесь, у меня сегодня был сумасшедший день. Пожар. Вам это, вероятно, известно.

Он немного испугался своей агрессивности и в смущении постукивал сигаретой по крышке табакерки дольше, чем это было необходимо. Вильма улыбнулась. Похоже, он пытается спровоцировать скандал, после чего, полагает, примирение будет еще слаще.

— Незаметно, чтобы это несчастье так уж убило вас.

Я еще никогда не разговаривала ни с одним погорельцем, но мне кажется, такие люди редко насвистывают.

Он не успел ответить, в столовой зажегся свет, и Бети позвала ужинать.

Было слышно, как она, зашипев, будто обожглась, появилась красная и растерянная.

— Иисус-Мария, милостивая пани, я совсем позабыла, будто из головы вышибло!

— Неважно, Бети, я уже не спешу.

— Божка до сих пор не вернулась, милостивая пани.

— Не ждите ее, она сюда больше совсем не вернется.

Это была горничная, нанятая самой Вильмой, которую она намеревалась взять с собой. А пока послала прибрать в ее прежней комнате и приниматься за хозяйство в доме Ролина. Михал с нетерпением слушал этот разговор об исчезнувшей горничной. Представление, что ужин на столе стынет, а они тут занимаются ненужной болтовней, выводило его из себя.

— Вы поужинали?

— Я не стану ужинать. Возьму лишь сухарик, чтобы не сидеть без дела, пока вы станете есть, и выпью немного вина.

За ужином они молчали. Михал ел быстро, и удовольствие, получаемое от еды, было несколько испорчено Вильминым присутствием. Он все время чувствовал на себе ее пристальный взгляд и когда, подняв голову, пытался в ответ улыбнуться, то видел, что причин для улыбки нет. Вильма отламывала от сухаря кусочки и запивала каждый кусочек маленькими глотками. Она была похожа на лакомящуюся девочку, но ее взгляд был неприятно холодным. Зачем она пришла, если более месяца избегала любого общения с ним? Бифштекс застревал у него в горле, и он заставлял себя есть. Михал позвонил кухарке, и они молча ждали, пока та уберет со стола.

Он предложил Вильме сигарету и, зажигая себе и ей, легонько погладил ее руку. Она руки не отдернула, но взгляд ее не изменился, лишь стал заметно холоднее. Он достаточно изучил ее, такая уж у нее манера, нечего беспокоиться понапрасну. Что бы она ни собиралась сказать, лучше, если с его стороны не последует прямых вопросов. И такие взаимоотношения и есть супружество? Ну да ладно! Возможно, и у других не лучше.

Усталость оставила его, еда и вино будоражили кровь приятным ощущением силы, которую ничто не сможет одолеть и которая постоянно обновляется. Ах эти Громусы,

ну что им будет? Скиньте их, ну, скажем, со стометровой вышки — они встанут на все четыре лапы.

Он чуть отодвинулся от стола и откинулся на спинку стула, выпятив полную грудь. В последнее время Михал несколько раздобрел, но выглядит скорее крепким, чем толстым. В его глазах светилось довольство здорового и сильного мужчины, у которого нет сомнений насчет своей персоны.

— Мы с вами говорили о пожаре, — молвил он с легкостью, и это прозвучало, будто он собирается рассказать ей о каком-то особо удачном мероприятии. — Вы знаете, почему это случилось?

Вильма покачала головой.

— Я ни у кого не спрашивала. И знаю только то, что слышала, когда пробиралась через толпу. Насколько я поняла, это месть или что-то в этом роде. Поджег ваш кладовщик. И думаю, причин для этого имел предостаточно.

Михал побагровел и сжал губы. Но тут же улыбнулся. Ее намерения достаточно прозрачны. Но он не клонет на этот крючок.

— Все не так просто, как вы пытаетесь объяснить. Предварительный осмотр, проведенный жандармами, показывает другое. Месть, вероятно, тоже имеет место. Но в более широком смысле, чем вы полагаете. Главное было — принести себя в жертву. Один за всех — так можно бы это назвать, прямая акция, проведенная отдельным лицом. Решение уничтожить причину бед. Кладовщик оказался между двумя жерновами и был раздавлен. Его мне жаль, но нет вины ни в ком из нас, она где-то дальше, в самом времени, которое распоряжается нами больше, чем мы того хотим. Я велел ему работать и после закрытия фабрики, потому что не могу обойтись без кладовщика, а товарищи обвинили его в предательстве. Звучит дико и неправдоподобно, но он не сумел найти иного выхода. Мир пеплу его. (И Михал нашел в себе смелость засмеяться жестокому соответствию этого оборота речи реальной действительности.) Он все сделал так, будто я его об этом попросил.

Вильма наманикюренным ногтем царапала на полотняной скатерти квадратики. Смотреть на него сейчас было просто невыносимо.

— Вы хотите сказать, что он вас этим поступком спас, — произнесла она бесцветным голосом.

— Спас! — повторил он за ней презрительно. — Я отнюдь не был на краю гибели, чтобы нуждаться в спасении. Он мне только помог. (Михал не мог утерпеть, ему было

необходимо поделиться с кем-нибудь, а здесь сидит — что бы там ни было — все-таки жена. И он сразу же впал в тот деловой, восторженный и самовлюбленный тон, каким говаривал его покойный отец, будто самолично, благодаря своей необыкновенной сообразительности, провел исключительно удачную биржевую операцию. Впрочем, что есть наша жизнь, если не биржа, где необходимо любым путем выиграть, даже если ты ставишь ломаный грош против миллиона.) Я, конечно, сидел в луже, но не по самую шейку и еще не захлебывался. Просто было не слишком приятно. Не доставляло удовольствия, хотя по нынешним временам и не позорно. Забитый доверху склад и, можно сказать, полная невозможность что-то продать, большие вложения, вам это лучше известно (он перечислял все это без зазрения совести и смотрел на нее, словно просил подтверждения)... большие вложения (повторил он) в такие времена, когда не зарабатываешь ни геллера наличными...

Вильма все еще рисовала на скатерти квадратики. Он нагнулся над столом и повысил голос, будто хотел принудить ее поднять глаза и восхищаться величием своей победы и собой лично.

— Теперь вы понимаете значение этого пожарчика? Все застраховано, до последнего гроша! Я не знаю, кому тот хотел помочь и кого собирался уничтожить. Мне он — помог. Самое позднее, через неделю работа здесь пойдет полным ходом, как никогда прежде!

Вильма подняла наконец лицо. Она была бледна, глаза казались безумными. Несколько напуганный ее неожиданным видом, Михал откинулся от стола и уперся ладонями в сиденье стула, будто собирался вскочить, хотя не знал, зачем ему вскакивать.

— Я встретила сегодня дочь того человека. Она беременна.

Вильма говорила тихо, чуть хрипло, будто с большим трудом управляла своим голосом.

Кровь бросилась Михалу в голову. При чем тут Ружена и ее беременность?

— Не понимаю, почему... — начал он.

Но Вильма перебила:

— Я представила, как на нее подействует случившееся с отцом. Для вас это несущественно, да и для меня, пожалуй, тоже. Но встреча объяснила мне кое-что иное: причину вашей неожиданной жажды отцовства.

Она наконец взяла себя в руки. Голос обрел ту привычную уверенность, с какой она всегда разговаривала

с ним. Достаточно лишь звука ее голоса и нескольких слов, чтобы сбросить его с вершины упоения. Он пытался преодолеть бессильную ярость.

— Вильма, зачем вы снова начинаете об этом?

Она встала. Михалу казалось, что лицо ее побледнело еще больше от скрытого волнения. Она перебросила через руку пальто, принесенное еще раньше из гостиной и лежавшее здесь на спинке стула. Михал с изумлением увидел, что все это время она сидела в шапочке, но он этого не замечал.

— Не начинаю, — сказала она. — Кончаю. Я уйду от вас.

С минуту он сидел, словно не понял смысла ее слов. Что за чепуха? «Я уйду от вас». Какие у нее причины? Он вскочил, стул покачнулся и с грохотом, похожим на выстрел, рухнул на пол.

— Вы этого... — бормотал он, как в бреду, — вы этого не посмеете! Что вам взбрело в голову?

Он протягивал к ней руки. Вильма перешла на другую сторону стола.

— Будьте благоразумны, — сказала она спокойно. — Силой вы меня не удержите.

Михал провел ладонью по пересохшим шершавым губам. Она вызывает к разуму, пусть тогда сама скажет что-нибудь разумное. Ведь это же просто сумасшествие. Сейчас, именно сейчас! Он не успел ей даже рассказать о полной своей победе. Стол стоит между ними, ослепительно белое пространство скатерти, освещенное снопом света от висящей лампы, посередине голубеет ваза с пестрыми блестящими цветами бессмертника. Михал уперся кулаками в стол и, пытаясь успокоиться, отыскивал хотя бы одну единственную верную и ясную мысль, на которую можно опереться так же прочно, как на этот деревянный стол.

— Объяснитесь, — выдохнул он. — У вас нет причины. Не случилось ничего, чего нельзя исправить. Невозможно расторгнуть брак из-за одного недоразумения.

Говоря, Михал успокаивался. Когда он слышал свой голос, ему казалось, будто он сам себя поддерживает крепкой рукой. Напрасно он испугался. Кризис. Бывает. Все союзы между людьми имеют свои критические периоды, когда решается не только их продолжение, но прежде всего их будущая форма. А союзы супружеские — самые хрупкие из всех. Хрупкие, но вечные. Их корни в самой основе человеческого естества: необоримое стремление владеть. Нет, он не станет его разрушать и не допустит, чтобы кто-то

разрушил. Иначе он сам поможет выкорчевать краеугольный камень из конструкции, на которой зиждется вся его жизнь. Бывали времена, когда Фердинанд Громус зверски терзался, и все-таки не сдавался и никогда не помышлял о таком выходе. Не в характере Громусов и не в их правилах выпустить из рук то, что они однажды схватили, даже если пальцы изгорят до костей.

— Дело не в количестве недоразумений, — ответила Вильма, не в силах сдержать легкой снисходительной усмешки. — Сегодня, наверное, весь город сбежался на пожар и в той или иной степени, но переживал вместе с вами. Я же сидела здесь, и мне было все равно, что происходит с вашим имуществом. Говорите, вам это на руку, но ведь могло бы, с тем же успехом, и разорить. И то и другое мне безразлично. Сделайте вывод спокойно. Не можете же вы жить с человеком, который не проявляет к вам никакого интереса.

Зачем она говорит это? И у него тоже нет интереса к тому, что она чувствует, что думает; он просто-напросто не может ее потерять. Все остальное второстепенно, а со временем он научит ее интересоваться собой.

Михал перегнулся к ней через стол и выкрикнул:

— Вы не посмеете уйти, неужели вам не ясно? Я не могу жить без вас! Думайте и делайте, что вам заблагорассудится, я не стану лезть ни в ваши мысли, ни в ваши чувства, но вы обязаны оставаться со мной, и на этом я настаиваю.

Пока он говорил, Вильма перешла к другому углу стола, поближе к двери. Сейчас они стояли друг к другу по диагонали, и расстояние между ними увеличилось. Все напоминало тщательно отрепетированную и хорошо разыгранную сцену, не было лишь зрителей, оценивших бы ее по достоинству; что ни говорите, а режиссер не забыл и о создающих настроение звуковых эффектах. Паузы заполняло жутковатое урчание батарей центрального отопления, завывание ветра и стук дождя в оконные стекла. Звуки объединяли этот вечер с зимней ночью обручения, тогда, в «Мюллеровой хате». Но ни один из двух актеров схождения не заметил.

Вильма была сейчас очень бледна, может быть, слишком сильно отсвечивала белизна скатерти, а когда заговорила, губы ее дрожали.

— Вы объяснили все достаточно ясно, и я, пожалуй, чего-то в этом роде ожидала, но этой мелочи, готовясь к разговору, не учла. Не придавала значения, и тем не менее

она должна была проявиться, и именно это и есть самое трудное, больше, чем я могу вынести. Вы не были мне неприятны, по крайней мере — сначала, но теперь, если мне даже придется прожить тут сто лет, клянусь, что каждый день будет подобен последнему месяцу и ничто и никогда не изменится. Я просто не могу, и этим все сказано.

Ему казалось, что он не поспевает уследить за ней. Она говорит, что он ей омерзителен, что она никогда не станет с ним жить. Мысль, что он может быть ей физически противен, лишала его способности думать. В нем поднялась волна стыда и неистовства. Он сделал шаг, чтобы подойти к ней поближе. Вильма подняла руки:

— Нет, оставайтесь на месте.

Михал сделал еще два шага и остановился в торце стола. Он наклонился, выставил вперед подбородок, глаза его неестественно вылезали из орбит. Он говорил глухо, но со злобным нажимом:

— Вы ошиблись, и я не премину вас в этом убедить. Я никогда не отпущу вас от себя. Я достаточно заплатил, чтобы иметь вас при себе, и вы останетесь со мной до самой смерти. Я докажу вам также, что я не снегирь, попавший к вам в силки. Вы как себе это представляли? «Купи мне фабрику обанкротившегося отца, ввали в нее немалый капиталец, чтобы она опять работала, и я выйду за тебя замуж?» А через полгода развод по причине непреодолимого физического отвращения, или как это там называется. И фабрика вам с неба свалится! Неплохо задумано. Но нет, дорогая моя, так дело не пойдет. И коммерция тоже имеет свои законы. Или вы останетесь здесь, или возвратите все, что получили.

Вильма порывисто дышала. Пальцы ее правой руки, опирающейся на стол, вцепились в скатерть и смяли ее так, что голубоватая ваза, пошатнувшись, опрокинулась. Несколько бессмертников выпало.

— Все именно так, как вы сказали, но выслушивать это от вас я не намерена. Сегодня утром я консультировалась, и мне было сказано, что я лгала уже своим вступлением в брак. Это правда. Я, конечно, должна от всего отказаться и уйти. Я думала весь день. На такое я не способна. Это выше моих сил. Я уйду, но оставлю себе все, что получила от вас. Я за это заплатила достаточно.

Она повернулась и сделала несколько шагов к двери. Михал молчал. Он, оцепенев, стоял на своем месте и смотрел ей вслед широко открытыми глазами. Вильма ускользала от него. Немыслимо. Нет, ты ошибаешься, если думаешь,

что тебе это удастся. Ты будешь нищей потаскухой, впрочем, ты и есть потаскуха!

Вильма остановилась и, поглядывая на дверь, произнесла:

— Это все. Прощайте.

И тут он кинулся к ней. Схватил за руку, рванул и обнял. Он сжимал ее так, что задыхался сам, и тащил за собой к дивану, с трудом выдавливая слова:

— Я не дам тебе удрать! Знай! Шлюха! Кто ты, если не шлюха? Я заставлю тебя понять, что я твой хозяин! Останешься здесь и будешь послушной и тихонькой!

Михалу не удавалось сжать ее. Одна рука у нее оставалась свободной. И она вцепилась ему в глаза. Михал взвыл от боли и выпустил Вильму. Он слышал, как хлопнула дверь, застучали каблучки по линолеуму передней и с громким стуком захлопнулись ворота. Он стоял, стирая слезы и жгучую боль. Потом, дернувшись всем телом, пошатываясь, бросился через комнату и распахнул окно. Ветер и дождь накинлись на него. Он высунулся. На расстоянии вытянутой руки, можно сказать, совсем близко, бежала его жена, застегивая у горла пальто.

— Вильма,— крикнул он глухо,— Вильма, умоляю вас...

Она убегала и даже не подняла головы. Ее светлое пальто мелькнуло под уличной лампой. Он побоялся крикнуть второй раз, но ему казалось, что он слышит себя, свой плач — вой раненой собаки. Свет дуговой лампы в последний раз вернул ему Вильму. Затем она исчезла в ночной темноте.

33

Индра Поур лежит, уставясь в низкий потолок. Муха, пережидаящая зиму, остановилась как раз над ним и потирает крылышки задними лапками. Индра внимательно наблюдает. Муха да гудящая печка — вот уже два дня его единственное общество здесь, в мансарде. Иногда сюда забегает теща и спрашивает:

— Ну, как ты, Индра? Ничего не хочешь?

Индра, как правило, не хочет ничего. А чего он может хотеть, если уже и покурить нельзя? Помотает головой и, в свою очередь, спросит:

— Какие там дела внизу?

Ружена вот-вот родит. Ей предлагали в больницу, но

она отказалась. Ни на один день не хочет оставлять Индру. Ей спокойнее, если знает, что он рядом.

Муха привела в порядок крылышки и пустилась дальше. Индра провожает ее глазами, пока может. Потом переводит взгляд в угол, на печку, где на полу скачут и пляшут розовые и золотые блики. Индра сопротивляется мыслям, они утомляют его, как физическая работа, вызывают приступы кашля, от них подскакивает температура, но спастись надолго не удастся. Он не может смотреть на муху, чтобы не вспомнить свои собственные мытарства по худейовицким фабрикам, а чего он добился? Лежит теперь пластом, и ясно — уже никогда не встанет. Не может наблюдать и пляску и кружение огненных отблесков, чтобы не увидеть другой огонь и в нем — лицо своего тестя, с жутким остановившимся взглядом и разинутым в вопле ртом, орущим какое-то страшно важное, освобождающее его, но никому не слышное пророчество. Кто мог ожидать такое от Йозефа? Все в этом доме, не исключая Индры, живут с горьким сознанием, что и они виноваты в его непостижимо страшной смерти.

— Почему, Йозеф? — спрашивает Индра, — почему? — и, что ему вовсе не свойственно, забывая о человеческом уделе Балады, спрашивает его о смысле и пользе этой жертвы. Раны сомнений, нанесенные его вере за то время, что он тут лежит один и размышляет, успели затянуться. День ото дня он становится все слабее и немощнее, но вера его крепнет. Ты не изменил ничего в этом мире, Йозеф, никто из нас не сможет этого сделать в одиночку. Я тоже пытался когда-то криком сдвинуть с места лавину. Тщетно Йозеф, тщетно.

Печка пышет жаром, на карниз за окном намело пышную снежную подушку. Минутами налетевший ветер завоет в трубе, отблески огня взметнутся и запляшут, судорожно извиваясь, а снежная крупа начнет барабанить по стеклам. Внизу слышны женские голоса. Пришла повивальная бабка, бегала домой накормить мужа обедом и теперь вернулась. Индра на минуту вырывается из игры воображения и, охваченный дикой тоской, думает о том, что предстоит его жене. И, как у всякого, кто сводит последние счета с жизнью, каждая его мысль несет в себе отражение другой, казалось бы давно забытой. Когда-то я клялся, что не стану заводить детей, плодить нищих, умножать нищету мира. А сейчас трепещу в ожидании. Кто будет? Парнишка?

Он чувствует, что это его единственная и последняя

надежда в жизни. Но он не был бы Индрой Поуром, если б тут же не взялся унижать себя. «Ну не смешно ли? — спрашивает он. — Что изменилось?»

Но вера его сильнее. Она словно стяг, развевающийся на мачте тонущего корабля.

Слабый воющий звук просачивается к нему с улицы. Час дня. Фабричный гудок сзывает на работу. Он подобен далекому волчьему вою. Это фабрика Громуса. Вот чего ты добился, Йозеф. Но именно этого, наверное, ты и хотел добиться. Чтобы у них снова была работа и они перестали оскорблять тебя. Нет, волка ты не задушил, старый блаженный баран. Громус заграбастал страховку, избавился от битком набитых складов и марш-марш вперед, полным ходом! Дела у него идут как нельзя лучше. Не бери это в голову, Йозеф. Дойдет черед и до Громуса. Мы не смогли, но после нас придут другие. Мы не можем проиграть. Нас больше, нас всегда будет больше, и время работает на нас. Громусы гнивают. От нашего сбежала жена. Слышишь, Йозеф, сбежала и теперь судится. Перегрызлись из-за фабрики Ролина, как собаки из-за кости. Муж и жена! Ты слышал такое, Йозеф! Но, может, тебе это не кажется смешным?

Индра чуть приподнялся на подушках, один из пляшущих на полу огненных бликов вдруг вытянулся, будто подпрыгнул, и снова опал. Победное чувство освобождения овладело душой Индры. Я никогда больше не стану служить ему, меня не будет среди тех, кто покорно прибежит на его зов и согласится делать все, что ему прикажут. Будете работать за три пятьдесят в час! Будем работать за три пятьдесят! Только дай работы. Зима на носу, а дети хотят есть. Ну-ну, старина. К чему сжимать кулаки и теревить чехол на пуховиках, это тебе не волчья глотка. Но тут наплывает другое воспоминание. Свист трансмиссий ласкает слух, сталь вращается с головокружительной быстротой, и острое ножа отделяет от нее блестящие серебристые полоски. И тоска рабочего человека, который с профессиональной гордостью любит свой труд, сдавливает его грудь. Больше никогда? Неужели и впрямь никогда?

Дом вздохнул, словно из самых своих основ. Вот опять! Индра, замерев, прислушивается. Пытается затаить дыхание, чтобы лучше слышать, но не может и лишь судорожно глотает воздух. Ему бы туда, вниз, к ней, к ней, перелить в нее все силы, что остались, эту каплю жизни! Пусть возьмет, ему она все равно больше не нужна. Ружена! Он старается подбодрить ее хоть тем, что шепчет ее имя.

И вдруг им овладевает неистовство. Силу, дайте мне силу! Верните ее! Негодяи, вы у меня ее украли, а теперь дадите пропасть моей жене и моему ребенку! Кто станет кормить их, кто станет о них заботиться? Жить хочу! Хочу жить!

Он приподнимается на локтях, но слабость прижимает его обратно, к пропотевшим подушкам. Жар затуманивает мозг.

«Дай на ночлежку, приятель!» Пойдем со мной, Гейл, я покажу тебе уютное гнездышко, где сладко спится. Пойдем со мной, я покажу тебе, как расправляются с толстопузыми. Йозеф начал, мы добьем. Зови остальных! Сюда, ребята, за мной, тогда нас станет много! Я буду жить, Ружена? Кто-то ведь должен вырастить ребенка». Индра бродит по улицам промокший и дрожит от холода. Бесконечные ряды домов и окон проходят перед ним. «Нет, я выстаивал не под этим окном». Где Ружена? Ее увезли. Он блуждает и плачет. «Вы не глядите, пан мастер, что я такой мозгляк. Когда человек пять месяцев без работы, — врет Индра, — он не может выглядеть как домовладелец. Но такого токаря поди поищи!» Индра крутит педали, и велосипед поднимается в гору, в Худейовице. Ноги совсем чужие. Пой, бедняга, и дело пойдет. «Над нами наше знамя реет...» Нет больше сил, он задыхается, отпускает руль и валится лицом в грязь.

— Индра, Индра! — зовет его умоляющий, испуганный голос. — Ты сомлел. Очнись, у тебя сын, слышишь? У тебя родился сын!

Над ним склонилась Баладова, слезы текут по ее щекам, она вытирает его лоб платком, смоченным в уксусе. Индра в полном сознании, ему хорошо и легко. У него сын! Индра смеется.

— Ничего не случилось, матушка, — говорит он удивительно звучным голосом. — Мне уже лучше, прошу вас, ступайте к ней.

Успокоенная, Баладова уходит. Индра лежит умиротворенный и улыбается. Уже много месяцев ему не дышалось так легко, как сейчас. Все эти страхи насчет чахотки — чепуха. Обычная простуда, и сейчас он уже выздоравливает. Еще неделя — и он опять орел! И будет нянчить своего парнишку! У тебя сын, слышишь?! У тебя сын! Великая гордость и вера в жизнь наполняют его сердце. Я должен увидеть его, хоть в дверную щелку.

Индра пытается подняться на локтях. Получается! В самом деле получается. Он опускает ноги на пол и встает, опираясь на спинку кровати. Кружится голова. Еще бы,

столько проваливаться! Ухватился за спинку стула и вот уже держится за стол. Так, теперь подтащить к себе стул, еще шаг — и он в дверях. Распахнул и привалился к косяку, чтобы передохнуть. Кто бы мог поверить, что усталость так приятна? Во рту сладковатый привкус. Индра сглатывает слюну. Надо бы на минутку присесть, но до стула далеко, а возвращаться не хочется. Он цепляется за дверь, пока ослабшие руки еще способны держаться, и сползает на порог. Он слышит шум, будто над его головой машет крыльями, пролетая, бесконечная стая птиц, шум нарастает, где-то под натиском вод прорвались шлюзы, голоса — они зовут его, прибой голосов, ревущих в упоении и грохоте, ритмичные шаги тысяч пар ног! «Товарищи, товарищи! — кричит Индра. — Не бросайте меня здесь!»

Идут, идут, красный, красный, красный, — отстукивают их шаги. Оно уже пришло! Тоненький, жалобный голосок вознесся над бурей и проникает в его слух. Индра улыбается. Иди ко мне, мой маленький, я ждал только тебя. Товарищи, товарищи, подождите нас! Мы с вами. Голоса умолкли, слышен лишь тоненький голосок, гулкие шаги становятся все медленней, и звук их уходит вдаль. Страшная тоска сжимает сердце Индры, и вдруг что-то сладкое и душное поднимается в груди и подкатывается к горлу. Из рта хлынула кровь.

Индра падает вниз лицом. Придет день! Товарищи! Ведь мы же выиграли! И кровь, красная, как знамя его веры, стекает по ступенькам навстречу младенцу, который только что пришел в жизнь иным кровавым путем.

СВЕТ ТЬМЫ

РОМАН

ČERNE SVĚTLO, PRAHA, 1958

Перевод
В. МАРТЕМЬЯНОВОЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

1

Нынешней ночью сон возвратил мне одно из самых ранних детских воспоминаний. Может быть, даже самое раннее. По крайней мере, мне до сих пор не удавалось припомнить ничего, что бы предшествовало ему. Им словно начинается рассвет моей жизни; все остальное погружено во тьму. Я снова пережил одно событие, наверное ничтожное и неприметное для прочих его участников; для меня, однако, оно значило так много, словно именно в тот момент я и родился.

Сегодня, когда я проснулся среди ночи, прежний ужас, как много лет назад, сдавил мне сердце и обморок удушливыми волнами накатил на меня. Огромная тень мясника Горды в белом фартуке, перемазанном кровью, еще раскачивалась, пропадая в туманной мгле. Хриплый протяжный отзвук его рева все еще терзал мои барабанные перепонки. Возможно, это было эхо моего собственного вскрика. Но потом я услышал явственный крик кого-то еще; он потрянул мною, будто бесцеремонная рука, и привел в сознание. Звук несся через открытое окно. Внизу, на улице, дрались пьяные и чей-то грубый голос домогался полиции. Очевидно, именно он, пробив брешь в глухой стене сна, вызвал это мое видение. Я сидел в темноте, от окна тянуло стужей, ночь лизала мне спину своим холодным языком, короткими, чувствительными касаньями. Драчунов поглотили ночные улицы, в висках гулко стучала тишина. Кто же это кричал? Пьяница, мясник Горда или я сам? Теперь уже все перемешалось — сон и явь, прошлое и настоящее. Попробуй распутать узел! Глядишь, где-то в его туго стянутых витках и отыщется правда. Может, ты еще сумеешь воскресить ее, но возможно — она уже мертва.

Я не стану пересказывать сон, его алхимия устрашает

меня, лучше обратиться к моему воспоминанию. Его тоже трудно очистить от наносов времени. Быть может, образ столь памятного события сейчас явится мне иным, не таким, как прежде. Но беда невелика. Я извлекаю его не затем, чтобы радоваться или мучить себя, я ищу взаимосвязей. Я обвиняю это происшествие в том, что оно, будто таинственный подземный взрыв, вынесло на поверхность одни свойства моего характера, а другие — загнало вглубь. Я не могу утверждать, что именно благодаря ему в моем характере появилось нечто, чего в нем не было вообще, но, несомненно, оно повлияло на мою восприимчивость и на мое отношение ко всему, с чем мне позже приходилось сталкиваться. Пожалуй, можно сказать, что событие это было наладкой для некоего стана, на котором должна была быть соткана моя жизнь.

Частенько, бродя по Старому Месту, я ловлю себя на желании свернуть на Гаштальскую улицу; меня манит к себе дом, в котором я родился и вырос. К чему это, приятель, одергиваю я себя в последнюю минуту, ведь дома уже нет. На его месте высятся две современные, отталкивающие своею бездушностью громады. Бетон, железо, стекло, контора на конторе, жизнь там бежит, как на улице; ей не дано остановиться, перевести дух или помечтать. Ночью тут пусто, один или двое рабочих обитают в подвале, а по пустынным коридорам, в сапогах на резиновом ходу, чтоб самого себя не пугать гулом шагов, неслышно крадется ночной сторож.

Наш дом был известен под названием «У Куклов» — маменька была урожденная Куклова; по этому прозвищу всяк мог отыскать его точнее, чем по почтовому номеру. Контора, размещавшаяся над лавкой, где торговали всякими мелочами, носила то же название; под тем же названием папаша вел и большой магазин, ради которого он пошел в зятя. Дом был трехэтажный, но его фасад вытянулся на добрых пятьдесят метров, а со двора к главному зданию присоединялось еще одно крыло, примерно такой же длины; заднюю стену просторного двора образовывали складские помещения и мастерские. Это был старый дом с галереями и со всем, чем оснащены строения такого рода: с уборными, общими для нескольких квартир, двумя лестницами, одинаково темными и угрюмыми, с нишами в стене, где перед распятием или изображением девы Марии, Яна Непомуцкого или святого Вацлава подслеповато мигали лампадки красного стекла, с никогда не просыхавшей канавой посреди двора и с колодцем в его углу,

с высокими сводчатыми потолками в комнатах, одни из которых были теплые и уютные, а другие — холодные и мрачные, как погреба. В те поры дом представлялся мне — а ныне, когда его уже нет, и подавно — огромным дворцом. Его распирала жизненная сила, и целыми днями звучали там голоса людей и шум работы.

Мясник Горда держал в нашем доме копильню и кухню, где перетапливал сало. Это был богатырь и герой из моих детских сказок. В воспоминаниях он рисуется мне не иначе как в белой рубаше с засученными рукавами и в фартуке, всегда немного забрызганном кровью. Сегодняшнее сновиденье тоже ничего не изменило в этом портрете. Чудится даже, будто я отчетливо вижу его жирный лоснящийся затылок. Я знал Горду очень близко, потому что мясник, возвращаясь из своей копильни, играл со мной в слона и катал на закорках по двору. Я взвизгивал, если он подпрыгивал на ходу, сжимал горячие и толстые мясниковы уши своими маленькими ладонями, которыми едва-едва мог обхватить их. Он осторожно двигался по булыжникам мостовой, сипло дышал, время от времени подкидывал меня вверх и трубил, полагая, наверное, что так трубят слоны.

Восседаю на его шее, остро пахнувшей потом, салом и чадом копильни, я испытывал особенно полное слияние восторга и жути, опьянения силой и высотой — и страха перед тем и другим. Я был тогда хилым, тепличным ребенком, только-только пробовавшим оторваться от маминого подола и вступать в ребячьи игры, а мясник Горда — полуторацентнеровой горой сипящего и пыхтящего мяса. Я побаивался его, но что-то непродолимо влекло меня к нему, и, по-моему, в то время я любил мясника сильнее, чем отца и мать, вместе взятых.

Дом наш, будто маленькая деревушка, кишмя кишел детьми, и во дворе обычно играла целая орава, к которой присоединялось еще множество соседских ребятишек. Наш гомон никому не мешал, и редко кто одергивал нас. Пространство двора, его углы и закоулки, пустые жестяные бочки из-под спирта и керосина, хлам, выброшенный из слесарной мастерской, — все это давало нам возможность устраивать самые разнообразные игры. Иногда случалось, что посредине игры в решетку сточной канавы вдруг просовывалась крысиная морда и дерзкие глазки, подобные черным бусинкам, поблескивали на солнце. Мы с визгом разбегались врассыпную, но и зверек тут же исчезал, испуганный не меньше, чем мы. Снова набравшись храбрости,

мы швыряли в канаву каменья и пробовали достать дно шестами, которыми женщины подпирали веревки с развешанным на них бельем. Благодаря крысам мы научились играть в рыбаков. Наиболее предприимчивые ребята, смастерив из согнутой проволоки крючки, наживляли на них хлеб либо обрезки мяса, выклянчив его у пана Горды, и с самыми серьезными минами закидывали удочки в сточную канаву, меж тем как все прочие наблюдали за ними, дрожа от нетерпения. Не помню уж, заканчивалась ли эта охота удачей; ни рыбаки, ни зрители не могли долго забавляться игрой, которая не давала возможности кричать и двигаться.

Меня эта игра увлекала меньше других, я даже опасался, как бы моим приятелям и впрямь не повезло. Наравне с прочими детьми я боялся крыс, но что-то манило меня к этим животным. Засыпая, я иногда представлял себе их длинные, торчком стоящие усы и блестящий взгляд наглых черных глаз.

Иногда двор словно вымирал. Выхожу я, к примеру, после полдника, ищу ребят, зову, кричу — все попусту, нигде ни души. Я не мог понять, куда все вдруг запропастились, а поскольку был еще очень мал и труслив, то не отваживался выбегать за ворота, чтобы поискать приятелей там. В такие минуты я чувствовал себя страшно одиноким. И тогда, если дело было летом, садился на пол галереи, просунув через прутья решетки ноги и свесив их вниз. Тишина, разлитая по двору, действовала на меня угнетающе. Я слышал голоса и звуки, но не из моего мира; они принадлежали взрослым. Протяжный скрежет напильников, доносившийся из слесарной, постукивание сапожного молоточка, грохот бочек, перекачиваемых на нашем складе, визгливая брань кладовщика, шипение растопленного жира, на котором жена одноногого лоточника жарила рыбу для вечерней продажи, стук утюга и пенье нашей прислуги. Из высокой трубы той пристройки, что служила пану Горде одновременно коптильней и кухней, валил густой черный дым; он поднимался ровным столбом, расплываясь над крышей соседнего дома.

Прижавшись лицом к решетке перил, я думал о товарищах, забывших про меня, и грустил. Отчего никто меня не позвал? Я измышлял месть. Я делался великаном и загонял вероломных изменщиков в коптильню пана Горды. Вот я отворяю дымоход и развешиваю их в его черной утробе, одного возле другого, всех головой вниз. Побудьте-ка здесь, пока не прокоптитесь. Жаль, я не людоед, а то бы я вами

полакомился. Картина эта, однако, для меня чересчур сильна, я чувствую, что мне дурно. И стараюсь поскорее отделаться от своих мыслей.

Вдруг сквозь решетку сточного канала просунулась крысиная голова — длинные белые усы, черные глазки поблескивают на солнце. «Ну, вылезай, старуха, вылезай!» — понукал я ее про себя. Пустынность двора выманила крысу из убежища. Я сидел не шелохнувшись, затаив дыхание. И наконец увидел зверька целиком. Сжимая прутья перил, я нисколько не сомневался, что становлюсь свидетелем чуда, которого еще никому не удавалось видеть. Ничто из прежних моих впечатлений не могло сравниться с волнением, охватившим меня в этот миг.

Крыса ходила, осторожно обнюхивая край канавы. Я поражался ее размерам и длине голого хвоста, а когда она, стоя на одних задних лапках, повернулась в сторону контильни и стала нюхать, откуда несется запах копченого, я едва не вскрикнул от восторга. Приманка поработила ее чутье; запах, будто коварный зверолов, притягивал к своему источнику. И я уже был не я, а тот зверек, что сейчас подступал к пределу своих голодных вожделений, но, конечно, напрягался куда больше, чем он сам. Очевидно, его вылазка чем-то напоминала мне мои собственные похождения, на какие я пускался, чтоб исследовать тайны нашего склада. Меня тревожило — а вдруг пан Горда сейчас выйдет из дверей? Мне очень хотелось как-нибудь предупредить крысу, но больше всего мучило любопытство — а что она предпримет, достигнув дверей контильни? Я слал к ней своего ангела-хранителя. Я любил ее наперекор отвращению и страху, которые не мог в себе побороть.

Крыса была недалеко от намеченной цели, как вдруг где-то в первом этаже хлопнули двери. Сапожничиха, высокая костлявая баба в платке, показалась на дворе, быстро направляясь к сточной канаве с полным ведром грязной воды. В этот миг никакой силе не оторвать было моих рук от прутьев перил. Женщина и крыса заметили друг друга одновременно. Крыса ринулась обратно к канаве, однако сапожничиха действовала с непостижимой стремительностью. Она хоть и взвизгнула со страху, но в то же время сразу подняла ведро и выплеснула его содержимое под ноги бегущей крысе. Испуганный зверек повернул вспять и суматошно заметался по двору. Все дальнейшее распалось и расплылось в волнении последующих секунд, когда закончилось это злосчастное происшествие.

— Крыса! Крыса! — вопила сапожничиха, размахивая

своими длинными руками, словно ветряная мельница крыльями. — Метлу! Метлу!

Но я уже страхнул с себя оцепенение, вскочил на ноги и тоже завопил:

— Не троньте ее! Не троньте!

Крыса кинулась к внутреннему крылу дома, страх швырнул ее на его гладкую стену. Отброшенная ею, она помчалась вдоль стены и исчезла из моего поля зрения, скрывшись где-то под навесом. Но там ей, по-видимому, кто-то преградил дорогу, потому что вскоре она вынырнула снова и уже лавировала, петляя по двору, пытаясь прорваться к сточной канаве. Однако сапожничиха упорствовала и решительно преграждала ей доступы к канаве. Она скакала перед крысой, топала ногами, вопила «кш! кш! кш!», не забывая меж тем скликать на помощь весь дом.

Как я ненавидел ее в ту минуту, боже мой! Как малыш, против которого ополчился целый мир великанов, чтобы отобрать у него самую любимую игрушку. Потому что люди и впрямь сбегались отовсюду. Эта погоня сулила им приятное нарушение однообразного течения буден. Они вылезали из своих нор, вооружившись вениками, палками, метлами, кочергами; бабы визжали в истерике — то ли притворной, то ли всамделишной, мужики выкрикивали распоряжения, до которых никому не было дела и соответственно которым не действовали даже они сами; подмастерья пекаря, слесаря, сапожника и кто-то из нашей лавчонки усиливали всеобщую суматоху, насколько могли; они визжали от восторга, путались у всех под ногами, веселясь, что в рабочее время вырвались из-под надзора мастеров. Однако самым невообразимым образом, наверное, вел себя я сам. Охваченный страхом за судьбу зверька, я вопил и топал, колотил ногами и стучал кулаком в железные перила, не испытывая боли ударов, которые сам себе наносил. Никто не обращал на меня внимания.

Крыса металась и кружила в пространстве, которое все сужалось. Она еще раз бросилась к дверям коптильни, но тут они распахнулись. Сокрушая дверной проем своей огромностью, грозно вырисовываясь в черной раме коридора, словно картина, неожиданно обретшая третье измерение, появился пан Горда. Очевидно, он увидел крысу, промелькнувшую под его пузом, потому что со всего маху пхнул ногою. После столь неожиданного нападения крыса решила на последнюю отчаянную попытку. Она помчалась прямо вперед; удары веников, метелок, палок падали

на землю, не задевая ее, и крыса вырвалась-таки из круга осаждающих, не понеся урона.

Вопль гневного разочарования прозвучал в унисон. Все разом ринулись вслед за беглянкой, и двор опустел у меня на глазах. Только пан Горда замешкался — грузно покачиваясь на ходу и пыхтя, он медленно двинулся за остальными. Я перестал вопить и бросился к лестнице.

Подворотня в нашем доме была глубокой, темной, сводчатой, как туннель. От улицы ее ограждали тяжелые двустворчатые ворота, которые открывались только перед повозками, привозившими нам товар, а люди пользовались калиткой в одной из створ. Подворотня часто служила местом наших игр, когда дождь прогонял нас со двора либо с тротуара. Здесь застаивались запахи всего, что выдыхал дом. По запаху можно было определить мастерскую слесаря, клей и лохань сапожника, коптильню пана Горды, рыбный дух и горелое масло торговца рыбой, а в дни, когда воздух набухал предстоящей грозой или дождем, — гнилостный запах сточной канавы. Однако над всей этой смесью запашков и смрадов возносился и самовластно царил сложный запах нашего склада и лавки. Острый запах чистого спирта и денатурата, от которого разило пьянством, побоями и плохой едой бедняков, запах керосина, въедливый, прилипчивый и неистребимый, когда неизбежно вспоминается перелитая через край или догорающая лампа; возбуждающий аромат олифы, единственно чистой примеси в содержимом этого дьявольского котла.

Когда я сбежал вниз по лестнице, выводящей прямо в подворотню, то обнаружил там целый полк дворовых ратников, ведущих осаду крысы. Ее загнали в угол! Здесь я впервые осознал, что означает сие образное выражение, а позже неоднократно испытывал на себе. Крыса металась в углу меж стеной и воротами, которые, на ее беду, были заперты. Ощущение было такое, будто нападающие хотя и подбадривают друг друга, но не пылают отвагой. Во всяком случае, никто из них не рискнул подойти к зверьку ближе, чем на длину своего оружия. Снова метлы хлестали вокруг крысы, а она увертывалась от них и убегала с писком, если какой-нибудь из ударов все-таки настигал ее, впрочем, не слишком сильно, чтобы действительно повредить.

Я напрягаю память, чтоб она выдала мне ясную картину, и яростно счищаю свежий налет, который могло нанести на нее мое недавнее сновиденье. Но, сколько я ни силюсь, все представляется мне таким темным и нереаль-

ным, что никакому сну не сравниться с явью в своей беспощадности, даже когда он создает самые чудовищные из своих кошмаров. Люди, беснующиеся и что-то выкрикивающие в полумраке туннелевидной подворотни, гулкие стуки ударов, усиленные и повторяемые эхом, писк измученной крысы, шарахающейся из стороны в сторону. Это было чересчур и для крысы, и для меня. Я боялся кричать и вообще что-либо делать, я стоял позади всех, беспомощный малыш, доведенный до отчаяния своим бессилием.

Одышливый от полноты пан Горда ворвался в подворотню, пыхтя пренебрежением и сипя, как паровик.

— Неужто вы так ее и не изловили, портачи, а ну-ка пустите!

Он раздвинул людей руками, которые четверть туши поднимали так же легко, как гусиную лапку. И я увидел гору, готовую обрушиться на крысу. Я не мог эту гору удержать. Я боялся за крысу и обожал пана Горду. До этой самой минуты я боготворил его силу с пламенным фанатизмом малолетнего язычника, чье понимание могущества небес и милосердия было слишком расплывчато. Я не мог защитить крысу и не в силах был остановить пана Горду.

Пан Горда сделал еще один шаг вперед и, пристально глядя себе под ноги, измерял расстояние, чтобы одним ударом башмака пришибить крысу. Зверек почувствовал неотвратимость конца. Все вокруг затихли и застыли — как куклы, механизм которых только что прекратил свое действие. И в этой тишине, чреватой угрозой, слышны были лишь сиплое дыхание пана Горды, порсканье крысы, стоящей на задних лапках в углу подворотни, да протяжное пенье нашей служанки, которая отличалась несокрушимым равнодушием ко всему, что творилось вокруг. Пан Горда примерился и занес ногу, но в ту минуту, когда ножища мясника поднялась для удара, крыса упала на все четыре лапы и тут же, подброшенная отчаяньем, изогнувшись, взвилась в воздух, целясь в мясниково горло, но допрыгнула только до его брюха. Подобно гигантскому комку репьев, которыми дети бросаются друг в друга на прогулках, крыса повисла, вонзившись зубами в крахмальный мясников фартук.

Общий вскрик ужаса и изумления высек многоголосое эхо под сводами подворотни. Я тоже кричал, но по другой причине. Я чуть не сходил с ума от радости, видя беспримерную отвагу животного. И только пан Горда не потерял головы. Могучие пальцы вырвали крысу прямо с куском белого крахмального фартука, в который она вцепилась,

и сжали смертельной хваткой. Я видел, как что-то алое и круглое, будто мячики, выступает и отовсюду катится из животного. И тут я, как недавно крыса, повис на штанах мясника и, вцепившись в них изо всех сил, лягаясь, кричал:

— Отпустите! Отпустите ее!

Пан Горда пошатнулся от изумления и боли.

— Ах ты, паршивец! — заворчал он, отстраняя меня свободной рукой. — Да отстанешь ли ты наконец?

Но я держался цепко и, не переставая его колотить, вопил:

— Отпусти ее!

Боль, которую я причинил ему своими ударами, обернулась в нем яростью, с которой он уже не мог совладать. Схватив меня за шиворот, он поднял меня и, держа на весу, размахивал крысой перед моим носом.

— На, на, вот тебе твоя мышка!

Я видел внутренности, вылезавшие из зверька, вдыхал отвратительный запах, который шел от него. Предательство моего единственного приятеля из мира взрослых, доброго великана, героя моей повседневной жизни и моих мечтаний, устрашающее превосходство его силы, что некогда качала, балуя меня, а нынче потрясала мною и угрожала мне, ужас, как бы то мерзкое, во что превратился зверек, которого я полюбил и за которого хотел сражаться, не коснулось и меня тоже, — чему еще нужно было обрушиться на мою любовь и на мое донельзя обостренное восприятие?

Я потерял сознание.

2

Прошло довольно много времени, прежде чем я выбрался из беспамятства, сразившего меня в руках пана Горды. Два часа хлопотали вокруг мать, отец, а позже и приглашенный доктор, пока ко мне вернулось сознание. Они обрекли меня лежать в постели, пока я не оправлюсь от пережитого испуга. Поднялся я лишь три недели спустя.

Страх, который, очевидно, уже бродил в моей крови, использовал эту возможность и тут же накинудся на меня. Открылась корь; эта болезнь, которую почти каждый ребенок должен перенести в детстве, проходила в такой тяжелой форме, что родители несколько дней опасались за мою

жизнь. Вероятно, именно в эти дни некто взвешивал на весах судьбы — исполнить ему свое намерение или отказаться с пренебрежением, позволив мне умереть. На огненном языке болезни я таял, будто леденец, и сны, словно чудовищные хищники, беспощадно гнали меня сквозь тропики высоких температур. Пан Горда, крыса, сонмище возбужденных рож, принадлежащих обитателям нашего дома. Охота продолжалась, и добычей ее был я сам. Мое сердце мчалось наперегонки со своими преследователями, и в этом состязании можно было либо выиграть, либо пасть. Сны сидели у колышков моих нервов, напрягая их и отлаживая на всю жизнь. Я выиграл это состязание, и только теперь спрашиваю себя — зачем? Когда я наконец оправился от болезни настолько, чтоб различать лица окружающих, меня изумило выражение тревоги и любви, которое я прочитал на них. Я понял, сколь серьезна была моя болезнь, и это исполнило меня гордости, которая еще более возросла, когда служанка проболталась, будто я чуть не отдал богу душу.

Страх за мою жизнь превозмог даже извечную мигрень моей матери. Она покинула полумрак своей комнаты и села у моей постели днем и ночью, пока не спала температура. В воспоминаниях моих время выздоровления представляется воплощенным раем детства. Благоухает оно сладостным присутствием матери. Над ним сияет ее бледное лицо, обрамленное черными волосами, уложенными вокруг головы в виде короны. По-моему, маменька обожала свою бледность, удивлялась ей и лелеяла ее, что не составляло труда, поскольку мать редко выходила на улицу. Домашние платья ей шили обычно из материи двух цветов: или светло-желтого, или темно-лилового. На самом ли деле они были ей к лицу — не знаю, но мне она рисовалась в них то прекрасной и таинственной, как княжна, то хрупкой и воздушной, словно фея. И когда она обнимала меня, прижимая голову к своей груди, я боялся даже вздохнуть; от нее пахло вербеной и освежающими солями — она хранила ароматный флакончик в серебристом футляре и поминутно нюхала его. На мои нервы, подорванные страшным потрясением и измученные жаром и сновидениями, ее прикосновения и благоухания оказывали действие благотворное, но чересчур сильное. Я дрожал всем телом. Тогда, прижав меня к себе еще крепче, она шептала мне в волосы:

— Ну что, мой малыш, что с нами? Отчего мы дрожим, будто песик? Ведь маменька никому нас не отдаст!

Я любил ее, как никогда потом не любил ни одну

женщину. Дева Мария детских молитв и матушка сливались у меня в единый образ.

На грифельной доске, где я иногда рисовал пузатых человечков с паучьими ручками и ножками, поросят с треугольными головами и жалостно накренившиеся домики, напоминающие испуганные лица с пером печной трубы и дыма на шляпе, либо, прикусив язык, с напряжением выписывал первые буквы, она помогала мне складывать фигурки из цветных кубиков и возводить высокие-превысокие башни. Она утешала меня, когда наше гордое строение, воздвигнутое на непрочном фундаменте, разрушалось, еще не будучи завершено, и смеялась вместе со мной, когда я крушил ладонями уже законченную постройку. Заметив, что игра утомила меня, она тихо начинала рассказывать сказки о месяце и звездах, об овцах и пастухе, о деревьях, облаках и ветре, сказки без сражений и чудищ, где не было ничего, что могло разбередить мою душу. Я засыпал, убаюканный ее голосом.

Отец тоже приходил посидеть со мной в перерыве между обедом и возвращением в контору. Он приносил с собой запах спирта и олифы, будто подвыпивший лесничий, обдавал алкоголем и древесной смолой, хотя большего трезвенника не было под солнцем, а единственные леса, по которым он когда-либо бродил, были ржевницкие. Убедившись, что опасность миновала, он успокоился и начал вести себя по-прежнему. Выкроив из своего короткого обеденного отдыха четверть часа, он хотел проявить всю любовь, которую питал ко мне.

Небольшого роста, моложавый и подвижный, он входил в комнату, изображая этакую молодеческую веселость и живость, которых я в нем прежде не замечал. Он наверняка был убежден, что, представляясь таким молодцом, вселяет в меня уверенность в силе, дает мне понять, что со мною все в наилучшем порядке. Всякий раз он приносил какую-нибудь маленькую игрушку, чтоб я мог забавляться ею, сидя в постели. Тряпичного паяца в колпачке с бубенцом и тарелками, медведя, который умел ворчать, бог знает уж какого по счету, неваляшку и еще гимнаста, кувыркавшегося на наклонной доске, поющую юлу, которую всегда должна была запускать маменька, деревянный пистолет с пробкой на веревочке или лохматую обезьянку на резинке. Я не думаю, чтобы все это он покупал сам: свою контору, склад или лавчонку он покидал, только когда этого действительно требовали торговые дела. Помоему он призывал к себе кого-нибудь из подручных либо

складских служащих и говорил: «Фердинанд или там Матес, ступайте к «Королю игрушек» и найдите что-нибудь для нашего Карличка». Этими подарками он что-то хотел искупить — я хорошо это понял только сейчас. Ими, словно кресалом, он высекал из меня радость, чтоб утешиться в ее свете и убедить себя, что он такой же примерный отец, как и все другие. Однако я так мало доставлял ему этой радости! Я любовался игрушкой, совсем не думая про него, а со своими восторгами обращался к матери, которая вынуждена была напоминать мне:

— Поблагодари папеньку, дружок.

— Благодарю, — произносил я нараспев и протягивал руки, чтоб обнять и поцеловать отца, но, не успев это сделать, тут же забывал о нем.

Отец некоторое время еще сидел подле кровати, с улыбкой наблюдая за мною и маменькой, но улыбка вскоре гасла. Теперь мне трудно определить, любил я его или нет, но тогда я вступал в тот возраст, когда ребенок словно рождается заново, уже со своими чувствами, берущими исток в чувствах матери. Отец был некто, о ком маменька говорила: «Ты должен любить папеньку, голубчик, он заботится о тебе, кормит и поит». Ну что же, я, конечно, старался его любить, но маменьку я любил просто так, без всяких напоминаний. Эти наставления о необходимости любить отца в общем не отличались от наставлений относительно господ бога. Его я тоже обязан был любить, исходя из соображений, которые так мало значили для ума и сердца мальчика моего возраста и которых я в полной мере даже не понимал. Именем папаши, так же как и господом богом, мне угрожали, если я был недостаточно послушен; отец, равно как и господь бог, был существом, карающим в последней инстанции. В моем представлении господь бог был старик высокого роста, с длинной бородой, напоминающей Краконоша, он являлся принадлежностью праздника, которое никак не наступало, и царил где-то на небесах, похожих, наверное, на просторные широкие луга, над которыми вьются ангелы, перелетая, словно бабочки, с цветка на цветок. Откуда-то непрерывно звучит невидимый орган, и ангелы поют, как старушки и дети в костеле. Папаша, напротив, был богом будней, его лицо было мне знакомо, но выражение его я, к счастью, мог прочесть, только когда оно хмурилось в гневе; и царил отец в конторе, с трех сторон ограниченной стеклянными стенами.

Иногда я пробовал проникнуть к нему, сесть на колени или устроиться на его столе, где было столько бумаг и ка-

рандашей, выстроенных по ранжиру, как трубки органа либо как солдаты, где на полочке размещались пузырьки и флакончики с разнообразно окрашенными жидкостями. Мне никогда не позволяли задерживаться здесь. Отец оберегал свой стол от моих вездесущих рук; немножко покачав меня на коленях, он вкладывал в мою ладонь монету в двадцать геллеров и, погладив по голове, легонько выталкивал за дверь.

— Иди поиграй, голубчик, и купи себе чего-нибудь, — добавлял он на прощанье. — У меня много работы.

У папаши всегда было много работы. Она заполняла его жизнь так плотно, что у него ни на что другое не оставалось времени. Нанос я визит мне, лежащему в постельке, и наблюдая, с каким увлечением и пониманием мы с маменькой играем, он наверняка чувствовал себя незванным втирушей. Когда он изъявлял желание поиграть с нами, мы, переглянувшись, стихали, так что он играл один. Маменька отваживалась только заметить:

— Не так резко, Ото. Карличек еще очень слаб.

Вот и сидел он — будто гость, который ждет не дождется, когда истечет время, определенное приличием. Он хранил на лице улыбку, пока не забывал о ней. Тогда улыбка сползала и куда-то пряталась. В глаза папаши прокрадывалось выражение, с которым он сидел у себя в конторе. Нас он уже не замечал. Обычно какой-нибудь из более громких моих вскриков заставлял его вздрагивать. Тут он вынимал из кармана жилета большие и толстые золотые часы, смотрел с изумлением на циферблат и объявлял — ну точно как визитер, которому известно, что такое приличия:

— Подумать только, как быстро бежит время!

Он гладил меня по волосам, произносил что-нибудь ободряющее, подымал маму за подбородок и целовал ее, потому что он ее любил. Позже мне приходило в голову, что жизнь была не слишком щедра к нему. Но, возможно, я ошибаюсь. Это был цельный человек, и, конечно, в своей добросовестной купеческой голове он тщательно разработал определенную шкалу ценностей, с помощью которой оценивал то, чего ему недоставало. Довольство или неудовлетворение зависят от силы желания и жажды его осуществления. Возможно, мой отец никогда и не желал ничего сверх того, на что твердо рассчитывал.

Разумеется, я не могечно нежиться в объятиях матери, что укрывали меня во время болезни. Я поправлялся, набирался сил, носился по дому и не мог дождаться, когда мне позволят выйти на воздух. Я стремился вырвать-

ся из-под материнской опеки точно так же, как некогда — из ее лона. Только бы на свет, который манил меня, звал под окнами голосами, воплями и посвистом моих товарищей. История с крысой, казалось, была забыта. Она словно сгорела в полыхании моих лихорадок, словно ее до смерти затравили страшные сновидения. В течение трех недель болезни и выздоровления ничто не напоминало мне о ней. Если она и провела свои борозды где-то в моем сознании, матушка выровняла их, мягко умастив своей нежной заботой. Она ни на секунду не позволяла мне задуматься или что-то припомнить; она играла со мной, рассказывала и читала, не зная устали. Она выткала вокруг меня защитные покровы, которым суждено было прорваться в тот же день, когда я впервые вышел на улицу, этот миг она сознательно отдаляла наперекор отцу и доктору.

Разумеется, сразу к детям меня не пустили. Продолжительность прогулок была отмерена мне как лекарство, которое я должен был принимать, постепенно увеличивая дозы, и матушка всякий раз сопровождала меня при этом. Могу себе представить, как она вырядила меня, собираясь впервые выйти на улицу. Я знаю себя по фотографии. Бархатная матроска с белым воротником, широкополая соломенная шляпа стянута под подбородком узкой белой резинкой. Неудобная, удручающе стеснительная одежда, она возбудила бы ужас в любом современном ребенке. Но я, увидев себя в зеркале, конечно, остался доволен своим величественным, достойным принца, облачением.

Когда мы спускались по лестнице, матушка велела мне прочесть «Ангела-хранителя» перед распятием, помещенным в нише и слабо освещенным лампадкой. По-моему, именно вид желтого, измученного, покрытого пылью тела распятого, озаренного бледно-розовым сиянием, разбудил мое воображение и подстрекнул к тому, что оно и выкинуло немного погода.

Мы спустились в подворотню. Стоило мне взглянуть на этот темный длинный туннель, на другом конце которого свет лишь пунктиром очертил контур дверей там, где они неплотно прилегли к стене, образуя щели, я задрожал всем телом и остановился.

— Что с тобой, голубчик? — встрепенулась матушка.

Нынче я не могу по чести-совести и с полной ответственностью сказать, в самом ли деле я что-то увидел, или то был лишь проблеск внезапно нахлынувших воспоминаний вкупе со страхом, с которым я не смог справиться.

— Там! Там! — вскрикнул я, тыча пальцем в угол, куда

три недели назад загнали крысу. Отвернувшись, я зарылся лицом в шелк матушкиной юбки.

— Ничего там нет, голубчик, — успокаивала она меня.

Но в крошечной тьме материи и плотно зажмуренных глаз я теперь и впрямь увидел недавнее происшествие с начала до конца. Меня обуял ужас.

— Крыса! Крыса! Пан Горда!

Матушка стояла будто сама не своя, не умея что-либо предпринять. Мне кажется, напуганная моим все усиливающимся криком, она совсем потеряла голову. Весь дом был поднят на ноги, люди стекались со всех сторон. К счастью, отец мой подросел в числе первых.

— Ему чудится крыса, — бросила отцу матушка. — Я знала, что мальчику рано еще выходить. Я отведу его домой.

Отец придерживался иного мнения, ему не доставало воображения. А может, еще более того ему претило, что его сын, хотя и маленький, но обнаруживает страх перед столь многочисленным собранием.

— Просто на мальчика так повлияла темнота, — заявил он. — Однако он не может вечно сидеть дома. Он должен выходить на улицу. Матес, — позвал отец привратника, — идите и откройте ворота!

Все еще уткнувшись головой в матушкину юбку, я перестал орать. Я стыдился чужих людей, собравшихся вокруг, но любопытство превозмогло. Мне хотелось услышать знакомый скрип ворот, который нас, детей, всегда приводил в восторг. Отец схватил меня за плечо и мягко, но настойчиво повернул лицом к себе. Однако век я не разомкнул.

— Ну-ну, будь мужчиной! — подбодрил он. — Открой глаза, и пошли. С папой ведь ничего не страшно.

Если мать — сама нежность и забота, то отец — надежная опора и сила. В ту минуту я ощутил, что с отцом мне на самом деле нечего бояться. И открыл глаза. Ворота были распахнуты настежь, через них потоком струился свет. За ними сияла залитая солнцем улица. Призраки исчезли. Я шагнул за папенькой следом.

Хоть и не поддаваясь больше такому ужасу, как в первый день после болезни, я все-таки никогда уже не смог избавиться от страха и тоски, охватывавших меня всякий раз, когда я вступал в подворотню нашего дома. Всю жизнь — по сей день — меня одолевает боязнь, если мне предстоит пройти по длинному темному коридору, в конце которого струится слабый неясный свет. Поразительное чувство: идти длинным темным коридором, в конце которого что-то неотчетливо брезжит.

Мясник Горда повлиял на мою жизнь, как никто другой, а потом вдруг исчез, будто привидевшийся во сне призрак, что расплывается, не успев обрести четкой формы, оставляя свои следы только в приступах ужаса, которые мы ощущаем лишь позднее. Мне кажется, я немного присочинил — и не столько в том, что поведал о происшествии с крысой, сколько в рассказе о своем выздоровлении. Так ли все происходило, как я описал? Я хотел бы поклясться, что так, однако убеждение мое основано скорее на вере, чем на достоверности.

Я знаю, сколь ненадежно воспоминание. Оно выдает мне то, о чем я его никогда не спрашиваю, за многое же мне приходится с ним тщетно воевать. В этом смысле человеческая душа схожа с земной поверхностью. У ее эволюции тоже есть свои этапы, и в ней совершаются свои, предаваемые забвению, перевороты, а при незафиксированных катаклизмах исчезают целые временные пласты, погребая и оставляя в неизвестности то, что происходило когда-то. Именно это и постигло меня, начиная с момента известного вам происшествия и моей болезни и до тех пор, когда я поступил в школу. Где-то в первом классе я обнаруживаю себя уже в новом, ином обличье. Однако как я этого достиг? Перемена — налицо, но течение, ход ее ускользает от меня.

Помнится, когда я поправился, матушка поехала со мной в Ржевнице, где у нас была загородная вилла. Наша семья — в свое время и в своем кругу — оказалась среди тех зачинателей, кто брался строить дачи в деревнях неподалеку от Праги. Наш дом принадлежал к числу старейших в Ржевницах. Выстроил его мой дедушка, он тогда был в самом расцвете сил и достиг вершин торгового успеха. Дом был огромный, в двенадцать комнат, явно рассчитан на многочисленных гостей, которые и на самом деле съезжались сюда во множестве, ибо бабушка обожала общество. Если судить по тому образу жизни, который вели мои родители, наша семья переживала состояние упадка. Наш пражский дом, так же как и летнюю резиденцию, никогда не посещали никакие гости. В этой просторной усадьбе мы с маменькой жили одни, если не считать двух служанок да семьи дворника; квартира его помещалась в подвале, а сам он круглый год занимался садом и тем, что проветривал дом. Большинство комнат было закрыто; отец навещал нас лишь по воскресеньям и привозил с собой дядю Рудольфа, кузена матушки, который помогал ему в торговых делах.

Эти наши летние выезды были настолько однообразны, что я не могу отличить один от другого. Что-то вроде зеленеет вокруг, и цветет, и сияет солнцем, и шумит, и благоухает лесом (без примеси запаха денатурата и керосина), и все это затянуто дымкой непонятно праздничного церемонного покоя. Маменьку здесь меньше мучат мигрени, полумраку гостиной она предпочитает летнюю беседку, а я между тем исследую обширный сад, где лесные деревья перемешаны с плодовыми, заросли декоративных кустов — со смородиной, крыжовником и малиной. Я играю с дворниковой дочкой, поколачиваю ее изредка за то, что она не вытирает нос, то и дело пытаюсь слизнуть языком соплушку, а это мне противно до ужаса. После полдника мы с маменькой отправляемся гулять вдоль реки, на берегу которой стоит наш дом, а иногда пересекаем площадь и выбираемся в лес, откуда дорога ведет к монастырю на Скалке. Маменька — в черной юбке с широким поясом и в белой шелковой кофте, она идет с непокрытой головой, волосы у нее уложены высокой короной, а в руках — белый кружевной зонтик.

По воскресеньям мы с отцом ходим на реку бросать камешки, «печь блинчики», меж тем как дядюшка Рудольф, облачившись в странный клетчатый костюм, сидит где-нибудь с удочкой в руках и читает тонкую, в черном переплете, книжечку стихов. Папаша в светло-сером люстриновом сюртуке и жилете из той же материи и в белых брюках еще более далек мне и более таинствен, чем в городе. На голове у него — белая фуражка с козырьком. И выглядит он этаким авантюристом, ищущим приключений, или капитаном. Но иногда на нас нападает буйное веселье, и мы радуемся друг дружке и на самом деле очень близки. Когда мы возвращаемся домой обедать, отец еще долго бывает в ажитации; мы маршируем и — пока не попадется кто-нибудь навстречу — поем, чтоб не сбиться с походного ритма.

— Из тебя выйдет заправский «сокол», каким и я был когда-то, — убеждает меня отец. Он давно уже не занимается гимнастикой, хотя все еще гибок и мускулист, его шаг и манера держаться выдают в нем скорее солдата, чем торговца, который целыми днями сидит за столом, а выходит на прогулку лишь раза два в неделю — на биржу и обратно.

Иногда наше сближение заходит так далеко, что он принимается откровенничать и рассказывает мне о своих мальчишеских проделках. Родился он на Жижкове, в семье

мелкого лавочника, но рос больше на улице среди приятелей, чем дома, не держался за мамину юбку. Я не в силах представить себе, что папаша тоже когда-то был маленьким — вроде меня, — и это делает его в моих глазах еще более непостижимым. Однако в течение недели я все-таки пробую совершить кое-что из того, о чем он рассказывал, но тут мне недостает, собственно, всего: улицы, приятелей и изобретательности, которой он наверняка отличался.

Папаша насвистывает, даже вступая на порог дома, и радостное возбуждение гонит его прямо к маменьке. Он обнимает ее, прижимает к груди и целует, но не в лоб, как в городе, а прямо в уста. Маменька высвобождается из его объятий, указывая на меня взглядом.

Во время обеда я невыносим: веселый полдень, проведенный с папенькой, еще играет в моих жилах; я то и знай выкидываю всякие шалости, что запрещено.

— Не надо бы так возбуждать его, Ото, — произносит маменька. — Потом я дня три не могу с ним совладать.

Папенька смеется, как от удачной шутки.

— Какой же это мальчик, если он совсем не шалит?

Однако маменькин взгляд строг и непреклонен.

— Куда же годится такое воспитание, Ото?

Лишь много позже я сообразил, что родители тихо, но неустанно воевали за меня. Инстинктивно, по-моему, я уже давно научился извлекать из этого пользу. К несчастью, ни у того, ни у другого не находилось для меня достаточно времени. Маменька радела обо мне только на каникулах, одновременно балуя на свой удивительный — полубезвольный, полуволевой — манер. Она неумолимо настаивала на мелочах, из чего, по мнению взрослых, складывается поведение светского, делового человека. Вероятно, она была убеждена, что мужчина, в совершенстве усвоивший светские манеры, благороден уже вследствие одного этого. Но за серьезные детские проказы, пренебрежение которыми таит угрозу будущему характеру, матушка — сама ли оказавшись их свидетелем или слыша нареkania других — карала меня весьма снисходительно. Жалобы она выслушивала учтиво, но и рассеянно, так что всякий жалобщик сразу чувствовал, насколько ей это неприятно. Самое внушительное назидание, какое я в таких случаях должен был от нее принять, она неизменно облекала в такую форму:

— Ну, голубчик, что же это вы там снова натворили? Негоже, негоже. Вы всегда должны помнить о том, что подумают о вас люди.

Выговаривая мне, она обычно переходила на «вы»,

полагая, очевидно, что именно этой формой обращения, непривычной для ребенка, она придает словам особое значение.

Папаша мой, конечно, имел свой кодекс чести и четкие представления о том, каким должен быть порядочный человек. Торговля являлась для него не средством обогащения, но такой же работой, как и всякая иная. Ему ничего в жизни не доставалось даром; всего, вплоть до своей жены, он добился только тем, что всю жизнь оставался таким, каким был на самом деле, — толковым, способным быстро принимать решения, честным, прямым и донельзя трудолюбивым. Мальчик, родившийся в рубашке. Он прилагал усилия, и бог его благословил. Он был ничем, а стал большим барином. Естественно, он гордился этим, в глубине души безмерно радовался, ибо не в его характере было заноситься перед кем-либо, и как раз отсюда проистекала его слабость по отношению к маменьке. С ней он не переставал чувствовать себя прежним бедным парнишкой, который женился на принцессе из замка. Он обожал ее, но еще более почитал и не переставал трепетать, боясь показать себя грубияном, недостойным ее руки.

Поэтому во всем, что не касалось торговли, он подчинялся матушкиной воле. Он ни разу не отважился отшлепать меня, как я — с точки зрения его здравого разума — того заслуживал, единственно потому только, что маменька держала надо мной свою охранительную руку и по слабости нервной системы, измученной вечными мигренями, содрогалась при мысли о телесных наказаниях.

Итак, — покуда хватает памяти, — наши летние пребывания подобны одно другому. Пан Горда скончался прежде, чем мы вернулись из Ржевниц, куда уехали после моей болезни. Отчего и как это произошло, я узнал позже. А тогда все опасались напоминать мне как о нем, так и о происшествии с крысой, которое для нас обоих обернулось столь роковым образом. Ибо пан Горда, напуганный моим обмороком и обозленный упреками женщин, которые тут же обрушились на него, объявляя чуть ли не убийцей, едва доплелся до своей квартиры в первом этаже, и там с ним случился первый сердечный удар. Он так и не оправился от его последствий. Разумеется, болезнь моя еще усилила его переживания. Ее не скрыли от него, напротив, когда болезнь моя обострилась, народный суд кумушек и сплетниц с половины Гаштальской улицы, собравшись у колонки под окнами его квартиры, которые пан Горда должен был дер-

жать открытыми, поскольку жадно ловил каждый глоток свежего воздуха, — этот суд осудил его беспощадно.

Их сварливая брань, облаченная в тогу праведного гнева, пригвоздила пана Горду к позорному столбу, а он, разумеется, никогда и не предполагал, что может возбудить столько ненависти. Они поносили его, попрекая полнотой, будто состоянием, нажитым бесчестным путем, а его болезнь считали обманом, которым он, дескать, прикрывается, стыдясь показаться на люди.

Как бы подтверждая серьезность своего заболевания, пан Горда умер спустя шесть недель, в течение которых приступы, повторявшиеся все чаще и чаще, сломили его оплывшее жиром сердце.

Хотя в его кулаке родилась та часть моего характера, которой суждено было определить всю мою жизнь, я не держу на него зла. Я думаю только о сардонических пристрастиях той неопределимой силы, которую мы иногда называем судьбою. Зло — а это было именно зло, и не надо подыскивать для него какое-либо другое название — родилось в кулаке добряка. Я убежден, что пан Горда был добрым человеком; все известное мне о нем свидетельствует об этом. По-моему, он просто лучился добротой, так же как задыхался от полноты. Он возил меня на закорках, потому что его гигантскую силу влекло ко мне, слабой пигалице. Он любил меня, а я — его. Он пошел убивать крысу потому, что был мясник, мужик среди баб, и потому еще, что это животное претило его любви к порядку и чистоте, необходимым для его ремесла. А я вступился за нее, потому что меня восхищала ее стойкость. Вот так все и вышло.

Но с тех пор, однако, сила стала для меня пугалом, я научился ее ненавидеть. Где бы я ни повстречался с нею, в каком бы виде она ни явилась предо мною, меня так и подмывало ополчиться против нее.

Отчего?

Ищу ответа.

Самое трудное для меня — это удержать мои воспоминания в узде. Я разворошил их муравьиную кучу, и теперь она в тревоге. Воспоминания обступают меня со всех сторон и наперебой домогаются быть услышанными: одни нежно ластятся, другие нагло лезут, прогоняя прочих со своего пути, однако самыми настойчивыми оказываются

как раз те, что собрались в сторонке и лишь наблюдают — напряженно, молча и пристально. Кыш, голубчики. До каждого дойдет черед. Коли я уж решился быть самому себе судьей, то обязан взвесить вашу значимость. Я не позволю себя отвлечь ни вашим крикам, ни брошенным взглядам. Всех расположу по старшинству и важности. При тщательном подведении баланса даже последовательность статей прихода и расхода играет определенную роль. Поэтому всем вам будет отведено свое место, своя музыкальная партия и время выступления, а некоторые из вас составят хор, поющий за сценой.

О поре, предшествующей поступлению в школу, мне остается добавить совсем немного. Я кружу вокруг нее, исследуя снова и снова, но ничего интересного, достойного внимания, мне уловить не удастся.

Очевидно, тогда меня не подпускали даже к детям, и матушка самолично водила меня гулять. Ах да, где-то там проглядывает желтый свет песчаных троп, на которых я леплю из песка куличи. Ни единого лица не объявляется больше в рамке этой самой тусклой из картин, сохранившихся в моей памяти. Наверняка мы отыскивали наиболее укромные уголки и лавочки, где не было детей и где никто не мог обеспокоить мою матушку, обожавшую уединение.

Из этого-то затишья, которое призвано было изгладить всяческие воспоминания о происшествии с крысой, я и попал в школу.

Мне пришлось там не лучше, чем христианину, выброшенному на арену, где рев хищников и людей сливался воедино. Нарядный карапуз, которого все пугало и который из-за малейшего пустяка распускал нюни, я, разумеется, тут же, с первых же дней, сделался мишенью злонамеренных проделок моих однокашников. По-моему, не проходило дня, чтоб я вернулся из школы без слез и не просил маменьку, чтоб она меня туда никогда больше не посылала. Маменька, напуганная ужасом, который рождала во мне школа, обратилась к отцу, умоляя хотя бы на первые два года нанять для меня домашнего учителя. Но в этом вопросе отец впервые оказался совершенно непреклонен.

Бывший жижковский подросток не в состоянии был признать, что он породил такого недотрогу. Я думаю, в душе он винил мать за слишком нежное воспитание, которое она мне давала, но не отваживался ей об этом сказать. Руководствуясь немудреным своим чувством и своей примитивной, но твердой моралью, он вполне справедливо полагал, что, ежели человек намерен успешно противосто-

ять жизни, он сразу должен знакомиться с нею — так же и теми способами, что и все остальные. Но даже в этом случае опасаясь дать маменьке решительный отпор и поставить под угрозу свои тонкие, как паутина, и сложные отношения с ней, вызвав разлад и разрыв, он взял меня с собой в канцелярию и принялся уговаривать.

Я помню это, как сейчас. В тот день я снова вернулся домой без шапки, которую по дороге из школы мальчишки швырнули через дощатый забор, облепленный разными дорожными знаками и предупреждениями, а за ним хрипло лаял и рвался с цепи пес чудовищной величины, — так, по крайней мере, я себе его представлял. Мой слишком уж опрятный матросский костюмчик и, главное, бескозырка с двумя ленточками раздражали и выводили их из себя. О, если бы я хоть подрался за свое добро! Но вместо этого я с ревом бросился наутек. Мальчишки швыряли мне веледкомья грязи, набирая их из лужи с краю мостовой.

Весь обед маменька проговорила об этом происшествии, настаивая, чтобы меня немедленно забрали из этой школы. Отец не возражал, сопротивляясь в столь затруднительной для него ситуации теми средствами, которым обучили его нелегкие торговые переговоры. Он кивал головой, как бы во всем соглашаясь с матушкой, но обтекаемые слова, выбираемые им, будто усохли от частого употребления и уподобились пустым орехам. К счастью, матушка, успокоенная их звуком, не рискнула разгадать их смысл.

— Ну разумеется, ну конечно. Ты права. В самом деле, тут необходимо что-то предпринять.

Отобедав, маменька затворилась у себя — пошла отдохнуть. Едва за ней захлопнулись двери, отец обернулся ко мне, погладил по головке и неожиданно ласково произнес:

— А что, не поговорить ли нам одним, как мужчина с женщиной?

Взяв за руку, он довел меня до застекленной клетушки, которая служила ему кабинетом. Там он посадил меня к себе на колени и из какого-то ящика извлек большую коробку конфет — наверное, подарок мне ко дню рождения. Я убежден, что отец хоть и мало занимался мною, но понимал лучше, чем моя утонченная и впечатлительная маменька. Он руководствовался естественным здоровым чувством простого человека. Он правильно рассудил, что в кабинете, который я почитал святыней и куда мне так редко разрешалось заходить, я буду наиболее податлив. По его мнению, мнению человека, привыкшего совершать сделки, все на свете более или менее уподобляется торго-

вым отношениям, которые можно довести до успешного конца, если хотя бы одна из сторон правильно понимает противную и в состоянии заставить ее согласиться принять предложенную цену. Он покупал меня за ту цену, какую можно дать за изнеженного, трусливого, избалованного ребенка.

По сей день я не вижу в том ничего дурного и убежден, что во время этих переговоров отец был сама добропорядочность. Но я обостренным чутьем пигмея, самозащита которого всегда зависит от изворотливости ума, отметил уязвимость позиции отца. Он, безусловно, был способен внушить мне свою волю и заставить быть сговорчивым иным способом — путем убеждения, не прибегая к подкупу. Действия его были продиктованы столько же заботой обо мне, сколько страхом перед тем, как воспримет мать его прямое вмешательство.

Я же преследовал только свою выгоду. Я жадно поедал конфеты, а отец, раскачивая меня на ноге, рассказывал — дабы наставить на путь истинный и придать отваги, — как он вел себя в школьные годы, как колотил ребят и как поступал, если не хватало сил справиться с ними. Он увлек меня настолько, что я позабыл о сладостях и весь обратился в слух. Вживаясь в его рассказ, я измышлял месть своим обидчикам и притом совершенно отчетливо сознавал, что ничего подобного осуществить не смогу. И тут меня осенило. Да-да, это пройдет, говорил я сам себе, но, предчувствуя, что еще последуют обещания и посулы, решил не продаваться задешево.

Отец превзошел все мои ожидания: по его словам выходило, что на рождество мне подарят решительно все, чего только я ни пожелаю.

— Я знал, что ты разумный мальчик, — с облегчением вздохнул довольный отец. — А теперь ступай и сам скажи маменьке о своем решении.

Мамаша отдыхала у себя в полутемной комнате, лежа на софе, обвязав, по обыкновению, шею воздушным кисейным шарфом, и читала, держа книгу в одной, а пузырек с солями — в другой руке. Встав перед нею в позу героя, я объявил, что не желаю никаких домашних учителей, а хочу по-прежнему посещать школу. Некоторое время она, изумленная, смотрела на меня испытующим и непривычно строгим взглядом, а потом спросила:

— Что же папенька посулил тебе за это?

Я понимал, что, признавшись, предам наш уговор и рискую не получить подарки. Мне казалось, будто ма-

менька задалась целью лишить меня их. И я разъярился. Я топал ногами и кричал:

— Неправда, ничего он мне не сулил. Только я сам хочу по-прежнему ходить в классы, хочу быть как все.

Какую же истину я высказал тогда! С самого раннего детства я не желал ничего больше, только быть как все. Быть храбрым, общительным, верным, иметь товарищей, которые преданно любили бы меня, и платить им такой же преданностью. А кроме того, как уже повелось в ребяческих мечтах, которые так и не сбылись, стоять всегда впереди и принимать дань восхищения.

Я говорил правду, но выпад мой не был вполне искренен. Я знал свою маменьку и неоднократно испытывал, что если вести себя подобным образом, то можно преодолеть ее подозрительность и сопротивление.

Она тут же привлекла меня к себе и, сжимая в объятиях, успокоила словами и поцелуями.

— Ну разумеется, голубчик. Ты будешь ходить в школу, если ты сам того желаешь. Кто же станет препятствовать тебе в этом? Ну успокойся, бога ради.

5

Я бы сказал, что в силе сильных — начало их гибели. Они видят жизнь лишь с колокольни своего могущества, забывая наклониться и прислушаться, а что же творится внизу? Уверенные в своей безопасности и неуязвимости, они тупеют. Не заботясь о том, куда придется тяжесть их шагов, они валятся и падают. Поэтому для слабых, если они не хотят быть раздавленными, защитой может служить лишь большая подвижность, изворотливость и выносливость. Глядишь — ан слабый уж и выбился в сильные. Однажды свершится эта перемена. А что потом? Качели жизни не останавливаются ни на минуту.

Я в той же мере мечтал стать сильным, в какой боялся силы других. Обладать такой мощью, чтобы все боязливо сторонились меня, стоит мне лишь занести руку, собираясь, к примеру, почесать в голове. Я никогда не скреб в волосах. Зато Франтик Мунзар — скреб. А еще чаще — внезапно резким движением вскидывал руку, и всяк, кто оказывался поблизости, испуганно отскакивал. А Франтик не спеша завершал резко начатый жест и, запустив пятачок в гущу вечно взлохмаченных, грязных каштановых волос, чесал себе темя. Это было его излюбленной

шуткой, Франтик часто прибегал к ней, и всегда — с успехом.

Франтик был сыном каменотеса из Анежского монастыря, мать его стирала на людей и помогала им по хозяйству. Отец Франтика являл собой воплощение тупой силы, приводом впряженной в работу за мизерную оплату пятнадцать — двадцать крон еженедельно.

На своих коротких, искривленных от постоянной стоячей работы ногах он нес могучий торс с широченной сутуловатой спиной. Когда он стоял, вдоль его тела свешивались, заканчиваясь десятикилограммовыми гириями-кулаками, несоразмерно длинные руки: вероятно, они вытянулись оттого, что на работе ему приходилось шлифовать и полировать широкие и высокие гранитные или мраморные плиты. Он пил мертвецки, пил и во время работы, но только изредка алкоголь поднимал в нем бурю, и тогда он, как правило, проводил ночь в полицейском участке, где на него надевали смирительную рубаху. Франтикова матушка, маленькая, замученная женщина — ее лицо уже изгладилось из моей памяти, словно разъеденное содовыми испарениями стирок, — принуждена была содержать и сына и мужа, который пропивал весь свой заработок. Раз или два в году она тоже бунтовала против бессмысленности своего животного существования. Тогда, схватив вопившего и упиравшегося Франтика, она тащила его к протекавшей поблизости реке, чтоб утопиться с ним вместе. Тут со всего Анежского монастыря сбегались бабы, отводили их домой и, ухаживая за ней, бранили мужа, который валялся у нее в ногах, целовал руки, просил прощения и давал клятвы, забыв смахнуть градом катившиеся по его щекам тяжелые скотские слезы.

Франтик Мунзар второй год сидел в первом классе, но выглядел среди нас, малышей, как если бы это повторялось четвертый год подряд. Под его густой шевелюрой скрывался низкий лоб буяна и скандалиста, и сам он длиной рук и медлительной раскачивающейся походкой был весь в отца. Его мозг был законопачен наглухо, и туда не могла проникнуть пагубная зараза познания. Будучи уже второгодником, он еще не мог запомнить и различить некоторые буквы. Разговаривал он, как босяк, грубым голосом, в котором не звучало ни единой детской нотки. Но стоило ему запеть, как этот его хрип изменялся в чистейший звонкий дискант. Учитель утверждал, что у Франтика — абсолютный слух, а это в ту пору для всех нас и, конечно, для Франтика самого было совершенно непонятно. Облаченный

в горностаевую мантию своего загадочного таланта, наде-
ленный недюжинной мощью кулаков, Франтик чувствовал
себя в нашем классе всеми признанным монархом, который
в состоянии был сломить любую попытку бунта или стрем-
ления к независимости. Его высокомерие и рабская по-
корность всех прочих возросли после того, как директор
школы — регент хора в костеле Святого Духа — зачислил
Франтика в свой детский хор и даже поручал ему сольные
партии во время больших богослужений.

Я снова встретился с силой, она объявилась тут в наи-
примитивнейшем виде — распущенная, невежественная
и первобытно злая; она черпала мощь сама из себя, ибо не
ведала пока ограничения, и властвовала, поскольку еще не
получила отпора.

Учитель посадил меня за пятую парту у окна, рядом
с Франтиком Мунзаром. Не знаю, что его побудило посту-
пить так, очевидно, он пытался как-то уравнять классовые
различия и сблизить ребят. Однако Франтик сразу люто
меня возненавидел и тиранил с первого же дня. В его лени-
вом мозгу тем не менее хватало зловредности для измышле-
ния самых разнообразных способов мучительства. Стоило
ему как бы нечаянно, незаметно толкнуть меня, как я летел
со своего места на пол. Он настраивал против меня и других
учеников — не столько забавы ради, сколько для того, чтоб
доказать свое превосходство, он водружал меня на переме-
нах на учительский стол и держал там, извивающегося
в его руках и ревущего от злости, стыда и отчаяния, чтоб
они глазели на меня, словно на чудо заморское, и щипали
в свое удовольствие. Это он бросил мою бескозырку через
чей-то забор, он же подучил ребят швырять в меня комьями
грязи.

Пообещав отцу выстоять, воспротивившись матушке,
пытавшейся выволить меня из этого ада, я сразу понял,
что мне не удастся сдержать слово и заполучить все
обещанные дары, если я не склоню Франтика на свою сто-
рону.

Я знал Франтикову слабинку: он голодал. Когда мы на
перемене вытаскивали из ранцев свои завтраки, он, насу-
пив лоб, полыхая злыми взглядами, бродил от одного
к другому и требовал своей доли, будто средневековый
владыка, вымогающий десятину у подданных.

— Дай сюда!

Как правило, доля меньшая, чем половина, его не
устраивала. Он проглатывал добычу и выискивал новую
жертву, стремясь за перемену обойти как можно больше

ребят. Мальчишки прятались, заглатывая свои бутерброды раньше, чем он их настигнет, либо жевали на уроке, но ни один не отважился отказать Франтику или пожаловаться учителю.

Мне тут же пришло в голову, что не составит труда снискать расположение этого прожоры, чья утроба, скорее всего, и дома никогда не насыщалась досыта. Мои завтраки были обильнее и сытнее, чем у большинства моих одноклассников. Обычно мне давали дома две разрезанные пополам булки, густо намазанные маслом и проложенные ломтиками ветчины, кусочек шоколада и яблоко. Едок я был никудышный, дома меня всегда заставляли есть, а в школе, особенно на первых порах, я был так утрашен новой средой и обстановкой, что даже не решался вытащить эти булки из ранца. Поэтому, когда я вынимал их нетронутыми, дома разражался крик и сетования; позже я научился выбрасывать бутерброды по дороге. Вполне понятно, что, когда я объявил, будто мне мало моих прежних бутербродов, и попросил прибавить еще одну булку и дольку шоколада, я привел домашних в восторг и радостное изумление.

Во время обеда маменька возвестила об этой новости с таким ликованием, с каким генералиссимус армии-победительницы объявляет миру о том, что неприступная твердыня повержена.

— Я знал, что так будет, — отвечал отец со спокойной уверенностью. — В нем есть здоровое начало. Теперь он начнет глотать все подряд и наверстает упущенное.

Вот когда впервые у меня возникли сомнения в непогрешимости отца, во что я до той поры свято верил. В то же время — поскольку это была моя первая более или менее существенная ложь — я осознал, как легко обмануть взрослых, и, по-моему, в тот момент мне даже не было особенно стыдно, скорее я даже слегка презирал отца и мать за их доверчивость и доброту.

Удобный момент я уловил на ближайшей перемене. Франтик ограбил своего соседа справа, отняв у него половину ломтя прежде, чем мальчишка успел скрыться. Пока Франтик поглощал добычу и оглядывался в поисках новых трофеев, я развернул свои булки, которые не выбросил на сей раз, и разложил их перед ним.

— Хочешь?

Он недоверчиво вытаращил глаза, потому что от меня-то он ожидал этого меньше всего.

— Давай сюда!

Пластинки розовой ветчины высовывались из разрезанных пополам булок. Он отложил надкусанный ломоть хлеба и с жадностью набросился на булки. Мне никогда больше не приходилось видеть лица, которое настолько преображалось бы от наслаждения едой. Губы его разжимались со смачным чавканьем, щеки блестели, глаза улыбались. Покончив с первой булкой, он даже рассмеялся от радости и стукнул кулаком по парте.

— Вот черт!

Со второй булкой Франтик расправлялся несколько дольше. Он обнюхивал ее, играл ею, как умеют одни только дети. И жадно обратился ко мне:

— Еще есть?

Не знаю, откуда это у меня тогда взялось, но я уже определил, как вести себя, чтобы склонить его на свою сторону и привязать к себе. Если я хочу, чтоб он оставил меня в покое и защищал от других мальчишек, то его нужно хоть чуть-чуть подчинить. А это значит — с самого начала не потворствовать во всем, мало ли чего ему захочется.

— Есть, — твердо ответил я, — но для себя. Ну так и быть, уделю уж тебе еще кусочек шоколада и половину яблока.

— Давай сюда!

Я положил перед ним дольку шоколада и целое яблоко, с любопытством ожидая, вернет ли он мне мою половину. Франтик вынул из кармана ножик с отломанным черенком и зазубренным лезвием, раскроил яблоко на две половинки. Сравнил, одинаковы ли, и одну пододвинул мне. Потом принялся за шоколад. Сначала понюхал — у него была привычка сперва обнюхать любую еду, прежде чем взяться за нее, будто тем самым наслаждение, получаемое от пищи, возрастало, — и начал его сосать, будто леденец. Этого-то я как раз и поджидал.

— Хочешь, буду давать тебе каждый день?

Он перестал лизать шоколад и уставился на меня, разинув рот.

— Все это? — быстро переспросил он. — Булки с ветчиной, шоколад и яблоко?

— Может, это, а может, что другое, но шоколад и яблоко — каждый день. А ты обещаешь, что никогда не станешь меня колотить, отнимать шапку и другим тоже не позволишь.

Он поморгал глазами, пхнул меня локтем так, что я едва не упал с парты.

— Заметано, — сказал он на своем жаргоне тоном могущественного покровителя. — Морду раскровеню всякому, кто к тебе полезет. Будь спок. Но шоколад чтобы каждый день.

Отныне мне ничто не угрожало, и я мог ходить в школу без опаски. Франтик надавал подзатыльников кое-кому из наиболее настырных парней, которые недостаточно быстро раскусили, как изменилась ситуация; теперь у меня был свой Пятница, он отвращал от меня любую опасность. Он, Франтик, провожал меня чуть ли не до дому, а потом разыскивал свою матушку там, где она стирала, и поедал все, что она выкроила от своего обеда. Вскоре после полудня он уже свистел под нашими окнами. Мне всегда удавалось выклянчить на кухне кое-какие объедки и вынести их ему. Он не возбуждал во мне сочувствия; отчетливо помню отвращение, с каким я наблюдал за тем, как жадно поглощает он все, что бы я ни принес.

Приятельские отношения с Франтиком вновь сделали для меня доступными улицу и игры с ватагами ребят, от чего я был отлучен со времени своей болезни. С Франтиком я мог задирать даже парней, которым ничего не стоило свалить меня одним тычком. Я щедро оплачивал услуги своего телохранителя и, заваливая многочисленными подарками, благодаря которым он слыл вельможей среди уличных сорванцов, все прочнее привязывал его к себе. Служба эта была отнюдь не так легка, и Франтику часто приходилось расплачиваться очень дорого.

Он без конца дрался, вступаясь за меня. Теперь я все вижу так, как было на самом деле. Да, семя проросло и выбросило довольно высокий стебелек. Я ненавидел силу и мстил ей. Отныне я мог все, что прежде было лишь предметом моих затаенных мечтаний. Вот мальчишки катают шарики — отчего бы мне не столкнуть шары в ямку? Такой проступок должен быть мгновенно наказан. А вот попробуйте, голубчики, Франтик вам задаст. Отбежав на безопасное расстояние, я смотрю, как разгорается драка. Удары сыплются со всех сторон, а я прыгаю и кричу, вне себя от восторга. Разумеется, я держу сторону Франтика, но лишь до тех пор, пока не найдется более сильный противник и не поколотит его.

Франтик отступает, Франтик повержен наземь, соперник сидит на нем и дубасит почем зря, разъяренный нанесенными ему ударами и воодушевленный победой. У меня и в мыслях нет прийти на помощь Франтику. Я исчезаю.

Жду его за углом, пока он не появится, ободранный, побитый, вывалявшись в грязи, размазывая слезы по чумазому лицу и ругаясь. Я помогаю ему отыскать камень, который он хочет запустить в обидчика. Бедный Франтик! Его тупая башка не в состоянии признать поражения; он готов драться еще и еще, пока его не забьют насмерть. Он не укоряет меня за то, что я сбежал, очевидно, он не в силах даже представить себе, что я тоже могу драться. Он смотрит на меня по-собачьи преданными глазами, словно опасаясь, как бы я не отверг его защиты и не нашел более надежного телохранителя, он добивается моей благодарности.

— Он хотел к тебе полезть, но ты же видел, как я ему врезал.

Однако я не испытываю к Франтику благодарности, мне даже не жаль его. Знай, ты получил свое, силач. Дам тебе двадцать геллеров, принесу пирог, конфетку, кусок мяса или шоколад, куплю шарики, юлу, рогатку. Бери — и давай дерись. Я ищу поводов для ссоры и гоню Франтика в новые драки. Сыплются удары. Сила наказует силу, сила карает сама себя — таков уж ее удел. Потом, укрывшись где-нибудь в уголке, я повторяю увиденное. Дерусь, воюю, одерживаю победы, и нет героя отважнее меня. Мечта разрастается и ветвится, так что мне уже не угнаться за ней, но вдруг все валится и распадается, подрубленное страхом. Все было трухлявым с самого начала; в полом стволе мечтаний, словно ласочка, таился ужас, и теперь он набрасывается на меня. Вот что творится со мной. Я не могу даже мечтать о силе и мужестве, как другие дети. Мчусь со всех ног к маменьке и заставляю ее отложить роман.

— Что с тобой, голубчик? — приветствует она меня, несколько обеспокоенная.

Уткнувшись головой в ее колени, я прихожу в себя от ласковых прикосновений шелка, темноты и аромата вербены, которой благоухают ее одежды. Я прошу, чтоб она рассказала мне о Давиде и Голиафе.

Великан повержен, настигнутый камнем из пращи. Значит, все в порядке. Давид пляшет и распевает победную песнь; я скачу и ликую. Сколько крови вытекло из головы убитого великана? Бочка — такая, как у нас из-под спирта, или еще больше? Целое море?

— Но, голубчик, откуда это в тебе? Никогда не стану рассказывать тебе ничего подобного.

По комнате ползут длинные тени, ко мне тянутся, настигая, шупальца страха. Вон та, длинная и толстая, отбрасываемая пьедесталом бронзового бюста покойного

дедушки, могла бы быть сраженным Голиафом. Неосознанное бешенство вихрем проносится в голове. Я топаю ногами и кричу:

— Боюсь, боюсь! Это ты виновата! Нечего рассказывать такие истории!

Но тут же не выдерживаю, взбираюсь к ней на колени, чтобы дать волю слезам в ее объятьях.

6

Учитель Зимак походил на льва с черною гривой и лихо закрученными усами. Почти двухметрового роста, он, объясняя урок, расстегивал сюртук, чтобы лучше расправить могучую грудь, встряхивал своими непокорными кудрями, поглаживал ус и громогласно вещал. Он явно любил слушать сам себя, слова его красиво рокотали в классе — грудь служила прекрасным резонатором; говоря, он несколько наклонял голову, будто вслушиваясь, как где-то в глубинах его тела звуки образуются и, подымаясь все выше, достигают голосовых связок и раздаются все отчетливее и звонче. У него был приятный тенор, и на уроках музыки учитель пел нам; уперши скрипку в грудь, а не в подбородок, он давал волю своему всеми признанному и высоко ценимому таланту, и тогда содрогались стены, окна и потрясенные детские души. Иногда он покидал кафедру и расхаживал между партами, громяя тяжелыми шагами и зычным голосом.

До некоторой степени он тоже был повинен в том, что я боялся школы. Как только раздавался его голос, меня охватывала дрожь. Не только голос, но все в нем вселяло в меня ужас: фигура, жесты, взгляд, которым он мог поглядеть так, что самый отпетый озорник обмирал от страха; улыбка обнажала его ровные белые зубы, словно вдруг поднимался пурпурный занавес, раскрывая строй солдат с примкнутыми штыками. Однако не в его характере было нагонять страх, когда этого не требовалось. Расхаживая по классу, он гладил нас по голове, брал за подбородок, чтобы вселить бодрость. Он был уверен в себе, любовался собой, а таким людям быть ласковыми не составляет труда. Через несколько дней после начала занятий его боготворил весь класс — боготворил куда более, чем того таинственного творца, которого мы призывали в своих молитвах.

Отчего учитель Зимак именно меня полюбил больше

всех остальных? Вероятно, он прочел в моем взгляде неподдельный страх, почувствовал, наверное, как я дрожу, когда он касается моих волос; дотрагиваясь до меня, он, видимо, со всей несомненностью убеждался, что власть его надо мной — безгранична. Ей-богу, он любил меня, как конь — маленькую собачонку, которая дрожит подле его ног.

Когда бы земля так жаждала посева, как детские души, она затопила бы нас половодьем урожая. Однако жизнь — неграмотный хозяин, она бросает в нас зерно непроверенное и не заботится о том, на какую почву оно упадет. Чувство в таком клубке жаждущих детских душ столь же заразительно, как скарлатина или дифтерит. Я поддался ему вместе со всеми. Оно одержало верх над страхом, охватывавшим меня при раскатах учительского голоса. Сила, величавая, возвышенная, звучная, осиянная добротой, явилась мне в своем самом обольстительном виде и поработила меня. Я приник к ней тем крепче, чем сильнее, в сравнении с другими, мне требовалось преисполниться ею.

Собственно, здесь надобно бы снова поставить одно из тех неизбывных «почему», которые являются вехами на нашем пути, «почему» элементарное, одноклеточное, где даже обнаруженное ядро не дает окончательного ответа, «почему», множащееся делением, будто протисты, дабы, разрастаясь, возвести свод нашей жизни. Отчего учитель Зимак выбрал именно меня? Из сорока пар глаз мои глядели на него с самой страстной мольбой, он это знал, из сорока сердец мое, растревоженное более других, доверилось только ему, и он тоже знал это.

Собственно, то была всего-навсего невинная шутка, в сущности, чисто педагогического свойства. Речь зашла о необходимости удерживать традиции, особенно если иметь в виду, что во многих наших семьях традиции эти, как правило, не берегут, а возможно, даже и не ведают о них. Учитель Зимак не ошибся: наша семья была именно такова. Народные обычаи забываются, но нам надо о них помнить и беречь. В этом состоит долг учителя, так же как долг матери — посылать ребятишек в школу умытыми, причесанными и с подстриженными ногтями. Научим птенцов смеяться — они станут лучше. Смех сближает людей.

Первое апреля. Учитель Зимак входит в класс, мы встаем и дружно выкрикиваем обычное приветствие. Он идет по ступенькам, и мы видим — он прихрамывает. Мы переглядываемся, взгляды наши полны сочувствия. Что

такое с ним? Я трепещу от страха и сострадания. Учитель садится за стол так, чтобы мы все хорошо его видели, и трет себе колено. При этом морщится, как от боли.

— Ревматизм, друзья,— произносит он наконец со вздохом.— Вы не поверите, какая это мука.

Невероятно, такой великан, а тоже мучается. Чего бы я не сделал, только бы помочь ему и облегчить его страдания.

— Нужна бы мазь,— продолжает учитель.— Кто из вас сбегает за лекарством, а?

Лес рук взлетает вверх, один лишь Франтик Мунзар сидит рядом со мной, будто не слышит. Учитель окидывает взглядом класс и останавливает его на мне. Сердце мое готово выскочить из груди. Я сбегая, я!

— Пожалуй, ты, Карличек.

— Не ходи,— шепчет мне Франтик.

Да отчего же, что это взбрело ему в голову? Я устремляюсь к доске и вот уже стою перед учителем, трепеща от усердия и тревожась. Чего же он от меня требует?

У меня такое чувство, будто учитель растерялся и раздумывает. Но не перестает поглаживать себе колено.

— Ну, Карличек,— произносит он наконец, словно решившись. Лицо серьезно, только в глазах поигрывает усмешка, однако я убежден — это лишь для того, чтобы придать мне храбрости.— Твой папенька торговец, не так ли? В таком случае никому лучше тебя не исполнить моей просьбы. Пойдешь в лавку к Лоуме, здесь на углу. Знаешь?

— Знаю,— горячо убеждаю я.

Учитель Зимак перестает оглаживать колено, вынимает из кармана брюк бумажник, роется в нем толстыми пальцами, монетки бренчат, он вылавливает десять геллеров и протягивает мне.

— Так вот, значит, пойдешь к лавочнику Лоуме,— снова повторяет учитель,— и скажешь, что ты от меня и просишь на десять геллеров комариного сала. Моя бабушка говорила, что от ревматизма лучше средства нет.

В классе кто-то прыснул со смеху. Учитель тут же оборачивается и строго смотрит в ту сторону.

— Что такое?

Тишина несется ему в ответ, а лица сорока учеников окаменели. Я не в состоянии постичь ничего, кроме данного мне поручения. Повернувшись, я выбегаю из класса.

Мчусь, подгоняемый сознанием важности моей миссии. Судорожно стиснув денежку в кулаке, я твержу: комариное сало, комариное сало. Я знаю комаров по нашим летним выездам на ржевницкую дачу, это ничтожные созданыща, назойливые и коварные, они больно кусаются и вечно пищат. Передо мной словно раздвинулся занавес, скрывавший невероятные тайны. Но откуда мне знать, что из них вытапливают сало? Я нисколько не сомневался в правдивости слов учителя, наоборот, дивлюсь его мудрости и учености. Комариное сало. Это представляется мне еще более поразительным, чем сказочные призраки.

В лавку купца Лоумы нужно было подниматься по выкрошившимся ступенькам, сделанным из песчаника, потом перед тобою вдруг возникли высокие двери, словно желая дать тебе пинка. Над ними надтреснуто звенел колокольчик, кудахтал, будто квочка, сзывая клиентов. Серое мрачное помещение, впустив, заглатывало тебя — ах ты, мой Ионушка, к какому же киту во чрево ты угодил? Какие тут запахи и ароматы! А сколько вещей! Над прилавком — двойная гирлянда из искусственных закопченных лимонов, керосиновая лампа с широким абажуром и рисовые венички на длинных бечевках. В лавочке — ни души, но вот купец Лоума таинственным образом появился из-за стены, которая, казалось, сложена из пакетиков цикория и ящичков с кореньями, и откуда-то из-под прилавка вынырнул его ученик. Лавочник Лоума лишь ненамного выше своего ученика, у него пышные обвислые усы, на макушке — черная люстриновая шапочка с козырьком, а говорит он глубоким басом.

— С чем пришел, сынок?

— Пан учитель велит вам кланяться, — начинаю я протяжно и, конечно, чуть ли не на терцию выше обычного, — и просит послать ему на десять геллеров комариного сала.

Лавочник и его ученик переглядываются и подмигивают друг дружке. Пан Лоума собирает усы в горсть и крепко выжимает их заодно с бородой.

— Ах, черт побери, — произносит он. — Значит, тебя послал пан учитель Зимах, да? Передай пану учителю, что я как раз продал последнее, а новую партию получу только в конце апреля.

— А не знаете, где еще можно бы достать? — пытаюсь я спасти положение.

— Сыночек, ежели у меня нету, — произносит пан

Лоума гробовым голосом, — значит, нигде нет, хоть всю Прагу обыщи.

Ученик спрятался под прилавок и давится от смеха. Я возвращаюсь посрамленный. Учитель так доверял мне, а я иду с пустыми руками. Я бреду по дороге и ломаю голову, что бы такое сделать, как бы избавить его от болей. Но придумать ничего не могу, мне совестно, и, стоя перед дверьми класса, я долго колеблюсь — войти или нет.

Вхожу. За партами — непривычная тишина. Учитель поднимается и идет мне навстречу. И я вижу: он не хромает больше. И радуюсь: вот полегчало и без лекарства.

Я точно передаю слова купца Лоумы, а лицо учителя неудержимо расплывается в улыбке. И тут класс взрывается. Сорок детских глоток орут, вопят, гогочут:

— Первый апрель — никому не верь!

Все еще ничего не понимая, я поворачиваюсь к ним лицом — и вижу, как они подпрыгивают на лавках, показывают мне нос, тычут в меня пальцами и издевательски гогочут. Они никогда не любили меня и вовсе возненавидели с тех пор, как я завладел Франтиком и он выступает против них. Сегодня учитель отдал им меня на растерзание.

Один только Франтик Мунзар сидит неподвижно, насупясь. До меня доходит наконец, что я стал жертвой шутки, подстроенной учителем, и теперь выставлен всем на посмешище.

Учитель Зимак присоединяется к общему веселью и смеется у меня над головой залившимся, здоровым, сильным, хорошо модулированным певческим смехом. Шутка удалась на славу, никогда еще на его излюбленную ежегодную шутку, рассчитанную на первоклашек, не нарывался такой тютя, как я. Заметив, что у меня дрожит подбородок, будто я собираюсь заплакать, он покровительственно хлопает меня по плечу и говорит:

— Ты ведь не распустишь нюни, этаким молодчага. Это же шутка, и называется «первый апрель — никому не верь».

Мне удастся то, что до сих пор никогда не удавалось: я преодолеваю в себе желание заплакать от ярости, бить, колотить ногами и пронзительно визжать. Я проглатываю слезы; огромный горячий ком, прожигая себе путь, спускается куда-то внутрь. Плакать я не стану, не стану, но когда-нибудь рассчитаюсь с вами.

Я держу Франтика Мунзара и повелеваю им. В голове моей то и дело возникают какие-то замыслы, неутомимое беспокойство подхлестывает, гонит меня, словно я должен отомстить кому-то, все равно кому, хоть я и сам толком не знаю, кому мстить и за что. Оттого, наверное, что я чувствую себя особенным, не таким, как другие, я стремлюсь быть великим, лучше всех, а они не хотят этого ни замечать, ни признавать.

На набережной Франтишека и в окрестностях Анежского монастыря нет уголка, куда бы мы с Франтиком не проникли и не заявили о себе своими проделками. В те поры набережная Влтавы еще не была приведена в порядок, подмытый песчаный берег кусками обваливался прямо в воду. На бесчисленных приколах были нанизаны целые гроздьи рыбацких лодок.

— Франтик, иди отвяжи лодку, пусть ее плывет по течению.

Франтик исполняет мой приказ, я, отбежав на приличное расстояние, стою и наблюдаю. В случае опасности вскрикиваю и первым пускаюсь наутек, нimalo не забываясь, что произойдет с моим дружкой. Дома соединены бесконечными дворами, достаточно достигнуть их — и мы спасены. Некоторые проходы возникли оттого, что дети, играя, проломили дыры в старых, полуразрушенных оградах, разделяющих дворы; с течением времени дыры эти увеличивались. Впрочем, бегаем мы не в пример быстрее одышливого рыбака или полицейского, обутого в тяжеленные сапоги. Припустишься-ка он за нами, скользя по булыжникам мостовой, — так не оберется хлопот; глядишь, начнет сползать шапка с петушиным хвостом, надобно придерживать на бегу и саблю, чтоб она не путалась под ногами. Мы легко от него уйдем, и уже никто больше не преградит нам дороги. Кроме всего прочего, у здешних обитателей есть принцип не совать нос в чужие дела, да и полицию тут недолюбливают.

Улучив подходящий момент, я хватаю в слесарной мастерской сверло и тащу его Франтику. Кому-то из учеников достанется за пропажу! Теперь, Франтик, сверли у лодок днища. Моя одержимость заражает и Франтика. Его медлительное воображение, распалившись до нужного накала, начинает находить удовольствие в моих выдумках.

— А что сегодня будем делать? — жадно спрашивает

он, как только мы сходимся, и смотрит на меня преданно, пока я придумываю очередное бесчинство.

Он стреляет из рогатки по стеклам заброшенного костелика, подрезает веревку, где сушится белье, пытается поджечь деревянную изгородь, швыряет лошадиные яблоки в лавку, полную покупательниц, вспарывает стоящий в коридоре мешок с бурскими орешками, кидает раскаленным камнем в окно первого этажа, а в другое, возле которого сидит страдающая ногами старуха, забрасывает обезумевшую собачонку, которую мы приволокли в мешке из отдаленного Анежского монастыря.

Всякий раз я держался от Франтика на приличном расстоянии, и подозрение никак не могло пасть на меня. Кроме того, дабы избежать наказания, я всегда скрывался первым. Зато на Франтика в школе то и дело сыпались жалобы; он был слишком большой и приметный, чтоб на него не обратили внимания, и люди научились его узнавать.

Хочешь не хочешь, а пришлось учителю высечь его перед всем классом. Положив на стул, он одной рукой схватил его за пояс и туго натянул штаны, а другой, вооружась линейкой, наносил ему здоровые звонкие удары, считая от двух до десяти — смотря по серьезности жалобы и провинности.

Я сижу и люблюсь, я доволен. Сила карает силу, сила карает себя самое. Глаза у Франтика закрыты, он закусил губы. Ни разу не вскрикнул. После пятого удара лицо его багровеет, на лбу набухают жилы и выступает пот. Хоть все кости переломайте, хоть шкуру спустите, Франтик все равно не пикнет.

Остальные сидят выпучив глаза, каждый очередной удар отзывается в них ощутимой болью. Уже в ту пору я мыслил так, как, собственно, ребенок мыслить не должен. Моего приятеля секли, а мне это доставляло удовольствие. Да обрушились бы на него эти удары, если бы он не учинил хулиганств, на которые я его подбил? У меня такое чувство, будто я сам колочу этого здоровяка, перед которым дрожал и кого вынужден был подкупить взяткой. Однако этак лучше: сейчас его молотит учитель Зима, а он Франтика обожает, у меня же с Зимом — неизбывные счеты. Посмотрите-ка на него! Он морщится, будто от боли, и старается эту боль пересилить. Правда, иногда, колотя учеников, он усмехается. Собственно, потехи ради стукнет ученика разок-другой по подставленной ладошке, которую виновный пытается еще и вырвать. Нет, держи, дружок, да это

ужалит только, зато, по крайней мере, будешь знать, как себя вести! А вот с Франтиком — другое дело. Это — не мелкие шалости, за них довольно бы надрать и уши, нет, своими проделками он наносит ущерб имуществу и здоровью граждан.

Учитель Зимак не в состоянии этого уразуметь. Изредка по воскресеньям он поет с Франтиком в хоре храма Святого Духа, которым руководит директор школы. Собственно, они с этим парнишкой коллеги-певчие. В костеле Франтик — агнец, а поет — ну прямо как херувим. Да и в школе учитель тоже не может на него пожаловаться, он такой же непоседа, как и все другие, ничуть не больше. Отчего же тогда на улице он ведет себя, словно в него бес вселился? Учитель Зимак никак не может взять этого в толк. Он хмурится, каждый удар — словно нож в сердце, но лупит сосредоточенно и твердо, изгоняя беса. Это — образцовый педагог, любишь не любишь, а провинность должна быть наказана, долг превыше всего, а ежели я тебя еще и люблю, то, желая тебе добра, высеку похлестче, чем кого другого.

Все это я ощущал тогда лучше, чем мог выразить словами. Я изловил их обоих одной ловушкой.

Покончив с наказанием, учитель Зимак положил линейку на стол, вынул носовой платок и вытер потные руки и лоб. Они стояли друг против друга, багровые от натуги и напряжения, с которым переносили свои муки.

— А теперь, — глухо, но с угрозой произнес учитель Зимак, — ты скажешь, кто тебя подучил.

Франтик все не поднимал головы, явно опасаясь учителя лева взгляда.

— Никто не подучал, — загудел он.

Учитель подошел к нему вплотную, голос его окреп.

— А ну-ка подыми голову, погляди мне в глаза и признавайся — кто тебя подучил?

Франтик хотя и поднял голову, но тут же опустил ее еще ниже.

— Я уже вам сказал, никто меня не подучал.

Самообладание оставило учителя.

Подскочив к Франтику, он всей пятерней вцепился в гущу его лохматых волос и принялся таскать за них, восклицая:

— Ты признаешься или нет? Да твоей тупой башке такого вовек не придумать!

Франтик не сопротивлялся, учитель мог колотить им

о стену, он и пальцем бы не пошевелил. Молчал — и все тут. Учитель оттолкнул его от себя.

— Садись, дурень!

Ступеньки кафедры скрипят и пищат под шагами учителя, кажется, будто от волнения он прибавил в весе. Ему стыдно за свою несдержанность, но он вынужден выбросить и последнюю карту, которую подсовывает ему раздражение. Обратившись лицом к классу, выпятив грудь, он угрожающе произносит:

— Если найду, кто сбивает Франтика с толку, разрисую так, что живого места не останется!

Может быть, заслышав эту угрозу, душа моя оробела, но не слишком. Я был убежден, что меня он не рискнет высечь, как Франтика, отец которого все-таки всего-навсего каменотес, а мать — прачка. Ну, нет, угрозы учителя Зимак ко мне не относились, руки у него коротки меня бить, ведь мой папенька — пражский мещанин и богатый торговец. Впрочем, учитель Зимак так никогда и не дознался правды, Франтик молчал, а мне судьба уготовила новую западню, но еще слишком далеко было то время, когда она неизбежно должна была захлопнуться.

8

В нашем доме жил торговец рыбой, лоточник Прах. Из распахнутого окна его кухни ежедневно плыли во двор запахи подгоревшего масла и рыбы, смешиваясь там с другими запахами и ароматами. Высокий старец, костлявый и жилистый, любил, когда люди, из лести, уверяли, будто он — вылитый черногорец-юнак. Стремясь привлечь внимание к своей внешности храброго воеводы, вставшего в нищету, он зимой и летом носил круглую низкую черную шапочку, бархатный алый верх которой был расшит золотым позументом. Редкие белые волосы спадали ему чуть ли не до плеч, отвисший ус как бы очеркивал верхнюю половину лица — орлиный нос, выступающие скулы и маленькие колючие глазки. Добавьте к этому еще вышитую красным, голубым и желтым рубаху, виднеющуюся под вечно расстегнутым пиджаком, перепоясанную широким поясом, какой мог выдержать тяжесть лотка с рыбой. Чтоб не уронить лоток, старик носил его, отклоняясь назад и выпячивая грудь, отчего казался еще выше, чем был на самом деле. Представляю, как в трактирах, где он предлагал свой товар, пьянчуги окликали его «брат славянин», а он, желая

укрепить их в этом заблуждении, отвечал, наверное, на ломаном чешском, коверкая его так, как, по его разумению, это делал бы храбрый черногорец.

Я убежден, что затея ему вполне удавалась и за кружкой пива он охотно рассказывал о своих подвигах. Он располагал доказательством, которое могло бы подтвердить самые невероятные рассказы. Одна нога у него была деревянная. И это обстоятельство способствовало возникновению многих легенд, автором которых наверняка являлся зачастую сам лоточник Прах. Ни в одной из этих легенд не высказывалось сомнений, что ноги своей Прах лишился в войне шестьдесят шестого года, версии различались лишь в мелочах, вроде той, например, как это случилось и где. В самой смелой, но и наиболее сомнительной из них утверждалось даже, будто произошло это уже в пятьдесят девятом году в бою под Сольферино. Единственный компетентный в этом деле судья, сам лоточник Прах, обставил дело так, что ни у кого не хватало духу обратиться к нему с просьбой примирить спорные версии. Ищите правду сами, голубчики, в этом нашем прекраснейшем из миров не сыскать даже двух человек, которые находили бы белое белым. Тем не менее правда была известна всем, но все, не стовариваясь, условились ее не замечать. Правда эта была копеечная, никудышная и большей частью валялась в завалах памяти, пылилась там, преданная забвению. Ее извлекали лишь тогда, когда лоточник либо его жена ввязывались в какую-ни-то перепалку. Тут-то их противники и выволакивали ее на свет божий, используя как снаряд самого крупного калибра. Правда эта была незначительна и жалка, как все будничное и обойденное мечтой. Ее стыдились даже те, кто пускал в ход, они сами же убирали ее, как только ссора прекращалась.

Лоточник Прах никогда не был в солдатах. Ноги он лишился на Сватопетрской запани, где работал сплавщиком. Два ствола из сплава, спускавшиеся откуда-то из Шумавы и пропитанные водой, смяли ее, раздробив лодыжку и голень. В больнице ногу отняли выше колена. Ну вот, а теперь, солдатик, иди вой! Однако Прах не был склонен отчаиваться.

Случилось это в пятом классе.

Зима в том году выдалась на славу. Даже в феврале несколько раз в неделю сыпал снег, — это в конце-то февраля, когда святой Матей должен бы уж колоть лед, а он его все наращивал. Каждый божий день мы играли в снежки, чаще всего на Гаштальской улице, перед нашим домом.

С одной стороны — угол улицы, а напротив — закуток, место, особенно полюбившееся мальчишкам, где они вели свои сражения. Я всегда держался поближе к нашим воротам, чтобы улизнуть, если натиск окажется чересчур лихим. В тот день поворачивало на оттепель, и мальчишки из мокрого снега делали «ледышки» — ядра, тяжелые и твердые, как камень. Укрывшись за выступом наших ворот, я готовил Франтику боеприпасы из снега, который мог собрать вокруг. Я производил нечто запрещенное, вроде пуль «дум-дум», смачивая готовые снежки в луже под водосточной трубой, и поджидал, когда большинство наших противников займется изготовлением снежков, — тогда я рассчитывал проскользнуть, вклеить кому-нибудь одним-другим ледышкой и смыться.

Произошло это как раз в ту минуту, когда наши неприятели, достаточно вооруженные своими и нашими снежками — они подобрали те, что не раскололись, — предприняли новое мощное наступление. Мы не поспевали увертываться под градом ударов. Снежки уже шлепались вокруг меня, несколько шмякнулось о ворота, превратившись в грязно-серые лепешки, по чему мы позднее судили о ярости боя. Дверка за мной скрипнула, и оттуда, просунув сперва деревянную ногу, двигаясь боком, вынырнул лоточник Прах со своим лотком, покрытым белой клеенкой. И очутился в самой гуще перестрелки, будто с ходу вступив в одно из тех сражений, которые так любил воображать, в пыль, дым, муки и славу которых облачался, словно в плащ Ринальдо Ринальдини. Градец, Садовая, Маджента, Сольферино и скалистые уступы Черногорья. Снежки вокруг летали стремительно, и один из них, величиной с кулак взрослого мужчины, угодил точно в середину с верхом загруженного лотка. Послышался приглушенный треск разбитого стекла, звяканье тарелок и жестинок, несколько поджаренных гольцов и шницелей из карпа свалилось на тротуар, в грязное снежное месиво.

На минуту все оцепенели и стихли, потом мальчишек обуял ужас — удивительно, как чувство вины мгновенно охватывает детскую ватагу, один что-то натворил, а все припускаются бежать. На месте преступления остались только мы двое — лоточник Прах и неподалеку от него я, остолбеневший от столь неожиданного погрома. Я не мог отвести взгляд от лотка Праха — с него крупными каплями стекало что-то похожее на мутную воду, наверное, уксус, которым были политы селедка с капустой. Внимание Праха тоже было приковано к лотку, торговец уставился на кле-

енку, промятую ударом снежка-ледышки. Он будто не находил в себе сил сдернуть ее и убедиться в размере убытка.

Наверное, вид сокрушенного старика, его лицо, искаженное отчаянием, возвратило мне сознание опасности и ослабило оцепенение в ногах. Я сдвинулся было с места, собираясь бежать, но лоточник тоже пришел в себя, протянув ко мне свою хищную костлявую руку с длинными пальцами, он ухватил меня за шапку и за волосы, скрытые под ней.

Второй раз в жизни я беспомощно взлетел в воздух, вздернутый беспощадной могучей рукой. Тесемка шапки, завязанная под подбородком, душила меня. Прах, опираясь на свою деревянную ногу и на палку с острием на конце, в припадке безжалостной ярости начал трепать меня из стороны в сторону, забыв, что тем самым довершает уничтожение своего товара. Рыбки попадали в грязь, одна из банок с сельдерейным салатом, перекувырнувшись через край лотка, вдребезги разбилась о тротуар. Лоточник хрипел, ярость душила его, он не мог выдавить из себя ни слова. Я и сам задыхался, оттого что тесемка шапки впилась мне в горло, но все же попытался просипеть:

— Отпустите меня! Ведь я вам ничего не сделал!

Тесемка оборвалась, и я рухнул в снежную слякоть. Шапка с клоком моих волос осталась в руке Праха. Лоточник, потеряв равновесие, покачнулся и еле-еле удержался на ногах.

Я сделал первый глубокий вздох, и небо и стены домов закружились надо мною. Что-то упало рядом, обдав лицо брызгами грязной воды. Это Прах швырнул мне мою шапку. Влага тротуара мгновенно просочилась сквозь штаны, и я быстро опомнился. Перевернувшись и встав на четвереньки, я нащупал шапку и уже настропалился бежать. Мне было не до лоточника, хотелось лишь убраться от него подальше. Но стоило мне сделать первый шаг, как Прах нанес мне в спину такой удар, что я чуть было не упал снова. Торговец, успев перебросить палку из одной руки в другую, саданул меня ею как следует.

Вот вам и картинка: мальчик приползает домой; в кухне перепуганная, придурковатая служанка стягивает с него грязную мокрую одежду, — господи Иисусе Христе, хозяин молоденький, да что же это вы делали, никак нельзя, чтоб сударыня дознались, — служанка умывает его, причесывает, только бы не осталось следов драки, — и вот он уже бредет к вечернему столу, по нему ничего не заметно, разве

что немного напряжена спина и глаза округлились, как у кошки, стали огромные и блестят, будто в горячке. Он подавил слезы, и теперь все загнано внутрь — яростная злоба и ужасное, невыразимое, непереносимое ощущение несправедливости. Он еще должен следить, чтоб не стучали зубы, его знобит, наверное, подымается температура, а с того места на спине, куда пришелся удар и где теперь, конечно, появится синяк, как полая вода по реке с низкими берегами, по всему телу разливается боль.

— Что с мальчиком? — пугается маменька.

— Ничего со мной нет, — строптиво восстает паренек, насупясь, но все равно приходится показать язык и горло, а потом мать еще ощущивает правый бок, где сидит предательский аппендикс.

— Набегался, — рассудил отец. — Раньше спать пойдет.

Но уснуть нельзя, нельзя лечь на спину, парень кусает подушку, но слезы не приходят. Впрочем, он их и не зовет, он не желает примирения, не желает, чтобы злость изошла в слезах и жалости. Ночь обернулась изменчивой чередой картин, перед ним проходят все, сменяясь, как при игре в гандбол: пан Горда, учитель Зимак, отец, маменька, лоточник Прах, Франтик Мунзар и он сам. Границы сна и бдения стираются, и уже не различишь, мысль это или сновидение.

Несколько раз за ночь приотворяются двери спальни, это мать вслушивается, а паренек старается дышать ровно, как спокойно спящий здоровый ребенок. Мягкая рука дотрагивается до его лба, проверяя, нет ли температуры, в мальчишке все кипит от ярости — оставьте вы меня наконец в покое, не нужно мне ваших забот, не желаю я ваших нежностей, я хочу мстить.

Мальчишка шевелится, будто просыпаясь, рука испуганно отдернута, матушка уходит. Она идет на цыпочках, но туфля спадает у нее с ноги и стучает о паркет. Мальчишку обдает жаром. Звук этот вызывает в памяти другой: лоточник Прах идет под аркой, и его деревянная нога стучит о мостовую. Теперь мальчишка знает, что делать.

В квартиру лоточника Праха входили прямо с лестницы, а еще десять или двенадцать ступенек вели на чердак. В углу, меж дверьми комнаты и входом на галерею чердака,

жена его ставила ведро с водой, а за ней — Прахову деревянную ногу. Бог знает отчего она это делала, но, скорее всего, потому, что Прах не любил глядеть на протез, он осточертел ему во время долгих его походов, дома он не хотел его видеть. Убери с глаз долой, не желаю, чтоб он меня тут пугал, выбрось его, старая, за дверь.

Лоточник Прах растягивается на промятом диване, укрывшись старой конской попоной. Теперь, когда ему всего себя не видно, он может думать, что у него две ноги. Он нежится в тепле и вспоминает свою здоровую молодецкую ногу, которую отхватили в больнице эти мясники. Кто знает — всякий раз мелькает у него при этом, — наверно, могли бы сохранить, если бы проявили старание, а то ведь нет, им бы только резать. Когда он вспоминает о своей отсеченной ноге, дух ее будто слетает к нему и пугает. Зудит у него правая пятка и большой палец, который он отморозил в детстве. Прах поднимает левую ногу, чтобы почесать, по привычке, пятку о пятку, большой палец о палец, а правой ноги-то и нету. Нет ее, а ведет она себя, как если бы была, зудит и мучит, лоточник ее и поскреб бы как следует, да нечего скрести.

Мне не пришлось долго уговаривать Франтика, хотя поначалу он отрицательно качал головой, но стоило мне посулить ему мелкокалиберку, которую он давно выпрашивал, — глаза у него разгорелись, и он решил на все.

Наш поход за Праховой деревянной ногой смахивал на пиратскую авантюру. Франтик по простоте душевной отправился бы туда напрямик — через двор, по лестнице вверх, ага, вот она, деревяшка, давай ее сюда — и все. А мой план, я убежден, был продуман до последних мелочей. Только позже я мог рассудить, насколько нам повезло, потому что о счастье тут все-таки говорить не годится. Нет, на сей раз даже наша горничная не должна догадаться, что с Франтиком был и я. Он не подымется к нам наверх, как делал иногда, он свистнет с той стороны улицы, куда глядят окна лишь наших комнат, а я выйду на лестницу и подожду там. Отец в конторе, маменька читает у себя, она ничего не заметит.

— Тише ты, осел, — шепнул я, увидев его на лестнице беспонятливо спокойным, я-то считал, что он все-таки мог бы свистнуть. — Тебе никто не встретился?

Ни одна живая душа не должна видеть нас. Мы крадемся на чердак, вжимаясь в стену, как будто это имеет значение. Ведь встретиться нам кто-нибудь — все пропало,

дело пришлось бы отложить на другой день. Однако двери, ведущей на чердак, мы достигаем никем не замеченными. Теперь нужно быть еще осторожнее, нельзя допустить, чтобы скрипнули петли, чтоб сквозняком захлопнуло дверь, ведь на чердаке мог кто-нибудь оказаться — и тогда все пошло бы насмарку.

Пробираемся узким проходом, мимо клеток из реек, которыми чердак разделен на территории отдельных съемщиков, продвигаемся вглубь, перелезаем через высокие балки, приходится напрягаться, смотреть далеко вперед, сквозь реечные загончики, сквозь полумрак, рассеченный бесчисленными полосами света и тени; взвихренная пыль щиплет в носу и щекочет в горле; мы заглушаем приступы кашля и чиха. Мы как будто идем по зеркальному лабиринту, где наши фигуры, преображаясь, вытягиваются до бесконечности. То там, то сям полощется на сквозняке белье, замедляя нам ход и затрудняя дыхание, — кальсоны развеваются в воздухе, раскачиваются на ветру, будто шагают, плывут, размахивая развязанными тесемками, маршируют на месте, как чудовищные существа, лишённые половины тулова, еще более страшные и призрачные, чем всадник без головы, пододеяльники раздуваются, будто чрева китов, рубашки дышат, их пустые груди наполняются воздухом и выпускают его, они хлопают рукавами, чтоб сдвинуть нас в своих объятьях, платочки трепещут, будто крылья испугнутых птиц. Скорее, скорее прочь отсюда!

Я в ужасе, а Франтик бунтует против моего непомерно-го возбуждения и страха. Он злится на меня, чертыхаясь сквозь зубы.

Наконец-то мы у вторых дверей чердака, у тех, что над лестничной площадкой, где живет лоточник Прах. Здесь, за дымоходом, глубокий выступ, где можно укрыться, если неожиданно кто-нибудь появится.

Открыв двери, мы боязливо оглядываемся и прислушиваемся. Никого. За дверьми квартиры слышны бульканье и шипенье, в это время у жены лоточника дел по горло, она вертится возле плиты, дожаривая последних гольцов и кусочки карпа на остатках жира, сковороды раскалены, плита пылает, а тут еще нужно наладить стариков лоток, дедка еще похрапывает на своем диване, а она ума не приложит, за что хвататься раньше, за чем раньше поспеть. Более удобного времени не придумаешь. Прахова деревяшка стоит за ведром, ремни висят вокруг ее выдолбленного верха, словно часть конской сбруи. Из-под полы пальто

я вынимаю пилку — стянул у нас на складе. Франтик, крадучись, спускается вниз. Осторожнее, друг, осторожнее, не запнись о ведро, не урони пилку, не споткнись.

Вот теперь вопрос — где пилить? Мы спорим, где подпилить деревяшку. Я предлагаю — внизу, у ступни, Франтик — вверху, у выемки. Да, пожалуй, так лучше — работы меньше и не больно заметно.

Франтик, упершись деревяшкой в пол и стену, пилит. Я сторожу. Теперь, если старуха Прахова выйдет за водой, нам конец. Одновременно я слежу и за Франтиком. Хватит уж, не сходи с ума, и так чуть ее всю не перепилил. Но прорезь заметна, белеет на черной полированной поверхности, будто край воротничка у кельнера. Что с этим делать — так ведь Прах эту белизну сразу углядит! Но Франтик уже знает, как поступить. Послунявив палец, он мажет ее сажей и пылью. Прорези словно и не было.

Нога снова водружена на свое место, за ведро, здорово у нас это вышло, никто и не видел. Франтик выпрашивает у меня пилку, я отдаю — на что мне, лишние хлопоты, пришлось бы возвращать, откуда взял. А теперь мы напряженно ждем, что будет дальше. Я представлял себе это так: лоточник наценит деревяшку, пристукнет, чтобы попробовать, как она сидит на ноге, и — трах! — дерево пополам. Вот тебе, получай по заслугам, получай за вырванные волосы, за то, что душил, что вывалял меня в снегу, за удар палкой по спине, которая все еще болит.

Мы уже немножко озябли, стучим зубами, Франтик тихонько чертыхается и хочет уйти. Не поддамся, не уйду, пока не услышу проклятий и брани лоточника и воплей его жены, я должен насладиться вполне за то, что он со мной сотворил. Несколько раз нам приходится прятаться, когда кто-то выглядывает на лестницу либо на галерею, но всякий раз мы возвращаемся на свой пост. Наконец из-за двери лоточника послышались раскаты хриплого кашля, два протяжных зевка, и вот — дверь распахнута, лоточникова жена, дробная, сгорбленная бабка, такая непомерно крохотная в сравнении с «юнаком» Прахом, появляется на пороге и уносит протез с собой. Мы ждем, наступает кульминационный момент, теперь уж и Франтика охватывает волнение; двери, будто резонатор-усилитель, сообщают, что творится за ними, — там харкают и пыhtят, обмениваются невразумительными словами, скрипят стульями, звенят посудой.

Ничего, все еще ничего. Теперь слышишь: стук — шаг,

еще стук — еще шаг, стук — лоточник уже укрепил протез и расхаживает по кухне. Вот тебе и раз. Мы переглядываемся. Неудача.

— Мало подпилили, — шепчет Франтик. — Говорил, нужно побольше.

Ну вот, наконец двери открылись, и старик, нагруженный лотком, вышел на лестничную клетку, а за ним проскользнула его жена. Мы подглядываем за ними через щель в полуотворенной чердачной двери, неизъяснимый страх охватывает нас. Франтика бьет дрожь, так же как и меня.

Расставив руки, старуха идет следом за своим мужем, словно за малым дитятей, делающим первые шаги.

— Будь осторожнее, отец, — озабоченно лепечет она. — Темно уж. Не могут пораньше свет зажечь.

А старика беспокоит его деревянная нога.

— Слышь, как скрипит, сволочь? Доведет она меня, разозлюсь, растоплю ею печь, и — всех делов.

Спускаясь по лестнице, старик всегда выставлял деревянную ногу вперед, перенося на нее центр тяжести, а здоровую подтягивал к ней. Так и сегодня. Держась за перила, вделанные в стену, Прах переставил деревянную ногу на одну ступеньку и перенес на нее всю тяжесть тела, обремененного подносом. Раздался треск раскалывающегося пополам дерева, а потом уж все закружилось и превратилось в хаос: вскрик старика, вопль старухи, гулкий грохот тела, бессильно катящегося по лестнице, звон разбитого фарфора и стекла, дребезжанье перескакивающих со ступеньки на ступеньку жестяных банок.

Прочь, прочь отсюда! Я не могу сдвинуть Франтика с места, он стоит как вкопанный, а может, его, идиота, даже тянет вниз на помощь старику. Я молочу кулаками по его спине, тычками гоню его перед собой, неуклюжего и неповоротливого, будто пень.

— Шевелись ты, надо мотать отсюда, — шепчу я ему прямо в ухо.

Наконец это доходит до его сознания, и он бросается наутек. Прижимает к телу пилку, спрятанную под пиджаком, и бежит, не глядя, ослепленный ужасом, и врезается в стенку дымохода. Но это не образумливает его, я вынужден принять руководство, я волоку его за собой.

К вечеру сумрак на чердаке сгустился, в потемках мы спотыкаемся, стукаемся головами о поперечины. Ужас и страх воем выли во мне, но, несмотря на это, я напря-

женно думал о том, как бы мне избежать наказания. Да, именно мне, о Франтике я не заботился. Когда мы достигли противоположных дверей чердака, Франтик попытался выскочить на лестницу, но я удержал его. Погоди, глупец, нечего нам лезть им в руки.

Лестница грохотала под тяжестью шагов и содрогалась от криков. Весть о несчастье, постигшем лоточника, разлетелась по дому, и люди спешили к месту происшествия. Я затаился и жду, Франтик сипло дышит у меня за спиной, чуть ли не всхлипывая. Тишина. Вот еще раз бухнули двери, несколько запоздавших зевак спешат вниз. Вот теперь уже можно идти.

Я оглядываю Франтика.

— А где твоя шапка?

Он ощупывает руками волосы.

— Не знаю.

Видно, шапка свалилась у него во время одного из падений где-то на чердаке, но не возвращаться же ее искать?

Позже Франтикову шапку нашли другие, и она последней каплей перевесила чашу весов, явившись вещественным доказательством его провинности.

Двери у нас отперты, очевидно, придурковатая Барка бежала так поспешно, что забыла их запереть. Я отжимаю Франтика к лестнице:

— Уматывай отсюда, сгинь, кому говорят!

И закрываю двери. Пусть сам себе поможет, коли сумеет.

Маменька, где маменька? Только она одна может меня спасти. Я мчусь по сумеречным комнатам — и почему это надо открывать столько дверей? Слезы подкатывают к горлу. Мама, мама!

Как обычно, я нашел маменьку в ее комнате, самой дальней из всех, куда вообще не проникало шума. Она лежала на софе, придвинув к себе столик с лампой, держа книгу в одной, а баночку с солями в другой руке. Мир мог сходить с ума от радости или сокрушаться от горя — маменька ничего об этом знать не хотела. Но мое стремительное вторжение в мгновение ока подняло ее с софы, а мой вид перепугал ее. Если речь заходила обо мне, маменька всегда проявляла необычайную живость и готовность ринуться на помощь.

— Что с вами, голубчик? Отчего вы так выглядите?

Нынче я даю себе полный отчет в том, что на самом

деле тогда творилось во мне. Меня преследовало, сокрушало не сознание вины, просто я дергался, угодив в западню страха. Я грохнулся на пол и пополз к матери на четвереньках.

— Маменька, скажи, он жив, скажи, он не убится?

— Кто, голубок? О чем ты? Где ты, собственно, был?

— Лоточник Прах...

— Лоточник Прах? Ах, этот, с деревянной ногой... да отчего ему убивать себя?

Она подняла меня с пола, прижала к себе и тут почувствовала, что я весь пылаю и трясусь, как в лихорадке. С той минуты она вела себя с уверенностью и решимостью, которые вселялись в нее всякий раз, когда она начинала борьбу за мое спасение. В ванну, вымыть лицо и руки, раздеться и — в постель. Укутав в одеяло, она прижала меня к груди.

— Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, перестаньте дрожать и расскажите, что вас так напугало.

Я любил ее, ее теплоту, аромат и мягкость, она была той самой неприступной стеною, за которою я мог надежно укрыться. Я уже ничего не боялся, я чувствовал, она спасет меня от всех и вся, чего бы я ни натворил. В ее глазах всегда буду прав только я.

Спрятавшись в полутьме ложбинки меж ее плечом и грудью, я рассказал ей, как избил меня лоточник Прах и какую я выдумал ему месть. Она слушала меня тихо, не перебивая, я видел, как ее белоснежные зубы впиваются в нижнюю губу.

Когда я договорил, она сняла с меня одеяло и задрала на спине рубашку. Она хотела видеть след Праховой палки. Он там еще был замечен, должен был быть замечен, она легонько провела по нему своими нежными, как шелк, прохладными пальцами. Я втянул в себя воздух и дернулся, прикидываясь, что мне больно, чего при столь чутком прикосновении просто не мог ощутить.

Маменька побледнела и выпрямилась.

— Болит? Голубчик мой, как же вы это перенесли?! Этот грубиян заслуживает всего, что бы с ним ни случилось.

Я понимал ее, в ней заговорила урожденная Куклова. Какой-то побродяжка, нищий, можно сказать, осмелился поднять руку на ее ребенка. Да для него мало любого наказания.

В соседней комнате раздались чьи-то поспешные решительные шаги. Маменька, будто предугадывая, что теперь

воспоследует, подошла к дверям и распахнула их. Закутанный в одеяло по самую макушку, я выглядывал в узкую щелочку. В дверях стоял папенька, лицо его было бледно, щеки ввалились, изменившись от волнения, гнева и страха.

— Где Карел?

Никогда прежде я не слышал у отца такого голоса. В нем действительно звучала решимость непременно наказать, жестокое разочарование порядочного человека, сраженного предательством сына. Маменька предостерегающе приложила палец к губам.

— Не так громко, пожалуйста. Он засыпает...

Я увидел еще, как отец отступил на шаг, растерявшись от столь неожиданного ответа. Потом матушка прикрыла за ним двери.

Ах, маменька, я и по сей день люблю тебя, но куда она вела, на какой путь толкала, эта твоя любовь? Слушаясь ее, ты подчинялась голосу, исходившему из глубин еще более отдаленных, чем те, что породили разум. А там, кто знает, может, столь же сильно, нерасторжимо с этим перемешавшись, говорил в тебе и другой голос, голос сословных предрассудков? Не мне тебя судить, не хочу тебя оправдывать, и нет у меня права винить тебя. Я люблю тебя.

Спустившись с постели, я подкрался к двери и стал подслушивать, наблюдая за родителями через замочную скважину. Вокруг было темно и тихо. Потом чиркнула спичка, стрельнув тут же померкшим пламенем, звякнуло стекло абажура-цилиндра, и по комнате разлился покойный желтый свет. Отец засветил над столом большую висячую лампу. Это будничное, изо дня в день повторяемое действие, по-видимому, успокоило его; вероятно, зажигая свет, он успел кое-что обдумать.

— И давно он в постели?

— Я уложила его вскоре после обеда. Он все зевал, его лихорадило.

Отец, не отводя глаз, в упор смотрел на маменьку, словно стараясь проникнуть ей в душу взглядом, неумолимым и твердым. Лица маменьки я не видел, она стояла, повернувшись ко мне спиной.

— И ты хочешь сказать, что сегодня после полудня он вообще не выходил на улицу?

Матушка кротко усмехнулась.

— Но это же все-таки очевидно, дорогой мой. Я сидела рядом, читала и рассказывала почти вплоть до твоего прихода. А, собственно, чем вызваны эти расспросы?

Отец, облегченно вздохнув, оперся кулаком о стол. Лицо его вдруг обмякло, игра теней переменилась, оно словно распалось, обретя какую-то иную форму, на него жалко было смотреть.

— Боже мой, как хочется тебе поверить! Но если ты лжешь, то возлагаешь на себя куда большую ответственность, чем способна вынести.

Я видел, как маменька выпрямилась, ее спина и плечи будто оцепенели. Я не слышал, чтобы когда-нибудь еще она говорила тоном, к которому прибегла теперь. У меня от этого тона по телу побежали мурашки.

— К чему мне лгать? Будь добр, окажи мне такую любезность и объясни, что значат эти твои подозрения, странные вопросы и манера, как ты со мной разговариваешь нынче?

Отец втянул голову в плечи, на лице его отразились испуг, и покорность, и мольба, он схватил матушкину руку, стиснул ее в ладонях и поднес к губам.

Ничего этого я не должен был ни видеть, ни слышать, — ни торжествующей уверенно-спокойной лжи, ни легко побежденной правды и ответственности, ни бурной радости обманутого отца, уверовавшего, что он ошибся. Ни его покорнейшей мольбы о прощении.

Нет, лоточник Прах не умер; если не считать нескольких синяков и ссадин, с ним ничего худого не произошло, отлежится в постели, и все будет в порядке. Но деревянная нога его разлетелась в щепы, а от лотка остались одни осколки. Однако отчего это отцу взбрело на ум, будто я как-то связан с незадачей, приключившейся с лоточником? В подъезде дома Франтик Мунзар попал в руки спешивших за доктором людей, тогда уже всем стало известно, что кто-то распилил Прахову деревянную ногу. На Франтика никто бы не обратил внимания, если бы из-под пиджака у него не выпала пилка.

— Это была наша пилка, — объяснил маменьке отец, — пилка с нашего склада, пропажу которой обнаружили только сегодня утром. Ты можешь себе представить, как я перепугался и какая догадка тут же мелькнула у меня в уме?

— Возможно, — спокойно согласилась маменька. — С первого взгляда все именно так и выглядит. Однако мальчишка мог взять ее где угодно, он хвостом ходит за Карелом. Но что он сам говорит?

— Молчит, как зарезанный, — взволнованно отозвался отец. — Даже побоями от него не добились ни слова.

— Откуда нам знать, чего ему взбрело в голову идти сюда от Апежского монастыря и выкинуть такую мерзость, — словно в раздумье, произнесла маменька. — Может быть, Прах ткнул его на улице своей палкой. Говорят, он бешеный.

— Конечно, и такое допустимо тоже, — предположил отец. — Но, как бы там ни было, я похлопочу о новом протезе для Праха и возмещу убытки.

— Да, пожалуй, я полагаю, это ты можешь сделать, — согласилась маменька.

А Франтик по-прежнему упорно молчал — «будто зарезанный», как выразился мой отец, побои его только ожесточили, он молчал и был отдан в исправительный дом, к великой печали учителя Зимака и директора школы. Тщетно пытались они этому воспрепятствовать. Сын алкоголика, который своей хулиганской выходкой чуть не отправил на тот свет хромого старика, — наверное, разъяснили им. Нет, господа, такому ребенку не место среди нормальных детей.

Я провалялся в постели около двух недель; болезнь, явившись очень кстати, помогла мне. Прах положил ей начало, промокшая одежда, сквозняк на чердаке — благодаря всему этому она развивалась стремительно. Жар, лихорадка, грипп; врач не уходил от нас целую неделю; если на меня как на соучастника преступления, совершенного Франтиком, кое-кто еще и указывал пальцем, то волею обстоятельств он был посрамлен.

Место Франтика, уже не сидевшего за партой рядом со мной, пустовало до конца учебного года, его никто не занял, и учитель Зимак часто останавливался на нем взглядом, забывая объяснять урок. Ну так вот, и пану учителю Зимаку тоже досталось. Стоило распиливать одну деревяшку, а сколько вас, силачей, скатилось с недостижимых высот!

Первый апрель, пан учитель, никому не верь! Мир полон опасностей для таких, как вы, слишком уверенных в себе!

После уроков пан учитель Зимак задержал меня в классе. Встав напротив, он некоторое время молча и пристально смотрел мне в глаза. Потом бахнул вопросом:

— Зачем Франтик сделал это?

— Не знаю, пан учитель, я был нездоров.

Вот так и лгут люди — лицом к лицу, не отводя взгляда, тем и спасла меня моя маменька. Учитель Зимак кивает головой, он часто видел и слышал, как лгут дети.

— Ты был нездоров. И пилку ты ему тоже не давал?

— Нет, пан учитель. Скорее всего, он украл ее у нас на складе.

Учитель Зимак стоит, опершись рукою о стол, теперь он сжимает кулак, словно дробя что-то, костяшки пальцев его белеют.

— Ступай, — наконец произносит он. — Но плевать-то в него не надо бы.

Вот приблизительно так кончается мое детство. Тетива была натянута, стрела обрела направление. Скорлупа лопнула, выдала важнейшую часть своей тайны. Тайна эта была писана узелковым письмом инков, а я разгадал его по-своему, тем единственным способом, каким мы все проникаем в загадки своей жизни.

КНИГА ВТОРАЯ

1

Чернь и золото наряду с пурпуром были излюбленными цветами конца столетия; им приписывали торжественную величавость. Если пурпур в сочетании с золотом украшал жилища мещан, то золото — вездесущее, звонкое, сверкающее и манящее, золото, разъединяющее общество, словно своеобразный химикат, скрепляющее и в то же самое время разрушающее его вздувшееся, лихорадочно возводимое здание, — это золото соединилось с черною краской, дабы возвестить, сколь кичливо самонадеянны торговля и промысел. В те поры надгробия и вывески фирм чрезвычайно походили друг на друга: на черном мраморе, лаке или стекле были начертаны имя и фамилия владельцев, безразлично — разлагался тот в земле или развивал лихорадочную деятельность, разрабатывая золотоносную жилу в карманах своих ближних. И какое это было письмо! Оно украшало своего обладателя, превозносило своего творца, закручивалось завитушками, рябило зыбью, реяло в воздухе, растекалось и порхало, подобно хороводу легких прелестных балерин, преследуемых опьяненными страстью селадонами. Это письмо не имело ничего общего с оцепенело марширующей каллиграфией современных вывесок, чьи буквы словно сложены из бревен, балок и колодезных кружал.

Такая надпись украшала магазин моего дядюшки, размещавшийся в Карловой улице, она словно излучала его имя: «Методей Кукла». Слева отплясывали гавот франтихи-буквы поменьше: «Музыкальное издательство», а справа: «Нотный магазин». Огромная вывеска, такая же как на дядюшкиной лавке, занимала весь фасад дома, от нее оставалось место лишь для входа в дом, и она внушала вам почтение, убеждая, что товар в витрине, разместившийся под ней внизу, и впрямь требует уважения, хотя при

взгляде на разноцветные обложки тонких — в тетрадочку — сочинений и портреты гениев, волосатых, бородатых, очкастых, в париках и беретах, вас невольно брало сомнение. А мещанин, решивший приобрести для своей дочери, взращенной монахинями-урсулинками, некое фортепианное сочинение, воззвизнувшись на львиную гриву Бетховена, мог почувствовать неприятный холодок, представив себе на минуту этого молодца за своим столом, — и поразмыслил бы, есть ли нужда в том, чтобы его творения попали в руки барышни, чья теперешняя девичья и грядущая супружеская добродетель выпестованы с таким трудом и сопровождаются такими расходами и переживаниями. Однако вывеска «Методей Кукла», исполненная достоинства и глубокомыслия, сверкающая золотом и богато изукрашенная, представляется ему основательной гарантией того, что все-таки, несмотря ни на что, он может позволить купить себе эту «Für Elise»¹ без опасений, что диавол, заколдованный в звуках, просунет из клавиш свои лапы, искушая невинный цветок, сим папашей произведенный.

Сухощавый молодой человек с усами и короткими бакенбардами вступил на порог магазина своего дядюшки; ему шел двадцать второй год. Никого уже не было у него на свете, а в карманах, как говорится, не завалилось ни гроша, и ничего-то он не умел, и ни к чему не был пригоден. Его взяли из милости. В те поры мещанство еще держалось на двух мощных столпах: родовой спеси и солидарности. Обедневший родственник, который болтался по белу свету, не будучи в состоянии сам себя соблюсти, всегда опасен для нашей доброй репутации. Пусть уж лучше живет у нас на глазах.

Матушкина смерть означала для меня конец беззаботных дней. Несчастливая матушка! Она никогда ничего не желала знать о подлинной жизни, если она не прошла дистилляции на страницах романа либо пока она не касалась непосредственно меня. Она отгораживалась от нее стенами своей гостиной или оградой ржевницкой усадьбы. И жизнь — по своему коварству — предоставила ей полнейшее одиночество, о котором матушка могла только мечтать. Последние четыре года, которые ей еще были отмерены судьбой, она провела, сидя в кресле у окна маленькой квартирке на Козьей площади, окутанная пеленой меланхолии, которая иногда приподнималась на полчасика, но случалось это все реже и реже. Она сидела, избавлен-

¹ «К Элизе» (нем.).

ная от страданий и памяти; мигрени не мучили ее более, исчезнув на песчаной отмели общего отупения, и состояние ее, безусловно, больше приносило мучений тем, кто видел ее, чем ей самой.

Матушка прекратила чтение своих излюбленных романов уже после смерти отца. С той поры она не держала больше в руках и флакончик с нюхательными солями. Так и сидела в тишине и задумчивости, уставившись взглядом на большую фотографию отца, висевшую над ампирным столиком на стройных ножках, где стояла одна лишь хрустальная ваза с цветами, менявшимися каждый день. Не доверяя никому иному этой заботы, сразу же после завтрака матушка сама выходила купить их. Так пережила она некое возрождение своей любви — как мученическую, пресладкую страсть, лишенную предмета обожания, вслушиваясь в шаги и голос своего возлюбленного лишь на тропинках воспоминаний.

Отец скончался, когда я ходил в пятый класс гимназии. В полном расцвете сил, ему было еще далеко до пятидесяти. В кого метила судьба, избрав его своей мишенью и свалив наземь сокрушительным ударом? Словно распиленная нога Праха подкралась к нему из-за угла, требуя возмездия. На складе на отца скатилась железная бочка со спиртом, раздробив ему большой палец правой ноги. О, сколь вероломно наше тело, сколько всего сокрыто в нем и лишь подкарауливает, ждет своего часа. Заражение крови, воспаление легких и смерть за какие-нибудь десять дней, преисполненных болей и муки.

Место отца в конторе и в руководстве предприятием занял дядя Рудольф, двоюродный брат матушки, этот «рыбарь и козий дух» — как в шутку и всерьез окрестил его батюшка, потому как не любил этого вялого юношу. При жизни отца кузен слонялся по складу, конторе и магазину в поисках укромного уголка, где он мог бы укрыться, вынуть из кармана книжицу стихов, всегда в черном переплете, читать и погружаться в мечты. Высокий, худой, в сером или коричневом, но непременно в клетку, костюме, с пепельно-русой бородашкой и мягкими, зачесанными назад волосами, с ускользающим взглядом огромных бледно-голубых глаз, он являл собой живое воплощение батюшкиного изречения. И если сам себе он казался мятежником байронического либо маховского склада, то всем прочим он напоминал древний, вымерший уже тип учителя-энтузиаста, но без любви и решимости трудиться и жить впроголодь.

Дядя Рудольф должен был вести дело и управлять имуществом до моего совершеннолетия. Непостижимо, как столь ленивый и, казалось бы, не интересующийся ничем живым и реальным человек смог справиться с духом и оказаться таким деятельным. Не минуло и трех лет, как наше предприятие рухнуло, а имущество пошло с молотка. Уцелела лишь пожизненная матушкина рента, которую наша прозорливая бабушка завещала маме перед самой своей смертью. Как ему удалось промотать весьма значительное состояние за время столь короткое, что, как говорится, никто и глазом моргнуть не успел, — это, в силу редкостности исполнения, навсегда останется тайной. Изо дня в день он приходил в контору, ни в чем как будто заметно не меняясь, кроме, пожалуй, того, что сам стал заниматься учетными книгами и больше никого к ним не подпускал. Я не в состоянии предположить, что он на самом деле был бесчестен, скорее всего, он вообразил себя гениальным финансистом и уже грезил, как в день моего совершеннолетия передаст мне управление предприятием бесконечно более прибыльным. Он занимался спекуляцией, в этом нет сомнения, а если еще и селадонил немного, то умел это ото всех скрыть.

О своем банкротстве он известил нас одному ему присущим деликатным образом. Однажды утром его нашли повесившимся в кабинете, в этом стеклянном гнезде, которое проглядывалось с трех сторон и откуда можно было с одного боку выйти на склад, а с другого — в контору. Повесился на вешалке, перекинув через нее вдвое сложенную упаковочную веревку. Взгляд его голубых глаз наконец-то обрел твердость и никого не избегал. Последние две страницы книги учета, лежавшей в развернутом виде на столе, были жирно перечеркнуты крест-накрест по диагонали. На странице «Дебет» вместо итога красивым каллиграфическим дядиным почерком было выведено: «Все», на странице «Кредит» — «Жизнь». И подо всем этим, по всему развороту страниц, снова толстым карандашом дядя начертил: «Finis»¹.

Ах нет, это еще было не все. Никакого письма или записки, разъясняющей или хотя бы прощальной, дядя не оставил. Однако он изукрасил свой уход символами, из которых должно было вычитаться правду. В могучем охвате главной бухгалтерской книги покоилась, будто гномик в объятьях балаганной толстухи, утлая книжонка, черный

¹ Конец (лат.).

томик с позлащенной надписью: «Страдания молодого Вертера». Книжечка была заложена на страницах, описывающих судьбоносное Вертерово деяние. Искусная дядина рука начертала на нем последний всхлип: «О Вертер!»

Трудно понять, что, кроме романтики и исхода жизни, было общего между выстрелом несчастного влюбленного немецкого мечтателя и петлей стареющего пражского бездельника, промотавшего чужое имущество. Дяде Рудольфу эта связь была ясна, а остальным — по свойственной удавленникам насмешливости — он вместо ответа показывал язык.

Матушка, выдворенная из дома, в котором родилась, безотлучно жила, родила сына и потеряла мужа, из дома, принадлежавшего ее роду уже третье поколение, впала в меланхолию. Потери, которые причинил нам дядя Рудольф своими махинациями, были так велики, что поглотили все наше состояние, в том числе и усадьбу в Ржевницах. Без маменькиной неотчуждаемой ренты мы были бы самыми настоящими нищими.

А что случилось со мной? После смерти отца я учился из рук вон плохо, остался на второй год в пятом классе, еле-еле проскочил в шестом и снова провалился на экзамене за седьмой. Смерть матушки застигла меня в восьмом, где я снова за первое полугодие обнаружил недостаточные знания.

Мне шел двадцать первый год, занятия мои ни к чему не вели, я умел делать только одно — шляться по кабакам, где можно было найти кельнерш и бильярд, преследуемый оравой лодырей, зависевших от содержимого моих карманов. Я сколотил шайку, сплошь состоявшую из франтиков мунзаров, которыми без труда можно было помыкать, подбивая на разные мерзости, а самому оставаться в стороне и ликовать, когда их сажали в карцер или даже — так случалось дважды — прогоняли из гимназии. Я легко доставал денег — выманивал их у дяди и у матушки, а если надо, дополнял по потребности, забираясь в кассу, откуда, по-моему, за время дядиного владычества таскали все, кому не лень. Позже я добывал их у придурковатой Барки, которая осталась нам верна и вела наше убогое хозяйство на Козьей площади.

Я возвращался с могилы матери (боже мой, как тихо она отошла — однажды январским днем, когда снег на крышах голубовато светился в морозных ясных сумерках, я нашел ее скорчившуюся в кресле у окна, с головой, упавшей на плечо, холодную уже и все же будто мечтавшую с

улыбкой), и по дороге меня остановил дядя Методей, один из немногих родственников, кто пришел проводить ее в последний путь; положив руку мне на плечо, он сказал:

— Что же станет теперь с тобой, дружок?

Терзаемый горем, я был безразличен к моей дальнейшей судьбе. Дядя, однако, был настроен решить проблему моего будущего немедленно. Он уже обдумал его и не имел намерения заниматься мною ни минутой более, чем того требует необходимость. И продолжал, игнорируя мое молчание:

— Из учения твоего, как я погляжу, ничего не выйдет. Я узнавал о тебе — надежды на успешное окончание выпускных экзаменов чрезвычайно мало. Собственно, не мое дело заботиться о тебе, родня мы дальняя, да я не умею иначе. Словом, завтра ты ко мне приходи, определю тебя в магазин. Поглядим, на что ты годишься. Гимназию оповестим, что ты больше не будешь учиться. Это никого не опечалит.

Я сижу на стуле напротив кресла, в котором маменька провела время своего изгнания до самого последнего дня. Осевший от ростепели, грязный от сажки снег на соседней крыше кажется еще чернее. Барка, громко стуча башмаками, суетится в комнате рядом. Собирает и складывает вещи: пужно будет распродать все, что осталось, чтобы оплатить похоронные издержки.

Скорбь моя вдруг проваливается куда-то в бездну, и оттуда я еще слышу ее гулкие органы, следом за ними — пронзительно верещит страх: что же теперь будет со мною? Никогда я не был так одинок, всегда имел все, чего мне хотелось. Я не могу представить себе свое будущее. Матушкина рента кончилась с ее смертью. Не будут уже ждать меня накрытый стол и чистая постель, не к кому будет беззаботно и без угрызений совести полезть за деньгами. А какая она, нищета? Воображение подсказывает, рисует ее мне. Нищета — скользкая, черная, она обволакивает все тело налетом грязи, вызывающим зуд.

Я припоминаю, как однажды Франтик Мунзар затащил меня к себе домой. Единственная комната с низким маленьким окном, возле окна одна кровать, стол с двумя стульями, развалюха-шкаф, дверцы которого не закрываются, шкафчик вовсе безо всяких створок, а в нем — оббитые чашки, кастрюльки и тарелки. Франтик спал на соломенном тюфяке, брошенном на пол. На маленькой плите в большом баке кипятилось белье, в комнате было душно — не продохнуть. Запах пота, подгоревшего лука, мочи и паров грязного

белья. Меня тошнило. Несколько дней я брезговал прикоснуться к Франтику и уже никогда больше к ним не заходил. Но то всего лишь бедность, это еще не нищета, настоящая нищета — это когда нет ничего, кроме грязи, вшей, голода и летаргии. Эти люди еще зарабатывали на жизнь, у них было что есть и было где спать. Но вот — лодки на Петрской плотине, они вытащены из воды и сложены друг на друге вверх дном. На них, распластавшись, лежит человек, повернув лицо к палящему солнцу. Это — куча тряпья, из башмаков торчат пальцы и ступни, из зарослей нестриженных бороды и усов выступает багровое лицо, и с него ошметками отваливается грязь, будто отмершая кожа. Человек хрипит и сопит, забывшись глубоким сном, подобным беспамятству. Я посылаю Франтика, пусть он насыплет ему в раскрытый рот горсть песка.

— Иди, получишь пятак... когда сделаешь.

Бродяга дергается, задыхаясь, он не понимает, что с ним, скатывается со своего ложа, похожего на катафалк, и, встав на четвереньки, кашляет, кашляет до рвоты и кланет весь свет.

Такова нищета.

Наутро я являюсь пред неумолимые, оценивающие дядины очи. Долго стою, пока он не позволяет мне сесть. И замечает:

— М-да. Многого ждать от тебя мне, видно, нечего. Но попробуем.

2

Дядя Кукла говорил правду: родственники мы были весьма отдаленные. Его отец и мой дедушка с материнской стороны были двоюродные братья. Но у дяди Куклы было чрезвычайно развито чувство родственной солидарности; по крайней мере, раз в году, во время ритуального годового обхода родственников, он навещал и нас, а мы отдавали ему визит на пасху.

Он сверлил меня взглядом, даже когда я сел. Глаз торговца прикидывал добротность приобретаемого товара и не находил удовлетворения, балансир сомнения все еще не обрел устойчивости. В этом взгляде сквозил ясный, трезвый ум, такой, наверное, был присущ и моему отцу, но он замутнялся страхом перед матерью. Под взглядом этих глаз я уже и сам казался себе полным ничтожеством.

Ах, дядя даже не попытался облегчить мне этих мгнове-

ний, видно, он сказал себе, что для нас обоих будет лучше, если мы с первых же шагов выясним наши отношения до конца.

Он не тюкал карандашом по столу, даже не поигрывал пером — ничего подобного он не делал, просто сидел, выпрямившись, положив руки на вытертые подлокотники старого плюшевого кресла. Я мог осознать, что он изучает и оценивает меня и не находит во мне достаточной основательности.

— Жаль, — медленно проговорил он, как человек, привыкший не только взвешивать каждое свое слово, но и другим давать время, чтобы те тоже хорошо усвоили его мнение, — как жаль, что не меня назначили твоим опекуном. Многого удалось бы избежать, а главное — с тобой все было бы по-другому.

Помолчав, он добавил с неколебимой убежденностью:

— Ты, разумеется, ни к чему не пригоден.

Я удручен и не могу ни слова вымолвить в свое оправдание. Гляжу на красную циновку под ногами, у меня рябит в глазах, я задыхаюсь от стыда и унижения. И, видно, кто-то, существующий во мне, поднялся, отвесил дяде поклон и произнес сдержанно:

— Благодарю вас, дядечка, но милости мне от вас не нужно.

Но тут кто-то еще хватает первого за полу сюртука и вопит: «Не сходи с ума, стисни зубы, молчи и бери, пока дают. Там, на улице, нищета и голод, там дрыхнут на перевернутых лодках, всему свету на посмешище».

— Я беру тебя не из милости, — продолжает дядя, будто эхом откликаясь на мои мысли, — и у меня нет намерений что-либо давать тебе даром. Начнешь с азов — не как ученик, для этого уже несколько поздновато, но дело изучить ты должен как следует. Склад, контору и магазин. Поселишься у нас в доме, столоваться будешь вместе с нами, а со временем я и жалованье тебе положу. Подымись наверх и попроси тетю, чтоб показала тебе твою комнату. Сегодня перенесешь свои вещи, а завтра приступишь.

Они не хотели меня унижать, обращались попросту, как я того заслуживал, паршивая овца среди родных, — чем я и был на самом деле. Но тем не менее они не отрешились от заповеди помогать ближним, которая жила в их душе, и подали мне спасительную руку. Я не мог ожидать, что они будут в восторге от меня, но предо мною открывался лишь один путь: убедить их, что они не ошиблись, испод-

воль, медленно, трудом и преданностью снискать их расположение.

— Дядя был к тебе очень строг, — сказала тетя вместо приветствия, внимательно взглянув на мои пылающие щеки. — Не огорчайся. Он желает тебе добра, а кроме того, он справедливый.

Она отвела меня в комнатку на чердаке, выделенную под мое жилье. Мансарда больше, чем всякое другое место, способна усилить в своем обитателе чувство одиночества и представление, будто весь свет раскинулся у его ног. В мою каморку входили с чердака. Она напоминала оштукатуренный ящик, семь шагов в длину и пять в ширину, потолок ее от дверей к окну наклонно шел вниз. Часть крыши несколько нависала над окном, необозримая даль улицы простиралась где-то там, за линией желоба; через слуховое окно видны были кусок неба, крыши и печные трубы противоположных домов.

Таким манером родственники убили сразу двух зайцев: нельзя было сказать, что я — не член семьи, но я и не путался у них под ногами. Завтракал и ужинал я у себя, наверху, обед мне служанка приносила прямо в магазин, где я работал с кем-нибудь из подручных, а все остальные уходили обедать домой. Лишь в воскресенье меня приглашали к столу, потому что этого никак нельзя было избежать.

— Не кажется ли тебе, что здесь тесновато?

Тетя взглянула на меня чуть ли не просительно и погладила по руке. Мне исполнился двадцать один год, я перерос ее на две головы, но она все считала меня маленьким сироткой. Бедовый мальчишка — что да, то да, — с ним надо держать ухо востро и обходиться осмотрительно, но ведь женщины с таким удовольствием прощают грехи своим родственникам-мужчинам, хотя и не обольщаются на их счет, и не в состоянии ничего простить представительницам своего пола.

Они затолкали меня сюда, наверх, как мебель, доставшуюся по наследству, не слишком ценную, чтобы ею похвалиться. Итак, едва за мной захлопнулись двери, я мог предаваться мечтам и обдумывать свое будущее. Недобрые сны посещали меня, ибо одиночество и чувство заброшенности не созданы для того, чтобы производить здоровых детей. Теперь мне кажется странным, что ни тогда, ни позже мне не пришлось на ум подыскать себе какую-нибудь другую службу. Собственно, я имел на это право, и никого бы это особенно не удивило. Но с самых первых дней жизни у дяди

я словно понял, что сюда меня определила судьба и что иных мест на свете мне искать нечего.

Наверное, дядин магазин сразу заворожил меня — огромная вывеска захватила всего целиком, без остатка, змеинные хвостики ее букв опутали меня по рукам и ногам. Я, еще ничего собой не представляя, попал в мир, являвший целое королевство. Правил им дядя, сидя в своей конторе, двери которой, соединенные с торговым залом, никогда не закрывались; в торговом зале царила тетя. Она восседала в кассе, в деревянной будочке, смахивавшей на исповедальню, откуда могла обозревать весь зал; ее белое и нежное лицо словно светилось, оттененное черной тафтой платья, и ни у кого ни на секунду не вызывало сомнений, что это настоящая аристократка. Она умела выглядеть столь же любезной, сколь и достойной и неприступной. Я невольно сравнивал ее с матушкой, чаще всего — вялой и безвольной, деятельной, лишь когда речь шла обо мне. Тетя попевала всюду: в магазине, где ничто не ускользало от ее недреманного ока, дома, где она не давала покоя кухарке, горничной, привратнице, бывшим у нее в услужении. О ее невообразимой аккуратности рассказывали легенды — она будто бы натягивала снежно-белые перчатки и проводила ими по мебели, проверяя, хорошо ли вытерта пыль, она даже лазала ими в поддувало комнатной печи, убеждаясь, насколько тщательно оно выметено. И при всем этом в дядином доме она являлась воплощением доброты и щедрости. Служащим своим она подсовывала еду, вещи и деньги, но так, чтобы дядя об этом не догадался. Ужиться с ней было нелегко, любимчики и нелюбимые менялись у нее беспрестанно, но она не терпела вокруг новых лиц. Мерзавец, говорите? Ну ладно, пусть так, зато этого мерзавца я хорошо знаю и найду на него управу. А как угадать, кто придет вместо него? Иногда на тетю находили приступы какого-то безумия, и в эти дни лучше было не попадаться ей на глаза. В такие минуты она давала нагоняи и увольняла кого ни попадя, а через день-два искала примирения, уговаривала, задабривала, подольщаясь как могла.

Упаси боже, чтобы кто-нибудь напомнил ей — как же, дескать, теперь с увольнением-то? К счастью, об этой ее особенности знали все.

Кроме дядиной канцелярии — это был длинный, узкий чулан с высоким сводчатым потолком и одним окном, наполовину загороженным деревянными полками, ибо окно служило дополнительной витриной, где размещались менее ценные ноты, — ничего иного тут не было.

Все мы, вкупе с кладовщиком и приказчиком, торчали в магазине. Огромный прилавок, тянувшийся через весь магазин, стеной отгораживает продавца от покупателя, это символ извечной пограничной черты, разделяющей два мира, меж которыми никогда не возникнет примирения.

С правой стороны прилавка, если входить с улицы, у окон помещались три стола: делопроизводителя-счетовода, главного бухгалтера и мой; я не принадлежал ни к числу служащих, ни к хозяевам, я вроде и состоял членом семьи, а вроде и не состоял, служащие очень точно это определили, не доверяли мне чересчур, умолкали на полуслове и относились с учтивостью, в подлинность которой никак не верилось, поскольку именно этой казенной учтivosti тут было хоть отбавляй. В магазине служил еще и приказчик, а у него был подручный, но, когда требовалось, за прилавок вставляли мы все — счетовод, главный — все до единого. По правде сказать, записи в торговых книгах и корреспонденцию мы вели, выкраивая время, свободное от обслуживания покупателей.

Дядя заходил в магазин редко, совершенно доверив его бдительному взору жены и феноменальной памяти и опыту главного бухгалтера. Сам он взвалил на себя бремя забот об архитрудном и наиболее ответственном участке нашего предприятия — об издательстве.

Высокие, годами не беленные, почерневшие от пыли стены дядиной канцелярии были увешаны дипломами и почетными грамотами, полученными дядей за его мудрую патриотическую деятельность предпринимателя и благотворителя, фотографиями певцов, певиц, виртуозов-исполнителей и композиторов, уже известных и прославленных, произведения которых дядя издавал. Разумеется, на всех имелись автографы и наисердечнейшие посвящения. Тле-ли, покрываясь пылью, лавровые венки и ленты, что хранили тут их обладатели, не имевшие другого места, куда бы их положить, и со временем забывавшие о них. Это была своеобразная свалка славы, придававшая строгой во всем прочем конторе дяди сомнительный характер канцелярии устроителя концертов и импресарио.

Отсюда дядя направляет бег своего предприятия, как капитан — курс своего корабля. Служащие бледнеют, будучи приглашены к нему. Дядя разговаривает с ними приветливо, никогда не повышая тона, только не сводит глаз, глядит в упор, и его слова так и хлещут по сердцу. Сюда к нему приходят музыканты просить об издании

своих сочинений. Быть изданным Методеем Куклой — значит открыть путь к славе и успехам. Дядя помнит об этом и действует соответственно. Сюда приходят посетители, перед которыми весь магазин сгибается чуть ли не в три погибели, а потом нам всем слышно, как дядя отодвигает кресло от стола, поднимается навстречу гостю и говорит:

— Рад приветствовать, маэстро, пожалуйста, присядьте, маэстро.

Волокуются сюда и другие — приниженные, покорные, любезные, учтивые. Эти мечтали бы проскользнуть по магазину, будто духи, и снова обрести телесную оболочку уже только перед дядей. В таких случаях сквозь двери канцелярии мы слышим иной голос, сдержанный, точно взвешенный на аптекарских весах:

— Мое почтенье. Что же хорошего вы принесли?

Иногда оттуда доносятся и звуки фортепьяно, прилепившегося к стене в глубине канцелярии, дядя сам судит о том, что ему предложили, прежде чем отдать кому-нибудь из своих советчиков. А иногда торопится закрыть двери, и посетитель волнуется и выкрикивает горькие слова о том, как с ним неблагоприятно обошлись, швыряет нищенский гонорар и твердит о злодействе.

Дядя часто приглашает меня присутствовать при переговорах, желая, чтобы я основательно вник во все составные части его предприятия. Я вижу, как растет его богатство, как осмотрительно он высевает сотенные гонорары, чтобы собрать тысячи, невзирая на протесты и угрозы своих жертв. Он отпускает их повергнутыми в отчаянье, равнодушно пожимая плечами, ибо знает, что они вернуться, фирма Методеев Куклы влечет, гарантирует и подтверждает непреложную ценность их творений. Говорят, что между собой музыканты прозвали его «акула», иногда он получает анонимки, где авторы дают волю своему возмущению. Дядя зовет меня и с усмешкой читает их вслух. Они его не задевают, он считает это проявлением ребячества музыкантов и их распушенности.

— Тебе нужно знать, каковы они, — поясняет он при этом. — Горячи, не знают чура, и каждый полагает, что только он один на свете, а остальные недостойны быть пылью на его башмаке. Ругаются, а потом идут опять, сознают, что без меня они — нули. Большинство из них я создал сам, да-да, именно создал.

Я становлюсь свидетелем того, как сочинения, рождаемые зачастую в сомнениях и муках либо вылившиеся из

глубины восторженной души, произведения, созданные, чтобы потрясти людские сердца красотой и заронить в них зерно мучительной жажды страсти, становятся предметом мошенничества, сговора и торга, как всякий иной товар. Ах, это мне нравится! Я мечтаю сидеть на дядином месте и видеть пред собой мужчин, которые, возможно, когда-нибудь достигнут небывалых высот, но пока выпрашивают, молят, канючат, клячат, угрожают и неистовствуют, выбивая у меня гонорар хотя бы на сотню, хотя бы на пятьдесят крон побольше.

У себя на чердаке я размышляю об увиденном. Я в добрых отношениях с небесами, простирающимися над моей головой, и презираю людей, которых попираю ногами. Одиночество перестает тяготить меня, я нахожу в нем наслаждение. Я обрел цель жизни и ищу пути достичь ее. Никто из прежних моих приятелей теперь не узнал бы меня. Тетя, изредка поглаживая меня по руке, шепчет:

— Ты славно держишься, мальчик.

Дядин взгляд все пытливее — видно, он не ждал от меня этого и теперь пребывает в недоумении. Он гордится своим знанием людей, еще не хочет сдаваться, он подозрителен, но не показывает виду. Ему не на что пожаловаться. Я безропотно исполняю все, что он ни прикажет, больше того, я выискиваю себе работу, забиваю голову всяческой премудростью, служащие косятся на меня, словно говоря: «Хорошенькую гниду нам сюда посадили».

Я, однако, не желаю иметь с ними ничего общего. И не пробую разыскивать своих бывших товарищей, я не мог бы их подкармливать, как прежде, впрочем, все это была лишь детская забава, твержу я себе, а вот теперь дело поважнее. Мне понравилось быть одному. Изо дня в день что-то происходит, какие-то мелкие, ничтожные события, иногда покоробит чье-то слово или косой взгляд — здесь все это обретает огромные размеры, здесь случившееся можно осмотреть, обозреть со всех сторон и хорошенько запомнить. Разложить по полочкам, упорядочить, словно финансовые выкладки, пересчитать, выписать и уложить в кладовую памяти. Вот, значит, так, того-то и того-то я вам легко не спущу. Ночь и звезды — опасные сообщники, под их светом все делается крохотным, кроме тебя самого. А ты разрастаешься. Обретаешь власть над вещами и людьми. Дело это небыстрое, но тут спешить нельзя.

В конце лета домой возвратилась Маркета, единственная дядина дочка. Ее обучали в австрийском монастыре всему, что обязана знать молодая дама ее круга: она немного рисует пастелью или акварелями, но это ее не вдохновляет; она играет на фортепьяно и поет высоким, чистым, не очень звонким голоском, и то и другое проделывая с увлечением, так что мир для нее в эти минуты преобразается и тает и сама она в нем как бы растворяется; Маркета вышивает и вяжет крючком, разбирается в хозяйстве и стряпне, по-немецки изъясняется так же, как и по-чешски, и довольно свободно говорит по-французски.

С первого дня я восторгаюсь всем, что делает Маркета: как она движется, говорит, как смеется, поет, занимается музыкой, вышивает или просто сидит, в задумчивости устремив взор куда-то вдаль. Меня приводит в трепет все, что есть в Маркете, — ее лицо, глаза, брови, лоб, нос, губы и подбородок, ее голос и фигура, ее руки с длинными белыми пухлыми пальцами. Расскажите мне, какая она, Маркета. Она сдержанна, исполнена достоинства, она — дама. Иногда она смотрит на меня, будто я стеклянный, и, определенно, видит спинку стула за моей спиной. Однако давеча скакала по темной лестнице сразу через две ступеньки и при этом свистела. Сидит задумавшись или бродит где-то, куда мы не смеем за ней последовать, вслушивается, склонив голову, в какие-то голоса, которые мне не дано услышать. Потом схватит меня за руку и тащит — пойдем, посмотришь мой новый рисунок. И заливается смехом, и рассказывает о толстой и сонной сестре Герменегильде и о проказах, которые они устраивали.

Теперь тетя целыми днями сидит в кассе, ей не нужно спешить по хозяйству. Маркета управляет без нее. Иногда Маркета заглядывает в магазин, тогда лица у всех добреют, поворачиваются ей вслед и сияют, пока она не скроется в дядиной канцелярии. Я слышу, как дядя подымается с кресла, он учтивый кавалер, он приветствует дочь как дорогого редкого гостя. Девушка с него ростом, и он просто не знал бы, как с ней обращаться, если бы не ее живая непосредственность и не шутки, которыми она его забрасывает. Дядя счастлив, он обожает дочь, он видит в ней образ своей жены в молодости и себя самого — галантного, упоенного и одурманенного красотой и любовью. Его сердце и карман, разумеется, открыты для любых

Маркетиных прихотей. Мы все живем одной Маркетой, дом полон ею, ее звуками, и, когда она затихает, мы грустнеем. Я восхищаюсь Маркетой с самого первого дня и еще дольше засиживаюсь ночью у своего чердачного окна. «Маркета», — твержу я в уверенности, что нашел путь к достижению своей цели.

Похоже, что после возвращения Маркеты домой моя изоляция была отменена. Я вел себя пристойно, жалоб на меня никаких. Отныне мне дозволено приходить обедать и в будни. «Наверное, так пожелала Маркета», — лщу я себя надеждой. Иногда, когда дядя отдыхает и тетя отлучается приглядеть за порядком на кухне, мы минут пятнадцать сидим одни. Чаще всего я не знаю, о чем вести разговор, ладони у меня потеют, я краснею и заикаюсь, а Маркету забавляют мои мученья. Не нужно бы этого делать, не ведает она, с чем играет, нехорошо насмешничать над людьми, которые росли и воспитывались как я. Я влюблен в нее, в этом у меня уже нет сомнений, но как выглядит чувство у людей, подобных мне? Я вижу в ней средство обрести уверенность и силу, я хотел бы использовать ее, как корабль, что, минуя опасности, доставит меня к цели, позволит осуществить мои планы, любовь должна быть искуплением слабости и унижений, которыми я так измучен. Нет, вы посмотрите, что она себе позволяет! Делает из меня куклу, огородное пугало и трусливого зайца одновременно. Во мне шевелится такое чувство, будто я должен отомстить ей за этикие забавы. Я хорошо знал только одну женщину — мою мать. У Маркеты с ней ничего общего, а мне бы хотелось, чтоб она походила на нее, — я доверюсь тебе, возьми меня за руку и веди. А пока что меня терзает ее смех.

— Ты всегда такой брюзга, Карел? — спрашивает она, и белозубая ее улыбка оставляет во мне кровавую рану. — Неужели ты никогда не увлекался девушками?

«Пошли к девкам», — хохочет кто-то во мне; я вижу белые, туго накрахмаленные фартучки кельнерш, ладони мне жжет крикливый шелк их кофточек, чуть ли не лопающихся на крепких, туго обтянутых плечах и могучих грудях, хрипит оркестрион, и разносится взвизгивающий, пронзительный смех.

— Нет, — хрипло выдавливаю я.

Потом обдумываю этот разговор у своего слухового окна. «Дурак, — браню я себя и стучу себе кулаком по лбу, — ведь этак ты ей никогда не понравишься. А ты должен, слышишь, должен! Это единственная твоя надежда.

Внушишь отвращение — отпугнешь начисто. Как ей понять твоё молчание и алчные взгляды? Этим ты только нагонишь на неё страх. Ты должен быть веселым, когда она хочет веселиться, и задумчивым, если она настроена грустить, ты должен уметь шутить и улыбаться. Однако как шутят с такими девушками, как Маркета, и вообще — о чем с ними говорят? Как им улыбаются? Когда я улыбаюсь, у меня такое чувство, будто я скалю зубы, словно злая собака. Когда же я улыбался, смеялся, когда? Не стоит и вспоминать».

Осенью Маркета стала учиться танцевать, этой малости еще не доставало в её воспитании. Я тоже ходил туда, на тот случай, если бы вдруг Маркете не хватило партнеров.

Опасения на этот счет были излишни, мне удавалось станцевать с ней едва ли не один разок за целый вечер, да и то когда она сама подходила ко мне.

— Ты отчего не танцуешь, Карличек?

— Мне не хочется, если я танцую не с тобой, Маркета.

— Значит, ты вообще не любишь танцевать?

— Ах нет, танцевать я люблю!

— А как же тогда понять тебя, Карличек?

С языка у меня готовы сорваться как раз те слова, которые я должен был бы произнести. Они как-то разрозненны, они пытаются сблизиться друг с другом, чтобы, соединившись, вступить за меня, но тщетно. Поставьте человека в угол, и он из него никогда не выберется. Видно, такая уж у меня судьба, вечно стоять в стороне, беспомощно хмуриться и наблюдать, как другие радуются и берут у жизни все, чего захочется. Ах нет, стоящий в углу человек имеет свое преимущество: ему все видно, меж тем как иные болтаются ослепленные самими собой и неразберихой, которую сами творят.

Возвращаемся ночными улицами, плывем от одного островка света к другому, Маркета с тетей сидят напротив меня, карета грохочет, колышется по неровной мостовой, подковы лошадей звонко выстукивают ритм парной упряжки, я почти счастлив. Маркета, склонив голову на плечо матери, вспоминает, кто и что ей сказал, кто из молодых слонов наступил ей на туфельку или стукнул по косточке.

— Ведь все они, маменька, как дети, — смеется она, — хоть и отрастили под носом усишки.

Я радуюсь тому, что она это говорит, считая всех детьми, ни один из молодых людей не опасен для меня.

— Они дети и есть, — рассудительно подтверждает сонная тетя. — Им и восемнадцати не исполнилось.

— Да ведь и мне не исполнилось, — улыбается Маркета.

— Любая девушка взрослее, чем столетний мужчина, потому что умнее его, — веско изрекает тетя.

— А Карлик — уже не ребенок? — спрашивает Маркета, и меня сотрясает некое с трудом подавляемое ликование. Зачем ей знать это?

— Карлику скоро двадцать два. Ему и жениться можно.

— А ты знаешь, Карлик танцует лучше всех!

Тетя некоторое время молчит, будто пропустила замечание Маркеты мимо ушей или задремала. Но потом произносит неожиданно сухо:

— Я тоже заметила. Где ты научился танцевать, Карлик?

Передо мной заколыхались широкие мускулистые руки служанок и работниц, которые крутили меня в вальсе даже со счетом на шесть. «Брать уроки танцев? Что за глупость! — орет моя компания. — Пошли на танцульки, вот где шпарят».

Прошное нельзя засыпать, завалить песком, и нет такого надгробия, которое бы заглушило его голос.

Я называю еще одну городскую школу танцев, тоже одну из лучших, но тетя замечает:

— А твоя маменька ни словом не обмолвилась, что ты учишься танцам.

Что-то испортилось в отношениях между тетей и мною. Маркета не видит либо не хочет видеть, что со мною, а мать уже поняла все. Она извиняла меня — как моя тетка, но как мать Маркеты — могла только отвергнуть. Они перестали звать меня на уроки танцев: не к чему, у Маркеты и так хватает кавалеров; обедать на неделе я тоже уже не прихожу, снова появилась надобность, чтобы кто-то из членов семьи в полдень сидел в магазине.

Мне указали мое место: тебя приняли из милости, вот так ты себя и держи. Сомнений не оставалось, я попал к тете в немилость, а раз так — она уже не владеет собой, она не знает меры ни в своих пристрастиях, ни в ненависти. За воскресным столом она уже не обращается ко мне, едва отвечает на мои приветствия. Естественно, это не проходит мимо внимания служащих, они тоже начинают относиться ко мне с уничижительной фамильярностью, тем более обидной, что прежде они раскланивались и расплывались в любезностях.

Теперь они разошлись, давая понять, что значит не

держат ничьей стороны. По-прежнему при моем появлении они прекращают шушукаться — ведь я не «свой», однако тон, каким главный бухгалтер обращается ко мне, теперь не слишком отличается от того, каким он разговаривает с учеником или складским мальчишкой. Он перестал добавлять словечко «пан» к моему имени и больше не просит меня вежливо, заискивающе: «Не сделаете ли вы то-то и то-то», — он распоряжается, а иногда даже кричит: «Сделай!»

— Что это у вас тут опять за чепуха? — разоряется он, указывая на какое-то место в учетной книге. Там, разумеется, нет ничего, чему там быть не надлежит, в эти дни я особенно слежу за тем, чтоб не допустить ни малейшей ошибки. Бухгалтеру это известно так же хорошо, как и мне, а поднял он крик только затем, чтобы все видели, будто за мной нужен глаз да глаз, иначе я непременно что-нибудь испорчу.

— Писать вы, разумеется, не научитесь до самой смерти, — добавляет он. И подымает голову, взыскуя тетиной одобрительной улыбки. Он едва не кланяется ей, уподобившись плохому актеру, который вырывает у публики аплодисменты, с грехом пополам дохрипев до конца свою арию. И тетя улыбается — совершенно справедливо, господин главный бухгалтер, вы уж почаще устраивайте взбучку этому маменькиному сыночку.

Так теперь повелось изо дня в день: главный ко мне все суровее, а тетя улыбается все довольнее. Я в западне, они не дают мне покоя, удары сыплются градом, я не успеваю уклоняться от них и тщетно ищу пути к бегству. Что это задумала моя тетка? Выжить меня отсюда? У меня не хватит отваги противостоять этому, я прячусь, стараюсь быть совсем неприметным, ревностно исполняя все, что бы мне ни поручали.

— Идите и принесите то-то и то-то, да поживее!

Я спешу, не прекословлю, но некоторые сочинения столько раз издавались, что всегда найдется повод меня обругать.

— Я не об этом вас просил. Вечно вы напортачите.

Я не возражаю, хотя мог бы напомнить, что это дело приличествует исполнять ученику или складскому слуге-мальчишке, но иду и волоку новый тюк, который до хруста в суставах оттягивает мне руки.

Ежедневно, около четырех пополудни, тетя исчезает приблизительно на час. Идет за благословением в костел св. Климента или к Крестоносцам. Стоит ей выйти, как в дверях канцелярии появляется дядя и молча смотрит на кабину кассы.

Все это время главный не поднимает головы от бухгалтерской книги и трудится не покладая рук. Нет, дяде не по душе набожность жены, на его взгляд, это уж слишком смахивает на ханжество. Сам дядя далеко не вольнодумец, но эти ежедневные визиты в костел представляются ему зряшной тратой времени, что господа бога может только прогневить. Старикам и старушкам этим заниматься еще куда ни шло, их работа не ждет. Я никогда не слышал, чтобы дядя упрекал свою жену за эти отлучки, он довольствовался только тем, что выходил, глядел и при этом, наверное, думал: «Опять ушла. И какая в том надобность?»

Я, однако, полагаю, что какие-то дела есть — и не так уж их мало, — о чем дядя понятия не имеет, и они наверняка вывели бы его из равновесия. Наверняка он не имеет представления, что его жена и главный бухгалтер Суйка — члены одной религиозной общины. Главбух осуществляет связь между общиной и тетей, тетя не может ходить на их сборища, об этом нечего и думать, так далеко терпение дяди не простирается. Если бы дядя почаще заглядывал в магазин, он мог бы застать их склоненными над кассой, в такие минуты оба напоминали бы ему исповедников, шепотом ведущих доверительный тихий разговор. Однако что это еще за тайны у служащего и супруги хозяина?

Любовью тут не пахнет, не пугайтесь, это не в их характере, да и возраст уже не тот. Главбух просто выманивает у тети денежки.

Ибо — к чему общине держать в своих рядах члена, который не участвует ни в ее хлопотах, ни в религиозных собраниях? Должен ведь он хоть каким-то способом проявить свою деятельную набожность?

Иногда я со своего места вижу — хотя делаю вид, будто с головой ушел в работу, — как тетя подсовывает бухгалтеру конверт. Тот бросается к ее руке и осыпает ее поцелуями с такой пылкостью, будто готов проглотить, но тетя, подавляя довольную улыбку, возмущенно вырывает руку, — нечего устраивать спектакль на глазах у всего магазина, ведь все только притворяются, будто ни о чем представле-

ния не имеют. И этот мозгляк с головой недоноска, чья плешь старательно прикрыта последним клочком волос, склеенных помадой, возвращается на место и, приложив руку к сердцу, нацепляет на порозовевшее лицо восторженную улыбку и помаргивает увлажненными от слез глазами. О, нынче он — сама любезность, слащавые речи текут, будто патока, вызывая у остальных тошноту. Конверт следует за конвертом. На второй или на третий день главных снова что-то подсовывает тете. Письменное подтверждение принятия даров и благодарность. Тетя желает знать, что ее деньги дошли до означенного места, она хочет за это иметь какое-нибудь зримое доказательство содеянного благодеяния. Как она поступает с этими расписками? Наверное, прячет в комод и, улучив минутку, радуется, на них глядя.

Около четырех часов тетя поднимается из гнезда кассы. Окидывает взглядом торговый зал и задерживает взгляд на мне. Это приглашение подойти и заняться ее работой. Она надевает шляпу, вешает на руку огромный ридикюль из черного шелка и, шелестя платьем, выходит из магазина.

Я усаживаюсь на тетин табурет в кассе, еще хранящий ее тепло; тетя, как она на меня ни гневается, не рискнула все-таки отстранить меня от этого занятия, очевидно, боится обнаружить перед дядей свою внезапную неприязнь ко мне. Сидеть в кассе мне нравится; касса представляется капитанским мостиком, кафедрой учителя или амвоном проповедника, чем угодно, но местом, обособленным и вознесенным над множеством людей, которые взирают на тебя снизу вверх. Сказать по правде, в магазине меня никто не замечает, на тетю бросают иногда вопрошающие, опасливые или понимающе-насмешливые взгляды, но, когда я занимаю ее место, они делают вид, что в кассе никого нет. И если все же мне вдруг чудится, будто под подбородком у меня полоснули острием бритвы, я могу не сомневаться, что это взглянул главный бухгалтер. Те, кто мне платит, тоже едва ли замечают меня, озабоченные тем, как бы не просчитаться и все свое вернуть обратно.

Так или эдак, а я все равно люблю это место, отсюда магазин, обнажаясь весь, открывается предо мною совсем в ином виде, не так, как продавцу, лениво следящему из-за прилавка, не откроются ли двери, не покажется ли в них покупатель, и оживающему лишь в такие моменты. Я словно возношусь над ним, хотя кабина кассы лишь незначительно приподнята над уровнем пола торгового зала,

и вдруг охватываю магазин весь разом, во всей его сложности, обнаруживая соответствия и связи, скрытые от глаз рядового солдата. Стены магазина снизу доверху заставлены огромными полками, которые до отказа забиты томами и тетрадками — в порядке настолько надежно изученном, что при имени Моцарт или Кмох мой взгляд тут же отыщет место, где что находится; темный проем без дверей, ведущий на склад, где нотное изобилие умножается до бесконечности; продавец, листающий страницы, где по дороге из пяти линеек бегут, пляшут, настигают одна другую, сражаются и парят меж непостижимым небом и адом таинственные фигурки, состоящие из хрупких телец и тяжелых голов; а вот голые черепа делопроизводителя и главного бухгалтера; они сидят против окна, похожие на две ноты, затерявшиеся в безгласной пустоте, у двери в дядину канцелярию, — все это я охватываю единым восхищенным взглядом, который все оценил и рвется, будто сеть, перегруженная содержимым.

Понимаю, друг, понимаю. Здесь торгуют драгоценнейшим товаром — человеческим мозгом, а вернее — тем, что составляет самую его неуловимую сущность, — мыслями, которые не возникают дважды, мыслями, что рассеиваются, как дым в сумерках, а погляди — вот они, тут, слиты в сплав более твердом и стойком, чем сама сталь. Нас не станет, многие уже обратились в прах, но биение мысли, неохладелое, живое, трепетное, лежит у нас на складе во множестве экземпляров, сколько бы вам ни потребовалось. Ах, вот уж товарец так товарец, это мне по вкусу; некогда тут мужала, напрягалась, становилась на дыбы сила, непостижимая, неосязаемая и все-таки столь могучая, что одолела своего обладателя, и здесь, уважаемые, хранится то лучшее, что она добыла. Прекрасных дойных коров оставили вы после себя, почтенные гении, золото из них льется струею. Это мне по душе — выжимать плоды вашей силы. Я не слишком разбираюсь в музыке, она всегда звучала где-то за пределами моих интересов, но эта лавчонка меня прельщает, я бы ценил ее больше, чем ювелирный магазин.

Случаются дни, когда мы все вертимся как белки в колесе, не успеваем обслуживать покупателей, а то — неизвестно почему — ни одна нога, как говорится, не ступит на порог магазина. Сегодня как раз такой день. Магазин заволокло туманом сонной одури. Приказчик и ученик выравнивают на полках ряды нотных тетрадей, восстанавливая порядок, нарушенный в сутолоке вчераш-

него шумного полдня. Они не спешат с работой, время от времени останавливаются и глазают, уставясь в пустоту. Тишина почти полная. Изредка скрипнет перо делопроизводителя, только главный то и дело чмокает, шлепая толстыми мясистыми губами, словно пережевывая и проглатывая свою работу. Я же мечтаю в свое удовольствие.

Я расслаживаюсь со всеми удобствами, сиденье у табурета мягкое, а подлокотником мне служит ровная деревянная панель кабины кассы; это — сиденье для того, кто постоянно обязан держать свои чувства в узде и быть начеку, не зевать по сторонам. Пока я вертелся, выскивая наиболее удобное положение, какая-то бумага с шелестом упала мне под ноги. Нащупав уголок, я поднимаю ее; это письмо, уже открытое, тетя, прочитав, очевидно, положила его за спину, и оно завалилось между подушкой сиденья и стенкой кассы. Я не колеблюсь ни секунды — защищенный от посторонних взглядов барьером кассы, я вынимаю письмо, осторожно, чтобы шелест меня не выдал, разравниваю его на коленях. И тут же вижу: в письме благодарят дорогую сестру за дар в размере двухсот крон, которые передал общине для благочестивых целей брат Суйка. Подпись неразборчива: глава общины, название которой я прочитал сегодня впервые.

Мог ли я желать большего? Теперь они оба у меня в руках: пан главный бухгалтер Суйка, филантроп за чужой счет, надеявшийся драть с меня три шкуры, и моя достоуважаемая тетя, которая подбивала его на это. Я готов визжать и топтать ногами от радости, как в детстве, когда мне удавалось впутать Франтика Мунзара в порядочную драку; наверное, я даже покраснел от волнения, а выдать себя никак невозможно, об этом нужно помнить, ибо главный хоть и углублен в спешную работу, нет-нет да и кинет на меня взгляд, и не видно в нем ни христианской любви, ни снисходительности, ни милосердия.

Я аккуратно складываю письмо и прячу его в карман. Потом забиваюсь в угол кассы и раздумываю, как бы устроить так, чтобы письмо попало дяде в руки. Переправить контрабандой к дяде на стол вместе с корреспонденцией, которая приходит на его имя, — будто по ошибке. Да, так, пожалуй, было бы легче всего. Только всякому известно, что мне одному доверяют сидеть вместо тети и только я сортирую корреспонденцию. Вот я и сижу, в руках у меня оружие, о котором я так часто мечтал, а я не знаю, как пустить его в ход. Ведь суть не только в том, как убить этих

двух зайцев, но как уйти от ответственности за свой поступок. Никто даже заподозрить не должен, что я замешан в этом деле.

Дядя появляется в дверях канцелярии. На приказчика и ученика нападает приступ усердия, перо делопроизводителя скрипит, будто зубы окаянного, главный перестал чмокать губами. Нынче дядя припозднился, тетя ушла полчаса назад. Не остановившись в дверях, дядя направляется прямо к кассе, он хмурится, но я знаю, что хмурится он не из-за меня, а из-за того, что на месте, где должна бы сидеть тетя, ее теперь нет. Я — само внимание, как и все остальные, я слежу за ним собачьи преданными глазами; не замечая меня, дядя берет ключ, висящий в клетушке кассы, и выходит из торгового зала. Дом старинный, и магазин имеет свои неудобства: чтоб попасть в уборную, нужно коридором пройти в самый конец двора. Стоило дяде выйти, и словно прорвалась невидимая завеса, препятствовавшая в этот день клиентам войти к нам. В магазин вваливаются пять покупателей сразу. И делопроизводитель, и главный поднялись со своих мест. Гляди, как все вдруг ожили и нацепили на лица улыбки, рассыпаются в любезностях и чуть не переламаываются от предупредительной услужливости, бегают, суеются, подносят все новые и новые тома сочинений и тонкие тетради, раскладывают их, поясняют, мясистые губы главного шлепают, будто мельнички, перемалывающие молитвы, он восторженно кивает, приветствуя любое более или менее определенное пожелание клиента, и, радостно кудахча, оповещает, что разродился советом подумать еще. На обратном пути дядя непременно должен увидеть, что ему нигде не найти людей преданнее и заинтересованнее в деле, чем они.

В данный момент я слишком невнимательный зритель для этого спектакля, хотя изредка и сам становлюсь увлеченным актером. Что можно извлечь для осуществления моих планов из того обстоятельства, что дядя вышел в столь неурочное время? Ибо — это вполне естественно — дядины привычки и нужды определены с железной точностью. В пустой голове моей жужжат лишь голоса продавцов и покупателей, я не могу заставить их замолчать, ни одна порядочная мысль не идет на ум, чтобы заглушить их; вон, проклятая банда, вы мешаете мне думать. Господи боже, какое отчаянье — иметь в руках такое оружие и не смочь им воспользоваться! Наверняка обсчитаюсь, если кто-нибудь придет платить. Решение обрушивается на меня в тот момент, когда дядя открывает дверь. Никто из покупателей

еще ничего не выбрал. Я быстро вынимаю из кармана письмо, сую на прежнее место, наклоняю к дяде лицо, достаточно розовое от волнения, чтобы внушить ему неотложную настоятельность просьбы, которую я, смущаясь, шепчу ему на ухо. Дядя важно кивает головой, и, меж тем как я, схватив ключ, выскакиваю из магазина со скоростью человека, чью судьбу решат ближайшие мгновения, он вступает в кабину кассы с достоинством, свидетельствующим о значении услуги, которую он мне оказал.

Все завертелось так быстро, как если бы смерч ворвался в узкую улочку. Я ополоснул лицо у колонки на дворе, так что вернулся в лавку бледный, с холодными пальцами, словно избавившись от тяжкого желудочного расстройства. В торговом зале последний из покупателей все пытался превозмочь свою нерешительность, а слуга, вооружившись палкой со спиртовым фитильком, будто уличный фонарщик, зажигал газовые рожки. Тетя уже сидела в кассе со странным выражением не то растерянности, не то опаски и не удостоила меня даже взглядом. Между тем приказчик заворачивал последнему клиенту покупку, и я прокрался к своему месту за столом. Главный снова шлепал губами, склонившись над книгой расходов, и поглядывал на свою сестру во Христе, но так и не дождался ответного взгляда. Теперь, на рубеже сумерек и тьмы, наставлял миг, когда в магазине снова станет пусто, до той поры, пока огни витрин не запыхают так ярко, чтобы привлечь новых покупателей.

— Карел!

Это тетя зовет меня и улыбается, как некогда прежде, когда она держала надо мной охранную руку и осыпала своими милостями.

— Карличек, — тетя ласкает меня голосом и вымаливает прощение взглядом, пытаюсь в то же время быть настолько храброй и беспечной, что ее становится просто жалко. — Карличек, когда ты сидел тут, тебе не попадалось письмо в голубом конверте?

Лицом к лицу, не отводя взгляда, — вот как лгут люди.

— Нет, тетя, я ничего не видел. Мне стало плохо, а в магазине было полно, и я попросил дядю меня подменить. Может, он нашел?

Она глотает слюну, побелевшие губы шелестят, будто две слипшиеся страницы в книге, что никак не желают разлепиться. Как быстро семя пошло в рост и дало плод! Первое яблоко скатилось мне прямо в подставленные ладо-

ни, я вгрызаюсь в него и с жадностью высасываю сок. Тетя заметила мой алчный взгляд, а он заглатывает, до тошноты обжирается ее смущением и замешательством. И велит своему лицу: «Улыбайся!» И сражается со своим горлом: «Разожмись!» И приказывает губам: «Раскройтесь и говорите!»

Как легко мне усилить ее попытку! Я приподнимаю молоточек учтивости: тук, тук, смотри-ка, забиваю гвоздочек все глубже и глубже.

— А что, важное письмо, тетя? — спрашиваю я, разыгрывая заинтересованность. — Я пойду спрошу у дяди.

— Нет-нет, — выпаливает она в тревоге и выставляет руку, чтоб задержать меня. — Совершенный пустяк. Впрочем, возможно, я обронила его на улице.

Она подымается и шарит рукой, нащупывая шляпу.

— Я пойду наверх приглядеть за ужином. Побудь здесь.

Я ее понимаю. Она не в силах больше сидеть под взглядами стольких жадных глаз, выставляя всем напоказ лицо, исхлестанное сомнениями и страхом. Это гонит ее, теперь она примется бродить по дому, возможно, сожжет все прежние письма с выражениями благодарности общины, кроме того, ей нужно подготовиться к объяснению с дядей.

Главный крадется к кабине кассы, по лицу своей владычицы он прочел, почему она не пригласила его на совет, и помертвел от страха.

— Что там случилось у милостивой пани?

Изображая легкомыслие и безучастность, я пожимаю плечами.

— Потерялось какое-то письмо в голубом конверте, да, наверное, оно у дяди.

Страх посыпает пеплом главу главного, покрывает им и его лицо.

— Не может того быть, у хозяина его наверняка нет.

Он вдруг просовывает голову в окошко кассы. От головы несет помадой, и она шипит, будто разрываясь под напором ярости и злобы:

— Это вы, вы нашли его!

— Ну, не сходите с ума. Если бы я нашел, я бы передал адресату. И вообще — вам-то какое дело, — говорю я и добавляю унижительное и неучтивое: — приятель.

Смерч не улегся и продолжает свою сокрушительную

круговерть. Дядя, возникнув в дверях канцелярии, зовет меня:

— Карличек, возьми дневную выручку, кроме мелочи, и зайди ко мне. Пан делопроизводитель тебя заменит. Не вы, пан Суйка, не вы, — кричит он главному, ринувшемуся было в кассу, — я сказал, пан делопроизводитель.

Красная циновка поскрипывает под широкими дядины ми шагами.

— Пересчитай, сколько это составит. Приблизительно. Скonto проведем вместе позднее.

Я сортирую банкноты по их стоимости, отсчитываю, тороплюсь, сбиваюсь, несколько раз начинаю снова, дядя не прекращает своего скрипучего марша по красной циновке.

— Тысяча двести десять, — наконец объявляю я.

— Отсчитай трижды по двести сорок, это семьсот двадцать, нет, постой, еще раз — двести сорок, — приказывает мне дядя капитанским голосом.

Я снова пересчитываю банкноты, замусоленные бумажки, промаслившиеся за время обращения, липнут к пальцам, потным и влажным, дядя по-прежнему скрипит, широкими шагами расхаживая по красной циновке, фортепьяно вторит им чуть слышным эхом.

— Готово? Семьсот двадцать положи вот в этот конверт, а двести сорок — в тот. — Дядя распоряжается непривычно поспешно, запинаясь на цифрах. Потом выуживает из кармана пиджака благодарственное письмо общины и подает его мне.

— Тебе это послание знакомо?

— Не помню, дядюшка.

— Лежало в кассе на стуле.

— Меня тошнило с самого начала, как я туда пришел. Я не заметил.

— Так вот, прочти.

Я тщательно слежу за тем, чтобы читать так, будто это письмо попало ко мне впервые. Я знаю, что дядя не спускает с меня глаз, хотя, быть может, совершенно не имея в виду поймать меня с поличным и уличить во лжи. Я испытываю чувство необыкновенное, и если бы мог, то похлопал бы себя по сердцу, призывая к спокойствию, как извозчик — свою лошадь, трепля ее по шее. Милый дядюшка, это выражение на твоем лице нарисовал я, я, я! А ну, фигурки, пошевеливайтесь, вертитесь, я держу ваши ниточки, я раздал вам роли и жду не дождусь, что же вы начнете декламировать.

— Что ты на это скажешь?

Пожав плечами, я сваливаю с себя бремя суда. Взвесив каждое свое слово, я выпускаю их, — не торопиться, хорьки, вы еще не на охоте, вы нужны лишь для заправки.

— Не знаю, дядюшка. Я и не представлял, что тетя так набожна. Выходит, сердце у нее доброе.

— Сердце у нее доброе, — задыхается дядюшка и, не желая кричать, вскакивает, будто готовясь броситься на меня, но бежит только поплотнее прикрыть двери. Ему нужно выговориться, или его задушит гнев. — Я тоже набожный, ты не думай, хотя и не хожу класть поклоны господа богу, я никогда с ним не ссорился, ему — молитва, мне — работа, я так гляжу на это дело. Но чтобы во имя божие я позволил обобрать себя — так не пойдет, сынок, нет, не пойдет. «Доброе сердце», ты говоришь, «доброе сердце» у того, кто за здорово живешь выбрасывает мои деньги невесте кому и незнамо зачем. Двести крон! Сколько раз ты был свидетелем, когда я препирался из-за гонорара много меньшего?! А этот гонорар был куда более заслужен, кто знает об этом лучше, чем я? Сколько раз, бывало, нужно бы автору дать вдвое, чем он запрашивал, а то и больше, а я все-таки сбавлял — и все-таки договаривался. Я торговец и обязан так поступать. Уступи я одному — на меня набросятся все и в мгновение ока пустят по миру. А тут — одним махом двести крон! Да это гонорар за цикл пьес или за целую тетрадь танцевальных сочинений, которые — держу пари! — оторвут с руками. Двести крон! Имею я право знать, как давно они уплывают из моего кармана, сколько лет, сколько раз в год или в месяц?

Положив голову на руки, дядя стискивает виски, будто намереваясь в этих тисках раздробить ее. И, словно супруг, обнаруживший непостижимую измену жены, дрожащим голосом всхлипывает:

— Боже мой, а я так ей верил!

Кого или что он так сильно любил? Свою жену или свои деньги? Такого наслаждения, как в эту минуту, я не испытывал, даже когда Франтик Мунзар схлопатывал одно из самых суровых наказаний. Такой кремьень, как мой дядя, обычно сыплет искрами властительного произвола и мучит жестокостью, а теперь — глядите — размяк, теперь обидя человека, претерпевшего обман, чуть ли не слезы выжимает у него из глаз. Я делаю попытку нанести ему еще один удар. Ведь это представление инсценировал я, вот я и пробую удержать его в своих руках, пока герой, гонимый

страстью, не начнет вести себя как ему свойственно. Я подкидываю ему намек, а он и впрямь отвечает на него в духе отведенной ему роли.

— Тетя не так уж виновата, — замечаю я. — Просто по доброте своей позволила себя провести.

Дядя подсказывает, словно ждал именно этих слов.

— Да-да, ты прав. Она оказалась просто глупа, непростительно глупа для жены торговца. Позови мне сюда этого Суйку, а сам не уходи. Будешь свидетелем.

Я чуть не скачу от радости, как в детстве. Впрочем, детство в человеке отмирает медленнее, чем это принято считать, а многие его черты не исчезают до самой старости. Мне посчастливится увидеть еще одно действие этого спектакля, едва ли не самое драматическое.

В магазине приказчик заворачивает покупку последнему клиенту, с улицы доносится грохот опускаемых железных штор, от этого звука все внутри содрогается, но звук этот радостный и возвещает конец рабочего дня, отдыха и покоя; на несколько часов, пока тебя не сморит сон, ты имеешь право снова стать самим собой, если до сих пор от этого не отвык начисто.

Двери за последним покупателем захлопнулись, и железные шторы опущены более чем наполовину, что, однако, иногда не мешает ретивому покупателю ворваться сюда.

— Пан Суйка, — кричу я через весь зал, предопределяя тем самым ход событий, и все, обмерев, оглядываются, потому что долгие годы никто ни разу не слышал, чтобы, обращаясь к главному бухгалтеру, не употребляли его титула, словно речь шла о пане Йозефе со склада.

И, довершая общее удивление, главный мгновенно вскакивает со своего места, будто рядовой, окликнутый капралом, и движется через весь зал поспешным крадущимся шагом, машинально, наверное, потирая при этом руки; покрасневшими, стеклянными глазами он смотрит прямо перед собой, но наверняка никого не видит вокруг. Останавливается он только подле меня и вглядывается мне в лицо, словно надеясь разгадать, что случилось. Кивком головы я позволяю ему пройти впереди себя, а потом закрываю за нами обоими двери.

Подивитесь: торговцы лучше управляют своими нервами и мимикой, чем актеры. Дядю не узнать: он улыбается главному, предлагает ему сесть. Эта улыбка тут же, словно в переменчивом зеркале, отражается на лице Суйки, его губы волнует улыбка, их мясистые уголки ползут вверх.

Главный легонько опускается на раскаленную плиту своих недоумений, не переставая первно мять руки. Он нюхом чувствует важность момента, только тщетно силится отгадать, что ему уготовано.

— Я и представления не имел, пан главный бухгалтер, — приветливо обращается к нему дядя, — что вы и моя супруга — члены одной общины. К чему такая таинственность в деле столь похвальном, почему вы не пришли с ним прямо ко мне? Отчего мы там представлены лишь одним членом? Вся наша семья могла бы войти в нее.

Ну, как вам на этих качелях, пан Суйка? Чудилось ему, будто летит в пропасть, а тут вдруг — нă тебе: вознесен наверх. Ему даже не приходит в голову, что вопрос этот дядя должен бы задать тете, а не ему.

— Ах, господин шеф, я не предполагал, что вы тоже изволите... Разумеется, я...

Дядя прерывает его обыкновенным своим решительным тоном, каким судит о торговых делах:

— Ведь это же наш непреложный долг. Но я, обремененный столь разнообразными заботами, не в силах помнить обо всем. Вы должны бы прийти ко мне сами. Да, и давно ли моя жена является членом вашей общины?

— Два года, с вашего позволения.

— Два года.

Дядя качает головой, словно сожалея о потерянном времени, когда он был лишен участия в делах общины. Я смотрю на него — и поражаюсь. В его глазах не прочитывать ничего, кроме того, что он сам намерен внушить. Как же долго сумеет он продержаться в узде обезумевшую упряжку своего гнева? Развернув перед собой письмо общины, он читает.

— Угодные богу цели и божье благословение, — бормочет он, будто погрузившись в размышление. — Это нам всем надобно. Этого нам всегда не хватает. — И продолжает, наморщив лоб, несколько пренебрежительно и недовольно: — Двести крон. Если их вносят ежегодно или раз в полгода — это же меньше, чем милостыня, недостойная нас. Вот что получаешь, коли водишь дела с бережливыми женщинами.

Попавшись на эту удочку, главный покидает надежный берег благоразумия и взвизгивает за ней.

— Ах нет, пан шеф. Вы были бы несправедливы к милостивой госпоже. Это — регулярное месячное пожертвование, и, безусловно, весьма щедрое. Великодушные

и доброта милостивой супруги вашей возбуждают всеобщее восхищение и почтение.

— Двести крон ежемесячно, двести крон ежемесячно, — в голосе дяди звучит приглушенный вопль и рев. — Две тысячи четыреста ежегодно, четыре тысячи восемьсот крон за два года. Две тысячи четыреста золотых. Покажите же мне автора, которому я выплатил столько денег за два года! И все это я терпел и лелеял в своем доме!

Лямки притворства лопнули, пружина ярости раскрутилась, дядя вопит, будто моля о своем собственном спасении:

— Вон! Чтобы через час духу вашего здесь больше не было. Вот ваши двести сорок крон за февраль, а здесь — семьсот двадцать за следующие три месяца. Не стоило бы вам их давать, но это — только лишь за то, что я тут возился с вами чуть ли не двадцать лет.

Ошалевший от столь неожиданного поворота дела, главный берет конверты из дядиных рук и растеряннно мнет их в ладонях.

— Вон! Ни секундой больше не желаю вас видеть.

Автоматическим шагом полупомраченного человека, который все еще не ощутил боли и не понял даже, что с ним приключилось, главный направляется к двери. Но взявшись за ручку и повернув ее, он будто узрел за дверью лик своей дальнейшей судьбы. Он поворачивается, падает на колени и ползет назад, к дяде.

— Двадцать лет, — лепечет он, — двадцать лет. Это невозможно, господин шеф. Я невиновен, милостивая госпожа сама так пожелала. Я желал лишь только угодить ей. Я за это не в ответе. Господин шеф, двадцать лет! А у меня трое детей. Что мне теперь делать? Что сказать дома? Какой позор!

Дядя выставляет вперед свой стул, а сам отступает за стол, ярость его еще не улеглась, еще не может улечься, постоянно возвращается, стоит лишь ему вспомнить о на ветер брошенных четырех тысячах восьмистах кронах.

— Вон, — кричит он, — вышвырните его вон! Позовите Йозефа, Карел.

Я распахиваю двери, весь наличный состав служащих магазина и склада стоит за прилавком на расстоянии нескольких шагов отсюда и напряженно вслушивается. Пан Йозеф будто еле-еле шевельнулся, но вот он уже рядом со мной, стоит набычившись, длинные обезьяньи руки, оттянутые тяжелыми пачками нот, алчно шевелятся, в глазах пылает мстительное злораство. У него тоже свои счета

с паном Суйкой, но кто поверил бы, что когда-нибудь дело дойдет до расплаты? Подступив к главному, Йозеф кладет ему на плечо свою тяжелую лапу.

— Не валяйте дурака, пошли, — говорит он с угрожающей непреложностью.

Главный вздрагивает, словно вдруг очнувшись от нелепого сна, и его отчаянное вмиг обращается бешеной яростью человека, которого годами попирали ногами, а теперь еще унижают на глазах у тех, кого он сам топтал, соблюдая субординацию в праве тиранить. Он выбегает и кричит, слюни скапливаются в уголках его мясистых губ, и он брызжет ими вокруг:

— Не смейте притрагиваться ко мне! Никто! Я сам уйду из этого злодейского логова.

Он указывает пальцем на дядю, фехтуя этим писарским клинком, испачканным чернилами, и верещит поразительно высоким голосом:

— Хотел ты лишиться бога его мзды, да он тебя найдет. Недаром о тебе говорят и пишут — акула ты и кровавый пес. Бог тебя отыщет.

Довольно. Можно опустить занавес. Актеры, захваченные своими страстями, несколько расшалились, но в целом представление можно считать удачным, оно доставило мне удовольствие и радость. У себя на чердаке я перечитывал его сам себе много вечеров подряд, засиживаясь за полночь, смакуя каждый жест, ухмылку, и слова действующих лиц, и тон, какими они были сказаны.

Добился я и материального вознаграждения.

Я стал главным бухгалтером и дядиным наперсником.

5

Мне неизвестно, что произошло между дядей и тетей, могу сообщить только о следствии: на следующий день тетя в магазине не появилась, вместо нее в кассе восседала Маркета.

В тени кабины светится ее бледное лицо. Выглядит она, будто после бессонной ночи, ночное бдение углубило темные провалы под глазами, слезы смыли дочиста розовую краску со щек. Вид ее терзает меня, этого я не желал. По мне, пусть хоть целый свет корчится в судорогах, перегрызает глотки и расшибает головы, но ты, Маркета, ты должна быть счастлива.

Улучив момент в «мертвую пору» около десяти утра, когда нет ни одного покупателя, а все служащие торопливо и украдкой глотают завтраки, я подошел к ней.

— Что тебя здесь посадили, Маркета? Уж не больна ли тетя?

Мне хочется сказать ей нечто особенное, ну хотя бы, что она слишком хороша для наших катакомб, но язык прилип к гортани, и я выдавливаю из себя лишь самое необходимое.

Она взглянула на меня сквозь туман ночного плача.

— Теперь я тут буду сидеть всегда. Маменька не желает больше спускаться в магазин.

Она наклонилась ко мне, чтобы прошептать, что вчера впервые столкнулась с чудовищем-жизнью и до сих пор никак не может опомниться от этого ужаса.

Из-за тебя, слышишь, из-за тебя! Так вот всегда: стоит тебе только начать, остальное уже происходит помимо твоей воли и даже вопреки ей. Словно ты наделен властью высекать из скалы источник, который потом подхватывает и несет тебя самого.

— Отчего это вчера они так, Карличек? Мне даже показалось, будто они никогда не любили друг друга. Папенька злой. Коли не был бы злой — не кричал бы так на маменьку. Ведь она же ни в чем перед ним не виновата. Разве дурно быть набожной и делать другим добро? Ведь они сами отдали меня в монастырь, а там нас учили, что это самая высшая добродетель.

Этого я не желал. Я стоял перед ней свесив голову, не зная, что и отвечать. Это было худшее из зол, на какое я оказался способен. Словно я взял за руку доверчивое дитя, подвел к раскаленной плите и сказал: «Смотри, как чудесно пылает. Потрогай!»

Можно было бы считать, что лучшего результата моя игра дать не могла. Мое положение в магазине упрочилось. Я занимаю место главного бухгалтера, и всякому ясно, что дядя видит во мне своего преемника. Мы приняли нового приказчика, а старый пересел за мой стол. Может быть, делопроизводитель Плицка в глубине души задет. По справедливости, наверное, говорит он себе, главным должны были назначить меня. Но пан Плицка — смирный человек, не способный ни на бунт, ни на интригу. Впрочем, когда так легко выставляют на улицу служащих, проработавших в магазине двадцать лет, лучше не слишком обращать на себя внимание, попытаться быть как можно менее заметным, помалкивать и делать свое дело.

Теперь мне уже незачем следить, не ухмыляется ли кто

за моей спиной. Стоит мне обратиться к кому-нибудь, навстречу мне спешит согбенная учтивость и сама любезность. Дядя работает как проклятый, похоже, будто у него ничего уже не осталось на целом свете, кроме работы и меня. Он поминутно требует меня к себе, чтобы еще раз посоветоваться со мной насчет дел, которые им давно уже решены. Ему необходимо говорить и чувствовать кого-нибудь рядом. Дома его встречают только молчанием. Он обошелся слишком круто, и вот — расплата. После стольких лет безоблачного супружества между ним и женой выросла стена. Ни тот, ни другой не в состоянии этого осознать, но и помочь себе они не в силах. Наверное, теперь дядя пошел бы на попятный. Да не может. Потому что сразу сломается. Не был бы он Методеем Куклой, владыкой, чьи приказы и распоряжения обжалованию не подлежат. Некогда, вставая от стола после обеда и ужина, он подходил к жене погладить ее по голове. Ныне ладонь его пуста. Он поднимает ее и беспомощно роняет снова, не в силах выдержать бремени этого жеста. Наверное, этой ласки ему недостает больше всего. Это очень напоминает вдовство — по крайней мере, ладонь его овдовела. И это совершенно непостижимо: ведь жена его, как и прежде, ходит возле, но его она словно не видит, а слова произносит только самые необходимые.

Весь день у него такое ощущение, будто в ладонь его веет ледяной ветер. Время от времени он рассматривает ее, надеясь, наверное, сызнова обнаружить утраченное, желая изгнать оттуда неотступный холод, трет ею колено, чтоб она согрелась.

Все чаще и чаще мы слышим, как он встает и расхаживает по канцелярии. Направляется к двери, но всегда вовремя спохватывается и снова ходит — туда-сюда, туда-сюда. Он должен себя превозмочь, должен разнести шагами желание — за день оно накатывается на него столько раз! — пойти и вернуть своей ладони то, чего ей так не хватает. Но Кукловы не выпрашивают милости. Почему не придет она сама, ведь это стряслось по ее вине?! Может, он был суровее, чем надо бы, но он не в силах взять обратно ничего из того, что сказал и сделал. В том состоянии вся правда его жизни, ей он не способен изменить так же, как научиться летать или сочинять стихи.

Никто и никогда уже не принудит тетю снова вернуться в магазин и занять свое место в кассе. В ней было оскорблено нечто более глубокое — не только женщина, на которую кричит муж. Ей чуть ли не было заявлено, будто она во-

ровка, а ведь, сознавая грехи, которыми обременен этот дом, она одна попыталась за всех его членов задобрить бога молитвой и добрым деянием. Иначе не могла. Это страшило ее и днем и ночью: белые ногти протягивались к ее мужу, а нестройный хор визжал: «Акула! Кровавый пес!» Почему о нем так говорили, почему писали, будто он сколотил свое богатство на крови и трудах лучших сынов чешской земли, меж тем как сами они, кормившиеся обглоданными костями жалких гонимых, умирали с голоду? Разве можно было так писать о нем, если бы в том не было хоть крупицы правды? «Этого тебе не понять», — твердил он, когда она пыталась разговаривать с ним на эту тему и упрашивала быть милосерднее к несчастным авторам.

— Я даю им больше любого другого, иначе отчего бы они все ко мне валили валом? Я никого не зову, не привлекаю, — отвечал он, будто его предприятие совершенно свободно могло обойтись без такого излишества, как авторы, чьи произведения он издавал, — пусть идут в другое место, я же в Праге не один. Не тревожься, это всего лишь вопли конкурентов, которые завидуют моим успехам и притворяются, будто их заботят только благосостояние авторов и еще некие священные национальные интересы.

Она верила и не верила ему, но больше всего — любила, и, чтобы рассеять свои сомнения и страх за вечное спасение его души, усиливала религиозное рвение, и пробовала все пути, ведущие к снисканию божеского милосердия.

Ныне у нее осталась только молитва, с помощью которой она уповала смирить неумолимую божескую волю. Последним своим поступком дядя рассеял остатки ее сомнений и теперь предстал пред ней именно таким грешником, которых господь избирает, дабы значительностью их вины и наказания явить предостерегающий пример остальным. Он грубо отверг сострадание, оттолкнул простертую к нему руку. Оставалось положиться лишь на бесконечную божескую доброту. Сможет ли кто предугадать, как бог пожелает смыть столь великое оскорбление? Тете казалось, будто она уже слышит над крышей своего дома шум черных крыл вестника возмездия. Кого сей вестник коснется дланью, обжигающей и холодной? Как знать, не установлено ли богом наказать виновного в тех, кто ему дорог? Но поскольку — несмотря на глубочайшее оскорбление и гнев — она не переставала любить своего мужа и неколебимо веровать, что и он также любит ее, тетя готова была

отвлечь божье внимание на себя и подставляла под удар свою голову за двух любимых. Ибо рядом была еще Маркета, а мы не должны забывать, что наказание господне чаще всего постигает нас в детях и в их судьбах. Остается лишь молитва, слезная и неизбежная. Тетя обходит костелы, выстаивает на коленях заутрени, склоняет голову во время вечерних благословений. О хозяйстве уж не помнит, вся ее энергия сосредоточена на одном: отвлечь от них возмездие, которое, как она видит, грядет.

Я пойман в сети, которые сам расставил другим, я пойман, потому что в них запуталась и Маркета. Я не испытываю счастья, хотя теперь мне позволено любоваться ею целые дни. Магазин, высокий и серый, от пола до потолка заставленный полками с нотами, где толстыми слоями оседает неистребимая пыль, — нездоровое место для Маркетиной прелести. Она тут зачахнет подобно росткам гиацинтов, взшедшим в полумраке подвала. Я подбираю ее улыбки, и каждая терзает мне сердце.

Однако Маркета, хотя с ее именем и всем, чем она для меня стала, я связываю лишь хрупкость вьюнка, который не может существовать без солнца, ясной погоды и посторонней помощи, была еще и дочерью кремневого Методия Куклы и его неутомимой энергичной жены. Она была несчастна из-за раздоров родителей и из-за того, что уже не могла безоглядно любить своего отца чистой восторженной детской любовью, но она не была создана для того, чтобы вешать голову. Она разместилась в кабине кассы с такой естественностью, с какой некогда там царила ее матушка, она сидела в ней, принимала оплату и давала сдачу с таким достоинством и такой грацией, что никто ни на минуту не мог усомниться: перед ним — некто больший, чем нищенски оплачиваемая рабочая сила, которую с утра до ночи страшит призрак ошибочно переданной сдачи, за что придется расплачиваться из своего убогого жалованья. Заметив, что мать перестала заниматься хозяйством, она бесстрашно взяла на себя и это дело. Служанкам, сперва сбитым с толку ее молодостью, приветливостью и улыбками, которыми она сопровождала свои приказы, очень скоро пришлось признать, что она умеет настоять на точном их исполнении столь же непреклонно, как и ее матушка. И если мне представляется, будто ее тяготит ее положение, это всего лишь измышления влюбленного. Тем не менее, набравшись храбрости, я сообщаю о своих опасениях и сомнениях дяде. Он, пораженный, глядит на меня, не понимая.

— Неужто это умаляет ее достоинство?

С тех пор как я увидел дядю, доведенного до невменяемого состояния муками уязвленной скупости, я могу разговаривать с ним без дрожи и заиканий. Я говорю о Маркетином здоровье, о том, что для девушки ее возраста необходимы движение, воздух, выходы в свет.

— Здоровье, здоровье, — усмехается дядя. — Ты больше о себе заботься. По-моему, ты ни одной приличной прогулки не совершил с тех пор, как у нас появился. Маркетино здоровье. Она Куклова — и этого достаточно. Ее мать ненамного была старше, когда впервые села за кассу, а просидела в ней без малого тридцать лет. Поди-ка и спроси про ее здоровье! Маркета чуть ли не в кассе и родилась. Это — ее место, такое же наследственное, как трон. И там она будет сидеть, когда станет владелицей магазина. Свое благосостояние Кукловы созидали собственными руками, они не привыкли полагаться на других. И так будет всегда. Ей никак не повредит, если она уже теперь усвоит свои обязанности.

Я натолкнулся на стену мышления неумолимого человека, для которого накопительство само по себе являлось главным смыслом существования. Ему в голову не придет, что свое состояние он может использовать как-нибудь иначе, не для накапливания нового; от своего богатства, кроме забот о том, как его удержать и приумножить, кроме тяжкого, рождающего бессонницу страха его лишиться, дядя никогда ничего не получит. «Вот когда я стану тут хозяином, — говорю я себе, — все будет иначе. Я напую жизнью бесплодную почву неупотребленного богатства. Ради Маркеты, да, единственно ради нее, ибо никто другой мне не нужен».

Еще раз, однако, я попытался вызволить Маркету из плена торговли. Однажды, когда она показалась мне особенно бледненькой, я отправился к тете.

Комната в третьем часу пополудни залита потоком яркого предвесеннего света. Тетя одевалась для своего обычного обхода пражских костелов. Этот задорный молодой свет, хотя его беспощадная резкость и была несколько притушена портьерами, оказался к ней немилосерден. Он очерчивал ее облик, выделяя глубокие борозды морщин, являя мне лицо, памятное своей формой, но совершенно чужое по выражению: глаза тети пылали, а плотно сомкнутые губы вытянулись в одну жесткую прямую линию. Красота, щемящая сердце напоминанием о многих чертах Маркеты, красота, мерцающая и изменчивая, составленная

из противоречий, нежности и порывистости, доброты и энергии, красота, которую время только преображало, но не губило, забылась тут нынче сном, как под надгробным камнем.

Я не видел тетю уже несколько недель. С тех пор как меня назначили главным и положили двести крон жалованья (дядя, производя эту реформу, не забыл извлечь из нее экономию в сорок крон, объясняя это тем, что я еще слишком молод и для положенных мне двухсот), я уже не был зван даже на воскресные обеды и питался в трактире, расположенном поблизости. Мне не удалось не выказать своего удивления, и это не укрылось от тети. Уста ее не расслабились, их не тронула улыбка, когда она произнесла:

— С чем пожаловал? В такое неудачное время. Я ухажу. Мне некогда.

Бессердечным своим приветствием она превратила меня в мальчишку; я чувствовал, как язык разбухает и коченеет во рту, мешая дыханию. Резко отрицательное отношение, которое она теперь постоянно проявляла ко мне, поняв характер моей привязанности к Маркете, усилилось до степени полного неприятия. Очевидно, ей я был обязан тем, что меня перестали приглашать к семейному воскресному столу. Несмотря на всю свою скупость, дядя не стал бы экономить на тарелке супа. Она — вполне вероятно — подозревала, что я подстроил историю с письмом, хотя я был убежден, что все следы ведут к дяде и обрываются на нем. Я вертелся ужом на раскаленных углях ее взгляда.

— Тетя, когда ты вернешься в лавку? — наконец выдавил я.

Она уколола меня насмешливым вопросом:

— Тебе, видно, скучно там без меня?

Она понимала, что ставит меня в неловкое положение, и я точно знал, что, как бы я ни ответил, слова мои прозвучат для нее звоном фальшивой монеты. От нее я ничего не мог утаить. Ее взгляд, казалось, пронзал меня насквозь, она читала в моей душе, будто на оконном стекле, исписанном знаками предательского пальца. Я мог льстить себя надеждой, что в купели моей любви к Маркете слова мои покроются амальгамой искренности и прозвучат полнозвонным звоном. Переплетя, словно нечаянно, опущенные руки, я произнес:

— Тетя, пожалуйста, вернись в свою кассу. Неужели ты не понимаешь, что Маркета страдает от твоего упрям-

ства? Она слишком молода и хрупка, чтобы выдержать без ущерба для себя ежедневные сидения на одном месте.

Некоторое время тетя смотрела прямо перед собой, ничего не видя. Наверное, она была поражена и сбита с толку горячностью моих слов и теперь прислушивалась к их отзвуку, который отдавался в сложных переходах ее мысли. Меж тем как многие рассыпались совиным уханьем, одно непрестанно звучало во всей своей полноте. Маркета страдает. Мы все страдаем. Лишь страданье уберегает нас от большего страдания. Меньшее страдание уберегает от великого. Будничное и мелкое — от одного нескончаемого. И нет у нас ничего иного, чем можно бы еще преградить ему дорогу.

Отвечая кому-то, не мне, тетя произносит:

— Видно, и впрямь страдает, да только, может, это убережет ее от страдания куда большего...

Она улыbnулась далекой надежде, но тут же, будто расслышав воронье карканье подозрения, резко заметила:

— А вообще, какое тебе дело до Маркеты, чего ты о ней печешься?

Мне не пришло в голову ничего лучшего, и я сказал только:

— Я ведь все-таки брат ей.

Тетя перекрестилась, насмешливо изображая страшный испуг:

— Боже, смилуйся надо мной. Чуть было не запаматовала. Вы с Маркетой — родные. Если бы родство было чуть поближе, я пришла бы в отчаяние.

Я не ждал столь резкого нападения, съежился, чувствуя, как голова уходит в плечи. Тетя наклонилась ко мне, руки в черных перчатках вытянулись и схватили меня за лацканы пиджака.

— Разгадала я тебя, племянничек. Померещилось тебе, будто тепленькое местечко нашел, где можно прочно угнездиться. А Маркета тебе в этом вроде бы пользу должна принести. Я бы сей момент выбросила тебя вон, если бы не была убеждена, что ты здесь по воле божьей. Видно, тебе судьбою предназначено подвергнуть нас наказанию, которое бог нам определил. Не настолько я безумна, чтобы противиться господу, попробую смягчить его. Дурной глаз у тебя, тут сомнений нет. Двадцать пять лет прожила я с мужем в мире и согласии. Ты у нас только год, а между нами пропасть, которая навряд ли когда закроется. Твоя ли

в том вина? Пусть бог нас рассудит. Знаю лишь, что ты на этом нажился и хотел бы наживаться впредь. Но запомни — пусть дядя покровительствует тебе сколько угодно, но Маркета не будет твоей жертвой. Сиди себе целыми днями рядом с ней, пожирай ненасытными глазами, но получить ты ее никогда не получишь. Никогда, слышишь?

Она легонько теребила меня, подчеркивая каждое свое слово, а кончив, оттолкнула от себя. Меня охватило отчаянье, от слабости подогнулись колени. Я с мольбою сжал руки, теперь уже не притворяясь и не играя, и выкрикнул:

— Но, тетя, я ведь ее люблю!

Не знаю почему, но ее взгляд вызвал в моей памяти давно забытый образ учителя Зимака, когда он сказал мне: «Но плевать-то в него не надо бы».

— Неужели ты хоть кого-нибудь любишь?

Один за другим она вколачивала в меня, будто гвозди, безжалостные слова!

— Тебя гложет червь. Я вижу его в твоем взгляде и знаю, что, приложив я ухо к твоей груди, услышу, как он точит твое сердце. Такой человек никого любить не может.

Она ушла, а я еще долго не двигался с места. И, кажется, ни о чем не думал. Только уронил голову на грудь. Слушал, что творится с моим сердцем! С червоточинной человек. С изъязном.

6

Дядя пригласил меня пойти с ним на концерт. Его интересовал Ян Болеслав Кленка, молодой пианист-виртуоз и композитор. Консультанты горячо рекомендовали его дяде: дескать, исключительный талант, от которого можно ожидать очень многого. Ученик великих мастеров, он недавно вернулся из большого турне по России, Германии и северным странам, оглушительная его слава эхом прокатилась по страницам наших газет. Сегодня впервые после своего возвращения он играет в Рудольфинуме. В программе — Шопен, Бетховен, Сметана и собственные сочинения. Последние особенно любопытны дяде, их партитуры лежат у него на столе, поскольку готовится их издание.

Фиакр провез нас коротким путем с Карловой улицы до

Рудольфинума. Дядя сидел рядом с тетей, а Маркета — подле меня. Милосердная тьма, лишь чуть-чуть подкрашенная лимонным соком газовых фонарей, пролегла между нами, и грохотанье колес по неровной мостовой заглушало наше молчание. Маркета легонько дрожала, я не думаю, что ей было холодно, просто в ней вибрировали крылья молодости. Она еще умела воспринимать реальность, как сон, и наяву двигаться, словно во сне. Огромный зал, залитый светом, множество нарядно одетых мужчин и женщин, шум голосов, смех и, наконец, — музыка. Все это она живо представляла себе уже теперь, сидя во тьме тряского фиакра. А когда мы прибудем на место и зазвучит музыка, тогда она снова отправится куда-то, но будет бродить уже по иным местам, может, по лугам или садам, — где так хорошо мечтать, идя рука об руку с непонятным и неназванным желанием.

Нас проводят в ложу с правой стороны. Партер под нами уже почти полон; иногда кто-то поворачивается в нашу сторону и улыбается в знак приветствия. Тетя с великим напряжением играет роль жены крупнейшего пражского музыкального издателя. Она надела маску благоклонной, всем довольной и приветливой женщины, которую тут же снимает с себя, и с трудом пробуждается для нового проявления жизни. Бедная тетя! Она непреклонно убеждена, что каждой улыбкой, которую она выдавила из себя, она становится соучастницей греха и отвращает воздействие нескончаемых молитв, назначение которых — отвести наказание. Когда, войдя в ложу, я помог ей снять пальто, она едва на меня взглянула, и быстрый взгляд ее как бы сказал при этом: «Ну, поглядим, чего ты пыжишься. Напрасно стараешься, племянничек, между нами все кончено». Теперь она делает попытку не смотреть в мою сторону, и это искушает меня то и дело наклоняться к ней и напоминать о себе любезными пояснениями, в ответ на которые она едва цедит сквозь зубы нечто односложное.

Дядя стоит у нас за спиной, черный фрак лишь подчеркивает его неприступное достоинство. Он не садится, пока концерт не начался, потому что к нему поминутно заходят позвать руку, перекинуться двумя-тремя словами и поклониться дамам. Среди посетителей — давнишние приятели, которые могут позволить себе такую доверительность и спросить, отчего они не видят больше тетю в кассе магазина. Отметив, как неохотно тетя отвечает на это, они, возможно, тут же жалеют о своей нескромности и готовы

забрать свои слова обратно, но кто мог предположить, что со столь невинным вопросом можно попасть впросак? Тете не хочется лгать, — разве с каждым словом не возрастает грех? — и она сообщает лишь то, о чем и так всем известно: Маркета вполне заменила меня. Избавила ли она тем самым мир от лжи, а может, позволила ей, напротив, возрасти? Ведь можно лгать и молча, так, наверное, говорит она себе, и я вижу, как ее руки двигаются на коленях, пока не смыкаются наконец, а губы тихо шевелятся, чтобы тем плотнее потом сжаться.

Но Маркета словно бы не замечает ничего, что не касается непосредственно ее самой. В эти минуты она счастлива, как ребенок в кукольном театре. Пожилые, обросшие волосами или лысые господа склоняются к ее руке, отпускают комплименты, шуточки и шутки, чуть отеческие и несколько фривольные, по-старинному изысканные и любезные. Спесь и высокомерие взбивают их гривы и раздувают двойные подбородки; притворно безразличные, они ловят взгляды, на них обращенные, но перед дядей рассыпаются в любезностях, не забывая все-таки некоторым образом подчеркнуть, сколь драгоценно их учтливое внимание. Они умеют это обставить так, что вы никогда не догадаетесь, кто из них получил большее удовольствие от этой встречи. Один корифей с головой льва, чья буйная грива уже довольно значительно отодвинулась со лба на затылок, известный учитель фортепьянной игры и ректор консерватории, чьи школы, этюды, упражнения по беглости пальцев основали фундамент дядинного предприятия, произносит благосклонно и очарованно:

— Ах, это ваша дочь. Ей-богу, это лучшее из того, что вы когда-либо издали, дорогой мой.

И ждет, что ему отплатят тем же.

Маркета улыбается и отвечает своим мягким, чуть глуховатым голоском. Она тут, с нами рядом, и вместе с тем где-то еще, взгляд ее то отдаляется, то возвращается обратно, в нем словно трепещут крылья бабочек. Если бы я мог взять ее за руку, то ощутил бы биение пульса. Чем же она так взволнована, чего ждет? Я бы сказал: ждет она чего-то не меньшего, чем чудо.

Ректор консерватории застрял в нашей ложе. У него есть свое место внизу, в партере, но здесь, кажется, ему дышится вольней. Кроме того, он немного неспокоен. Ян Болеслав Кленка — его ученик, тот единственный, неповторимый, кем всякий учитель желал бы увенчать дело своей жизни. И его волнует, как примет молодого виртуоза

привередливая пражская публика, которую на всякий случай ректор бранит уже загодя.

Кленка возникает на сцене как-то неожиданно, слушатели разговорились, словно давно забыв, зачем они, собственно, здесь собрались. Высокий, крупный молодой человек. Впечатление такое, будто фрак до отказа набит его плечами, спиной, руками и грудью; на красном лице выдается крепкий подбородок и прекрасный, несколько косо поставленный нос, темно-каштановые волнистые и не слишком длинные волосы зачесаны назад. Не глядя в зал, он быстрым шагом направляется к роялю, и по его походке чувствуешь, как хочется ему поскорее одолеть этот отрезок пути и сесть за инструмент, где он в себе уверен. То тут, то там раздаются хлопки, будто выстрелы на передних рубежах, но не получают отзвука или поддержки. В этом нет ни враждебности, ни равнодушия, лишь некоторая чопорность публики, которая намерена провозгласить свою исключительность и наперед дать понять, что к ней так запросто бог знает с чем не подъедешь. Это нельзя счесть неприязнью, но я не хотел бы очутиться на месте этого человека — один против такого множества людей — и разрушать эту преграду. Вот Кленка уже возле стула у рояля, он быстро окидывает взглядом зал и в каком-то вызывающе-пренебрежительном поклоне встряхивает головой.

И тут, увидев, как он это делает, я вспоминаю. Кленка, ну да, Кленка. Какой-то Кленка учился со мной в гимназии, только мало. Приехал откуда-то из провинции прямо в шестой класс, потом я, правда, потерял его из виду, наверное, он поступил в консерваторию, уже не помню. Возможно, это тот самый Кленка. О нем ведь говорили, что он замечательно играет на фортепьяно и берет частные уроки музыки. Но какое дело было мне тогда до музыки и до него, хмурого, угрюмого мальчишки. И все-таки однажды, помнится, мы вытащили его с собой кутить. Сперва он в одном из кабаков по нашему настоянию играл для нас вальсишки и польки на старом фортепьяно, а мы под эту музыку плясали с кельнершами. А налакавшись, отказался играть танцы и выколачивал из клавиш музыку, которая была нам совсем непонятна и быстро надоела. Потом им овладел какой-то приступ бешенства, и он принялся молотить кулаками и ногами, пытаясь разбить вдребезги это старенькое фортепьяно. А под конец упал лицом на клавиатуру, расплакался и уснул так крепко, будто потерял сознание.

Не знаю отчего, но в тот раз я не рискнул бросить его

в трактире одного и смыться, как это часто проделывал с другими своими собутыльниками. Ранним утром, в рассветных сумерках, мы на дрожках доставили его домой, по старой винтовой лестнице дотащили прямо до дверей квартиры, где он жил со своей овдовевшей матерью. Держув за ручку допотопного колокольчика и даже не дождавшись, когда затихнет его хриплый звон, мы удрали, как и подобает хулиганам. Кленка появился в школе только на третий день, бледный, мрачнее и замкнутее, чем прежде, и ни с кем из нас, участников его похождения, до конца учебного года не промолвил ни слова.

Несколько раз передвинув стул, Кленка поставил его поудобнее, вынул платок и не спеша, тщательно протер пальцы, очевидно решив не начинать, пока в зале не воцарится абсолютная тишина. И одержал верх уже в самом начале. В зале — ни звука, ни шепота. Никто не скрипит сиденьем, никто не кашляет. Кленка еще раз пододвинул стул, руки его поднялись над клавишами, и вдруг из-под пальцев вырвались вступительные такты аллегро маэстозо полонеза-фантазии Шопена. Зазвучала коронная педалированная половинная второго аккорда, а за ней — вот уж никогда бы не поверил, что нечто подобное может быть рождено неуклюжими мужскими ручищами, — в головокружительном полете рассыпалось дробное тихое жемчужное сверканье хроматического бега. Это промелькнуло, как молния, и тем не менее — каждый звук отдельно и отчетливо ударил по мембране твоего восприятия. А завершающая пауза, когда руки пианиста покидают клавиатуру, бессильно падая вдоль тела, позволяет твоей взбудораженной фантазии вобрать в себя первую очистительную струю. Руки взвились еще раз, еще один взрыв и взбрызг, пауза — пусть эхо отзвучит в твоей душе, — потом форте полонеза соскользнет в пиано и пианиссимо, такое мягкое, что его будто и не улавливаешь слухом, а только порами и каким-то шестым чувством, и оно заставляет звучать некую скрытую арфу — ты и представления не имел, что носишь ее в себе. Тебя обвинили чьи-то горячие руки и теперь баюкают в своих объятиях. Полонез продолжает свое шествие, вздыхает, бурлит, взмывает ввысь и падает ниц, покачивает бедрами своих ритмов смуглая красавица, упоенная собственным отражением в зеркале, медлительными и величавыми движениями тела воспеваает силу своей страсти.

Это была моя первая встреча с подобной музыкой, и я покорился ее мощи с темным бешенством и строптиво-

стью. Осьминоги, должно быть, более милостивы. Но то, что выходило из-под пальцев Кленки, захватывало и затягивало меня, будто водоворот, эта музыка, как безжалостное солнце, осветила все закоулки моей души, так что все в ней зашевелилось, забытая и незримая жизнь очнулась и пришла в движение, как если бы вдруг ты прикоснулся к руинам.

Я знал, что произошло самое худшее, и не находил в себе ничего, что могло бы понравиться, однако шопеновский полонез еще можно было выдержать и пережить, но ад разверзся во время исполнения бетховенской «Аппассионаты»; он опалил меня своим пламенем. Даже небесное «Анданте кон мото» не пролило на меня очистительной влаги и не дохнуло искуплением.

Все это вопит и топчет во мне, будто я вновь в матушкиной затененной комнате; меня сотрясает ярость, пока она доканчивает чтение истории Давида и Голиафа. Ты, ты виновата, ты не должна была мне этого читать! Где-то на небесных хорах высоким чистым голосом поет Франтик Мунзар, лоточник Прах с грохотом катится по ступенькам, я задыхаюсь в лапах пана Горды, не в одной только, но и в другой, которой он душит крысу, подставляя к моему лицу мое же собственное подобие: на, вот тебе, возьми своего любимца, но нет, это, по-видимому, тетино лицо, это она наклонилась надо мной: я слышу, как червь гложет твое сердце. Но кто же это поет так сладко? Ах, это ты, Маркета? Огненные языки ада не лизнут твоих одежд, мои оскверненные уста не коснутся тебя, ты идешь, не видя меня, окаянного; я тянусь к тебе, я желаю тебя, даже если я всеми проклят, я хочу тебя, так неужели я никогда не добьюсь своего? Пошли вы к черту с этой вашей музыкой! Я готов бежать без оглядки, только бы спастись.

Я взглянул на лица соседей. Дядино, по обыкновению, непроницаемо и покойно — сосредоточенное лицо поглощенного своим делом человека, который пришел сюда не ради удовольствия, а для того, чтобы иметь собственное суждение и не обмануться в нем, ибо, основываясь на этом суждении, нужно принять важное решение: вкладывать или не вкладывать свои деньги. Тетино лицо замкнуто пуще прежнего, губы плотно сжаты, так что их почти не видно, и каждая ее черточка словно твердит, что тетя здесь не по своей воле. Как знать, будь на то ее власть, не залепила бы она уши воском, как спутники Одиссея? Ректор в чем-то уподобился гипнотизеру, который всей своей

гипнотической мощью заставляет спящего идти по канату. «Ты должен пройти! — кричит его взгляд, — должен!» Он словно обеими руками придерживает корону, увенчавшую дело всей его жизни, дабы внезапный порыв слабости ученика не сорвал ее у него с головы.

А Маркета? Ах, ее просто нет. Она сейчас пребывает в том мире, куда мне заказан путь, потому что я не знаю заветного слова, с помощью которого распахнулись бы двери, а ограда вокруг чересчур высока. Пожар бессмысленного неразумного страдания занялся под моим сердцем, лицо ее проплывало предо мною, уносимое потоком музыки, словно лицо красавицы утопленницы в бурном течении реки. Оно озарялось и гасло, будто луна в вуали редких облаков; я думал о таинствах, книга которых никогда не раскроется мне, а если и раскроется, то я не пойму ее письма. Я ненавидел музыку, она обнажала передо мной мое подлинное лицо, как я не увидел бы его ни в одном зеркале, я ненавидел музыку, она оставляла меня наедине с самим собой и отбирала у меня Маркету.

Что еще рассказать об этом концерте? Кленка выиграл бой, он выходил кланяться бесчисленное множество раз, вызываемый все новыми и новыми шквалами аплодисментов; лицо его побагровело от пережитого напряжения; внешне безучастный к успеху, угрюмый, он всякий раз чуть ли не небрежно отвешивал поклон и поворачивался уйти.

— Мог бы, по крайней мере, улыбнуться, — ворчливо буркнул дядя, и по тону, каким это было произнесено, я понял, что Кленка покори́л его и что дядя уже считает молодого композитора своим автором. — Не столь еще знаменит, чтоб позволять себе этакую небрежность. Того гляди, отпугнет всех!

Однако ректор, который лишь с трудом удерживался, чтобы не аплодировать бешено вместе со всеми, возразил:

— Нет-нет, вы не правы, дорогой друг. Напротив, именно это и привлекательно. Публика без ума от музыкантов, которые умеют притворяться, будто пренебрегают ею. Я бы советовал так вести себя каждому, конечно, если ты на самом деле что-то умеешь. Но у Кленки — это не поза. Он искренне посылает их всех к черту. Вы не представляете, каких трудов стоило уговорить его выступать. И сами видите, чего бы мы лишились.

Маркетинны глазки пылали нескрываемым восторгом.

— По-моему, это самый большой музыкант, который когда-либо касался клавиш, — заявила она с отроческой порывистостью, и тут же смущение, тайный осветитель наших душевных порывов, зажег красный свет под ее кожей. Пылкость, прозвучавшая в ее голосе, отозвалась в моих ушах шипеньем горечи, тетя тоже взглянула на нее, неодобрительно поджав губы.

Ректор довольно захохотал, словно похвала эта относилась к нему, но тут же наморщил лоб, изображая объективность непредвзятого судьи.

— Я бы не спешил делать такие заявления, Кленка еще слишком молод, — пробасил он из глубин своей мощно выгнутой груди, обтянутой манишкой. — Однако, если он будет относиться к делу так же серьезно, как до сих пор, в один прекрасный день это может произойти. Для этого у него есть все предпосылки.

— Будто возраст определяет, насколько велико искусство исполнителя, — взволнованно вырвалось у Маркеты, чего я бы от нее никак не ожидал, и, словно испугавшись своей смелости или бог знает чего еще, скрытого в душе, она зарделась пуще прежнего.

Ректор коротко хохотнул, и лица многих слушателей обратились в его сторону.

— Как и всякое дело, — изрек он наставительнейшим отеческим тоном, наклоняясь при этом и глядя Маркету по плечу, — искусство должно вызреть. А оно-то как раз зреет медленнее и основательнее, чем все прочее. Настоящий художник никогда не видит конца и всегда собою недоволен.

Не покоренная этой сентенцией, отчеканенной на мнетном дворе вечных истин и потертой от длительного употребления, поборов смущение, Маркета отважилась снова возразить музыкальному жрецу.

— Его мастерство и теперь куда более совершенно, чем у двадцати иных, побывавших на его месте за последние пятьдесят лет. Потом, он такой же замечательный сочинитель, как и виртуоз. Я разбираю его песни. Они растрогали меня, в них много чувства.

Ректор улыбался с высот своего авторитета, который не мог быть сокрушен игривыми лапками эдакого котенка, и готовил ответ, но дядя его опередил:

— Короче говоря, нашу Маркету ваш протеже тоже покорил.

Ректор поспешил воспользоваться ситуацией и тут же выпалил:

— А вас, дорогой друг?

Дядины плечи поползли вверх и опустились, лицо сделалось невыразительным.

— Думается, это подлинный талант. Посмотрим, как примет публика его собственные сочинения. Впрочем, пусть зайдет, побеседуем.

Если в эту минуту дядя принял решение издать Кленковы сочинения, — а по-моему, так оно и было, — он мог сослаться и на реакцию публики, превзошедшую все его ожидания.

Сам я по этой реакции не рискнул бы судить ни о чем, на мой взгляд, тут в большей мере сказывалось восхищение исполнительским мастерством, чем изумление композиторским гением. В сочинениях Кленки — он не перегрузил ими свою программу и сыграл только две вещи — было много нового и необычного, но сохранился и дух чистой музыки, ибо даже меня, кто был заранее настроен против него, он иногда потрясал и захватывал так, что я забывал о своей неприязни, рожденной Маркетиным восторгом. Публика никак не хотела расходиться, слушатели, покинув свои места, ринулись поближе к сцене, чтобы упротить музыканта играть еще и еще, аплодисменты гремели не смолкая.

Маркете тоже хотелось спуститься вниз, к эстраде, к поклонникам и поклонницам. Но дядя пожелал немедленно ехать домой. Он отрицательно относился к этим выпрашиваниям «добавок» на концертах. Слово «добавка» было противно его слуху работодателя, самую эту привычку он объявлял бесстыдным вымогательством сверх договорной цены. Я был признателен ему за это решение, исходя из совершенно иных соображений.

Наверное, я полагал, глупец, воспрепятствовать тем самым чему-то более важному. Мне пришлось убедиться, сколь неумолимо то, что свершается с нами и чему мы с запозданием своевольно пытаемся помешать, словно вкладывая заводную машинку в живое существо, которое и без нее жило бы и развивалось своим чередом.

На третий день после концерта в Рудольфинуме Кленка появился в нашем магазине. В то утро было ветрено. Кавалькады вихря одна за другой мчались со стороны реки по узкой Карловой улице; то были передовые дозоры весны, бьющей в тыл отступающей зиме. Один такой порыв ветра швырнул в наши двери Кленку.

Когда он вошел, придерживая рукой шляпу, чтоб ее не унесло ветром, я сидел в кассе — Маркета дома устраивала

разнос служанкам. Хлопнув дверьми так, что они задрезжали, он перевел дух и еще от дверей окинул взглядом зал, словно приходя в себя после веселой потасовки с ветром. В широком, свободно ниспадающем светло-коричневом пальто, которое удачно подчеркивало мощь его фигуры, он выглядел светским, небрежным и элегантным, как молодой иностранец, осматривающий город. Он не пошел к прилавку, а, вытирая платком глаза, слезившиеся от ветра, остановился подле кассы.

— Я бы хотел поговорить с паном Куклой, — довольно резко, без намека на учтивость, произнес он.

Сглотнув слюну, — у меня пересохло в горле, — я все-таки решился:

— Я провожу тебя к нему, — произнес я в ответ и, воспользовавшись тем, что пол в кассе был выше, чем в зале, встал так, что оказался на одном уровне с ним.

— Мы знакомы?

Он уставился на меня удивленно и недоверчиво.

Напряжение мое спало, теперь я мог приступить к исполнению той роли, которую отрабатывал на своем чердаке при свете звезд. Станные собеседники, странные подсазки и суфлеры. Одиночество, ночь, звезды, тучи, трубы, ветер, коньки крыш и дым. Чего только не спрядешь из бесед с ними! А жить приходится среди людей.

— Еще бы, Гонзичек, — ответил я на жаргоне гимназических лет, — ты позабыл уж о нашем кутеже в шестом классе? Наверняка тогда это было первый раз в твоей жизни.

Происшествие всплыло в его памяти. Он рассмеялся громким, не считающимся с окружением смехом и двинул меня по плечу своей огромной лапидарной фортиссимо пре-восходного настроения. В плавилине времени воспоминание переплывилось, и шпак прежнего отвращения превратился в золото удавшейся проказы. Наверное, он принадлежал к числу людей, которые умеют извинять свое прошлое, к тому же — и это главное — в ту пору он был очень одинок. Матушка его, как я узнал позже, уже скончалась, и, вернувшись по прошествии двух лет из-за границы, он, кроме своего бывшего учителя, не нашел никого, да, кстати, и друзей у него никогда не водилось во множестве.

— Черт побери! — воскликнул Кленка, снова рассмеявшись и тоже переходя на жаргон. — За мной — должок! Закатимся как-нибудь вместе. Но на этот раз я тебя напою и брошу под лавкой.

К счастью, зал в это время был пуст, наверное, ветер гнал мимо нас возможных клиентов, словно обрывки газет, не позволяя остановиться у витрин и обнаружить при осмотре настоящую необходимость неотложной покупки. Служащие были приучены к странным выходкам дядиных посетителей. Тем не менее не успел еще дозвенеть Кленков смех, как, привлеченный им, на пороге своей канцелярии появился дядя и тут же в магазин влетела Маркета, раскрасневшаяся, с растрепанной буйством вихря прической. Значит, бог судил мне познакомиться эту пару.

Они взглянули друг на друга, и Кленка оборвал смех, сомкнув челюсти, будто пес, поймавший муху. Маркета перевела дух.

— Это пан Кленка, — быстро проговорил я. — Я веду его к дяде... Мадемуазель Куклова.

Кленка склонился к ее руке — Маркета даже не подала ее — и поцеловал. Как мне хотелось ударить его по спине, когда он стоял наклоненный. Мне еще ни разу не посчастливилось поцеловать Маркете руку, а этот парень с ходу достиг желаемого, проявив лишь несколько более преувеличенную галантность.

7

Ах эта ветровая весна! Мне никогда не забыть, как свистел и гудел в моей мансарде ветер, как звучал гулкий орган черепичных крыш и заунывные свистульки печей, как звенели дребезжащими кастаньетами желоба и что-то всхлипывало пьяным смехом во фронтонах. Какое-то новое чувство поселилось во мне, чувство, до тех пор незнаемое и самое мрачное из тех, что когда-либо меня сотрясали. Оно ворвалось в мое нутро и обнаружило там арсенал, где все уже было готово для его нужд.

Маркета влюбилась в Яна Болеслава Кленку.

Дядя издал песни и фортепьянные пьесы Кленки — и не обманулся в своих расчетах. Кленка был открытием этого сезона, любители музыки страстно желали приобрести его сочинения. Филармоническое общество исполнило его симфоническую поэму «Сарданапал», и Кленка сам дирижировал оркестром. Он победил, так же как и во время своего фортепьянного концерта. Он управлял оркестром мощными борцовскими жестами, иногда даже казалось, будто он выжимает из музыкантов все, что только в челове-

ческих силах; стоя за своим пультом, он поднимался на цыпочки, будто возница, нахлестывающий лошадей, выигрывая ставку не меньшую, чем жизнь; сокрушительными взмахами выбивал он из них громовые фортиссимо, и вдруг, внезапно, его богатырская фигура таяла в судорожной неге, подтверждая впечатление о природе его искусства, каким оно явилось нам в его фортепьянных пьесах. Я никогда не был и не стал таким знатоком музыки, чтобы разбираться в ней совершенно. Но я вынес впечатление молодой богатырской силы, которая ломится в запертые ворота жизни, будучи убеждена, что способна взять все ее богатства тут же, с лету, одним махом; величайшей нежности, будто несколько им самим осмеянной; муки, тоже как бы иронически прокомментированной, и мощи, которая сокрушает перед собою тьму, слишком небрежливо расходует себя и поэтому блуждает в сомнениях, всегда не достигая цели. Публика тем не менее была в восторге, особенно усердствовали студенты, добавляя к аплодисментам еще и возможности своих голосовых связей, и топот ног.

Но какое мне было дело до всего белого света, если я видел перед собой только их двоих: Кленку, который кланялся, подобно мастеровому на тяжелой каторжной работе, — но на этот раз, несмотря на несколько позерское желание удержать на лице угрюмую мину, улыбался, — и Маркету, которая не аплодировала, а просто уставилась взглядом перед собой, будто деревенская девчонка, рождественской ночью увидевшая в темном зеркале колодца, среди дрожащих отражений звезд, лик своего суженого.

Подготовка издания сочинений давала Кленке повод бывать в магазине. И он так зачастил к нам, что дяде это сделалось чуть ли не неприятно. Очевидно, он объяснял это нетерпением и усердием автора, которому выпуск в свет его первенца представляется слишком долгим; дядя заставлял себя быть как можно терпимее, хотя это мешало ему работать. Но Кленка ничего не мог с собой поделать, его тянуло сюда, хотя он и чувствовал, что приход его не всегда желанен. Но у него не было другой возможности повидаться с Маркетой и перебраться с ней двумя-тремя словами; на виду у всех служащих магазина это мог быть лишь обычный обмен любезностями, выраженный к тому же в состоянии крайнего смущения и растерянности. В эти дни я, наконец, здорово смахивал на бывшего главного Суйку! Так же как и он когда-то, я старался делать вид,

будто мне не до них, а сам все время украдкой косился в сторону кассы и напрягал слух, чтобы не пропустить ни одного из оброненных ими слов.

Примерно через неделю таких бесплодных хождений и любезных бесед Кленка решился на смелый поступок; он, конечно, не мог предположить, к чему это приведет и как будет принято. Однажды он вошел в магазин, втянув левую руку в широкий рукав своего просторного пальто так, что ладони не было видно. Потом, приблизившись к кабине кассы, заслонил ее окошечко своей широченной спиной и подал Маркете букетик фиалок. Могу себе представить, каких усилий и решимости стоило ему это само по себе пустячное действие. Такие люди, как Кленка, питают непреодолимое отвращение ко всякого рода показухе и внешним проявлениям чувства. Слабый налет светскости, обретенный им во время учебы и гастролей за границей, сошел очень скоро, и под ним обнаружилась неотесанная древесина пражского парня.

Купить букетик фиалок, пронести по улице и подарить, хоть бы ты умирал от любви к девушке, равносильно крестному пути на Голгофу. Какое целомудренное это было признание! Хотя сам он, конечно, уже много раз получал и букеты и венки, — однако нет сомнения, что цветы преподносил он впервые, так же как — я это знал точно — то были первые цветы, полученные Маркетой от мужчины. И почему только я сам не осмелился предпринять нечто подобное прежде? Сколько раз об этом думал и всякий раз отвергал, как безрассудство. Да могла ли Маркета знать о моих чувствах, если я даже не заикнулся об этом, если ни разу не подарил ей ни одного цветка?! «Она могла бы догадаться и так, — успокаивал я себя, — женщины и без слов распознают любовь быстрее, чем доктор — признаки скарлатины. Она должна бы оттолкнуть Кленку вместе с его жалкими фиалками, тут же швырнуть их ему под ноги». А теперь вот багряное полыхание Маркетиных щек возмущает мне, что она рада безмерно.

В кассе появилась ваза, Маркета ухаживает за фиалками и грезит над ними. Кленка осмелел и теперь всякий раз, посещая магазин, приносит цветы и букеты. «Надобно чуточку украсить это сумрачное место и порадовать ваш глаз», — наверное, говорит он при этом. Но разговоры, даже короткие, они ведут вполголоса, и я не разбираю ни слова. Разумеется, тем больший у меня простор для домыслов, дни мои исполнены мучений, а ночами я ненавижу и небо над собой. Этот черный луг окидывается звездами, я мог бы

выйти и без сожаления растоптать цветы на газонах, мог бы сбивать цветы со стеблей, меня бы это ничуть не огорчило. Цветы! Пошли вы с ними куда подальше! Они у меня целые дни перед глазами, а когда я сижу в кассе вместо Маркеты, их бесстыжий аромат так и лезет мне в нос!

— Понюхай, Карличек, и скажи, разве не хороши? Смотри ухаживай за ними как следует!

Однажды, когда Маркета вернулась и я освобождал ее место, мне посчастливилось, якобы нечаянно, неловким движением сбросить их на пол. Стеклянная ваза с треском разбивается вдребезги на каменных плитках пола, а я, суеюсь больше всех, словно удрученный своею наигранной неловкостью, еще и наступаю на букетик ландышей. Заикаясь, прошу прощения, но дядя, вернувшийся с обеда вместе с Маркетой, решительно заявляет:

— В кассе этого быть не должно. Что это еще за новости? Йозеф, возьмите метлу и уберите!

Маркета наклоняется и выбирает раздавленные цветочки из лужи воды и осколков. Прижимает их к груди, в глазах у нее стоят слезы. Но вместе с тем в них искрится и неуступчивость.

— Если мне не будет позволена даже такая малость, — говорит она, обращаясь в пустоту, — я больше не приду в кассу.

Дядя испуганно оглядывается, но, как всегда в таких случаях, служащие делают вид, что все они заняты только своей работой. А дядя не в силах отказать Маркете, особенно если у нее на глазах слезы.

— Нет, я не против, — извиняясь, бормочет он. — Пожалуйста, пусть стоят, если тебе так нравится. Собственно, это даже хорошо, когда в кассе красуется нечто подобное. Это производит приятное впечатление на покупателей.

Только позднее, несколько оправившись от изумления, произведенного заплаканными глазами Маркеты, он спросил меня в своей канцелярии:

— А что это ей взбрело ставить туда цветы? Выдумала сама или приносит кто-нибудь?

Я неопределенно повожу плечами. Еще во времена Франтика Мунзара я научился подстраивать все так, чтобы никто не мог показать на меня пальцем — вот, дескать, это он.

Однако от дяди нелегко отделаться.

— Ты зачем сидишь в магазине, скажи на милость? Если цветы кто-то дарит, ты обязан знать об этом. В конце концов, уж не даришь ли ты их сам?

Я чувствую, как кровь у меня приливает к щекам. Не прикасаться, открытая рана!

Это искушение. Да отчего бы и не сказать: «А так ли уж это невозможно, не правда ли? Кто еще мог бы это делать, если не я?»

— Кленка.

Дядя вспыхивает.

— Я его вышвырну за дверь. Господин виртуоз будет проверять свои чары искуителя на моей дочери!

— Может, у него серьезные намерения.

— Серьезные намерения у этого бродяги! Ты младенец! Впрочем, если даже и серьезные. Я не хочу об этом слышать. За тридцать лет я досконально изучил господ, подобных Кленке. Мне они доподлинно известны, и у меня нет ни малейшего желания сделать свою дочь несчастной, а состояние — погубить.

— Да ведь ничего еще не произошло, это ведь, может быть, только проявление галантности, не больше.

— И ничем больше не станет, ручаюсь. Пусть себе по-прежнему носит свои цветочки, а на большее пусть и не рассчитывает.

Я ушел из канцелярии, утешившись лишь отчасти. Казалось, еще не все потеряно, но в дядино упорство верилось с трудом, поскольку речь шла о Маркете. И тут я не слишком ошибался, потому что не прошло и трех дней, как Маркета стала уходить из кассы около четырех часов и возвращаться только около шести. Когда это повторилось несколько раз подряд, я отважился спросить:

— Куда это ты все ходишь, Маркета? Наверное, в костел вместе с маменькой?

Нет, оказалось, что тетя теперь сидит дома, чтобы составить компанию дочери.

— Мы репетируем, Карличек. На следующей неделе у нас концерт.

— Репетируете? Да с кем же?

— С паном Кленкой. Я буду петь его песни.

Какого еще ответа я мог ожидать? Я громко проглотил слюну.

— Вот это прекрасно, — выдавил я. — Лучшей исполнительницы ему не найти. Однако что скажет дядя?

Глаза Маркеты вдруг сузились, взгляд стал недоверчивым.

— Почему ты спрашиваешь? Тебе что-нибудь известно?

Это было ошибкой. Я тут же ушел в себя и выдавал

ответы с такой осторожностью, на какую только был способен.

— По-моему, дядя недолгоблывает Кленку. По крайней мере, он как-то выразился в этом смысле.

Маркетино лицо на мгновение потухло, она смотрела на меня со страхом и тоскою.

— Давай выйдем, здесь трудно говорить.

Я кивнул делопроизводителю, показав ему на кассу.

Мы вышли. Ветер накинулся на нас, будто бесцеремонный сорванец, и мы спрятались за воротами дома, чтобы там найти от него защиту. Разговаривая вдвоем в том месте, где кончалась тьма подворотни и открывался вид на залитую солнцем улицу, не походили ли мы на влюбленных, которые никак не могут прервать свиданье? Как бы мне хотелось этого! Рукой я придерживал на груди пиджак, куда пытался забраться ветер. Мою руку Маркета накрыла своей рукой. Мы стояли так близко друг от друга, что ветер, искуситель, плут, проказник и скандалист, время от времени швырял мне в лицо пряди ее волос. Я заставил смолкнуть свое сердце.

— Отчего ты думаешь, что он его не любит?

Нет, Маркета нимало не щадила меня. Но я противился горькому чувству, охватившему меня, я не мог ему позволить излиться в тех словах, которые я вынужден был произнести:

— Не знаю. Наверное, потому что вообще не доверяет музыкантам.

Маркета со свистом втянула в себя воздух, словно слова мои обожгли ее.

— Но Кленка — не просто музыкант. Это — один из самых больших талантов, которые когда-либо появлялись у чехов. Так все о нем говорят и пишут. Когда-нибудь короли почтут за честь видеть его у себя.

Она горячо убеждала меня, что ее избранник — необыкновенный, и ей не пришло в голову ничего лучшего, чем такая хрестоматийно-журналистская фраза. Она меня не тронула.

— Жаль, что в Праге уже нет Фердинанда Доброго. Может, он и пригласил бы его к себе в коляску проехать по Пршикопам. Но это несущественно. Ему, конечно, пожалуют дворянство, и он возьмет себе в жены какую-нибудь принцессу или герцогиню. У нас их — с избытком.

Невероятно, что именно в этой моей речи уловила Маркета, чей трезвый ум иногда приводил всех в трепет.

Она вцепилась ногтями мне в запястье, там, где прощупывается пульс, из глаз ее брызнули детские слезы, а из горла вырвался детский голосок, таким голоском она еще совсем недавно кричала: «Отдай мне мою куклу!»

А теперь воскликнула:

— Никого он не возьмет себе в жены, никакую принцессу! Я люблю его, да будет тебе известно!

Ногти ее, впившиеся мне в кожу, были лишь ничтожным внешним символом острых кошачьих когтей, разрывавших мое нутро. Да, это было первое признание в любви, мною услышанное. Как ужасно! По улице мчал апрельский ветер, бродяга-аферист, под безжалостными пальцами которого, последний раз всхлипнув, лопаются нервы, истлевшие за долгую зиму и перенапрягшиеся с наступлением весны, сумасбродной настройщицы. Меньше чем в одном шаге от меня стояла Маркета, единственное существо, кого я боготворил после смерти матушки, я вдыхал ее дыхание, пряди ее волос хлестали меня по щекам, и она признавалась мне, что любит. Только не меня. О, если бы я в силах был оттолкнуть ее, отшвырнуть прочь, чтоб она навеки исчезла с глаз моих, выдать на поруганье ветру, словно дикому псу: возьми и рви, истерзай в клочья!

Несколько прохожих оглянулись на нас, — ого, влюбленные не ладили, — но ветер срывает ухмылку с их лиц, мешает остановиться, гонит дальше, вперед.

Пытаясь успокоить Маркету, ласково поглаживая ее и уговаривая, я прислушиваюсь лишь к голосу человека, отработавшего в себе будничные повседневные привычки.

— Не так громко, Маркета, еще услышит кто.

Но она отвечает мне всхлипом, ей ни до кого нет дела, как ребенку, который только-только подрос, созрел до высшего предела страданий, но еще не одолел его.

— Ну и пусть. Мне нет ни до кого дела. Пусть будет об этом хоть всему свету известно. Я его люблю.

Я уже не узнаю своего любовного чувства, оно сморщилось во мне, превратившись в старую ведьму, в темном провале ее рта поблескивает последний желтый зуб. Им она крошит все вокруг.

— Ну, коли всем должно быть известно, вели объявить про это на Староместской площади.

Наверное, больше, чем слова, ее ранил мой тон. Удар нанесен. Щеки ее еще мокры от слез, но глаза уже высохли и стали бездонными; в их провалах — недоверие и ужас.

— Как же это ты разговариваешь со мной, Карличек?

Она все еще сжимает мне запястье. Я грубо стряхнул ее руку и наклонился к ней, порыв ветра резко полоснул по моему лицу, разочарование и яростное бешенство подстегивали меня изнутри. Я задыхался от собственного голоса.

— А тебе никогда не приходило в голову, что я тебя тоже люблю? Никогда не замечала, что я целыми днями гляжу на тебя, как собака на хозяина, как верующий на бога?

Она отшатнулась, словно я замахнулся, прижалась к открытой половинке ворот и замерла. В глазах ее птицей метался испуг, лицо сделалось обнаженным и опустелым, как луга, с которых спали внешние воды. Она смогла только прошептать:

— Этого не может быть, Карличек. Скажи, что это неправда.

Что-то внутри у меня пренебрежительно взмахнуло рукой. Мне хотелось еще помучить ее, увидеть, как она оплакивает себя и меня, только зачем? Любит не любит — все едино, да и сам-то я, кроме матери, любил ли кого? Я тосковал по тебе, Маркета, мечтал о тебе, в мечтах моих все перемешалось — Маркета и магазин, любовь и стремление быть хозяином надо всеми; все люди — и ты среди них — у моих ног, хорошенький клубок змей пригрелся под обжигающим солнцем моего одиночества. Я еще не отказался от тебя, Маркета, но кто говорит, что я тебя еще люблю? Тем более необходимо сейчас быть осторожным в каждом слове, взгляде и поступке. Ну, а теперь засмейся, мерзавец, засмейся весело и добродушно, как хорошо разыгранной удачной шутке.

— Я напугал тебя, Маркета. Да ты не бойся, я только хотел знать, как ты это примешь.

Наклонившись, я взял Маркету за руку — рука ее совсем оковенела на ветру, а моя была горяча.

— А что плохого, если бы я и впрямь тебя полюбил?

Она вздохнула с облегчением, кровь снова вольно заструилась у нее по жилам, лицо порозовело.

— Я знала, что ты только шутишь. Я ведь тоже люблю тебя, Карличек, но не так, не так. Пожалуйста, никогда больше не говори мне этого.

В ту минуту я мог задушить ее, не пожалев силы молодого любовного чувства, страсти и сострадания ко всем, кто обделен ею.

На углу со стороны Карлова моста показался Кленка. Уморительная фигура. Из-за вихря, который гнал его вперед, подталкивая, будто полицейский строптивного пьяницу, он не знал, что ему спасать прежде — шляпу, готовую улететь, или огромный букет, завернутый в шелковистую бумагу, безжалостно растрепанную и порванную ветром, насильником и фигляром. Смотри-ка, еще одно препятствие для влюбленных — ведь им всегда чудится, будто целый свет против них. Ну не умора ли?

— Кленка уже явился.

Маркета прижала руку к левой стороне груди, как будто у нее вдруг защемило сердце.

— Боже мой, а я даже не причесана.

Я вошел следом за ней и скрылся во дворе, не имея ни малейшего желания в эту минуту повстречаться с галантным влюбленным атлетом, с этим... этим, ну, хватит, иначе мы никуда не придем...

8

Домашний концерт состоялся в один из апрельских четвергов. Я был приглашен, разумеется, меня не могли обойти, хотя это было бы лучше для всех. Дядя даже не поднял на меня глаз; передавая мне приглашение, он тербил свою холеную бородку цвета перца с солью и, отвернувшись к окну, прогудел:

— Да, чуть было не запомнил. Сегодня у нас концерт. Маркета исполняет песни Кленки. Разумеется, ты приходи тоже.

Ему было трудно выговорить это — по вполне понятным причинам: вчера он фыркал и кричал, что кое-кого вытолкает взашей, а сегодня — вот вам, пожалуйста. Но почему я должен спускать ему это?

— Аккомпанировать будет она сама? — спросил я, словно невзначай.

Дядя тихонько охнул, как будто кто-то двинул ему локтем под ребра.

— Нет. Кленка. Да там много будет народу, — добавил он поспешно, как бы этим скопищем людей собираясь укрыть нежелательное присутствие Кленки и свой проигрыш. И вдруг, словно уж прямо отвечая на упрек, добавил чуть ли не с вызовом: — Впрочем, у Маркеты сегодня день рождения. Девятнадцать лет. (Где-то в басовой окраске голоса, как музыкальное украшение, коротко

звучит тремоло отцовской гордости и умиления над быстротечным временем, промелькнуло — и склонилось к негативному разрешению.) Чем-то нужно ее порадовать.

Мне-то что, нужно, так и радуйте сколько угодно. Я расхаживаю по своему чердаку в совершенном неистовстве. Меня вы туда не заманите. Я даже разделся, но спать неохота, слишком рано. Так вот и разгуливаю от окна к дверям и обратно, зябко кутаюсь в старый порыжевший отцовский халат, тапочки на каждом шагу шлепают об пол, будто карты кабацких шулеров. Мне холодно, температура в последние два дня понизилась, держится где-то на нуле, а у меня нетоплено. Я хожу, время от времени останавливаясь у дверей. Прислушиваюсь. «Гости собираются, ну как же, разумеется, гости», — ухмыляюсь я, дабы умалить значение свершающегося события. Господин издатель созвал цвет музыкальной Праги, и мадемуазель будет петь под аккомпанемент самого автора. «Какой чудесный голос, Кленка, вам не сыскать более тонкого интерпретатора, — будут хвастать, куражиться профессионалы, набивая себе брюхо дядиным угощением. — Такой дар нельзя зарывать — не так уж много у нас талантливых исполнителей». Дядя примется почесывать свою бородавку, пряча в ней довольную улыбку, но все эти слова нисколько не собьют его с толку, недопустимо, чтобы его дочь стала певицей. Заниматься искусством ради своего удовольствия, так же как ее отец занимается им, торгуя, — это пожалуйста, тут никто ей не воспрепятствует, но и только.

Я стою у дверей и вслушиваюсь; слышны шаги вошедших гостей, эхо пустынной лестницы жонглирует их голосами. Меня бьет озноб, но тут уж я не сваливаю вину на холод. Как быть — мучиться здесь или спуститься вниз? Ведь мое воображение нагромоздит кое-что похуже реальности. Ах ты, трус! Отговорка, как вижу, у тебя всегда найдется.

Кто-то, видно, ошибся и подымается все выше, сюда, ко мне на чердак. Что же это? Я впопыхах шарю в карманах, чиркаю спичкой и зажигаю огарок свечи, прилепленный на полочке умывальника. Стучат. У дверей — дядя. Жмурится по-совиному, даже этот слабый свет слепит ему глаза, потому что лестница, ведущая на чердак, не освещается.

— Что с тобой? — сердито набрасывается он на меня, освоившись. — Гости уже собираются. Ты мне нужен, а тебя все нет.

Я бормочу извинения, у меня-де разболелась голова,

прилег на минутку и уснул. Затем я поспешно одеваюсь — дядя не успел даже повернуться, чтобы уйти. «Ну вот, теперь ты сам видишь, этого не избежать, — уговариваю я себя, обрадованный тем, что не по собственной воле принял решение, — просто ты служишь, и раз приказано — нужно подчиняться».

Я завершаю свой туалет при свете огарка, а потом, отковырнув огарок с полочки, освещаю себе дорогу — несколько шагов по темным ступенькам, опасаясь, как бы где-нибудь не прислониться и не испачкаться. По пути в душе моей не смолкает возбужденный разговор, и вот я с горящей свечой — у дверей дядиной квартиры. Служанка встречает меня гоготом:

— Иисусе Христе, хозяин молодой, да ведь у нас не представляют «Мельника и его дитя».

Она наряжена горничной и в белом фартучке, наколке и черном платье выглядит вполне привлекательной, я чувствую, что пристыжен и задет ее смехом. Так бы и швырнул ей горящей свечой в смеющуюся физиономию. Разбрызгивая расплавленный парафин, я быстро тушу огарок, прижимаю пальцем фитилек, еще обжигающе горячий, и в полном смятении сую свечу в карман сюртука. Так, в полубормочном, невменяемом состоянии, обуреваемый кипевшими во мне злобой и бешенством, я попал на маскарад торжественного вечера.

Салон, куда со всей квартиры снесли все, на чем можно удобно сидеть, превращен в музыкальный салон. Распахнутые двустворчатые двери ведут прямо в столовую, которая теперь непривычно ярко освещена и где посредине стола уже расставили холодные закуски. Над разноцветным хаосом блюд несчетными гранями поблескивают хрустальные вазы и раскачиваются на длинных стебелях хрупкие махровые розовые гвоздики, опущенные перышками веточек аспарагуса. У другого стола, накрытого возле горки, гостей ожидали напитки. Тут кипел высокий тульский до блеска начищенный самовар; казалось даже, что он возносится над венцом голубого спиртового пламени, словно воздушный шар, приготовленный к взлету. Его обслуживала дядина кухарка, та самая черно-белая горничная, которая открывала мне двери. На противоположном конце стола с достоинством первосвященника прохаживался нанятый ради такого случая лакей, облаченный в темный облегающий фрак; он в белых перчатках священнодействует над бокалами, куда наливает вино. Дядя редко созывал гостей, но, как видно с первого взгляда, если делал это — то

на широкую ногу. Угощение в полном смысле слова соответствовало принципу — в издательстве господина Куклы не может быть выпущено ничего посредственного. В этой парадной торжественности я видел уязвляющий жест — сегодня скупец демонстрировал цену денег перед теми, кто, никогда не имея их в достатке, еще и легкомысленно сорит ими. Он словно доказывал всем: вот вы браните меня, будто я разбогател, обкрадывая вас. Убедитесь, по крайней мере, что это того стоило.

Гостей собралось более двадцати, но женщины были в меньшинстве, всего пять или шесть, не считая тети и Маркеты. Я знал большинство мужчин-музыкантов, с которыми дядя постоянно сотрудничал. Тем не менее, оглядываясь по сторонам, я соображал, к кому бы обратиться, и не понимал, отчего это дядя забил тревогу; все присутствующие оживленно разговаривали, переходя из одной группы в другую.

Наиболее плотный круг образовался вокруг Маркеты, такой невообразимо прекрасной и сияющей в платье из бледно-голубого шелка, что глаза мои разом разгорелись и упивались только ею одною. Верховодил тут ректор консерватории, выделяясь своей львиной гривой и громким голосом, в то время как Кленка стоял где-то в сторонке, на губах его застыла улыбка, что совсем не шло к его хмурому челу, а взгляд пылал страстью еще большей, чем моя, если это было возможно. Тетя и дядя, переходя от одного кружка к другому, исполняли свои хозяйские обязанности. Дядя поминутно расчесывал пальцами бородку и олицетворял собой верх гостеприимства, мягко-снисходительного и лишь чуть надменного. Тетины уста сегодня разомкнулись, казалось даже, что улыбается она искренне и приветливо — не напоказ. Что бы там ни было, а она — мать, и сегодня у ее дочери прекрасная дата — ей исполняется девятнадцать лет; и все эти люди пришли сюда доставить ей радость и удовольствие. Ее черное платье из тафты со скромным вырезом ничем, однако, не было украшено; только на груди светился золотой крест с кораллом посредине — коралл был скорее красный, чем розовый, и ужасно напоминал каплю запекшейся крови.

Вам известен тот сорт людей, кого не принимает ни одна компания, всегда их выбрасывая? Именно к этой разновидности принадлежу я сам, а у дяди обнаружил еще двоих себе подобных. Одного я знал. Это был органист храма Крестоносцев Здейса, человечек небольшого роста, правое плечо у него ниже левого, а сами плечи невероятно широки,

руки длинные, голова большая и тяжелая, что особенно заметно из-за редких длинных черных волос, усов и бороды того же цвета. Появившись в нашем обществе, он встал поодаль, знакомые ему кивают дружески, оказавшиеся поблизости даже жмут руку — и тут же возвращаются к прерванному разговору. А он стоит молча, некоторое время слушает, будто не умея добавить ни слова, ему неловко, от этого он чувствует себя униженным и, беспокойно потоптавшись на месте, плетется дальше.

Однако на сей раз движение его имело свою заранее намеченную цель. Он придвинулся вплотную к столу, уставленному напитками, постоял немного, обратившись к нему спиной и разглаживая свой длиннополый фрак, а потом, изобразив, будто нечаянное позвякивание стекла только-только привлекло его внимание к тому, что творится у него позади, повернулся, потирая руки от удовольствия, перебросил двумя-тремя словами с лакеем и показал на бутылку коньяка. Получив требуемое, он не успокаивается, еще раз обернувшись, поднимает наполненную коньяком рюмку, чтоб полюбоваться цветом золотистой влаги, просвеченной огнями люстры. Теперь еще насладиться ароматом — и вот рюмка исчезает в гуще смоляной бороды, опустошенная единым духом. Заметив мой неотступно устремленный на него взгляд, Здейса хмурится — его поймали, — но тут же улыбается, ставит рюмку позади себя и пробирается ко мне.

— Требовалось немножко прополоснуть горло, — говорит он, дробя мне пальцы своей ручищей каменотеса. — Втемяшится ведь такое в столь благородном собрании! Это же настоящий Пантеон или Славин, дружище. Кого ни возьми — всех поместят на Вышеградском кладбище. Тошно мне стало от этого, вот и решил я запить горький привкус своего ничтожества. Но коньячок, — он прищелкивает языком, — достоин созданных здесь богов. Буду держаться вместе с ними, хоть я в сем храме только прислужник.

Говорил Здейса сиплым шепотом, голоском высоким и пискливым, что поразительно не вязалось с его широкими плечами и ассирийской бородой.

Робкий и озлобленный был это человек, но мрачность его имела оправдание. Едва ли не лучший чешский органист, с собственной школой органной игры, автор многочисленных прелюдий, фуг, излюбленных месс, один из столпов, на котором зиждилось издательство Куклы, он не состоял профессором консерватории. Не удостоился этого

звания. Из-за пьянства. Даже крестоносцы, которые смотрели на его пристрастие к вину истинно по-христиански, употребив все свое влияние, не смогли добиться этого назначения.

Он тащит меня за собой к столу с напитками, чтобы я тоже подтвердил его мнение о коньяке. Ну, раз дядя призвал меня разделить с ним обязанности хозяина дома, я не могу отказаться.

Еще один человек здесь сторонился всяких кружков и избегал развлечений, и это была девушка. Высокая, стройная, крепкая, с тяжелыми черными косами, уложенными на голове высокой короной. Розовое платье, надетое на ней, словно подсвечивает ее смуглое лицо. Она смотрит все время в одну сторону, глаза у нее большие, но взгляд словно застыл. Отыскиваю предмет ее настойчивого интереса, из-за которого для нее в зале вроде никого и нет. Она не сводила глаз с Я.-Б. Кленки. А молодой виртуоз, зная, что за ним неотступно следят, даже не взглянул в сторону девушки, он даже побагровел от напряжения, лицо и шея над белым воротником фрака словно налились кровью, он крутится на месте и в конце концов поворачивается к девушке спиной.

Уголки ее губ вздрогнули, тронутые мягкой улыбкой, она пересекает комнату в поисках места, откуда снова можно было бы смотреть Кленке в лицо.

Кивнув, я указываю на нее Здейсе и спрашиваю, кто это. В могучей груди органиста незадачливой фистулой пищит приглушенный смех.

— Божена, — сипит он. — Божена Здейсова, моя дочь. Разве вы с ней не знакомы? Пианистка, голубчик, окончила консерваторию, ученица прославленного господина ректора. Могла бы удивить мир, но никогда не удивит. Застенчива, играет, только когда на нее не смотрят. У нас обоих комплекс неполноценности, мы с ней оба чокнутые, — вы изволите понять, что разумею при этом. В полутьме, за органом, нам хорошо. Она иногда приходит ко мне, если ей хочется излить душу, и садится на мое место. А внизу, в костеле, никто и понятия не имеет, что за органом не старый Здейса, а его дочь.

Органист опрокинул рюмку и снова подставил ее лакею, чье неподвижное лицо в эту минуту окаменело, кажется, еще более.

— Очень застенчива, — продолжает Здейса рассказ о своей доченьке. — Такая уж уродилась. И здесь ей совсем не место, как и ее папаше, а ей — хоть бы хны. Решила,

будто должна собственными глазами убедиться, почему Кленку тянет сюда. Вы только посмотрите. Страдает ведь. Взвзвись бы, да как тут поможешь? Получила, что хотела. Да и вообще, в силах ли старость помочь молодости? Молодостью нужно переболеть, молодому сердцу — облиться кровью, это для него как роса.

Я решаюсь задать ему вопрос:

— По-вашему, она влюблена в Кленку?

В груди у Здейсы снова распищались несмазанные петли смеха.

— Влюблена! Да ради него она готова красть, убивать, просить милостыню, лизать пыль на его башмаках. Страшная, ужасная у нас кровь, в породе нашей, здейсовской. Не знаем удержу ни в любви, ни в ненависти. Боюсь, как бы она нынче чего не выкинула. Я сразу понял, когда сдавал Кленке комнату, что добром это не кончится. Но она словно обезумела, а я не могу ей ни в чем перечить.

На Кампу, в окруженный садом дом Здейсы, Кленка переселился вскоре после своего возвращения из-за границы, переселился лишь на время, пока не подыщет новую квартиру, да так там и застрял. Божена даже слышать не хотела, что он съедет он них. Она сама, чтобы не мешать Кленке работать, перебралась к бабке, Здейсовой матушке, которая жила в доме над Чертовкой, там и упражнялась в игре на фортепьяно. Где еще в Праге Кленка нашел бы более спокойное место? В нем одержал верх эгоизм творца, который дело своей жизни ставит превыше всего остального.

Кроме трех часов в день, когда к Здейсе приходили его ученики, все остальное время принадлежало ему, и никто никогда против этого не возражал, даже если ему взбрело в голову заниматься ночью.

Все это Здейса рассказывал мне сиплым шепотом, стараясь приглушить свой пронзительный голос, не переставая прихлебывать коньяк и протягивать опустошенную рюмку, чтоб ее вновь наполнили.

— Я это понимаю, — почти угрюмо продолжал он, — никто лучше меня не знает, как важно для работы определенное, отведенное только ему место. Уверен, он охотно предложил бы нам съехать оттуда, лишь бы остаться одному. Но дом он купить не может, он не наш, принадлежит крестоносцам, а те свое имущество не продают. Да и я не осмелюсь сказать, чтобы он перебирался, даже мысленно представить себе не могу, что станет с Боженой. Вот так мы друг друга и мучаем. Когда он к нам переселился, то

был потрясен и растроган страстной преданностью, которую Божена к нему проявляла. Может, даже и думал какое-то время, что любит ее. Даже песню ей посвятил. Но я с самого начала знал, что Божена — ему не пара, что никогда он не полюбит ее надолго и по-настоящему. Я говорил ей об этом и до сих пор твержу постоянно, да она мне не верит. А в Кленке я все-таки не ошибся.

В этот миг дядя прошел на середину столовой, легонько похлопал в ладоши и торжественно объявил:

— Прошу господ перейти в салон. Мы начинаем.

Здейса опорожнил четвертую или пятую рюмку коньяка, и мы присоединились к остальным. Божена остановилась в дверях салона, опершись плечом о косяк. Я отметил про себя, что оттуда видно лицо аккомпаниатора. Я стал рядом с ней, и мы вместе наблюдали, как рассаживаются гости. Здейса легонько потянул дочь за рукав.

— Ты знакома с племянником пана Куклы?

Она взглянула на меня из космической дали своих миров, прошелестела нечто едва уловимое слухом и снова обратила черные агаты своих зрачков на Кленку, стоявшего у рояля. У меня, однако, не было намерений позволить ей отделаться от меня так легко. К счастью, Здейсу неодолимо влекло к столу с напитками и он быстро от нас отделился.

— Я люблю слушать издали, — произнес он, оправдываясь.

Божена лишь пожала плечами.

Я поставил ей и себе стулья и предложил сесть. Она послушалась, но только убедившись, что и сидя увидит лицо Кленки. Маркета куда-то запропала, наверное, разволновалась в последнюю минуту перед выступлением и теперь ей необходимо было успокоиться. Ждали только ее.

Наклонившись к Божене, я проговорил глухо и тихо, чуть насмешливо:

— Не правда ли, какая прелесть, если влюбленным представляется возможность выступить вместе? Успех одного, соединенный с успехом другого, еще крепче свяжет их взаимными узами.

Она обернулась ко мне так стремительно, что ее стул поехал по гладкому паркету, а близсидящие гости посмотрели в нашу сторону.

— Какие влюбленные?

Я, будто желая успокоить девушку, положил руку на ее плечо.

— Не так громко, — умоляюще произнес я. — Я даже не представлял, что вам неизвестно то, о чем здесь знает каждый: не так уж далек день, когда Кленка и Маркета Куклова объявят миру о своей помолвке.

То, как она приняла известие, умышленно преувеличенное, — ведь до сих пор никто ни единым словом не обмолвился ни о какой помолвке, — подтвердило, что чего-то в этом роде она и сама опасалась, но отказывалась верить. Она страшно побледнела, белый плат, предвещающий обморок, покрыл ее лицо. Я со всей силой вцепился ей пальцами в предплечье и прошептал:

— Вы не смеее, слышите, не смеее.

Боль, которую я причинил Божене своим грубым пожатием, привела ее в чувство. Открыв глаза, она прерывисто дышала. Внутри нее сидела кошка, которую я скинул с четвертого этажа ее надежд, но она все-таки упала на все четыре лапы. Божена быстро приходила в себя, подстрекательница ярость носилась по ее жилам, размахивая жгучим огарком, и его яркое полыхание осветило транспаранты девичьих щек. Мне почудилось, будто я даже вижу, как эта ярость пляшет, притоптывая, во тьме Божениных глаз. Она устремила свой взгляд куда-то поверх моей головы, потому что находившиеся у нас за спиной двери из коридора в столовую отворились и кто-то вошел.

Это были Маркета с матерью. Маркета вся светилась, излучая совсем иной свет, чем моя компаньонка. Мы должны были подняться со своих мест, чтобы позволить дамам пройти, и в тот момент, когда они оказались возле нас, Божена остановила Маркету. Я чувствовал, что каждый мой мускул напрягся в ожидании. Они стояли одна против другой, являя собой два бесконечных воплощения красоты — белокурая и черная, спокойно-победно счастливая и отчаянно-злая, разочарованная и страждущая. Поэтому, Маркета тоже не прочла ничего доброго в глазах Божены, хотя та улыбалась, и побледнела.

— Мне еще не представился случай поздравить вас, — протянула Божена, повысив голос, мягкий и манящий, будто капкан, прикрытый мхом. — Я счастлива, что услышу Кленковы песни именно в вашем исполнении. Я часто играла их, пока они были в рукописи, но петь мне не довелось. Нет голоса. А ведь одна из них даже посвящена мне. В печатном экземпляре по какому-то недосмотру это выпало. Как раз самая первая, на слова Врхлицкого: «Говорили, будто от гор темно, а то были лишь косы черные». Так я желаю вам сегодня удачи.

Тетины глаза, словно напуская чары, остановились на лице Божены, правой рукой она сжимала свой крест, будто намеревалась поднять его и проклясть этот черный призрак, который встал на пути ее дочери. Я оглянулся, все гости, притихшие при появлении Маркеты, повернулись в нашу сторону. За роялем, наклонившись вперед — сплетенье жил вздулось на багровом челе, — стоял Кленка, словно приготовившись ринуться к нам.

Однако, упорствуя, Маркета приподняла свой мягкий на первый взгляд, но теперь заострившийся подбородок, опустила руки и, чуть подобрав юбку, присела, изображая учтивый поклон.

— Благодарю за сердечное пожелание успеха.

И шагнула прямо на Божену, которая вынуждена была отступить в сторону.

Вот такая была Маркета, в ней соединялось все: спокойствие, сила и решимость, она шла к своей цели, презирая препятствия, у нее было все, чего так недоставало мне. Чувствуя рядом ее плечо, я, наверное, в конце концов сделался бы мужчиной и стал на ноги, поддержанный ее волей. Невыразимая горечь бессилия затопила меня: она никогда не будет принадлежать мне. Засунув кулаки в карманы, я стискивал их, борясь с отчаянием. В правом кармане мне попался огарок свечи, которым я освещал себе путь, спускаясь со своего чердака. Вынув огарок, я терзал его, пока он не размяк и не потерял формы, мне казалось, будто в нем воплотились мое бессилие, и безнадежность, и гнев, я дробил их и вновь формовал.

Маркета уже стояла у рояля с нотами в руках, в публике еще слышались покашливания, скрип стульев, наконец гости угомонились и обратились в слух.

Маркета перелистала свою тетрадку и в тишине, почти уже полной, отчетливо произнесла:

— Первую, пожалуйста, не надо. Я ее не готовила.

Божена возле меня пронзительно засмеялась, а из глубины столовой, от стола с напитками, просвистел фальцет органиста Здейсы:

— *Silentium*¹, Божена, или я тебя отсюда выведу.

Я увидел, как в конце салона испуганно поднялся дядя, спины гостей лишь легонько вздрогнули, и никто, кроме ректора консерватории, не оглянулся. Однако Божена, нацепив на лицо самое презрительное выражение, уже привольно раскинулась на своем стуле, вдруг напомнив

¹ Молчи (лат.).

мне голенастого лягушонка, еще недавно озоровавшего на берегах Влтавы либо у пролета Карлова моста, над Кампой, скрестила руки под округлостями своих грудей и закинула ногу на ногу: «Я готова, извольте начинать».

Поза изумительная, что правда, то правда, только хватило Божены ненадолго. Ее скрутило так же, как сначала и меня.

Вначале казалось, что Маркета задохнется в удавке волнения, которую Божена, улучив удобный момент, набросила ей на шею. Губы словно не слушались ее, голос, слабый, еле слышный, неприятно дрожал, на спинах впереди сидящих словно было написано, — и я это мог прочесть, — как все с замиранием сердца ждут, что певица вот-вот рухнет в слезах или свалится в обмороке.

Лучше и острее, чем я, никто этого ощущать не мог. Я знал, что на ее месте я давно бы сбежал, опрокидывая все и вся на своем пути, в поисках укрытия, как загнанный зверь. Я мял свой огарок, давно уже превратившийся в бесформенный комок, — теперь уже в надежде, что Маркета все-таки потерпит поражение. Я уже представлял себе, как она упадет в обморок, расплчется или обратится в бегство! Пережив такой стыд, она ни за что на свете не захотела бы больше видеть Кленку, а может, и он не захотел бы встречаться с нею.

Однако Маркета была не из тех, кто сдается без боя, и даже не из тех, кто по душевной своей слабости бывает обречен терпеть поражения. От такта к такту голос ее креп и звучал ровнее, а в конце песни уже обрел свою обычную полноту и мягкость; то не был сильный голос, он не годился для больших гулких концертных залов, не был он создан и для того, чтобы заполнить ненасытную утробу театральных сцен, — то был голос камерный и пленительный, предназначенный для того, чтобы петь только самым близким людям, он обнимал тебя, будто обнаженные теплые руки. Усиливающийся дождь рукоплесканий хлынул сразу после исполнения первой песни.

— Прекрасно, девочка, — пророкотал басом ректор, — только в вашем горлышке оживают Кленковы песни. Он бы должен вам ноги целовать за эту прелесть, паршивец несчастный. Вы дарите нам свою душу, а ему показываете его собственную. Еще, пожалуйста, еще!

Маркетин голос мог ласкать и гладить кого угодно, но нас с Боженой он душил. Божена сбросила с себя маску неприступной гордыни и злобного презрения и рассыпалась, как пересохшее глиняное чучело. Она рассчитывала,

что у нее достанет сил одним своим видом смутить Кленку и Маркету. Но, как только Маркета взяла первые нотки, Кленка уже не сводил с нее глаз и начисто забыл, что Божена здесь, сидит напротив, и что если бы она только могла отворить врата ада и швырнуть туда его и Маркету — она тотчас сделала бы это. Теперь Божена беспокойно ерзала возле меня, опустив руки меж колен, и хрустела переплетенными пальцами. Впервые в жизни мои собственные мучения показались мне просто смешными — наверное, потому, что я видел, как вместе со мной они настигают и кого-то другого. Используя перерыв, возникший в связи с тем, что заговорил ректор, я наклонился к Божене и прошептал:

— Мы оба в одном мешке, как я погляжу.

Она взглянула на меня агатами своих зрачков.

— Как это?

— Вы любите Кленку, — медленно проговорил я, — а я Маркету. Да что нам теперь? Только страдать и смотреть, как из музыки и пения расцветает совершенно иное чувство, не то, о котором мечтали мы. Печальный удел, не правда ли? И главное — мы бессильны этому помешать.

Скращенные пальцы ее побагровели, с такой силой она стиснула их.

— Вы, может быть, и бессильны. Но я еще не отступилась. С чем это вы постоянно играете? Бросьте-ка, меня это раздражает.

Я показал ей почерневший стеариновый шарик — все, что осталось от огарка свечи.

— Что это?

— Была свечка. Наверное, я воображал, что так сомну и уничтожу тех, кого ненавижу, и вот что из нее, бедняжки, получилось.

— Смотрите-ка, да вы герой. Спрячьте эту мерзость.

Я послушно прячу шарик в карман — в самом деле, нечего поддаваться слабости и делать из себя шута. Вынимаю носовой платок, чтобы вытереть ладонь и пальцы, к которым пристал стеариновый жир, и непроизвольно прижимаю его к носу. От него пахнет гарью притушенного фитилька, — вам знаком, наверное, отвратительный навязчивый запах, который издает тлеющий фитилек свечи, если его тут же не загасить, посплюнявив подушечки пальцев. Маркета поет. Она уже обрела уверенность, ей ничего не страшно, и голос ее полон такой страсти, что хочется вскочить, заткнуть уши и бежать куда глаза глядят. Вы все,

кто сейчас слушает ее, вы слышите только этот голос, он ласкает и чарует вас, а мы с Боженой слышим больше, мы слышим именно тот глубокий, певучий родник, из которого он берет свое начало.

Мы знаем, что это больше чем песня, что это сражение сразу на нескольких фронтах. «Слышишь, милый, — говорит этот голос, обращаясь к Кленке, — разве я могла бы так петь, если бы не любила тебя сильнее, чем себя самое? В твоём сердце не смеет быть никто другой, кроме меня. Слушайте, люди, — будто бы говорит она остальным, — и поклонитесь силе этого искусства. Папенька, матушка, — восклицает она, — не препятствуйте моей любви, когда-нибудь он станет величайшим среди великих».

Чем мягче звучит этот голос, чем слаще его очарование, тем ужаснее во мне его отзвуки. Я больше не люблю тебя, Маркета, не люблю, а может, и вправду никогда по-настоящему не любил, а только поддавался наваждению твоей красоты, но я поставил на тебя все мое будущее, так неужели теперь я обречен только беспомощно смотреть, как сокрушает его основы шквал твоей любви к кому-то другому? Но что делать, как этому помешать? Я сжимаю лицо в ладонях, пальцами вонзаясь себе в веки, словно пытаюсь выдавить глаза из глазниц. Меня загнали в угол, как когда-то крысу в нашей подворотне. Как поступила крыса, когда уже не было пути отступить? Она бросилась обидчику на грудь. Да-да, конечно, однако я был свидетелем того, чем это обернулось. Но все-таки дан ведь мне на что-то человеческий мозг?! Думай, думай, подлец! Мои ладони пропахли чадом паленого стеарина. Маркета поет, чад распространяется, как будто ты приоткрыл крышку ада и оттуда душной волной повалил запах паленых копыт и жженой козьей шерсти. Ну, пой, Маркета, пой, если можешь. Ах, вот бы славно вышло, я отчетливо вижу, как все это будет. Я вынимаю из кармана стеариновый шарик и нежно катаю его по ладони. Достаточно положить шарик на пылающую печь, чтобы видение стало явью.

Случай благоприятствовал мне, ибо случай чаще всего помогает там, где плод уж созрел и готов упасть. Апрельский день, когда Кукловы устроили концерт, выдался на редкость холодный; густая метель, будто спасающиеся бегством верховые зимы, все кружила и кружила по городу, оставляя после себя на тротуарах хлюпающую под ногами снежную кашу, а в воздухе — гриппозный холод и сырость. В столовой затопили большую изразцовую печь, выступы которой были забраны красиво изукрашенными решетка-

ми. И на этих выступах, со стороны стены, имелись чугунные плиты, как на обычной кухонной плите; они были сделаны для того, чтобы испускать тепло раньше, чем разогреются медлительные изразцы. Ну-ка, подойди к печке и незаметно положи на эти плиты стеариновый шарик. А что дальше? Ах да, ведь это же всего-навсего глупейшая мальчишеская шалость, и только. Пускай, но что дальше? Эта любовь еще не окрепла, у нее не было времени закалиться, сражаясь со страстью или преодолевая препятствия, и каждая капля грязи, которая брызнет на нее, может ее очернить, испачкать. Да разве это такая любовь, что не выдержит мелких глупых укулов и смешных неприятностей? Кроме того, тут еще дядя. Какое впечатление это произведет на него? Получилось бы вовсе не плохо, что там ни говори, но ведь сам ты этого не сможешь сделать.

Маркета допела вторую песню, и теперь гости аплодируют уже не затем, чтоб придать ей отваги, но в полном восторге. Ректор встал, кланяется Маркете, просит разрешения поцеловать ей руку, Маркета протягивает ему ее и счастливо смеется. Божена, сидящая рядом со мной, готовится встать.

— Я ухожу, — говорит она.

— Вы не посмеете, — шепчу я ей, — это похоже на бегство.

— Ну и ладно, а я ухожу, и все.

Я пытаюсь подойти к ней с другого боку. Пропускаю ее и говорю равнодушно:

— Собственно, что мне до того — уйдете вы или не уйдете? Не очень-то вы смелы, однако. Поле боя свободно, и Маркета споет победную песнь.

Божена бледнеет, представив себе Маркетино торжество.

— Она ее еще не спела, — говорит Божена, давая понять, что в ее словах прозрачный намек на будущее чуть более отдаленное, чем сегодняшний вечер.

Но я не хочу позволить ей лишь слегка скользнуть по столь безграничному простору необязательных и ни к чему не обязывающих угроз и мстительного тумана, который бог знает когда сгустится настолько, чтобы из него можно было нанести удар.

— Положим, и вообще не поет.

Словно ветер порвал занавес, и Божена, заглянув в пропасть, увидела скрытое там такое, чего даже не смела допустить.

— Как вас понимать?

— Плохо потушенная свеча. Помните? Иногда она вам так мешает, что вы не в силах сомкнуть глаз.

Раскрыв ладонь, я перекатываю стеариновый шарик, а Божена смотрит на него, силясь понять, о чем идет речь. Она уже опомнилась от удара, который нанесло ей ее собственное воображение. Я даю ей время, чтоб она самостоятельно разгадала загадку, которую я ей задал, и вижу, как ее взгляд подергивается брезгливостью.

— Это гнусно и низко.

— А что вернее ставит любовь под угрозу?

— Если бы я сама сделала такое, то замарала бы свое чувство.

— Я ведь ни на что вас не подбиваю. Вот пришло в голову, и все. Можно с этой идеей поиграть и отбросить. Может, другие в таких случаях представляют себе бутылочку яда, а еще кто-нибудь — удар ножом.

— Замолчите!

Смотри-ка, милочка, мы угодили в цель. Значит, яд или нож — это не низко и не гнусно. Мерзавка. И как она смеет говорить мне подобное? Низко и гнусно! Что же, я сам этого не знаю? Сколько такого низкого и гнусного творится на свете и сколько невысказанных, задуманных и неосуществленных скверностей люди носят в себе! Но предпочитают молчать.

Маркета поет, голос ее — мягкий, бархатный поток тоски и нежности — сливается, целуясь, с аккордами, вылетающими из-под пальцев Кленки.

Жасмин дыханьем свежим,
ах, боже, сколько раз...

Печаль «Песен странника» (я знал, что песня эта возникла во время зимних гастролей Кленки в Москве) — это череда отчаяния и надежды, сила страдания, что вновь очищается в купели желания, отзвук людских глубин, пьющих красоту с неутолимой жаждой алкоголиков, — все это призывно звучало в едином сплаве поэтического текста, клавира Кленки и голоса Маркеты, будто пастушки перекликались в осенних полях; через меня словно катились волны колокольного звона в сумерках вечернего города. Мог ли я ответить на это, если огромная безобразная жаба расселась у истока моих чувств и жадно заглатывала любую чистую струйку, оставляя только грязь? Проигрыш опустил свои тяжелые руки мне на плечи и согнул меня в три погибели, сокрушая бессильной яростью.

На душе у меня было тем пакостнее, что я не менее

прочих ощущал эту красоту, но всех она опьяняла восторгом, а меня осыпала отравленными стрелами. На глазах у нас венчалась эта пара, удаляясь настолько далеко, что никто не мог последовать за ними, — там они уже были укрыты ото всех, как звезды за облаками. В печати эта песня появилась с посвящением: «М. К.» — и была едва ли не лучшей песней всего цикла. Исполняя ее, Маркета будто бы истаяла в собственном голосе, растворившись в его тонах и звуках.

Жасмин дыханьем свежим
пахнул и свел на нет
румянец щечек нежных —
моих лобзаний след.

Ну так шевелись, ничтожество, и соверши задуманную пакость, если ты еще не растерял своей отваги. Я все глубже опускаю руки меж колен, вот что творится со мною, уж и самую ничтожную низость боюсь совершить, а ведь другого пути для меня нет. Покориться, пережить проигрыш и смолчать?

Я слышу рядом участвовавшее жесткое дыхание Божены, словно она единым махом одолела пять этажей. Вот она протянула руку, ощупывая мой рукав, ищет мою ладонь.

— Дай сюда!

— Это грабеж! — восклицает ректор, как только Маркета смолкла. — Скрывать дома такой клад — это грабеж! Она должна прийти к нам, это я вам говорю, пан Кукла, и в один прекрасный день Маркета будет так же принадлежать всем, как и Кленка.

По дядюшке видно, что в нем борется отцовская гордость, столь явно польщенная, и бунт против непривычной мысли, будто его дочь могла бы стать профессиональной певицей. И в этом гаме, когда слушатели обращаются друг к другу и каждый считает своим долгом высказать нечто похвальное, Божена поднимается со своего места и выходит. Я поднимаюсь тоже и встаю рядом с дядей.

— Куда подевалась эта Здейсова девка? — спрашивает он.

— Ей показалось, что папаша чересчур увлекся напитками. Пошла его отвлечь.

— Черт попутал меня пригласить их нынче! Да разве я мог подумать, что этот неисправимый пьянчуга превратит и мой дом в питейное заведение? А девка — истеричка, правда? Собственно, какие у нее счета с Маркетой? Ведь они едва знакомы.

— Наверное, ревнует к Кленке, — высказываю я свое предположение.

Дядя с трудом сдерживает взрыв ярости.

— Пусть проваливает с Кленкой вместе! В последнее время у меня от него в глазах рябит. Черт побери весь этот вечер! Этот сумасброд ректор еще собьет мне Маркету с толку.

— Ну, а теперь тихо, слушаем дальше, — басит ректор, самочинно присвоивший себе роль режиссера.

Гости затихают, и Кленка берет вступительные аккорды следующей песни.

Над мягко взволнованной гладью тихого среднего регистра рояля льется Маркетин голос. И в эту минуту мои ноздри улавливают первую волну гари.

Дядя, стоящий рядом со мной, беспокожно втягивает воздух и тихонько фыркает, думая, что это только ему почудилось, что от запаха можно избавиться. Я вижу, как напрягаются шеи гостей, запах предательски и подло прокрался в их ряды, они не могут разобрать пока, чем это объяснить. И не рискуют даже шевельнуться, сидя на шипах своих сомнений и неприятных предчувствий.

Запах уже коснулся и Кленки с Маркетой. Маркета силится не обращать на это внимания, но в глазах Кленки растет выражение ужаса. Запах накатывает волнами все более плотными, удушающими, едкими. Чад будто от множества погашенных свечей, тошнотворный, въедливый запах сгоревшего жира.

— Да что же это такое, господи боже? — шепчет дядя.

Уже слышится первое приглушенное покашливание из рядов гостей, Маркетин голос, которая приготовилась взять тоскующее высокое «соль», вдруг сдавленно запинается, как будто кто ударил певицу по напряженному горлу, и раскатывается в приступе удушливого кашля. Тут уж все гости в страхе поднимаются со своих мест, взбешенный ректор гремит:

— Черт возьми, Кукла! У вас там что-то горит или сало жарят, голубчик!

Дядя обнаруживает беспомощность, которая охватывает мужчин в те мгновения, когда вероломные домашние или кухонные домовые распускаются и начинают шастать своими неисповедимыми путями.

В ответ на недоумение гостей он растерянно разводит руками.

— Прошу уважаемую публику тысячекратно извинить нас, я в самом деле ничего не могу понять. Матушка, —

обращается он к тете, — что бы это могло значить? Разумеется, ничего серьезного. Прошу уважаемую публику успокоиться. Сейчас все будет в наилучшем порядке.

Дядя произнес обещание, которое, как вскоре оказалось, он был не в силах сдержать. Напротив, становилось все хуже и хуже. Чаду прибывало с ужасающей быстротой, как будто кто нагонял его сюда кузнечными мехами. На свету уже стали заметны редкие переливающиеся струйки дыма, напоминающие разводы масла в грязной речной воде.

Приступы кашля перескакивали от одного к другому, и встревоженное общество во главе с бледной от волнения тетешкой хлынуло в столовую.

Ей навстречу зазвучал громовой сигнал пожарной команды, в совершенстве воспроизведенный органистом Здейсой. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения ректора, который заметно недолюбливал органиста — очевидно, ненависть возникла оттого, что некогда он обидел этого человека, не проголосовав за его назначение профессором. Подойдя к нему и отбросив все светские условности, ректор загремел:

— Ведите себя прилично, приятель, а если вы пьяны — идите домой.

Органист поднял безупречный черный квадрат своей бороды и просвистел:

— Пьян, пан Магнификус? ¹ Я трезв, как папа, трезвее, чем целый конклав кардиналов. Полбутылочки коньячку только и выхлебал всего-навсего.

Ректор повернулся к нему спиной и, пробившись к дяде, проворчал, но так, чтобы все слышали, в том числе и Здейса:

— Зачем вы пригласили эту пьяную свинью? От него так и жди какого-нибудь nepотpeбствa.

Возмездие не заставляет себя долго ждать.

— Хрю-хрю, ректор, хрю-хрю, фью-фью! — Органист изобразил хрюканье свиньи так же совершенно, как раньше пожарную сирену.

На эту импровизацию я, конечно, не рассчитывал, ну так что ж, она возбуждает всеобщую панику, что и требуется. Нет, сегодняшний вечер уже никому не спасти, кажется, все подлые силы коварства объединились, чтобы завершить успех моего дела.

Лакей, кухарка в белой наkolкe, тетя и дядя вьются возле печей, отыскивая источник вони.

¹ Магнификус — обращение к ректору.

— Наверное, кто-то бросил на чугунные плиты свечку, хозяйка, — выносит кухарка свое профессиональное суждение. — Тут уж ничего не поделаешь, будет смердеть, пока до конца не выгорит.

— Не считайте ворон, приятель! — рявкает дядя на лакея, который стоит безучастный, как пень, и, очевидно, огорченный происшествием, потому что, на его взгляд, оно прежде всего оскорбляет его достоинство. — Откройте, по крайней мере, окна.

Но апрельский ветер, подвыпивший гуляка, гонит по улице всполошенное стадо снежинок, дождь и слякоть. У-у, ха-ха, ты, подгулявший негодяй, не видишь, куда лезешь? Разве это годится, так-то пугать благородное собрание? Это тебе что, кабак, где ты можешь сплясать свою каламайку? Занавеси взлетели и хлопают о стену, как флажки. Ах, безобразник, он и край скатерти забросил на стол, что ломится от яств, до которых никто не дотронулся, плюет тяжелыми водянистыми хлопьями и трясет из своего мокрого мешка мелкими брызгами на паркет, натертый до зеркального блеска. Ничего уже из этого праздничного вечера не получится, холод пробирает присутствующих до костей, он только чуть остудил смрад в зале, но вони не убавил.

— Свечка, брошенная на чугунные плиты, — басит ректор, — это же неслыханное злодейство. Кто же мог ее туда положить? Это же покушение! Кому-то важно было испортить вечер и помешать Маркете...

Ректор бросает это не так просто — в пустоту, он повернулся лицом к Здейсе и его дочери. Чудится, будто вот-вот он поднимет руку и укажет на них пальцем.

— Само собой это не сделалось, — продолжает он, как на допросе, который в то же время выглядит и обвинением. — Кого же не было с нами, когда Маркета пела?

— Пожалуйста, голубчик, — в тревоге гудит за его спиной побледневший дядя. — Не будем же мы сейчас выяснять отношения.

И в этот момент раздается хриплый от возбуждения и визгливый голос кухарки. Она в самом деле подняла руку и пальцем показывает на Божиену Здейсову.

— А вот эта самая барышня поднялась со своего места и вертелась вокруг печки. Мне-то сразу не стукнуло, чего она там делает.

— Позвольте, голубушка, — кричит дядя, уже не владея собой. — Кто вас спрашивает? Уходите!

Взгляд Божены, блуждавший где-то по потолку,

спускается, натывается на лица знакомых, которые теперь повернулись к ней, и упирается в пол. «Вот бы теперь оказаться здесь Маркете, — мелькает у меня в мозгу, — протянуть ей руку помощи, защитить от злобы остальных».

Ах, как это было бы благородно и прекрасно, хотя в душе у меня взвыло бы что-то, будто побитая собака. Но Маркеты нет. Заперлась, наверное, в своей комнате и плачет с отчаянья.

Божена делает неуверенный шаг в сторону, кажется, она пытается убежать, но тут Здейса хватает ее своей страшной лапой, сжимает ей запястье и притягивает к себе. Он отводит другую свою руку — ах нет, он не хочет ее ударить, это только вступление к преувеличенно низкому поклону.

— Проси у благородных гостей прощения, бесстыдница. Обесчестила ты меня, испортила чудный вечер избранному чешскому обществу. Не попросишь, небось закоснела в своем бесстыдстве и злобе. Ну что же, сам покорюсь за тебя: прошу прощения, уважаемые дамы и господа и вы, Магнификус. Мы — люди темные, такими вот нас и примайте, а мы не в свои сани уселись.

Он еще раз отвешивает глубокий поясной поклон, дергает Божену и уходит, волоча ее за собой, как провинившуюся школьницу.

Гости поворачиваются, расстроенные. С них уже довольно переживаний на сегодняшний вечер, тошно от этого зрелища, — досада показывает свой красный павианий зад.

В дверях, ведущих из салона в столовую, стоит Кленка. Он считает себя виноватым во всем, страдание исказило его лицо, морщины словно кто-то прочертил свинцом и разрисовал серым соусом. В эту минуту забыто было и про открытые двери, озорной ветер буянит, не переставая, занавеси развеваются, мечутся и хлопают, словно паруса на покинутом корабле, скатерть хлещет по столу с нетронутыми яствами, размазывает майонезы и кремы, а теперь закружил по комнате вихрь, и вот уже одна из высоких стройных ваз, перегруженная длинными стеблями гвоздик, катится, изливая свое содержимое в блюдо с пирожными.

Здейса добрался до передней, но там ему уже никто не открыл, он распахивает дверь сам и готов вытолкнуть Божену перед собою. Но девушка неожиданно и резко дергается, вырывается из родительских тисков и мчит прочь.

Скрипнули и хлопнули двери на лестнице. Здейса стоит, будто не понимая, что случилось, потом хватается за

голову в бессильном отчаянии и свистит жалостным фальцетом:

— Кленка! Еник! Бога ради! Как бы она над собой чего не умудрила.

Кленка вздрагивает, словно его ударили, но не трогается с места. Понимаю, приятель, какие гири висят у тебя на ногах и почему теперь тебе так трудно сделать то, что прежде было бы естественно.

— Еник, умоляю!

Гости уже раздвинулись, образовав проход, и, подхлестываемый их неотступными взглядами, Кленка наконец устремляется по этой улочке вперед и выбегает из дома.

9

Давно пробило полночь, а я не различаю даже, гудит ли еще над крышами ветер, либо уже — лишь время да ночь. Как паук свою сеть, я спую, мерю шагами пространство от окна к двери, туда и обратно, снова и снова. Я уж давно научился ходить неслышно, так что никто подо мною не ощущает моих шагов.

Огня я не зажег. Хожу в темноте, хорошо различая то, что хочу различить. И вообще — разве уснешь после такого вечера? Кто из актеров, принимавших в нем участие, уснет сегодняшней ночью? Единственно чего мне недостает для полного удовлетворения, так это разгуливать по их мыслям так же, как я теперь расхаживаю по своему чердаку. Память о происшедшем еще обжигает, жжет, я мысленно перебрасываю его, как пастушки перебрасывают с ладони на ладонь картошку, вынутую из горячей золы. Гордость и тщеславие играют во мне: ага, снова удалось вмешаться в чьи-то чувства, подточив их неприметной подлостью. Мне некому задать свой вопрос. И я спрашиваю у темноты, одиночества, взблескивающих и пропадающих звезд, пустоты, которая переполняет меня так, что я едва не лопаюсь с треском, и у сокрушающего меня ужаса: ответьте, что это — бессилие и слабость? Но можно ли так оценивать случившееся? Не было ли это лишь мелкой победой в ничтожной драчке, когда настоящая, решающая битва еще впереди и ее легко проиграть? Не слишком ли я склонен обманывать себя и чересчур преувеличивать затруднение, от которого пострадавшие быстро опомнятся?

Рано утром меня разбудил стук в дверь. Он переплелся

с последним из бесчисленных сновидений, во что под конец ночи обратились мои беспокойные и напряженные раздумья. Постукивание в дверь слилось с ударами — некто незнакомый и страшный, герой моего сновиденья, обрушил эти удары на двери, за которыми я корчился от страха, держась за ручку изо всех сил, но силы, однако, убывали слишком быстро. Я сел, дико озираясь; уснул я в платье, жесткий воротничок сдавил мне шею. Будильник, стоявший на стуле возле моей постели, показывал без пятнадцати восемь — час, когда я в иные времена, торопясь, поспешно глотал свой утренний кофе в недалеком ресторане.

Я едва не вскрикнул, увидев, что ручка двери шевелится. Неужели это все еще сон?

Двери открылись — я никогда не запираю их, этот вид страха был мне знаком, на своем чердаке я чувствовал себя вроде бы в абсолютной безопасности. В дверях стояла тета.

Дневной свет беспощаден к ней. На тете — черное платье, она бледна, как воск, и, возникнув из серого провала чердачной лестнички, выглядит так, будто скончалась сегодняшней ночью и теперь пришла меня пугать.

Однако голос ее звучал по-прежнему холодно и жестко, что стало привычно для нее в последнее время.

— Молодой человек не пойдет сегодня на службу?

— Проспал, — отозвался я, смиренно извиняясь и оправдываясь. — Никак не мог от волнения уснуть сегодня.

— Что это тебя так разволновало? Не мог найти свечку?

Я затаил дыхание. Полицейская ищейка и та не могла идти по следу быстрее и с большей уверенностью. Я уже слышал глубокое, гортанное вочанье поражения, вот-вот готового обрушиться на мою голову. Секундное колебание означало мою гибель, проблеск страха выдал бы меня тете — на ее суд и расправу. Я должен был быстро пройти по тонкому острию ее неотступного взгляда и не поддаться головокружению, готовому свалить меня с ног.

К счастью, в моем нетопырином гнезде никогда не было недостатка в огарках свечей, я зажигал их чаще, чем керосиновую лампу.

Иной раз и несколько свечей сразу, расставив их по разным углам. Как раз на стуле возле моей постели стоял опрокинутый стакан, а на его дне в лужице растекшегося стеарина чернел обгоревший фитилек. Его отражение мелькнуло в сетчатке моих глаз, хотя я ни на один миг не отвел

взгляда от тетиного лица. Я преисполнился пренебрежения и уверенности.

— Какую свечку, тетя? — удивленно протянул я. — У меня их много про запас, а одна — всегда под рукой.

— По-моему, под рукой они у тебя чаще, чем нужно. Хотела бы я знать, откуда Здейсова девка взяла вчера стеарин, который бросила на печку. Не принесла же она ее с собой, в этом сомнений нет никаких. У нее даже сумочки не было — носовой платок она держала в руках.

В ту минуту я проклинал ее чисто женскую наблюдательность и сообразительность. Если бы меня спросили, как была одета Божена, я не мог бы описать ее наряд достаточно точно, хотя просидел с ней бок о бок почти целый вечер. Была у нее сумочка или нет? Я просто не обратил на это внимания, а тетя, едва удостоив ее одним-единственным взглядом, запомнила все. Попробуй схорони что-нибудь от таких глаз, и все же я не смел обнаружить не только слабости, но даже намек на неуверенность. В голове у меня гудело, и гул этот поднимался откуда-то из глубочайшей пропасти, которая разверзалась у меня под ногами.

— Откуда мне знать? И почему ты именно меня спрашиваешь об этом?

Тетя поднимает руку, рука тянется к шее и несколько раз поглаживает золотой крестик, висящий на золотой цепочке. Наверное, допытывается у бога, справедливо ли, не грех ли так настойчиво преследовать меня своими подозрениями. Однако результат этого совета для меня неутешителен.

— А кто вчера прямо к нашим дверям нес зажженную свечку, будто пугая духов?

Я не удивился, я, собственно, ждал этого вопроса все то время, пока тетя стояла и допрашивала меня. Да и что удивительного, если после подобных происшествий в семье кухарка вспомнит обо мне и расскажет тете.

— Хотела бы я знать, что с этой свечкой стало потом, — настаивает тетя.

Я вслепую дотягиваюсь до стоящего рядом стула и торжествующе поднимаю опрокинутый стакан.

— Вот что, — объявляю я, следя, чтоб не слишком ликовал голос. — Я освещал себе ею дорогу домой, прилепил сюда, и она светила, пока не выгорела. Теперь от нее остался лишь маленький огарок.

— Трудно утверждать, пока не схватишь вора за руку. Ты скользкий и больно хитер для меня, старухи. Но бог не терпит ни хитрых, ни скользких, его рука достаточно шер-

шава, и в один прекрасный день ты в ней застрянешь. Я даже дяде не могу высказать своих подозрений, будь я стократно убеждена в своей правоте. Он мне не поверит. Я не могу взять в толк, чем это ты его так к себе расположил.

Я еще весь трепещу от страха, но уж слишком уверен в победе и не в силах превозмочь торжества.

— Усердной работой, должно быть, — отвечаю я насмешливо и вызывающе.

— Возможно, что и работой, — допускает тетя. — Если такие люди, как ты, поставили себе цель, они могут все, даже работать, чтобы добиться своего. Я как-то уже говорила, что думаю на твой счет, и сейчас повторю еще раз: ты не встрянешь больше на пути Маркеты и Кленки. А если попытаешься, я найду способ тебя отсюда спровадить.

Глаза у тети полыхают, в них светятся иступление и непривычный блеск.

— Мы обязаны способствовать божьей воле, отстраняя препятствия, которые встают на ее пути. И если господь трудится ради нас, то и нам негоже глядеть на его работу сложа руки. Я вижу изъявление его воли в том, чтобы Маркета вышла замуж за Кленку. На доме этом тяготеет грех. Грех богатства, которое не было нажито одним лишь честным трудом. И мы можем снять его, если хоть одного из пострадавших, кто на самом деле это состояние добывал, сделаем компаньоном. Верую, Кленка послан нам самим богом, чтобы через его посредство мы заплатили долг остальным.

Про себя я соображаю, что бы, наверное, сказал сейчас дядя, услышав это удивительное исповедание веры. Но идти к нему и рассказать обо всем я не могу, так сразу можно проиграть в его глазах. Какой он ни есть торговец, в обычных человеческих делах он слишком щепетилен и порядочен, чтобы потакать доносчикам. Но и так просто, за здорово живешь, проглотить тетино заявление я тоже не могу. И, не сдержавшись, говорю:

— Бедный Кленка!

— Отчего это он бедный?

— Да потому, что один из вас его гонит за дверь, а для другого — он хорош, вроде как агнец, который должен искупить семейные грехи. Бедный Кленка и бедняжка Маркета. Очень мало обрадовало бы ее, узнай она, по каким причинам мать, собственнно, потворствует ее любви.

Тетя, в недоумении поморгав, отводит взгляд от моего лица. Мгновенье блуждает он по соседним крышам, обли-

тым светом утреннего солнца, где ветер разбрасывает слабеющие дымки запоздалых завтраков. В тете уязвлена простая правда и доверчивость набожного человека. Правая рука ее снова заскользила по груди, отыскивая крестик, и погладила его. А губы, ослабев, опустились и на несколько мгновений сделались снова мягкими и женственными, но потом снова поджались, вытянулись в привычную ровную линию.

— Подлец! Ведь испоганит все, на что ни поглядит, к чему ни прикоснется!

Маркета не спустилась в магазин ни в этот день, ни назавтра. И Кленка у нас не появлялся. Но когда на следующий день я пошел обедать, мне показалось, будто на отдаленном углу промелькнула пола его рыжеватого пальто. Я, конечно, побежал туда, но, достигнув нужного места, ничего не нашел и тщетно оглядывал улицу. Наверное, я обманулся, а может, и Кленка, тоже увидев меня, скрылся в одном из темных подъездов.

Дядя плотно отгородился завесой молчания, и поскольку мне не хотелось напоминать ему про тот роковой вечер, раз он сам о нем не вспоминал, то я и не мог узнать о том, что теперь случилось с Маркетой. Беспокойство не давало мне покоя. Не покончено ли уже со всем, ведь Маркетина стыдливость и девичья гордость мещанской дочки были ранены столь глубоко, что даже у любви неостанет сил победить обиду. А Кленка? Лишь на первый взгляд может показаться, что события прошедшего четверга коснулись его меньше, чем Маркеты. И слепому должно бы быть ясно, что ему мстила отвергнутая возлюбленная. Виноват ты тут или нет, попробуй-ка объясни девушке, перед которой у тебя горло сжимается от страха, даже если ты собираешься выдавить из себя самый обычный пустяк — вроде того, что сегодня, мол, хорошая погода.

Рассуждая так, я пришел к твердому заключению, что в этом любовном объединении Кленка — более слабое звено, чем Маркета, и что, продолжая свою разрушительную деятельность, я должен начинать именно с него. «Наверняка в нем есть нечто взрывчатое, вулканическое, — убеждал я себя, — как во всех музыкантах, по утверждению знатоков — нечто такое, что побуждает их действовать немедленно, хотя завершением может быть и катастрофа. Более всего мне нужно, наверное, опасаться Маркетиной неуступчивости и упорства. Как только она выплечет все слезы, припасенные для этого случая, то опять примется за свое: дайте мне Кленку, хотя бы вопреки всему свету.

Поэтому я должен увидеть Кленку, пока меня не опередила Маркета».

Так я и предполагаю поступить, но, по обыкновению, все развивается иначе.

На третий день вечером кто-то тихонько пробрался к дверям моего чердака. Одиннадцатый час, дом на запоре, кто бы это мог быть? Впервые за все время, пока я обитаю тут, мне приходит в голову мысль о ворах. Наверное, кого-то соблазнило белье, висящее на чердаке. Я уже готов повернуть ключ в замке — ничего-де и знать не знаю. Я ведь тут не затем, чтоб караулить чужие вещи и совать свой нос куда не след. Но неведомый гость остановился как раз у моих дверей, мне слышно его взволнованное и прерывистое дыхание. Скорее всего, он знает, что я дома, и хочет убедиться, сплю я или нет. И тут, в тот момент, когда я начинаю поворачивать ключ, незнакомец дважды легонько стучит в дверь.

Я приоткрываю ее, и в комнату проскальзывает Маркета так поспешно и в таком испуге, будто кто-то преследует ее по пятам.

Дела творятся невероятные, мир сотрясается в своих основах, едва не рассыпаясь в прах. Воспитанная в монастыре дочь одного из известнейших пражских патрициев тайком, ночью крадется на чердак к молодому человеку! Я бы рассмеялся, если бы этот неожиданный ночной визит не потряс меня самого. Я пытаюсь, сколько могу, усмирить свое волнение и не подать виду, будто ее приход меня вообще хоть сколько-нибудь удивил. Пододвигаю ей стул.

— Садись, Маркета.

Она отрицательно трясет головой и стоит, опершись спиной о дверь. Могу ли я представить, каких усилий стоило ей подняться сюда и переступить мой порог?

— Я должна сейчас же уйти, Карличек. Наши могут проснуться.

Под глазами у нее пролегли тени, где скопилась вся темень бессонных ночей. Правда, мне, может быть, только так кажется, стол с лампой от нее слишком далеко. Но для меня ее лицо и локоны лучатся светом, хоть всю ее, целиком, окутайте тьмою, я все равно буду видеть ее так же ясно, как при блеске солнца.

— Что скажешь?

— Я послала Енику письмо, но оно вернулось обратно. «Адресат выбыл» — стоит на конверте. Что с ним, как потвоему?

Я пожимаю плечами.

— Трудно сказать, но после того, что произошло, он не мог остаться у Здейсов.

У меня тут же мелькает мысль, что этим самым естественным разъяснением истины я, собственно, приношу ей облегчение и надежду.

— Впрочем, как знать, может, он вообще исчез из Праги. Стыдно показаться на люди.

Она вздрагивает, резко отрицая жестом подобное предположение.

— Он не делал ничего такого, чего нужно было бы стыдиться.

— Ну, об этом лучше ему знать. Только вся Прага наверняка болтает, что Кленке отомстила покинутая возлюбленная, а если он еще хоть немножко мужчина, то ему стыдно прежде всего за то, что в эту историю он и тебя впутал.

— Никуда он меня не впутал, он и не предполагал, что эта девчонка выкинет такую штуку. Я знаю, любит он только меня одну.

— В таком случае он давно должен был бы все объяснить и извиниться.

— Да нет, не так, Карличек. Все ты перепутал. Ему, конечно, неловко и стыдно, как ты говоришь, но ведь стыдиться-то нечего. Вот это и нужно ему растолковать и обо всем договориться. Я должна поговорить с ним. Карличек, пожалуйста, найди его и передай ему это письмо.

Я, не отвечая, смотрю на пламя керосиновой лампы. Оно образует форму сердечка. Пылай, сердце, пылай! Только мне и выступать в роли посредника! Господи Иисусе, как ты мной играешь! Внезапный порыв ветра, поток сквозняка, подобно скорбному вздоху, проносится по чердаку, и в какой-то из потолочных балок раздается звонкое потрескивание. Будто сама ночь в тяжком забытии поворачивается на своем беспредельном ложе. Мне не нужно даже оглядываться, я чувствую, как Маркету, стоящую у дверей, бьет дрожь.

— Карличек!

Ну, что же ты еще тут стоишь? Ну иди же, иди, моя белая овечка, конечно, я пойду к твоему милому, я и так бы пошел, но с поручением от тебя — это много лучше. Ах нет, погоди, постой еще, всякий раз, когда ты уходишь, мне кажется, будто больше я тебя уже никогда не увижу, всякий раз время проваливается во мне и ты утопаешь в его омуте, всякий раз — будто навеки. Помедли еще, хоть ты и ранишь меня, хотя красота твоя и протравливает в моем

сердце твой образ кисточкой, смоченной в едкой щелочи.

Она ушла, а ночь все стенала над крышей, стенала она и у меня в душе.

Я долго сидел, не сводя глаз с двери, за которой исчезла Маркета. Ее уже нет там, одна рама и полотно остались, а образ вобрала в себя тьма.

Я верчу в руках письмо, которое она оставила. «Адресат выбыл». О, если бы тебя навеки поглотила черная тьма!

Господи боже, какой ты искуситель! Наверное, полюби она меня, я стал бы лучше. День рассвел бы во мне, и я научился бы смотреть на мир как все люди. А что, разве мне не хочется быть среди них? И разве с тех самых пор, когда во мне пробудилось сознание, я мечтал о чем-нибудь другом? Только бы стать одним из них, быть как они. Я верчу письмо в руках. Какое оно тяжелое, как жжется, его пыльное содержание прожигает конверт. Отчего на нем вместо «Я.-Б. Кленке» не написано мое имя? Сразу все стало бы на свои места.

На самом деле, видишь ли, адресат вовсе не пропал без вести, он обосновался здесь и давным-давно ждет такого письма, чье ядро прожигало бы свою оболочку. Если бы на конверте стояло мое имя, какой световой ливень обрушился бы на меня, когда я открывал бы его, он спалил бы и смысл во мне все, что следует смыть и спалить. Но — увы! — не прольется белый очистительный свет. Тьма вспыхивает во мне, и разливается черный свет, и снова я бреду своим путем, длинным, нескончаемым темным коридором, и нигде ни щербинки, чтобы развиднелось. О, стань ядом то, что могло быть спасительным лекарством, я иссох, я должен утолить свою жажду, даже ценою жажды смертельной.

Я поставил на спиртовку немного воды в кастрюльке, где зимними вечерами иногда согревал себе чай, и над паром разлепил конверт.

Нужно ли было читать это письмо для того, чтобы вся боль и злоба, что тлели во мне, разгорелись еще сильнее? Так же как первое признание в любви, которое мне пришлось выслушать недавно, слова любовного послания, первого любовного послания, прочитанного мною, были обращены к другому, тосковали по другому. Я нашел в нем именно то, чего более всего боялся. Маркета не ведала ни поражения, ни отступления.

«Дорогой мой, отчего Вы все еще не откликнулись? Чего Вы боитесь? Я уверовала в Вашу любовь и буду верить в нее всегда. Все прочее — такие пустяки и глупости, через которые мы должны уметь переступить. Вам ничего не

нужно объяснять. Мне хочется лишь одного — видеть Вас и говорить с Вами».

Я снова и снова перечитываю эти слова, которые обращены к другому, ночь шумит и вздыхает во мне и вокруг меня, я тешу себя иллюзией, я выкрал чужую любовь и плавлю ее чистый металл. Легче легкого снова заклеить распечатанное письмо, но из памяти никогда этих слов не изгладить. Тьма нашептывает их пылающими устами, а ночь хохочет надо мною и во мне.

10

Завтра — воскресенье. Я стою перед храмом Крестосцев и жду, когда кончится большая месса и органист Здейса выйдет вслед за потоком верующих. С утра выглянуло солнце, веселое, лучезарное, какое-то праздничное. Это впечатление создают звуки и свет. Рыжая дымка налившихся почек поднимается над черными стволами деревьев, а кое-где уже шумит молодая зелень свежераспустившихся листьев. Я расхаживаю по небольшой площади возле Мостецкой башни; пока не отзвучат последние аккорды органа, мне нечего бояться прозевать Здейсу.

Двери храма открыты, звуки органа и пенье доносятся даже сюда, ко мне, а внизу подо мной гудит необузданная весенняя разлившаяся река. Чувствуешь, как все здесь слитно? Озаренный солнечными лучами Град — свидетельство силы, возросшей на корнях веры; властвовать, друг, можно, лишь опираясь на силу, рожденную любовью и доверием; у этого бурливого потока и у жизни — свои весенние паводки, а тебе хотелось бы использовать их только ради своей выгоды — эту весну, коченеющую на ветвях, хрупкую, но и могучую в своей надежде, шум крыл благочестия, устремившегося из псалма к небу и возносящего все сердца к одному средоточию. Собственно, почему я не вошел в костел? Скорее всего, мне показалось, что там я попадусь кому-нибудь на глаза, да и к чему?

Уже смолкли пение и звуки органа, лишь шумит река, цокают копыта лошадей, влекущих тихо покачивающиеся экипажи, прогрохочет вдруг из-за угла трамвай, распутивая металлическим звоном все, что есть вокруг тихого, умиротворенного, обещанного вечности, все, чему еще хотелось бы не спешить, пребывая в забвении и покое.

Поток верующих медленно течет из врат храма, разливаясь и незаметно пропадая в разных направлениях. Давно уже скрылся последний молещик, и я уж начинаю побаи-

ваться, не ускользнул ли Здейса через монастырские врата, но тут органист появляется на пороге вместе с церковным сторожем. Они разговаривают шепотом, понимая и доверительно ухмыляясь друг другу. Что может быть общего у этого, по всей видимости, хитрого кощея и пройдохи с лучшим пражским органистом? Наверное, пьют вместе где-нибудь на опустевших хорах. У людей ведь есть потребность в дружбе — разве я сам не достаточно испытал это на собственной шкуре? А сотоварищи по искусству, к клану которых Здейса принадлежал, отворачивались от него.

Завидев меня, Здейса мгновенно прерывает свою болтовню, небрежно машет сторожу на прощанье — тот в ответ лишь смиренно кланяется — и шагает мне навстречу.

Облитый светом юношески дерзкого апрельского солнца, органист выглядит теперь еще более гротескно, чем прежде. Все на нем как бы еще больше почернело, залоснилось, истрепалось. Одет Здейса в свой обычный сюртук, но высокий засаленный цилиндр, непрочный сидящий на его гриве, делает музыканта похожим на владельца магазина похоронных принадлежностей или потерпевшего крах владельца балагана. Выставив вперед правое, более низкое, плечо, он идет, будто толкая перед собой незримую повозку.

Самая короткая трубка органа гроыхнула в его груди.

— А, посол его величества пришел известить провинившегося дворянина, что тот помилован и может вновь вернуться ко двору?!

Из чащобы его бороды вырвались пары рома и обволокли меня. Сердце органиста плыло в них, исполненное счастья и готовое примириться со всем белым светом. Я завидовал ему в эту минуту, уверенность в собственной безопасности он явно черпал из самого себя, или, вернее — из плоской бутылочки, помещавшейся в нагрудном кармане его редингота.

Я отвернулся, чтобы глотнуть свежего воздуха, и сказал:

— Бросьте, Здейса, вам вовсе нет надобности ждать чьей-то милости. Его величество слишком хорошо знает вам цену, а это для него — самое главное.

Несколько самых коротких трубок в груди Здейсы рождают дисгармонический аккорд. Органист хохочет.

— Да, кое-кому нужен органист Здейса, педагог Здейса, композитор Здейса, но никого не занимает человек Здейса.

Он берет меня под руку и тащит на Карлов мост, непрерывно свистя на самой упорной трубке своего грудного органа.

— Но для меня это несущественно, дорогой, я не жалуюсь. Пытаюсь сравняться с великими духом хотя бы в своем пристрастии к одиночеству. Впрочем, и меня кое с чем связывают узы дружбы, столь прочные, что их может разорвать лишь смерть.

Он смеется и поглаживает ладонью широкие отвороты скюртука, где, как я чувствую, таится карман с плоской бутылкой. Здейса движется быстро, как будто плечо, выставленное вперед, помогает ему легче раскатать воздух, не так, как прочим смертным. Останавливается он лишь у ступенек, ведущих с моста вниз на Кампу. И тут наконец вспоминает, что за все время пути не дал мне сказать ни слова.

— Я вас тяну за собой, — произносит он, — а вы, наверное, и не собирались идти сюда. Вы вообще-то пришли ко мне или просто случайно оказались перед костелом?

— Я пришел вас спросить, куда переехал Кленка.

Здейса, взглянув на меня снизу вверх, закатил глаза, что при его заросшей физиономии выглядело презабавно.

— Значит, все-таки вы — посланец, — торжествуя, возглашает он, — и я не ошибся. Принцесса разыскивает своего возлюбленного. Воротилось недоставленное письмо, поднялась тревога.

— Но почему вы не сказали почтальону новый адрес?

— Потому что я выследил его только вчера. Гению провалиться хотелось, исчезнуть, скрыться с глаз вместе со своим горем, порвать все связи и знакомства. Но в части света, именуемой Малая Страна, вместе с полуостровом Градчаны, нет уголка, где можно было бы спрятаться от старого Здейсы. Разумеется, я не злоупотреблю своим открытием и предоставлю беглецу то, чего он желает. Небось сам вылезет, как только горе поостынет. И вы у меня своими расспросами, ей-ей, немногого добьетесь.

— Я его разыскиваю не ради кого-нибудь. Мне он нужен самому. Мы одноклассники и старые друзья.

— Не знаю, как вас встретят. Может, он водку хлещет и мертвецки пьян.

— Я тоже могу с ним выпить.

В груди у Здейсы что-то пищит, будто паровой свисток, на который набросили одеяло.

— И я бы не прочь с ним выпить, да мне теперь долго

нельзя показываться ему на глаза после того, что выкинула моя Божена. А вы, конечно, попробуйте.

Он знал даже номер дома по Градчанской улице, но едва успел его сообщить, как мысль его вернулась к роковому торжеству.

— На его лице вы обнаружите следы Божениных когтей, и рука у него искусана. Он, извините, сграбастал Божену на мосту, чтобы помешать ей бежать, вот она и вцепилась в него. Била ногами, царапалась, кусала. Драконово семя. Собственно, он всю дорогу нес ее на руках, чуть не до дому, а за ними хвостом тянулась славная компания ночных потаскушек и пьяниц. Но на другой день утром он от нас скрылся — на английский манер.

Здейса рассказывает, кривит лицо, широко размахивает руками, и все время в груди у него одинокой трубкой органа высвистывается смех. Вдруг он впадает в задумчивость.

— Глупость это все. Такое непозволительно даже молодому человеку. До чего это ее доведет? Если бы мне знать, кто ее надоумил и откуда взялась эта проклятая свечка?

Увидев, что славное пьяное веселье сменяется у Здейсы отчаяньем растерявшегося вдовца, которому доверили воспитание подрастающей дочери, моя зловредность порождает еще одного уродца. И я произношу со смехом:

— Может, вытащила из вашего собственного кармана?

Он недоуменно таращит на меня глаза, буруеваемый сомнением пьяницы, с которым память все чаще проделывает всякие коварные штучки.

— Из моего собственного кармана? — Его голос вдруг утрачивает свой обычный присвист и приближается к нормальному человеческому. — Из моего кармана, говорите?

Он ощупывает полу своего сюртука, на лице его криком кричит испуг, все оно апоплексически наливается кровью; он вынимает из кармана руку, и в ней оказывается огарок довольно толстой свечки, какие верующие, исполненные добрых намерений, ставят в костелах.

— Случается иногда, — лепечет он, заикаясь, неприлично глубоким голосом, — приходится собирать огарки для баб, что торгуют свечами.

Смейтесь вместе со мною! С той поры я непреклонно верую: нет ничего, что могло бы мне не удался. Хлопаю Здейсу по плечу и говорю:

— Ну вот видите.

И ухожу, бросив его одного на мосту, оторопело уставившегося на свечу в своей ладони.

Винтовая лестница круто уходит вверх; на ней темно. Здесь нет даже мерцающей неугасимой лампадки под распятым либо гипсовым изображением какого-нибудь святого — совсем не похоже на то, как было у нас дома. Каждая из деревянных ступенек скрипит на свой лад — низко, в среднем регистре и пронзительно, причем каждая скрипнет дважды: когда нога твоя на нее ступает и затем покидает ее. Принюхиваясь, различаешь запахи подгоревшего лука, плесени, пурпура, воскресных обедов, где преобладает квашеная капуста и свиная отбивная. Переходы меж этажами освещены светом, скупо проникающим через высокое узкое окно, которое щетки дождей, смешавшихся с пылью и сажей, покрыли серым налетом такой плотности, что невозможно определить, куда оно выходит.

В третьем этаже перед коричневыми облупившимися дверями с белой овальной эмалированной табличкой я останавливаюсь.

АГНЕС МАТЕЙКА

выведено на ней черным с золотой каемкой готическим шрифтом. Три раза колокольчик звякает очень звонко, а заканчивает хриплым кашлем, словно переоценив свои силы. Вот он дозвенел — и надолго воцаряется тишина. Весь дом словно сосредоточенно прислушивается и ждет вместе со мной. Я звоню еще раз, и игра повторяется. Чудится, будто дом вслушивается еще внимательнее. От этого мне делается чуть ли не дурно. Я уже почти примирился с постигшим меня разочарованием, как вдруг изнутри раздается скрип и чуть слышные шаги шаркают у двери. Веко глазка поднимается, я снимаю шляпу, кланяюсь этому стеклянному зрачку и жду с непокрытой головой.

Двери приоткрываются, в них стоит низенькая старушка; на подушке белых ее волос, будто черная птица, сидит чепчик, и небесно-голубые глазки смотрят на меня выжидательно с такой приветливостью и добротой, что все во мне содрогается; чувство такое, будто я понапрасну стягивал концы лжи, прикрывая обнаженную наготу своих провинностей. Я с трепетом выговариваю свой вопрос, но старушка отрицательно вертит головой.

— Нету дома.

В ее старческом голосе что-то от птичьего чириканья и шелеста листьев.

— Мы старые приятели, — упрасиваю я. — Для меня он всегда дома.

Я поставил старушке силки, и она попалась.

— Он сказал, что его ни для кого нету дома.

Я улыбаюсь, и она улыбается виновато, помаргивая своими добрыми глазками.

— Уж не знаю, могу ли я его об этом спросить, — произносит она. — Он в плохом настроении. Собственно, почти болен. Даже из дома не выходит.

Под чьими-то грузными большими шагами за ее спиной скрипят половицы пола, и она всполошенно оглядывается. За нею стоит Кленка. Он в халате из тяжелого темно-синего шелка, но явно еще неумытый, волосы взлохмачены, рубашка без воротничка, расстегнута, на подбородке — рыжее жнивье несколько дней не бритой щетины.

Он ласково берет старушку под локти и отстраняет ее легко, будто это маленькая девочка.

— Этого впустите, тетенька.

И, тут же забыв о ней, по темной прихожей ведет меня в комнату, куда через спущенные занавеси тщечно продирается солнце. К удивлению, комната огромная, вся заставлена стульями и столиками на стройных, точеных ножках, полированными шифоньерами и этажерками, среди которых выделяется огромный застекленный шкаф, наполненный безделушками, бюро, часы с колонками. В стороне — большой коричневый рояль. Приятная, приветливая комната, где, безусловно, хорошо посидеть за чашечкой кофе с ромовой бабой, пока старинные часы мелодичным стуком, будто каплями, отмеряют время, а кто-то играет на рояле старинные, забытые мелодии. Но в какой хлев превратил эту комнату Кленка! Постель не убрана, подушка — на полу, и похоже, будто он валяется целыми днями; тяжелая скатерть скомкана, и на столе под ней — перевернутая ваза с искусственными цветами; белье, платье и ноты разбросаны повсюду; на полу, по стульям, возле рояля и стола громоздятся горы смятой и брошенной нотной бумаги. И хотя в комнате высокий сводчатый потолок, я едва не задохнулся. Конечно, тут не проветривали несколько дней.

Застойный табачный дым соединялся с запахом постели, где лежит больной. Не оставалось сомнений, Кленка спрятался тут, словно в барсучьей норе, не впуская даже старушку тетку — прибрать и проветрить комнату.

Ногой придвинув мне один из стульев, Кленка сам опустился на постель так грузно, что она застонала под ним, будто собираясь развалиться.

— Садись.

— Позволь, я сперва открою окно. Здесь нечем дышать.

Он засмеялся, будто удачной шутке.

— Здорово я тут все провонял, да? Сижу взаперти уже третий день, и ты первый, кому довелось глотнуть этого воздушку — на пробу. Ну, открой, коли для тебя он чересчур крепок.

Одну за другой я подтянул обе шторы и распахнул окна. Солнечные лучи ликующими фанфарами трубили над Петршинским холмом, заливая светом Страговский сад. На какой-то миг солнце ослепило меня, и Кленке тоже пришлось прикрыть глаза ладонями. Вместе со светом в комнату ворвался свежий воздух, благоухающий весной, словно девушка — любовью, ревностный и старательный, как усердный санитар. В окне воздух голубел и мерцал — здесь, словно столкнувшись, перемешались два потока: один — победоносно наступательный, другой — потерпевший поражение и обратившийся в бегство.

Кленка отнял ладони от глаз, белки у него налились кровью, взгляд был тяжел и неподвижен, как у пьяницы.

— Однако, — произнес он с удивлением. — С вонью шутки плохи, о господи! Вонь способна задушить певицу, разогнать благородных профессоров, погубить в зародыше молодую любовь.

Он натужно рассмеялся и закашлялся. Было заметно, что он слишком долго молчал и теперь должен говорить, пусть глупости, каждым словом будто стегая себя, как колючей проволокой.

— Ну приходило ли тебе на ум, что так может кончиться любовь?

— Кто сказал, что это конец? — попробовал я нащупать почву.

Он выкатил налитые кровью глаза, словно намереваясь броситься на меня с кулаками.

— Ну, а разве не конец? — кричал он. — Разве я могу пойти к ней объясняться с этойкой вот рожей?

Он коснулся рукою тех мест, где подсыхали царапины.

— Только затаиться и молчать, подтверждая свою вину, — ничего другого мне не остается.

Я вижу, что он взволнован, рискованно дразнить его дальше, тем не менее я не могу удержаться и говорю:

— Опасно сидеть меж двух стульев.

Сплетение жил у него на лбу набухает, подойдя ко мне вплотную, он трясет меня за плечо:

— Кто же это сидел на двух стульях, а, полоумный? Я ль виноват, что Божена спятила и забрала себе в голову, будто я рожден для нее? Наверное, я виноват тем, что медлил, может, тем, что тут же, сразу, не дал достаточно грубо ей понять, что она ошибается. Мне было жалко ее — вот и все, а теперь я заплатил за эту жалость с лихвой.

Отпустив меня, он начинает расхаживать по комнате, роняя стулья и не замечая, как они падают.

— И вообще, мог ли я предполагать, что это за кошка? — продолжает он свой монолог. — Да если бы я не догнал ее вовремя и не отнес на руках домой, она бы наверняка прыгнула в реку; она выла, как сука, и царапалась, как кошка, мне и самому в какое-то мгновение захотелось бросить ее в воду, а потом самому нырнуть за ней следом. И так грустно сделалось мне от всего этого — от ее страданий и от своих собственных, просто голова шла кругом, тошнило от бессмыслия жизни. А тут она вдруг перестала царапаться и давай меня целовать, прокусила мне губу и высасывала из нее кровь, я не мог ее от себя оттолкнуть — так прильнула она к моим устам, рыдала и плакала, шептала, что любит меня и покончит с собой, если я не полюблю ее. А я все ж таки той же ночью выскочил через окно, как вор, и скрылся здесь, у тети; тетушка из-за меня впала в отчаянье и молится целыми днями. Ну что мне было делать?

Подняв руки, он потрясал кулаками у себя над головой. Я наблюдал за ним, размышляя, как бы потолковее воспользоваться его теперешним состоянием. Я бросил вопрос, как лот, который должен измерить глубину его настроения.

— Я бы не забивал себе этим голову всерьез. Говорят, коли собака брешет, она не кусает.

Он безнадежно покачал головой.

— Нет, ты ее не знаешь, у нее все увязано в один узел. Она грозит, но может и осуществить угрозу.

— А ты-то сам как собираешься поступить?

Он снова выкатил на меня свои налитые кровью бельма и заорал:

— Не могу же я за нее отвечать! И не могу покалечить себе жизнь только потому, что ей вздумалось в меня влюбиться, а теперь еще и грозить!

— Любовь ведь никому не дано взять да и выдумать, насколько я понимаю. Но, предположим, ты добьешься своего, и она — тоже. Да разве ты из тех, кто выдержит,

чтоб за ним неотступно бродила чья-то тень? Разве ты смог бы пренебречь ею?

Он взглянул на меня, будто не понимая смысла моих слов. Потом лицо его вдруг померкло и увяло. Сев на стул возле стола, он обхватил голову руками.

— Об этом я не подумал, — проговорил он медленно и с трудом. — Просто не могу себе этого представить. Но что же мне тогда делать?

Это зрелище доставило мне несказанное удовольствие. Итак, судьба уже вцепилась своими когтями в этого богатыря и теперь вытряхивает из него душу. Есть в этом и мой посильный вклад, и если уж добиваться полной победы, надо было и дальше подливать масла в огонь. Я попытался — и глядь! — судьба снова помогла и подыграла мне. Много ли я преуспел бы без вмешательства мрачного ангела Божены Здейсовой? Я пожал плечами:

— Не знаю, что и посоветовать. Это такие вещи, которые каждый должен перетерпеть, пережить и разрешить сам.

— Не желаю я ничего решать, — воскликнул Кленка и хватил по столу так, что хрупкая доска затрещала, а упавшая ваза зазвенела. — Тут есть только одна загадка, и для меня важно ее разгадать.

Несколько театральным, как мне показалось, жестом он показывал на рояль и на груды смятой нотной бумаги, которые валялись вокруг.

— Чем я заслужил, чтобы из человека, не знавшего ничего, кроме своих занятий, меня превратили в совершенно затравленное существо? Я не могу работать, мне ничего не удастся, я даже упражняться не в состоянии, этот старый рыдван меня раздражает, а мой рояль остался у Здейсы. Я отменил концерт, который должен был быть на следующей неделе. Не могу же я выступать в таком состоянии.

На какое-то мгновение эгоизм творца, бегущего жизни, которая строит козни, препятствует работе и погоне за успехом, одержал в нем верх. Теперь ему, наверное, осточертеет и любовь; вместо того чтобы стать животворным источником, она лишает его сил, превращая в беспомощно гомонящего психа. Я пытаюсь сохранить побольше благоразумия и не дать маху в оценке Кленки. Риску я считать его чересчур легковесным, я мог бы допустить ошибку, которой уже никогда не поправить.

Он снова принимается рассказывать по комнате, а я молча наблюдаю за ним. Он словно бы топчет свое беспокой-

ство, меряя комнату большими шагами, и вдруг на одном из них, вздрогнув, замирает. Наверное, догадался наконец, что я пришел сюда с какой-то целью.

— Ты мне что-нибудь принес? Должен что-то передать?

Я качаю головой, я уже решил. Посланию не суждено попасть в руки тому, кому оно предназначено. Впрочем, так ли это, ему ли предназначено письмо, если каждое его слово выжжено в моей памяти?

— Зачем же ты тогда пришел?

— Так просто. По дружбе, скажем. Решил, что тебе полезно с кем-нибудь поговорить.

Он согласно кивает головой и смотрит в окно на огромные сияющие просторы чистого лазурного неба.

— Никто обо мне не спрашивал? — произносит он хрипло и натужно.

Он размяк, как воск. Я вылеплю из тебя, дружочек, все, что мне потребуется.

— Ты имеешь в виду Маркету? Она заперлась в своей комнате, не выходит с того самого вечера. Надобно время, чтобы она опаматовалась.

Карманы его брюк раздуваются, так сильно сжимает он кулаки.

— Я хотел бы ей написать. Но что мне объяснять ей? Все так ничтожно, низменно, гнусно. Ну просто невыразимо. Ведь в таком виде я даже не рискнул ей на глаза показаться. В своих ребяческих мечтах я всегда воображал, что ту, кого я люблю, я должен завоевать, даже если придется сражаться с целым светом. Но как можно сражаться с грязью?

В возбуждение он снова принимается расхаживать по комнате.

— Боже мой, неужели это — конец? Как ты думаешь, — он останавливается передо мной, и в глазах у него испуг и мольба, — смею ли я еще на что-нибудь надеяться?

Я надеваю на себя личину неподкупного судьи, который не желает ничего иного, лишь бы только установить самую что ни на есть истинную правду.

— Трудно сказать, как это на нее повлияло. Не забудь, она ведь, собственно, тебя даже не знала как следует, и вообще у нее нет никакого опыта в любовных делах. Разумеется, ее прежде всего заворожило твое искусство. А искусство — не забудь, она ведь недавно вышла из монастыря — для нее нечто неземное, божественное, чистое. Ты творец, мог ли ты в ее глазах быть чем-то отличным от своих творений, чем-либо, кроме самого искусства? Она ничего не

знает о жизни и о ее коварстве, в ней нет ничего половинчатого, вся она состоит из «да» и «нет». И вдруг — не бесись, пожалуйста, я обязан смотреть на вещи так, как их, вероятно, видит всякий, — при обстоятельствах для нее особенно мучительных выясняется, что у тебя есть некая покинутая тобой возлюбленная. Как, по-твоему, это должно на нее повлиять?

Кленка поник головою, буравит взглядом пол и молча слушает. Я заканчиваю, он вздыхает глубоко и говорит, словно это что-либо может объяснить в его поведении:

— Но ведь я собирался на ней жениться.

Я завинчиваю гайку еще немного потуже.

— Я в этом и не сомневаюсь. Ведь Маркета ни о чем ином не помышляла, признавшись себе, что любит тебя. Да как знать, вышло бы что-нибудь из этого? Ясно только одно — тебе было бы нелегко добиться этого.

Наверняка даже во сне его не посещала мысль, что он мог выглядеть нежелательным женихом, он — творец, которому рукоплескала вся Прага, кому пророчили блестящую будущность. Вместе с тем ему кажется, что я наговорил слишком много неприятного.

— Почему же это именно мне оказалось бы нелегко? — взрывается он. — Что ты тут каркаешь, будто ворона, про одни несчастья?

Я поднимаюсь с оскорбленной миной, пожимаю плечами и протягиваю руку к шляпе, которую положил рядом на столе.

— Ну, если ты так представляешь себе дружескую беседу, то я уйду. Я не виноват, если правда тебе неприятна, и, поскольку выше моих сил изменить ее или подсластить тебе в угоду, я лучше уйду.

Он подскакивает ко мне, прижимает к стулу, с которого я поднялся — я просто кукла в его ручищах, — вырывает у меня шляпу и швыряет ее через всю комнату на смятую постель.

— Сиди, черт бы тебя побрал! Думаешь, я так тебе и позволил сперва растравить меня, а потом смыться? Будешь тут сидеть, пока не выложишь все, а не то я вышвырну тебя в окно!

Однако посреди этого взрыва бешенства в нем вдруг что-то ослабевает, лицо морщится и искажается, как будто он вот-вот заплачет от боли, и, пока правая его рука еще дрожит мое плечо, левой он уже гладит меня по волосам и молит:

— Не сердись. Посуди сам, в каком напряжении про-

жил я здесь эти несколько дней, в какой ярости и отчаянии. Пожалуйста, говори. Если уж что-то разбилось, так раскроши все вдребезги, раздави каблуком. Зачем тешить себя осколками надежды, если они ни к чему не пригодны, ведь о них только пуще прежнего поранишься.

Ну уж об этом-то, голубчик, меня просить нечего, ни за чем другим я бы к тебе и не пришел. Зато теперь, позволив мне изведать свою собственную силу, ты взбаламутил на дне души самую страшную грязь, которая оседала там годами, как в бутылки, хранимой для торжественного случая. У каждого из нас свои представления о торжестве. Ах, мой милый, если бы ты только знал, как много людей уже трепало меня и как они были наказаны!

Насколько же легче бить по нему теперь, когда я могу пустить в ход самую что ни на есть правду. Нет более жестокого и страшного оружия, чем правда в устах изоглавшегося лжеца. Ложью он может только поранить, а правдой — убить.

— Дядя никогда не мог спокойно видеть, как ты увиваешься вокруг Маркеты. — Теперь я мог упомянуть о дяде и даже не солгал, заявив, что его торгашеская душа не верит людям искусства, хотя он воздвиг на их творениях свое благосостояние. — И теперь он прямо вне себя от ярости, когда слышит твое имя. Ты, конечно, можешь зайти к нему и поговорить о делах, и он будет любезен, как и прежде. Но я даже представить себе не могу, что он сделает, если ты придешь просить руки Маркеты.

Я уже наслаждаюсь, видя, как он задыхается от гнева, сколь тщетны его попытки спокойно принять новости, которые я ему выложил одну за другой, они производят свое взрывное действие и вспахивают глубокими рывтинами целину его мысли.

Господи, вот удар так удар, а ну-ка, богатырь, попробуй-ка это выдержать.

На лбу Кленки большой буквой «игрек» набухают разветвления жил, «игрек», вздувшийся от прилива крови; весь облик Кленки докрасна распален тропическим солнцем самого свирепого исступления. Стиснутые в карманах кулаки должны бы бить, колотить, сокрушая все вокруг, горло распухло, наружу рвется остервенелый рев, который ему во что бы то ни стало хочется подавить. Не надо кричать, мне и так слышно все, что мечется, спотыкается и бьется в забытых до отказа проходах мозга. Я знаю, какая гордость переполняла тебя в те увлекательные часы одиночества и вдохновений, когда, сидя за роялем и нотной

бумагой, ты ощущал себя то ничтожнейшим из ничтожных, а то чуть ли не равным богу. То, первое, ты скрываешь даже от себя самого, а вот про другое ты желал бы, чтобы весь мир прочитал по твоим глазам и увидел в каждом твоём жесте. А тут вдруг — нá тебе! — появляется кто-то, кому ты не хорош! И ты сразу превращаешься в пражского мальчишку, вечно голодного сына вдовы, никогда не поспевавшего утолить свой голод, — только с завистью смотрел вслед дамам и господам, что с грохотом катили мимо в своих колясках. Осознавая свои силы, что уже тогда бурлили в душе, ты уверил себя: «Когда-нибудь все это будет принадлежать мне, и вы будете — у моих ног». И вдруг — смотри-ка! — кто-то не поклоняется тебе и даже пренебрегает тобою. Но пражский мальчик снова распрямляется и надменно выпячивает свою богатырскую грудь. (Если бы ты знал, насколько именно за это я ненавижу тебя!) Он готов плюнуть и присвистнуть: «Не хотите — не надо, да и вообще, кто вам сказал, что я в вас нуждаюсь?.. Когда-нибудь почтете за честь пальчики мне облобызаты!» Нет, крика больше не будет, прилив неистовства спал, и лицо Кленки проступило наружу — напряженно-гладкое и твердое, будто камень. Он почти дословно повторяет то, что я мысленно проговорил вместо него:

— Когда-нибудь пан Кукла придет попросить, чтобы я хоть что-нибудь напечатал у него. Если бы месяца три назад я знал, что знаю сейчас, я бы вообще плюнул и на него, и на его нищенский гонорар. Я получил заказ из Лейпцига и свои произведения могу издавать там.

Вот так-то и со всеми. У нас рушится любовь, невеста погибает в трясине условностей и предрассудков, да и сами мы, думая о себе, полагали, будто мы — хозяева жизни и нечего беспокоиться о будущих успехах и славе. Ан нет, не тут-то было, на поверку вышло, что это всего лишь молодечество, щегольство, козырь, который следовало выложить — только бы сохранить молодецкую честь, но едва карта шлепнулась о стол, как у нас опустились руки, и вот уже ползет вопрос, исполненный робости, мольбы и надежды.

— Но она? Ведь все-таки многое зависит от того, что скажет и захочет сама Маркета!

Я молчу. Делаю вид, будто мне очень трудно ответить на этот вопрос.

— Возможно, — выдавливаю я из себя наконец, как будто этот разговор уже стал мне неинтересен. — При условии, конечно, что кто-нибудь принимает во внимание

желание или нежелание девятнадцатилетней барышни; да и сама барышня — хочет ли она сегодня того же, что неделю назад? Мы уже довольно говорили об этом, не знаю, что тут добавить еще. Да и сам-то ты хорошо ли знаешь барышень из подобных семейств? По-моему, тебе не так уж часто приходилось с ними сталкиваться. Верю, она думала, что искренне тебя любит, но сколько в этой ее любви от тщеславия — еще бы, она ведь может стать женой знаменитости? А как на мещанскую ее честность и отвращение к скандалам повлияла выходка мадемуазель Здейсовой? Если она отзовется — значит, все в порядке, а если промолчит — тогда, по-моему, ты поступишь благоразумнее, избавив себя от излишних мучений. Это — мое мнение, но, разумеется, тут я тебе советовать не могу.

Отвернувшись от меня, Кленка смотрит в окно. Весеннее небо, голубое, без единого облачка, отражается в глубине его зрачков, солнечным небом озарено его крупное юношеское лицо, Кленка переживает одно из удивительных мгновений своей жизни, но я не могу за ним последовать, он ускользнул от меня да и от себя самого, наверное, тоже; боль и страдание, расплываясь, наверное, претерпевают в нем некую метаморфозу, похоже, будто он прислушивается к чему-то. Или лишь размышляет о том, что я ему изложил? Ах, в этой куче плевел зерна не отыщешь.

— Она должна была бы понять мое положение, — произносит он наконец, — и должна была бы уже отозваться.

— Не отозвалась.

— Замолчи! — неожиданно снова взрывается Кленка. — Ты не смеешь говорить о ней плохо. Она не такая, как ты ее сейчас изобразил. Я чувствую, я знаю, не такая.

Этот внезапный рецидив надежды и доверия мог бы, собственно, повергнуть меня в ужас, но я не придаю ему слишком большого значения. Так отстреливаются при отступлении. Мой посев был хорош, я в этом убежден, и требуется только время, чтоб зерно проросло и дало всходы. Страдания непрестанно будут увлажнять под ним почву, а что более способствует его росту, как не выжимки из мучительных переживаний, рухнувших надежд, одиночества и злости?

Я направляюсь к постели, беру свою шляпу, стряхиваю с нее пыль и сдуваю пух, нарочито медля.

— Ну теперь, полагаю, ты не помешаешь мне уйти.

— Иди, черт с тобой. Один черт мог занести тебя сюда вместе со всеми твоими речами.

— Прощанье нельзя сказать, чтоб дружеское, хотя тебе не в чем меня упрекнуть. Но я тебя понимаю. Ты привык, чтоб тебя всегда хвалили, высказывая только приятное.

При этом я кручу дверную ручку, приготовившись к самому худшему. Но Кленка, все еще отвернувшись от меня, заложив руки за спину, всячески дает мне понять, что не намерен подавать мне руки и даже что-либо произносить на прощание. Подойдя к окну, он наклоняется, будто меня тут уже нет. Но тут же отскакивает от окна с проклятием:

— Опять!

И, забыв о своем отчаянии, обращается ко мне, словно ища у меня защиты.

Кто же еще мог расхаживать внизу, если не Божена Здейсова? Она даже не расхаживает, а просто стоит на месте, не сводя глаз с окна. На ней — темно-синяя юбка, розовая кофта плотно обтягивает молодую грудь, а на соломенной шляпе с широкими полями — несколько блестящих искусственных черешен.

— Уже два раза поднималась сюда до самого верха, — произносит у меня над ухом Кленка, — но тетя ее ко мне непустила.

— Вот это называется любовь, — произношу я скорее машинально, чем нарочно.

— А мне эта любовь не нужна. Чего она ко мне пристаёт? Пусть убирается.

Я поворачиваюсь. И если мое возмущение не вполне искренне, то моя злоба — самая неподдельная. Скверно с его стороны отвергать такую любовь. Негодяй. Две девушки готовы умереть ради него. А ради меня? После смерти матушки я знал одно лишь объятие — клещей одиночества.

Не знаю, откуда взялась во мне отвага, наверное, ярость моя в тот момент была так сильна, что преодолела даже страх перед Кленкой. Я оттолкнул его со своего пути.

— Ты идиот, — кричу я, — может, даже подлец! Кто знает?

Я прошел мимо него, оцепеневшего и неподвижного, и, не оглянувшись, вышел вон из комнаты.

В дверях подъезда я столкнулся с Боженой. Она спешила так, что едва не сбила меня с ног. Щеки ее полыхали ярчайшим румянцем.

— Куда это вы так разбежались? — насмешливо обратился я к Божене на пражском жаргоне тех дней.

— К Кленке! — чуть ли не с вызовом бросила она мне в ответ. И хотела уже обойти меня, но я удержал ее за руку.

— Не будьте дурой, не сходите с ума. Ему сейчас не до вас, он вас вышвырнет, как обычно.

Она вскинула голову, так что черешни на шляпке стукнулись друг о дружку, и смерила меня презрительным взглядом.

— Кто-то из нас двоих наверняка дурак и сумасшедший, — проговорила она, растягивая каждое слово, — только это не я. Он дал знак, чтоб я поднялась.

Наконец-то, борясь со слезами и смехом, торжествующее счастье прорвалось в ее голосе. Она выскользнула у меня из рук, и ступеньки не поспевали отзываться на ее шаги своим особенным скрипом — так быстро она одолевала их одну за другой.

12

С той минуты, как я встретил Божиену Здейсову, спешившую на свидание к Кленке, мне казалось, что весна сразу воссияла, расцвела и стала благоухать лишь для меня одного. По крутому спуску Градчанской и Нерудовой улиц я сбежал, словно мальчишка, и, по-моему, даже посвистывал на ходу, чего обычно никогда не делал. Я выиграл или, во всяком случае, положил славное начало для победы. Божена у Кленки. Мог ли я желать большего? Эта уж постарается, чтобы во второй раз он от нее не улизнул, а после того, чем я начинил его башку, в мозгах у него сохранится стежка, и по ней устремятся его мысли. Теперь он оскорблен, чувствует себя заброшенным, даже отвергнутым — это лицевая сторона дела, а обратная — это чувство вины за то, что он сам натворил. Смотри, как славно все складывается, как все приковывает его к ненавистным Божениным объятиям. Ручки мне она должна целовать за то, что я для нее сделал. Конечно, если сама как-нибудь все не испортит. Но увы! — это уж не в моих силах, предоставим судьбе довершить то, что не смог сделать я. Стежку я проторил.

В это воскресенье я заменил себе обед небольшой пирушкой, во время которой один выпил за успех своего предприятия. Посетители ресторана с удивлением взирали на меня, ибо я улыбался, трудясь над тарелкой говяжьего бульона и жареным каплуном, бормоча что-то над кружкой пльзеньского, которую поднимал чересчур высоко, как будто пил за здоровье соседа. За столом я был один, а моего

гостя, скрытого внутри, счастливого и торжествующего, — ах! — эти глупцы не могли видеть.

Вернувшись домой, я нашел там одну лишь кухарку, которая тоже собиралась уйти.

— Чего изволите? — спросила она с неподражаемым пренебрежением слуг к людям, зависящим от хозяев и впавшим в немилость. Но сегодня я был словно броней защищен от обид; стремясь вперед и выше, я мог и не заметить такой козавки у себя под ногами. Ну а если и заметил — что ж, погоди, голубушка, скоро станешь сгибаться в три погибели, помогая мне надеть пальто либо подавая шляпу. Я обратился к ней тоном этих недалеких уже грядущих дней. Она мигом остолбенела и, чуя какую-то перемену, ответила мне любезно и, можно сказать, кротко, что господа вызвали фиакр и вместе с барышней отправились на прогулку куда-то в Хухле либо даже в Збраслав.

Гм, уехали на прогулку в фиакре... Боже мой, как давно я не ездил в коляске. Тихие воскресные пражские улицы, залитые солнцем, а по ним плывет фиакр, покачиваясь на колесах с резиновыми шинами, кучер прищипывает в ритме своей упряжки, то и дело покрикивает «эй!» нерасторопному прохожему, который у него под носом решается перебежать улицу. Мое сегодняшнее настроение должно увенчать такой поездкой.

Я спешу наверх к себе на чердак — ведь все-таки еще апрель, с ним шутки плохи, езда без пальто могла бы мне дорого обойтись. А заболеть в такие дни, когда необходимо каждую секунду быть начеку, чтоб до благополучного конца столь ловко начатое дело — значит испортить все. Из ящика стола я забираю кое-что из своих сбережений, ибо поездка в фиакре хороша только тогда, когда ты уверен, что в портмоне достаточно денег и на пиршество, и на непредвиденные расходы.

Когда я вынимал пальто из старого крохотного шифоньера, в котором оказались помятыми даже мои немногочисленные наряды, оттуда выпала трость, запутавшаяся в каких-то складках. Обрадовавшись, я выразил ей свою признательность. Я ведь было и забыл, что именно трость придает прелесть езде в открытой коляске: только запасаясь тростью, благородный путешественник может принять позу вполне достойную и вместе с тем небрежную. На ее набалдашнике во время езды должны покоиться руки, обтянутые перчатками.

Наклонившись поднять ее, я вдруг ощутил прилив умиления. Некогда трость принадлежала дяде Рудольфу:

застенчивый дылда и светский лев лишь по костюму да мечтам, он расхаживал, держа ее под мышкой во время одиноких прогулок где-нибудь на кручах Петршина либо вдоль Влтавы, другой рукой обычно сжимая переплет изящного черного томика стихов. Черная блестящая поверхность трости осталась целехонькой даже после долгого употребления. Я уже совсем было забыл о ней и теперь любовался с восторгом, грустью и легким удивлением. Господи боже, ведь набалдашник ее, вырезанный из слоновой кости, представляет собой голову Бонапарта. Очень хорошая миниатюра, и изображение весьма верное, или, точнее сказать, весьма схожее с известными портретами великого Завоевателя. Только теперь я сообразил, отчего дядя носил эту трость исключительно под мышкой и никогда на нее не опирался. Прогуливаясь, он то заглядывал в книжку, то поглядывал на искусно вырезанное хмурое лицо Завоевателя. Значит, и дядя Рудольф, любитель стихов и презираемый всеми пигмей, вынашивал под своим жилетом мечты о триумфальном шествии вослед тому, кто для него олицетворял власть и господство над миром. Значит, в этом вырезанном из бивня слона образе Наполеона, украшавшем набалдашник дядиной прогулочной трости, таилось объяснение его роковых спекуляций, уничтоживших наше родовое состояние. Эта голова и книжечки стихов в черном переплете проливали свет на причины его поражения. Человек не имеет права раздваиваться, быть нерешительным, не смеет в одно и то же время извлекать пользу из эфемерных и размягчающих прелестей поэтического чародейства и из непреклонной твердости наполеоновского образца. Первое исключает второе, а может, то и другое либо оба вместе служат тебе маской, с помощью которой ты скрываешь собственное бессилие. Нельзя слишком уж считаться с чувствами; если ты решился во что бы то ни стало поставить на своем, то, собственно, ни о каких чувствах не следует и знать.

«Мы,— сказал я самому себе, глядя на застывший лик Императора,— поняли бы друг друга куда лучше. Нам обоим хорошо известно, что не может быть сострадания ни к кому на свете, что нет ни доброго, ни дурного, есть лишь поступок, ведущий к цели либо пагубный для нее,— коль скоро в один прекрасный день ты эту цель обрел и решился ей следовать. Пойдем, старина, сегодня мы составим славную пару».

На стоянке фиакров перед монастырем урсулинок оказалось лишь две коляски, и только одна из них — от-

крытая. Нынешнее воскресенье снизошло на владельцев фиакров словно благословение божье. Выбирать мне было не из чего, и, хотя ни лошади, ни коляска не соответствовали моим представлениям, я решил не пытаться счастья на других стоянках, где наверняка не найдешь ничего лучше.

Лошади, тощие и, как видно, уже довольно старые, стояли, понуро свесив головы, зато старичок возница был сама услужливость.

Наконец-то наступила и его очередь, наконец и ему кое-что перепадет от благословенного дня. Он бережно и любовно посадил меня в коляску, что возвысило меня в собственных глазах и несколько сгладило неприятное впечатление от его драндулета. Ворча на капризы весенних погод, которым никак нельзя доверяться, он закутал мне ноги черно-серым клетчатым пледом.

А вот теперь, день воскресный, цветок мой, раскройся! Я расставил свои силки и уже чувствую тяжесть улова.

Лошади нехотя подняли головы, но стоило старику причмокнуть, как они сразу взяли с места и пошли ровной рысью. Возница — человек старого закала и умеет управлять упряжкой, чутко натягивая вожжи, заставляя лошадок держать шею под нужным углом, чтоб выезд выглядел ретивым и почти элегантным. Железные ободья колес дребезжат по неровной мостовой проспекта Фердинанда, но это не раздражает, у повозки мягкие рессоры, и покачивание только приятно. А ритмичный цокот подков и грохотание колес по мостовой звучит своеобразным аккомпанементом торжественному маршу, который трубит во мне ликующее упоение успехом.

По улице, залитой солнцем, неторопливым прогулочным шагом вышагивают целые семейства, по обыкновению направляясь из центра города к реке, островам и на Петршин. Женщины будто охорашиваются на солнышке; мужчины одеты в черное и, выпячивая грудь, держатся на шаг впереди, подчеркивая тем самым свое достоинство; воскресный день несет и колышет их в своих поместительных теплых объятьях, время как будто не имеет конца, и в том, что оно уплывает, нет ничего угрожающего.

Я не понимаю людей, они мне чужды и безразличны, между мной и ними не протянуто никаких нитей, я еду мимо, оставляя позади себя этих уравновешенных либо сварливых устроителей гнезд, для кого мир никогда не

станет ничем иным, разве только ломтем хлеба с паштетом, — эх вы, ну на что вы годны, в вас хороша лишь основательность брусчатки, по которой грохочут колеса фиакров, вы нужны лишь как сырье, чтобы из вас создавали свои творения те, кто располагает для этого решимостью и отвагой.

— Теперь налево, — говорю я кучеру.

У меня уже все решено: приеду в Хухле и тотчас разыщу Маркету.

Дорога становится просторнее, включая в себя ширь реки, и с нею вместе как будто становится просторнее и мое сердце, мне как раз не доставало этого ощущения, оно соответствует тому, чего я хочу и жажду — простора, как можно больше простора для меня одного, я чувствую себя человеком, годами терпеливо подтачивавшим стены своего узилища и теперь, выкрошив последний камень, увидевшим, как перед ним распахиваются беспредельные осиянные объятия свободы, — простора, больше простора для меня, слишком долго я сдерживался, поджидая удачного момента. Кудрявые острова плывут по реке, но их красота не трогает меня, я ощущаю лишь напор весны, того, что рвется на волю и жаждет своего места под солнцем; любоваться красотой еще достанет времени, она будет моею, как только я, прочно укоренившись, примусь расти; лазурное небо раскинуло надо мной свой высокий свод, но это лишь торжественная арка, воздвигнутая в честь моего триумфального шествия.

Я еду за тобой, Маркета! Эй вы, сударь с неприступной, желтой, из бивня выточенной физиономией, я чуть было не запамятовал, что сам же пригласил вас прогуляться. Незадачливый компаньон, говорите? Не огорчайтесь, это не беда, ведь и сами-то вы не придавали слишком большого значения светским условностям. И не ухмыляйтесь иронически, а не то я вас вышвырну из коляски, я не нуждаюсь ни в Наполеонах, ни в иных образцах. Я сам себе полковонец. Видно, вам представляется, будто я чересчур расхвастался из-за дела, которое, по-вашему, не стоит выеденного яйца?! Но разве не вечно решается один и тот же вопрос — быть властелином или рабом? Вы находите, что издательство Куклы не стоит таких усилий, которые я приложил, тех унижений и ярости, которые я изведаль? А кто может сказать, конечная ли это цель? Сегодня я и сам не знаю, чего мне захочется завтра. А сверх того — разве я не получаю Маркету? Ах, Маркета, была ли ты моей целью, ты сама по себе, ты одна, я имею в виду? Любил ли я тебя

когда-нибудь? Ну, положим, любил. Но стал бы я любить тебя так, не будь ты окружена золотом отцовской фирмы? А может, и ты тоже полюбила бы меня — если бы не возник на горизонте Кленка, ведь только после его появления тебе начало казаться, что это совсем невозможно... Ну, оставим, многоуважаемый, не будем больше говорить об этом, Маркета, не станем портить себе чудную езду напрасным сведением счетов. Любил не любил, отвергла не отвергла, все равно ты станешь моей, Маркета, и мы поедem вместе в коляске пороскошнее этой, к вратам того, что называется «совместная жизнь». Возлюбленный тебя предал. Что ты предпримешь? Ведь сама придешь ко мне искать защиты? Не улыбайтесь, многоуважаемый Император, все подстроено так, чтобы вымысел обрел реальность. И разве не таков был и ваш путь к победе?

Мы едем под отвесными скалами левого берега Влтавы, подковы мягко шлепают по дорожной пыли, металлические ободья гладко катят по ней, и все же эхо отскакивает от всякой вмятины этой высокой стены, подхватывает любой оброненный нами звук и отшвыривает его в нас обратно. Мы едем по теневой стороне, солнце стоит где-то высоко над самой скалою, а противоположный берег сияет, изгибаясь, будто танцовщица, сверкающая река обнаженной красавицей выплывает из пушистой дымки дали, голубоватой, серой и золотой. Любоваться далями — все равно что проваливаться в пропасть беспамятства. Мне становится дурно от ослепительной чистоты дня, от бездонности простора, которые вдруг наполняют меня ощущением, будто я падаю и падаю в пропасть. Так что же, неужто я падаю? Нет, господи, нет! Это всего лишь головокружение, охватывающее человека на подступах к вершине.

Чтобы стряхнуть с себя это ощущение, я выпрямляюсь и больше не позволяю себе расслабить спину. В решающие моменты я не потерплю никаких головокружений. Я гляжу на недвижный лик своего безмолвного спутника, и меня охватывает бешенство. Мне вдруг представляется до невозможности смешным, что перед дядей, тетей и Маркетой я появлюсь, вооружившись тростью, которую никогда прежде не носил. Пошел ты к дьяволу, Император, мне не нужны вы, господин образец!

Размахнувшись, я швыряю трость на железнодорожное полотно, что несколько ниже тянется параллельно реке и большаку. Трость свистит где-то у меня за спиной, но я даже не любопытствую, куда она упала. Кучер едва повернул голову и слегка пожимает плечами. Он возит господ

всю свою жизнь и уже не удивляется их выходкам и причудам. Прищелкнув языком, он погоняет своих кобылок:

— Н-но, Микки, н-но!

Поглубже вдавившись в сиденье, я внушаю себе, что мне уже легче.

Загородный хухельский ресторан, разместившийся под горой, привлекал лишь именитых гостей; нынче его посетители уже расположились в саду под деревьями. И не удивительно, солнце сегодня по-летнему дышало июньскими устами, на концах черных ветвей древних каштанов светилась зелень первых листочков, еще зябких, не вполне раскрывшихся и влажных, словно только что вылупившиеся птенчики; лишь от горы время от времени тянуло холодом.

Я обошел сад, довольно густо заставленный столиками, но свободного места не обнаружил. Это подвигло меня поискать столик позади здания, где, как мне было известно, распивали извозчики, доставлявшие сюда господ. Тут сидело человек двадцать кучеров столь характерного типа и вида, что даже смешно было видеть их собравшимися в одном месте.

— Не вез ли кто-нибудь из вас, — обратился я ко всем сразу, — издателя Куклу, что живет в Карловой улице?

— Здесь, вашество. А что случилось? — отозвался оцилиндренный мужик с моржовыми усами, в котором я узнал кучера, часто возившего нас на уроки танцев и концерты.

От него я узнал, что дядя с дамами отправился на прогулку к костелу, но теперь они уже наверняка скоро вернутся полдничать.

Роща, которую солнце переверорило жаркими пальцами своих лучей, благоухала разбуженной землей и свежей зеленью. Глоток за глотком я пью этот воздух, и во мне укрепляется уверенность в себе и безумная решимость преодолеть все.

Дядю с семьей я повстречал на повороте тропинки, откуда открывался вид на реку. Они не сразу заметили меня. Загляделись на дали, — их усталые глаза, глаза горожан, погружались в неоглядные просторы, их сердца омывались в ласковых волнах, упивались прелестью красок и света. Красота нашептывала им зашифрованные послания, которые каждый из них пытался разгадать по-своему.

Я остановился, чтоб понаблюдать за ними и снова взвесить воздействие слов, которые я намеревался сказать Маркете. И стал свидетелем незначительного маленького действия, которое, однако, так задело меня, словно я босой ногой наступил на шип, притаившийся на дороге. Маркета стояла впереди родителей, и тут я увидел, как дядя просовывает ладонь под мышку супруге. Тетя взглянула на него, запрокинув голову, чтоб широкие поля шляпы не помешали их взглядам встретиться, и вдруг дядя, бросив вокруг быстрый взгляд, словно юноша, решившийся сорвать поцелуй у своей милой, — к счастью, он глядел не в мою сторону, а вверх на дорогу, — наклонился и чмокнул жену в губы. И вот они уже снова стоят выпрямившись, и тетя прижимает дядину руку к своей затянутой в корсет груди.

Я остолбенел, меня бьет лихорадка. Будь проклята хухельская роща со всеми ее ароматами, будь проклята весна и всяческие ее безумства! Это она очистила от налета свирель молодости и пропела на ней этой парочке песенку из глубины и дальних далей их канувшего в лету прошлого; тоненький, отдаленный звук быстро расплывается, теряясь, но в своей сиротливости делается еще привлекательнее. Покалеченная, в обмороке пребывавшая любовь очнулась, взяла в свои ладони их сердца, словно двух птенцов, и согревает их своим дыханием. Глянь-ка, они снова смотрят друг дружке в глаза и улыбаются виновато, молодо и прекрасно. Но в моей душе это пустяковое происшествие отдается громом, грохотом и треском. Покачнулся один из несущих столбов моего здания, покачнулся именно в тот момент, когда я приготовился накрыть здание крышей. Примирение между дядей и тетей, предел вражде, из чего я надеялся так много извлечь под конец своей кампании, — какое же еще значение это может иметь для меня, кроме неблагоприятного? Я не имею права обманывать себя и представлять себе картину лучше, чем она есть. Именно сейчас я не могу позволить себе скрыть от себя смысл происшедшего.

Я не в силах быстро оправиться от обрушившегося шквала, поэтому предпочитаю отойти за поворот тропинки, откуда пришел, чтоб они не заметили меня на обратном пути, и рассуждаю. Да, изнуренный длительным разладом с женой, дядя теперь во всем пойдет ей навстречу, лишь бы ничего подобного не повторилось вновь.

В ветвях у меня над головой щебечет какая-то птица, дрозд не дрозд — не знаю, я в них не разбираюсь, природа всегда была чужда мне. Коротенькая победная трель, вто-

рая, третья. Наклонившись, я выковыриваю из земли более податливый камень и оглядываюсь вокруг. Дядя, тетя и Маркета все еще стоят на прежнем месте, никого другого здесь больше нет. И я со всей силой запускаю камнем в певца, но задеваю ветку где-то от него поблизости; отринутый веткой камень стремительно обрушивается прямо на меня, я едва успеваю отскочить в сторону, испуганная птица покачнувшись, будто в нее угодили, тоскливо закричала и улетела прочь.

Этот внезапный инстинктивный взрыв приносит мне облегчение. Хотя во мне пробуждается искушение сочинить притчу о том, что камень, который я швырнул в лесную певунью, чуть не убил меня самого, но я тут же решительно отбрасываю всякие страхи и сомнения. Хорошо, говорю я себе, чего же ты, собственно, боишься, безумец, чьи тени и призраки вызываешь, пугая себя ими? Никому уже не вырвать Кленку из объятий Божены Здейсовой, нынешний полдень сомкнулся над ними, как воды омута. Спокойно иди навстречу тому, что еще остается сделать.

— Хорошо, что ты тоже хоть изредка выбираешься на свежий воздух, — говорит дядя вместо приветствия. Тетя благодарит за пожелание доброго здоровья довольно мягко, но словно не видит меня. Маркета, скрывая охватившее ее волнение, подстроила так, чтобы мы вдвоем оказались позади дяди и тети.

— Ты разыскал его? — сразу спросила она, решив, что мы достаточно удалились от родителей и теперь они не могут нас услышать.

Я разыгрываю замешательство человека, готовящегося к ответу, неприятному для другого.

— А не лучше ли нам поговорить об этом дома?

Взяв меня под руку, она останавливается, лицо ее бело, как плат.

— Ах нет. Говори тотчас, я выслушаю, что бы там ни было.

Я лезу в карман и вынимаю конверт с письмом для Кленки.

Она тянется к нему неуверенно, не может сразу дотянуться.

— Ты не нашел его? Они не знают, куда он исчез?

Она переводит дыхание, словно у нее с души свалился камень, и заливается смехом, в нем робко трепещет звук горна, призывающего поднять боевой дух.

— Ах, еще не все потеряно. Будем искать дальше. Или зачем? Ведь он же объявится сам. Я это знаю наверное. Это — всего лишь от нетерпения.

Я молчу. Поднимаю засохшую веточку и хлещу ею придорожные кусты, как человек, которому хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, чтобы скрыть свое смущение. Нужное впечатление достигнуто — ишь как отчаянье проводит по голосу Маркеты наждачной бумагой.

— Ты отчего молчишь, Карличек? Ты чего-то недоговариваешь?

Я заставляю себя не рассмеяться. Ну согласитесь, не смех ли, если разговор сам по себе начинает развиваться буквально так, как вы его только что проговорили в душе.

— Увы, Маркета, мне совсем не легко тебе это сообщить, — говорю я медленно, словно подыскивая слова, хотя все они давно уже запечатлены, взвешены и опробованы в моей памяти. — Он жив и здоров (это я произношу несколько быстрее), не пугайся. И все-таки твое письмо я отдать не смог. Нет, в самом деле, это было бесполезно и не нужно.

— Но отчего, Карличек, отчего же? Что за бессмыслицу ты городишь?

Я оглядываюсь вокруг, смотрю на небеса, словно ища помощи у деревьев и трав и у неба, простершегося над моей головой.

— Очень жаль, Маркета, но я нашел у него Божиену Здейсову. И мне показалось, что отношения у них наладились настолько, что никому третьему тут искать нечего. Мне не хочется быть худым прорицателем, но, сдается мне, Кленка сам вернул твое письмо, потому что он вовсе и не переселялся от Здейсов.

Эта последняя фраза — единственная из всех — пришла мне в голову только сию минуту. Но я был убежден, что могу себе позволить подобное утверждение. Ведь более чем вероятно предположить, что торжествующая Божена Здейсова приведет возлюбленного, который столь неожиданно свалился ей в объятия, к себе домой, чтобы держать его под неусыпным надзором.

Корсет на Маркете был туго затянут, как требовала мода того времени, — узкий в талии, округлый в бедрах и высокий на груди. Теперь, оставаясь на ней, он словно превратился в железный панцирь, которым некогда сжимали и дробили кости осужденным. Бледность переменила и ее лицо; Маркета поднесла руку к груди, где ее сердцу

в эту тяжкую минуту было тесно, и я увидел, как белые когти обморока охватывают ее горло и смежают веки.

Я подскочил к ней, чтоб поддержать, и одновременно резким движением вырвал из ее рук письмо раньше, чем обморочная судорога смогла смять его своими неодолимыми тисками.

Черт возьми! Мне даже во сне не снилось, что Маркета, бойкая и неподатливая Маркета, грохнется на дорогу. Но пережитое волнение оказалось слишком сильным даже для нее. Она еще не оправилась от удара, нанесенного ей на дне рождения, и жила, тоскуя о Кленке целыми днями, а может, и бессонными ночами, подавляя в себе сомнения, топча их змеиные гнезда только затем, чтобы обнаружить, как они возникают снова и снова; она терзала свою любовь, вынуждая ее поддерживать треснувший свод доверия. А теперь я подтвердил, что все было напрасно и что правду прошипела та самая черная из змей, которые вывелись в знойном пекле этой отчаянной поры.

Обморок был глубокий. Не помогал ни одеколон, ни соли, ни нашатырь — все это нашлось в тетиной сумочке. Делать было нечего — пришлось с помощью некоторых из зевак, глазевших на нас, перенести Маркету в помещение ресторана, где заботы о ней снова приняла на себя тетя и искушенная рестораторша. Путь до ресторана мы проделали не одни, а в сопровождении назойливых любопытных. Среди участников воскресной прогулки оказалось много женщин. И надо же — молодая прелестная барышня, явно из достойной пражской семьи, из лучших кругов общества, вдруг падает в обморок, возвращаясь из хухельской рощицы — это ли не редкое происшествие? Они рассудили, что я и Маркета новобрачные и что Маркета — в тягости. По их недвусмысленным замечаниям можно было понять, как они сокрушаются из-за того, что дамы из благородных кругов, скрывая свое положение, не стыдятся калечить себя и будущего ребенка слишком тесными корсетами.

Я вполне мог себе представить, как эти замечания отпечатываются в тетиной памяти и записываются на мой счет. Разве не достаточно уже одного того, что они отважились принять ее дочь за мою жену? Она еще ничего не знала о причинах случившегося, но уже наперед делала меня ответственным и за Маркетин обморок, и за все, что ему сопутствовало. В ее глазах я был виноват уже тем, что появился здесь; я был для нее птицей, приносящей несчастье. Превозмогая отчаянье, она шла, плотно сжав губы, вперив перед собою невидящий взгляд, а рука ее, как всегда

в минуты волнения, теребила неизменный крестик. Еще несколько минут назад воскресный день расцветал для нее в ласке мужа, но появился я — и все будто опалило морозом.

Пока тетя с хозяйкой приводили Маркету в чувство, мы с дядей сидели в ресторане. В зале было пусто, сегодня посетители предпочитали остаться на прогретой солнцем веранде, а не здесь, где веяло холодом и сыростью. Мы вошли сюда только затем, чтобы избежать назойливо-любопытных взглядов. Дядя, в задумчивости сидя с виргинской сигарой над чашечкой черного кофе — он курил сигары два-три раза в неделю, — сокрушенно проговорил:

— Ну что творится с этой девчонкой?! Все еще не может опомниться после того несчастного вечера.

— Конечно, она тогда очень расстроилась, но это пройдет, — ответил я как можно беспечнее. — Сегодняшний обморок я бы отнес за счет непривычно свежего весеннего воздуха и узкого корсета.

Лицо у дяди мгновенно прояснилось, и он согласно закивал головой:

— Конечно, голубчик. Стяну-ка я с нее этот проклятый корсет, в миг будет здоровехонька.

Не в характере дяди добавлять жизни нежелательные черные тона. Он вообще придерживается того мнения, что у торговцев слишком много иных, куда более серьезных, забот, поэтому они принципиально должны быть освобождены от семейных хлопот, для которых у обычных людей времени хоть отбавляй. Большими глотками он допивает свой кофе, словно желая смыть последние следы огорчения сегодняшним происшествием, расчесывает пальцами бородку, некоторое время молча дымит сигарой. И в облаках дыма, который он не разгоняет, свободно выпуская из полураскрытого рта, ему словно рисуется забавная картина. И он улыбается одними глазами.

— Эти бабы тогда, на дороге, решили, что вы с Маркетой супруги, — вспоминает дядя, выпуская поочередно то колечко дыма, то слово. — Ты никогда не думал об этом, а? Или думал?

Каждый мускул напрягается во мне, кажется даже, что губы не разомкнутся для ответа. Меня всегда пугал миг, когда нужно идти и словами выразить свое желание. Я предпочитал даже не представлять себе этой минуты. И вот дядя сам заговорил со мной об этом. Я так замечательно исполнил свою роль, что в конце концов победа сама падает мне в раскрытые ладони. Достаточно было обстоя-

тельствам немножко подыграть мне, чтобы все завершилось с такой легкостью. Я уверен, что дядя не шутит, он вообще плохо понимает юмор, а если и понимает, то вовсе не такого сорта, когда удовольствия ради человека возвеличивают, чтобы потом спихнуть вниз. Для этого он чересчур честен и простодушен, а улыбается только потому, что его забавляет представление о юношеском смущении, в которое он поверг меня своим вопросом. И еще его радует, как единственным королевским жестом он избавит меня от этого затруднения. Но мне недосуг ни смущаться, ни недоумевать. Я должен быстро прикинуть, каким образом укрепить в дяде чувство, что его решение — верно и потому должно быть неколебимо.

— Может, и думал, — медленно отвечаю я. — Маркета чересчур хороша, чтобы нечто подобное не пришло в голову девяноста из сотни молодых людей, кому бы она ни встретила. Только я держу это про себя. Мне и во сне не могло присниться, что о чем-нибудь подобном я могу тебя попросить.

— Ишь ты! — удивляется дядя и выпускает колечко дыма. — Да отчего же?

— Я полагал, что знаю свое место, и не хотел выглядеть в твоих глазах бесстыжим ловцом счастливых случайностей.

Дядя в упор глядит на меня своими серыми глазами. Он словно еще раз проверяет нечто новое, что теперь открылось ему во мне, прежде чем приобщить это к прежним сведениям о моем характере. Потом сбивает пальцем пепел с сигары и кладет ее на край пепельницы.

— Гм, вот этого я от тебя не ожидал. Когда мы после смерти твоей матери разговаривали с тобой, я не верил, что ты у нас выдержишь. Выходит, я ошибся, и с удовольствием в этом признаюсь. Видно, цело в тебе здоровое ядро твоего папаши, оно и одержало верх и надо мною и над тобой, каким ты был прежде. Трудился ты честно, никто из нанятых так не стал бы работать. Я наблюдал за тобою все это время. Ты работал как лошадь, будто на себя, я заметил и здравый торговый расчет. Вот что значит кровь... Словом, я хотел сказать, что, ежели ты рискнешь добиваться Маркеты, я противиться не стану.

— Дядечка, — говорю я, как принято в таких случаях, жму его руку и стараюсь скрыть заправдашнюю растроганность, в глубины которой этому добряку все равно никогда бы не заглянуть.

Дядя в смущении отмахивается, берет потухшую тем

временем сигару и пытается ее раскурить. Чиркает спичкой и спокойно развивает свою мысль дальше.

— Разумеется, тут лучше не торопиться. Ей нужно оправиться от этого наваждения. По-моему, с Кленкой с этим она пережила что-то вроде студенческой любви. Да ведь это все равно больно. К тому же — незадача с вечером. Я до сих пор задыхаюсь, стоит мне об этом вспомнить. Но нет худа без добра. Готов держать пари, что с Кленкой у нее все кончено.

Что за добряк мой дядюшка, жизнь, по его мнению, руководствуется общепризнанными мудростями и приговорами, и он полон решимости отвергать ее сложность и противиться там, где бы ей захотелось уклониться от накатанной колеи. Но его слова не доходят до моего сознания, идут себе где-то рядом, а думаю я совсем о другом.

Рестораторша в белом, туго накрахмаленном фартуке выглядывает из двери кухни и возмущается:

— Ну, с барышней все в порядке. Теперь дадим ей чуточку крепкого кофе, и скоро она будет совсем молодцом.

— Пойду-ка взгляну на нее, — решается дядя. — А ты немного погодя передай кучеру, чтоб готовился в обратный путь.

Я сижу в одиночестве. Плесень, сырость и затхлость мало посещаемого помещения. Чистый склеп. Даже свежий воздух, струящийся через открытое окно, не может одолеть запаха тлена. Суeta суeta, дружище. Словно все, что ты делал, — распалось. Устрашающее «почему?» обходит тебя на мягких кошачьих лапках. Довольно было просто трудиться, как главбух Суйка, всего-навсего, или пыхтеть над своим делом вроде дяди — и ты получил бы все, чего добивался. Это недавно подтвердил сам дядя. За обычную, я бы сказал, гражданскую, человеческую, любую, какую хотите, но честную цену ты мог получить все.

Я сижу в безмолвном потрясении. В саду деревенский оркестрик играет «Дунайские волны», а на ветвях каштана, как раз напротив растворенного окна, черный дрозд старается перекричать музыкантов. Неправда, проклятые, неправда это! Я должен был сделать все, что совершил. Иначе откуда взялось бы мое ощущение победы, мое наслаждение тем, что я одолел более сильных и куда лучших, чем я сам, откуда моя уверенность, что это мною завоевано и теперь я могу властвовать?

Да, все должно было быть так, как было, и так будет впредь. Работа — лишь звено в моей игре, ведь и в грязи есть некий процент чистой воды.

Дрозд распевает свою эпиталаму над обретенной любовью и отвоеванным местом охоты. Мы оба черны, братец, но во мне уже нет твоей веры и упоения.

Однако я должен продолжать свое дело. Должен довести его до конца. Должен — и все тут.

14

Мы довезли Маркету до дому без дальнейших происшествий, черный кофе возвратил ей даже слабый румянец на щеки. Она молчала всю дорогу, избегая на нас смотреть. Глаза ее напоминали окна дома, опустевшего после случившегося несчастья. Дядя пытался подбодрить ее и расшевелить, но тетя, поглядывая на него ласково и умоляюще, гладила по руке и просила оставить дочь в покое:

— Ей необходимо прийти в себя.

Я помог Маркете подняться по лестнице, меж тем как дядя расплачивался с кучером, а тетя выбирала из повозки сумочки, плед и зонтики.

— Мое письмо, Карличек.

— Оно у меня в кармане.

— Верни мне его.

Теперь письмо уже не представляло для меня ценности, оно сыграло свою роль, а каждое его слово врезалось в мою память. Я передал письмо Маркете, и она проворным движением сунула его за широкий пояс своей юбки.

Я расхаживаю по своему чердаку. Ощущение победы испарилось, и вечер, который сумраком крадется на улицы, подливает каганец страха. Я знаю, что дядя теперь в Купеческом собрании за своей обычной партией в тарок — единственным развлечением, которое он знал и позволял себе лишь два раза в месяц, а внизу, подо мной, — одинокая Маркета с тетей. Я один, без всяких прав, в то время как на постах, которые я должен бы охранять, может бог весть что случиться. Случиться уже ничего не может, не может, слышишь! Остается лишь терпеливо ждать и не тиранить себя разными виденьями. Это — всего лишь обман чувств и убывающего света, сегодня ты пережил чересчур много.

Горлышки пражских башен наполнились звуками и смолкли, я выглянул из окна и смотрел, как по основе побледневшего неба пряжа тьма ткет бархат ночи. Я всматривался в эту бесшумную работу; станок звенел лишь ударами моего сердца, и готовое руно, извергаясь из него,

окрашиваясь все темнее и темнее, пульсировало в токе моей крови. Тьма и я — мы понимали друг друга, я восхищался ее творением и мечтал о столь же бесконечном могуществе.

Стук в дверь вернул меня к действительности. Что-то творилось вокруг, я знал, что все это время что-то происходит. Кухарка передала мне приказ. Дескать, если я еще не сплю, то милостивая госпожа очень желала бы говорить со мною. Шел десятый час, я обещал прийти немедленно. Умываясь, я ополоснул лицо ледяной водою и растер — перед тетей я не мог появиться смертельно бледным.

А случилось вот что. Маркете необходимо было излить душу, а где это сделать еще, как не в маменькиных объятиях? Разрыдавшись, она призналась ей во всем.

Тетя приняла меня в салоне. Она уже переменила свое прогулочное платье на домашнее, тоже из черного шелка. Выглядела она весьма величественно, восседая в одном из кресел с позолоченными подлокотниками и обтянутом темно-розовой парчой; тетя всегда умела выглядеть королевой в собственном доме. На лице ее играли тени, она смягчилась, не чувствовалось в ней того нетерпимого неприятия, которое вселилось в нее в последнее время, и взгляд, прежде словно вперенный в некую далекую цель, воротился и стал беспокойным, а по складкам морщин разгуливали озабоченность и бледность. Она уже приготовила второе кресло напротив и указала мне на него:

— Садись, пожалуйста, и говори правду:

Вступление не предвещало ничего хорошего, но я чуть-чуть почуял, насколько она неуверенна и в растерянности, и был убежден, что смогу дать ей достойный отпор. И все же я поостерегся рассердить ее ответом чересчур самонадеянным.

— Я всегда говорил правду, — произнес я почти смиренно. — И даже не могу выразить, как мне было тяжело сознавать, что ты не доверяешь мне и подозреваешь в том, на что я никогда не был способен.

Она сдержанно-отрицательным и усталым жестом повела рукой.

— Мало на свете вещей, о чем ты не сумел бы рассказать, — проговорила она, и проблеск улыбки на короткое время изогнул ее губы. — Но оставим это — что было, то было. Я хочу только знать, отчего ты не отдал Кленке Маркетино письмо.

Я снова повторяю свою сказку, разумеется, подробнее, чем Маркете, которая свалилась в обморок, едва я только начал рассказ. Я стараюсь излагать возможно осторожнее,

как свидетель, который намерен передать только сухие факты, не прибавляя к ним ничего. Однако если вы что-то меняете в рассказе или передаете его в ином виде, то волей-неволей приходится выдумывать все новые и новые подробности, дабы повысить степень достоверности своей передачи. Тетя не сводит с меня упорного взгляда, меня бросает то в жар, то в холод.

— Значит, ты говоришь, что вообще не нашел возможным его передать?

— Нет, она нас не оставляла ни на минуту, — сваливаю я вину на Божену Здейсову. — У меня даже сложилось такое впечатление, будто она следит, нет ли у меня к нему какого поручения, и, если бы я вылез с этим письмом, она наверняка набросилась бы на него. А этого я все-таки не мог допустить.

— Нет, разумеется, нет, — будто задумавшись, произносит тетя. Она теребит крестик на шее и смотрит куда-то на мои колени. — Мне кажется, что в этих обстоятельствах ты вел себя правильно.

Гибнет ее мечта о Кленке-искупителе, который должен бы снять проклятье с нажитого богатства, я слышу этот разрушительный грохот и обязан спешить и расшвырять все, что еще уцелело от этой мечты, чтобы камня на камне от нее не осталось.

— Впрочем, мне вообще представлялось лишним и унижительным отдавать письмо. Ведь все-таки никто, кроме самого Кленки, не мог вернуть его, раз он вообще от Здейсы не переселялся.

Тетя согласно кивает.

— Да-да, Маркета мне тоже говорила об этом. Но представь себе, она не хочет и не может в это поверить! И в моей голове это тоже как-то не укладывается. Ведь в таком случае Кленка — настоящий подлец. А мне представлялось, что более порядочного человека я не встречала. Дикий, чудной, беспокойный — это так. Но во всем прочем — само достоинство и благородство. Если бы только узнать, как все обстоит на самом деле и где тут правда.

Я полагаю, мне ясно, что творится у нее в душе. Прежде всего, она сомневается, принять или не принимать невероятное, говорю я себе, ею владеет ужас перед крахом собственных иллюзий, боязнь признать ошибку. Она не говорит, что не верит мне, но и поверить не смеет. И тут я чую, что именно сейчас, сию же минуту должен рассеять последние остатки ее сомнений и раз и навсегда убедить в своей правдивости.

— Я не знаю, тетя, каков Кленка теперь, но мальчишкой я знал его очень коротко. И помню, что мальчишки считали его ненадежным товарищем и сам он часто менял приятелей. Конечно, это могло измениться. Я только хотел бы тебя убедить, что все рассказанное мной сегодня — чистая правда. Можешь мне поверить. Я понимаю, это ведь чересчур серьезно, чтобы тут допустить малейший подвох. Могу присягнуть, что говорил одну только чистую правду.

Тетя слушает меня с каким-то отсутствующим, устремленным куда-то вдаль взглядом, ее правая рука непрерывно тербит крестик. Слово «присягнуть» заставляет ее вздрогнуть, словно она его испугалась.

— Присягнуть? Нет-нет. Не нужно.

Но тетя матушки словно положила руку на мое плечо. Ты помнишь, как решительно и без колебаний выдвинула она свою ложь, поставив преграду между тобой и твоим отцом, когда старый Прах слетел с лестницы? Я сползаю с кресла, паркет гудит у меня под коленями, и я поднимаю руки, чтобы поклясться. Я сам себе верю настолько, что на глазах моих выступают слезы, а голос прерывается от рыданий.

— Тетя, памятью матушки моей и распятием на твоём кресте клянусь, что все рассказанное мною сегодня — правда, правда и еще раз правда.

Тетя отступила от меня на шаг, на два, глаза у нее застыли, рот раскрылся в немом вскрике. Сам того не сознавая, я полз за ней на коленях. И в тот миг, когда моя воздетая вверх рука потянулась к ее кресту, она рванула его, тонкая золотая цепочка порвалась и соскользнула ей под платье, а тетя, стиснув крестик в плотно сжатом кулаке, спрятала его за спиной.

— Он поклялся. Боже мой. Ты поклялся! — И, отступая неустанно, не спуская с меня помертвело-го взгляда, тетя добралась до дверей и вышла из комнаты.

Я помню только, что долго еще стоял на коленях, тщетно пытаюсь осознать значение и смысл того, что тут недавно разыгралось, и уж не скажу, как забрался обратно к себе на чердак.

Что это было? Что означал тетин ужас перед моей клятвой и ее внезапный уход? Сломало ли ее крушение их с Маркетой надежд? Даже ночь, вернейшая моя наперсница, не могла мне дать ответа, рассвет застал меня еще в платье, с упорством отчаяния подбрасывающим денежку своих сомнений. Орел или решка? Выиграл я или проиграл?

— Что это ты сегодня так плохо выглядишь? — спрашивает меня дядя, когда мы утром встречаемся перед еще не открытым магазином.

Я благодарю бессонную ночь, это она извела меня, будто чересчур требовательная любовница. Сегодня мне в магазине не выдержать, узнать бы, по крайней мере, как там у Кленки с Боженной. Утром беспокойство мое несколько улеглось, а может, острия волнений притупились, перенапрягшись, и все-таки именно теперь, когда до победы рукой подать, я не могу избавиться от ощущения, будто за мною кто-то неустанно крадется.

— Зуб болит. Всю ночь заснуть не мог.

Дядя поглядывает на меня с несколько высокомерным сочувствием, расчесывая свою бородку пальцами, смеется здоровым смехом самоуверенного, никогда в жизни не болевшего человека.

— Это все воскресная весенняя прогулка шутки шутит. Хлопот с вами не оберешься, экие вы хрупкие создания. Маркета падает в обморок, жена берет порошки, голова у нее, видишь ли, раскалывается, а тебя мучат зубы. Не суйся сегодня ко мне в магазин и сыпь к доктору.

В этом он весь, мой дядя — Методей Кукла, владыка и властитель мира, созданного им самим; от одного дядино-го кивка зависит будущее многих людей, золотые письма, которыми начертано его имя на вывеске, сияют вверху, символизируя его величие. Вчера снова поправились его отношения с женой, но этого все-таки надо было ожидать, хоть размолвка и была долгой, а еще, наверное, он выиграл в карты, это, разумеется, небольшая радость, но тоже способствует убеждению, что все это не случайно, а ради будущих неперемненных удач; правда, дочь его сейчас в любовной горячке, но ничего, выберется без осложнений, разумеется, ведь она — Куклова, с ней просто ничего не может приключиться. Я смиренно благодарю дядю за любезность, хотя в эту минуту готов его убить.

Что-то прямо-таки гонит меня на Кампу. Я должен убедиться, удался ли мой ход, вернулся ли Кленка к Здейсам. Я тороплюсь, я спешу, равнодушный к красоте солнечного весеннего утра. А достигнув цели, занимаю такую позицию, откуда можно прекрасно разглядеть калитку садовой ограды.

Видна отсюда и крыша домика Здейсы, из одной трубы тонким столбиком вьется прозрачный дымок. Да, я по-

доспел вовремя, наверняка Божена заканчивает приготовление завтрака. Я рассчитываю дожждаться Здейсы, когда он возвратится от ранней мессы, а может, сама Божена пойдет в консерваторию или за покупками.

У меня за спиной, на вытянутой в длину площади, под голыми еще акациями, мелодией тихо мурлыкаемой песенки распускалась жизнь этого удивительного городка, угнездившегося посреди столицы; его не коснулись ни веянья времени, ни перемены. Был базарный день, и гончары раскладывали свою коричневую и белую посуду на парусине, разостланной на земле. Старички и старушки уже вынесли на улицу низенькие скамеечки и теперь грелись на утреннем солнышке; перед ними играли, копошились дети; сложив на животе руки, судачили, остановившись на полдороге к торговцу, женщины; мужчины, по большей части в кепочках водников, тащились по каким-то своим непонятным делам, которые наверняка, однако, лежали где-то в пределах этих невеликих владений. На тротуаре, перед входом в свою мрачную мастерскую, лакировщик малевал название фирмы, а неподалеку от меня два школьника, бросив на землю книжки, возились с ручной двухколесной тележкой сосредоточенно и серьезно. Какое спокойствие! Просто никогда бы не поверил, что сюда тоже может проникнуть губительный поток жизни. Потом из-за ограды сада послышались звуки рояля, и гаммы заглушили птичьи песенки. «Это не может быть никто иной, кроме Кленки, который с утра пораньше вознаграждает себя за потерянное в изгнании у тети время», — убеждаю я себя.

Рояль на секунду замолкает, и тотчас открывается калитка, и выходит Божена. Не прошло и суток с тех пор, как мы виделись в последний раз, но что за перемена! На ней — то же платье и соломенная шляпка с черной лентой и пучком розовых черешен, но как она идет — запрокинув голову, выпятив молодую грудь, в танцующей походке поет и лучится торжество. Она идет на занятия, под мышкой у нее нотная папка. Она смутилась, увидев меня здесь, но в каждом ее шаге — строптивый вызов, и взгляд ее отвергает меня и гонит прочь, хотя вслух она еще не произнесла ни слова. Божена останавливается, и в глазах ее вспыхивают драконовы огоньки.

— Чего вам тут? Что вы еще выслеживаете?

Черешни на шляпе стучают друг о дружку — так резко она вскидывает голову. Я смеюсь в ответ, беру ее за руку, но она моментально вырывает ее.

— Ах как вы строги со мной, — говорю я. — Так, значит, Кленка вернулся и я могу вас поздравить.

Пассажи упражнений на беглость пальцев все еще вылетают из сада у нее за спиной. Черный дрозд, что сперва перепугался этих звуков и смолк, теперь присоединяется к ним, стараясь перекричать.

Божена вслушивается, запрокинув голову, словно это — голос ее возлюбленного. Потом вздыхает и говорит:

— Да, это он. Вернулся и уже навсегда останется у нас. Мы поженимся.

— Это — самое прекрасное из известий, когда-либо услышанных мной. Но вы должны меня хотя бы поблагодарить.

Она мерит меня презрительным взглядом и поджимает губы.

— Благодарить вас? Не понимаю — за что?

Я смотрю на нее в упор, и кровь бросается ей в лицо.

— Их довольно много, этих «что», — медленно произношу я. — Прежде всего потому, что вчера я не вручил Кленке письмо, которое вы возвратили почтальону в связи с тем, что адресат выбыл.

Теперь краски снова отхлынули от ее лица, и оно сильно побледнело. Порою кажется, что она вот-вот бросится на меня, но вдруг глаза ее наполняются слезами.

— Почему вы все время стоите на моем пути? Я стыжусь своего счастья, когда вижу вас. К чему бы вы ни прикоснулись, все тотчас делается грязно.

Всклипнув, она отворачивается от меня и устремляется прочь, чудные черешни на ее шляпе подпрыгивают, а высокие каблуки стучат по мостовой, по узкой улочке, вьющейся меж садов, что спускаются к мельницам. Я без гнева смотрю, как она исчезает за поворотом стены. Дерзкая мерзавка. Вот и жди от таких благодарности! Да разве это важно сейчас, когда леденящие клочья ночных сомнений растаяли под лучами сияющего утреннего солнца. Кленка вернулся, этого вполне достаточно. Послушать только, с каким иступлением он упражняется, будто сводя с кем-то счеты и заглушая недавние стенания. «Но у меня еще осталась музыка, — наверное, твердит он себе, — главное — музыка, а жизнь, со всем, что она приносит, — это лишь мучительная необходимость». Черный дрозд безумствует на ветке, рояль воодушевляет его, горлышко птицы чуть не разрывается от напряжения, пока он, склонив голову набок и вслушиваясь, допевает свою арию; рояль звучит неустанно — ну как птахе перекричать певунью, которой не нужен

отдых? Ну так пой же, мой убаженный приятель, я тоже готов тебе подсвистеть. Пойду в магазин и предстану перед дядей с сияющим лицом. Большой зуб вырвали, теперь уж не будет мучить. Троекратное «ура!» грядущим дням! Я машу дрозду рукой на прощанье и собираюсь уйти.

Чернее, чем дрозд, с которым я только что разлучился, вдоль гончарных ларечков движутся навстречу мне двое в черное одетых людей: это моя тетя и органист Здейса, толкающий незримый груз своим выставленным вперед плечом. И тут дрозд, словно признав свое поражение, с пронзительным криком взвивается в небо, а рояль с новой силой исполняет фуриозо, беря октавы в головокружительном темпе.

Скрываться поздно, эти люди, конечно, давно уже заметили меня, да, впрочем, скрыться и некуда, и ноги у меня словно приросли к земле. Остается только смотреть и ждать, как те двое приближаются — медленно сокращая расстояние шаг за шагом, словно судьба, которая никогда не суетится, потому что всему приходит свой черед, и ты, будто приговоренный к смертной казни, с невероятной четкостью запечатлеваешь все, что совершается вокруг, — спокойное, солнечным сиянием залитое ристалище старинной площади, мальчишек, которым все еще не надоело играть тележкой, подмастерья-лакировщика, усердно выводящего красивые завитки букв, стайку детей, присевших на корточки возле какой-то ямки, старца, подставляющего солнцу морщинистое лицо и попыхивающего трубкой, бабу, которая, наклонившись к своей маленькой подопечной, утирает ей фартуком носик, женщин, что, остановившись перед товаром гончара, поднимают сосуды, стучат по ним согнутым указательным пальцем, дабы убедиться, что они без изъяна, но, кроме всего этого, — одновременно и как-то разом, — в поле твоего зрения попадают эти две черные фигуры, они подступают все ближе и ближе под аккомпанемент несмолкающего фуриозо, разыгрываемого на рояле.

Здейса, который шел опустив взгляд в землю, только очутившись передо мной, поднимает голову и глядит, будто видит меня впервые, изумленно и то ли покорно, то ли умоляюще. Сняв свой потертый цилиндр, он тут же вновь насаживает его на макушку, приветствие застревает у него в горле, органист кашляет и растерянно поглаживает грудь — то место, где, я знаю, в кармане редингота у него хранится плоская бутылочка горячительного. Тетя смотрит

куда-то поверх моей головы, губы ее чуть дрожат, пока она не овладевает ими настолько, что в состоянии говорить.

— Нечаянная встреча, да? А дядя думает, что ты у зубного.

Что делать? Я знаю, это конец, хотя и не могу в него поверить. Этот момент точь-в-точь напоминает тот, когда жена сапожника появилась во дворе и крыса еще могла надеяться на спасение.

— Я только что от врача, — отвечаю я, и голос мой, к моему удивлению, звучит твердо. — А здесь меня остановила Кленкова музыка.

Я делаю вид, будто захвачен могучим порывом общительности, развожу руками и торопливо говорю, обращаясь к Здейсе:

— Господи, как ему у вас хорошо играть! Тут божественное спокойствие, чарующие окрестности. Не удивительно, что ему не хочется от вас переезжать и ничто не в силах его отсюда выгнать. И как славно играет! Слушаю-слушаю и не могу отважиться его прервать. Такое вдохновение и такой восторг должно только почитать и не мешаться на его пути. Кстати, — восклицаю я, будто вдруг вспомнив о чем-то, что нужно бы вспомнить с самого начала, паяц расцеловывает мое лицо любезной улыбкой, я протягиваю обе руки к Здейсе, а он свои, напротив, прижимает к телу, отступая во все возрастающем замешательстве, — уважаемый господин органист, чуть было не запаматовал поздравить вас с помолвкой дочери и пана Кленки. Только что я ее встретил, и она сообщила мне эту великолепную новость. Идеальная пара, можно сказать, не правда ли, тетя? Общие интересы, общие цели, взаимная любовь. Едва ли найдется другая столь же прекрасная и совершенная.

Я исподволь наблюдаю, какое впечатление производят на тетю мои слова. Она заметно побледнела, поджимает губы. Ничего подобного она, конечно, не ожидала. Ах, боже мой, значит, все-таки у меня есть какая-то надежда!

Мостовая раскалилась под ногами органиста. Он переступает с ноги на ногу, как будто куда-то собирается бежать, но никак не может отлепиться, поглаживает бутылочку, скрытую в нагрудном кармане, и наконец пищит невыносимой фистулой:

— Безумная девка. Себя изведет и его тоже. Я слабый, ничтожный, безвольный человек. Не могу ей ни приказать, ни запретить, и она казнит меня за мою любовь. Черт меня дернул взять в дом этого Кленку, хоть я и люблю парня, как родного.

Тетины губы вздрагивают и, сделавшись мягче, разжимаются. Не сводя с меня взгляда, она говорит:

— Милостивый государь, каждого из нас черт дернул кого-то взять в дом. Но все мы должны помнить о господе боге.

Конечно, это не те слова, которыми она могла бы меня потрясти. Я держу себя как человек, который желает тактично завершить разговор, нечаянно сделавшийся для всех мучительным. Поклонившись тете, я предлагаю:

— Если ты идешь домой, тетя, позволь мне тебя проводить.

Летучий трепет, некое подобие улыбки, изгибает ее губы.

— Я иду навестить пана Кленку. И к нему ты меня проводишь, разумеется.

Солнце померкло для меня, и тьма заструилась вокруг, дробясь о световые призрачные скалы — наверное, это дома, и в этой темени плывут светящиеся призрачные рыбы — скорее всего, люди. Конец. Ах ты, трус, защищайся же еще, не сдавайся. Может, ухватишь спасительную соломинку. Из глубин этой темени я испускаю слова — будто пузырьки воздуха, выжатого из легких утопающего; сорвавшись с уст, они разбиваются о водную поверхность где-то высоко над моей головой; мне кажется, будто я слышу только глухое чмокание, издаваемое жадными рыбьими мордами.

— Конечно, тетя, но ты хоть пощади и себя и его. Ведь это мука.

— Наверное. Но я иду не развлекаться, пан Кленка обязан нам кое-что разъяснить.

Ну возможно ли, чтобы случилось такое? Жена Методя Куклы идет просить за свою дочь к кавалеру, который ее отверг! Для дяди это равносильно смерти. Как же я мог не предвидеть вероятности подобного поступка, почему не предупредил его вовремя?

Органист, опередив нас, устремляется к калитке, тетя шагает впереди, уже не оглядываясь на меня, я движусь за ней все в той же непроглядной тьме, шагаю, будто водолаз по дну на большой глубине, — сделаю шаг и словно повисаю в воздухе, не в силах оторвать вторую ногу от земли. Отчего ты не бежишь, сумасшедший? Еще есть время.

Любезный, как агент похоронного бюро, на которого он смахивает своей внешностью, Здейса придерживает калитку и кланяется, вводя нас и себе в дом. Рояль прелюдирует, очевидно импровизируя, как будто Кленка в перерыве

между упражнениями пытается уловить какую-то беспокойную, ускользающую мысль. В глубине огромного сада, расцветившегося всеми оттенками молодой зелени, в разные стороны разбрызнут блестящий желтый дождь форзиций. Все это буйство, словно девичьи уста, дышит на нас волнующим молодым ароматом цветения и влажной вспаханной земли.

Длинным темным коридором, в конце которого светится высокое окно, мы входим в дом. Каменный пол, выложенный красными кирпичными плитами, кое-где выщерблен. Из стен высовываются холодные руки страха и хватают меня. Я вот-вот упаду на колени и поползу на животе. Не пойду я дальше, не могу, не требуйте от меня этого, господи боже ты мой!

Здейса открывает дверь с правой стороны, эхо пустынного коридора многократно повторяет его писк:

— Сюда, проходите, пожалуйста.

Просторная комната, обставленная как столовая, с огромным столом посередине — где приготовлены, очевидно, для Здейсы и Кленки, две тарелки, ножи, початая буханка хлеба и белый облитой глазурью горшочек с жиром — гудит, наполненная звуками рояля, хотя вторые двери закрыты; Здейса, опередив нас, распахивает их, и звуки врываются с оглушающей стремительностью, и Здейса визжит, чтобы перекричать их:

— Еник, к тебе гости.

Рояль мгновенно смолк, но Здейса не ждет ответа, оставив двери распахнутыми, он пятится назад; помахивая цилиндром, который держит в одной из своих длинных-предлинных лап, Здейса кланяется и блеет:

— Я, так сказать... господа позволяют мне... разумеется, я тут же... — и исчезает в коридоре.

Выходит Кленка, он в своем шелковом халате, побрит и причесан, вид у него ухоженный, как будто заботилась о нем умелая женская рука. Следы царапин на лице — этого женская ручка, разумеется, не смогла убрать. Он смотрит на нас с ужасом, который сковывает его речь. Тетя первой прерывает молчание.

— Позвольте мне сесть. Я устала.

Кленка неуклюже бросается вперед — пододвинуть ей стул.

— Прошу, милостивая пани, — заикаясь, предлагает он.

Вот тебе. Наконец-то ты тоже оцепенел и молчишь — зритель сцены, которую не успел подготовить.

Я стою у противоположного конца большого стола, в нос мне бьют ароматы сала и нарезанного хлеба. Хлеб благоухает: да будет в целом мире мир, насыщение, покой и уверенность, но сало пробуждает волнующее воспоминание. Кухня Горды. Ее двери распахиваются, и в их раме, на черном фоне, будто картина неожиданно обретает третье измерение, появляется огромная белая фигура пана Горды. Его нога бьет в пустоту, и крыса в последней отчаянной попытке прорывает круг своих преследователей. Но мне известно, чем кончилась эта вылазка, слишком хорошо известно, и я знаю, что надежды нет.

Выставив правое плечо вперед, в двери протискивается органист и, тихо прикрыв их за собою, словно боясь кого-то разбудить, неслышным шагом проходит через комнату и усаживается на старинный кованый сундук под окном. В эту минуту он наверняка чувствует себя чужим в собственном доме. И в самом деле — ему нечего искать здесь, он знает это и все-таки прокрался сюда, потому что — по доброте душевной — еще лелеет надежду своим присутствием отвлечь неприятность, мучительную для всех.

Первое тетино действие тут же сокрушает мои последние надежды. Порывшись в своей поместительной шелковой сумке, она вынимает Маркетино письмо. С этого мгновения все дальнейшее я вижу словно сквозь густую серую занавесь. Тетя, Кленка, Здейса помещаются за ней, а голоса их доходят до меня ослабленные и приглушенные. Нещадные когти страха рвут и терзают мои внутренности, а я вынужден побарываться в себе внезапные удушающие корчи смеха. Смех сотрясает меня, когда я осознаю, как долго надо прясть кудель сплетенной мною лжи, чтобы добраться до волоконца правды. А потом — я готов реветь от бешенства. Это — мое творение, как вы смеете разрушать его!

Органист соскакивает со своего места под окном.

— Я вернул это письмо, — сипит он. — Кленки тут не было, и мы не знали, куда он исчез.

Тетя окидывает его взглядом — могу себе представить этот взгляд, недоверчивый и снисходительный.

— Благодарю вас, маэстро, — спокойно произносит она в ответ, — хотя сейчас уже не имеет значения, кто возвратил это письмо, если это сделал не сам пан Кленка.

Волоконце правды уже показалось, оно зеленого, как яд, цвета, крутится, скользит, извивается змеиными кольцами. Все смотрят на меня и не верят глазам своим так же, как не могли поверить и своему слуху.

Когда обнаруживается, что вчера я мог передать письмо — и не передал, на лбу Кленки вилкой взбухает разветвление жил. Поднявшись, он обошел обеденный стол и ринулся на меня с поднятыми кулаками. Крыса загнана в угол, спасенья нет, она встает на задние лапки и фыркает. Я сжимаю в руке нож — он лежал на столе, сервированном для завтрака, я все поигрывал им до сих пор — и кричу:

— Не подходи, а то пырну!

Я вытягиваю руку, но меня бьет дрожь, я не могу долго стискивать кулак, и нож вот-вот выскользнет. Тетя встает и голосом, который тщится быть твердым и повелительным, но все-таки дрожит, произносит:

— Прошу вас, оставьте его, пан Кленка.

Но Кленка не слышит, его налившиеся кровью глаза видят только меня одного. Где Франтик Мунзар, чтобы защитить меня своим телом и либо отвратить эту опасность, либо принять возмездие на себя? Я отступаю, наталкиваясь на посудный шкаф за своей спиной и больно ударяюсь об один из украшающих его рельефных выступов. Резкая боль воспламеняется во мне, вызывая взрыв гнева, тело мое подбирается, сжимая нож, я бросаюсь вперед. Наскакиваю на выставленное вперед плечо Здейсы, оно вздрагивает и отталкивает меня; пошатнувшись, я снова ударяюсь о шкаф — на этот раз боком — и падаю на стул возле него. Нож отлетает к дверям. Здейса теснит Кленку на его место и почти нормальным человеческим голосом, на октаву ниже, чем обычно, бормочет какие-то умиротворяющие слова:

— Не сходи с ума, Еник, не нужно.

Откуда-то издали доносится тетин голос:

— Вы посмотрите, он и пролить кровь не погнушался бы.

Напряжение во мне погасло, я превращаюсь в грудку пепла, только боль от ушиба в голове и в боку еще полыхает. Багровый месяц несчастья взошел надо мною, а из моего нутра рвется жалостливый вой. Оставьте меня в покое, ради бога, оставьте меня. Чего вам еще нужно?

Но никому уже ничего не нужно. Они вышвырнули меня, будто грязную тряпку, и занялись собой. Я не могу сосредоточиться и собраться с мыслями или нащупать решение в той тьме, что заливают меня. Руки мои словно опустились, у меня нет сил их поднять, я чувствую только, что челюсть моя отвисла, я стою с разинутым ртом, и взгляд мой — взгляд идиота, которого заворожила извилистая трещина в штукатурке, потерянное и заплутавшее перышко

или одинокий солнечный луч, проникший сквозь щели и легший у его ног.

Здейса протолкнул Кленку на прежнее место и вынудил его сесть. А сам стал за его стулом, наверное, чтобы быть начеку, если Еник снова взорвется в порыве ярости. Кленка сидит, уткнув лицо в ладони, и тетя снова опустилась в кресло. Но все это происходит где-то вдалеке и помимо меня, какие-то оцепеневшие, жалкие, разбитые руки нащупывают дорогу во тьме, только боль в затылке и боку соединяет меня с реальным миром. Наконец мой рассеянный взгляд натывается на мою шляпу, лежащую на стуле, у которого я прежде стоял. Шляпа. Нужно бы встать, надеть ее и уйти.

Все будто затаили дыхание — такая стоит тишина. На улице перекликаются птичьи голоса, и воробьиная перебранка перекидывается с дерева на дерево. А здесь не слышно даже жужжания мух, только часы ведут разговор и время, будто гонимое мечтой о вечности, ускоряет свой бег.

Наверное, долгое молчание было непосильно для Здейсовых плеч, и без того обремененных множеством забот. Органист, неслышно обогнув стол, взял мою шляпу и подошел ко мне. Он кладет мне руку на плечо, но не трясет его, а гладит. Его прикосновение возвращает меня к жизни. Рот мой сомкнулся, взгляд сосредоточивается, мир, только что размазанный, стертый и задернутый занавесью, снова становится отчетливым, надо мной наклоняется бородатое лицо Здейсы, и я читаю в его глазах что-то давно забытое, что-то, чему не могу даже подыскать названия, скорее всего — сочувствие. После смерти матушки ни один из людей так на меня не смотрел. Теперь я могу встать и протянуть руку за шляпой. Горлу хочется всхлинуть, а глазам — плакать. Падай на колени, ползай от одного к другому и проси прощения. Может, тебя и простят.

Но тут раздается тетин голос, мягкий и умиротворяющий:

— Вот теперь, когда мы во всем разобрались, наверное, было бы хорошо, если бы вы зашли к Маркете и все рассказали ей сами.

Кленка сидит неподвижно, не отнимая рук от лица, только пальцы его будто глубже впиваются в кожу, и тетя добавляет просительно:

— Неужели я должна вас убеждать, как это мучит ее?

Кленка вскакивает, рвет на себе волосы, потом разводит руками, будто разрывая невидимые путы, и кричит:

— Ради бога, замолчите! Пощадите меня хотя бы тут. Ведь я ничего не могу, вы слышите, уже поздно.

Он быстро подбегает к окну и возвращается обратно. Тетя встает, выпрямляется. Я вижу, как спина ее цепенеет, тетя оскорблена этим вскриком, но голова ее еще наклонена вперед. Она не в силах понять.

— Отчего вы не можете?

Кленка останавливает свой бег, который так напоминает отчаянное вращение по замкнутому кругу, когда преследуемый преследует сам себя. Плечи его обвисли, он поворачивается спиной к окну, лицо его скрыто в тени. Он показывает на меня пальцем.

— Вы должны были дать мне убить его. Подобного нельзя терпеть на земле. Он обманул меня, а я ему поверил. Но какой теперь в этом смысл? Словом, я уже ничего не могу, все пропало. Вчера я зашел слишком далеко.

Что-то оборвалось у меня в груди и подступает к горлу, чуть ли не душит. Чувство как у осужденного, который совершил убийство из ненависти, виновного ведут на казнь, но еще позволяют убедиться, что убийство он совершил на славу. Я не могу себя превозмочь, это превыше моих сил. И раздражаюсь безумным хохотом. Тетя обернулась, взгляды всех исполнены ужаса. Но мне уже все равно. Резким рывком я распахиваю двери, выскакиваю из дома и стремглав бегу через сад.

Выйдя за калитку, я уже не смеюсь, а всю дорогу веду себя как больной пляской святого Витта, размахиваю руками, ухмыляюсь, похохатываю. Прихожу в себя только перед магазином дяди. Останавливаюсь на противоположном углу и смотрю, как человек, пришедший проститься. Витрины блестят, а над ними — вширь и ввысь — расprostерлась вывеска. Ее буквы блещут, будто золото королевской короны. Ах, никогда не возложат тебя на мою голову. Маркету я, скорее всего, любил, но тебя получить жаждал.

Обойдя квартал, чтоб меня не увидели из магазина, я вхожу в дом со двора. По ступенькам крадусь на свой чердак. Зачем это я возвратился сюда? А разве есть на свете другое место, куда я еще мог бы вернуться? Даже много часов спустя я ничего о таковом не узнаю, а уходить все-таки надо.

Заперев дверь, подсаживаюсь к окну, над крышами всегда одинаково тихо — и когда день движется к полдню, и когда вечер погружается в ночь. Теперь кармин черепицы на крышах и желобах, поблекший под чернью сажки, залит солнцем. Из всех труб курится дым. Поднимается ровным

столбом, расплываясь где-то высоко в небе. И где-то там же дымы обручаются друг с другом и ткут над городом легкое золотисто-серое прозрачное покрывало.

Меня охватила совершенная апатия. Теперь уже все равно. Не знаю, как долго сидел я, бездумно следя за уплывающими в небо дымами и теньями труб, перемещаемыми по склонам крыш медленно шагающим солнцем. Наверное, я даже вздремнул, положив голову на оконную раму.

Раскатистый удар донесся из Марианской крепости, обозначив полдень, он раскачал и заставил звучать все пражские колокола. Я почувствовал голод, ведь я не ел с раннего утра. Этот неуклонный напор жизни, заявляющий о своих основных правах даже в минуты, когда, казалось бы, речь идет о вещах бесконечно более существенных, удивил и обозлил меня. Оскорбленный его назойливостью, я решил воспротивиться. Однако голодные колики подавляли любую мысль.

Я отыскал на полочке горбушку хлеба, завернутую в салфетку, и кусочек размякшего масла, оставшиеся от прошлых завтраков. Жадно заглатывая эту жвачку, я тешил себя представлениями, как сегодня проходит обед у Куклы. Вынесли уже вердикт или суд соберется несколько позднее? Я прекрасно разыграю презрение к его решению, каким бы оно ни было, даже отмахнусь рукой. Я никому не доставлю такого удовольствия, как главный бухгалтер Суйка. Не стану ползать на брюхе и молить о пощаде.

Решительно встав, я запиваю свою трапезу несколькими глотками теплой воды из кувшина, стоящего на умывальнике, вынимаю из угла глубокий деревянный сундучок и начинаю собирать вещи. Аккуратно укладываю белье и платье и все время оберегаю себя от раздумий — куда мне теперь идти и что предпринять? Я занимаюсь своим делом старательно и сосредоточенно, словно все мое будущее зависит от того, помнутся ли мои вещи.

Все готово, но у меня такое чувство, будто я желал бы, чтобы эти сборы продолжались вечно, я захопываю крышку и усаживаюсь на нее. Какой темный, глухой, деревянный звук и какой черный этот сундук! Я тихо смеюсь. Конец. Я будто сижу на могиле своего прошлого.

Взгляд, брошенный на раскиданную постель, которую я нынче не убрал, вдруг спутал мысли. Еще одеяло и подушка. Их тоже хорошо бы свернуть и подготовить к переноске. Я сижу, тупо уставившись на кровать. Ведь все это бессмыслица. Куда мне идти? Просто некуда, некуда.

За моей дверью время от времени раздаются шаги, женские голоса и смех. Я не обращаю на них внимания, собственно, мне не до них, жизнь катит себе дальше, сегодня понедельник, служанки развешивают выстиранное белье. Но вот кто-то поднимается тяжело, грузно, вслух чертыхается, наткнувшись в потемках на одну из низко расположенных балок, медленно переставляет ноги и нащупывает дверь. В стуке, который гулко отдается в моей камерке, чувствуется еще досада человека, который трет ушибленное место, где у него вскочила шишка или синяк. Оцепенев, я недвижно сижу на своем сундучке, комната вдруг представляется мне чужой — возможно, именно так выглядят камеры осужденных.

Стук повторяется более резко, и бранчивый голос слуги Йозефа вторит ему:

— А ну, молодой господин, открывайте поскорее да не притворяйтесь, будто вас нету дома.

Уже сам способ обращения многое говорит мне о содержании послания, которое несет Йозеф. Какой смысл таиться, чему я хочу еще воспротивиться? Тот же пан Йозеф, который еще сегодня утром, встретив меня перед магазином, смиренно мне кланялся, расспрашивал, как мне спалось, тот же пан Йозеф, что недавно опустил свою страшную лапу на плечо бывшего главного Суйки, ослепленно жмурится, стоя на пороге комнаты.

— Пан шеф велит передать, чтоб вы тотчас к нему пришли.

— Никуда не пойду, я болен.

Йозеф ухмыляется. Вытаскивает из кармана большой голубой конверт и расписку и сует все это мне в руки.

— Пан шеф сразу же подумал, что вы откажетесь. Так вот, прочтите тут, пересчитайте деньги и тут вот распишитесь.

«Надеюсь, тебе не нужно объяснений, — писал мне дядя, никак ко мне не обращаясь. — Подтверди на приложенной расписке, что ты принял увольнение, жалованье за апрель и за полгода вперед. А теперь ты знаешь, где мой порог, немедленно уходи из моего дома, но нигде не ссылайся, что ты у меня служил. Я не смогу дать тебе рекомендации».

Я пересчитываю деньги, потому как мне известно, что пан Йозеф не уберется отсюда раньше, — тысяча четыреста крон в сотенных бумажках и мелких купюрах, — подписываю расписку и передаю ее пану Йозефу, который нарочито

тщательно рассматривает подпись, прежде чем сложить бумажку. Мне приходит в голову дать ему двадцать крон на прощанье. Он берет их и прикладывает к остальным, проговорив скорее добродушно, чем насмешливо:

— Да оставьте себе, молодой человек. Вам еще деньги ох как пригодятся!

Заперев за ним двери, я стою посредине комнаты. «Значит, нанесен последний удар, — говорю я себе. — А ведь в нем не было нужды».

Я снова пытаюсь прикинуть, что же теперь делать. Свернуть одеяло, так, позвать слугу. День либо два, пока не подыщу себе квартиру, можно прожить в какой-нибудь гостинице. Четырнадцать сотен — это все-таки хорошие деньги, и, если обращаться с ними разумно, можно продержаться целый год. А за год — хотел бы я на это посмотреть — много воды утечет. Сейчас я чересчур утомлен, чтобы решиться на что-нибудь. Нужно немножко поспать, а потом все как следует обдумать.

Проснулся я глубокой тихой ночью. Будто меня разбудил какой-то легкий, но длительный звук, напоминающий звяканье мелких золотых монеток, пересыпаемых из ладони в ладонь. Я слышу этот звук, даже лежа с открытыми глазами. Я озяб, ооченел, уснув не прикрывшись одеялом, и спал долго, но ночь, моя подружка и наушница, склоняется надо мной и раскрывает свои объятия. Я ощущаю на лбу жаркие лобзания тьмы и знаю, что все решилось, пока я спал.

Я встаю, потягиваюсь и иду выпить воды из кувшина, чтобы смыть пепел сна, хотя, по-моему, это смешно. Но на свете столько смешных вещей, моего века не хватило бы, чтобы насмеяться.

Вскочив на подоконник, я усаживаюсь на раму, подтянув колени под подбородок. Ночь, благовонная, теплая ночь приникает ко мне, по-моему, ее одеянье еще никогда не было усыпано таким множеством звезд, как сегодня. Что ни говори, а ночь — царская возлюбленная, благороднейшая из благородных. А не позволил ли я обмануться ее посулами? Ах нет, это не так. Просто я недостаточно внимательно слушал ее совета. И сегодня, как всегда, меня пьянит ее доверительная близость, наполняя восторгом.

«Ты знаешь, где мой порог», — пишет мне дядя. Ну не смех ли? Прежде всего мне известно, что уготовано за ним. Пан Суйка, ползущий к своей могиле, попавший в странную зависимость из-за полученных двухсот крон, бродяга, дрыхнувший на лодках на влтавском берегу, силачи, кото-

рые в любое время могут выпустить свои когти и трясти меня в свое удовольствие. «Не ссылайся, что ты у меня служил, я не смогу дать тебе рекомендации». Ну вот, ты чувствуешь ее, эту его ручку? Даже в том, чего она не станет совершать, ты ощутишь ее силу. Но нет, я знаю, где мой порог.

Я бы вам показал, на что я способен, если бы мне позволили довести дело до самого конца. Господи, да разве не вы были самыми обычными марионетками, которых я дергал за веревочки? Вот хоть бы Кленка, такой богатырь и смельчак, презрительно вскидывающий шевелюру на глазах восторженно аплодирующей публики. Теперь ему придется жить не как хочется, а как повернется жизнь. А куда подевалась тетина мечта об искуплении грехов, где дядина непогрешимая уверенность, какой горечью отдает Боженин триумф, а что случилось с любовными мечтаньями Маркеты? Ах, вот этого не должно бы случиться. Все прочие пусть бы мучились, а ты, Маркета, ты должна была быть счастлива. Я хотел, чтобы счастье свое ты получила из моих рук. Я верил, что наступит время и я сумею превратить черное в белое, потому что я так хочу.

Ночь дышит любовью, и стоит ей шевельнуться на своем беспредельном ложе, как я слышу шелест ее покровов и позвякивание золотой звездной чешуи. Двери распахнуты, объятия зовут.

Заплутавший порыв ветра, пронесясь над моей головой, облетает комнату и шуршит какими-то бумажками на столе. Наверное, деньгами, присланными дядей. Четырнадцать сотен, год жизни для бережливого человека. Ну не смех ли? Чего мне еще ждать? Уже не черный свет распростерся вокруг, а сплошная темень, и раскрыты объятия ночи.

Я высываюсь из окна. Черная крыша скользит во тьму. Где-то далеко бьют башенные часы — наверное, на Староместской площади. Один, два, три, четыре удара, потом еще один, глубокий и долго длящийся звук. Час ночи. Я отправляюсь в путь, когда по всей нашей округе раздается бой часов, словно соседние петухи отозвались на вызов самого раннего петуха. Я качусь по склону крыши, инерция падения перебрасывает меня через ее закраины, трещит под тяжестью моего тела желоб, часы бьют теперь в унисон, удары сливаются, я падаю вместе с потоком времени.

Нечто ослепительно белое мелькнуло надо мной или подо мною.

Может, огни улицы или Млечный Путь. Или белая Маркетина рука.

Ну не смех ли?

Истинно белый свет в последнее мгновенье.

* * *

Лекарям удалось то, что не должно бы удаться: они спасли меня. Жизнь равнодушна к своим чадам, и в ее юморе больше жестокости, чем милосердия. Ей-богу, порою жизнь капризна, как куртизанка. Поворачивается спиной к тем, кто любит ее, а иных вырывает из тисков смерти, хотя они жаждут умереть. Жизнь протянула мне руку помощи только затем, чтобы заполучить в свое распоряжение еще одного паяца — на тот случай, если ей вдруг захочется шуток посреди нескончаемой скуки размножения и гибели.

Три умелых доктора вырвали меня из бездны тьмы. Склеивали по кусочкам, старались так, как ребенок старается из разбросанных кубиков возвести нечто завершенное. И создали некое подобие человека. Одного кубика у них не хватило. Моей правой ноги. Вместо нее они поставили мне деревянную, покрытую черным лаком, и велели: «Иди!»

Я пошел. Протез стучит о мостовую. Я вспоминаю сказку, одну из самых моих любимых. Веселая, ясная сказка, полная солнца и радости.

«Отчего вы печальны, голубчик? — спрашивает матушкин приглушенный голос. — Я расскажу вам сказку об Иржике и козе. ...И когда процессия подступила под окна замка, грустная принцесса рассмеялась и уже никак не могла насмеяться».

Процессия теней льнет к моей деревянной ноге и тащится за мной. Лоточник Прах — впереди, потом — мясник Горда, Франтик Мунзар и все прочие; я волоку их за собой, целую цепь своей жизни, все звенья которой на месте. И ее громоуханье, словно бич, терзает меня. Как я понимаю тебя, Иуда! Смерть была бы искуплением.

Сыну пражского горожанина не дозволяется стать побродяжкой или пьяницей и испоганить своим нечистым присутствием улицы и перекрестки этого почтенного города. Мещане, оплачивающие свое сословное превосходство и приумножающие своими подношениями богатство и процветание города, не забыли обеспечить себе и своим потомкам благодарность общины на тот случай, если их состояние придет в упадок. Так вот к ним я и явился: кале-

ка и ничтожество, но сын пражского мещанина. Собрались отцы города на совет: что с ним делать? И сделали меня дворником в одном из своих общинных домов.

Тот, кого тьма извергла в таком человеческом подобии, как меня, уже не отважится броситься в нее второй раз. Я остался в живых. Наказание мне было определено.

Я выпал из круга, который я любил и только теперь могу оценить, из того круга общества, в котором я намеревался стать первым из первых. Сын мещанина, по милости городской пражской общины нечто среднее между дворником и кладовщиком одного из пражских дворов, я выдаю метлы и выделяю участки улиц, чтоб их убрали отверженные, павшие ниже, чем я, кого народная мудрость нарекла «общинными писарями». На свой манер, такой писарь — тоже хозяин над теми, кто обращается к нему с мелкими просьбами, и он своими решениями может кому-то облегчить жизнь или сделать ее невыносимой. Ну как вам это понравится? Чувство юмора у госпожи жизни неисчерпаемо.

Время для меня не остановилось. Тяжкими, медленно наливающимися каплями скатываются мои дни. И в этом тоже — часть моего наказания. Тот, кому отхватили почти всю ногу, не может даже опуститься на колени, чтобы просить о помиловании. Должно лишь стоять и нести свой крест, пока не рухнешь. Лоточник Прах выбрасывал свою деревянную ногу за дверь, чтоб она не мешала ему вспоминать о днях здоровья и юнацкой силы. Свою я ставлю так, чтобы мне видеть ее постоянно — до самого вечера, пока не сомкну глаз, и с самого утра, как только их протру. Она — будто восклицательный знак, о котором никогда нельзя забывать. Вы говорите, нет смысла так терзать себя? Да я и не терзаюсь. Жизнь моя — вместилище теней, и моя деревянная нога напоминает мне о них.

Лишь я один мог бы свидетельствовать, почему дочь издателя Куклы, юная и красавица, умерла от воспаления мозга, почему жена его предалась религиозному бреду и почему на Карловой улице уже не сверкает золотыми буквами гордое имя самого издателя. Я один мог бы объяснить, отчего развалилось супружество одного из величайших чешских музыкантов, надежды чешского искусства Яна Болеслава Кленки, и отчего его супруга Божена Здейсова отравилась после двух лет ни к чему не приведшей, тщетной борьбы (боже мой, как этот человек должен был ненавидеть и казнить жену за ее любовь!), и почему сам Кленка где-то пропал, так и не оправдав возлагавшихся на

него надежд. Но никого уже не заинтересовали бы эти стародавние истории, и я верю, что мне суждено было остаться в живых только затем, чтобы я, сам ни на что не пригодный, оживлял эти тени, которые хранят в себе такие неисчерпаемые запасы бесконечно прекрасной жизни. Я не пытаюсь ускользнуть от них, я принадлежу им.

Я знаю все дороги, которые ведут по их следу, только Гаштальской улицы я избегаю, там уже давно нет дома, где родился я и вместе со мною то зло, которое я принес людям. На Кампе, опершись о стену, из-за которой уже никогда не польются звуки рояля, рожденные пальцами Кленки или Божены, я иногда мечтаю, глядя на играющих детей. И ужас объемлет меня. Мне хочется крикнуть: «Люди, будьте осмотрительны! Жизнь, окружающая ваших детей, пригоршнями рассыпает непровеянные зерна».

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСЕВ ВЕТРА

Излагая свое литературное кредо, Вацлав Ржезач утверждал: «Если бы меня спросили: «Почему, собственно, вы пишете?» — я бы ответил: «Прежде всего потому, что хочу выразить свое ощущение жизни»¹. Именно это ощущение жизни, подсказанное прежде всего личным опытом полупролетария, определило и особенности его романов 30-х годов. Рапо столкнувшись с нищетой, неравенством, несправедливостью, с тем, что любимый им Максим Горький называл «свинцовыми мерзостями» жизни, Ржезач стал художником бесстрашной правдивости, остро воспринимавшим присутствие социального зла и не склонным к затушевыванию классовых противоречий.

«Молодость! Это край, который мы покидаем в минуту неопределенную и не поддающуюся определению. Часть из нас продолжает нести в себе его живой образ и аромат...»²

Эти слова Ржезача, навеянные смертью Карела Чапека и размышлениями о его литературном «мальчишестве», явно носят исповедальный характер. Тема детства и юношеского созревания всегда оставалась для Ржезача близкой и актуальной. Но молодость отнюдь не была для него «потерянным раем». Лейтмотивом творчества писателя становится уродующее влияние социального неравенства на вступающего в жизнь человека: пагубное воздействие на формирующуюся личность оказывает как чувство неполноценности, порождаемое бедностью, так и богатство, из которого нередко проистекает развращающее сознание превосходства над окружающими.

И за всем этим стояло пережитое самим Ржезачем.

¹ Řezáč V. O pravdě umění a pravdě života. Praha, 1960, s. 11.

² Ibid., s. 36.

Замысел крупного произведения, основанного на впечатлениях юности, возник у Ржезача еще в середине 20-х годов. 30 августа 1924 года он записывает в дневнике:

«Я не хочу писать роман. И до сих пор не могу выбрать форму того, что хочу написать. Это должна быть книга о дружбе молодых людей. Она должна показать, как они жили и думали в одиночестве, как жили и думали, когда были вместе. Это должна быть песнь молодости и дружбы, песнь, которая не расточает похвал, а порой и причиняет боль. <...> Речь идет не об эпосе молодости. Скорее о ее лирике.

Книга, не имеющая ни начала, ни конца. Ведь и дружба неприметно рождается в туманах симпатий. И исчезает, как тропинки в лесу.

Так что же это будет?

Примусь за дело. Авось в ходе работы произведение само обретет надлежащую форму. А если этого не произойдет, начну все сначала»¹.

Рукопись первого варианта задуманной книги, более двухсот страниц, действительно была забракована автором и сожжена. «Будем есть сухую картошку, но такую ерунду я печатать не стану», — сказал он жене.

Писал Ржезач урывками, обычно по вечерам, иногда засиживаясь до поздней ночи. Книга была завершена в 1933 году, но не сразу удалось найти издателя, а выход уже принятой кооперативным издательством «Дружественни праце» рукописи задержала проводившаяся в нем реорганизация. Первый экземпляр романа «Посев ветра» Ржезач получил 2 марта 1935 года. Позднее он вспоминал: «...точно знаю дату, потому что в тот день у нас родился сын и я отнес этот экземпляр жене в родильный дом»².

В записной книжке Ржезача 1931—1935 годов сохранилось признание, свидетельствующее об автобиографическом характере романа. Мать Ржезача служила дворничихой в доме известного пражского издателя Й. Р. Вилимека.

«В нашем доме, — читаем мы в записной книжке Ржезача, — поселился сын домохозяина. Студент-юрист, о котором прежде ничего не было слышно. Он жил в доме уже несколько дней, но я еще ни разу его не видел. Рассказы матери разожгли мое любопытство, которое было неотъемлемым свойством моей натуры и причинило мне немало бед. Все же я познакомился с ним, и он первый завязал со мной отношения. Я всегда вспыхивал пылкой симпатией к людям и книгам, которые меня интересовали, и столь же быстро остывал, если мне начинало казаться, что меня обманывают. Наша дружба позднее изобиловала многими подлостями и с моей и с его стороны. Но я и сейчас думаю, что именно мною

¹ Дневник хранится у вдовы писателя, Эмы Ржезачовой.

² Strnad J. Na besedě u Václava Řezáče. — Host do domu, 1954, č. 1, s. 29.

в нее было привнесено горячее чувство. Так или иначе, п благодарен ему за *самый большой и единственный роман моей жизни* ¹.

Было бы, однако, неверно представить себе дело таким образом, будто Вит — это Вилимек-младший (также, кстати, ставший издателем), а Петр — сам Ржезач. Писатель взял лишь характерную ситуацию дружеского «мезальянса». Вместе с тем в приведенном выше автобиографическом свидетельстве Ржезача характерно в высшей степени откровенное признание собственных недостатков, самокритичное отношение к самому себе. Эта черта Ржезача, свойственная многим мастерам психологической прозы (вспомним хотя бы Руссо и Льва Толстого), проявилась и в самом романе, где автор с беспощадной откровенностью анализирует побуждения и поступки героя, которого он во многом наделил собственным духовным и жизненным опытом.

По поводу своего романа Вацлав Ржезач писал, что в нем отражено «детство 1914—1918 годов», то время, когда его сверстники вступали в отрочество и очутились «с хрупкими суденышками своих неоформившихся тел и несформировавшегося сознания в точке пересечения двух бурь» — бури созревания и бури войны. «Вспоминать об этом детстве означает искать ответа и осознать, почему мы сегодня таковы, каковы мы есть; обнаруживать полужасыпанные источники донные не ослабевающего прибоа нищеты и растущей неспособности противиться ей. Если мы дезориентированы и, как поле, политое едкой щелочью, не способны дать жизнь посеву объединяющей идеи, то знаем, почему мы такие. Разве наша неспособность сопротивляться нищете не проистекает в первую очередь из того, что в молодости, когда накапливаются неизгладимые впечатления, нищета застила нам горизонт и лишения были для нас чем-то естественным, а о страданиях мы привыкли говорить с усмешкой? Да, мы стремимся к безграничному благополучию, но не наделены волей, которая позволила бы нам добиться его. И — поди же! — в конце концов нас удовлетворяет и то малое, что мы имеем» ². По словам Ржезача, детство этого поколения больше проходило в очередях за провизией, чем в школе, чаще среди взрослых, чем среди детей, речь и поступки взрослых обнажали перед подростками грубую изнанку жизни раньше, чем они были к этому подготовлены. Ничто им не доставалось в своем подлинном качестве — сплошные суррогаты: суррогаты продуктов, суррогаты семьи. Эти подростки недоедали и были лишены отцовской заботы, но зато им была предоставлена свобода, и она должна была заменить ту «спокойную идиллию», мелодия которой слышалась им в воспоминаниях старших. «Если был чем-то самим собой разумеющимся разбушевавшийся мир, то столь же само собой разумеющейся была и наша склонность к нарушению законов.

И все же: пекло погасло, и возраст зрелости приносит тоску по жиз-

¹ Записная книжка хранится у вдовы писателя.

² Ř e z á č V. Kolem mé knihy. — Panorama, r. XIII, 1935, č. 1, s. 4.

ненному порядку. Нужно подчиниться ему. Хотим подчиниться ему и мы, навсегда отмеченные каиновой печатью войны»¹.

Какому же порядку хотел подчиниться молодой автор, несомненно сочувствующий левым силам в обществе и культуре, печатавшийся не только в либеральных изданиях типа газеты «Лидове новины», но и в журнале «У — Блок», выходившем под редакцией критика-коммуниста Бедржиха Вацлавека и выдвинувшем программу социалистического реализма в литературе?

Ответить на этот вопрос помогают такие, например, афоризмы из его записной книжки 1931—1935 годов:

«Благотворительность весьма похожа на помой для свиней, а в наиболее отвратительном виде равнозначна движению, которым мы захлопываем двери перед призраком нищеты.

«...» Одни умирают от пресыщения, а другие от голода. Устраните нищету, и не будет болезней»².

Недаром Ржезач писал о своем литературном учителе, писателе-коммунисте Иване Ольбрахте, что «буржуазия нашла в нем смертельного врага», что он умел обнажать «старательно скрываемую корыстность и жестокость лживого гуманизма» буржуазной Чехословацкой республики.

Ржезач воспринял от Ивана Ольбрахта не только умение правдиво видеть, но и способность правильно оценивать расстановку сил в стране, социальную подоплеку многих явлений.

В одной из ранних статей он писал: «Маленькие хапуги и Гарпагоны превратились в могущественных хищников, распутники и добряки изменились, притеснение духа осталось, но заменило орудия пыток; сильные мира сего владывают над ним, может быть, реже решаясь на убийство, которое было более чистым средством, но чаще прибегая к коррупции и пороча честь»³. Таким образом, Ржезач не мог говорить ни о каком другом порядке, кроме как о порядке, основанном на социальной справедливости.

Уже в детских книгах «Переполюх в Коваржском переулке» (1933) и «Ребята, айда за ним!» (1934), по поводу первой из которых Юлиус Фучик писал, что автор открыл «детскому читателю» «классовые противоречия»⁴.

Ржезач рисует человеческую солидарность в борьбе за социальную справедливость как нравственную норму поведения. По словам чешского литературоведа Ф. Бурианека, писатель стоит в них «на прочной почве доверия к жизни и человеку»⁵. Сам Ржезач писал впоследствии, характе-

¹ Řezáč V. Kolem mé knihy. — Panorama, r. XIII, 1935, č. 1, s. 4.

² Řezáč V. O pravdě umění a pravdě života, s. 27.

³ Ibid., s. 92.

⁴ Fučík J. O dětské literatuře. — Halo noviny, 17. XII. 1933, s. 3.

⁵ Buriánek F. Cesta Václava Řezáče. — Literatura ve škole, 1957, č. 7, s. 242.

ризуя свое творчество 30-х годов: «...далее всего на пути к реализму я продвинулся в книгах для детей. В моих детских книжках уже тогда была неприглушенная тенденциозность: я стремился в них помочь молодому человеку правильно смотреть на мир»¹.

Такое же стремление присутствовало и в авторской позиции Ржезача, когда он создавал «Посев ветра».

Писатель вспоминал позднее: «Мне тогда в чешской прозе не доставало реализма, и я сказал себе: путь к реализму — это не то, чем в ту пору были увлечены многие авторы, — на одних сильно воздействовал стиль Ванчуры, на других — стиль Чапека. Я хотел писать иначе и искал собственный путь...»².

В этих поисках Ржезач обратился к исследованию внутреннего мира одного центрального героя. «Посев ветра», по его собственным словам, — это «осознание самого себя (...), поиски места человека в человеческом обществе»³.

Видная чешская писательница старшего поколения Божена Бенешова писала тогда, что достоинство этого «дневника чувств» молодого поколения, вырвавшегося в годы первой мировой войны, заключается в «углубленной психологии».

Она видела и некоторую ограниченность изображения мира в романе, но справедливо объясняла это спецификой точки зрения, избранной автором: «По-новому его роман воздействует и потому, что передает атмосферу военной Праги не так, как ее видел и чувствовал взрослый, а так, как она могла воздействовать лишь на совсем молодого человека, осознающего только себя, свои страдания, свое унижение»⁴.

Именно такое изображение мира, именно эта сосредоточенность на судьбе одного персонажа позволила Ржезачу, тогда еще начинающему писателю, сказать новое слово в чешской прозе, совершить художественное открытие.

Поэтому вряд ли можно согласиться с упреком, содержавшимся в рецензии, опубликованной в журнале коммунистической молодежи «Млада гарда»: «Писатель стремится продемонстрировать все невзгоды страшной военной поры на судьбе гимназиста Петра. Но это ему не всегда удается, ибо на фоне избранной им судьбы он не сумел обрисовать все значение мировой войны. Создается впечатление, что он слишком погрузился в судьбу отдельного человека и забыл о всей грозной действительности тогдашней эпохи, о силах, которые были пружинами событий. Создается впечатление, что он слишком изолировал своего героя

¹ Václav Řezáč o svém novém románu. — Lidové noviny, 6. V. 1951, s. 4.

² Skůpala A. Beseda s Václavem Řezáčem. — Panorama, r. XXV, 1950, č. 10, s. 56.

³ Řezáč V. Kolem mé knihy, s. 4.

⁴ Benešová B. Větrná setba. — Panorama, r. XIII, 1935, č. 1, s. 4.

и его личный мир от всего остального мира, частью которого он является»¹.

Ржезач вступил в чешскую литературу как прозаик, проявляющий подчеркнутый интерес к внутреннему миру человека. В 1930 году он писал: «...война... искривила или, наоборот, выпрямила многие позвоночники. Картина изменилась, а вместе с ней и наш внутренний мир.

Мы хотим видеть, что происходило внутри нас, а не вокруг нас, ибо последнее нам уже известно...»²

Рисуя нравственное созревание своего героя, юноши из бедной семьи, Ржезач соединяет социальный анализ с раскрытием подсознательным импульсивного начала в человеке, Петр не только противоречив, но и непредсказуем. Тут не автор «ведет» героя, а герой «ведет» за собой романиста.

Типологически главного героя «Посева ветра» можно сопоставить с героями Достоевского, которого Ржезач считал «гениальнейшим из романописцев, метафизическим мыслителем, рентгенологом душевных процессов и романтиком с беспощадно правдивым восприятием реальности»³.

У Ржезача был предшественник и в чешской литературе. Б. Бенешова писала в упомянутой выше рецензии, что «Посев ветра» — это «Серебряный ветер» поколения, которое созревает в нищете большого города». Роман Франи Шрамека «Серебряный ветер» (первое издание — 1910 год; второе, переработанное, — 1921) был духовной биографией поколения чешской интеллигенции, вступавшего в жизнь в начале века и отвергшего социальные и моральные устои габсбургской Австро-Венгрии и чешского буржуазного общества во имя анархически понимаемой свободы. Шрамак, воспринявший опыт Кнута Гамсуна (кстати, Петр дарит Каме одну из его книг, да и одну из героинь Гамсуна звали Камма), переносит внимание на передачу эмоциональных состояний героя, на текучесть его психики.

Но Франтишек Бурианек, один из признанных знатоков творчества Шрамека, справедливо писал: «У Шрамека над молодостью, пусть уже израненной шипами познаваемой ею жизни, не переставал звенеть «серебряный ветер» — весть прекрасной любви, вера в нее, надежда. В романе Ржезача этот голос не звучит.

В нем веет ядовитый дух морального разложения, цинизма и всеотрицания <...> Какое это страшное и болезненное свидетельство опустошения, которое оставляет в людях война даже там, где не свистят пули!»⁴

¹ Mladá garda, 17. IX. 1935, s. 4.

² Řezáč V. O pravdě umění a pravdě života, s. 92.

³ Ibid., s. 99.

⁴ Buriánek F. Cesta Václava Řezáče, s. 241.

Психологический анализ Ржезача отличается большей глубиной и диалектичностью. Он не боится представить своего героя в непривлекательном свете, полностью отказывается от какой бы то ни было его романтизации.

В целом роман получил единодушную высокую оценку в чешской критике, сразу выдвинув Ржезача в число ведущих чешских романистов. Среди тех, кто отозвался на появление романа, были такие видные критики как Б. Вацлавек, А. М. Пиша, Ф. Гётц, А. Новак, К. Сезима.

Стр. 7. *Вольноопределяющийся* — в австро-венгерской армии лицо, которое, обладая определенным образовательным уровнем, в мирное время имело право служить в армии на льготных условиях один год, а во время войны после окончания специальной школы получить офицерское звание.

Стр. 8. *Наместник* — здесь имеется в виду наместник императора Австро-Венгрии в чешском королевстве.

Стр. 10. *Будители* — деятели чешской культуры в конце XVIII — первой половине XIX в.; способствовали пробуждению национального сознания в народе, ратовали за возрождение чешского языка, литературы и искусства, находившихся в упадке в результате насильственной германизации.

Стр. 35. *Полицейский час* — время, после которого полиция закрывала в габсбургской Австро-Венгрии трактиры и увеселительные заведения.

Стр. 65. *...ни Момпрацемским Тигром, ни Виннету...* — Момпрацемский Тигр — прозвище Сандукана, героя романа итальянского писателя Эмилио Сальгари (1863—1911) «Тигр Малайзии» (1884), благородного пирата, предводителя борьбы малайцев против колонизаторов. Виннету — благородный индеец, персонаж романов для юношества немецкого писателя Карла Мая (1842—1912).

Стр. 76. *Сокольский значок*. — «Сокол» — чешская патриотическая спортивная организация, созданная в 1862 г. Мирославом Тыршем (1832—1884).

Стр. 131. *Гавличек* — Гавличек-Боровский Карел (1821—1856) — выдающийся чешский поэт, публицист, литературный критик; в 1851 г. был выслан австрийскими властями в Тироль; в публицистике и поэтической сатире боролся против австрийской бюрократии и клерикальной реакции.

Стр. 136. *Легионы* — здесь имеются в виду добровольческие воинские соединения, сформированные в годы первой мировой войны в России, Франции и Италии из чешских и словацких перебежчиков и военнопленных.

...воинов Жижки, над которыми реяло знамя с изображением красной чаши на черном поле... — Жижка Ян (ок. 1360—1424) — великий

чешский полководец; предводитель таборитов — левого, радикального крыла чешского национально-освободительного и антифеодального движения, проходившего под эгидой идей Реформации, сформулированных Яном Гусом (1371—1415); одним из требований Гуса было причащение мирян, так же как и духовных лиц, «под обоими видами» (т. е. вином и хлебом), поэтому изображение чаши стало символом сторонников чешской Реформации, которых называли гуситами, чашниками или подобными.

«Кто вы, божьи ратники?» — боевой гимн гуситов.

...о выдающемся руководителе... — Имеется в виду Томаш Масарик (1850—1937), председатель Чешского национального совета, созданного в Париже эмигрантами, противниками габсбургской монархии; в 1900—1920 гг. руководитель либеральной Чешской народной, затем прогрессистской (реалистической) партии. В 1918—1935 гг. президент Чехословакии; поддерживал контрреволюционный чехословацкий мятеж в России в 1918 г. Буржуазная пропаганда, создавшая культ Масарика, преувеличивала его роль в деле борьбы за независимость чехов и словаков.

Стр. 172. *...после больших торжеств на островах, носивших чуть ли не революционный характер...* — Речь идет о первомаяской манифестации в Праге в 1918 г., когда более 100 000 трудящихся с транспарантом «Социалистическая нация» во главе шествия проследовало от центральной Вацлавской площади до Жофинского и Стршелецкого островов на реке Влтаве, где состоялись митинги.

Стр. 182. *Томан Карел* (1877—1946) — выдающийся чешский поэт-лирик.

Стр. 188. *...последний удар обрушился на треснувший свод империи...* — Имеется в виду стихийное выступление народных масс в Праге 28 октября 1918 г. и провозглашение независимости Чехословакии.

ТУПИК

В том же 1935 году, когда вышел «Посев ветра», в журнале «Панорама» промелькнуло сообщение, что Вацлав Ржезач готовит книгу под названием «Михал Громус», посвященную изображению среды промышленников¹. Через три года журнал известил о завершении работы².

Речь, несомненно, шла о романе Ржезача «Тупик», который вышел в издательстве «Франтишек Боровы» в 1938 году.

¹ Panorama, г. XIII, 10. IV. 1935, č. 4, s. 61.

² Panorama, г. XVI, 2. III. 1938, č. 3, s. 83.

Название было изменено лишь в самый последний момент. Дело в том, что в процессе работы первоначальный замысел «монографического» романа о предпринимателе нового типа изменился, и суду читателей и критики была предложена книга, представлявшая собой попытку художественными средствами воссоздать картину того экономического и общественного кризиса, который в 30-е годы охватил весь капиталистический мир, включая Чехословакию.

Материал для романа Ржезач, по его собственным словам, собирал во время работы в статистическом управлении, где он занимался вопросами внешней торговли. Цифры, наглядно свидетельствовавшие о сокращении чешского промышленного экспорта, проходили через руки писателя.

Действие романа разворачивается в небольшом южночешском городке, напоминающем Ломнице-над-Лужицей, куда Ржезач-гимназист ездил на каникулы к бабушке.

Впоследствии писатель говорил: «Моя точка зрения в этом романе? Она была пролетарской. Я был пролетарием по происхождению и оставался таковым по роду деятельности. В тогдашних идейных спорах между социал-демократами и коммунистами выкристаллизовывалась моя позиция. Тем не менее в «Тунике» я допустил ошибку: наряду с реалистическим взглядом я там постоянно стремился и к так называемому объективному взгляду»¹.

Был ли в данном случае Ржезач справедлив в оценке собственного романа? Не следует ли игнорировать это позднейшее высказывание, относящееся к той поре, когда и на Ржезача оказали известное воздействие упрощенные представления о социалистическом реализме.

Подобная точка зрения имела место в чешском литературоведении конца 50-х — начала 60-х годов. Однако эту более позднюю авторскую оценку нельзя сбрасывать со счетов при оценке романа. Чем же она вызвана?

Безусловно, автор эмоционально целиком на стороне эксплуатируемых.

Более того, мир эксплуататоров изображен не только критически, но и с неприкрытой, поистине пролетарской ненавистью. И если предприниматели старого склада — Фердинанд Громус и особенно Якуб Ролин, не чуждые романтических иллюзий «отеческого», патриархального отношения к своим рабочим и проблесков человечности, противопоставлены беспощадной и циничной хищнице Анне Громусовой и ее достойным партнерам из нового поколения буржуазии — Михалу Громусу и Вильме Ролиновой, то это не проявление некоего абстрактного объективизма, а следствие исторической объективности и художественного такта. Конфликт между поколениями отражает здесь сдвиг в производственных и общественных отношениях.

¹ Skýpala A. Beseda s Václavem Rezáčem, s. 56.

Ф. Бурианек имел все основания написать: «Прежде всего на примере «Тупика» можно показать, что Ржезач уже в тридцатые годы стремился постичь общие закономерности социального развития, причем и в отдельных человеческих судьбах показать, что в оценке классовых противоречий и конфликтов, которые он прослеживал даже в интимных отношениях, он не занимал позиции равнодушного наблюдателя. Следовательно, теоретические постулаты социалистического реализма, которые после февраля 1948 года обрели решающее значение в нашем новом искусстве, не были для Ржезача чем-то совершенно новым.

Примечательно также, что персонажи «Тупика» (и это, бесспорно, связано с отмеченной чертой) контрастно противопоставлены и кажутся нарисованными одной черной или белой краской. Удивительно, что критика до сих пор мало обращала внимание на то, что молодой Громус из «Тупика» уже именем, но также и расчетливо-эгоистическим мышлением и беспощадностью своего поведения сильно напоминает Росмуса из «Битвы».

Итак, уже в «Тупике» мы можем видеть определенные черты схематизма, который нам знаком по «Битве» [...] Когда Ржезач писал «Тупик», он не руководствовался никакой директивой преобладающей культурной политики, никакой теорией, которая бы а priori подразумевала схематизм. Он хотел тогда так же, как и в других случаях, правдиво изобразить действительность. Но раскрыть истинный характер и закономерности общественного процесса в отдельных человеческих судьбах — это самая трудная задача, какую может (и даже должен) поставить перед собой художник. Там, где он сознательно и оправданно хочет постичь классовую полярность сложных общественных явлений, он приходит к созданию классово и морально противопоставленных друг другу типов»¹.

Полярность в системе образов уравнивалась тем, что в каждом из поколений буржуазии, изображенных Ржезачем, мы находим разные типологические варианты (Анна Громусова, Фердинанд Громус, Якуб Ролин, Михал Громус, Роберт Алекс, Вильма Ролинова). Правдивость и характерность главного из этих персонажей — Михала Громуса подтверждается тем, что сходный общественный тип изобразили многие чешские писатели 30-х годов (Шеф в «Ботострое» Т. Сватоплука, Казмар в «Людях на перепутье» М. Пуймановой, Ян Краль в трилогии Б. Клички «Покорение»).

Стремление к объективности, граничащее с объективизмом, проявилось как раз в изображении тех, кто противостоит Громусам. Несмотря на нескрываемое сочувствие обитателям рабочей слободы, Ржезач стремится быть к ним столь же критически беспощадным, как и к буржуазии. Ему удалось правдиво наметить несколько характеров.

¹ Buřianek F. O české literatuře našeho věku. Praha, 1972, s. 148—149.

Несомненная удача писателя — образ кладовщика Балады. Старый профсоюзный вожак, по всей видимости — социал-демократ, вступает на путь соглашательства и сделок с предпринимателями, а затем, оказавшись в изоляции, совершает анархический акт мести, невольно играя на руку тому же Михалу Громусу, который обесчестил его дочь и которого он сам ненавидит.

В чешской прозе уже до Ржезача можно было найти изображение предательства правооппортунистических руководителей («Социалистическая надежда» Й. Горы, «Лучший из миров» М. Майеровой, «Анна-пролетарка» И. Ольбрахта). Но Ржезач впервые прослеживает этот психологический процесс на примере рядового рабочего, причем раскрывает общественную тенденцию как индивидуальную трагедию.

Более сложен и противоречив образ Индры Поура. В начале романа он выведен фанатичным начетчиком, и авторское отношение к нему не только критическое, но даже ироническое. Однако постепенно как раз Индра становится главным оппонентом и соперником Михала Громуса. В известной мере повторяется сюжетная схема «Посева ветра». Кама стала преданной возлюбленной Петра лишь после увлечения более богатым, удачливым и решительным Витом; Ружена Баладова становится женой Индржиха Поура лишь после того, как была любовницей сначала Михала Громуса, а затем Роберта Алекса. Но если в «Посеве ветра» внутреннюю чистоту сохранила Кама, то в «Тупике» именно Индра Поур сохраняет и верность любви, и верность своим идеям. Хотя ему и не удается поднять товарищей на забастовку, они сознают, что лишь он давал им правильные советы. В конце повествования Индра Поур понимает, что его неудавшаяся попытка отомстить Михалу Громусу была столь же неразумной и неоправданной, как и поступок Йозефа Балады.

Не индивидуальная месть или индивидуальный террор, а только коллективная борьба с сильными мира сего — единственный выход из того тупика, в котором оказался мир в результате всеобщего кризиса капитализма.

И пусть надежда только брезжит и обозначена символически, логика действия и развития характеров подводит читателя к правильному осознанию реальности. Черты догматизма и сектантства в образе Индры (черты, от которых он постепенно избавляется) не были надуманными. Подобные же черты отмечал Б. Кличка в герое своей трилогии «Поколение» — коммунисте Петре Преме. Милослав Носек, один из первых серьезных исследователей творчества Ржезача, справедливо указывал на типологическую близость Индры Поура Юлеку из романа Карела Нового «На распутье», а также на сходство символических концовок «Тупика» и романа К. Нового «Мы хотим жить», посвященно-го проблеме безработицы¹.

¹ N o s e k M. K otázkám typisace ve vývoji Řezáčovy prózy. — Česká literatura, 1956, č. 3, s. 246—247.

К числу своих «литературных учителей» Ржезач «прежде всего» относил «русских реалистов»¹. Сцены борьбы за наследство Фердинанда Громуса русскому читателю напоминают главы романа Л. Н. Толстого «Война и мир», рисующие смерть старого графа Безухова. Такое же типологическое сходство обнаруживается между образом Индры Поура и тургеневским Базаровым из романа «Отцы и дети», с которым «Тупик» совпадает и в ряде других моментов: сама проблематика «отцов» и «детей»; выявляющееся в конечном счете сходство между отцами (Николай Петрович Кирсанов, Фердинанд Громус) и сыновьями (Аркадий Кирсанов, Михал Громус), тема «роковой» любви.

В обоих случаях убеждения героев оказываются в противоречии с чувством любви, которое они испытывают. Любовь, отвергаемая из принципиальных соображений, сильнее надуманных самоограничений. Сама естественность этого чувства вскрывает догматическую узость общественной программы, пытающейся вычеркнуть его из жизни.

Так же, как в романах Пушкина, Гончарова, Тургенева, авторскую оценку центральных мужских персонажей определяет в «Тупике» окончательный выбор главной героини. Ею в итоге романа оказывается Ружена Баладова.

Во многом она напоминает Ружену Урбанову из романа Марии Пуймановой «Люди на перепутье». Но это более сложный характер. И дело не только в том, что по-разному сложились судьбы героинь (Ружене Баладовой не удалось то, что удалось Ружене Урбановой, — она не сумела стать женой богача). В Ружене Баладовой сильно чувство независимости, она горда, в ней сохраняется, несмотря ни на что, сознание и мироощущение пролетарки.

Подобно Карелу Чапеку, обнаружившему в каждом человеке многие потенциальные возможности (особенно характерен в этом смысле его роман «Обыкновенная жизнь»), Ржезач раскрывает внутреннюю противоречивость в характере ряда своих героев. И если отец и сын Громусы — это прежде всего собственники, что сказывается на всем их поведении, хотя в рамках этой амплитуды возможны и некоторые отклонения, то Йозеф Балада и его дочь стоят перед выбором альтернативных жизненных путей.

Ружена Баладова ощущает в себе по меньшей мере пять разных существ с различными намерениями, желаниями и чувствами. Автор объясняет это не только ее молодостью, но и наследственностью, понимаемой, впрочем, не в биологическом (тут он, несомненно, расходится с натурализмом), а в социально-психологическом плане.

Пролетарское начало в конце концов побеждает в Ружене Баладовой, и она возвращается в среду, которая ее породила. Чешский критик

¹ Václav Řezáč o svém novém románu.— Lidové noviny, 6. V. 1951, s. 4.

Франтишек Гётц, автор первой монографии о Ржезаче, вообще считал Ружену «наиболее жизненной фигурой» из тех, которые представляют в романе мир угнетенных¹.

Между Руженой и Индрой устанавливаются отношения подлинного товарищества (в противовес собственническому пониманию любви у Громусов). Беременность Ружены и нежелание Вильмы Ролиновой-Громусовой обременять себя детьми символизирует историческую перспективу двух четко противопоставленных в романе социальных лагерей. Логика действия в романе, таким образом, опровергает объективистские послышки автора.

«Объективизм» авторской позиции проявился в том, что Ржезач достаточно четко не поставил перед героями политическую альтернативу.

Поэтому его роман — это книга о людях в «тупике», а не о «Людях на перепутье», как у М. Пуймановой.

Для того, чтобы выполнить такую задачу, писателю было необходимо найти героев, в которых была бы реально воплощена сила рабочей солидарности. Ни в «Посеве ветра», ни в «Тупике» таких героев нет. Это и позволило буржуазному критику Арне Новаку назвать «Тупик» «романом строго объективным»².

Но «Тупик» был «объективным» романом и в другом смысле.

Если в «Посеве ветра» точка зрения автора почти неотделима от точки зрения героя, а само повествование распадается на цепь эпизодов из жизни главного персонажа, то в «Тупике» изображение действительности дается со многих точек зрения, через мироощущение разных персонажей, автор же каждый раз оказывается как бы над своим героем, судит его. Такая композиция сочетала принципы романной структуры бальзаковского типа (всеведущий автор, судящий персонажей) и романной структуры, характерной для многих прозаиков XX века (плюрализм восприятия, «исчезновение» автора).

Ржезач относился отрицательно к «бесформенной широте романов-рек». Он призывал вернуться к эпическому действию, основанному на столкновении характеров, максимально сконцентрированному, образующему продуманную структуру.

Его идеалом становится роман, в котором поступки героев, их речь и речь авторская находятся в равновесии. Эти черты присущи и «Тупику».

Его композиция, можно сказать, выверена линейкой и циркулем. Каждый из героев как бы совершает круг: одни — чтобы вернуться к исходной точке, но в противоположном или, во всяком случае, ином качестве (Йозеф Балада, Ружена Баладова, Индра Поур, Фердинанд Громус, Якуб

¹ G ö t z Fr. Václav Řezáč. Praha, 1957, s. 64.

² A. N. (Arne Novák). Román přisně objektivni.— Lidové noviny, 26. II. 1939, s. 9.

Ролин); другие — чтобы повторить судьбу тех, чей пример они отвергли (Михал Громус, Вильма Ролинова).

В «Тупике» ощущаются отголоски гамсуновского влияния (образы женщин-хищниц), но он теснее связан с традицией чешского социально-психологического романа натуралистического («Турбина» К. М. Чапека-Хода) или реалистического толка («Старая семья», «Сыновья», «Наследники» М. Тильшовой).

Чешская критика приняла «Тупик» хотя и одобрительно (отмечалось, что это «роман общественный»¹, «роман многих судеб»², но сдержаннее, чем первый роман Ржезача. Католический журнал «Аккорд» призывал автора отказаться от стремления изображать типические явления действительности, ибо типизация якобы чужда его таланту. Критик журнала не соглашался с тем изображением послевоенного поколения, которое мы находим в романе³.

В первые послевоенные годы автора «Тупика» упрекали в «изолированности от рабочего движения» и «нереволюционном» эпилоге⁴. Более глубокую и справедливую оценку роман получил лишь во второй половине 50-х — начале 60-х годов в работах чешских литературоведов Ф. Бурианека, М. Носека, Ф. Гётца, И. Опелика. Способствовало этому и советское литературоведение (А. А. Зайцева).

Стр. 200. ...*после переворота*... — Имеется в виду провозглашение независимости Чехословакии 28 октября 1918 г.

Стр. 224. ...*деревенские книгочеи*... — не только читали и переписывали старинные книги и рукописи на чешском языке, проникнутые протестантским духом, но и вели сельские хроники, сочиняли стихи и т. д.

Стр. 348. *Перре* Огюст (1874—1954) — французский архитектор; одним из первых применил в строительстве железобетонные каркасные конструкции, индустриализацию и стандартизацию.

Стр. 377. *Соча* — река в Италии, где во время первой мировой войны проходили тяжелые бои.

Стр. 414. ...*перед святым Вацлавом*... — День святого Вацлава отмечается в Чехии 28 сентября.

Стр. 423. *Маздазнанское движение* — религиозное движение, основанное в 1900 г. в Чикаго Отоманом Зар-Адустом Ганишем (1844—1936);

¹ Křelina F. Román společenský. — Venkov, 1, 1939, s. 7.

² Ubk (Václav Běhounek). Román mnoha osudů. — Národní práce, 19. III. 1939, s. 15.

³ Filipec J. Václav Řezáč. Slepá ulička. — Akord, r. VII, 1939—1940, č. 6, s. 195—197.

⁴ Reiman R. Řezáčův Nástup. — Lidové noviny, 10. VI. 1951, Příloha, s. 4.

носило воинствующий расистский характер; его членам предписывалась определенная система поведения и питания (трезвость, отказ от курения, употребление в пищу сырых растительных продуктов).

Стр. 466. *Водяной...* — Согласно чешским народным поверьям, водяной подстерегает людей, чтобы утопить очередную жертву, а ее душу спрятать под горшочком в своем жилище.

Стр. 475. *Фуриант* — чешский народный танец.

Стр. 503. *«Над нами наше знамя реет...»* — строка из песни «Красное знамя» — революционного гимна чешского пролетариата. Текст был написан в 1881 г. польским поэтом Болеславом Червеньским (1851—1888), в 1891 г. переведен на чешский язык. Исполнялся на музыку одноименной песни французских коммунаров.

С В Е Т Т Ь М Ы

В годы второй мировой войны в силу цензурных условий прогрессивные чешские писатели были вынуждены сузить изображение современной действительности, ограничиваясь «вневременной» морально-психологической проблематикой, нарочито приглушая политические и социальные аспекты. Это привело к тому, что так называемая «психологическая проза» стала знаменем времени. Термин «психологическая проза», которым обозначается определенный круг произведений чешской литературы 30—40-х годов, весьма неточен и условен, поскольку в европейских литературах, по крайней мере начиная с Монтеня и Паскаля, каждое литературное направление выступало с собственной концепцией человеческой психологии.

В чешской психологической прозе конца XIX — первой половины XX века в этом плане можно выделить два направления.

Для большой группы авторов, воспринявших традиции основоположников чешской реалистической прозы — Б. Немцовой, К. Светлой, Я. Неруды, было характерно социально-этическое понимание человека. В античной формуле «Зоон политикон» («общественное животное») и приверженцы исторического материализма (М. Майерова, И. Ольбрахт, В. Ванчура), и те, кто приближался к нему (М. Пуйманова, Я. Кратохвил), и те, кто стоял на абстрактно-гуманистических позициях (К. Чапек, Б. Кличка), акцентировали именно общественный характер человека.

Была, однако, в чешской прозе и другая линия, исходившая из натуралистических представлений о человеке и обществе. Приверженцы ее (Й. К. Шлейгар, К. М. Чапек-Ход, Э. Вахек) воспринимали человека прежде всего как часть природы. Некоторыми чертами своего творчества этим писателям был близок и Ярослав Гавличек, автор романов «Керосиновые лампы» (1935) и «Невидимый» (1937), которого привлекали не-

обычные, парадоксальные судьбы, не только психология, но и психопатология. Наконец, были писатели, которые проецировали в психологическую прозу новейшие концепции западной психологии (прежде всего — фрейдизм).

Ржезач не относился к числу писателей-натуралистов, для которых человек — в первую очередь «зверь», движимый инстинктами и наследственностью. Но для него был неприемлем абстрактно-гуманистический тезис экспрессионистов: «человек добр». Писателя с первых его шагов в литературе привлекает тема зла, причем не только как внешнего, социального фактора, но и как психологического явления.

Уже в одной из своих ранних статей Ржезач полемизировал с теми прозаиками и драматургами, которые уделяли чрезмерное внимание образам пассивных добряков, и утверждал, что это «фиктивный, редко существующий в реальном мире тип»¹.

Писателя интересовало не только то, что объединяет людей, но и то, что их разъединяет, не только то, что происходит в их сознании, но и то, что заставляет их действовать инстинктивно, полусознательно. Отсюда точные соприкосновения с книгами Шлейгара и Чапека-Хода. Но так же, как и Ярослав Гавличек, Ржезач осмысливает инстинктивное и подсознательное в широкой социальной перспективе.

«Вечным предметом литературы, и прежде всего, конечно, беллетристики и драмы, — писал он, — остается человек и мир, который он создает своими чувствами, мыслями и поступками. В каком ином месте должна находить эпика сюжеты, как не в переплетении человеческих поступков, в каких иных кладях она может находить тайны мира и отражение его истории, сумятицу чувств, блуждание мысли и сокрушительную победу разума, как не во внутреннем мире людей»².

В годы фашистской оккупации Чехии Ржезач создал три романа («Свет тьмы», 1940; «Свидетель», 1942; «Рубеж», 1944), которые по праву считаются вершинными произведениями чешской психологической прозы.

К созданию этой своеобразной социально-философской трилогии он обратился не сразу.

После завершения романа «Тупик» Ржезач задумал роман со «странным», как он сам говорил, названием «Заяц». С одной стороны, тут была изображена деревенская верхушка, помещики, окружной начальник, староста — член реакционной помещичье-кулацкой аграрной партии, с другой — мелкие земледельцы, которые во время помпезной охоты должны были выполнять обязанности загонщиков.

Роман задумывался как критика чешской буржуазной демократии периода существования независимой Чехословацкой республики (28 октября 1918 года — 15 марта 1939 года). Но выпустить такой роман после

¹ Eva, 1. III. 1930, s. 5.

² Re z á ě V. O pravdě umění a pravdě života, s. 12.

прихода к власти фашистов означало бы дать им в руки лишний козырь против демократии. И Ржезач отказывается от осуществления этого замысла.

В другом начатом, но не завершенном романе, который должен был носить название «Старый дом», современный быт типичного старого пражского дома и характеристики его обитателей давались в контрастном сопоставлении с их довоенным прошлым.

Атмосферу такого старого дома мы ощущаем и в повести «Переполах в Коваржском переулке», в рассказе «Ненависть» (1937). Ряд мотивов этих произведений предвосхищает тематику и даже отдельные детали романа «Свет тьмы». Дед главного героя «Переполоха в Коваржском переулке» — старый инвалид, лишившийся ноги на войне, — торгует в разнос рыбными закусками, как и один из второстепенных персонажей «Света тьмы». Герой рассказа «Ненависть» почтальон Галека выгораживает своих сыновей, когда соседи жалуются на их проказы (так же поступает и мать главного героя «Света тьмы»). Старший сын Галеки бросает в комнату параличной старухи обезумевшего от страха кота (в «Свете тьмы» по наущению главного героя Карела то же проделывает его товарищ по далеко не безобидным проказам и защитник Франтик Мунзар). Сам образ подобной старухи, никогда не покидающей своей затхлой комнатухи, выразительно обрисован в наброске романа «Старый дом».

Впрочем, описание дома мы находим и в романе «Посев ветра». Уже мимоходом намечены характеры домовладельца и домовладелицы, напоминающих нам персонажей «Света тьмы» — музыкального издателя Методея Куклу и его жену. В «Посеве ветра» впервые появляется символический мотив крысы, играющий столь важную роль в художественной структуре «Света тьмы».

Роман Ржезача «Свет тьмы» представляет собой монографическое исследование эгоизма, обретающего характер страсти.

Герой его сродни Карелу Маху из романа И. Ольбрахта «Тюрьма наименнейшая» (1916). Петру Швейцару из романа Я. Гавличка «Невидимый», Беде Фолтыну из неоконченного романа Карела Чапека «Жизнь и творчество композитора Фолтына» (издан в 1939 году, уже после смерти писателя). Если полицейский комиссар Карел Мах в романе Ольбрахта сам в значительной мере жертва овладевшего им собственнического чувства ревности, которое усугубило его физическую слепоту слепотой духовной, то Петр Швейцар и Карел из «Света тьмы» — сознательные и активные носители зла, отличающиеся лишь индивидуальными (деспотическая сила Швейцара, трусливая слабость Карела) особенностями. Так же как бездарный музыкант Беда Фолтын, решивший чужими трудами и чужим талантом снискать себе славу, амузыкальный Карел в романе Ржезача строит все свои расчеты на успех, исходя из принципа манипуляции другими людьми. Петру Швейцару удается завладеть домом и предприятием тестя, а Карел и Фолтын терпят неудачу. Если Беду Фолтына мы по-

стоянно видим чужими глазами и объективный портрет его возникает из «свидетельских показаний» многих людей, с ним встречавшихся, то в романах Гавличка и Ржезача герои-рассказчики выступают как герои-саморазоблачители. Уже Карел Чапек видел в характере своего героя знамение времени.

Ржезач позднее вспоминал: «Я издал «Свет тьмы». Это была реакция на гитлеризм. Я вложил в него всю горечь эпохи, разоблачил уродливость и бесперспективность буржуазной морали. Я воспроизвел в нем атмосферу и среду своего раннего детства — улочки На Франтишке, Гаштальской улицы...»¹ Все свое отвращение к нацизму, все зло эпохи, по собственным словам Ржезача, он символически воплотил в образе крысы, у которой Карел учится агрессивности как способу выйти из безвыходного положения.

Если у женщин-хищниц из «Тутика» были предшественницы в чешской прозе (героини романа Игната Германа «У съеденной лавки», героини повести К. В. Райса «Преступление Калибы»), то, заглянув в хищническую душу дельца-приобретателя, Ржезач обратился к гоголевской традиции. Еще в одной из ранних рецензий чешский писатель на примере гоголевской «Женитьбы» развивал мысль о необходимости «резкой, выразительной типизации фигур». О выведенных Гоголем «фигурах» он писал: «Каждая из них наделена автором такой мерой человечности, вооружена такими чертами, которые не изменит и не сотрет никакая, даже самая глубокая перемена общественного уклада»². Ржезач не только вывел на сцену романа героя, отдаленно напоминающего бессмертного Павла Ивановича Чичикова, но и вслед за Гоголем подметил наполеоновские претензии подобных изворотливых подлецов. Однако внутренний диалог Карела с Императором обретает более широкий иносказательный смысл в то время, когда на Европу пала тень нового Завоевателя. Впрочем, Карел, этот мелкий преступник, сознающий собственное ничтожество, в сущности, прав, отрицая принципиальное различие между собой и Великим Преступником мировой истории: в том и в другом случае перед нами хладнокровные и безжалостные властолюбцы, для которых все люди, все человечество — лишь мостовая, по которой их экипаж несется к славе и величию; и в том и в другом случае торжество зла не более чем временная победа видимости, кажущегося над правдой. Так роман, по времени действия относящийся к концу XIX века (что явствует из ряда частных деталей), обрел острую актуальность в период, когда правду можно было высказать лишь иносказанием.

По свидетельству жены писателя, Ржезач написал «Свет тьмы» за три месяца сразу на машинке, но затем очень долго не мог придумать название. Смысл его расшифровывает очерк «Тень, отбрасываемая тенью» (август 1943 года): «Тень повлияла на все наше видение мира, дала нам

¹ Skýpala A. Beseda s Václavem Rezáčem, s. 56.

² Rezáč V. O pravdě umění a pravdě života, s. 93.

науку об изнанке и лицевой стороне всех вещей, стала для нас воплощением зла, если свет — доброе, и воплощением гибели, потому что свет — даритель жизни. Тень, несомненно, наградила нас осознанием того, что основа мира — двойственность, а отнюдь не единство...» Карел в романе осознает, что он принадлежит к миру теней. Мотив тени как воплощения зла получит развитие и в романе Ржезача «Свидетель».

Если образ Карела подготовили главные отрицательные персонажи в детских повестях Ржезача (лавочник Бочан в «Переполохе в Коваржском переулке», трактирщик Фербус в «Ребята, айда за ним!», герцог Густав в сказочной повести «Заколдованное наследство»), то Методей Кукла сходен в немалой мере со старым Громусом в «Тупике». Однако именно при сопоставлении этих двух образов и сопоставлении Катержины Кукловой с Анной Громусовой видно, насколько психологически углубился реализм Ржезача. При сохранении социальной оценки персонажей полностью устранена схематизация, черно-белая полярность.

Образы нового романа Ржезача значительно более объемны, многогранны, рельефны.

«Посев ветра» и «Тупик», хотя в них Ржезач широко использует несобственно-прямую речь и внутренний монолог, были написаны от третьего лица.

В «Свете тьмы» повествование ведется от первого лица. Но перед нами опять-таки повествование с четко очерченными характерами и напряженным действием.

Писатель погружается в глубины сознания одного из героев, чтобы в полном объеме, извне и изнутри воспроизвести характеры других персонажей.

Писатель Ян Клобоучник, вспоминая впечатление от романа, писал: «...пугающий свет тьмы исходил от всех персонажей Ржезача. Ржезач не верит людям, но верит в человечество. Сражается за его лучшее будущее самым чистым оружием. Познает и помогает познать корни людских поступков, причины зла, которого Ржезач видит на свете больше, чем добра... Его люди <...> — люди наших дней, дети наших буржуа. Все они отмечены трагедией буржуазности...»¹

Однако роман не был по достоинству отмечен критикой ни сразу после выхода (еще в 1947 году клерикальный журнал «Вышеград» в связи с третьим его изданием суммировал все предшествующие отрицательные отзывы), ни в первые годы после освобождения. Более того, в начале 50-х годов сам автор явно недооценивал «Свет тьмы», говоря о своем предшествующем творчестве.

Объективную оценку роман получил лишь в конце 50-х — начале 60-х годов. Размышляя о причинах этого, Милослав Носек отмечал, в

¹ Kloboučník J. Tři setkání s Václavem Řezáčem. — Lidová kultura, 18. X. 1946, č. 36, s. 4.

частности: «Интерес к внутреннему миру человека и к его изображению (...) у разных авторов имел различный смысл. Это видно, например, на общей для многих из них проблеме внутренней слабости человека и его неспособности к правдивому действию. (...) Психологический анализ Ржезача проникал глубже других, поскольку он вскрыл, как из чувства неполноценности и внутренней слабости такое существо неизбежно начинает причинять зло иным людям. Принадлежность Ржезача к характерному для того времени психологическому роману мешала правильно понять его тогдашнюю прозу, его стремление изобразить типическое в сознании людей»¹.

Стр. 508. *Старое Место* — один из древнейших районов Праги.

Непомуцкий Ян — Ян из Помука (ок. 1345—1393), генеральный викарий пражского архиепископства; за деятельность, направленную против чешского короля Вацлава IV (1361—1419), подвергся пыткам и был утоплен в реке Влтаве; впоследствии был отождествлен с фиктивной фигурой католического великомученика Яна Непомуцкого.

Вацлав (907—935(?)) — чешский князь из рода Пршемысловичей; правил с 924 г.; убит по наущению своего брата Болеслава; вскоре был причислен к лику святых и считается патроном чешского государства.

Стр. 518. *Краконош* — в чешских народных преданиях дух, живущий в Крконошах — горном массиве на северо-востоке Чехии.

Стр. 523. «*Сокол*» — см. примеч к с. 76.

Стр. 527. *Жижков* — пролетарский район Праги.

Стр. 542. *На набережной Франтишека* — На Франтишеке — название части влтавской набережной и прилегающего к ней пражского квартала.

Стр. 545. *Юнак* — народный герой у славянских народов Югославии; обычно так называли участников борьбы против турок.

Стр. 546. ...*в войне шестьдесят шестого года*... — Имеется в виду австро-прусская война 1866 г.

Сольферино — селение в Северной Италии, близ которого 24 июня 1859 г. во время австро-итало-французской войны 1859 г. итало-французские войска нанесли решающее поражение австрийской армии.

Стр. 547. *Ринальдо Ринальдини* — благородный разбойник, герой цикла одноименных романов (1797—1800) немецкого писателя Кристиана Августа Вульпиуса (1762—1827).

Градец, Садовая, Маджента... — места крупных сражений австрийской армии в период австро-прусской войны 1866 г. (битва у Садовой близ чешского города Градец Кралове 3 июля 1866 г.) и австро-итало-французской войны 1859 г. (битва у Мадженты в Северной Италии 4 июля 1859 г.).

Стр. 561. *Урсулинки* — женский католический монашеский орден

¹ Nosek M. K otázkám typisace ve vývoji Řezáčovy prózy, s. 251.

святой Урсулы, основанный в 1535 г.; занимался воспитанием девиц и заботой о больных.

«*К Элизе*» — пьеса Людвига ван Бетховена.

Стр. 562. ...*маховского склада*... — Маха Карел Гинек (1810—1836) — выдающийся чешский поэт-романтик, автор поэмы «Май» (1836).

Стр. 578. ...к *Крестоносцам* — то есть в монастырь крестоносцев с красной звездой (чешский монашеский орден, основанный в 1237 г.), на территории которого находился костел св. Франтишека.

Стр. 580. *Кмох* Франтишек (1850—1913) — чешский композитор и дирижер духового оркестра, автор популярных маршей и танцев.

Стр. 598. *Рудольфинум* — репрезентативное здание с концертными залами и помещениями для выставок, ныне принадлежит пражской консерватории; названо в честь кронпринца Рудольфа; построено в 1876—1884 гг.

Сметана Бедржих (1824—1884) — чешский композитор, дирижер, пианист, организатор музыкальной жизни; основатель национальной музыкальной школы.

Стр. 613. *Фердинанд V Добрый* (1793—1875) — австрийский император в 1835—1848 гг.

Пршикопы — один из центральных проспектов Праги.

Стр. 616. *Карлов мост* — древнейший пражский каменный мост; его строительство было начато в 1357 г. при императоре Священной Римской империи и чешском короле Карле IV.

Стр. 618. «*Мельник и его дитя*» (1835) — пьеса немецкого драматурга Эрнста Раупаха (1784—1852).

Стр. 620. *Славин* — чешский национальный пантеон на Вышеградском кладбище в Праге.

Стр. 622. *Кампа* — остров на реке Влтава в центре Праги.

Чертовка — левый приток реки Влтавы, впадающий в нее в центре Праги.

Стр. 624. *Врхлицкий* Ярослав (1853—1912) — чешский поэт, драматург, критик, переводчик. В тексте романа цитируется его стихотворение «Говорили...» из сборника «Моя соната» (1893).

Стр. 630. «*Песни странника*» (1895) — стихотворный сборник Я. Врхлицкого.

«*Жасмин дыханьем свежим...*» — повторяющаяся строка, служащая и названием цитируемого стихотворения.

Стр. 634. *Каламайка* — народный хороводный танец, сопровождаемый шуточными куплетами; возник в районе города Коломыя в Западной Украине.

Стр. 644. *Мостецкая башня* — одна из башен, замыкающих Карлов мост в Праге.

Град — пражский кремль.

Стр. 646. *Малая Страна* — старинный район Праги.

Градчаны — район, примыкающий к пражскому Граду.

Стр. 650. *Петршинский холм* — холм на левом берегу реки Влтавы в Праге, на котором разбиты общественные сады; *Страговский сад* — один из них, некогда принадлежал старинному Страговскому монастырю.

Стр. 660. *Хухле* — дачный пригород Праги.

Збраслав — небольшой город близ Праги.

Стр. 662. *Проспект Фердинанда* — старое название одной из центральных магистралей Праги (ныне Национальный проспект).

Стр. 673. *Тарок* — карточная игра.

Стр. 688. *Марианская крепость* — бастион Марии Магдалины, сохранившийся к описываемому в романе времени; ранее входил в систему укреплений Градчан.

Стр. 692 *...сказку об Иржике и козе...* — Имеется в виду чешская народная сказка «Ирка с козой», записанная К. Я. Эрбенем.

О. Малевич

СОДЕРЖАНИЕ

* ПОСЕВ ВЕТРА. Роман. <i>Перевод В. Мартемьяновой</i>	5
* ТУПИК. Роман. <i>Перевод В. Петровой</i>	189
СВЕТ ТЬМЫ. Роман. <i>Перевод В. Мартемьяновой</i>	505
Книга первая	507
Книга вторая	560
Примечания	695

- Ржезач В.**
Р48 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2. Посев ветра; Тупик; Свет тьмы: Романы: Пер. с чеш./Сост. И. Ивановой, В. Мартемьяновой; Примеч. О. Малевича. — М.: Худож. лит., 1987. — 719 с.

Во второй том Собрания сочинений чешского писателя Вацлава Ржезача (1901—1956) вошли три романа: «Посев ветра» (1935) — о юности поколения, мужавшего в годы 1-й мировой войны, «Тупик» (1938) — о судьбах рабочих в период экономического кризиса 30-х годов и «Свет тьмы» (1940) — о темных силах, питавших фашизм; во всех произведениях, о чем бы ни писал Ржезач, на первом месте всегда люди и их психология. «Посев ветра» и «Тупик» выходят на русском языке впервые.

Р 4703000000-320
028(01)-87 подписное

ББК 84.4Че

ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 3-Х ТОМАХ

Том 2

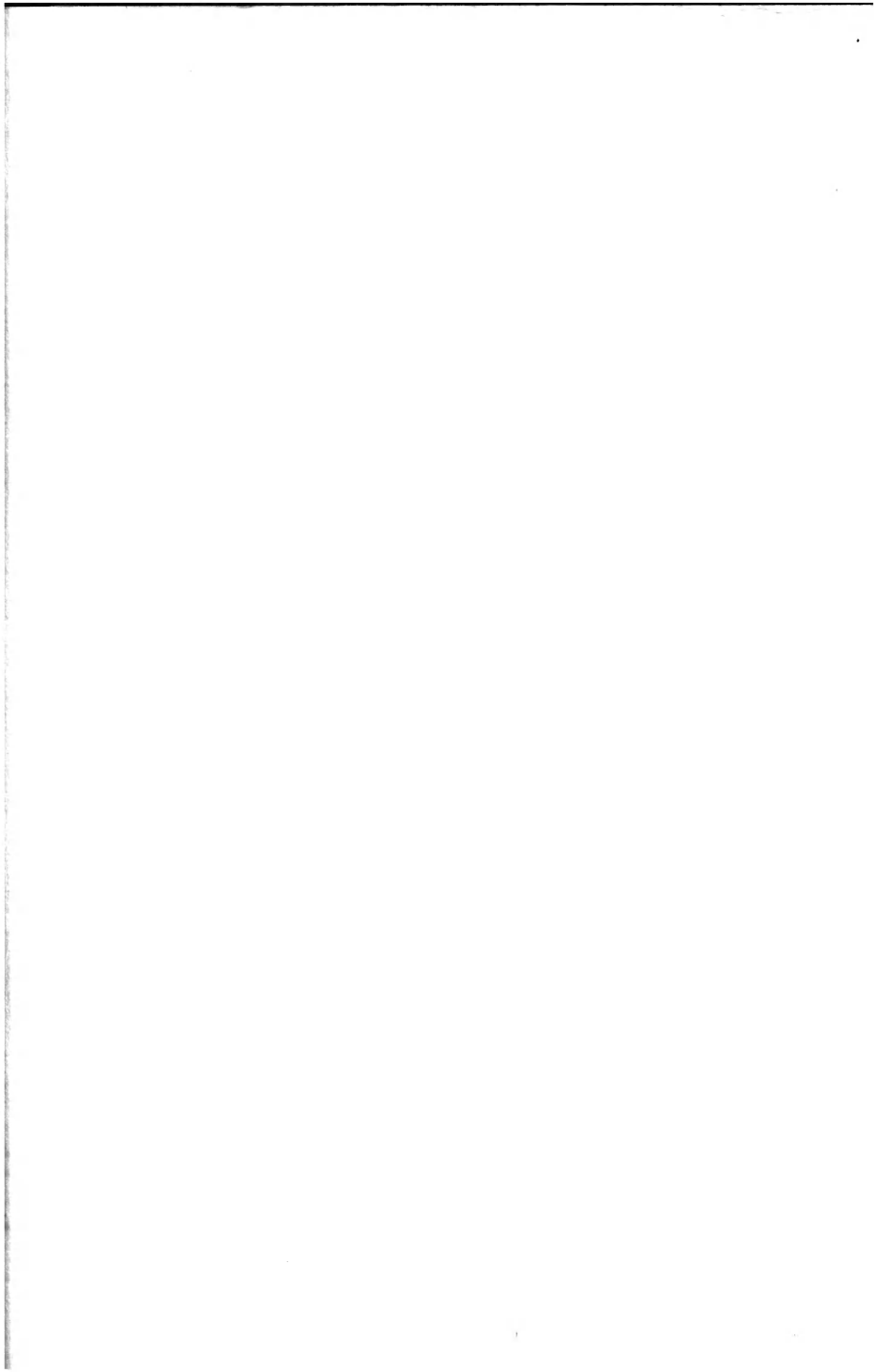
Редактор *И. Иванова*
Художественный редактор *Т. Самигулин*
Технические редакторы *Г. Такташова, Е. Ионова*
Корректоры *Т. Сидорова, Н. Замятина*

ИБ № 4785

Сдано в набор 14.01.87. Подписано к печати 07.08.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,8. Усл. кр.-отт. 37,8. Уч.-изд. л. 43,54. Изд. № V-2218. Тираж 100 000 экз. Заказ № 799.
Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



22

SAINTS' EXETER